

Игорь
ГАРИН



НИЦШЕ

 FOLIO

БОЛЬШОЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ

Игорь ГАРИН

НИЦШЕ

Харьков
«ФОЛИО»
2019

УДК 140.8
Г20

Серия «Большой научный проект»
основана 2018 году

Художник-оформитель
Е. А. Гугалова-Мешкова

Гарин И. И.

Г20 Ницше / Игорь Гарин; худож.-оформитель Е. А. Гугалова-Мешкова. — Харьков: Фолио, 2019. — 508 с. — (Большой научный проект). ISBN 978-966-03-8087-5 (Большой научный проект). ISBN 978-966-03-8904-5.

Книга Игоря Гарина посвящена жизни, личности и творчеству крупнейшего и оригинальнейшего мыслителя XIX века Фридриха Ницше (1844—1900). Самый третируемый в России философ, моралист, филолог, поэт, визионер, харизматик, труды которого стали переломной точкой, вехой, бифуркацией европейской культуры, он не просто первопроходец философии жизни, поставивший человека в центр философствования, но экзистенциально мыслящий модернист, сформулировавший идею «переоценки всех ценностей» — перспективизма, плюрализма, прагматизма, динамичности истины. Ницше стоит у истоков философии XX века, воспринявшей у него основополагающую мысль: истина не есть нечто такое, что нужно найти, а есть нечто такое, что нужно создать.

Своей сверхзадачей автор, все книги которого посвящены реставрации разрушенных тоталитаризмом пластов культуры, считает очищение Ницше от множества сквернот, деформаций, злостных фальсификаций, inferнальных обвинений. Среди многих сбывшихся пророчеств трагического гения — Фридриха Ницше — слова, произнесенные его Заратустрой: «И когда вы отречетесь от меня — я вернусь к вам».

УДК 140.8

ISBN 978-966-03-8087-5
(Великий научный проект)
ISBN 978-966-03-8904-5

© И. И. Гарин, 2009
© Е. А. Гугалова-Мешкова, художественное оформление, 2019
© Издательство «Фолио», марка серии, 2018

ВВЕДЕНИЕ

И когда вы отречетесь от меня — я вернусь к вам.

Ф. Ницше

Они берут у меня: но затрагиваю ли я душу их?

Ф. Ницше

Философия — это мир. Великий философ — творец мира. Я не уверен в существовании параллельных физических миров, но виртуальные параллельные миры философий — величайшая из субъективных реальностей. Любое знание парадигмально, исторично, пристрастно. Уникальной особенностью философского знания является одновременное существование всех философских парадигм, историй, страстей. Что осталось от науки эпохи Платона? Прах... А философия Платона продолжает жить, кто-то даже полагает, что вся современная философия — комментарий к ней. Я так не считаю, хотя уверен, что в иерархии мудрости многие современные философии — бабочки-однодневки по сравнению с эйдосами Аристотеля. О науке этого не скажешь: захудалая современная физическая идея несопоставима по уровню с аттической наукой.

Философия — это мир. Но мир субъективный, личностный, исповедальный. Нет такой философии, которая бы не завоевала себе прозелитов и неопитов. Нет такой философии, которую бы признали все. Если жизнь — это борьба, то мудрость — ее образ, символ, духовная эмблема. В глазах поклонников и противников Сократа горит такой же огонь, как у его личных друзей и судей. Когда жил Фома Аквинский, а томизм и сегодня живее всех живых. Даже оскандалившиеся Маркс и Энгельс, классовое человеконенавистничество которых стоило миру ста миллионов жертв, продолжают вербовать реакционных подвижников возврата к «чистым истокам», не говоря о расистах, не отрезвленных Аушвицами и Треблинками.

Я давно пришел к выводу, что предрасположенность к определенным мыслительным мирам иррациональна или генетична: нельзя переубедить козла, отучив его от козлиности. Сартр останется маоистом даже на высотах экзистенциализма. Пол Поту не грозит францисканство... Пристрастие к чему-то, вкус, тяга идут от нутра, а не от мозга.

Эпохальные события крадутся по уединеннейшим, скрытнейшим, индивидуальным сознаниям: «явление» Киркегор, «явление» Достоевский, «явле-

ние» Ницше, «явление» Кафка важнее для истории, чем, может быть, мировые войны или построение чего-то там в одной отдельно взятой стране. Феллини не случайно говорил, что после Джойса, которого почти никто не читал, дамы иначе носят шляпки. Если правда, что именно культура определяет духовное и материальное состояние народа, то качество нашей жизни определяется тем, что писали наши писатели и наши философы, а не тем, сколько революций и войн у нас произошло. «Событие» Ницше важно не идеями «сверхчеловека» или «толкни падающего», с которыми часто ассоциируется его имя, а с идеей «переоценки ценностей», с «сумерками кумиров» — с отказом от авторитаризма, вечных и неизблемых истин, с непрерывным поиском новых ценностей и бесстрашием исканий. Еще — с философией жизни, у истоков которой он стоял, со всей современной культурологической и философской проблематикой века, которую оплодотворили его идеи.

Никто, как Ницше, не призывал с таким отчаянием к бегству в царство свободы интеллекта, и никто с такой силой не почувствовал, что наступающий век несет с собою нечто новое и ужасное, что старая эпоха отмирает, а в ее предсмертных конвульсиях рождаются тоталитарные режимы XX века национал-социализм в Германии и большевизм в России: «Грядет время, когда будут вести борьбу за господство над землей — ее будут вести во имя фундаментальных философских учений».

Каждая философия имеет свой электорат — людей, что ее выбирают. Каждая философия имеет своих ненавистников. Иногда я думаю, что философия — самое дорогое предприятие: крестовые походы, альбигойские войны, революции, «торжество идей», кровопролитие гражданских смут, оружие Судного дня — разве все это, в конечном счете, не плата «за идею»? Я имею в виду даже не политическую философию, а веру в «правое дело», философское по своей природе.

Нам, большим поклонникам «единственно научной философии», над которой потешался весь цивилизованный мир, почему-то казалось естественным, что все прежние философии допускали критику, наша же изначально оказалась божественной и карающей: непогрешимая, она вершила суд над всеми остальными. «Критики...» — вот ее чуть ли не главный результат, так сказать, экскрементальное производство...

Отвлечемся от собственной божественности (сверхчеловечности на языке Ницше), спустимся на грешную землю. Джонатан Свифт своими остро- и тупоконечниками, вообще представителями лапутянской науки, осмелел не только узкопартийную «мудрость», но мудрость как таковую. Остро- или тупоконечник — любой философ, мыслитель, ученый, преданный открывшейся ему убогой «правдочке» чуть ли не до костра включительно. Конечно, подвижничество — великое дело, но ретроспектива этого дела обескураживает: где сегодня результаты тех «великих идей», за которые звали умирать эти подвижники две тысячи, тысячу, сто, пятьдесят лет тому назад. Стоило ли ложиться костями за «государство» Платона, «город Солнца» Кампанеллы, фаланстеры Фурье, ком-

муны Маркса? Стоило ли «давить гадину» Вольтеру, звать «назад к природе» и вперед к революции Жану-Жаку, просвещать пруфроков и иллиджей Гельвецию и Дидро? Стоило ли разрушать старый мир ради Прекрасного нового?

Есть и другие вопросы: почему из «торжества рационализма» вырос самый иррациональный мир, абсурдности которого не видно конца? почему «плоды просвещения» дали в этом мире кисло-горькие дички? почему самые обильные, бескрайние, населенные многими народами страны довели себя до стадии физического вырождения? почему от «светлого будущего» удирали миллионы? почему нашими погостами усеяна вся земля — от Ниццы и Сент-Женевьев-де-Буа до Лос-Анджелеса и Рио?..

Я отвлекся, пепел Клааса стучит в моем сердце, этот стук отвлекает...

Впрочем, вопросы эти не риторичны: их еще никто не ставил, а герой этой книги, проложивший тропу Заратустре, уже дал ответы на них! «Самый передовой» Маркс намечал пути человеку-массе, а «самый реакционный» Ницше рассказал, куда они приведут. Не потому ли — «философ-монстр», «выродок взбесившейся ненависти к познанию», просто «безумец»?

У каждого философа есть свои экстатические фаны и неистовствующие хулители — исключений не бывало. Но даже среди самых оплеванных и возвышенных Ницше — вне конкуренции.

Одни его считают «философом-монстром», «выродком взбесившейся ненависти к познанию» и даже «просто сумасшедшим», якобы необдуманно и безответственно провозгласившим тезис «Бог умер» и выдвинувшим в качестве высшего морального императива лозунг «Нет истины, все позволено», а также неоязычником, мрачным сокрушителем основ, возмутителем спокойствия, сторонником рабства, жестоким воителем, певцом зла и духовным отцом фашистской идеологии человеконенавистничества, геноцида и террора.

Другие включают его в состав гениев человечества, называют великим творцом, поэтом-философом, апостолом новой веры, благороднейшим мыслителем, мучеником познания, властителем дум, бесстрашным борцом за освобождение личности и возрождение человечества, непримиримым врагом всяческих предрассудков и заблуждений, догм и стереотипов, ошибок и иллюзий, накопленных в ходе длительного исторического развития европейской цивилизации.

Почему в эпоху «торжества разума» так трудно пробивались к людям «философы неприятных истин»? Почему по сей день Киркегор, Ницше, Фрейд у нас самые оклеветанные гении? Потому, что утопическое сознание или высокий дух — называйте как хотите — прячется от правды жизни в прекрасодушие, самообман, в «великую идеологию», разрушительность которых все еще полностью не осознана. «У нас секса нет», «да здравствует равенство!» — подобными формулами устлана дорога в рай нашей свинской жизни.

Десятилетиями мы держали эти ужасные писанные истины под замком, отдаваясь по-неписаному ужасам, в сравнении с которыми они пока-

зались бы разве что невинными приближениями; десятилетиями кому-то думалось, что читать «*вот это вот*» опасно, словно речь шла о воспитанных мальчишках, которых надо было уберечь от этой смертельно ужаленной и оттого «*неприятно*» жалящей совести... Опасно? Но не опаснее же самой действительности, которую так разрушительно чувствовал и небывалые вирусы которой впервые привил себе, продемонстрировав на себе их действие, этот человек!

Как многие пророки, Ницше безосновательно считал свою эпоху переломной, граничной: пришло время смены парадигм, осознания человеком собственной ценности, духовной зрелости, свободы и способности распоряжаться самим собой, настала пора осознать неосуществимость идеального мира, достижения безусловных ценностей, необходимо раз и навсегда положить конец самообольщению и самообману.

Философия по природе своей пророческа и артистична, ибо является внутренним голосом философа. В чем-то философия — «спектакль» одного актера, и ее «истинность» — заразительность, зрелищность, эстетичность, эмоциональность восприятия. Ответственный пророчество — необходимый элемент культуры, выражающий глубинную суть витии¹. Философия — не просто исповедь, а огненное слово. Даже «нудным философам» свойственны «божьи искры», у Паскаля, Киркегора, Шопенгауэра, Ницше, Гартмана, Ортеги философия превращалась в «поток лавы», в экзальтацию, экстатическое самовоспламенение.

Человек пророческого типа слушает не голос, идущий извне, не голос общества и народа, а исключительно внутренний голос, голос Божий. Но он обращен к судьбе народа, общества, человечества. Пророк одинок, он находится в конфликте с коллективом, религиозным или социальным, он побивается камнями, он считается «врагом народа», но он социален, он говорит слово правды народу, обществу, он прозревает судьбы человечества. Быть может, более всего мы нуждаемся в пробуждении пророческого духа. Это дух свободы и независимости, несогласия ни на какой конформизм и вместе с тем сознание служения сверхличной цели. Представитель духа не согласен определяться обществом и государством, он определяется изнутри.

Философия есть выражение нонконформизма и духовной свободы, в этом ее главный социальный смысл. Если общество ценит человеческую независимость, справедливость и правду о себе, то оно должно ценить любые формы инакомыслия как высшую форму социального богатства.

История философии — это вечное переписывание истории, преследующее цель выявления новых срезов мысли, открытие более глубоких измерений старой мудрости. Моя нынешняя задача — «переписать» Ницше, убрав его браваду, экстравагантные крайности, радикализм, экстремизм.

¹ Безответственный или корыстный пророчество характерен для вождей масс, таких как Ленин, Муссолини, Мао или Гитлер.

Увы, Ницше дал достаточно оснований — не только своим недоброжелателям — уличать «ликующее чудовище» в варварстве и садизме: порой, как расшавшийся ребенок, он переходил грани дозволенного, облакая глубочайшие бессознательные порывы в откровенно садистские формы. Возможно, даже скидка на болезнь этого не объясняет. К тому же философу непозволительно то, что позволительно психологу или врачу. Ницше дал веское основание Томасу Манну вспомнить предвосхищение Новалиса, гения того же склада, что и Ницше:

У нравственного идеала нет соперника более опасного, нежели идеал наивысшей силы или жизненной мощи, который иначе называют еще (очень верно по существу и неверно по выражению мысли) идеалом эстетического величия. Этот идеал был создан варварством, и можно лишь пожалеть, что в наш век одичания культуры он находит немало приверженцев, в первую очередь из числа людей ничтожных и слабых. Идеал этот рисует нам человека в виде некоего полубога-полужверя, и люди слабые не в силах противостоять неодолимому обаянию, какое имеет для них кощунственная дерзость подобного сопоставления.

Да, это верно, но относится ли к Ницше? Если относится, то в какой мере? Действительно ли его идеал полубог-полужверь?

Чувство благоговения перед жизнью странным образом уживалось в нем с резкостью оценок, свидетельствуя о душевной неуравновешенности или даже черствости, выражавшихся в граде насмешек, выплескиваемых на вчерашних кумиров. «Понимать людей другого душевного оклада, чем он, разбираться в них Ницше не мог и не хотел; сострадание и милосердие, вообще сочувствие, он презирал, а потому умел только насмеяться или благоговеть».

Конечно же, Ницше — провокационный писатель. Но модернизм всегда провокация, борьба с современной культурой, вызов ей. Без «безумных идей» невозможно движение вперед — то, что в свое время признавали лишь одиночки, ныне стало трюизмом. Болезнь была необходимым компонентом творчества экстатического певца страдания. Если бы ее у него не было, он бы ее выдумал — и, мне кажется, если не выдумал, то культивировал, использовал — как «третий глаз», как «гениальность ноздрей», как мышление телом.

Отказ Ницше от идентификации с собственным телом дает ему «безумное» право на повторные рождения в других телесных ликах и фигурах, в другой, воображаемой анатомии, где телесный опыт более не определяется случайной детерминацией. Ницше мог бы сказать: «Теперь я выбираю тело, а не оно меня». Вот почему Ницше занимает проблема собственного эксцентризма. Очевидно его стремление выработать единую стратегию «безумной» провокации: вновь и вновь ускользать от самого себя, преодолевая свою первую природу, всегда, — не сам, а маска маски. И тогда выздороветь — это суметь наделить безумие его собственным языком, иначе говоря, заставить пройти сквозь символические фильтры, в которых оно утратит свою тираническую энергию. Поэтому все в пси-

хической жизни Ницше следует понимать как бы наоборот: выздороветь для него вовсе не означало создать необходимые условия для возрождения личностного центра (по типу картезианской конструкции «я мыслю») как источника и меры здравомыслия...

За абсурдами и несуразностями Ницше, за его эпатажем, позой, фразой, фрондой, игрой, декларациями, несправедливостью, предвзятостью кроется детская чистота, инфантильный вызов, юношеская запальчивость, психологическое изгойство. Вот почему истину Ницше следует искать не в выхваченных из контекста фразах, а в подтексте, символах, движении, процессе мышления. За интеллектуальным фейерверком, шокирующими парадоксами, экстремистскими по форме высказываниями кроется глубоко сокрытое, явно невыраженное существо. Очень опасно увлечься ницшеанскими софизмами, стать «обезьянами Заратустры»:

Ко всем людям, позволившим его, Ницше, философии соблазнить себя и обмануть, он в гневе восклицает:

«Этим нынешним людям я не стану светить — и не светом назовут они меня. Этих — я желаю ослепить: молния моей мудрости! Выжги им глаза!»

На дружеское напутствие это совсем не похоже. Ницше отпускает нас от себя так, словно отказывает нам в себе. Вся тяжесть возлагается на нас. Истинно лишь то, что исходит из нас самих — при посредстве Ницше.

Ницшевская мысль требует от человека высокой свободы — не пустой свободы, которая ограничивается тем, что отделяется от всего ее стесняющего, а свободы наполненной, выходящей навстречу человеку из его собственной исторической глубины, дарящей ему самого себя непостижимым для него образом.

Склонный к самоанализу, он лучше иных психоаналитиков осознавал собственные мотивы и особенности своего психического склада. «Я — авантюрист духа, — признавался Ницше, — я блуждаю за своею мыслью и иду за манящей меня идеей». Лучше было бы сказать не «блуждаю» или «иду», а «бросаюсь в пропасть» — столь головокружительны были его «эксперименты» с истиной. По словам Томаса Манна, Якоб Буркхардт, отнюдь не филистер, рано подметил в своем протезе эту опасную склонность, необузданное стремление мысли пускаться в опасные виражи на высоте, где так легко сбиться с пути, «зарваться» или разбиться, — «что и побудило Буркхардта благоразумно отдалиться от Ницше и с достаточной долей равнодушия — гётевский способ самозащиты! — наблюдать за его окончательным падением...»

Часто ли можно услышать от трезвомыслящих — демократов, либералов, социалистов и т. п. — признание типа: мое мировоззрение происходит из ненависти? А вот Ницше говорил о себе: «Мой антилиберализм доходит до злости». Это не провокация — это действительно свертрезвая и пронизательная реакция на еще неродившиеся бесчисленные жертвы «тарантулов», этих подвиж-

ников «свободы, равенства, братства», способных — после всего ими содеянного — вызвать уже не злость, а злобу, ненависть, самые страшные проклятья.

Благодаря склонности к самоанализу (возможно, даже психоанализу), Ницше оставил «инструкции» будущим герменевтам. Так, в одном из писем, давая совет относительно того, как лучше всего писать о нем — психологе, писателе, имморалисте, — он предостерегал от однозначности, от решительных «да» или «нет».

Совершенно *не нужно* и даже *нежелательно*, — пишет он, — чтобы вы принимали сторону моих защитников или моих противников; напротив, смесь некоторой доли любопытства, какое проявляют при виде незнакомого растения, с иронически-недоверчивой сдержанностью — вот, как мне кажется, та позиция, которая была бы наиболее *разумной* в отношении меня. — Прошу прощения! Это, конечно, очень наивно — давать благие советы, как следует выпутываться из того, из чего выпутаться *невозможно*...

Это не предостережение интерпретаторам против самого себя — это трезвая характеристика «невозможного», собственного творчества со всеми его полетами над бездной.

Вызов, брошенный Ницше философии изнутри самой философии, оказался необыкновенно производительным: Ницше принадлежит самый плодотворный принцип любого вида знания — переоценка всех ценностей, то есть критическое переосмысление, развитие, преодоление достигнутого уровня, конкуренция идей, все более углубленный подход, позволяющий выявить новые аспекты, уровни, подходы, трактовки. Парадоксы, курьезы, сбивающий с толку эпатаж, дерзкий нонконформизм — все это оказалось необходимыми формами того философского содержания, которое в полную меру раскрылось в наше время в работах Куна, Полани, Лакатоса, Фейерабенда.

Понять мыслителя — не просто дать интерпретацию его мыслей, но войти в поток его мышления, понять, как он мыслил, «мыслить все то существенное, что мыслилось его мыслью». Понять Ницше — значит, отбросив громкую фразу, пафос, эпатаж, эйфорию, проникнуть в самую суть его мышления, проникнуть в те глубины, где мысль зарождалась, сказать то, что он волил сказать, современным языком.

Можно без преувеличения сказать, что Мартин Хайдеггер заново открыл Ницше, увидел в странных, парадоксальных, филологических текстах «ниспровергателя» метафизики — глубокого наследника метафизики, разглядел ницшевскую *мыслительность* — процесс созидания мысли в связи с личностью мыслителя, увязал основополагающие понятия философии Ницше («нигилизм», «переоценка всех прежних ценностей», «воля к могуществу», «вечное возвращение того же самого», «сверхчеловек») в единое целое, обнаружил их глубочайшую внутреннюю взаимосвязь и взаимонеобходимость, выяснил скрывающиеся за парадоксами и двусмысленностями Ницше продуманность и естественность и, если хотите, пред-посланность (судьбу), укорененность идей Ницше в самой истории идей.

Здесь под пред-посланностью я понимаю и эволюционную необходимость, и судьбоносность, и возрастающую напряженность, и неизбежность свершения (смысл, вкладываемый в это понятие Хайдеггером).

Как всякий пишущий человек, Фридрих Ницше хотел быть понятым современниками, но никогда не ориентировался на их вкусы. Подобно другим гениальным интровертам, он не писал для читателей, а просто хотел выговориться: не распространить свои убеждения, не просветить ближних, не научить, а излить собственное «я». Такова, впрочем, цель всех «несвоевременных мыслителей». Читатель был необходим ему лишь как свидетель. Лев Шестов не без оснований назвал философию Ницше философией трагедии, и это очень многоплановое определение. Читатели — соучастники «случая Ницше», свидетели трагедии духа, страстного, безответного монолога страдающего и отверженного мыслителя.

Ницше писал книги не для того, чтобы учить, но для того, чтобы учиться. Эту цель пишущего я глубоко познал на самом себе и вполне мог бы повторить о себе максимум Одинокого мыслителя, каковым, в сущности, являюсь: «Вовсе не легко отыскать книгу, которая научила нас столь же многому, как книга, написанная нами самими».

Как у Паскаля или Киркегора, философия Ницше неотрывна от его душевной жизни и имеет глубоко личный характер, делающий его тексты своеобразным духовным автопортретом. Это — глубоко исповедальная мудрость, перерабатывающая события жизни в интуиции духа, «невольная и бессознательная автобиография философа».

Переоценка ценностей, о которой Ницше так много писал, была не чем иным, как состоянием его индивидуального сознания. Знакомство с сочинениями Ницше есть лучший способ знакомства с его индивидуальностью. «Кто есть личность, — писал он, — имеет по необходимости философию своей личности».

Философия Ницше — это раскрытие внутреннего мира Ницше. По словам Лу Саломе, подобно тому, как отвлеченные систематики обобщали свои собственные понятия в законы мироздания, так Ницше отождествлял свою душу с мировой душой.

Характеризуя особенности духовного склада своего друга, Лу Саломе обратила внимание на качества, присущие, и филологу, и философу:

Это была, во-первых, его гениальность в обращении с тончайшими оттенками мыслей и чувств, требующими чрезвычайно нежной и вместе с тем твердой руки, чтобы не быть стертыми или искаженными. Это то же самое, по моему мнению, что впоследствии делало его скорее очень *тонким*, чем великим психологом или, вернее, великим в схватывании и отражении тонкостей. Характерно в этом отношении выражение, которое он однажды употребляет, говоря о предметах, как они представляются взору познающего: он называет их «филигранью внешних предметов».

В связи с этой чертой стоит влечение к исследованию скрытого и тайного, стремление вывести на свет затаенное — умение видеть во мраке, и инстинктивный дар дополнять интуицией, чутьем пробелы, недоступные знанию. Значительная часть гениальности Ницше в этом именно и заключается. Это тесно связано с его высоким художественным даром, в котором понимание тонкого и обособленного каким-то таинственным образом расширяется в большое, свободное понимание отношений целого, общей картины.

Там, где систематики искали незыблемость, Дон Жуана познания интересовала подвижность. Решения тяготили его, он предпочитал вопрошания. Он примерял все идеи, пока не понял, что важны не идеи, а их перемена, перемена идейного строя. Даже увлекшись идеей, он не разделял ее полностью, не страшился противоречить самому себе, не желал «окончательных решений».

...То слово, которое, казалось бы, должно выразить полное удовлетворение достигнувшей своей цели мысли, обозначало для него трагедию его жизни. Он не хотел, чтобы волновавшие его проблемы духа когда-либо перестали касаться его, он хотел, чтобы они продолжали потрясать его до глубины души, и поэтому он до некоторой степени не рад был решению, отнимавшему у него самую проблему: он набрасывался каждый раз на решение со всей тонкостью и преувеличенной утонченностью своего скептицизма и со злорадством заставлял его, радуясь собственным страданиям и вреду, наносимому самому себе, — возратить ему его проблемы.

Именно поэтому невозможно изложить философию Ницше, нельзя сделать то, что не позволял себе он сам, ибо домыслы приведут лишь к тому, что свои интерпретации выдадут за его мысли. Все эти интерпретации, а их великое множество, на самом деле — произвольные выдергивания и систематизация кусков из всего корпуса сочинений Ницше. Интерпретации эти, разумеется, не бесполезны; одни внешне убедительны, другие — не слишком, но все они неполны и односторонни, все они рискуют оказаться ошибочными и несостоятельными. Поэтому лучшее, что можно сделать, — это не увлекаться блестящими фразами, бросающимися в глаза, а постараться очертить главные координаты мысли Ницше, не забывая при этом, что они выступают независимо друг от друга, а попытки втиснуть их в жесткий корсет вроде «философии жизни», «волютаризма», «иррационализма» заведомо обречены на провал, что и надо честно признать заранее.

Ницше считал, что философ не должен устанавливать новые верования, его задача — создавать основы новой жизни, то есть открывать новые перспективы духа, возвращать права мифу, искусству, свободе выражения, поиску в неизведанных местах. Метафизика должна быть человеческой. Верховная задача философа будущего — стать «верховным судьей художественной культуры и вместе с тем ее охранителем от всякого рода излишеств».

Философы-рационалисты упорядочивали мир, приводили хаос к системе, Ницше сознательно и декларативно оставлял всё как есть, возводя отсутствие системы в принцип мироустройства:

Те мыслители, по мнению которых все звезды движутся по круговым путям, не принадлежат к числу глубочайших мыслителей; кто заглядывает в себя как в бесконечно громадное мировое пространство и носит в себе млечный путь, тот знает, как непланомерны все эти млечные пути; они ведут к хаосу и лабиринту бытия.

Конечно же, Ницше — профетический, а не концептуальный философ, стремящийся высказаться, а не доказать, созерцать, а не систематизировать, отдаться хаосу, а не какому-либо ритму мысли. При всей разрушительности некоторых его идей-интуиций мы не обнаружим у него той глубоко скрытой некрофилии, которая находится «на дне» мышления людей порядка и системы. Эрих Фромм давно обратил внимание на склонность патологических некрофилов к «сверхпорядку». Хаос Ницше — свидетельство его принадлежности к иной группе психологических типов, скрывающих внутреннюю мягкость за маской внешней агрессивности.

Эпатаж — только маска, грубая раковина, скрывающая жемчужину, юродство блаженного и святого.

Я не разделяю вересаевскую оценку личности и творчества Ницше как столкновение и борьбу взаимоисключающих — дионисийского и аполлоновского — начал. Во-первых, мне вообще претит подмена мультиверсума дихотомией, диалектикой. Во-вторых, в Ницше не было темного, дикого, разрушительного начала — только детские потрясения, только болезнь, только экстатический стиль. Творчество Ницше — феномен эстетический, а не научный, поэтому и воспринимать его следует как грандиозную мифологию, насыщенную символами, метафорами, синкретическими образами и идеями (именно так воспринимали его Л. Шестов и К. Ясперс). Корпус идей Ницше требует не систематизации, а максимально плюральной интерпретации. Главная ошибка большинства исследователей Ницше — выискивание противоречий вместо констатации мифологем. Если хотите, Ницше всех периодов творчества — один из самых последовательных мыслителей, никогда не изменяющий «мученичеству познания». В этом отношении я абсолютно солидарен с призывом К. А. Свасьяна «раз и навсегда избавиться от вульгарного псевдо-Ницше, как от интеллектуального комикса, состряпанного псевдоправедниками всех стран».

Выявление полисемантности, многослойности идей Ницше, ощущение их личностной ориентированности, избавление от вульгарного перенесения его символики на социальную реальность, отказ от попыток встроить движение его мысли в привычный ряд философских штампов, вписывание его жизни и творчества в широкий культурно-исторический контекст — вот что характерно для немногих работ, открывающих новый этап в исследовании Ницше.

Важнейшая особенность стиля мышления «ловца душ» — сочетание эстетического подхода с ценностными суждениями о жизни, моральной вовлеченности со свободой и открытостью поиска.

Ницше эстетизировал мудрость, максимально приблизив философствование к художественности. «Мы, философы, — писал он Георгу Брандесу, — ни за что так не благодарны, как если нас смешивают с художниками». Говоря о себе: «...Я остаюсь поэтом до предела этого понятия», — он имел в виду не свою лирику, а характер мышления. Проза лишь тогда хороша, когда «вплотную подходит к поэзии, хотя и не превращается в нее».

Т. Манн:

Его книги не только сами по себе произведения искусства — они требуют искусства и от читателя, ибо читать Ницше — «это своего рода искусство, где совершенно недопустима прямолинейность и грубость и где, напротив, необходима максимальная гибкость ума, чутье иронии, неторопливость. Тот, кто воспринимает Ницше буквально, «взаправду», кто ему верит, тому лучше его не читать. С Ницше дело обстоит точно так же, как с Сенекой, о котором он как-то сказал, что его следует слушать, но что не должно «ни доверять ему, ни полагаться на него».

Как у Паскаля или Киркегора, философствование здесь не отделено от поэзии, музыки, религии. По словам Лу Саломе, в нем жили, среди постоянных смут, рядом, тирания друг друга, музыкант с высоким дарованием, свободный мыслитель, религиозный гений и поэт по природе.

Ницше не скрывал своей неспособности к силлогизмам. В одном из писем к Паулю Рэ есть такое признание: «Я все более изумляюсь, до чего сильна логическая сторона ваших рассуждений. Да, я на это не способен; я в лучшем случае умею вздыхать и петь — но доказывать, как светлеет сознание, это можете только вы, — а это самое существенное».

Как правило, он не обосновывал своих идей. По словам Л. Шестова, его познание вытекало из его внутреннего опыта. Ницше считал, что своей философией обязан болезни: «Только великая боль... заставляет нас, философов, спуститься в последние наши глубины...»

Хотя в молодости Ницше декларировал цель «посмотреть на науку с точки зрения художника, а на искусство с точки зрения жизни», его явно влекли искусство, эстетика, красота жизни, сама жизнь. С первых произведений мы обнаруживаем прежде всего философа жизни, своим творчеством утверждающего союз жизни и философии, раскрывающего в философии глубокую значимость и ценность жизни. Оздоровление философии грядет через ее жизненность, оздоровление жизни грядет через философию жизни. В жизни философия должна обрести свою плоть, а жизнь в философии — свой дух.

Я не думаю, что в философии Ницше нет ничего «кроме искусства», — это глубокая философия, но и искусства в ней предостаточно.

Последний ученик Диониса, может быть, впервые осознал личный, персональный характер философии, ее неотрывность от субъекта, творца: «...Я понял, чем до сих пор была всякая великая философия: исповедью ее основателя и своего рода бессознательными, невольными мемуарами». Понял он и то, что в стремлении завербовать инсургентов, каждый пишет прежде всего для себя самого: *Mihi ipsi scripsi*¹.

Для того, кто вчитался в произведения Ницше, слова эти очень значимы: они указывают на замкнутость его мышления, заключенного в живую, многообразную оболочку. Из них видно, что, в сущности, Ницше только для себя и думал, и писал, потому что он только самого себя описывал, превращая свое внутреннее «я» в отвлеченные мысли.

Он глубоко осознавал собственную несвоевременность — безродность, по его выражению, — и обращал все свои книги и их сокровенную мудрость к «детям будущего»: «Мы, дети будущего, как *можем* мы прижиться в этом дне сегодняшнем!», «Мы отказались от всех идеалов, с которыми кто-нибудь, наверное, мог бы чувствовать себя вполне уютно в этот смутный, мутный, переходной период...» Эту свою боль, безродность, неукорененность в настоящем Ницше осознавал как дар, как богатство, как спасительное прорастание нового, *европейского духа*.

Ницшеанство — яркое свидетельство суггестивности философии, воздействующей не столько на сознание, сколько на бессознательное неопитов, весь строй их души. Помимо идей, философия включает тот «трепет божественного», на который отзывается нутро человека. Подтекст, фигуры умолчаний, приемы сигетики, оркестровка мысли, идеологемы, мифологемы, «пробуждение зверя» — к чему только не прибегают философы, дабы «повести за собой». Главное действие философии происходит в тишине, «приходит на голубиных лапках» — влияние мудрости гипнотично. Ницше прекрасно владел техникой «поймки души», даже его оппоненты нередко поддавались его влиянию.

Притягательность Ницше, которая, кстати, возрастает со временем, обусловлена его харизматическим даром «заражения», передачи мощного энергетического импульса, обучения нонконформизму, духовному риску, поиску в неизведанных местах, творению нетривиальных ценностей.

Пожалуй, одна из наиболее существенных причин притягательности Ницше для современного человека — это его способность ввести читателя в мир мятущегося, ищущего, рефлексирующего духа, наделенного обостренным нравственным чувством и одновременно стремящегося разрушить ставшие тесными рамки традиционной системы ценностей. Постоянный дух обновления, тотальный скептицизм, часто трагичное восприятие жизни — доминанты духовной жизни нашей эпохи... Духовный риск, наличие постоянной внутренней оппозиции, способность отказать-

¹ Я писал сам для себя! (Латин.)

ся от выношенных, но уже «изношенных» убеждений — вот что представляло основную опасность для апологетов традиционной «охранительной» идеологии.

Ницше — изысканный стилист, перелагающий в афоризмы внутреннюю жизнь человека, превращающий тончайшие движения души в чеканную простоту-красоту слов. Он — лирик, соединивший «Фауста» с «Ведантой», германскую культуру с мистикой Востока, сверхчеловека с отшельником.

Есть личность Ницше. Есть учение Ницше о личности. Оно вытекает из его личности; оно — не теория. Наконец, возникнут вопросы о том, чем было для Ницше его учение: провозглашением истины или средством оттолкнуться от ветхого образа современности? Как пользовался Ницше этим средством? Для себя ли пользовался или для «своего»? «Разве я для себя хочу счастья?» — восклицает он.

Всё для него — мост и стремление к дальнему. Он приглашает любить страну наших детей; он запрещает смотреть туда, «откуда» мы идем; наша честь в том, чтобы поняли мы, «куда» приближаемся в детях. Но чтобы знать, «куда» идешь, нужно развить в себе свое будущее, т. е. «иметь» его: иметь образ «нового» человека, «новое имя» на камне души. Здесь Ницше — апокалиптик.

Личность, понятая в грубо физиологическом смысле, вовсе не цель развития. Такая личность протянута в род, в законы рода, в то, «откуда» мы идем. Ее автономия есть власть рода: не свобода, а порабощение. Заметьте: до сих пор Ницше своеобразно идет вместе с Кантом; но там, где чисто теоретически утверждает Кант свой практический разум, там практически, как природу, утверждает Ницше свою свободу. «Теория» для него — способ рассмотреть в себе то, что требуется отсечь. Оба способа помогают ему заговорить с современниками, чтобы призвать к их будущему, если будущее это у них есть.

Можно видеть в наследии Ницше развалины непостроенного храма, главный замысел которого вряд ли существовал, но, мне кажется, при отсутствии системы, генерального плана, строгого архитектурного порядка философия Ницше представляет собой мир, грандиозный миф, космическую мистерию, построить которые призваны исследователи Ницше подобно археологам, воссоздающим цельную картину по разрозненным фрагментам-черепкам.

К. Ясперс:

Ницше — это мир. Нужно знать обстоятельства его жизни, его друзей, его ландшафты, все, что окружало его и превращалось для него в миф, то целое, из которого вырастают его видения и его мысли. Мы увидим тут сцены, исполненные глубины и величия, однако не без некоторой оперной декоративности — здесь много вагнеровского, много характерного для своего времени, облакающего Ницше, как дурно сидящее платье.

Безумие в известной мере спасло Ницше от «окончателности», от «договаривания до конца». Все его книги незавершены, философское завещание не написано. Болезнь, поразившая его в тридцатилетнем возрасте, лишила Ницше возможности систематического продумывания собственных идей, дошедших до нас в состоянии *in statu nascendi*. Он сам прекрасно сознавал это, признаваясь, что так и не пошел дальше попыток и дерзаний, обещаний и всевозможных прелюдий. В этом, может быть, главная прелесть Ницше — «магическое обаяние изначальности». «Причесанный», систематизированный Мифотворец был бы противоестественным: болезнь была не наказанием, а «даром Божиим» — благодаря ей тексты Ницше и сегодня «парят», дышат, вибрируют.

Но скрыто в них гораздо больше, чем кажется: кто даст себе труд вникнуть в них основательно, увидит, что за пестротой отрывочных записей стоит отнюдь не бессвязное и не случайное содержание. Все они связаны одним общим смыслом, одной мыслью, которую ни одна из них в отдельности не передает целиком.

ЖИЗНЬ

«МОЛОДОЙ ЛЕВ»

Пожалейте этого необыкновенного человека, пожалейте его за то, что он жил в такое жалкое время, что всю жизнь ему непрерывно пришлось вести полемику.

И. В. Гёте (о Лессинге)

Ты будешь сам для себя и еретиком, и колдуном, и прорицателем, и глупцом, и скептиком, и нечестивцем, и злодеем.

Ф. Ницше

Самый трагический философ XIX века, богоборец и богоискатель, появился на свет в семье протестантских пасторов, корни которой уходят в германские земли, лежащие на границе Пруссии и Саксонии. Семейная легенда, согласно которой предки Ницше были польскими шляхтичами (один из них, граф Ницкий, якобы способствовал избранию саксонского курфюрста Августа Сильного польским королем в 1697 г.), по-видимому, не имеет под собой оснований. Имя графа Ницкого не обнаружено ни в одном справочнике польских дворянских родов, а, с другой стороны, достоверно установлено, что предки Ницше уже с 1570 года обитали в окрестностях старинного немецкого городка Наумбурга.

Карл Людвиг Ницше, отец философа, после окончания теологического факультета университета в Галле стал воспитателем трех принцесс альтенбургского герцогского двора. Ему покровительствовал король Пруссии Фридрих Вильгельм, что открывало возможности для блестящей карьеры.

Однако, по причине слабого здоровья, молодой духовник выпросил себе деревенский приход в деревне Рёккен близ Люцена. В возрасте 30 лет Карл Людвиг женился на дочери коллеги, 17-летней Франциске Ёлер, и ровно через год, 15 октября 1844 года, в семье появился первенец, названный в честь прусского короля Фридрихом Вильгельмом. «О, октябрь, благословенный месяц, — записал счастливый отец в церковной книге, — ты всегда приносишь мне радости (10 октября отец праздновал свой день рождения и первую годовщину женитьбы), но из всех твоих подарков — это самый проникновенный и чудесный...»

В 1846 году у Фридриха появилась сестра Элизабет, а спустя два года брат Йозеф. Больше всех отец любил первенца, став его первым учителем и приобщив к музыке. Пастор прекрасно играл на фортепиано, передав этот дар старшему сыну. Вдвоем они совершали долгие прогулки по окрестностям деревни, и, возможно, страсть сына к путешествиям зародилась как раз в дни раннего детства.

В 1848 году в семью Ницше пришло горе. Существует несколько версий смерти отца — в том числе потрясение, вызванное революцией. Наиболее вероятно, Карл Людвиг упал с лестницы, ударился головой и спустя год, прошедший в ужасных страданиях, умер от размягчения мозга в результате травмы. Смерть отца потрясла Фридриха. До конца жизни он верил в безумие отца и в наследственность этой психической хвори. Может быть, отец действительно страдал мозговой болезнью и травма лишь ускорила трагическую развязку...

Визионерство Фридриха Ницше проявилось очень рано. Возможно, толчком послужила смерть любимого отца, связанные с нею возбуждение и тревога. В одну из тревожных ночей ему привиделся сон, предвещавший новую катастрофу:

Я услышал во сне погребальные звуки органа, печально раздающиеся под сводами церкви. Пока я пытался понять, откуда они исходят, одна из могил вздыбилась и из нее вышел закутанный в саван отец. Он поспешил в церковь и вскоре вернулся, неся в своих объятьях ребенка. Вновь открылась могила, отец спустился в нее, могильный камень закрылся за ним. Тотчас смолкли мощные звуки органа и... я проснулся. Утром я рассказал сон любимой маме. Вскоре заболел мой маленький брат Йозеф, у него начались судороги, он умер через несколько часов. Горе наше было ужасно. Мой сон сбылся полностью, маленький труп опустили в объятия отца. После этого двойного несчастья один Господь Бог остался нашим утешителем...

Вскоре после смерти Йозефа мать с Фридрихом и Элизабет переселилась поближе к родителям, в находящийся неподалеку городок Наумбург на Заале. Здесь прошло детство Фридриха, сюда, уже взрослый, он постоянно возвращался из своих бесконечных странствий — повидать близких.

Основанный Гогенцоллернами Наумбург был знаменит разве что величественным готическим собором, донныне украшающим город и наполняющим его мощным звоном колоколов в праздничные дни. Жизнь маленького городка, населенного бюргерами, военными, чиновниками, духовенством, в дни детства Фридриха текла медленно и размеренно.

Немногими развлечениями юного Фридриха стали военные парады, кафедральные службы с органом и хоровым пением, праздничные церемонии. Он с нетерпением ожидал Рождество, а перед ним — день рождения.

День моего рождения является также днем рождения нашего горячо любимого короля, в этот день я просыпаюсь под звуки военной музыки. Я получаю подарки; эта церемония не занимает много времени, затем мы все идем в церковь. Хотя проповедь меня не касается, я выбираю из нее лучшие места и отношу их к себе... Затем для меня наступает лучшая минута: мои товарищи приходят ко мне, и мы веселимся весь остаток дня.

В возрасте шести лет Фридриха отдали в народную школу. Замкнутый, неразговорчивый, он держался отчужденно. Природное благородство, рассудительность, неизменная вежливость вызывали постоянные насмешки над «маленьким пастором», как его вскоре окрестили одноклассники. Больше всего их забавляла недетская серьезность и глубокое чувство, с которым ребенок декламировал перед классом отрывки из Библии, псалмы и духовные гимны.

В детстве Фридрих мечтал, следуя примеру отца, стать пастором, проповедовать людям от имени Бога. Судя по всему, у него были все данные для этого: совестливость, самообладание, честность. Свидетельства тому — афоризмы ребенка, обращенные к сестре: «Когда умеешь владеть собой, то начинаешь владеть всем миром»; «Граф Ницкий не должен лгать» и т. п.

Учился Фридрих хорошо, но музыка увлекала его больше науки. Он быстро научился импровизировать на рояле и часто, аккомпанируя себе, распевал псалмы, удивительно напоминая матери отца, игравшего на органе рёккенской церкви. Уже в детские годы музыкальными кумирами будущего философа стали Гендель, Бах, Бетховен, Моцарт, Гайдн, Шуберт и Мендельсон. Современную музыку он тогда не признавал. Со свойственным ему максимализмом называл музыкально нечувствительных людей «бездуховными тварями, подобными животным».

Одаренный ребенок рано познал творческий инстинкт. Он начал сочинять мелодии, музыкальные экспромты, фантазии, мазурки, которые посвящал «польским предкам», рано начал писать стихи — ближайшие родственники нередко получали ко дню рождения поэму, самим поэтом переложенную на музыку.

Почти все биографы пишут о «пай-мальчике», «примерном благодетели» «маленького пастора», благовоспитанности и дисциплине. Есть даже анекдот о том, как застигнутый проливным дождем Фридрих, с высоко поднятой головой и чувством высокого достоинства, в гордом одиночестве продолжил свой путь домой, не желая «отступить от школьных правил, требовавших от учеников пристойного поведения на улице». Если этот случай достоверный, то его интерпретация несовместима с обликом знакомого нам Ницше, который так и должен был сделать, но не из тупого следования «правилам», а как раз вопреки им — из чувства нонконформизма. Конечно, далеко не в каждом ребенке в нежном возрасте можно разглядеть «сокрушителя», но сусальные картинки «маленького пастора» (Ницше-ребенка) кажутся мне неправдоподобными потому, что тексты юного Ницше, начавшего писать очень рано, полностью расходятся с ними.

В десятилетнем возрасте Фридрих уже сочиняет дидактические трактаты и дарит их соученикам, пишет драмы на античные темы для постановки в «Театре искусств», основанном с двумя сотоварищами. Сохранились их названия: «Боги Олимпа» и «Оркадал».

Одаренность Фридриха Ницше проявилась очень рано, его превосходство над одноклассниками отмечалось всеми учителями, которые посоветовали матери не терять время на гимназию, а отдать сына в высшее учебное заведение. Мать колебалась — для этого нужно было расстаться с сыном. Фридриху тоже не хотелось уезжать из родного дома.

Лето 1858-го Фридрих и Элизабет провели в доме родителей матери. Это было радостное и тревожное время: школа позади, впереди — новая неизвестная жизнь вдали от родного дома, сердечных привязанностей и детских радостей и огорчений. Здесь, в деревеньке Поблес на берегу Заалы, он, опьяненный юностью, лирическим чувством и неизвестностью пред будущим, создает первый большой труд — историю собственного детства:

Я писал с величайшим наслаждением и ни одной минуты не чувствовал себя утомленным. Как хорошо, когда перед глазами вновь проходят годы собственной жизни и удастся проследить в них развитие собственной души. Я рассказал всю правду, искренне, не поэтизируя, безо всяких литературных отступлений. Я мог бы исписать подобным образом еще не одну тетрадь!

*Жизнь — зеркало.
Узнать в нем себя —
Вот главная цель.
Стремись к этому!¹*

Осенью 1858-го Франциска Ницше получила от ректора земельной школы-интерната «Шульпфорте» письмо с предложением предоставить место ее одаренному сыну. Предложение было лестным, ибо школа Пфорта в ту пору являлась одним из престижнейших учебных заведений Германии. Основанная цистерцианскими монахами чуть ли не в XII веке, она стала настоящим питомником немецкой культуры, отсюда вышли братья Шлегели, Новалис, Клопшток, Фихте, Ранке, Лампрехт, один из последних канцлеров империи фон Бетман-Гольвег. Конечно же, юному вундеркинду хотелось окунуться в атмосферу, питающую немецкий гений, и в возрасте 14 лет он покинул семью, чтобы влиться в монастырское братство.

В Пфорте юноша познал на собственном опыте монастырское воспитание, целью которого было «подготовление к религиозной жизни» и изучение «искусства добродетели». Здесь учили богословию, языкам (еврейский, греческий, латынь), истории. «Без сомнения, Ницше с трудом освоился с новой для него жизнью. Он редко принимал участие в играх, так как не любил сходиться с незнакомыми ему людьми, а нежная материнская ласка была плохой подготовкой к дисциплине Пфорты».

Нам мало известно о жизни Фридриха в монастыре. Сохранился один анекдот, подчеркивающий стоицизм нашего героя. Когда однокашники поставили под сомнение рассказ о Муции Сцеволе, в доказательство своей выносливости положившем руку на пылающий костер, Ницше, не говоря ни слова, вынул раскаленный уголь из камина и положил его к себе на ладонь. След от этого ожога остался у него на всю жизнь.

Из дневника студента мы узнаем о его жажде знания, «изучении всемирной культуры». Юного поэта интересуют в Пфорте геология, ботаника, астрономия,

¹ Стихи Ф. Ницше представлены в переводах К. Свасьяна, Я. Голосовкера, В. Рынкевича, Ю. Антоновского, В. Зоргенфрея, В. Топоровой, С. Степановой и др.

военные науки, разного рода технические познания. «И над всем возвышается Религия, основание всякого знания. Как ни велика область, охватываемая знанием, но искания правды бесконечны!..»

Впрочем, музыка по-прежнему стоит на первом месте. Одно время он даже порывается покинуть Пфурту, объявляет матери, что университет ему наскучил, что он хочет быть не профессором, а музыкантом. Тем не менее он ни на минуту не бросает писать, перекладывая на бумагу все оттенки собственных переживаний и исканий.

В записках 17-летнего Ницше мы обнаруживаем весь круг проблем, которыми будет заниматься зрелый муж, начиная от страстного богоискательства и кончая размышлениями о природе человека.

...Разве можно, имея за собой только детское наивное миропонимание, нападать на авторитеты двух тысяч лет, признанные глубочайшими мыслителями всех времен? Разве можно, обладая только фантазиями, только зачатками идей, уйти от религиозной скорби и религиозного откровения, которыми была проникнута история? Решить философские проблемы, за которые человеческая мысль борется уже несколько тысяч лет, революционизировать верования, полученные нами от самых великих авторитетов, верования, поднявшие впервые человечество на должную высоту, связать философию с естествознанием, не зная даже общих выводов ни той, ни другого, и, наконец, построить на основах естествознания систему бытия, в то время как разум не понял еще ни единства всемирной истории, ни наиболее существенных принципов, — надо быть безумно смелым, чтобы решиться на все это...

Что такое человечество?

Мы едва можем ответить на этот вопрос: известная ступень существования, определенный этап эволюции, произвольное творение Бога... Разве человек на начальной ступени эволюции не был просто камнем, разве за ним не стоит в прошлом длинный ряд промежуточных состояний флоры и фауны? Является ли он в настоящее время полностью завершенным существом, или что-нибудь изменится в истории его развития?

Это вечное движение будет ли иметь конец?

Где находятся пружины этих громадных часов?

Как часто вся наша философия представляется мне Вавилонской башней! Философия приводит к печальным результатам: она только смущает народную мысль; надо ожидать великих событий в тот день, когда толпа поймет, что все христианство не имеет под собой никакой почвы. Существование Бога, бессмертие души, авторитет Библии, откровение — останутся вечными загадками. Я пытался отрицать всё, но, увы! как легко разрушать и как трудно созидать!

Перед нами почти все вопрошания, которыми будет мучиться зрелый философ. Он мыслит уже афоризмами, вполне отвечающими по стилю и содержанию будущим результатам его откровений: «Очень часто подчинение Божественной воле и приниженность являются только плащом, накинутым на низкое малодушие, охватывающее нас в момент трагического столкновения с судьбой».

Любимыми авторами юного Фридриха в те годы были Шиллер, Байрон и Гёльдерлин, тогда еще непризнанный и малоизвестный. В Гёльдерлине он сразу узнал родственную душу, увидев в жизни недавно умершего поэта параллели с собственной судьбой. Гёльдерлин тоже родился в семье пастора и в юности хотел пойти по стопам отца. В 1780-м он изучал богословие в Тюбингенском университете одновременно с Гегелем и Шеллингом. Он тоже упивался чтением Гёте, Шиллера, Руссо, был влюблен в древнюю Элладу и мечтал создать произведения, равные по мощи творениям аттических авторов. Он тоже влачил нищенское существование, публика не оценила его гениальные поэмы; великие мира сего, включая Гёте, оказались к нему глухими. Перу Гёльдерлина принадлежала трагедия «Эмпедокл», герой которой во многом оказался предтечей «Заратустры».

Мировоззрение 17-летнего юноши нашло свое отражение в сочинении, посвященном этому «эллинскому монаху», сказавшему немцам «горькую истину» об их жалком и убогом филистерстве. Прочитав опус Фридриха, учитель словесности посоветовал «избрать какого-нибудь более здорового и ясного немецкого поэта» (Гёльдерлин, как позже сам Ницше, кончил безумием). «Разочарованный Ницше еще глубже замкнулся в себе и уже никогда больше не высказывал перед преподавателями Пфорта своих истинных чувств и мыслей».

Первые признаки серьезного заболевания дали себя знать в 1862 году: в конце весны возникли сильные боли в глазах, скорее всего, нервного происхождения. Каникулы были испорчены болезнью, но благодаря ей юноше продолжили пребывание у родителей, безмерно обрадовав его — Пфорта постепенно вызывала все большую неприязнь.

Отношения с однокашниками у Фридриха складывались далеко не лучшим образом. И здесь его явное интеллектуальное превосходство делало одаренного юношу «белой вороной». К тому же он постоянно держался особняком, избегал студенческих пирушек и отдавал предпочтение книгам, а не «радостям жизни».

Все же в Пфорте он приобрел нескольких друзей, связи с которыми сохранялись и в последующие годы. Пауль Дёйссен и Герсдорф любили слушать импровизации Фридриха за роялем. Их объединяла также любовь к античности, особенно к Анакреону, и творческие искания. Они находились во власти юношеских лирических настроений, обменивались своими произведениями, вместе мечтали о будущем.

Перед Ницше все чаще возникает вопрос о будущей карьере. В мае 1863 года он пишет матери:

Чем я буду заниматься? Я еще не решил этой проблемы, хотя вполне сознаю, что решение зависит исключительно от меня самого; я твердо знаю лишь то, что если примусь за какое-либо дело, то изучу его до самого дна; вследствие этого выбор становится еще труднее, поскольку надо найти такое дело, которое захватило бы меня безраздельно.

У меня так много стремлений и желаний... Но что же именно я должен выбросить за борт моей жизни? Может быть, как раз самых любимых моих детей?!

Многообразие интересов и увлечений крайне затрудняет окончательный выбор: посвятить жизнь музыке? языковедению? филологии? истории? Он пишет трактат «О демоническом в музыке» и набрасывает работу «О сущности музыки», изучает эстетику и историю литературы, штудирует произведения Гераклита, Платона, Эсхила, Софокла, древнегреческих лириков. Велик круг чтения взыскующего истины вундеркинда: Шекспир, Макиавелли, Эмерсон, Руссо, Пётефи, Шамиссо, Гейбель, Шторм, Байрон...

Близилась выпускные экзамены. При всех неприятностях монастырской жизни он привязался к альма-матер, с которой связаны лучшие годы, где столько пережито и получено столько знаний. В сентябре 1864 года Ницше закончил курс обучения. Экзамены сданы блестяще, если не считать математики, к которой он был равнодушен. Но профессора, понимая духовные устремления юноши, смотрели на неудачу сквозь пальцы. Стихи, написанные Фридрихом на прощание с Пфортгой, наполнены грустью и надеждой:

*Пусть сбудется; я не нарушу течения жизни.
Пусть сбудется со мною то же, что и с другими:
Они уплывают, их легкий челн терпит крушение,
И никто не может указать места, где он затонул.
Прощайте, прощайте! Колокол звучит на корабле.
Я все еще медлю, и гребец торопит меня...
Смело вперед по волнам, не страшась бурь и мелей...
Прощайте! Прощайте!..*

Ницше возвращается в отчий дом. По настоянию матери, желавшей видеть сына пошедшим по стопам отца, Фридрих записывается на теологический факультет университета в Бонне. Вместе с другом по Пфорте Паулем Дёйссеном и кузеном последнего верхом на лошадях трое молодых людей совершают поездку по Рейну и Пфальцу. Позже Пауль Дёйссен расскажет о ней как о сказочном времени безудержной радости и юношеского озорства.

«Я приехал в Бонн, — писал Ницше, — с горделивым предчувствием богатого неисчерпаемыми событиями будущего». Возвышенные представления о германских ликеях, видимо, не оправдались. В ферейнах, в один из которых пришлось вступить молодому человеку, царил раблезианский дух вседозволенности телемской обители, увлекший было «новичка»: бесконечные студенческие пирушки в прибрежных трактирах, вольготная жизнь вагантов, с песнями, шатаниями, дуэлями...

Сохранилась легенда о «посвящении» Ницше в рыцари: дабы воспитать в себе добродетели бойца и предстать перед друзьями героем, он решил драться на дуэли. Не найдя настоящего противника, Фридрих выбрал самого безобидного студента и сказал ему: «Я — новичок и я хочу драться! Вы мне симпатичны, хотите драться со мной?» — «Охотно!» — ответил однокашник. Тогда-то Ницше и получил удар рапирой.

Он быстро пришел в себя от «пошлости и низости обыденной жизни» — студенческой вольницы. Видимо, в Бонне ему впервые пришел в голову проект

создания утопической «общины» духовных единомышленников, к которому он будет много раз возвращаться на протяжении жизни, неизменно имея результатом фиаско. Фридрих изложил собратьям по ферею идею создания «апостольского братства» — духовного союза, близкого к монашескому ордену по нравам и к «буре и натиску» по духовной плодотворности. Естественно, предложение не имело успеха: новому апостолу, грубо говоря, заткнули рот и — не в первый и, увы, далеко не в последний раз в жизни — он сполна испил горькую чашу отверженного.

Фиаско поджидало Фридриха и с другой стороны: он осознал, что теология — не для него. При всей склонности юноши к мистицизму честность и совесть подсказывали ему, что пасторство лишь стеснит бушующую в нем стихию, принудит его лгать. О том же, в сущности, сказал ему и профессор Фридрих Ричль, разглядевший в студенте дар, далекий от теологических изысканий: «Если вы хотите быть сильным человеком, правильно выбирайте специальность».

Духовные искания Ницше в Боннском университете характеризуют письма 1865 года:

Мною часто овладевает полное отчаяние, но в душе моей постоянно живет стремление к вечной цели, поиск новых путей, которые приведут к истинному, прекрасному, доброму. Чем же все это кончится? Возвратимся ли мы к старым идеям о Боге и искуплении мира? Или для беззаветно ищущего решительно безразличен результат его исканий? К чему мы стремимся? К покою? К счастью? Нет, мы стремимся к истине, как бы ужасна и отвратительна она ни была.

Я был еще слишком сдержан и замкнут для того, чтобы не растеряться среди стольких обрушившихся на меня влияний; у меня не было еще достаточно силы для того, чтобы совладать с требовательно подступавшими жизненными обстоятельствами. С грустью в душе приходилось сознаваться самому себе, что я еще ничего не сделал для науки, ничего не сделал для жизни, что в прошлом моем были лишь ошибки и заблуждения.

С нового семестра Ницше решает не возвращаться в Бонн и переехать в Лейпциг к профессору Ричлю. Отдавая себе отчет в несовместимости склада ума с узкой специализацией, он все-таки избирает филологию как науку, дисциплинирующую ум и позволяющую вернуть самоутверждающее начало.

Чем обязан Ницше учителю — своей «судьбе», как выразился он однажды? Прежде всего — поддержкой, которой ему прежде так не хватало. Конечно же, не филология стала причиной крутого поворота в судьбе юноши, но — чувство прочного основания, которое дал ему Ф. Ричль. Нонконформизму юности всегда недостает уверенности в себе. Тут-то и необходимы наставники, подобные Ричлю. Позже учитель испугается смелости своего ученика, но, возможно, именно он — признанием одаренности ученика — позволил Фридриху раскрепоститься, полностью раскрыть свою самость, стать собой.

Ричль не стал схолархом для своего ученика — философской премудрости тот набирался у Шопенгауэра, Ланге, античных авторов, то есть из книг.

Он принадлежал к натурам, которые делают себя сами и для которых живой наставник необходим больше как поддержка, чем как учитель.

Настроения 22-летнего студиязуса, напитавшегося идеями Шопенгауэра, передают заметки весны 1866 года:

Три вещи в мире способны успокоить меня, но это редкие утешения: мой Шопенгауэр, Шуман и одинокие прогулки.

Далее следует описание чувств, пережитых во время одной из таких прогулок:

Я чувствовал себя несказанно хорошо, душа была полна силы и отваги, и я ясно ощутил, что понять глубину природы можно лишь ища у нее спасения от забот и дел! Что мне в такую минуту человек с его трепещущей волей. Как я далек от вечного «ты должен», «ты не должен». Молния, гроза и град точно из другого мира, свободные стихии, чуждые морали! Как они счастливы, как они свободны! Робкий разум не смеет смущать их свободную волю.

Большую часть лета 1866 года Ницше проводит в университетской библиотеке, перебирая византийские манускрипты. Нельзя сказать, что он безучастен к событиям, происходящим в это время в Германии (Бисмарк, Мольтке, битва при Садовой), но он уже прошел школу Шопенгауэра и знает, что политика и история — только призрачная игра, практические цели мало его интересуют, ему даже страшно подумать об участии человека, занимающегося «насушными, практическими целями».

История есть не что иное, как бесконечное сражение бесчисленных и разнообразных интересов, столкнувшихся на своем пути в борьбе за существование. Великие «идеи», которые, по мнению большинства, являются двигателями этой борьбы, суть не более как отражения света, скользящего по взволнованной поверхности моря. Она не оказывает на само море никакого воздействия, но волны могут приобрести в этом свете своеобразную красоту и даже способны обмануть наблюдателя своим блеском.

После окончания Пфурты друзья Фридриха разъехались по разным городам: Дёйссен учился в Тюбингене, Герсдорф в Берлине. Друзья поддерживали переписку, но встречались редко. Поэтому большой радостью для Фридриха стало знакомство с Эрвином Роде, вскоре ставшим его другом. Ницше отличала склонность идеализировать близких ему людей, нередко подводившая его, но в данном случае он не ошибся: в Эрвине он действительно нашел родственную душу. Роде страстно любил музыку, говорил на пяти языках, владел большинством немецких диалектов, а главное, оказался прекрасным товарищем.

Летние каникулы 1867 года друзья провели в Вогезах, ведя жизнь бродячих судей мира — философов. «Первый раз в жизни я испытываю радость дружбы», — признавался Фридрих в письме близким. Путешествуя пешком

по Богемскому лесу, друзья вели бесконечные разговоры о Шопенгауэре, Бетховене, древних греках. В Мейнингене, накануне расставания, два меломана случайно оказались на концерте Ф. Листа, дирижировавшего симфонической поэмой Ганса Бюлова «Нирвана», созвучной максимам Шопенгауэра. На следующий день Фридрих вернулся в Наумбург.

Осенью 1867-го многие студенты Лейпцигского университета оказались не в аудиториях, а в казарме. По причине близорукости Ницше был освобожден от воинской повинности, но армия нуждалась в инсургентах, и его зачислили канониром в артиллерийский полк, квартировавший в Наумбурге.

Выходец Пфорты не испытал тягот солдатчины, тем более что длилась она недолго: во время кавалерийских занятий он получил травму, потерял сознание и попал в госпиталь с разрывом грудных мышц. Мучительное лечение продолжалось около полугода. Его признали негодным к службе в армии, и после короткой побывки в Наумбурге Фридрих возвратился в университет.

В Лейпциге его ждали приятные неожиданности. Профессора и студенты устроили «раненому» теплый прием, из Берлина пришел заказ из солидного журнала на статью. Кроме того, ему, выпускнику, предложили работу музыкального критика. Но самым большим событием его жизни стало знакомство с некогда опальным, а ныне входящим в моду композитором, поэтом, публицистом, философом, революционером Рихардом Вагнером.

Нам еще надлежит познакомиться с перипетиями отношений двух немецких гениев, сказавшимися на жизни и творчестве Фридриха Ницше, но необходимо сразу предупредить, что они не были пастельными в молодости и исключительно темными в зрелости, как это нередко представляется биографами Ницше.

Он не сразу пришел к Вагнеру, предпочитая ему старых мастеров, и даже после «Падения Вагнера» не стал его непримиримым врагом.

Хотя инициатива в этих отношениях всегда принадлежала Ницше, движущая сила большей частью определялась Вагнером, так и не уразумевшим масштабность своего младшего друга.

Ницше и Вагнер встретились в момент, когда первый находился на пороге творческой деятельности, а второй — славы. Одному было 24 года, другому 55 лет. Одной разницы в возрасте было достаточно, чтобы определить их отношения — учителя и ученика, никак не отвечающие мощи духовного мира второго. Фактически отношения и складывались как постепенное освобождение рвущегося к свободе молодого человека от давящего авторитета мэтра немецкой музыки и немецкой мысли.

В ноябре 1868-го Рихард Вагнер гостил в Лейпциге у своей сестры, госпожи Брокгауз, подружкой которой была жена профессора Ф. Ричля. На одном из семейных вечеров Вагнер сел за рояль и заиграл поурри из «Мейстерзингеров». Фрау Ричль, послушав отрывки из оперы в исполнении автора, рассказала, что уже слушала дивную музыку в исполнении музыкально одаренного студента своего мужа — Фридриха Ницше, игравшего ее вдохновенно и с огромной экс-

прессией. Вагнер был заинтригован и выразил желание встретиться со своим поклонником.

На самом деле Ницше увлекся Вагнером совсем недавно — и именно «Мейстерзингерами». Его совершенно потрясла увертюра к опере, заставившая пережить новые, ранее неведомые ему чувства. Когда вскоре после этого события Ницше получил неожиданное приглашение на встречу с автором, он испытал состояние, описанное им самим в письме к Э. Роде:

Мне хотелось бы дать тебе хоть какое-то представление о том совершенно особенном состоянии, которое я пережил в течение этого вечера, о живой радости этой встречи. Я все еще не могу прийти в состояние равновесия и, милый друг, не могу сделать ничего лучшего, чем рассказать тебе пережитое в форме волшебной сказки. До и после обеда Вагнер играл нам лучшие места из «Мейстерзингеров» и сам исполнял все партии; ты, конечно, можешь себе представить, что ему многого не хватало. Это человек баснословно живой и стремительный; говорит он чрезвычайно быстро, речь его блещет умом, и он легко воодушевлял наше интимное общество. Я имел с ним продолжительный разговор о Шопенгауэре. Ты понимаешь, с какой радостью я услышал от него восторженный отзыв и признание в том, сколь многим он обязан Шопенгауэру, единственному из всех философов понимавшему сущность музыки. Затем он пожелал узнать, как относятся к Шопенгауэру современные философы. Он очень смеялся над философскими конгрессами в Праге и упомянул о философском «лакействе». Потом он прочел отрывок из только что написанных мемуаров, сценку из его студенческой жизни в Лейпциге, написанную с необычайным юмором, о которой до сих пор не могу вспомнить без смеха. У Вагнера удивительно гибкий и тонкий ум.

Что привлекло в Вагнере молодого Ницше? Я полагаю, не ореол славы, не олимпийство, но вагнеровский модернизм, вагнеровский дух обновления культуры, вагнеровская независимость. Знакомство с Вагнером, чтение его эстетических произведений — «Искусства и революции», «Оперы и драмы» — вновь пробудили сомнение молодого филолога в правильности избранного пути. Он давно ощущал в себе способность не только глубоко переживать звуки музыки, но слышать голос бытия, его влекло к высшей мудрости существования, а полученное образование приковывало его к ушедшим культурам, ветхим рукописям, праху цивилизаций. Трудно сказать, как сложилась бы судьба молодого филолога, если бы не случай...

Однажды профессор Ричль обескуражил любимого студента вопросом, не желает ли он, его выпускник, получить кафедру филологии Базельского университета? Ницше, еще сам не кончивший курса наук, не имевший научной степени, опубликовавший лишь две статьи в «Рейнском музее», был ошеломлен таким предложением. Как выяснилось, он недооценивал себя. Его статьи обратили на себя внимание, и профессор А. Кисслинг, покидавший Базель, написал своему другу и наставнику письмо с просьбой дать рекомендацию Фридриху

Ницше как возможному его преемнику. Ф. Ричль, давно поверивший в необыкновенные способности своего любимца, ответил, что за 40 лет профессорства не встречал более зрелого и глубокого человека, которому суждено стать звездой немецкой филологической науки. Он даже назвал его гениальным. В рекомендательном письме Ричля читаем:

Среди стольких молодых дарований, развившихся на моих глазах в течение 39 лет, я не знал никого, кто в столь раннем возрасте обладал бы такой зрелостью, как этот Ницше. Если ему суждено долго прожить — дай ему Бог этого! — я предсказываю, что однажды он займет ведущее место в немецкой филологии. Сейчас ему 24 года: он крепок, энергичен, здоров, силен телом и духом... Здесь, в Лейпциге, он стал идиолом всего молодого филологического мира. Вы скажете, я описываю Вам феномен; что ж, он и есть феномен, и притом нисколько не в ущерб своей любезности и скромности.

Судя по всему, молодой Ницше умел производить впечатление, он очаровал не одного Ричля. Рихард Вагнер, гонимый и самый знаменитый немец второй половины XIX века, «едва ли не с первой встречи расслышал в своем 25-летнем друге героические лейтмотивы еще ненаписанного “Зигфрида”»:

Глубокоуважаемый друг!.. Дайте же поглядеть на Вас. До сих пор немецкие земляки доставляли мне не так уж много приятных мгновений. Спасите мою пошатнувшуюся веру в то, что я, вместе с Гёте и некоторыми другими, называю немецкой свободой.

Ницше не подвел ни Ричля, ни Вагнера: занял ведущее место не только в немецкой филологии и стал образцом не только немецкой свободы.

Профессор Ричль действительно верил в славную будущность Фридриха, тревожась только необузданностью и размахом его интересов. Не метайтесь, сдерживайте себя! — таково было напутствие учителя ученику.

Конечно же, сам соискатель кафедры и должности экстраординарного профессора был польщен лестным, редким, если не единственным по тем временам, предложением. Его влекла свобода, самостоятельность, а также возможность ближе познакомиться с Вагнером, жившем с 1866 года в Швейцарии.

Ницше получил диплом без экзаменов. Он подготовил диссертацию о Диогене Лаэртском, однако лейпцигские профессора посчитали неэтичным устраивать экзамен базельскому коллеге — совет факультета пришел к единодушному решению засчитать опубликованные статьи и присвоить выпускнику степень доктора *honoris causa*.

Перед отъездом в Швейцарию молодой профессор гостил у матери в Наумбурге. Семья была в восторге от его успехов: «такой молодой — и уже профессор университета!» Ницше предстояло решить вопрос о подданстве. В связи с переездом в другую страну он перестал быть гражданином Пруссии, но швейцарского гражданства решил не добиваться. Он так и остался «гражданином мира». Видимо, это отвечало характеру его грядущей философии.

Ницше — Герсдорфу, 13 апреля 1869 года:

Вот и пришел последний день моего пребывания у домашнего очага. Завтра уйду в широкий свет, начинаю новое для меня ремесло, вступаю в тяжкую атмосферу обязательств и долга. Пора сказать «прости» золотому времени, когда труд был свободен, каждая минута приятна, когда искусство и мир представлялись нам великолепным зрелищем, в котором мы были зрителями... Это время безвозвратно ушло, теперь наступило царство жестокого бога — повседневного труда.

В автобиографии, представленной в Базельский университет, Ницше писал:

Мне всегда казалось достойным внимания, какими путями приходят именно к классической филологии; полагаю, что некоторые другие науки при их цветущей и удивительной оплодотворяющей силе имеют большее право на приток целеустремленных талантов, чем наша, хотя еще бодро шагающая, но все же там и сям обнаруживающая дряблые черты возраста филология. Я предвижу натуры, которых ставят на этот путь обыкновенные меркантильные интересы... Многими движет прирожденный талант преподавания, но и для них наука — лишь действенный инструмент, а не серьезная цель их жизненного пути, к которой увлеченно стремятся. Есть небольшая группа наслаждающихся эстетикой греческого мира, и еще меньшая, для которой мыслители древности пока до конца не продуманы. У меня нет никакого права причислять себя исключительно к какой-либо из этих групп: ведь путь, приведший меня к филологии, столь же далеко отстоит от практического благоразумия и низкого эгоизма, как и от того пути, по которому несет факел вдохновенная любовь к древности.

Принимая кафедру филологии, Ницше уже думал о философии. В том же письме к Герсдорфу от 13 апреля он признается, что философия Шопенгауэра укоренилась в нем и что свою цель он усматривает в том, чтобы наполнить филологию свежей кровью шопенгауэровской философии: «Я хотел бы быть чем-то большим, чем педагогом добродетельных ученых, я должен заботиться о грядущем поколении». «Если уж мы должны выносить нашу жизнь, то постараемся, по крайней мере, прожить ее так, чтобы после желанной смерти (шопенгауэровский мотив!) мы могли рассчитывать на уважение!»

По дороге из Наумбурга в Базель Ницше посетил Кёльн и Бонн, спустился по Рейну до Бибериха, затем железной дорогой добрался до Висбадена. Он посетил также Гейдельберг, целый день прогуливался по улицам центра германской культуры, затем сел в поезд до Базеля. В поезде он узнал, что в Карлсруэ дают «Мейстерзингеров». Он вышел в Карлсруэ, дабы еще раз насладиться Вагнером. На следующий день Ницше покинул Германию. 19 апреля 1868 года он сошел на вокзале Базеля. Начался новый этап жизни — в качестве базельского профессора.

ОХОТНИК ДО ЗАГАДОК

Кто подвергается нападкам со стороны своего времени, тот еще недостаточно опередил его — или отстал от него.

Ф. Ницше

Трудно придумать большую несовместимость, нежели словосочетание «профессор Ницше». Человек, рожденный для «переоценки всех ценностей», воплощение ищущего духа и свободомыслия, окунувшись в рутинную жизнь лектора, скоро ощутил себя прикованным к галере. Ежедневные лекции в университете и гимназии «Педагогиум», где он читал греческий, вызывали у него приступы депрессии, отвращения к филологии и к науке вообще. Свидетельство тому — набросок, сделанный в первый год профессорства:

Цель науки — уничтожение мира... Доказано, что этот процесс происходил уже в Греции: хотя сама греческая наука значит весьма мало. Задача искусства — уничтожить государство. И это также случилось в Греции. После этого наука разложила искусство.

Сближение Ницше и Вагнера, в ту пору «родственных душ» (несмотря на значительное различие в возрасте), во многом объясняется стремлением первого «превозмочь» судьбу. Рихард Вагнер, недавно женившийся на женщине выдающегося ума и красоты Козиме Бюлов, дочери Листа и жене его первого ученика, выдающегося пианиста и дирижера Ганса Гвидо фон Бюлова (Вагнер буквально похитил ее у первого мужа), в это время жил в Трибшене, что близ Люцерна, в паре часов езды от Базеля. К ним-то и решил направить свои стопы молодой профессор, в памяти которого было свежо воспоминание о встрече с Вагнером в Лейпциге.

Ницше удачно выбрал время встречи: Вагнер переживал депрессию, связанную с «глухотой современников», и находился в состоянии самоизоляции от «общества». Ведя затворническую жизнь, уйдя в работу над «Кольцом Нибелунгов», он встретил Ницше как долгожданного друга — ему не хватало общения, еще больше — почитания, которое он надеялся обрести в лице одаренного профессора с мягкими манерами, тихим голосом и влюбленными глазами. Никто не знает, о чем они говорили в тот день, гуляя по живописному берегу Фирвальдштетского озера, однако эта встреча положила начало дружбе двух антиподов — по характеру, возрасту, мировидению, духовному складу.

Д. Алеви:

Удовольствию Ницше не было границ. Уже давно его мучила жажда любви, обожания, жажда слушать кого-нибудь. До сих пор он не мог удовлетворить своего желания, так как не встречал человека, достойного быть его учителем. Наконец-то он нашел человека, в отношении которого никакая любовь, никакое обожание не покажутся чрезмерными. Ницше был всецело увлечен этим чувством и решил стать верным последователем гениального отшельника, бороться вместе с ним против инертной толпы, против Германии с ее университетами и церквами, парламентом и двором. Какое впечатление произвел он на Рихарда Вагнера? Без сомнения, Вагнер был тоже счастлив этой встречей; с первого знакомства он открыл в своем друге необыкновенное дарование. Он мог говорить с ним не таясь, мог слушать правду другого. Как мало людей доставляли ему эту радость!

Вагнеру пришлось по душе свободомыслие и глубина молодого друга. В одном из писем к Ницше он так и писал: «Спасите мою упорную «веру» в германскую свободу, как я ее называю вместе с Гёте...». Характер отношения Ницше к Вагнеру периода встреч в Трибшене явствует из его писем друзьям:

Вагнер воплощает в себе идеальный тип человека: у него изумительно богатый, великий ум, поразительно энергичный характер; этот очаровательный человек достоин любви, он горит желанием знать все.

Никто в мире не знает его и не может судить о нем, потому что весь мир покоится на чуждых ему основах и теряется в атмосфере его творчества. В душе Вагнера царит такой абсолютный идеализм, такая глубокая и трогательная человечность, что я чувствую себя около него как бы в присутствии божества...

Ницше тянется в Трибшен, ему здесь всегда рады, с Вагнером они обмениваются рукописями, мыслями, обсуждают идеи и замыслы, слушают музыку. «Гибель богов» рождалась на глазах Ницше, именно ему Вагнер вручил рукопись с просьбой отпечатать первые 12 экземпляров. Ницше выполнял и другие семейные поручения. Поездки в Люцерн милы сердцу Ницше еще по одной, глубоко скрываемой причине. Он тайно влюблен в Козиму Вагнер, «как бы в присутствии божества» вполне может относиться не только к Вагнеру, но и к ней...

Нам еще предстоит выяснить, какую роль играли женщины в жизни Ницше — это сложная, все еще нерешенная проблема. Но с Козимой Вагнер как будто все ясно — для него она уникальное сочетание друга и божественной Софии, недоступное небесное создание, с которым можно общаться, перед которым можно благоговеть...

Первые годы в Базеле, за исключением рутины профессорства, можно считать удачными для Ницше. Он имел успех у базельской публики, ходил, что называется, в молодых гениях. В доме Вагнера чувствовал себя своим, приобрел новых знакомых и друзей, начал работу над книгой, которая, как впоследствии

оказалось, стала переломным моментом в европейской филологии — я имею в виду «Рождение трагедии из духа музыки».

Книга эта выростала под влиянием двух кумиров — Гёте и Вагнера, но не как наследие их идей, а скорее — сам Ницше, возможно, этого еще не осознавал, — как контроверза им. С легкой руки Гёте в европейской культуре господствовало мнение о светоносности «детства человечества», эллинизма. Возможно, один Гёльдерлин рисовал иную Элладу, темную стихию Эмпедокла, сумрак и отчаяние Гипериона, несовместимость сократовского оптимизма с его трагическим концом. За александрийством Гёте Ницше рассмотрел именно это, гёльдерлиновское, темное начало, которое, как ему тогда казалось, вполне отвечает искусству Вагнера. Именно Вагнеру он изложил свое видение проблемы, лестное для учителя, представшего в книге в роли нового Эсхила: в одном из писем этого периода напрямик задается вопрос, будет ли вагнеровское искусство побеждено так же, как, в свое время, трагедия Эсхила?

Надо обновить идею эллинизма, поскольку мы пользуемся ложными послылками. Мы говорим о «радости», о «эллинской ясности», а на самом деле эти радость и ясность — лишь несозревшие плоды скудного знания, веков рабства. Тонкость Сократа и мягкость платоников уже несут на себе следы последующего упадка. Надо изучать древнюю поэзию шестого и седьмого веков. Тогда только можно прикоснуться к наивной мощи, к изначальному живительному соку Эллады. Между поэмами Гомера — эпосом ее детства, драмами Эсхила, произведениями ее зрелости, Греция путем огромных усилий овладевает своими инстинктами и своим характером. Вот времена, достойные изучения, так как в них много сходства с нашим веком. Греки верили в то время, подобно современным европейцам, в фатализм естественных сил, в то, что должно самим себе творить и добродетель и богов. Их воодушевляло чувство трагического, смелый пессимизм, не отвращавший их от жизни. Между греками и нами (имеется в виду Вагнер) можно провести полную параллель: пессимизм и мужественная воля созидания новой (имеется в виду — трагической) красоты.

Позже Ницше печатно признается в ошибочности параллели Эсхил — Вагнер, пожалеет, что вплел в «Рождение трагедии» современность [Вагнера], но пока дионисийская стихия захлестывает древность и оттуда — волей автора — переносится в творения Вагнера, в ту же «Гибель богов».

Ницше — Герсдорфу:

Этой зимой я должен прочесть две лекции об эстетике греческих трагиков, и Вагнер приедет из Трибшена слушать меня.

Вагнер не приехал, у маэстро не оказалось времени, но Ницше собрал многочисленную публику, мало что смыслящую в дионисийском и аполлоновском началах, трагическом мирозерцании и рождении трагедии из борьбы сил жизни и порядка.

Во второй лекции речь шла о совращении юношества Сократом, соблазнении им Платона и уходе цивилизации с верного пути правды жизни на порочную стезю упадка, вызванного рассудочностью и разрушением веры. Бездельник Сократ, не умевший писать и говорить, юродивый, задиравший прохожих, циник и пустомеля, разрушил великие мифы, таинства и искусства, соблазнил человечество химерой «торжества разума», иллюзией мировой гармонии и порядка.

Как реагировал на лекции Ницше отсутствующий на них «революционер» Вагнер? Во-первых, посоветовал «не сломать себе шеи». Во-вторых, отказался от участия в совместной борьбе с «сократизмом» по причине отсутствия времени. Тем не менее он посоветовал Ницше, если последний тверд в своих намерениях, собрать все свои аргументы по обоснованию «дерзких взглядов» в большую, пространную книгу. «Только тогда вы найдете себя и скажете истинное слово о божественных ошибках Сократа и Платона; ведь, несмотря на то, что мы отворачиваемся от них, мы все же не можем не обожать этих чудесных учителей».

Ницше конечно же нуждался в духовной поддержке старшего друга, но можно ли расценивать реакцию Вагнера как поддержку? Вагнер учил Ницше осторожности и половинчатости, что свидетельствовало о полном непонимании ни характера, ни масштаба младшего друга.

Молодой Ницше мало интересовался политикой, почти не читал газет, но известие о Франко-прусской войне 1870 года воспринял как удар грома: «Точно какой-то ужасный демон обрушился на всю нашу вековую культуру». В письме, адресованном Э. Роде, он пишет о европейском крахе: «Что значат теперь наши желания! Может быть, мы присутствуем при начале конца? Какая пустыня кругом... Единственное спасение в отшельническом уединении, и мы с тобой будем первыми монахами».

В начале войны он ведет себя действительно как отшельник — лето проводит в горном пансионе, занимаясь древнегреческой лирикой. Но 7 августа приходит сообщение из Ворса об огромных потерях германских войск, и Ницше внезапно принимает решение принять участие в военных действиях.

Несмотря на попытки Козимы Вагнер отговорить его от глупой затеи, он подает прошение об отпуске, дабы принять участие в военных действиях. Нейтральное правительство Швейцарии запрещает Ницше участие в боях, разрешив лишь службу в санитарном отряде. Окончив ускоренные санитарные курсы, 2 сентября, в день капитуляции армии Мак-Магона под Седаном и пленения императора Наполеона III, Ницше прибыл в Мец, где разместился огромный госпиталь раненных под Марс-ла-Тур, Сен-Прива и Седаном. Количество жертв войны столь велико, что их не успевают лечить, солдат косят инфекции и раны. Кратковременное пребывание «фельдшера»-профессора во Франции подтвердило любимое его изречение: «Страдание — самый скорый способ постижения истины». Ужасы войны Ницше узрел по ее плодам. Получив приказ сопровождать 11 раненых и больных, Ницше санитарным поездом возвращается в Германию. Трое суток в товарном вагоне он выхаживает больных диф-

теритом и дизентерией по пути в Карлсруэ. Как говорится, страдание всегда достоверно, эту достоверность он теперь постигает не из древних книг, а на собственном опыте.

«Боевой опыт» Ницше, внезапно заболевшего патриотизмом, длился недолго — он заразился дифтеритом и дизентерией, и первый санитарный вояж стал для него последним. Несколько недель на фронте, по его словам, составили целую эпоху в жизни: он чуть не умер ради принципов, правда, не вполне ясных. Ему довелось узреть не героику войны, а «кровь, грязь, хрупкость человеческого существа»: «Атмосфера, в которой я находился, осталась висеть надо мной, как черный туман, мне все время чудятся несмолкаемые стоны и жалобы».

Вернувшись после выздоровления в Наумбург, под свежим впечатлением трагических событий войны Ницше берет за рукопись своей первой книги. Пережитое он облекает в формулу трагического: «Трагический человек — это сама природа в высшем напряжении своего творчества и сознания, такой человек играет со страданием». У него даже возникает мысль назвать книгу «Трагический человек». Она будет построена на триаде: трагическое искусство — трагический человек — трагическое государство.

Война открыла Ницше глаза: когда вся Пруссия ликовала после победы под Мецем и пленения французской армии, Ницше писал Герсдорфу:

Я боюсь, что за наши чудесные национальные победы мы должны будем заплатить такой ценой, на которую я никогда не соглашусь. Говоря откровенно, я думаю, что современная Пруссия — в высшей степени опасна для культуры. Наша трудная задача состоит в том, чтобы сохранить философское спокойствие среди всей этой суеты и зорко следить за тем, чтобы никто воровским образом не расхитил достояние культуры, так как она ни с чем несравнима, даже с военной героикой, даже с высоким национальным подъемом.

У Ницше были основания для этих слов. В упоении побед Германия забыла о чествовании столетия со дня рождения ее величайшего гения — Бетховена. Вспомнил об этом единственный человек — Рихард Вагнер. В дни упоения военной победой Вагнер пишет, что подлинной национальной гордостью Германии является память о великом Бетховене. «Немцы, вы мужественны, — пишет Вагнер, — оставайтесь же такими и во время мира». Слова эти глубоко взволновали, по крайней мере, одного немца, который, не успев еще вполне выздороветь, помчался к Вагнеру.

Свидание со старшим другом охладило его пыл. Вагнер, великий во время мира, во время войны изменился к худшему. Победы германской армии над французами были для него мстостью за освистанную «лягушатниками» музыку его, Вагнера, в Париже. Вагнер вульгарно радовался победам пруссаков и горел воодушевлением. Ницше, познавший цену этих побед, возвращался в Базель с чувством досады — возможно, именно тогда он впервые узрел в кумире обычного прусского филистера.

Разрушение Парижа, пожар в Лувре в майские дни 1871 года Ницше воспринял как собственную вину, как собственную неспособность достучаться со своими предостережениями до сильных мира сего.

Преступлением было для Ницше состояние умов современников, их безответственность, равнодушие, общепринятые ценности, тотальная фальшь. Человеческая усредненность, конформизм, безмыслие — вот что крушит памятники и музеи, рождает безответственность, трусость, духовное рабство.

Парижские события укрепили Ницше во мнении, что без элиты, иерархии, дисциплины невозможно существование культуры. Красота создана избранными для избранных, масса не нуждается и не воспринимает ее. Черни красота не нужна, чернь довольствуется малыми радостями жизни. Только иерархия гарантирует общественную стабильность и обеспечивает избранным возможность творить красоту.

По возвращении в Базель Ницше близко сошелся с коллегой по университету, историком Якобом Буркхардтом, одним из немногих в Европе увидевшим Франко-прусскую войну под углом зрения милитаристской опасности, грозящей Европе. Буркхардта пугал выход на военную арену истории многомиллионных наций, возможность гегемонии Германии его ужасала. По словам Д. Алеви, всем планам Бисмарка и Кавура он предпочитал совет Аристотеля сохранить полисный мир: число граждан не должно превышать десяти тысяч, иначе они не поместятся на агоре¹.

В лекции Я. Буркхардта «Историческое величие», на которой присутствовал Ф. Ницше, речь шла о тщете военных триумфов пред протестантскими добродетелями и величием труда:

Сколько было могущественных держав, забытых историей, и по справедливости достойных такого забвения. Гораздо реже можно видеть историческое величие; оно заключается всецело в творчестве великих людей. Так, неизвестный строитель оставил человечеству Нотр-Дам де Пари, Гёте подарил нам «Фауста», Ньютон — закон о Солнечной системе. Только в таких делах и заключается истинное величие.

Ницше и Буркхардт часто встречались и много беседовали на темы культурных традиций, будущего Европы, опасностей, поджидающих ее в виде социализма, милитаризма, шовинизма. Под влиянием Буркхардта Ницше окончательно излечился от угара патриотизма. В записи этого периода он сообщает о своем стремлении уйти «из-под влияния чуждой культуре Пруссии»: «Лакеи и попы вырастают в ней, как грибы, и наполняют своим чадом всю Германию».

К друзьям Ницше базельского периода следует отнести также филолога Мэйли, историка церкви Овербека, философа-кантианца Генриха Ромундта. С двумя последними Ницше жил в одном доме, получившем среди базельцев

¹ Площадь в греческих полисах для демократических собраний «свободнорожденных».

прозвание «ядовитая хижина». По словам Буркхардта, Ницше был замечательным учителем, умевшим увлекать молодые души.

То ли под влиянием Буркхардта, то ли — ностальгических воспоминаний о юности, проведенной в Пфорте, то ли — в противовес замыслу Рихарда Вагнера создать байрёйтский театр — Ницше посещает идею, к которой он будет затем множество раз возвращаться на протяжении своей жизни, идея, надо сразу признать, утопическая: создать свой Пор-Рояль, новый незримый университет, кружок единомышленников, свободно обсуждающих вдали от жизненных бурь проблемы культуры, философии, воспитания нации. Планируемые участники «монастыря», «общества анахоретов» — это друзья Ницше: Роде, Герсдорф, Дёйссен, Овербек, Ромундт. Цель — очевидна: «Мы образуем новую греческую академию».

Свой замысел Ницше раскрыл в записях и письмах к друзьям:

Современное анахоретство — это, конечно, странное зрелище, порожденное эпохой победоносной войны; ведь это — свидетельство полной невозможности жить в согласии с государством.

Я наконец понял, что говорил Шопенгауэр об университетской философии. В этой среде неприемлема никакая радикальная истина, в ней не может зародиться никакая революционная мысль. Мы сбросим с себя это иго; я, во всяком случае, решил так поступить.

Постараемся доплыть до того маленького острова, где уже больше не придется затыкать уши воском. Мы будем там учителями друг друга. Наши книги с этого дня станут удочками, с помощью которых мы будем привлекать к себе друзей в нашу эстетическую, и монашескую ассоциацию. Будем работать и услаждать друг другу жизнь, и только таким образом мы сможем создать «общество»... Короче, мы не будем пренебрегать никакими легальными средствами, чтобы достигнуть нашей цели — основать монастырь.

Почему Ницше раз за разом обращался к своей утопической идее «апостольского братства», «монастыря», общины высоколобых, фаланстера духа? Я напому лишь некоторые попытки такого рода:

— идея создания «Общества несвоевременцев», «братского союза учеников и учителей» в 1873 году, после окончания работы над первым эссе «Несвоевременных размышлений»;

— план г-жи Мейзенбург, Ф. Ницше, П. Рэ и А. Бреннера организовать «школу воспитателей» в Сорренто в 1876 году. Они даже занялись поисками природных гротов для новой школы перипатетиков, и Ницше написал тогда сестре: «Моя идея о школе воспитателей или, если хочешь, о современном монастыре, идеальной колонии, свободном университете, все время носится в воздухе... В своем воображении мы уже назначили тебя экономом, администратором нашего общежития на сорок человек»;

— в августе 1884 года идею создания «идеального монастыря» воскресил Генрих фон Штейн, молодой писатель, посетивший автора «Заратустры»

в Сильс-Мариин. Он приехал к «отшельнику» только на три дня, но и этого хватило для того, чтобы Ницше, успевший оборвать свои дружеские связи, уверовал в возможность обрести новых перипатетиков;

— в октябре 1884-го то же повторилось — под влиянием Пауля Ланцкого, молодого литератора, разыскавшего Ницше в Генуе. Ему он тоже рассказал о планах основания фаланстера по типу эмерсоновского. Здесь, на полуострове Св. Жана, говорил Ницше пророческим тоном, *мы раскинем наши палатки*.

Мысля историческими категориями, Ницше аргументировал необходимость «апостольского братства» — ни много ни мало — спасением культуры: «С сотней поднявшихся против современных идей решительных до героизма собратьев наша шумная и затхлая культура будет повержена. Сотня людей в свое время вынесла на своих плечах цивилизацию Ренессанса». Это был как бы «официальный» ответ, но что двигало Ницше внутренне, подсознательно?

Нелегко ответить на поставленный вопрос. Возможно, ему постоянно недоставало человеческой близости, которую он уповал обрести в противоестественной для его душевного склада «коммуне». Возможно, его пугала смелость бродящих в голове идей — необходимо было прикрытие, поддержка духовно близких людей. Возможно, он уже тогда ощущал себя схолярхом и жаждал своего Ликея. Возможно, таким образом он уповал на возможность замены семьи братством...

Каковыми бы ни были побуждения Ницше, каждый раз затея терпела вполне естественное фиаско, и каждый раз вполне естественный отказ друзей «уйти в монастырь» вызывал у него огромную душевную травму.

Э. Роде — Ф. Ницше:

Ты говоришь, что теперь нужны монастыри — я верю тебе. Но в жизни есть суровая необходимость, против которой бессильны все средства... Я не чувствую в себе такой творческой силы, которая сделала бы меня достойным того уединения, к которому ты меня призываешь. Допустим, у нескольких друзей появится желание уединиться в обители муз. Что же станет с нами, когда пройдет этот порыв?

Таковыми каждый раз были ответы всех выбранных им претендентов в монахи, но Ницше остался глухим к их естественной аргументации, возможно, воспринимал отказы как акты предательства. Его глухота объяснима лишь глубиной бессознательного желания создать свое апостольское братство. Ницше всегда вдохновлялся открытыми им идеями, эти открытия нередко уводили его далеко от реальности, лишали трезвости, превращали в экстремиста. Но здесь нечто другое, более глубокое и таинственное...

В начале 1871 года Ницше предпринимает неудачную попытку перейти на кафедру философии Базельского университета, предложив на свое место Эрвина Роде. Мы не знаем всех мотивов такого решения — не последним было желание видеть своего ближайшего друга рядом. Попытка не удалась: у Ницше не было имени в философии, да и руководитель кафедры К. Стеффенсен впол-

не соответствовал шопенгауэровским представлениям об университетских философах. Кандидатура Ницше была провалена, и из всего этого он вынес лишь горечь, связанную прежде всего с вовлечением в авантюру своего друга. Он давно уже ощущал себя нездоровым, а события войны, провал инициатив, близящийся переезд Вагнера из Трибшена в Байрёйт — все это привело к первому серьезному кризису.

Д. Алеви:

Ницше на протяжении всей своей жизни не мог оправиться от впечатлений и последствий войны: к нему уже никогда не возвращался ни спокойный сон, ни прочное здоровье. Его поддерживала только нервная энергия, но в феврале и она внезапно покинула его. Присущая ему и раньше душевная депрессия охватила его в самой острой форме. Какова была причина болезненных явлений, мучивших его на протяжении пяти месяцев? Ницше страдал от сильнейшей невралгии, бессонницы, расстройства зрения, боли в глазах и желудке, разлития желчи. Врачи, не разобравшись в причинах его болезней, посоветовали ему предпринять какое-нибудь путешествие и настаивали соблюдать покой. Ницше выписал сестру из Наумбурга, поехал с ней в Трибшен, нанеся последний визит, и затем отправился с ней в Лугано.

Здесь уместно отступление о событиях в Трибшене. Еще в начале 1870 года возникла идея создания для Вагнера театра в Байрёйте. Идея принадлежала королю Баварии, дом в Трибшене наполнился новыми людьми, места для Ницше здесь оставалось все меньше. Вагнеру никогда не хватало деликатности, теперь же, на пороге славы, упоенный признанием и обществом почитателей, он все меньше замечал молодого человека с категорическими суждениями и бескомпромиссной правдой. Ницше был нужен Вагнеру-отшельнику, с ним было интересно проводить время. Теперь его ждали «великие дела», он готовился к роли «национального героя», и Ницше становился опасен. Видимо, сам Ницше, обладающий обостренным чутьем ясновидящего, почувствовал перемену задолго до ее явных проявлений — и она лишь добавила хвороста в сжигавший его огонь, которому однажды удалось вырваться наружу..

Пока же он в дилижансе пересекал Сен-Готардский перевал (железная дорога через Альпы тогда еще не была построена¹). Позже эта точка на карте станет его точкой бифуркации — в своем бегстве от самого себя он многократно окажется здесь в поисках спасения.

В Лугано Ницше приехал почти выздоровевшим: ему для этого было достаточно красивого перевала, снеговых вершин и горной тишины. Его натура была еще по-прежнему по-юношески восприимчивой, и возвращение к жизни совершалось быстро и радостно. Он прожил в Лугано два приятнейших месяца.

¹ Прокладка Сен-Готардского туннеля в Лепонтинских Альпах началась в 1872-м и завершилась в 1880 году.

Из Лугано Ницше пишет Э. Роде:

С каждым днем я все больше ухожу в область философии и обретаю веру в себя; более того, если мне суждено сделаться некогда поэтом, то именно с этого времени я встал на этот путь. Я не знаю, не могу знать, по какому пути поведет меня моя судьба, и, тем не менее, анализируя себя, вижу, как мое внутреннее существо делается все гармоничнее, точно под влиянием посетившего его какого-то доброго гения.

Альпы разбудили в Ницше глубоко дремавшего в нем философа и поэта. В Базель он вернулся готовым опубликовать свою первую книгу, единственную, дописанную им до конца. Он имел возможность и время окончательно продумать план, выбросить всё лишнее и взять на вооружение небескорыстный совет Вагнера представить античную трагедию как образец германской музыкальной драмы. Позже Ницше сожалел, что пошел на поводу у своего учителя, тем самым придав его творчеству оттенок дионисийства. «Рождение трагедии» посвящено Вагнеру и пронизано переплетающимися линиями Диониса—Аполлона и Шопенгауэра—Вагнера.

«До сего времени мы рассматривали аполлоновское начало и его противоположность — дионисийское — как художественные силы: с одной стороны, как художественный мир мечты, завершенность которого не стоит в какой-либо связи с интеллектуальным уровнем или художественным образованием отдельной личности, а с другой — как опьяняющую действительность, которая также не принимает во внимание отдельную личность, а, наоборот, стремится даже уничтожить индивида и заменить его мистической бесчувственностью целого».

Освобождающим из этих символов предстает у Ницше дионисийское начало, как бы помогающее «избыть» страдания кошмарного бытия. Оно становится отныне его постоянным спутником. И как удивительное предвидение собственной судьбы звучат его слова: «Танцую и напеваю, являет себя человек как сочлен высшего сообщества: он разучился говорить и ходить, а в танце взлетает в небеса... в нем звучит нечто сверхъестественное: он чувствует себя Богом, сам он шествует теперь так возвышенно и восторженно, как и боги в его снах». (Именно в таком экстазе полтора десятилетия спустя увидит Овербек уже сошедшего с ума Ницше в Турине.)

Исходя из «метафизики ужаса» Шопенгауэра, Ницше стремился отыскать контрпозицию христианству и находил ее в символе или мифе разорванного на куски Диониса, в раздроблении первоначала на множество отдельных судеб, на мир явлений, называемых им «аполлоновой частью». То первоначало, которое Шопенгауэр назвал волей, есть основа бытия, оно переживается непосредственно и прежде всего через музыку. От прочих видов искусства музыка, по мнению Ницше, отличается тем, что она выступает непосредственным отражением воли и по отношению ко всем феноменам реального мира является «вещью в себе». Поэтому мир можно назвать воплощенной музыкой так же, как и воплощенной волей.

В дни подписания Франкфуртского мира Ницше занимался тем, что «восстанавливал мир внутри себя», приводил в порядок свою книгу. Он писал, что его собственные мысли не менее значительны, чем мировые события, вовлекшие в европейские конфликты миллионы людей. Собственные мысли не менее значительны потому, что именно он предчувствовал и предвидел эти мировые события, аллегорически описал их в книге, внешне посвященной древней Элладе.

Когда в мае 1871 года из Парижа пришли сведения о бесновании народных толп, разрушениях и пожарах, он с рыданиями бросился к Якобу Буркхардту, который тоже предсказал все произошедшее. Они столкнулись на улице, потому что Буркхардт тоже в смятении искал его. Они долго беседовали в кабинете Ницше, прерывая разговор слезами — плачем по человеческой культуре.

Ницше — Герсдорфу:

Нельзя со спокойным самодовольством взирать на результаты войны против культуры и обвинять во всем тех несчастных, которые начали ее. Когда я узнал о пожаре Парижа, то на протяжении нескольких дней чувствовал себя уничтоженным и мучился в слезах и сомнениях. Научная, философская и художественная жизнь показались мне абсурдом, если за один день можно разрушить и уничтожить самые прекрасные творения искусства, даже целые эпохи в искусстве. Я глубоко скорбел о том, что метафизическая ценность искусства не могла явить себя этим несчастным... Но сколь бы великим не было мое горе, я никогда не брошу камня в голову этих святотатцев, ибо, по моему мнению, все мы несем вину за то преступление, над которым стоит думать и думать.

Позже в автобиографических заметках Ницше запишет: «Война: самым большим горем для меня был пожар Лувра».

Судьба, до поры благосклонная к базельскому профессору, проявила свое непостоянство во время Франко-прусской войны: тогда он чудом спасся от смерти, едва не погибнув от дизентерии. К нему даже вызывали священника для предсмертной исповеди. Здоровье его сильно пошатнулось, и после этого он редко ощущал себя полным сил.

Другой удар связан с изданием первой книги. Сознвая поворотный характер этого произведения, Ницше был ошеломлен отказами издателей. В отчаянии он решает напечатать отдельные главы книги в виде журнальных статей. «Я выпускаю в свет мою маленькую книгу по кусочкам, — пишет он Роде, — какое мучительное чувство разрубать на куски живое тело». Ницше чувствует себя униженным: он не сомневался, что книга будет иметь успех, а оказалось, что он не имеет возможности представить ее публике. То, что публика может оказаться равнодушной к его творению, он вообще не допускает.

Осенью 1871-го приходит наконец долгожданное согласие издателя сочинений Рихарда Вагнера опубликовать книгу Ницше, которая появляется на свет в последний день этого же года. Первый экземпляр он направляет Рихарду и Козиме Вагнер. Ответ Козимы краток, но точен: «О, как прекрасна Ваша книга!

Как она прекрасна и как глубока, как она глубока и как она дерзновенна!» Вагнер тоже ответил комплиментами. Восторженно приняли книгу другие друзья — Буркхардт, Роде, Герсдорф, Овербек. Только ради таких оценок стоило жить!

Увы, оценками друзей дело и ограничилось. Никто больше не заинтересовался его книгой, никто ее не покупал, ни один журнал не удостоил внимания. Даже учитель, профессор Ричль, хранил молчание. Когда Ницше попросил его высказать свое мнение, ответ был обескураживающим — суровая, полная осуждения критика. Дабы поддержать друга, Э. Роде направил рецензию на «Рождение трагедии» в один из литературных журналов, но получил отказ. «Это была последняя серьезная попытка защитить меня в каком-нибудь научном издании, — писал Ницше Герсдорфу, — и теперь я уже ничего не жду, кроме зlostных и глупых выходов». Ницше еще надеялся, что будущее человечество оценит его труд, «так как многие вечные истины сказаны там впервые», но очевидно, что он оказался абсолютно не готов к провалу, был обескуражен им, совершенно раздавлен. Подобный прием ему предстоит испытать много раз, но первый провал вместо ожидаемого триумфа оказался особенно болезненным. В те дни он утратил былую уверенность в себе, возможно, именно тогда в нем зародилось то негативное отношение к немцам, которое с огромной силой выразится в последующих его трудах. В записях этого времени бросается в глаза риторический вопрос: «Можно ли надеяться когда-нибудь облагородить человечество?».

Кстати, первая рецензия на «Рождение трагедии» — появившаяся спустя три года после издания книги, опубликована не в немецкой, а в итальянской печати. «Как это символично», — написал тогда Ницше.

Фридрих Ницше — Мальвиде фон Мейзенбург:

Со своим «Рождением трагедии» я сделался самым непотребным филологом сегодняшнего дня и вынудил тех, кто захотел бы вступить за меня, проявлять подлинные чудеса храбрости — настолько все единодушны в желании вынести мне смертный приговор.

Ницше надеялся на восторженный прием «Рождения трагедии», а ожидал его настоящий остракизм. Первой ласточкой стал памфлет У. Виламовица «Филология будущего. Ответ Фридриху Ницше», в котором соученик по Пфорте не пожалел ни самолюбия, ни профессиональной чести однокашника. Ульрих Виламовиц-Мёллендорф был учеником Отто Яна, противника учителя Ницше Вильгельма Ричля. Школа Яна поддерживала винкельмановскую концепцию античной красоты, и, естественно, дионисийская природа греческой трагедии была для нее отказом «видеть сущность эллинского искусства в красоте». Для Виламовица совершенно неприемлемым стало вторжение философии в филологию. Он считал анархической дерзостью реконструкцию сознания аттического человека и тем более попытку Ницше отыскать скрытые силы культуры. С особой иронией и сарказмом Виламовиц реагировал на отождествление античной и вагнеровской музыки. Для него вагнеровское искусство представлялось насилием над ясностью и гармонией музыки. Образцовым ориентиром школы Яна

была музыка Моцарта, а не Вагнера. Нельзя не упомянуть того обстоятельства, что полемика вокруг дионисийского начала во многом свелась не к «Рождению трагедии», а к музыке Вагнера, ибо книга Ницше многим представлялась не столько основополагающим вкладом в филологию, сколько апологией входящего в моду Рихарда Вагнера, революционные эстетические концепции которого многими встречались в штыки. В значительной степени Ницше пришлось принять удар, адресованный его старшему другу. За первой ласточкой потянулись другие. Увы, в желающих бросить в новатора камень никогда не было недостатка. В довершение бед после итальянских каникул 1872 года базельские студенты объявили лекциям молодого профессора настоящий бойкот.

Ф. Ницше — Э. Роде:

Святая Vehme [инквизиция] хорошо исполнила свой долг. Надо жить так, будто ничего не случилось. Но мне жаль, что наш маленький университет страдает из-за меня; за последний семестр мы потеряли 20 слушателей; я с трудом мог начать курс о риторике греков и римлян; у меня всего два слушателя: один — германист, другой — юрист.

Нельзя понять до конца произведения мыслителя, не увязав их с обстоятельствами его жизни. В 1872—1873 годах Ницше работал над эссе о древнегреческих философах¹, но в центре его изысканий находились личные переживания. На что может рассчитывать философ? Удалось хотя бы одному великому мыслителю увлечь за собой свой народ? Вроде бы одному удалось — Эмпедоклу. Но Эмпедокл был больше магом, чем философом, и толпу заражали не его мысли, а его мифы. Впрочем, чем он кончил, печально известно — об этом знает Этна. Пифагору удалось собрать вокруг себя секту. Может ли рассчитывать на большее мудрец?

Ни один из великих философов не увлек за собой народа! Все они потерпели неудачу. Кто же наконец будет иметь успех? На одной философии невозможно основать народную культуру.

Надо полагать, после публикации «Рождения трагедии» Ницше много думал о причинах своей неудачи. Почему пионерская работа оставила глухими не только публику, но даже коллег? Как до них достучаться? В чем состоит жизненная задача мыслителя?

Ницше вряд ли можно считать прожектером. В своей философии он пытался не только не отрываться от реальности, но брал в союзницы самое жизнь. И все же, бросив суровую правду жизни в лицо романтического века, Ницше до конца своих дней не терял надежды, что именно ему дано достучаться до сердец, именно он рожден для сообщения новых истин народу филистеров и ханжей...

Я изучу души моих современников и буду вправе сказать им: ни наука, ни религия не могут спасти вас, обратитесь к искусству, могучей силе

¹ Задуманная Ницше книга «О философах трагической Греции», как почти все его творения, осталась незавершенной; написано было лишь несколько глав.

будущего. «Философ будущего? — восклицает Ницше. — Он должен быть верховным судьей эстетической культуры, цензором всех заблуждений!»

Ницше жаждал овладеть общественным мнением, продемонстрировать возможности смелой, свободной, бесстрашной мысли, а встречал отчуждение, в лучшем случае, глухоту.

Неудача с «Рождением трагедии» не охладила Ницше, не снизила его творческого потенциала и полемического пафоса. В 1873-м он задумал серию эссе, объяснив замысел в письме к Роде:

Для меня крайне важно раз и навсегда извергнуть из себя весь полемически накопившийся во мне негативный материал; сначала я хочу живо пропеть всю гамму моих неприязней, вверх и вниз, причем таким устрашающим образом, чтобы «стены задрожали». Позднее, лет через пять, я брошу всякую полемику и примусь за «хорошую книгу». Но сейчас мне основательно заложило грудь от сплошного отвращения и подавленности. Будет это прилично или нет, но я должен прочистить горло, чтобы навсегда покончить с этим.

Настроения Ницше периода написания «Несвоевременных размышлений» в значительной степени связаны с европейскими событиями и намечающимся переломом в отношениях с Вагнером, с отчаянием Ницше «в связи с Байрёйтом». Надо вспомнить, что поначалу Ницше видел в байрёйтском предприятии Вагнера новый Элевсин, возрождение европейской культуры. Однако, побывав в Байрёйте, познакоившись с тамошней публикой, осознав безучастность к музыке той нации, от которой Ницше ждал появления совершенно новой культуры, стремление самого Вагнера творить «на потребу», Ницше пережил очередной кризис: «Я вернулся из Байрёйта, охваченный такой затяжной меланхолией, что единственным спасением от нее могла мне стать священная ярость».

Что вызвало меланхолию и ярость Ницше? В Байрёйте он имел возможность убедиться в том, что строительство театра, на который возлагалось столько надежд в связи с германским «возрождением», столкнулось с полным равнодушием к проекту самих «возрождаемых». На строительство театра не хватало средств, а все обращения о финансовой помощи наталкивались на глухое молчание. Вагнер обратился к Ницше с просьбой для поддержки своего предприятия составить «лист, написанный в наполеоновском стиле» — нечто в виде Призыва или Обращения к немецкому народу во имя «спасения чести германского духа». Ницше добросовестно выполнил эту просьбу, но его патетический документ не вызвал никакого понимания среди сторонников самого Вагнера. Хотя последний постарался сгладить тягостное впечатление от произошедшего, Ницше уехал оскорбленным и униженным. С этого отказа пошла трещина в отношениях, далеко не столь безоблачных, как это представляется большинством биографов.

«Несвоевременные размышления» задумывались Ницше первоначально в виде двадцати вариаций (тем) единой культурологической проблемы. План этот временами сокращался до тринадцати и увеличивался до двадцати четырех эссе,

но написано было лишь четыре очерка: «Давид Штраус, исповедник и писатель», «О пользе и вреде истории для жизни», «Шопенгауэр как воспитатель» и «Рихард Вагнер в Байрёйте». Первая публикация — 1873 год, последняя — 1876-й. Далее следует характеристика книги, данная много позже самим автором:

Четыре *несвоевременных размышления* являются исключительно воинственными. Они доказывают, что я не был «Иваном-мечтателем», что мне доставляет удовольствие владеть шпагой — может быть, также и то, что у меня очень ловкая рука. *Первое* нападение (1873) было на немецкую культуру, на которую я тогда уже смотрел сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели: сплошное «общественное мнение». *Нет* более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этой культуры или даже в пользу *ее победы* над Францией... *Второе* «Несвоевременное размышление» (1874) освещает опасную сторону, подтачивающую и отравляющую жизнь, в нашем способе научной деятельности: жизнь *больную* от этого обесчеловеченного механизма, от безличности работника, от ложной экономии «разделения труда». *Цель* утрачивается, культура — средство, современная научная система, *варваризируется*... В этом исследовании в первый раз признается болезнью, типическим признаком упадка «исторический смысл», которым гордится этот век. — В *третьем* и *четвертом* «Несвоевременном размышлении», как указание к *высшему* пониманию культуры и к восстановлению понятия «культура», выставлены два самых твердых образа *эгоизма* и *дисциплины своего я*, несвоевременные типы *par excellence*, полные суверенного презрения ко всему, что вокруг них называлось «Империей», «образованием», «христианством», «Бисмарком», «успехом», — Шопенгауэр и Вагнер *или*, одним словом, Ницше.

На фоне всеобщего подъема немецкого духа после победы над Францией, некогда названного Гёте историческим энтузиазмом, на фоне торжества «немецкой истории», под звуки литавр национального триумфа Ницше выразил сомнение в том, что победоносная война возвещает расцвет культуры. Творимая гениальными одиночками культура никоим образом не связана с массовыми движениями. Национальный меркантилизм, научный рационализм и стремление государства руководить культурой ведут последнюю не к расцвету, но к упадку. Путь к истинной культуре, определяемой Ницше как «единство художественного стиля во всех проявлениях жизни народа», связан с возникновением подобных Шопенгауэру и Вагнеру гениев, сочетающих в себе философа, художника и святого.

Наука будущего должна стать художественной, энергичной, пылкой, а не книжной. Из нее придется изгнать серость и анонимность, а заодно и тех «господ профессоров», для которых она — кусок хлеба. Ницше подвергает уничтожительной критике книгу «Старая и новая вера», главным образом, за одностороннюю рассудочность воспитания юношества.

Если говорить о генеральной задаче книги, то это — действовать «против духа современности, и тем самым на современность» и, как надеялся автор, «в пользу грядущего времени».

В эссе «О пользе и вреде истории для жизни» мы обнаруживаем тему, развитую позже в философии жизни: торжества жизни над абстрактными построениями. Отвечая на вопрос: «Как подчинить знание жизни?» — автор полагает, что история постольку и нужна, поскольку служит жизни. Не рассудочность, а пластическая сила человека творят историю. Если сама история спонтанна, должен ли историк втискивать произошедшее в жесткие формы «науки»?

Здесь впервые виден намек на знаменитое учение Ницше о *декадансе*, играющее такую большую роль в его позднейших произведениях. И не без основания это первое указание на опасности декаданса напоминает описанную нами раньше картину его собственного душевного состояния. Уже здесь мы видим психологическую основу его теории: она заключается в тайной муке, которую испытывал этот страстный дух под напором осаждающих его идей и новых течений мысли, в силе, с которой все его мысли и все познания действовали на его внутренний мир, так что обилие внутренних борющихся между собой душевных явлений грозило сломать замкнутые границы его душевного мира. Он говорит сам в предисловии одной своей книги: «Также не следует забывать, что факты, возбуждающие во мне те мучительные ощущения, я черпал большей частью из своей внутренней жизни, и только для сравнения брал у других». То, что он находил в самом себе, превращалось в его глазах в общую опасность для всей современной эпохи — и впоследствии даже возведено было им в смертельную опасность для всего человечества, взывающего к нему как к своему избавителю.

«Несвоевременные размышления», которые с первого взгляда можно еще рассматривать как панегирики учителям Ницше, в своей глубине содержали грядущий разрыв с ними. Уже в этой работе в полной мере проявился нонконформизм «несвоевременного мыслителя», который, чем дальше, тем больше, будет обострять его отношения с публикой и друзьями.

Публикация «Несвоевременных размышлений» вызвала противоречивые отзывы. Якоб Буркхардт считал, что книга «увеличила независимость в мире», в пользу автора высказались Ганс фон Бюлов, Бруно Бауэр, Карл Гильдебрандт. С другой стороны, в одной из немецких газет Ницше назвали «врагом Империи и агентом Интернационала». Больше всего Ницше обескуражила смерть Давида Штрауса, умершего через несколько недель после публикации первого памфлета: без каких-либо на то оснований Ницше укорял себя, что своим памфлетом доконал старика.

В «Несвоевременных размышлениях» уже просматривается будущий безоглядный Ницше, в одиночку выступающий против общественного мнения. Могли рассчитывать на успех идеалист, бросающий вызов не только тысячам профессоров, но нации в целом? Показательна реакция Трейчке на просьбу Овербека поддержать друга:

Ваш Базель — это какой-то «будуар», откуда позволяют себе оскорблять немецкую культуру.

Какое громадное несчастье для тебя [Овербека], что ты встретил этого Ницше, этого помешанного, навязывающего нам свои «несвоевременные размышления» в то время, как он сам пропитан до мозга костей самым ужасным из всех пороков — манией величия.

Следует признать, что даже ближайшие друзья Ницше — Овербек, Роде, Герсдорф, — пытавшиеся сгладить тягостное состояние подавленного неудачами Ницше, не осознавали ни мощи его таланта, ни степени его отчаяния. Овербек грустно констатировал: «Чувство одиночества, переживаемое нашим дорогим другом, мучительно возрастает с каждым днем. Непрерывно подрубать ту ветку, на которой сам сидишь, опасно — рано или поздно это приведет к печальным результатам».

При всем трагизме отношений с матерью и сестрой, Ницше относился к самым близким людям со всей неизрасходованной нежностью трепетной души. Человеку, знавшему в жизни так мало тепла, хотелось находить его под крышей дома в Наумбурге. Его постоянно тянуло в родительский дом, где он мог вновь почувствовать себя ребенком даже тогда, когда в нежных и ласковых письмах к матери называл себя «*твоим старым созданием*».

Д. Алеви:

...Мать и сестра внушали ему [Ницше] сложное, не поддающееся анализу чувство. Он любил их, потому что это были его родные и потому что был нежен, верен и бесконечно чувствителен к воспоминаниям детства, но вместе с тем каждая его мысль, каждое его желание отдаляли его от них, и ум его презирал их.

Новый 1874 год Фридрих Ницше встречал в Наумбурге. Ему требовалось восстановить силы, оправиться от болезни. Он любил праздничный отдых в кругу близких и в юности привык под сочельник подводить итоги или составлять планы на будущее. Пока итоги были плачевны. Он вступал в год своего тридцатилетия отверженным, униженным, непризнанным. Последние годы жизни он посвятил служению своему старшему другу, но что им обоим дала эта дружба? Он все чаще задумывается над тем, что за человек этот Вагнер, что значит его искусство, не является ли оно великолепным, но больным цветком самого антихудожественного из времен?

Спросим себя по существу, в чем состоит ценность того времени, которое считает искусство Вагнера своим. Время это глубоко анархично, оно задыхается в погоне за благополучием, нечестиво, завистливо, бесформенно, беспочвенно. Оно легко впадает в отчаяние, лишено наивности, до мозга костей рассудочно, чуждо благородства, склонно к подлости и насилию. Искусство наскоро, кое-как соединяет в себе всё, что способно привлечь взоры в наших современных немецких душах: человеческие

характеры, всевозможные знания — все собирается в одну кучу. Поистине чудовищно пытаться утвердиться и завоевать чьи-либо симпатии в такое антихудожественное время. Это все равно, что давать яд против яда.

Ницше гнетет, с одной стороны, общественная глухота, окружающая его собственные творения, а с другой — все более восторженное отношение публики к Вагнеру, идущему ей «на потребу». Это не зависть отверженного к прославленному, это — горькое чувство несправедливости, которое довелось в большей или меньшей мере испытать всем гениям, далеко опередившим свое время, осознавшим свое лидерство и пережившим изгойство. Однажды, в минуту уныния и тоски, он изливает переполняющие его чувства другу-олимпийцу и какое же получает утешение? Вагнер называет его ипохондриком и советует обрести женское общество, лучше — жениться. Пантагрюэль дает советы Панургу...

Страдания, вызванные холодным приемом его произведений, усиливались лямкой, которую приходилось тянуть базельскому профессору. Чтение лекций становилось все более тягостным, преподавание он называл не иначе, как «проклятая университетская работа», мечтая об уединении в месте, где можно «дожить оставшуюся жизнь и писать хорошие книги».

Удары поджидают Ницше и там, где он их совсем не ожидает. Он всегда высоко ценил дружбу, верил друзьям, но вся его жизнь была чередой предательств. Именно так он воспринял известие о пострижении Ромундта, долго скрывавшего от друзей свою глубокую религиозность. Подобным образом Ницше встретил известие о намерении Вагнера написать христианскую мистерию — «Парсифаля». Внутри самого Ницше уже шла огромная духовная работа по «переоценке ценностей», а его близкие друзья по-прежнему отдавали предпочтение Лютеру и святому Граалю. Больше всего Ницше сокрушало отступничество именно тех людей, на которых он возлагал надежды как на единомышленников, с которыми делился опасными идеями. Может быть, именно собственной суровой безоглядностью он спровоцировал их? Может быть, именно на нем лежит ответственность за постыдное пострижение Ромундта в монахи?

Ницше хотел вернуть к жизни, переубедить своего друга, но споры оказались бесполезными. Ромундт твердо стоял на своем. В назначенный срок он уехал. Вот как Ницше описал Герсдорфу его отъезд:

«Было невыносимо тяжело... В самый последний момент меня охватил настоящий ужас... я слег в постель и тридцать часов подряд мучился сильнейшей головной болью и приступами тошноты».

Потрясение действительно оказалось сильным, послужив началом длительного кризиса. Ницше был вынужден вновь уехать из Базеля в горы. «Пришли мне слова утешения, — писал он в эти дни Э. Роде, — может быть, твоя дружба поможет мне пережить постигший меня удар». Не правда ли, так пишут, когда лишаются любимого человека?..

Сестра Ницше, проведшая весь март в Байрёйте у Вагнера, ужаснулась при виде своего брата. Казалось, что тень Ромундта преследовала его повсюду. «Жить все время под одной крышей, быть такими друзьями и прийти к такой развязке! Это ужасно!» — повторял он непрестанно.

У Ницше были и другие поводы для переживаний. Шел июль 1875 года, приближалось время, назначенное для репетиции тетралогии Вагнера, все друзья были всецело поглощены приготовлениями к байрёйтским торжествам, а Ницше именно в это время уже носил в себе бомбу — готовящийся втайне выпад против учителя. В эти дни он писал, что для него наступило время молчания, но молчать он тоже не мог, еще сильнее раскачивая ладью собственного «я» на волнах беспокойного океана бушующего духа.

Я много поносил моих современников, а между тем я сам принадлежу к их числу; я страдаю вместе и одинаково с ними ради чрезмерности и беспорядочности моих желаний. Если мне суждено быть мучителем этого поколения, то сначала я должен побороть самого себя и подавить в себе всякое сомнение; для того, чтобы победить свои инстинкты, я должен знать их и уметь их судить, я должен приучить себя к самоанализу. Я критиковал науку и восхвалял вдохновение, но я не анализировал, не исследовал источников этого вдохновения — над какую же пропасть я ходил! Меня извиняет моя молодость; я нуждался в опьянении; теперь молодость моя прошла. Роде, Герсдорф, Овербек в Байрёйте; я им завидую и вместе с тем жалею их, так как они уже вышли из того возраста, когда витают в мечтах, и не должны были бы находиться там. Чем именно я теперь займусь? Я буду изучать естественные науки, математику, физику, химию, историю и политическую экономию. Я соберу громадный материал для изучения человека, буду читать старинные исторические книги, романы, воспоминания и эпистолярии... Работа предстоит трудная, но я буду не один, со мною постоянно будут Платон, Аристотель, Гёте, Шопенгауэр; благодаря моим любимым гениям я не почувствую ни тяжести труда, ни остроты одиночества.

Постановка тетралогии Вагнера была назначена на лето 1876 года. Дурные предчувствия мучили Ницше уже с начала этого года: «Я совершенно измучился от тоскливого неумолимого предчувствия, что после моего разочарования [Вагнером] мое недоверие к себе возрастет еще сильнее, чем раньше, что я еще глубже буду презирать себя, что я буду обречен на еще более жестокое одиночество». Ницше давно осознал, что его здоровье тесно связано с настроением, настроение же неумолимо портилось от давно носимой в душе обиды на Вагнера за высокомерие, нежелание признать его равным, предоставить право иметь собственный голос.

Ницше слег в конце 1875-го и проболел до марта, так до конца и не оправившись. Ницше — Герсдорфу:

Я пишу с трудом и потому буду краток. Я никогда еще не переживал такого грустного, такого тяжелого Рождества, никогда не переживал тако-

го страшного предчувствия. Я теперь более не сомневаюсь, что болезнь моя имеет чисто мозговое происхождение; глаза и желудок страдают от другой, посторонней причины. Мой отец умер тридцати шести лет от воспаления мозга. Весьма возможно, что у меня процесс пойдет еще быстрее. Я терпелив, но будущее мое полно всяких неожиданностей.

Д. Алеви:

С приближением весны Ницше пожелал уехать из Базеля. Герсдорф предложил составить компанию, и друзья поселились вместе на берегу Женевского озера в Шильоне. Ницше прожил там пятнадцать дней, и все это время дурное настроение его не покидало. Нервы его не выносили малейшего изменения температуры, малейшей сырости и присутствия электричества в воздухе. В особенности же он страдал от föhne, мягкого мартовского ветра, от дуновения которого начинают таять альпийские снега. Мягкая сырость действовала на него самым угнетающим образом; нервы его не выдержали, и он признался Герсдорфу в своей душераздирающей тоске и сомнениях. Герсдорф должен был возвращаться в Германию, ему пришлось покинуть друга в большой тревоге за его здоровье.

Впрочем, Ницше еще не утратил реабилитационной способности. Оставшись в одиночестве, он прочитал двухтомник Мальвиды фон Мейзенбург «Воспоминания идеалистки». Он был глубоко привязан к этой пожилой женщине, как к собственной матери, с которой делился многими сокровенными мыслями. У нее было большое сердце, и для Ницше она стала воплощением идеального женского типа.

Чтение «Воспоминаний идеалистки» как бы воскрешает Ницше; мадам Мейзенбург примиряет его с жизнью; к нему возвращается спокойствие духа и даже физическое здоровье.

В 1876 году Ницше пишет последнее из «Несвоевременных размышлений» — «Вагнер в Байрёйте». Самое поразительное в этом полном энтузиазма панегирике то, что он создается в момент, когда полностью развеяны все иллюзии Ницше в отношении старшего друга. Проницательный читатель чуть ли не на каждой странице этого эссе обнаружит скрытое неодобрение, преподанное в форме гимна. Ницше воздает хвалу художнику, не упоминая о нем как о философе. Нет ни слова о воспитательном значении его произведений. Сам дух панегирика радикально отличается от мыслей, высказанных в «Рождении трагедии» и все еще разделяемых Ницше, что придает работе скрыто иронический характер:

Для нас Байрёйт — это освящение храма во время битвы. Таинственный голос трагедии звучит для нас не как расслабляющее и обессиливающее нас очарование, она налагает на нас печать покоя (?). Высшая красота открывается нам не в самый момент битвы, но мы сливаемся с нею в момент спокойствия (?), предшествующий битве и прерывающий ее; в эти

мимолетные мгновения, когда, оживляя в своей памяти прошлое, мы как бы заглядываем в тайну будущего, мы проникаемся глубиной всех символов, и ощущение какой-то легкой усталости, освежающие и ободряющие грезы нисходят на нас. Завтра нас ждет борьба, священные тени исчезают, и мы снова бесконечно отдаляемся от искусства; но, как осадок утренней росы, в душе человека остается утешительное сознание о пережитом истинном слиянии с искусством.

В книге есть и более открытое выражение изменившегося чувства: «Вагнер — не пророк будущего, как это можно было бы думать, но истолкователь и певец прошлого». Ясно, что Ницше уже не мог скрыть тех глубинных процессов внутреннего прозрения, которые происходили в нем все последние годы, но еще был не в силах громогласно заявить о разрыве, о расхождении путей. Но Вагнер не умел читать между строк и по-прежнему видел в Ницше только оруженосца. Его реакция на работу ускользающего из-под гипнотического влияния друга выражена в кратком письме:

Друг мой, какую чудесную книгу Вы написали. Когда Вы успели так хорошо узнать меня? [Надо полагать, глубоко трагический подтекст этого вопроса не осознавался автором письма.] Приезжайте скорее и оставайтесь с нами все время, начиная от репетиций до начала представлений.

Ваш Р. В. 12 июля.

Согласно признанию самого Ницше, в момент написания «Вагнера в Байрёйте» он уже полностью разуверился в его искусстве и идеях (для проницательного читателя это ясно и без комментария). Зачем же, вопрошает Л. Шестов, Ницше потребовалось писать «гимн» уже свергнутому кумиру? Ницше объяснил это тем, что, прощаясь со своим учителем, он хотел выразить ему признательность за все прошлое.

Внешне панегирический характер «Вагнера в Байрёйте» Лев Шестов объяснил тем, что Ницше все еще продолжал ощущать на себе гипнотический взгляд учителя и не находил в себе сил бороться с его влиянием:

Ницше был гордым человеком. Он не хотел выставлять напоказ свои раны, он хотел скрыть их от посторонних взоров. Для этого пришлось, конечно, притворяться и лгать, для этого пришлось писать горячие хвалебные статьи в честь Шопенгауара и Вагнера, которых в душе он уже почти ненавидел, ибо считал их главными виновниками своего страшного несчастья.

Несчастьем этим была несвобода, зависимость, лишение самостоятельности. Резкость поворота Ницше в отношении к своим учителям, собственно, объясняется длительным накоплением потенциала отречения и последовавшим разрядом.

Не покорности, как того требовала философия Шопенгауэра, но переоценки жаждала душа гиперборейца! Ницше нашел в себе силы отречься и от романтических увлечений молодости, и от пессимизма, и от последствий собственного оранжерейного воспитания, и от авторитетов, и от своей филистерски-профессорской среды. Эволюция Ницше была процессом такого рода отречений, все большим отходом от традиционного мышления к нонконформизму.

В поздних своих книгах Ницше интерпретировал «Вагнера в Байрёйте» как предчувствие «Заратустры»: можно, писал он, во всем тексте заменить слово «Вагнер» словом «Заратустра», не боясь искажения.

Весь образ *дифирамбического* художника есть образ *поэта-предшественника* «Заратустры», нарисованный с величайшей глубиной, не затрагивая ни на минуту вагнеровской реальности. У самого Вагнера было об этом понятие; он не признал себя в моем сочинении. — Точно так же «Идея Байрёйта» превратилась в нечто, что не будет загадочным понятием для знатоков моего «Заратустры»: в тот *великий полдень*, когда самые избранные посвящают себя величайшей из всех задач — кто знает? призраку праздника, который я еще переживу... Пафос первых страниц есть всемирно-исторический пафос: *взгляд*, о котором идет речь на седьмой странице, есть истинный взгляд «Заратустры»; Вагнер, Байрёйт, все маленькие немецкие жалкие вещи суть облако, в котором отражается бесконечная фата-моргана будущего.

Все в этом сочинении вперед возведено: близость возвращения греческого духа, необходимость *другого Александра*, который снова *завяжет* однажды разрубленный гордиев узел греческой культуры... На 71-й странице описан и предвосхищен с поразительной уверенностью *стиль* «Заратустры»; и никогда не найдут более великолепного выражения для *события* «Заратустра», для этого акта огромного очищения и признания человечества священным, чем на 43—46-й страницах.

В середине июля Ницше приехал в Байрёйт на начавшиеся репетиции тетралогии. О том, что он переживал в это время, свидетельствуют письма сестре:

Я жалею, что приехал сюда; до сих пор все имеет чрезвычайно жалкий вид. В понедельник я был на репетиции и до такой степени остался недоволен, что ушел, не дождавшись конца.

Мне психически необходимо жить совершенно одному и отказываться от всяких приглашений, даже от самого Вагнера.

Я только и думаю об отъезде: совершенно бессмысленно оставаться здесь дальше. С ужасом думаю о ежедневных тягостных музыкальных вечерах и все-таки не уезжаю. Я не могу больше оставаться здесь; я уеду даже раньше первого представления, сам не знаю куда, но уеду непременно; здесь мне все невыносимо.

Что узрел Ницше в Байрёйте летом 1876 года? Он узрел «титана», окруженного толпой фанов, парализованных поп-звездой (современный язык пре-

красно передает зрелище, разворачивающееся перед философом в самый переломный момент его жизни, накануне «переоценки всех ценностей»). Он узрел масс-культуру в момент ее зарождения и ужаснулся тем, во что всё это может вылиться. Он узрел крушение своего понимания трагического, страдательного, дионисийского в культуре. Он узрел крушение, которое позже назвал «падением Вагнера».

Гегельянцы, последователи Шопенгауэра, идеалисты — все сливались в общем чувстве триумфальной гордости. Они праздновали *успех*. Иметь успех?! Ницше молчаливо слушал эти странные слова. Кто из людей, какой народ имели когда-нибудь успех? Этого не может сказать про себя даже Греция, упавшая с головокружительной высоты античной культуры. Разве все усилия не оказываются рано или поздно бесплодными? И оставляя в стороне театр, Ницше стал наблюдать за самим Вагнером: в душе у него, у этого источника восторгов, было ли достаточно величия, чтобы на вершине своего триумфа не забыть о муках и страдании творчества? Нет, не было. Вагнер был счастлив, потому что *видел перед собой только удачу*. Самодовольство такого человека еще больше оскорбляло и убивало радость, чем торжество грубой толпы.

Ницше не выдержал шквала переполнявших его противоречивых чувств и бежал. Правда, недалеко. Он бежал из Байрёйта в близлежащую деревеньку Клингенбрунн, бежал, дабы не заболеть, дабы не впасть в тот кризис, который с недавних пор стал ему ведом. Мне кажется, чтобы понять происходящее, необходимо увязать байрёйтские события со зреющим в Ницше Köhne, с рождением, собственно, того нового великого философа, которым он вот-вот должен был стать. Возможно, именно Байрёйт оказался той последней точкой, которая завершила этап «хождения в учениках» и открыла (окончательно оформила) новаторство зрелости.

Ницше бежал из Байрёйта, дабы справиться с волной новых захлестнувших его чувств. Вскоре он вернулся, но, судя по всему, бежал один человек, а вернулся другой. Этот другой присутствовал на премьере, слушал восторженные похвалы, посещал друзей, но был отстранен от всего происходящего. Между ним и *другими* пролегла пропасть, которой с этого момента предстояло только расширяться.

Сидя на премьере среди восторженной толпы почитателей, Ницше думал о том... Увы, никому не дано знать, о чем думал тогда Ницше. Еще не родился такой Джойс, который смог бы описать поток сознания человека, слушающего музыку, а поток сознания Ницше, слушающего «Кольцо», наверное, вообще неопишум, как неопишумо то, что происходит с избранниками человечества в момент, когда они становятся избранными.

Я не буду представлять Ницше человеком «перелома» или «просветления», потому что считаю, что Ницше изначально носил в себе свое будущее (о чем речь впереди). И все же байрёйтские торжества Ницше можно уподобить ульмской ночи Декарта или арзамасскому ужасу Толстого. В конце концов, после

этих событий ведь тоже не возникло нового Декарта или нового Толстого. Просто что-то произошло...

В Базель из Байрёйта Ницше вернулся совершенно разбитым, тяжело больным. Он почти ослеп и мог писать только благодаря помощникам, благо последние еще были. Взамен отпадающим поодиночке старым друзьям-однокашникам он завел двух новых, молодых. Таковыми стали Пауль Рэ, талантливый литератор еврейского происхождения, с которым Ницше познакомился в 1874-м, и Петер Гаст (это прозвище, а не имя, настоящая фамилия этого студента Ницше — Кёзелиц). Благодаря им Ницше смог разобраться в записях, сделанных в Клингенбрунне, и продолжить работу над новыми произведениями. В Пауле Рэ Ницше привлекали не только человеческие качества, но и литературный дар. Чтение Паулем своих «Психологических наблюдений» отвлекало Ницше от тягостных размышлений о произошедшем в Байрёйте, и было просто интересно. На дворе стояла осень, но в душе «отступника» веяло льдом Коцита...

Ницше упросил университетское начальство предоставить ему годовой отпуск по состоянию здоровья. В том положении, в каком он находился, читать опостылевшие лекции было невозможно. В конце октября Ницше в сопровождении А. Бреннера и П. Рэ направился на отдых в Неаполь на виллу, нанятую госпожой Мейзенбуг. Ницше жаждал уединения, но и здесь, в Италии, снова оказался в свите Вагнера, также приехавшего в Сорренто и поселившегося по соседству. Бог все больше смахивал на рок...

Свите Вагнера Ницше явно предпочел общество Пауля Рэ. Естественно, это вызывало негодование первого, не скрывавшего своего антисемитизма и даже предупреждавшего ускользающего друга о нежелательности «порочащей» связи. Благо, вскоре Вагнеры уехали из Капри и началась милая, размеренная жизнь маленького кружка духовно близких людей с чтением вслух, обсуждением прочитанного, прогулками, творческой работой по утрам...

Человек, панически стеснявшийся своего происхождения, Пауль Рэ писал книги по нравственной философии, в которых обосновывал этику принципами утилитарности, рациональности и дарвинизма. Как и сам Ницше, он отличался страстностью и непрактичностью. У него также случались приступы черной меланхолии, связанные с проигрышами в рулетку. В чем-то он напоминал персонажи Ф. М. Достоевского.

Возможно, именно в эти спокойные и милые дни в душе Ницше совершился окончательный переход, обратный тому, который произошел с блаженным Августином, в страшном внутреннем страдании обретшим наконец своего Бога: «Вдруг точно свет тихий проник в мое сердце. Тьма сомнений моих рассеялась».

Скажи мне, из сострадания Твоего, скажи мне, Господи, Бог мой, что Ты для меня. Скажи душе моей — вот Я, спасение твое. Скажи так, чтобы я услышал. Вот сердце мое перед Тобою, Господи, и готово внимать Тебе. Открой его, скажи душе моей — вот Я, спасение твое.

Я отнюдь не случайно вспомнил Августина: при всей взаимоисключительности двух характеров, при прямо противоположном результате духовных исканий — Ницше и Августин одинаковые психологические типы, в страдании, экстазах и тяжелейшей внутренней борьбе обретшие собственную веру.

На вилле, арендуемой Мальвидой фон Мейзенбуг, Ницше работал над книгой, в которой постепенно вырисовывались контуры его грядущей философии и этики. Незадолго до отъезда он вручил своей старшей подруге кипу листов со словами: «Прочитайте, здесь я записал то, что передумал, когда сидел под этим деревом; я никогда не сидел под ним без того, чтобы не обрести какой-нибудь новой мысли».

Прочитав афоризмы и стихи Ницше, г-жа Мейзенбуг пришла в ужас: первая свидетельница еще несложившегося, но уже в контурах прорисованного ницшеанства, сразу поняла, какой динамит она держит в руках. «Не печатайте этого, — посоветовала она, — не горячитесь, подождите, обдумайте...». Но Ницше уже давно все обдумал, он уже выбрал свою судьбу и не собирался предавать себя.

В мае, убегая от итальянской жары, Ницше уехал лечиться на воды в Розенлау. Здоровье становилось все хуже, и он с ужасом думал о приближении занятий, лекций, ненавистной работы... Он питал надежду на то, что университетские власти учтут состояние его здоровья, продлят отпуск, может быть, дадут пенсию. Госпожа Мейзенбуг советовала ему уйти из университета, Элизабет, наоборот, требовала его возвращения «на службу».

Ф. Ницше — М. Баумгартен:

Я прекрасно знаю и чувствую, что меня ждет более высокое будущее. Я могу, конечно, работать как филолог, но я нечто большее, чем простой филолог. Я сам искажил себя. Я постоянно думал об этом последние десять лет. Теперь, после того, как я целый год прожил вдали от людей, — все стало для меня чрезвычайно простым и ясным (я не могу выразить вам, насколько я чувствую себя — наперекор всем моим страданиям — творцом радости). Теперь я могу с полной уверенностью сказать, что возвращаюсь в Базель не для того, чтобы там о с т а т ь с я. Что будет дальше, я не знаю, но (как бы ни были скромны мои материальные условия) я завоюю себе свободу.

Подтекстом слов «я завоюю себе свободу» следует считать произошедшее к этому времени полное освобождение Ницше от прошлых ценностей и кумиров — эллинства, христианства, Шопенгауэра, Вагнера. Позже, характеризуя свою первую подлинно ницшеанскую книгу — «Человеческое, слишком человеческое», — Ницше напишет:

«Человеческое, слишком человеческое» есть памятник кризиса. Оно называется книгой для свободных умов: почти каждая фраза в нем выражает победу — с этой книгой я освободился от всего *неприсущего* моей натуре. Не присущ мне идеализм: заглавие говорит: «Где вы видите идеальные вещи, там вижу я — человеческое, ах, только слишком челове-

ское!..» Я *лучше* знаю человека... Ни в каком ином смысле не должно быть понято здесь слово «свободный ум»: *освободившийся* ум, который снова овладел самим собою. Тон, звук голоса совершенно изменились: книгу найдут умной, холодной, при обстоятельствах даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность *аристократического* вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти *Вольтера* как бы извиняет издание этой книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего *grandseigneur* духа: так же, как и я. — Имя Вольтера на моем сочинении — это был действительно шаг вперед — *ко мне*...

Ницше уподоблял себя Вольтеру, но в этот период видел в себе еще и Сократа, овода, осмеятеля, воина...

Это война, но война без пороха и дыма, без воинственных побед, пафоса и вывихнутых членов — всё это было бы еще идеализмом, одно заблуждение за другим выносится на лед, идеал не опровергается — он замерзает. Здесь, например, замерзает «гений», немного дальше замерзает «святой», под толстым слоем льда замерзает «герой», в конце замерзает «вера», так называемое «убеждение», даже «сострадание» значительно остывает — почти всюду замерзает «вещь сама по себе».

Книга произвела впечатление взрыва, а вагнерианцами была воспринята как проявление психической болезни. Козима Вагнер весной 1879-го писала Элизабет Ницше:

Книга твоего брата опечалила меня; я знаю, он был болен, когда сочинял все эти в интеллектуальном отношении столь ничтожные, а в моральном столь прискорбные афоризмы, когда он, человек глубокого ума, трактовал поверхностно все серьезное и говорил о вещах, ему неизвестных; хоть бы Небо дало ему тогда настолько здоровья, чтобы, по крайней мере, не публиковать этого печального свидетельства своей болезни!..

Появление «книги для свободных умов», а проще говоря, бомбы, в ключья разорвавшей все связи человека, «увеличившего независимость в мире», объясняют двумя причинами: пагубным еврейским влиянием Пауля Рэ и завистью неудачливого ученика к знаменитому учителю. Мол, несостоявшийся музыкант воспылил злобой к Вагнеру, однажды пренебрежительно отозвавшемуся об одной музыкальной композиции Ницше. Что до влияния на Ницше молодого Рэ, то охлаждение к вагнерианству началось у него задолго до знакомства с автором «Происхождения моральных чувств» — книги, вышедшей за год до «Человеческого, слишком человеческого» и подаренной Ницше с автографом: «Отцу этой книги с благодарностью от ее матери».

Реализм «Человеческого, слишком человеческого», навеянный идеями Пауля Рэ, понуждает автора во многом идти против самого себя: место Диониса

здесь вновь занимает охранитель храма новой истины, Сократ; мудрое бесстрашие возвышается над вакхическим бурлением страсти; даже наука оказывается «дальнейшим развитием художественного», художник же — «отсталым существом»...

Чувство не последнее, не коренное в человеке, за чувствами стоят суждения и оценки, которые уже переходят к нам по наследству в форме чувств.

Ницше временно жертвует даже культом гения, уступающим «степени разума и силы». Даже презираемой массе он отдает долги. Даже вожди оказываются «людьми упадка».

Теперь даже истинное величие кажется ему роковым, потому что оно стремится «подавить собой много более слабых сил и зародышей», между тем как более справедливо и желательно, чтобы жили не только великие натуры, но чтобы и более «слабым и нежным было бы достаточно воздуха и света». «Предпочтение величия — истинный предрассудок. Люди преувеличивают все большое и выдающееся. Крайности обращают на себя слишком много внимания, а между тем преклонение перед ними — признак более низкой культуры».

Конечно же, появление удивительной, парадоксальной книги Ницше никак не связано с чьим-то влиянием или мстью — просто он наконец открыл себя, «освободился от всего неприсущего своей натуре».

Ф. Ницше:

То, что тогда у меня решилось, был не только разрыв с Вагнером — я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные промахи которого, называясь они Вагнером или базельской профессурой, были лишь знамением. *Нетерпение* к себе охватило меня; я понял, что настала пора сознать себя. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено — как бесполезно, как произвольно было для моей задачи все мое существование филолога. Я стыдился этой *ложной* скромности... Десять лет за плечами, когда *питание* моего духа было совершенно приостановлено, когда я не научился ничему годному, когда я безумно многое забыл, корпя над хламом пыльной учености. Тщательно, с большими глазами пробираться среди античных стихотворцев — вот до чего я дошел! — С сожалением видел я себя вконец исхудавшим, вконец изголодавшимся: *реальностей* вовсе не было в моем знании, а «идеальности» ни черта не стоили! — Поистине, жгучая жажда охватила меня: с этих пор я действительно не занимался ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук... «Человеческое, слишком человеческое», — этот памятник суровой самодисциплины, с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесенному в меня «мошенничеству высшего порядка», «идеализму», «прекрасному чувству», «Богу» и прочим женственностям, — было во всем существенном написано в Сорренто.

Это признание — один из ключей к разгадке не только «Человеческого, слишком человеческого», но и последующих сочинений философа, осознавшего, что только собственный путь и глубина самовыражения гарантируют человеку вечность.

Книга действительно удивительна и парадоксальна: упреждая «переоценку ценностей», он опровергает все то, что защищал ранее, науку ставит выше поэзии, Сократа, развенчанного ранее, — выше Эсхила. И главное, — низвергает с воздвигнутых им же пьедесталов двух собственных кумиров — Шопенгауэра и Вагнера.

Еще в начале 1877 года Ницше получил от Вагнера «Парсифаля» и еще сильнее ощутил пропасть, что их разделила.

Ф. Ницше — барону фон Зейдлицу:

Первое впечатление от поэмы — больше похоже на Листа, чем на Вагнера, веет духом контрреформации; для меня, слишком привыкшего к греческой атмосфере, все это кажется лишь крайне ограниченным христианством; психология крайне фантастична; нет плоти, но слишком много крови (очевидно, Тайная Вечеря слишком для меня кровава); я не люблю истерических горничных... Сам язык кажется мне переводом с иностранного.

Ницше понимал, что Вагнер ждет его реакции на поэму, но что он мог ему сказать?.. Два месяца он молчал. Книга «Человеческое, слишком человеческое» была уже отпечатана, но он просил издателя задержать обнародование. Ницше сознавал, какой взрыв негодования вызовет его книга у байрёйтских «святош», приученных к низкопоклонству. Видимо, он страшился содеянного, испугался собственного эпатажа, начал строить фантастические планы. Книга выйдет анонимно, никто, кроме самого Вагнера, не узнает имени автора, только ему, поруганному, он откроет свое авторство. Сохранился проект письма, адресованного, но, видимо, так и не отосланного в Байрёйт:

Я посылаю Вам эту книгу [«Человеческое, слишком человеческое»] и открываю Вам и Вашей достойной жене с полной откровенностью мою тайну, но она должна быть также и Вашей. Автор этой книги — я... Я нахожусь сейчас в положении офицера, взявшего редут; он ранен, но взобрался на верхушку вала и размахивает знаменем. В душе моей, несмотря на весь ужас окружающего, больше радости, гораздо больше радости, чем горя. Я Вам уже говорил, что не знаю решительно никого, кто был бы действительно согласен с моей философией. Тем не менее я льщу себя надеждой, что я мыслил не как отдельный индивид, но как представитель взглядов определенной группы; своеобразное ощущение синтеза, личного и общественного... Самый быстрый герольд [именно герольдом ощущает себя Ницше!] не знает в точности, мчится ли за ним кавалерия и существует ли она в действительности...

Я полагаю, слабость «анонима» была минутной. К тому же издатель категорически отказался выпускать книгу анонимно.

Наконец он решился; в мае 1878 года Европа собиралась праздновать сотую годовщину смерти Вольтера. Ницше решил, что книга его выйдет именно в момент этого торжества и что он посвятит ее памяти великого памфлетиста.

Легко можно себе представить реакцию Вагнера на «Человеческое, слишком человеческое», если даже неупоминание его имени в памфлете «О вреде и пользе изучения истории» вызвало гнев семьи и деликатный выговор Козимы.

Мосты были сожжены. Наступила зловещая тишина, какая случается перед сражением или бурей. Оторопевшие «соратники» маэстро онемели от ярости. Сам Вагнер злорадствовал над тем, что книга не имеет успеха и не расходуется среди публики. «Вот видите, — подтрунивал он над издателем, — Фридриха Ницше читают лишь тогда, когда он защищает *наши* идеи, в противном случае им никто не интересуется».

В августе 1878 года Вагнер, не выдержав молчания и не дождавшись поддержки «королевской рати», разразился агрессивной статьей «Публика и популярность». Не называя имени «первого ученика», но явно подразумевая именно его, он расценил книгу как следствие болезни, а афоризмы — интеллектуально ничтожными и морально прискорбными.

Каждый немецкий профессор должен хоть раз в жизни написать книгу для того, чтобы достигнуть некоторой степени известности; но так как не каждому удастся отыскать истину, то он — для достижения желанного эффекта — доказывает полную бессмыслицу взглядов своего предшественника. Эффект тем больший, чем значительнее поносимый им мыслитель.

Вагнер резко разорвал отношения с лучшим другом, не удосужившись поинтересоваться причиной резкой перемены к нему самого горячего из поклонников, даже не поняв, что птенец обратился в орла. «Книга для свободных умов» обнаружила всю глубину человеческой несвободы: разрыв с Вагнером открыл перспективу абсолютного одиночества, отныне земля все чаще начала трещать под ногами Ницше...

С «Человеческим, слишком человеческим» Ницше начал терять друзей. Э. Роде не одобрил книгу, Герсдорф прислал из Парижа посылку с бюстом Вольтера и язвительной запиской: «Душа Вольтера приветствует Фридриха Ницше», Элизабет была в шоке: будучи шовинисткой, она не могла примириться, что «истинный ариец» взял в руки знамя «лягушатника». В кругу Вагнера Ницше расценили неблагодарным подлецом, к тому же безумцем.

Единственным человеком, одоббившим книгу Ницше, вновь оказался Якоб Буркхардт — именно ему принадлежат приведенные выше слова о том, что она «увеличила независимость в мире». «Ни одна книга не могла разбудить во мне

стольких мыслей, как ваша, — сказал Буркхардт Ницше, — это точно разговоры Гёте с Эккерманом».

Буркхардту, этому поклоннику Ренессанса и певцу личности, импонировало предостережение Ницше против социализма, который «жаждет такой полноты государственной власти, какую обладал только самый крайний деспотизм, и он даже превосходит все прошлое тем, что стремится к формальному уничтожению личности; последняя представляется ему неправомерной роскошью природы, и он хочет реформировать ее, превратив в целесообразный орган коллектива».

Для Ницше началась странная, призрачная жизнь изгоя, тяжело раненного одинокого волка, которого лучше избегать, «не замечать». Даже человек, одобрявший его книгу, Якоб Буркхардт, старался уклониться от дружбы — боялся за собственную репутацию.

«Я, как настоящий корсар, охочусь за людьми — не для того, чтобы взять их в плен, но, чтобы увести их с собой на свободу». Дикая, предлагаемая им свобода не увлекает юношей. Один студент, М. Шеффер, оставил интересные воспоминания: «Я слушал лекции Ницше, которого знал совсем немного. Однажды после лекции мы разговорились и пошли вместе... Светлые облака плыли по небу. «Как быстро несутся эти прекрасные облака», — сказал он мне. «Они похожи на облака с рисунков Паоло Веронезе», — ответил я. Вдруг он внезапно схватил меня за руку. «Послушайте, скоро вакация, я на днях уезжаю, поедemте со мною любоваться облаками в Венеции». Я был застигнут врасплох и пробормотал что-то неопределенное. Ницше отвернулся; лицо его стало холодным, замкнутым, точно мертвым. Он ушел, не сказав мне ни одного слова».

О чем свидетельствует эпизод? О многом слишком человеческом: о затравленности Ницше, о бесконечном одиночестве, о вакууме, сложившемся вокруг него, о страстной тяге к человеческому, о другом...

В этом пребывании наедине с собой, в этом пребывании наедине против самого себя — самый глубокий смысл, самая священная мука жизненной трагедии Фридриха Ницше: никогда не противостояла такому неимоверному избытку духа, такой неслыханной оргии чувств такая неимоверная пустота мира, такое металлически непроницаемое безмолвие. Даже сколько-нибудь значительных противников — и этой милости не послала ему судьба, и напряженная воля к мышлению, «замкнутая в самой себе, вскапывая самое себя», из собственной груди, из глубины собственного трагизма извлекает ответ и сопротивление. Не из внешнего мира, а из собственных кровью сочащихся ран добывает судьбой одержимый жгучее пламя и, подобно Гераклу, рвет на себе Нессову одежду, чтобы нагим стоять перед последней правдой, перед самим собой. Но какой холод вокруг этой наготы, каким безмолвием окутан этот ужасный вопль духа, какие молнии и тучи над головой «бого-убийцы», которого не ищут про-

тивники, который не находит противников и поражает самого себя, «себя познающий, себя казнящий без сострадания».

Мне всегда импонировала мысль о гениях, переговаривающихся между собой сквозь времена и пространства. Августин — Паскаль — Киркегор — Ницше — Фрейд — Хайдеггер — Шестов... Люди разных судеб, разных парадигм, разных ментальностей и... такие близкие по духу. Потрясающая встреча из истории *как если бы*: взыскующий Христа Киркегор и «антихристианин» Ницше... Что случилось бы, что изменилось бы в жизни Ницше, если бы взамен множеству Зоилов-Виламовицев он обрел бы хоть одного друга масштаба Достоевского?..

Ницше не ощущал разрыв с Вагнером бесповоротным, окончательным. Плюралистически ориентированный мыслитель, он защищал право каждого человека говорить то, что он думает, полагая, что высказанная личная правда не должна вызывать разрыва с тем, о ком она сказана: «Такое прощание, когда люди расстаются потому, что по-разному думают и чувствуют, невольно опять ведет их к сближению, и мы изо всей силы ударяемся о ту стену, которую воздвигла между нами жизнь».

В начале 1879 года Элизабет Ницше написала Козиме Вагнер примирительное письмо. Была ли это ее личная инициатива, или за ее спиной стоял брат, мы не знаем. Козима ответила:

Я не говорю о «Человеческом, слишком человеческом»; единственное, о чем мне хочется вспомнить, когда я пишу тебе, это о том, что твой брат когда-то написал для меня несколько самых лучших страниц из всего, что я знаю. Я не сержусь на него; его сломили страдания, он потерял власть над самим собой, и этим объясняется его измена.

Этот год принес Ницше нечеловеческие страдания: страшную мигрень, рвоту, запоры, ознобы, спазмы, обмороки, желудочные боли, резкое ухудшение зрения. Врачи не смогли диагностировать болезнь, но высказали опасение в грозящем ему безумии. Он сам догадывался об этом. О поездке в Венецию, где он должен был встретиться с П. Гастом, не могло быть и речи. Ницше заперся в своей базельской комнате, тщательно изолировавшись от солнечного света. Немногие оставшиеся друзья были крайне озабочены его состоянием... Даже Вагнер выразил свое беспокойство и написал Овербеку письмо, выражающее участие и сострадание:

Могу ли я забыть о нем, моем друге, который с такою яростью покинул меня... Я ныне прекрасно понимаю, сколь нелепо требовать уважения от человека с такой разбитой и измученной душой, как у него. Надо умолкнуть и проникнуться состраданием. Меня очень угнетает то, что я ничего не знаю ни о его жизни, ни о его болезни. Не будет ли это нескромным, если я попрошу Вас присылать мне известия о нашем общем друге?

Вот как в «Ессе Ното» описывает свои чувства Ницше, впервые осознавший сразу два кризиса — человеческой культуры и собственной личности:

В тридцать шесть лет я опустился до самого низшего предела своей жизненности — я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В это время... я покинул профессию в Базеле... Рассматривать с точки зрения больного *более здоровые* понятия и ценности и, наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности более богатой жизни смотреть на... работу инстинкта вырождения — таково было мое длительное упражнение, мой истинный опыт...

Истинным опытом сверхчувствительного человека, обладавшего очень низким болевым порогом и привыкшего следить за малейшими функциональными изменениями своего тела, стало искушение в своем страдании найти пищу для собственной психологической любознательности, сделать самого себя «объектом эксперимента, лабораторным кроликом». Существует версия, согласно которой страдания великого диагноста культуры самоусиливались посредством собственной психики — пристального вслушивания в себя, сосредоточенности на себе:

Непрерывно, острым пинцетом — врач и больной в одном лице — он обнажает свои нервы и, как всякий нервный человек и фантазер, повышает их и без того чрезмерную чувствительность. Не доверяя врачам, он сам становится собственным врачом и непрерывно «уврачевывает» себя всю свою жизнь. Он испытывает все средства и курсы лечения, какие только можно придумать, — электрические массажи, самые разнообразные диеты, воды, ванны: то он заглушает возбуждение бромом, то вызывает его всякими микстурами. Его метеорологическая чувствительность постоянно гонит его на поиски подходящих атмосферных условий, особенно благоприятной местности, «климата его души».

В конце 1878 года Ницше окончательно убеждается в том, что состояние его здоровья абсолютно несовместимо с продолжением работы в университете.

Мое состояние — истинная мука и преддверие ада — этого я не могу отрицать. *Вероятно*, оно прекратится вместе с моими университетскими занятиями, *может быть* — с занятиями вообще...

Ничего мне не помогает, боль слишком сильна — все говорит: выноси, откажись! Увы — и терпение, наконец, надоедает. Нужно быть бесконечно терпеливым для того, чтобы терпеть!

Ницше выхаживали Овербек с женой, вызвавшие из Наумбурга Элизабет. Сестра немедленно приехала и с трудом узнала во внезапно сгорбившемся, осунувшемся, разбитом, постаревшем человеке брата. Перед ней был полуслепой инвалид, почти старик, которому еще не исполнилось 35 лет...

О работе не могло быть и речи. Ницше подал в отставку, и университет назначил профессору-пенсионеру ежегодную пенсию в размере трех тысяч франков. Состояние несчастного казалось безнадежным, он даже дал сестре указания на случай смерти, завещав похоронить его без пышной церемонии и с участием только ближайших друзей.

Вскоре после этого он оставил профессию, и его навсегда охватило одиночество. Отказаться от своей преподавательской деятельности ему было тяжело — ведь это было в сущности отрешением от всякой дальнейшей специальной научной работы. Голова и глаза мешали ему с этих пор разрабатывать свои идеи путем научных занятий. Он сам называет себя «больным, который теперь, к сожалению, почти слеп и может читать лишь какие-нибудь четверть часа, и то с сильными страданиями».

Ночь окутывает теперь Ницше. Его прежние идеалы, его здоровье, его рабочая сила, его деятельность — все, что давало его жизни свет, яркость и тепло, — все одно за другим исчезало под развалинами. Началось для него *время тьмы*.

Чтобы вернуть брата к жизни, Элизабет увезла его в долину Верхнего Энгадина на юге Швейцарии. Брат и сестра поселились в местечке Сильс-Мария, окруженном поросшими лесом горами и маленькими голубыми озерами. Это был прелестный малонаселенный в ту пору уголок.

Мягкость и необыкновенная чистота воздуха успокаивают и умиротворяют его, а вид освещенных солнцем лугов благотворно влияет на его утомленное зрение. Ему нравятся разбросанные тут и там озера, напоминающие ему Финляндию, деревушки со звучными названиями, население с тонкими чертами лица, говорящими о близкой соседней Италии, по ту сторону ледников... «Здесьняя природа родная мне, — пишет он Рэ. — Она меня не поражает; между мною и ею возникло какое-то взаимное доверие». Жизнерадостность выздоравливающего охватывает его; он пишет мало писем, но аккуратно ведет свои заметки, и теперь сведения о его жизни, которые раньше давала нам его переписка, мы можем получать из его произведений.

*Здесь я засел и ждал, в беспроком сне,
По ту черту добра и зла, и мне*

*Сквозь свет и тень мерещились с утра
Слепящий полдень, море и игра.*

*И вдруг, подруга! я двоиться стал —
И Заратустра мне на миг предстал...*

ОДИНОКИЙ СКИТАЛЕЦ

Покуда к тебе относятся враждебно, ты еще не превозмог своего времени: ему не положено видеть тебя — столь высоким и отдаленным должен ты быть для него.

Ф. Ницше

Несмотря на признаки выздоровления, Ницше все еще не уверен, что избежал смерти. Ему кажется, что времени почти не осталось и, несмотря на страдания и слабость, он не прекращает работу, исписывает тетрадь за тетрадью. В страшный для Ницше год им созданы две книги: «Пестрые мысли и изречения», продолжающие «Человеческое, слишком человеческое», а также «Странник и его тень». Пересылая рукопись последней книги П. Гасту, Ницше сопроводил ее письмом:

Может быть, Вам передастся то удовольствие, которое я сам сейчас испытываю при мысли, что мое произведение уже окончено. Кончается 35-й год моей жизни, «середина жизни», как говорили тысячу лет тому назад; именно в эти годы Данте посетили те видения, о которых он рассказал нам в своей поэме. Теперь и я достиг половины моей жизни, но со всех сторон на меня глядит смерть, и я ежечасно жду ее прихода, жизнь моя такова, что я вынужден ждать м г н о в е н н о й смерти в припадке судорог¹. И потому я чувствую себя очень старым, тем более что сознаю, что дел о моей жизни я уже сделал.

Мои постоянные жестокие страдания до сих пор не изменили моего характера. Наоборот, мне даже кажется, что я стал веселее, добродушнее, чем когда-либо. Откуда только берется эта укрепляющая и оздоравливающая меня сила? Конечно, не от людей, которые все, за исключением очень небольшого круга друзей, «возмутились против меня»² и не стесняются дать мне понять о своем ко мне отношении. Прочтите, друг мой, мою рукопись от начала до конца, и сами посудите, обнаруживаются ли в ней какие-либо следы страданий и уныния. Я д у м а ю, ч т о н е т, и эта уверенность дает мне право полагать, что в моих мыслях должна быть какая-то

¹ Намек на сумасшествие отца Ницше, умершего в этом возрасте.

² Библейская реминисценция — слова Иисуса Христа.

скрытая сила; вы не найдете в моей рукописи ни бессилия, ни усталости, которые будут отыскивать в ней мои недоброжелатели.

Хотя боль мало-помалу отпускала его, Ницше был уверен, что конец близок. 14 января 1880 года он написал г-же Мейзенбуг письмо, напоминающее духовное завещание:

Хотя мне строжайше запрещено писать, мне еще один раз хочется написать Вам, которую я люблю и уважаю, как любимую сестру. Это будет уже в последний раз, так как ужасные, непрекращающиеся муки моей жизни заставляют меня призывать смерть и некоторые признаки указывают мне на то, что я близок к последнему, спасительному припадку. Я уже так страдал, от стольких вещей отказался, что, я думаю, во всем мире Вы не найдете такого аскета, который мог бы со мной сравниться и чья жизнь была бы похожа на мою жизнь в течение этого последнего года. Но тем не менее я многого достиг. Моя душа приобрела много мягкости и нежности, и для этого мне не понадобилось ни религий, ни искусства. (Вы замечаете, я немного горжусь этим, мне нужно было дойти до полного изнеможения, чтобы найти в самом себе тайный источник утешения.) Я полагаю, что настолько хорошо сделал дело своей жизни, насколько мне позволило время. Но я знаю, что многим людям я дал надежду, что благодаря мне многие обратились к более высокой, чистой и светлой жизни. Я хочу дать Вам несколько разъяснений: когда мое «человеческое я» перестанет существовать, это именно и скажут. Никакое страдание не могло и не может свратить меня к ложному осуждению жизни, т а к о й , к а к о й я е е з н а ю .

Я всегда с неизменной благодарностью думаю о Вагнере, так как знакомству с ним я обязан наиболее сильным стремлением к духовной свободе. Мадам Вагнер, как Вы сами знаете, самая симпатичная женщина, которую я когда-либо встречал. Но отношения наши кончены, а я не из числа тех людей, которые связывают порванные нити, теперь уже слишком поздно.

Примите, мой дорогой друг, сестра моя, привет молодого старика, для которого жизнь не была жестокой, но который все-таки вынужден желать смерти.

Хотел было написать: Ницше выжил — но это было бы неверно. Ницше внушил себе, что должен умереть, и ждал смерти, которая не знала, что ее поджидают. У меня есть подозрение, что страдания свои этот чувствительнейший из людей несколько преувеличивал, ибо для тонких, нежных душ они всегда безмерны. Ницше считал, что завершил дело своей жизни, не подозревая, что главные произведения, благодаря которым он войдет в историю человеческого духа, всё еще впереди.

В феврале 1880-го, почувствовав возвращение жизненных сил, он направился в Италию, куда его давно звал П. Гаст. После месячного отдыха в Лаго ди Гарда он приехал в Венецию, сразу очаровавшую его. Здесь он окончательно

убедился, что пугал себя смертью и что силы вновь к нему вернулись. Письма родным из Италии полны надежд и радости выздоровевшего. «Красота Венеции приносит ему освобождение, и он с улыбкой вспоминает о своей прежней тоске». Время пребывания на Адриатике скрашивает Петер Гаст, сопровождавший старшего друга в его прогулках, читавший ему вслух, игравший любимые музыкальные вещи и вообще исполнявший секретарские обязанности.

Судя по всему, именно здесь, в Венеции, Ницше осознал существование силы, ставшей затем ключевым понятием его философии, — воли к могуществу (обычно употребляемое выражение «воля к власти», как мне кажется, хуже передает смысл того, что вкладывал в это понятие Ницше). Убедив себя, что ему удалось вернуться *оттуда*, Ницше пришел к заключению, что жизнь обладает свойством самосохранения, расширения, роста. Ее силы безграничны, она стремится ко все новым завоеваниям. Ее трудно уничтожить из-за огромного сопротивления жизни. Ницше еще не знал, как определить сделанное им открытие, и продиктовал П. Гасту:

Наши поступки никогда не бывают тем, чем кажутся. Громадного труда стоило нам понять, что внешний мир вовсе не таков, как нам кажется. То же можно сказать и о внутреннем мире. В действительности наши поступки «нечто иное» — большего сейчас сказать мы не можем, и существо их пока остается неизвестным.

В Италию пришла жара, и Ницше уехал долечиваться в Мариенбад — на воды. Он уже давно подозревал, что его здоровье сильно зависит от климата — температуры, ветра, сырости, тумана. Заложник природных условий, он отныне обречен на вечное бегство в поисках места на земле, которое бы в данный момент соответствовало его иллюзорному идеалу природы. М. Пруст, задыхаясь от удушья, изолировал себя в пробковой комнате, Ф. Ницше метался между горами Швейцарии, Наумбургом, «водами», Лазурным берегом Франции и излюбленными местами Италии — Сорренто, Генуя, Венеция, Лигурийское побережье...

Проследить маршруты метаний Ницше за десятилетие, предшествовавшее безумию, задача не из легких. Зимой и осенью — Капри, Стреза, Генуя, Рапалло, Мессина, Рим, Ницца, Рута, Турин, летом — Сильс-Мария, Наумбург, Базель, Люцерн, Грюневальд, Лейпциг, пансионы, мансарды, крестьянские дома, самые дешевые харчевни, *trattorie*, убого меблированные холодные комнаты...

...Редкие одинокие прогулки, спасавшие от бессонницы ужасные средства — хлорал, веронал и, возможно, индийская конопля; постоянные головные боли; частые желудочные судороги и рвотные спазмы — 10 лет длилось это мучительное существование одного из величайших умов человечества.

К этому следует добавить — существование нищенское, вынуждавшее его довольствоваться самыми дешевыми комнатами и самым дешевым питанием,

что также не могло не сказаться на его здоровье. Но и на это денег часто не хватало...

И вот он снова в маленькой, тесной, неудобной, скудно обставленной *chambre garnie*; стол завален бесчисленными листками, заметками, рукописями и корректурами, но нет на нем ни цветов, ни украшений, почти нет даже книг, и лишь изредка попадаются письма. В углу тяжелый, неуклюжий сундук, вмещающий всё его имущество — две смены белья и второй, поношенный костюм. А затем — лишь книги и рукописи, да на отдельном столике бесчисленные бутылочки и скляночки с микстурами и порошками: против головных болей, которые на целые часы лишают его способности мыслить, против желудочных судорог, против рвотных спазм, против вялости кишечника... Грозный арсенал ядов и снадобий — его спасителей в этой пустынной тишине чужого дома, где единственный его отдых — в кратком, искусственно вызванном сне. Надев пальто, укутавшись в шерстяной плед (печка дымит и не греет), с окоченевшими пальцами, почти прижав двойные очки к бумаге, торопливой рукой часами пишет он слова, которые потом едва расшифровывает его слабое зрение. Так сидит он и пишет целыми часами, пока не отказываются служить воспаленные глаза: редко выпадает счастливый случай, когда явится неожиданный помощник и, вооружившись пером, на час-другой предложит ему сострадательную руку.

И эта *chambre garnie* — всегда одна и та же. Меняются названия городов — Сорренто, Турин, Венеция, Ницца, Мариенбад, — но *chambre garnie* остается, чужая, взятая напрокат, со скудной, нудной, холодной меблировкой, письменным столом, постелью больного и с безграничным одиночеством. И за все эти долгие годы скитания ни минуты бодрящего отдыха в веселом дружеском кругу, и ночью ни минуты близости к нагому и теплomu женскому телу, ни проблеска славы в награду за тысячи напоенных безмолвием, беспросветных ночей работы.

Отныне здоровье Ницше находилось в состоянии крайне шаткого равновесия: каждая мысль, каждая страница будоражили его, грозили опасностью срыва. Больше всего теперь он дорожил немногими хорошими днями, каникулами, предоставленными ему болезнью. Каждый такой день он воспринимал как дар, как спасение. Уже с утра он задавался вопросом, что принесет ему новое солнце.

При первых лучах солнца я ухожу на одинокий утес, омываемый волнами и, вытянувшись на нем под зонтиком во весь рост, как ящерица, лежу и вижу перед собой только море и чистое небо.

Перед моими глазами расстилается море, и я могу забыть о существовании города. Далекие колокола звонят *Ave Maria*, и до меня доносятся на грани дня и ночи эти грустные и немного нелепые звуки; еще минута и все смолкает! Отчего не может говорить это бледное, еще светящееся от солнца море! Окрашенные в самые тонкие неуловимые цвета, облака пробега-

ют по небу на фоне ежедневно повторяющейся вечерней зари; и небо тоже молчит. Небольшие утесы и подводные камни скрылись в море как бы в поисках последнего убежища. Все молчит, все лишено дара слова. Душа моя растворяется в этом подавляющем, красивом и жестоком молчании.

Болезнь совершенно не затронула интеллектуальной мощи «последнего ученика Диониса». Может быть, даже обострила ее. В центре его внимания — проблема человеческой энергии, источник побуждений и желаний. Он много размышляет об истоках морали, о связи нравственности и свободы, о конкуренции человеческих волей. Он приходит к выводу, что человек свободный хочет зависеть только от самого себя, а не от условностей общества или традиций. Высшим авторитетам, традициям, пишет он, повинуются не потому, что они велят нам полезное, а просто потому, что велят. Традиция правит миром исключительно как сила, а не как истина. Поступок, нарушающий традицию, выглядит безнравственным, даже если в его основе лежат мотивы, положившие начало традиции.

Ницше работает над новой книгой — «Утренней зарей». Он с трудом переписывает рукопись — дрожат руки, почти не видят глаза... Зрелость пришла к Ницше как раз в период его болезни. Отныне болезнь будет воровать у него 200 и больше дней в году. Он признается, что «Утреннюю зарю» сочинял с минимумом сил и здоровья. У него кончались силы, но то, что выходило из-под его пера, было прекрасным...

Куда мы идем? Хотим ли мы отправиться за море? Куда влечет нас эта всемогущая страсть, подчиняющая себе все наши другие страсти? Зачем этот отчаянный полет по направлению к той точке, в которой до сих пор «склонялись и гасли» все солнца? Возможно, о нас тоже скажут в один прекрасный день, что, правя рулем на запад, мы надеялись достичь неизвестного пути в Индию, но что наша судьба состояла в том, чтобы погибнуть пред бесконечностью. Но куда же, друзья мои, куда же?

Работая над «Утренней зарей», Ницше ставил себе цель «безраздельно отдаться» одной из открывшихся ему бесчисленных идей, выразить ее с присущей ему силой.

Главная мысль «Утренней зари», которую с равным правом Ницше мог бы назвать «Великим полднем», — не столько даже отказ от морали самоотречения, сколько — от навязанной свыше морали, от абсолютной морали, от необходимости веры в незыблемые категорические императивы. Это книга о происхождении моральных ценностей, о проблеме, которую Ницше считал определяющей для грядущего человечества:

Требование, чтобы *верили*, что все в сущности находится в наилучших руках, что одна книга, Библия, дает окончательную уверенность в Божественном руководстве и мудрости в судьбах человечества, это требование,

перенесенное обратно в реальность, есть стремление не допустить раскрыться истине...

Объясняя происхождение и настроения «Утренней зари», Ницше писал:

В этой книге вы видите подземного человека за работой — как он роет, копает, подкапывается. Вы видите, если только ваши глаза привыкли различать в глубине, как он медленно, осторожно, с кроткой неумолимостью идет вперед, не слишком выдавая, как трудно ему так долго выносить отсутствие света и воздуха; можно, пожалуй, сказать, что он доволен своей темной работой. Начинает даже казаться, что его ведет какая-то вера, что у него есть свое утешение... Ему, может быть, нужна своя долгая тьма, ему нужно свое непонятное, таинственное, загадочное, ибо он знает, что его ждет свое утро, свое избавление, своя заря.

«Утренней зарей» Ницше, по собственному признанию, начинает поход против морали, хотя во всей книге «не встречается ни одного отрицательного слова, ни одного нападения, ни одной злости». Это действительно солнечная книга, страницы которой отражают яркий свет Генуи, моря, выловленных из морских пучин «тайн».

«Есть так много утренних зорь, которые еще не светили» — скрытый, замаскированный у индусов символ «переоценки всех ценностей», начатой в этой книге. Ницше теперь видел свою цель в утверждении и доверии «ко всему, что до сих пор запрещали, презирали, проклинали».

Эта утверждающая книга изливает свой свет, свою любовь, свою нежность на одни дурные вещи, она возвращает им снова «душу», чистую совесть, право, *преимущественное право* на существование. На мораль не нападают, ее просто не принимают более в расчет... Эта книга оканчивается словом «или?» — это единственная книга, которая оканчивается словом «или?»...

Необычна уже сама увертюра к книге: «Шутка, хитрость и месть» — мастерский зингшпиль в 63 крохотных актах, настоящий шедевр дидактических капризов и притворствующих «моралите», окунающий саму мораль в посвистывающую уленшпигелевскую стихию немецкого языка и демонстрирующий скандальное — на этот раз — рождение *пародии* из духа музыки. Характерная и более чем психологическая параллель: Моцарт, пишущий Папагено уже на смертном одре и даже напевающий его в бреду; послушаем же теперь, как рождался этот Папагено: «Непрекращающаяся боль; многочасовые приступы дурноты, схожие с морской болезнью; полупаралич, во время которого у меня отнимается язык, и для разнообразия жесточайшие припадки, сопровождаемые рвотой (в последний раз она продолжалась три дня и три ночи, я жаждал смерти)» (Письмо к Отто Эйзеру в январе 1880 г.). Это уже нечто совсем закулисное и неинсценируемое — так окупаемая *веселость*: некий род адской расплаты за «искусственный рай» сверхчеловечности — расплаты, которая, впрочем,

всякий раз оборачивается неожиданной провокацией к новой книге: «Говоря притчей, я посылаю горшок с вареньем, чтобы отделаться от кислой истории...»

«Веселая наука», написанная зимой 1881/82 года, продолжает линию «Утренней зари». С этой книги берет свое начало то, что часто называют нигилизмом Ницше: «Я вобрал в себя дух Европы — теперь я хочу нанести контрудар». Воистину автор книги — «поле битвы» и одновременно возвышенный мир тончайших переживаний. Именно на страницах этой самой жизнерадостной, наполненной карнавальным роскошеством, книги впервые появляется на свет человек будущего, или сверхчеловек, Фридриха Ницше.

Декларируя главные идеи книги, напоминающей читателю об искусстве провансальских трубадуров, автор на первые места ставит красоту и абсолютное приятие жизни такой, какова она есть:

Еще живу я, еще мыслю я: я должен еще жить, ибо я должен еще мыслить. Sum, ergo cogito: cogito, ergo sum. Сегодня каждый позволяет себе высказать свое желание и заветнейшую мысль; что ж, и я хочу сказать, чего бы я желал сегодня от самого себя и какая мысль впервые в этом году набежала мне на сердце — какой мысли сподобилось стать основой, поручкой и сладостью всей дальнейшей моей жизни! Я хочу все больше учиться смотреть на необходимое в вещах, как на прекрасное: так, буду я одним из тех, кто делает вещи прекрасными. Amor fati: пусть это будет отныне моей любовью! Я не хочу вести никакой войны против безобразного. Я не хочу обвинять, я не хочу даже обвинителей. *Отводить взор* — таково да будет мое единственное отрицание! А во всем вместе взятом я хочу однажды быть только утвердителем!

На место принципа «искусства для искусства» в «Веселой науке» ставится «искусство для художника», то есть мощь творческого начала, право творца создавать собственную действительность. Творчество здесь объявлено прежде всего жизнетворчеством, высшим проявлением дионисийской стихии, в которой сливаются радость и скорбь, наслаждение и ужас как способы освобождения художника от юдоли страдания и зла. «...Художник спасается от этого мира путем изображения его в символах, то есть путем созерцания, и то наслаждение, которое художник испытывает от созерцания, и служит для него искуплением мирового зла и страдания».

Кстати, русский символизм многим обязан «Веселой науке». Когда К. Д. Бальмонт в сборнике «Горные вершины» пишет, что «гармония сфер и поэзия ужаса — это два полюса красоты», а Вяч. Иванов открывает свой первый стихотворный сборник («Прозрачность») стихотворением «Красота», это можно рассматривать как дань эстетике Фридриха Ницше.

В «Веселой науке» мастерство самого Ницше достигает своего пика — «мозаичной виртуозности и творческой свободы». Филигранная отделка, вели-

колепная образность, отточенность каденсов делают максимы самодостаточными шедеврами немецкой прозы.

Цель, декларируемая автором «Веселой науки», — возвышение человека, возвышение его духа, напоминание «о том единстве певца, рыцаря и вольнодумца, которым чудесная ранняя культура провансальцев отличалась от всех двусмысленных культур».

Это означало перемену в философском мышлении Ницше, смену маски; свободный дух входил в соприкосновение с искусством, свободным как от метафизики, так и от рабской привязанности к реальности, с музыкой юга, а также с рыцарской, возвышенной моралью. Философия понимается здесь как веселая наука, смеющаяся над позитивистской верой в эмпирическую данность, в факт как единственную основу знания о жизни, она — озорство духа, благословляющего себя и изготавливающегося к долгим и страшным решениям, веселость отбрасывает в сторону незыблемую уверенность науки и морали в непротиворечивости своих оснований; философия приближается к любящей маску игре, освобождающей знание от онтологизации и открывающей мыслящему уму игру самой жизни, а вместе с ней и новые горизонты жизни, скрытые для педантичного ума.

Апология жизни, игры, «веселой науки» (жизненного знания) противопоставлены здесь рациональному самоугнетению, серьезности, хмурости «воли к знанию». Рассудочности противопоставляется инстинктивность, дискуссии — жизненность. Свобода созидания несовместима с самоограничением или авторитетом, ибо последние свидетельствуют лишь об ослаблении инстинкта жизни. Жизнь расточительна, изобильна, могущественна. Эти ее качества и необходимо использовать творцам «веселой науки».

К. А. Свасьян считает, что «Веселой науке» принадлежит исключительное место в творчестве Ницше, «как самой *открытой* и вместе с тем самой *секретной* из всех книг Ницше, к тому же самой *срединной* («средиземноморской»), так как соединяющей в себе период тактической подготовки (первые четыре книги) с периодом бесповоротно переиженного Рубикона (пятая книга, открывающаяся эпиграфом из маршала Тюренна)». Здесь имеется в виду переход от первого боя Ницше («Рождение трагедии») к тотальной войне, объявленной прошлой культуре в конце жизни («По ту сторону добра и зла», «К генеалогии морали», «Сумерки кумиров», «Антихрист», «Ессе Номо» и др.)

«Веселая наука» — дальнейшая радикализация философии Ницше. Она перебрасывает мост от эпикурейского сада «Человеческого, слишком человеческого» к нонконформизму и катастрофизму последних книг:

Говоря символически: если в «Человеческом, слишком человеческом» речь шла о своего рода психоаналитическом разоблачении юношеского идеализма с предоставлением роли главного консультанта Вольтеру, то здесь уже ревизии подвергается сам Вольтер. Иначе: Вольтер, взятый в союзники против испорченной вагнерианством «грандиозной грече-

ской проблемы», и Вольтер в роли сделавшего свое дело мавра ... речь шла о задачах, «которые и не мерещились Вольтеру».

Эта алхимия внутренних превращений приходится как раз на период создания «Веселой науки». Ницше называл ее комментарием к «Заратустре», написанным до текста; таков, можно сказать, ее *«реалистический»* аспект (*ante rem*), но позволительно учесть и *«номиналистический»* (*post rem*), где она оказывается своего рода комментарием к уже написанному тексту, собственно к «Человеческому, слишком человеческому», символически — все к тому же вольтерьянскому оскалу, сюрреалистически прорезавшемуся сквозь «лица необщее выражение» недавнего Зигфрида и вагнеровского «верного Личарды».

Модуляция и тональность «Веселой науки» прокидывала уже мост от подобной подглядывающей оптики «человеческого, слишком человеческого» к провидческой оптике «сверхчеловеческого», в идеале — «слишком сверхчеловеческого»; сама раздвоенность книги безошибочно фиксирует перевал, существенный для всего ницшевского мировоззрения: от *«человеческого, слишком человеческого»* к *«сверхчеловеческому, слишком сверхчеловеческому»* — в сущности, от вольтерьянски-сент-бёвской парадигмы первого «слишком» к крестным мукам второго.

В «Веселой науке» бытие впервые истолковывается Ницше как «вечное возвращение того же самого»: «Песочные часы бытия, отмеряющие вечность, будут переворачиваться снова и снова, и ты вместе с ними, мелкая песчинка, едва отличимая от других!»

Во фрагменте «Безумный человек» впервые возникает тема «смерти Бога». Ставя диагноз глубинной ситуации эпохи, покинутой Богом, Ницше выражает уверенность, что ныне человеку представляется возможность вступить в пору совершеннолетия. На место авторитета Бога и церкви приходит авторитет разума и совести. Сверхчувственный мир идей должен уступить свободной человеческой деятельности. Эпоха Платона кончилась, начинается эпоха «веселой науки», «ужасных истин», которые предстоит мужественно открыть человеку.

Пятая книга «Веселой науки» написана уже после создания «Заратустры». Соответственно меняется и тематика — преодоление кризиса европейской цивилизации, дальнейшее развитие идей воли к могуществу и вечного возвращения. Это — прелюдия к последним работам философа, посвященным проблеме всех ценностей, созданных европейской культурой.

«Утреннюю зарю» принял один Пауль Рэ, среди публики успеха она не имела. Немецкая публика не привыкла к книге фрагментов, воспринимаемых причудливыми к логике буршами как нагромождение, хаос. Впрочем, холодный прием, к которому Ницше уже привык, не обескуражил его. Он воспротивился даже приезду лучшего друга, выразившего желание лично выразить свой восторг, потому что был одержим новой идеей и не мог терять даром ни одной минуты. Этой идеей стала мысль о вечном возвращении. *Это* случилось летом — 1881-го. Он давно предчувствовал близость откровения, которое пришло к нему во вре-

мя прогулки в окрестностях Сильс-Мари. Он присел отдохнуть у подножья скалы, и тут-то его осенило...

Я еще подробнее остановлюсь на идее «вечного возвращения» — «откровении» Ницше, которое многим может показаться тривиальным. Я должен признаться, что сам не уловил полноту и оригинальность этой идеи, пережитой самим Ницше как высшее откровение, когда-либо данное человеку:

Пусть все непрерывно возвращается, это и есть высшая ступень сближения между будущим и существующим миром: в этом вечном возврате заключается высшая точка мышления.

Что виделось Ницше в тот августовский день в Сильс-Мари на высоте 6500 футов над уровнем моря? Прорыв сквозь время? Соединение времен? Ключ к истории? Принцип философии? Мистический мировой круг?

В продолжение нескольких недель Ницше находился в состоянии тоски и восхищения. Подобные переживания, без сомнения, знакомы мистикам, и их словоупотребление как нельзя лучше подходит к данному случаю. Он испытал какое-то чувство священной гордости и — одновременно — страх. Вся душа его дрожала от ужаса, подобно тому как израильские пророки трепетали пред Богом, отправляясь по Его приказу проповедовать людям. Несчастный, раненный жизнью человек с невыразимым ужасом смотрел в глаза «Вечному возврату». Он весь превратился в напряженное ожидание, ставшее пыткой, но он возлюбил эту пытку и отдался своей новой мысли, как аскет обрекает себя на мучение.

Ф. Ницше — П. Гасту:

На моем умственном горизонте появились новые мысли, и какие мысли! Я никогда даже не подозревал в себе возможности появления таких мыслей. Большого я тебе не скажу, ибо не хочу нарушать своего внутреннего спокойствия. Увы, мой друг, предчувствия иногда не дают мне покоя. Мне кажется, что жизнь, которую я веду, вредно отзывается на моем здоровье, так как моя внутренняя организация — это машина, которая может легко взлететь на воздух! Эти глубоко проникшие в меня мысли и чувства вызывают у меня и стоны, и смех. Уже дважды я был вынужден по нескольку дней не выходить из моей комнаты — почему? Причина покажется тебе смешной; на прогулках я слишком много плакал — не сентиментальными, а радостными слезами, я пел и говорил безумные вещи оттого, что весь переполнился новой идеей, которую обязан изложить человечеству.

Это «переполнение идеей», этот внутренний духовный восторг, эти слезы и это безумие незнакомы людям, не пережившим озарения. Существует трепет посвящения, данный только посвященным, — для всех остальных это, в лучшем случае, «только слова»...

Ницше обрел новую жизненную цель: все, созданное прежде, только преамбула, попытка, проба — ныне ему предстоит создать нечто подлинно великое, вечное, новое, ему предстоит «потрясти мир». Он еще не знает, как лучше это сделать — в философской или художественной форме, стать новым Эмпедоклом или Лукрецием, Платоном или Данте? Однажды он вспоминает о существовании персидского апостола, мистагога огня, чье имя — Заратустра:

*Я сидел в ожидании, я не ждал ничего.
Я не размышлял о добре или зле, а лишь радовался
Игре света и тени; я находился под обаянием
Дня, озера, яркого солнца, жизни без цели.
И в этот миг внезапно стало нас двое —
Мимо прошел Заратустра.*

Торопливо он записал начало поэмы:

Заратустра родился на берегу озера Урми. Когда ему исполнилось тридцать лет, он покинул отечество, родное озеро и удалился в горы. Здесь наслаждался он духом своим и одиночеством и не утомлялся счастьем этим целых десять лет.

Период рождения идеи вечного возврата был кратким, зато вызванный этим кризис — затяжным и тяжелым. «Я вновь пережил дни базельских мучений, — писал он Гасту, — за моим плечом стоит смерть и смотрит на меня».

По некоторым данным, в период сентября-октября 1882 года Ницше трижды покушался на самоубийство. Нет, он желал не столько избавиться от страданий, сколько предупредить сумасшествие, равное для него смерти.

Результатом кризиса стало решение оставить писательскую деятельность на десять лет. Молчание казалось ему необходимым для излечения и нирваны. Еще — для проверки новой, близкой к мистицизму философии, вестником которой он мечтал выступить по окончании обета. Однако он не выполнил своего решения: именно в восьмидесятые годы написал свои главные произведения, прежде чем замолкнуть навсегда по причине реально наступившего его безумия.

В 1882 году Ницше стоял на пороге очередного поворота, после которого ему предстоят высший расцвет, а потом окончательный крах. Он был тяжело болен. Врачи и историки до сих пор не сумели определить диагноз. Одни считают, что это был сифилис, другие (как одесский врач И. К. Хмелевский, посвятивший этому специальное исследование) утверждали, что прогрессивный паралич может иметь и иное, несифилитическое происхождение.

Тяжко переживая свое одиночество и осознавая близящуюся угрозу, полуслепой, страдающий от невыносимых головных болей человек в письмах к друзьям умолял подыскать ему жену. На самом деле ему, практически не знавшему женщин, необходима была сиделка и секретарша.

Именно в это время к нему пришла любовь. Женщина, которую он встретил, была столь же экзотична и необыкновенна, как он сам. Ей шел 21 год, она была таинственна и умна, соблазнительна и недоступна. Ее звали Лу. Когда его друзья Пауль Рэ и Мальвида фон Мейзенбург написали Ницше о своих восторгах от встречи с необыкновенной русской, Ницше понял их по-своему:

Передайте от меня привет этой русской девочке, если видите в этом смысл: меня влекут такие души... Я нуждаюсь в них для того, что я намерен сделать в течение ближайших десяти лет. Брак другое дело — я бы согласился на женитьбу на два года примерно.

Болезнь Ницше, по крайней мере вначале, явно имела нервную природу. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что встреча с Лу на время излечила его: с 1882 года началась его медленная поправка. По крайней мере, во время этого недолгого романа пред нами совершенно другой Ницше — «молодой лев» (как звал его П. Дёйссен), почти забывший о недавнем кризисе.

Лу (Леля) Саломе — родившаяся в Петербурге дочь приближенного к царю русского генерала и тайного советника, разносторонне образованная и необыкновенно талантливая женщина удивительной судьбы, Сивилла интеллектуального мира, Заратустра в юбке, подруга многих европейских гениев и знаменитостей, о которой немецкий писатель Курт Вольф сказал: «Ни одна женщина за последние 150 лет не имела более сильного влияния на страны, говорящие на немецком языке, чем эта Лу фон Саломе из Петербурга». Одна из создательниц эротической психологии и типичная эротоманка, о которой ее любовники рассказывали совершенно удивительные вещи, она отказывала в близости своему собственному мужу Фреду Андреасу, находясь в связи с самыми знаменитыми людьми Европы.

В ее объятиях было что-то странное, примитивное, анархическое. Когда она смотрела на вас своими лучающимися голубыми глазами, она будто говорила: «Принять твое семя будет для меня верхом блаженства». У нее был огромный аппетит к этому. В любви она была безжалостна. Для нее не имело значения, имел ли мужчина другие связи... Она была совершенно аморальна и одновременно очень благочестива — вампир и дитя.

Сразу было видно, что Лу — необычная женщина. У нее был дар полностью погружаться в мужчину, которого она любила. Эта чрезвычайная сосредоточенность разжигала в ее партнере некий духовный огонь.

Лу Саломе действительно удалось разжечь много «духовного огня»: среди ее любовников или безутешных воздыхателей — Ницше и Рильке, Ведекинд¹, Мартин Бубер, Пауль Рэ, Герман Эббингаус, Фердинанд Теннис, Фридрих Пинельс, Паул Бьер, Герман Ледебур, Эмиль фон Гебсаттель, Виктор Тауск... Зигмунд Фрейд пережил платоническую любовь к Лу Саломе.

¹ Франц Ведекинд выбрал Лелю в качестве прототипа знаменитой пьесы «Лулу».

Ф. Ницше — П. Гаску:

Она дочь русского генерала, ей 20 лет, она резкая, как орел, сильная, как львица, и при этом очень женственный ребенок, который будет жить недолго... Она поразительно зрела и готова к моему способу мышления... Кроме того, у нее невероятно твердый характер, и она точно знает, чего хочет, — не спрашивая ничьих советов и не заботясь об общественном мнении.

С Лу Саломе Ницше встретился в апреле 1882 года в Риме — задолго до только что описанных событий и необыкновенных поворотов судьбы этой необыкновенной женщины. Познакомил их Пауль Рэ, и Ницше читал им двоим только что законченную книгу «Веселая наука», самое жизнеутверждающее свое произведение, на каждой странице которого прорывается его страсть к «нечеловеческим» идеалам.

Иной идеал влечет нас к себе, чудесный, искушающий, чреватый опасностями идеал... для которого все то высшее, в чем народ справедливо видит свое мерило ценностей, представляло бы не более чем падение, унижение, опасность или, по меньшей мере, средство самосохранения.

Трудно вообразить себе женщину, более подходящую под сверхчеловеческий идеал Ницше, чем Лу, и конечно же он сразу убедился в этом сам.

А. Эткинд:

Ницше оставалось немного времени, чтобы увидеть свой идеал в этой жизни. Он ждал трагедии, но успел пережить лишь мелодраму: встречу и разрыв с Лу.

Втроем они путешествуют по горам Северной Италии, Швейцарии и собираются втроем поселиться в Париже. Вместе они успешно отражают атаку матери Лу, которая, в ужасе от происходящего, пытается увести дочь обратно в Россию и даже вызывает себе на помощь любимого брата Лу — Евгения.

Сохранилась удивительная фотография, снятая в те дни в Люцерне на фоне Альп. Ницше и Рэ стоят, запряженные в двуколку, в которой сидит Лу и держит кнут. Рэ позирует уверенно и чувствует себя на месте. Ницше со своими огромными усами устремляет взгляд невидящих глаз вдаль. На лице Лу, только что выстроившей эту мизансцену, нет насмешки. Действительно, все это серьезно. Не пройдет и года, как после мучительного для него разрыва с Лу Ницше напишет свое знаменитое: «Ты идешь к женщине? Не забудь плетку!»

Помахивая своим кнутиком, Лу мечтала построить маленькую интеллектуальную коммуну, «святую, как Троица», в которой мужчины, отказавшись ради нее от своих на нее притязаний, воплощали бы их в общем духовном поиске, в котором ей принадлежала бы равная роль. Рэ принимал этот проект. «Братец Рэ», называла она его, хваля за «незем-

ную доброту». Сам он в письмах к ней называл себя «твоим маленьким домом» и считал ее благополучие «единственной задачей моей жизни, если не считать моей книги». Рэ, действительно, занял в ее новой жизни место ее прежнего дома, наполненного братьями. С Ницше у нее складывались иные отношения.

В августе 1882 года Лу пишет Рэ: «Разговаривать с Ницше, как ты знаешь, очень интересно. Есть особая прелесть в том, что ты встречаешь сходные идеи, чувства и мысли. Мы понимаем друг друга полностью. Однажды он сказал мне с изумлением: Я думаю, единственная разница между нами — в возрасте. Мы живем одинаково и думаем одинаково. Только потому, что мы такие одинаковые, он так бурно реагирует на различия между нами. Вот почему он выглядит таким расстроенным. Если два человека такие разные, как ты и я, — они довольны уже тем, что нашли точку соприкосновения. Но когда они такие одинаковые, как Ницше и я, они страдают от своих различий».

Философская открытость, духовная близость заменили Фридриху и Лу физическую. Тем не менее ни болезнь, ни подавленные чувственные влечения не воспрепятствовали пробуждению любви. По свидетельству сестры и злого демона философа Элизабет, чувство к Лу было самым сильным в его жизни. Ницше даже на время прервал отношения с сестрой и матерью, которые возненавидели Лу. Однако в жизни философу не хватало того героизма, который он столь красочно описывал в книгах. Даже после того, как он сделал официальное предложение и послал письмо-уведомление об этом родителям Лу, близость-ненависть к сестре оказалась сильнее. Вновь попав под ее влияние, Ницше написал Лу, что бросает ее из-за «ужасного характера»: «Ты принесла боль не только мне, но и всем, кто меня любит». Возможно, прощальная песнь Ницше «Так говорит Заратустра» — плод этой любви, идеальная мечта о друге, которого он желал обрести, но утратил вместе с Лу.

Я еще вернусь к отношениям Ницше с друзьями и женщинами, в том числе к периоду его увлечения Лу Саломе, кончившемуся, как можно было предвидеть, разрывом и бегством. Отъезд Ницше из Лейпцига после выяснения отношений с Лелей действительно напоминал паническое бегство. Остановившись проездом в Базеле у Овербеков, он поделился с ними историей предательства самых близких друзей [Лу и Пауля] и заключил: «Начинается полное одиночество...»

Ницше страдал, а страдания великих людей обладают свойством оборачиваться шедеврами. После разрыва с Лу таким шедевром стал его «Заратустра». Ф. Ницше:

Я провел зиму 1882 — 1883 года в красивой бухте Рапалло, полукругом огибающей Ривьеру между мысом, соединяющим Портофино и Киавери. Здоровье мое оставляло желать лучшего. Зима была холодной, дождливой; в маленькой харчевне, расположенной настолько близко к морю, что шум волн мешал мне спать, я нашел приют, со всех точек

зрения мало удовлетворительный. Кроме того, — и это пример моей максимы, что все решительное делается наперекор, — именно в продолжение этой зимы и в этой некомфортабельной обстановке родился мой «Заратустра». По утрам я взбирался по южной красивой гористой дороге, по направлению к Зоагли, между гирляндой елей, с великолепной панорамой моря. По вечерам, когда позволяло здоровье, я гулял, огибая бухту Санта Маргерита вплоть до Портофино. Здесь, на этих двух дорогах, мне пришло в голову начало «Заратустры», больше того, сам Заратустра, как художественный тип, явился мне.

Заратустрой Ницше как бы очищался от всего пережитого, сублимировал его в художественный образ, более того, жаждал обрести силы с помощью своего героя: «Я не хочу начинать жизнь сначала. Откуда взять силы на это? Создавая Сверхчеловека и устремляя на него свои взоры, слыша, как он говорит «да» жизни, я сам пробовал сказать да!»

Публикация «Заратустры» не обошлась без привычных казусов: издатель не торопился, откладывая тираж месяц за месяцем и отдавая предпочтение то гимнам для воскресных школ, то каким-то брошюрам. К щемящему одиночеству Ницше добавилось горькое ощущение отчаяния, ненужности, отверженности.

Как и все прежние книги Ницше, «Заратустру» ждала обструкция: даже немногие оставшиеся друзья о ней не говорили, критика пропустила ее мимо своего внимания, новый пророк оказался таким же безвестным, как и его создатель. Книга, которая по ожиданиям Ницше должна была взволновать литературный мир, не вызвала никакого интереса.

«На такой призыв, каким был мой «Заратустра», призыв, вырвавшийся из глубины души, не услышать ни звука в ответ, ничего — ничего, кроме беззвучного, теперь уже тысячекратного одиночества, — в этом есть нечто ужасное, превышающее всякое понимание; от этого может погибнуть самый сильный человек, — так стонет он и прибавляет: — А я не из самых сильных. С тех пор мне кажется, будто я смертельно ранен».

Испытанная Ницше горечь явно наложила отпечаток на вторую часть поэмы, которую он писал в Энгадине. В уста Заратустры Ницше вкладывает слова «Ночной песни», приведенные выше. Сам Заратустра здесь совсем другой: отчаявшийся человек, испускающий поток жалоб.

Поистине, ясно понимаю я знамение и предостережение сна моего:
учение мое в опасности, сорная трава хочет называться пшеницей!

Враги мои усилились и исказили образ учения моего, так что возлюбленные ученики мои устыдились даров, которые дал я им.

Потерял я друзей моих; настал час искать потерянных мною!

Ах, куда еще подняться мне с тоской моей! Со всех гор высматриваю я отцовские и материнские земли.

Но родины нигде не нашел я: в любом месте я не на месте и ни у одних ворот не задерживаюсь.

Чужды мне современники, предмет насмешки моей! А ведь недавно влекло меня к ним сердце мое. Изгнан я из отцовских и материнских земель.

Только одну страну люблю я — страну детей моих, еще не открытую, лежащую в дальних морях: пусть неустанно ищут ее корабли мои.

Поистине, друзья мои, хожу я среди людей, словно среди обломков и разрозненных частей человека!

Всего ужаснее для взора моего — видеть человека растерзанным и расчлененным, словно на бойне или на поле брани.

И когда убегает взор мой от настоящего к минувшему — всюду находит он одно и то же: обломки, и разрозненные части, и роковые случайности — но ни одного человека!

Хотя Одинокий Пилигрим бессознательно стремился к своей пещере, ему довелось познать горечь большого количества предательств и уходов. Если дешифровать «Заратустру» в контексте его личных переживаний, событий его личной жизни, то мы вычитаем очень много из того, что уходит вместе с жизнью, например следующее: «Они все говорят обо мне, собравшись вечером вокруг огня, но никто не думает обо мне! Это та новая тишина, которую я познал: их шум расстилает плащ над моими мыслями».

Человек ко всему привыкает. Как честолюбцу ни тяжело переносить безвестность, к этому тоже можно привыкнуть. После провала «Заратустры», на которого возлагалось столько надежд, Ницше смирился с «изгнанием из отцовских и материнских земель», возложив все свои надежды на будущее — «страну детей моих». Теперь он убедил себя в том, что одиночество, изгойство, безвестность — его путь, что ему необходимо, чтобы он остался непризнанным. Отныне отказы, умалчивание, поношение «возвращали ему мужество», как писал он сам одному другу.

Его место в грядущем, от нынешнего ждать нечего. Поэтому и творить он будет с ориентиром на «страну детей моих». Теперь его волнует не сиюминутная слава, а только то, что он призван оставить *этой* стране. Необходимо быстрее окончить книгу, вместившую в себя все его идеи, всю его жизнь. В третьей части «Заратустры» alter ego должен возвестить людям «вечный возврат», стать новым законодателем...

Я странник, неустанно восходящий на горы, — сказал он в сердце своем, — я не люблю равнин и, кажется, не могу долго оставаться на одном месте.

И что бы ни сулила мне судьба, что бы ни пережил я — жизнь моя будет вечным странствием и восхождением в горы: в конце концов, человек живет только тем, что внутри него.

Прошло то время, когда случайности еще встречались на пути моем; что же может встретиться мне теперь, что не было бы частью моей и достоинством моим!

Ко мне и в меня возвращается наконец Самость моя — те части ее, что так долго были на чужбине, рассеянные среди многих вещей и случайностей.

И еще одно знаю я точно: теперь стою я перед последней вершиной моей и перед тем, что давно уже было предназначено мне. О, на самый трудный путь предстоит мне вступить! О, начал я самое одинокое свое странствие!

У Ницше много вариантов третьей части поэмы, он долго колеблется, какой выбрать, он импровизирует, он все больше наделяет героя собственными чертами и в конце концов рождается гимн жизни, пропетый из последних глубин самозаточения:

Тут Жизнь задумчиво оглянулась вокруг и тихо произнесла: «О Заратустра, ты не слишком-то верен мне!

Ты давно уже любишь меня не так сильно, как говоришь; я знаю, ты собираешься скоро покинуть меня.

Ибо есть старый, тяжелый-тяжелый, гулкий колокол — до самой пещеры твоей доносятся ночью удары его:

— И когда слышишь ты, как он в полночь отбивает часы, ты думаешь между первым и последним — двенадцатым ударом —

— думаешь о том, о Заратустра, что скоро покинешь меня, — я знаю это!»

«Да, — колеблясь, отвечал я, — но ты знаешь также...» — И я сказал ей кое-что на ухо, шепотом, сквозь золотистые пряди ее спутанных, безумных волос.

«Ты *знаешь* это, о Заратустра? Этого не знает никто».

И смотрели мы друг на друга, и бросали взгляды на зеленый луг, на который опускалась вечерняя прохлада, и рыдали. И в тот раз Жизнь была мне милее, чем когда-либо вся мудрость моя.

Так говорил Заратустра.

РАЗ!

О человек! Внимай!

ДВА!

Что вещает глубокая полночь?

ТРИ!

Я спала,

ЧЕТЫРЕ!

И от глубокого сна пробудилась:

ПЯТЬ!

Мир глубок!—

ШЕСТЬ!

И глубже, чем думает день.

СЕМЬ!

Глубока боль мира —

ВОСЕМЬ!

И все же радость глубже, нежели скорбь.

ДЕВЯТЬ!

Боль говорит: «Прейди!»

ДЕСЯТЬ!

Но всякая радость жаждет вечности,

ОДИННАДЦАТЬ!

Жаждет глубокой, глубокой вечности!

ДВЕНАДЦАТЬ!

Мне представляется, что это стихотворение — эти двенадцать числительных, соответствующие двенадцати ударам полночного колокола, являются разгадкой той тайны, которую нашептал Заратустра Жизни, тайны, открывшейся ему как откровение на высоте 6500 футов над уровнем моря, тайны «вечного возвращения», в котором определяющей является вечность, а не возвращение, темная бездна вечности, а не видимая и временная жизнь, которой не дано судить о глубинах мира. Вечное возвращение — обреченность человека на возврат ко все тем же проблемам бытия, которое всегда было и всегда останется тайной. «Мир глубок! И глубже, чем думает день»...

Публикацию трехчастной поэмы ждала та же судьба, что и первую ее часть — даже ближайшие друзья не удосужились откликнуться на присланные дарственные экземпляры. Намерение Ницше написать серию комментариев к поэме отпало само собой: кто будет читать маргиналии, если нет желающих ознакомиться с Книгой?.. Ницше преодолевают сомнения. Может быть, он не смог донести свою мысль до читателя? Может быть, необходимо надолго уединиться, чтобы оформить свою систему точнее и определенней? Ницше едет в Базель, дабы поработать в тамошних библиотеках, и вновь убеждается, что и тут, где у него столько бывших коллег, никто не читал его «Заратустры». «Я чувствовал себя среди них, словно среди коров», — написал он П. Гасту.

Единственным человеком, горячо отреагировавшим на поэму, оказался некто Генрих фон Штейн, вначале приславший восторженное письмо, а затем попросивший встретиться с автором. Хотя Генрих был вагнерианцем, поклонником Козимы Вагнер и Лу Саломе, Ницше, утративший большинство друзей, ответил ему приглашением в Сильс-Марию. В надежде обрести последователя (на такую возможность указывала опубликованная Штейном книга, во многом перекликающаяся с ницшеанством) Ницше пренебрег даже тем, что посетитель мог быть посланником Козимы, присланным для заключения перемирия. Так или иначе, Ницше произвел большое впечатление на молодого писателя, Штейн расценил встречу как великое и значительное событие в жизни, а у самого Отшельника из Сильс-Марии вновь воскресло утопическое желание стать основателем «идеального монастыря». Видимо, он сделал такого рода предложение единственному неопиту, но у того, при всем уважении к мэтру, были свои планы. Встреча продолжалась лишь три дня.

О степени одиночества Ницше можно судить по тому факту, что встречу со Штейном он оценил как дар — это сказал он сам в письме П. Гасту. Возможно,

это действительно был дар для человека, который целыми днями рылся в новых журналах и литературных обзорах, пытаясь отыскать в них свое имя, найти отклик на свою мысль.

Встреча со Штейном завершилась очередной депрессией. Ницше приехал из Сильс-Мариин в Базель в ужасном состоянии. Посетивший его в отеле Овербек застал Ницше лежащим в постели с сильнейшей мигренью, упадком сил и слабым пульсом.

У Ницше явилось желание посвятить Овербека в тайну «вечного возврата». «Когда-нибудь мы вновь встретимся при подобных обстоятельствах; я вновь буду болен, а вы удивлены моими речами...» Он говорил это с взволнованным лицом, тихим дрожащим голосом. Он был в том же состоянии, о котором когда-то говорила Лу Саломе. Овербек тихо слушал его, не противореча, и ушел с дурным предчувствием: это было их последнее свидание перед туринской катастрофой в январе 1889 года.

Еще одним человеком, понявшим величие Заратустры, впервые назвавшим Ницше учителем, стал Пауль Ланцкий, немец по происхождению и свободный художник по вкусам, большую часть жизни проведший в странствиях. Его перу принадлежат, видимо, первые рецензии на поэму. Как и Штейн, он сам разыскал и встретился с Ницше, дабы выразить ему свое восхищение. Какое-то время Ницше и Ланцкий прожили в одном пансионе в Генуе.

Однажды в мартовское утро Ланцкий, по обыкновению, войдя в маленькую комнату, которую занимал Ницше, нашел его, несмотря на поздний час, в постели. «Я болен, — сказал он ему, — я только что разрешился от бремени». — «Что вы говорите?» — пробормотал растерявшийся Ланцкий. — «Я написал четвертую часть “Заратустры”».

Издателя для этой части книги найти Ницше не мог. Поскольку предыдущие части не расходились, издатель без обиняков написал ему, что публике «Заратустра» не нужен. Ницше ничего не оставалось, как вновь издавать книгу за собственный счет в количестве... сорока экземпляров. Но и их рассылать было некому. Ницше отправил книгу сестре, госпоже Мейзенбург, Буркхардту и четверем оставшимся друзьям (Овербеку, Гасту, Ланцкому и Роде). Большинство из них ограничилось перелистыванием последней части поэмы.

Ницше несколько раз порывался написать еще две части «Заратустры», но чувствовал, что ему не хватит сил удержаться на уровне пафоса, заданного уже написанным. Как и другие книги, эта осталась недописанной. После создания литературного шедевра все написанное ранее казалось ему слабым и безжизненным. В голове зрела мысль переписать прежние книги, но этот утопический проект остался нереализованным. Он ограничился новыми предисловиями к большей части ранее вышедших книг. Работать становилось все трудней. Летом 1885 года, по некоторым сведениям, добровольную помощь ему предложила мадемуазель Рёдер, сама разыскавшая Ницше и на какое-то время ис-

полнявшая обязанности его секретаря. Она писала под диктовку сжатые фрагменты задуманной Ницше «Переоценки всех ценностей».

Зимой 1885/86 года он работал над «прелюдией к философии будущего», книгой «По ту сторону добра и зла». Он сам назвал ее «ужасной книгой», вытекшей из истоков его души, в ту пору очень черной. Он ощущал себя отверженным, диссидентом Вселенной и книгой своей бросал вызов отвергнувшему его миру.

Настроения автора книги «По ту сторону добра и зла» передает набросок предисловия ко второму, ненаписанному тому:

Что лежит в основе его — мысли, первые записи, разнообразные наброски — принадлежит моему прошлому, а именно тому богатому загадками времени, когда создавался «Заратустра»; уже ввиду такой их одновременности это сочинение могло бы содержать указания на то, как следует разуметь то *трудное для понимания* творение. И, в частности, на то, как оно возникало, — тут есть нечто особенное. Тогда мне подобного рода мысли служили и для отдохновения, а также и для допрашивания самого себя, и для самооправдания — пока я занят был начинанием бескрайне рискованным и ответственным: пусть же выросшей из всего этого книгой пользуются для таких же целей! Или пусть пользуются ею как запутанной тропинкой, которая в любом случае неприметно выводит на опасную почву вулкана, где произошло только что названное евангелие Заратустры. Хотя верно, что эта «Прелюдия к философии будущего» не составляет и не должна составлять комментарий к речам Заратустры, она все же может представить нечто подобное предварительному глоссарию, в котором так или иначе где-нибудь встречаются и называются по имени важнейшие понятийные и ценностные нововведения той книги — события беспримерного, беспрецедентного, не имеющего себе равных во всей литературе.

К периоду работы над «прелюдией» относятся слова Ницше, характеризующие его настроения этого времени:

Я один дерзновенно берусь за разрешение громадной проблемы; это девственный лес, в котором я затерялся — Wald und Urwald. Мне нужна помощь, мне нужны ученики, мне нужен учитель. Как было бы приятно мне повиноваться. Если бы я заблудился в горах, то слушался бы человека, которому знакомы эти горы; я повиновался бы врачу, если я был бы болен; и если бы я встретил человека, который уяснил бы мне ценность наших моральных идей, я послушал бы его и пошел за ним. Но я не нахожу никого: ни учеников, ни еще меньше — учителей, я — один.

Ницше вполне осознавал собственную «несвоевременность» — незрелость своей эпохи, совершенно неготовой к его вестям «оттуда». Говоря с Ланцким об одном из немногих поклонников, он как-то заметил:

— Я не хотел бы, чтобы этот человек читал мои книги. Он слишком добр и чувствителен; я причиню ему зло.

Осенью 1885-го Ницше съездил в Лейпциг для переговоров об издании новых книг. Однако здесь к нему отнеслись пренебрежительно. Новых изданий не будет, потому что книги не продаются. Он может издавать новые книги только за свой счет.

Новый год он встретил в дешевом маленьком пансионе в Ницце. Зима оказалась холодной, а у Ницше не хватало денег на отопление комнаты. Он замерзал, терзаемый жуткими звуками «музицирующих» соседей, делающих его одиночество вовсе непереносимым.

Снова наступает Рождество, и прямо жалко подумать, что я должен продолжать жить так, как я живу в продолжение семи лет; жить как изгнанник и циничный наблюдатель за людьми. Никто не заботится о моем существовании...

Ни среди живых, ни среди мертвых у меня нет никого, с кем бы я чувствовал родство. Неописуемо жутко...

«По ту сторону добра и зла» ему также пришлось издавать за свой счет. Книгу ждала уже известная судьба. Было продано немногим больше ста экземпляров... Друзья продолжали отмалчиваться, Якоб Буркхардт ответил вежливо и... формально.

Отчаявшийся Ницше в августе 1886 года послал книгу датскому литературному критику Георгу Брандесу и известному французскому историку и литературоведу Ипполиту Тэну. Первый ничего не ответил, а Тэн отозвался необычайно похвально, пролив бальзам на душу Ницше. А между тем именно в книге «По ту сторону добра и зла», как ни в какой другой, Ницше обнаружил удивительную проницательность, предсказав катастрофические процессы будущего.

Он размышлял о распаде европейской духовности, низвержении прошлых ценностей и норм, восстании масс и создании для их оболванивания и обслуживания чудовищной массовой культуры, унификации людей под покровом их мнимого равенства, начале борьбы за господство над всем земным шаром, попытках выращивания новой расы господ, тиранических режимах как порождении демократических систем. Темы эти будут подхвачены и развиты, только более сухо и тяжеловесно, крупнейшими философскими умами XX века — Эд. Гуссерлем, М. Шелером, О. Шпенглером, Х. Ортегой-и-Гассетом, М. Хайдеггером, К. Ясперсом, А. Камю.

Именно в связи с книгой «По ту сторону добра и зла» появляется представление о Ницше как о «динамите». Такую метафору употребил швейцарский критик И. Видман в статье «Опасная книга Ницше», правильно уловивший ее взрывную мощь, которая «может послужить весьма полезному делу; вовсе не следует, что ею необходимо злоупотреблять в преступных целях. Следовало бы лишь отчетливо сказать там, где хранится подобное вещество: «Это динамит!»... Ницше — первый, кто знает выход

из положения, но выход столь страшный, что это поистине ужасает — видеть его бредущим по непроторенной еще одинокой тропе».

В июле 1887 года Ницше дополнил эту книгу полемической работой «К генеалогии морали», также изданной за свой счет. В ней он окончательно разъяснил свою нравственную позицию:

Я сказал, что занимаю место по ту сторону добра и зла. Разве это означает, что я хочу освободиться от всякой моральной категории? Вовсе нет! Я отвергаю идеализацию покорности, которую называют добром, и поношение энергии, называемое *злом*. Но существует ведь история человеческого сознания, а знают ли моралисты о ее существовании? Эта история открывает нам множество иных моральных ценностей других способов быть добрым, других средств быть злым, она дает многочисленные оттенки чести и бесчестия. Здесь реальность обманчива и инициатива свободна: надо искать, надо находить новое.

Только за три года (1885—1887) Ницше истратил около 500 талеров на печатание своих книг. Конечно, никаких гонораров, согласие на отказ от авторских прав, все мыслимые и немыслимые унижения, с которыми сталкиваются начинающие авторы у издателей. Но Ницше уже 43 года, он автор 15 книг, и у него — последняя вера: «Может быть, когда-нибудь мои издатели и восторжествуют. Я же хорошо знаю, что в тот день, когда меня начнут понимать, я “не получу за это никакой прибыли”».

П. Дёйссен, посетивший комнату Ницше в крестьянском доме (1887 г.), оставил следующее воспоминание:

Обстановка была самая скромная, какую можно себе представить. На простом деревенском столе, в невообразимом беспорядке лежали рукописи рядом с туалетными принадлежностями, тут же валялась яичная скорлупа, стояли кофейные чашки, немного дальше торчал на подставке сапог, кровать была неубрана.

Осенью 1887 года Ницше начал работу над давно задуманным «главным сочинением» жизни — речь идет об «Опыте переоценки всех ценностей». Он давно задумал эту книгу и представлял ее своей самой «совершенной книгой». В записях, относящихся к ноябрю 1887 года, находим:

С о в е р ш е н н а я к н и г а: для этого принять во внимание:

1. Форма. Стиль. И д е а л ь н ы й м о н о л о г. Ученый подтекст. Все проявления глубокой страсти, беспокойства, а также самоотдачи. Солнечные пятна, счастье, высшая ясность. Быть выше всяких объективностей; быть абсолютно личным, не употребляя первого лица. Нечто вроде мемуаров: говорить о наиболее отвлеченных вещах конкретно и нелицеприятно. Изложение должно иметь вид пережитого и выстраданного лично ... По мере возможности быть конкретным, давать примеры... Ни-

каких описаний: все проблемы должны быть перенесены в область чувства, до страсти включительно.

2. Выразительные термины. Преимущество военных терминов. Найти выражения для замены философских терминов.

Перед нами план этой книги, набросанный в начале 1888-го:

Книга первая. Антихристианин. Опыт критики христианства.

Книга вторая. Вольный дух: критика философии как нигилистического движения.

Книга третья. Имморалист: критика невежества самого фатального рая, повседневной морали.

Книга четвертая. Дионис: философия вечного возвращения.

Всего Ницше написал 372 фрагмента, разложенных по четырем рубрикам, четырем будущим томам: европейский нигилизм, критика высших ценностей, принцип новой оценки ценностей, дисциплина и отбор. Большая часть фрагментов не обработана автором и не доведена до вида искрящихся афоризмов, как в предыдущих книгах. Именно эти фрагменты неоконченной книги были затем положены в основу скомпонованной Элизабет Фёрстер и «Архивом Ницше» подделки, вышедшей под названием «Воля к власти». Книга сфабрикована из 5 тысяч листов рукописного наследия философа, поданных в тенденциозном плане: к вышеупомянутым фрагментам добавлено еще около 700 вырванных из контекста мыслей, так что искажена не только общая модальность задуманного Ницше произведения, но и его замысел в целом.

Я еще вернусь к вопросу о фальсификации задуманной Ницше книги, поскольку на протяжении многих десятилетий «Волю к власти» включали в корпус философского наследия Ницше, что радикально искажало представления о философе вплоть до абсурдного зачисления его в предтечи фашизма — абсурдного по причине абсолютной несовместимости элитарно-аристократического мировоззрения с плебейской, ориентированной на чернь идеологией завсегдатаев мюнхенских пивных. Сам Ницше определил цель своей недописанной книги, не оставив никаких сомнений относительно ее замысла:

Исследовать все пространство современной души, в каждом уголке вкусить мою радость, мою пытку, мою гордость. Превозмочь пессимизм и посмотреть, наконец, на мир гётевским взглядом, полным любви и доброй воли.

Ницше сам называет имя человека, вдохновившего его на этот труд. Это — Гёте. По Гёте сверял Ницше свои мысли, с Гёте увязывал идеалы.

Гёте не унизил ни один вид человеческой деятельности, не изгнал ни одной идеи из своего духовного мира; как добрый хозяин, он распорядился бесконечно обильным наследием человеческой культуры. Таков последний идеал Ф. Ницше, его последняя мечта. Зная о судьбе, что его

ожидает, он хочет в конце жизни наподобие заходящего солнца сохранить наиболее нежные лучи: всюду проникнуть, все рассудить, все осветить, без единой тени на поверхности души, без грусти в ее глубине.

И вот этот благородный замысел Элизабет превратила в откровенный вандализм, в гимн насилию, в настольную книгу чудовищ, уже появившихся на свет...

Работа над «Опытом переоценки» была для Ницше «сплошной пыткой». Он признался П. Гасту, что не в состоянии даже думать о продолжении работы. «Через десять лет дело пойдет лучше», — пишет Ницше, не подозревая жути иронии, вложенной в эту трагическую надежду.

*Как часто жаркой утренней порой
Мысль о тебе печаль мою врачует,
А жадный гриф летает надо мной,
Как будто вправду мертвечину чует.*

*Уймись, стервятник, — я пока не труп.
Сегодня пира у тебя не выйдет:
Еще слова с моих слетают губ,
Еще мои глаза глядят и видят:
Я не пронзаю ими небосклон,
Где в облачных волнах ныряют птицы:
Я вглубь смотрю, где вечный мрак и сон, —
И светом взора бездна озарится!*

*Как варвар перед идолом-божком,
Так я пред Меланхолией склонялся
Не раз, не два, и был ее рабом,
И вспоминал, и каялся, и клялся,
И радовался: вот летает гриф,
И радовался: гром трубит тревогу,
А ты, богиня, тайну тайн открыв,
Меня судила праведно и строго.*

*Гриф — твой урок, чтоб я полет постиг.
Гром — твой урок, чтоб я постиг пространство.
Мне объяснил безмолвный твой язык
Мою ничтожность и непостоянство.
Жизнь продолжает вечную игру:
Горит цветок, и расцветает пламя,
И бабочки слетаются к костру,
Смертельными прельстившись лепестками.*

*Есть жажда смерти — вот еще урок,
И в этой правде сомневаться надо ль?
Я — бабочка, я — пламя, я — цветок,*

*Стервятник в небе и под небом падаль!
Пою тебя — и нету слов нежней
На празднике, на самой светлой тризне
Во имя славы истинной твоей,
Во имя смерти и во имя жизни!*

*Богиня, не сочти моей виной,
Что этот гимн красотами не блещет:
Весь мир трепещет под твоей рукой,
Весь мир от взгляда твоего трепещет,
И сам я, содрогаясь, бормочу
В невольном страхе строчку за строкою.
Ни силы я, ни воли не хочу —
Пошли мне долю быть самим собою!*

До туринской катастрофы пройдет еще год, но в письмах и текстах Ницше все явственнее проглядывает спускающийся на его сознание мрак. Одно из свидетельств тому — бесконечные самоуверения в полном психическом здоровье («ум мой не болен, все здорово, кроме моей страдающей души...»).

Уже весной 1888-го у него пропадают какие бы то ни было сдерживающие начала: тексты становятся все более циничными и разрушительными.

В письме П. Гасту (февраль 1888 г.) он признается, что находится в состоянии хронической раздражительности, над которой уже не в силах взять реванш: «...Все это имеет вид чрезмерной жестокости...» В таком состоянии, видимо, писались его последние произведения «Случай (или казус) Вагнер», «Антихрист», «Сумерки кумиров».

«Случай Вагнер» написан под влиянием двух обстоятельств, которые имеют собственные имена — Георг Брандес и Козима Вагнер. Брандес дал Ницше основание еще глубже прочувствовать собственное изгойство в Германии, поклонявшейся иным кумирам, прежде всего — Вагнеру. Что до Козимы, то в мерцающем сознании Ницше пробудилась иллюзия тайной любви к нему этой замечательной женщины, доставшейся отнюдь не тому, кому ей было предназначено достаться.

Это была тщательно продуманная, блестяще написанная работа, пропитанная ядовитым и уничтожающим сарказмом.

Прежде всего Ницше отметил болезненный характер музыки Вагнера: «Вагнер — художник декаданса... Я далек от того, чтобы безмятежно созерцать, как этот декадент портит нам здоровье — и к тому же музыку! Человек ли вообще Вагнер? Не болезнь ли он скорее? Он делает больным все, к чему прикасается, — он сделал больною музыку».

Ницше утверждал, что Вагнер разработал новую систему музыки лишь потому, что чувствовал свою неспособность тягаться с классиками. Его музыка просто плоха, поэтому он прикрывает ее убожество пышностью декораций и величиим легенды о Нибелунгах. С помощью грохота барабанов и воя флейт он стремится заставить всех остальных компози-

торов маршировать за собой. Поэтому вагнерианство — форма проявления идиотизма и раболепия: «Ни вкуса, ни голоса, ни дарования: сцене Вагнера нужно только одно: германцы... Определение германца: послушание и длинные ноги... Глубоко символично, что появление и возвышение Вагнера совпадают по времени с возникновением «империи»: оба факта означают одно и то же — послушание и длинные ноги».

Памфлет — итог длительных и мучительных раздумий Ницше над великой проблемой искусства, под которым он имел в виду прежде всего музыку. У Вагнера романтизм доходил до своего идеала и предела. Для Ницше романтизм — всего лишь веха на пути к нигилизму, так же как и христианство. Как раз в то время он записал знаменитые свои «пять нет»: чувству вины; скрытому христианству (перенесенному в музыку); XVIII в. Руссо с его «природой»; романтизму; «преобладанию стадных инстинктов». Именно тогда, когда Вагнер повернул к прославлению древнегерманского пантеона богов и немецкого рейха, отношения между ним и Ницше начали быстро ухудшаться.

В памфлете «Случай Вагнер» налицо признаки болезни: сдерживающие центры парализованы, текст изобилует грубыми выпадами и явными бестактностями, неслыханными для прежнего творчества Ницше. Он явно стремится унижить и опозорить своего учителя: декадент, комедиант, современный Калиостро. Я пропел Вагнеру все возможные дифирамбы, теперь я погублю его, — таково намерение забoleвающего Ницше.

Каждая новая книга усиливала горечь одиночества Ницше, отрезала и без того немногочисленных последователей.

УЕДИНЕННОЕ

*Звериный бег
И птичий лет в родную тьму.
Повалит снег —
Блажен, кто спит в своем дому.*

*Лишь ты, беглец,
Бредешь в отчаянье вперед.
Зачем, глупец, —
Что означает твой уход?*

*Ты мир искал,
Но мир — врата в пески пустынь.
Кто потерял
С твое — тому тоска и стынь!*

*Теперь дрожишь,
На зимний подвиг обречен.*

*Как дым бежишь —
Все холодней небесный склон.*

*Лети, птенец,
Туда, где тигром возревешь!
Упрячь, глупец,
Кровь праведности в лед и ложь!*

*Звериный бег
И птичий лёт в родную тьму.
Повалит снег —
Блажен, кто спит в своем дому.*

Не взрывом светлого восторга встретили Ницше современники; но ученый синклит одобрительно следил за деятельностью юного профессора, чтобы потом отвернуться от гениального поэта и мудреца; и только старик Якоб Буркхардт благословил его деятельность; да снисходительно недоумевал замечательный Дёйссен. Одиночество медленно и верно вокруг него замыкало объятия. Каждая новая книга отрезала от Ницше небольшую горсть последователей. И вот он остался в пустоте, робея перед людьми.

Трогателен рассказ Дёйсена о том, с какой искательной робостью передал ему Ницше, одиноко бедствующий в Швейцарии, свое «Jenseit», прося не сердиться. Или Ницше, вежливо выслушивающий самоуверенную болтовню Ипполита Тэна (см. переписку Ницше с Тэном). Или Ницше, стыдливо следующий за Гюйо в Биарицце, боясь к нему подойти. Или Ницше, после ряда замечательных исследований, уже больной, снисходительно замеченный господином Брандесом!

Поздняя слава не вскружила голову Ницше; слава Ницше началась как-то вдруг; последние книги его уже никем не раскупались; и вдруг — мода на Ницше, когда, больной, он уже ничего не понимал, больной на террасе веймарской виллы.

И над нашей культурой образ его растет, как образ крылатого Сфинкса. «Смерть или воскресение»: вот пароль Ницше. Его нельзя миновать: он — это мы в будущем, еще не осознавшие себя.

Вот что такое Ницше.

Я уже писал, что в конце лета 1886 года Ницше послал свою книгу «По ту сторону добра и зла» двум выдающимся литературным критикам Европы — Г. Брандесу и И. Тэну. Тогда Брандес почему-то ему не ответил, но двумя годами позже откликнулся на прочитанные книги¹ Ницше письмом, которое можно

¹ По одной версии, Г. Брандес откликнулся на присланную ему Ницше книгу «К генеалогии и морали», по другой — на книги Ницше, присланные его издателем Фричем.

расценить как высшую оценку великого писателя великим критиком. С этого письма, собственно, начинается европейское признание Ницше:

Я вдыхаю с Вашими книгами новый, оригинальный дух. Я не всегда понимаю то, что читаю, я не всегда понимаю то, куда именно Вы идете, но очень многие Ваши черты согласуются с моими мыслями и симпатиями: подобно Вам, я мало чту аскетический идеал; демократическое меньшинство внушает мне, как и Вам, глубокое отвращение; я вполне понимаю Ваш аристократический радикализм.

Я ничего не знаю о Вас и с удивлением узнаю, что Вы — доктор, профессор. Во всяком случае примите мои поздравления за то, что своим умом Вы так мало напоминаете профессора. Вы принадлежите к тому небольшому числу людей, с которыми мне хотелось бы говорить...

Георг Брандес действительно стал первооткрывателем Ницше. Он был потрясен тем, что в Скандинавии никто не знает столь великого мыслителя и решил подготовить курс лекций о его философии для Копенгагенского университета. В связи с этим он попросил Ницше прислать ему автобиографию и последнюю фотографию, ибо, будучи физиогномистом, хотел заглянуть через глаза во внутренний мир незнакомого человека.

Можно сказать, что признание пришло к Ницше на пороге безумия, возможно, подтолкнуло к нему. Здесь начинается очень странная история, свидетельствующая о том, что уже во время переписки с Брандесом Ницше стоял на пороге безумия. Автобиография, посланная им Г. Брандесу, пестрит вымыслами, начиная с уверения, что первое и подлинное его имя — Густав-Адольф. Значительная ее часть посвящена описанию состояния здоровья и настойчивым уверениям в том, что у него никогда не было симптомов душевного расстройства. В ней ничего не говорится о творчестве, хотя Брандес, естественно, интересовался именно последним. Ведь он, собственно, и просил Ницше написать не столько о жизни, сколько о книгах и дальнейших планах.

По непонятным причинам Ницше переадресовал просьбу Брандеса о присылке фотографии своей матери в Наумбург. Мать проигнорировала эту просьбу, и Брандес вторично попросил Ницше сфотографироваться. Почему-то он не хотел этого делать и вновь переадресовал матери просьбу выслать Брандесу любую из его прошлых фотографий, даже если она окажется единственной.

Посвященные творчеству Ницше лекции Брандеса, прочитанные в Копенгагенском университете, собрали большую аудиторию¹. Узнав об этом, Ницше испытал, возможно, самую большую радость в своей жизни, однако чувство

¹ В 1888 г. Брандес информировал Ф. Ницше о своем намерении прочитать аналогичный курс в России (зимой 1888/89). Брандес впервые поднял тему «Достоевский и Ницше», предполагая посвятить ей одну из лекций в России. Увы, замысел остался нереализованным, книги Брандеса были запрещены в России, а монография «Главные течения литературы XIX» осуждена к публичному сожжению. Тем не менее Брандес проявил огромную энергию, дабы привлечь внимание своих русских друзей к имени Ницше.

это было омрачено горечью непризнания на родине, где все, даже ближайšie друзья, его не понимали (незадолго до этого Ницше поссорился с одним из последних, сохранявших ему верность друзей — Эрвином Роде).

Жизнь Ницше — это не только череда творческих всплесков и болезненных спадов, но и следующих друг за другом разрывов — с кумирами, друзьями, людьми. Болезнь уничтожала мозг поэта изнутри, непризнанность, уязвленность, аутсайдерство, изгойство — извне. Небо и земля ополчились против великого человека в стремлении его уничтожить, хотя достаточно было порыва сырого ветра, одного жалящего слова... Стоит ли удивляться психическому срыву человека, «внезапно приходящего в ярость и бьющего посуду, опрокидывающего накрытый стол, кричащего, неистовствующего, и, наконец, отходящего в сторону, стыдясь и злобствуя на самого себя», — так сам Ницше в аллегорической форме описал свое состояние времени создания «Случая Вагнер».

КРУШЕНИЕ РАЗУМА

О, что за гордый разум сокрушен!

У. Шекспир

Если долго смотреть в бездну, то
бездна начинает смотреться в тебя.

Ф. Ницше

Исследователь я? А ну,
Ответик вам вверну:
Я погружаюсь в глубину,
Но я иду ко дну!

Ф. Ницше

В конце сентября 1888 года Ницше выехал из Сильс-Марии в Турин. Это была вторая в этом году поездка в этот город (первая в апреле — из Ниццы, когда потерялся его багаж и он писал Гасту, что не может больше путешествовать в одиночку: «Это слишком волнует меня, и все действует на меня нелепейшим образом»).

Чем занимался Ницше в Турине в последние месяцы сознательной жизни? О чем думал? Какими были его последние устремления? Об этом свидетельствуют его одиозные поступки, его тексты, даже его последнее чтение — законов Ману, воспринятых чуть ли не как собственное произведение.

В Турине физическое состояние Ницше внезапно улучшилось. Он приписал это благоприятному климату, но, возможно, налицо было то состояние эйфории, которое нередко наблюдается у психически больных людей накануне кризиса. На время у него исчезла бессонница, головные боли, прошли мучившие его последние 15 лет приступы тошноты. Настало время «последнего штурма» — безумной работы, дававшейся теперь без сопряженных с нею страданий.

С. Цвейг:

Пять осенних месяцев 1888 года — последние творческие месяцы Ницше — явление небывалое в летописях творчества. Никогда, может быть, на протяжении столь краткого промежутка времени гений единичного человека не совершал такой огромной, такой напряженной, такой величественной и гиперболической работы; никогда человеческий мозг не был так наводнен мыслями, пронизан образами, опьянен музыкой, как мозг этого в те

дни уже отмеченного судьбой человека. Для этого избытка, для этого бурно изливающегося экстаза, для этой фанатической ярости творчества история духа всех времен не знает примера в своих необъятных далях — кроме, может быть, одного — в современности: в том же году, под той же широтой, переживает другой художник такой же неистовый, уже загнанный в безумие подъем творчества: в саду и в сумасшедшем доме в Арле; с той же стремительностью, с той же исступленной одержимостью светом, с той же маниакальной избыточностью творчества, создает свои картины Ван Гог. Едва закончит он добела раскаленную картину, как уверенный штрих уже ложится на новое полотно — без обдумыванья, без промедленья, без размышлений. Творчество стало диктовкой, демоническим ясновидением и быстровидением, непрерывной цепью видений. Друзья, покинувшие его час тому назад, вернувшись, с изумлением видят новую законченную картину, а он, с еще невысохшей кистью, с горящими глазами уже принимается за третью: демон, схвативший его за горло, не дает передышки, не терпит перерывов; что ему до всадника, чье пышащее огнем, пылающее тело будет растоптано копытами бешено скачущего коня! Так создает и Ницше произведение за произведением, без остановки, без передышки, с той же неповторимой ясностью и быстротой. Десять дней, две недели, три недели — вот сроки создания его последних произведений; зачатие, созревание, рождение, первоначальный набросок и окончательная форма — все эти стадии пролетают здесь с быстротой пули. Нет инкубационного периода, нет остановок, исканий, нащупываний, нет изменений и поправок: все выливается сразу в окончательную, неизменную, совершенную, горячую и тут же застывающую форму. Никогда не развивал человеческий мозг такого мощного электрического напряжения, сверкающего в каждом судорожном слове, никогда не сплетались ассоциации с такой волшебной быстротой; едва возникшее видение — уже слово, мысль — сама прозрачность, и, несмотря на эту невероятную полноту, не чувствуется ни малейшего труда, ни малейшего усилия — творчество давно перестало быть для него деятельностью, работой; это — чистое *laissez faire*, непровольное тайнодеяние высших сил. Потрясенному духом достаточно поднять взор — дальновидящий, «дальномыслящий» взор, — чтоб открылись ему (как и Гёльдерлину в последнем взлете к мифическому созерцанию) необъятные просторы времени в прошлом и в будущем: и он, одержимый демоном ясности, с демонической ясностью видит свою добычу. Достаточно ему протянуть руку — горячую, быструю руку, — чтобы схватить их; и едва прикоснется он к ним, как они наполняются кровью, трепещут музыкой, оживленные и одушевленные. И этот поток мыслей и образов не останавливается ни на миг в течение этих поистине наполеоновских дней. Дух затоплен разливом, предан насилию — насилию стихийных сил.

«Быть может, вообще никогда и ничто не создавалось таким избытком силы», — в экстазе говорит Ницше о своих последних произведениях; но ни одним словом он не обмолвился о том, что эта сила, так щедро его одаряющая, так ярко его озаряющая, исходит от его существа. Напротив,

в благоговейном упоении он видит в себе лишь «мундштук потусторонних императивов», лишь носителя высшей, священной, демонической стихии.

Если судить по эпистолярию этого периода, Ницше перестает контролировать свои поступки и без всяких на то оснований начинает рвать последние дружеские связи. Своей доброй и снисходительной подруге Мальвиде фон Мейзенбург, горячей поклоннице Вагнера, он пишет письмо, в котором налицо признаки надвигающейся мании величия:

Я дал людям глубочайшую книгу [речь идет о «Случае Вагнер»], но это дорого стоит... Иногда для того, чтобы стать бессмертным, надо заплатить ценою целой жизни! На моей дороге постоянно стоит байрёйтский кретинизм. Старый соблазнитель Вагнер, хотя и мертвый, продолжает похищать у меня тех людей, которые могли бы понять мои творения. Но вот в Дании меня понимают и чествуют! Доктор Георг Брандес, у которого живой ум, осмелился говорить обо мне в Копенгагенском университете! И с блестящим успехом! На лекциях собиралось более трехсот слушателей, устроивших овацию! В Нью-Йорке готовится нечто подобное! Ведь у меня самый независимый ум во всей Европе, и я единственный немецкий писатель. Это что-нибудь да значит.

В постскриптуме к письму содержится прозрачный намек в адрес корреспондентки: *«Для того чтобы выносить мои произведения, надо иметь великую душу. Я очень счастлив, что восстановил против себя все слабое и добродетельное».*

Еще не понимая, что с Ницше происходит нечто неладное, снисходительная госпожа Мейзенбург отвечает:

Все слабое и добродетельное, говорите Вы, против Вас? Не будьте парадоксальны! Добродетель не слаба, это сила, об этом достаточно сказано. И сами Вы разве не представляете собою живое противоречие тому, что Вы говорите? Вы добродетельны, и пример Вашей жизни, если бы люди могли только его знать, убедил бы их скорее, чем Ваши книги...

Ницше не довольствуется сказанным и, посылая г-же Мейзенбург «Случай Вагнер», произведение, которое может причинить ей только боль, не довольствуется содеянным, но, чуть ли не с издевкой, просит осведомиться у зятя, мужа ее приемной дочери Ольги Герцен, Габриэля Моно, кто бы мог издать памфлет во Франции. Но терпение его приятельницы безгранично: она отвечает с прежней вежливостью, уклоняясь, однако, от ответа на просьбу Ницше. Тут-то и происходит нечто невозможное для прежнего философа-поэта. Одно за другим он посылает подруге два оскорбительных письма: «Эти сегодняшние людишки с их жалким выродившимся инстинктом должны быть счастливы, имея того, кто в неясных случаях говорит им правду в глаза». Они нуждаются «в гении лжи. Я же имею честь быть антиподом — гением истины». Во втором письме читаем:

В своей жизни Вы разочаровывались почти в каждом, немало несчастий, в том числе и в моей жизни, идет отсюда... Наконец Вы осмелились

встать между Вагнером и Ницше! Когда я пишу это, мне стыдно ставить свое имя в таком соседстве. Итак, Вы даже и не поняли, с каким отвращением я 10 лет назад отвернулся от Вагнера... Разве Вы не заметили, что я более 10 лет являюсь голосом совести для немецкой музыки, что я постоянно насаждал честность, истинный вкус, глубочайшую ненависть к отвратительной сексуальности вагнеровской музыки? Вы не поняли ни единого моего слова; ничто не поможет в этом, и мы должны внести ясность в наши отношения — в этом смысле «Случай Вагнер» для меня счастливый случай.

Ницше явно сжигает мосты, связывающие его с прошлым. В это время он пишет еще одно письмо — директору берлинской филармонии Гансу фон Бюлову, вовремя не отозвавшемуся на его просьбу о покровительстве П. Гасту в постановке на гамбургской сцене оперы «Венецианские львы»:

Вы не ответили на мое письмо. Обещаю Вам, что отныне навсегда оставляю Вас в покое. Я думаю, Вы понимаете, что это пожелание выразил Вам лучший ум века.

Ницше ощущал свою мегаломанию как наступление звездного часа. В письме к Августу Стриндбергу он писал: «Я достаточно силен для того, чтобы расколоть историю человечества на две части». Но — с присущей ему скептичностью — сомневался, признает ли мир когда-либо его гениальные пророчества, его переоценку всех ценностей. Словно в лихорадке, в кратчайшее время он пишет «Сумерки кумиров, или Как философствуют молотом» — памфлет, который должен привлечь к нему умы и приготовить их к главному творению его жизни. «Сумерки кумиров», одна из самых полемических книг Ницше, охватывает большинство тем его философии, главная из которых — воля к могуществу как сущность бытия. «Кумиры в ее заглавии — это попросту все то, что до сих пор называли истиной, «Сумерки кумиров» — старым истинам приходит конец...» Это — памфлет, направленный уже не против одного конкретного человека, но против всех идей, когда-либо изобретенных людьми для оправдания их поступков.

Нет мира метафизического, и рационалисты только мечтатели, нет и мира морального, и моралисты только предаются мечтаниям. Что же остается? «Мир видимостей, может быть? Нет. *С миром истины мы разрушили мир видимостей*».

Существует и реальна только непрерывно обновляемая энергия: «*Incipiet Zaratoustra*»¹.

«Сумерки кумиров» — последнее произведение, опубликованное самим Ницше. Характеризуя его в письме Георгу Брандесу, он писал: «Это сочинение — моя философия *in puse*: радикальное до преступления». Лучше не скажешь: это действительно самая дерзкая и бескомпромиссная книга, объявляющая войну всем укоренившимся ценностям, «идолам-истинам». Поскольку за каждой такой истиной скрывается «кумир», то разрушение идолов-истин есть также

¹ Начало Заратустры (*латин.*).

свержение с постаментов этих кумиров, Сократа, Платона, Руссо, Канта, Гегеля, Шопенгауэра, творцов научных и социалистических идей, еще — разрушение вековой прикованности европейского сознания к декадентам и их идеалам, определяющей кризис европейской культуры.

Величайший порок культуры — консервация истины, авторитаризм типа: «Я, Платон, есмь истина». Древнейшее из заблуждений — само существование «истинного мира», тормозящего развитие. Упразднение «истинного мира» и его апологетов-кумиров — это возвращение человеку его достоинства, права на новое строительство, обретение человеком ответственности перед миром. Не кумиры и «истинный мир», но свобода выбора, не метафизическая мораль, а полнота жизни и воля к могуществу.

Одержимый пафосом «свержения» кумиров, Ницше низвергает носителей «современных идей», выстраивая ряд современников — Ренан, Сент-Бёв, Джорж Элиот, Жорж Санд, братья Гонкуры, Карлейль, Дарвин... Хотя хлесткие характеристики Ницше не всегда справедливы, порой болезненны, может быть, объяснимы болезнью, ход мысли вполне понятен: за масками современности все они так или иначе скрывают иезуитское нутро, трусость и нерешительность, псевдообъективность, мстительность, внутреннюю испорченность...

Особо нетерпим Ницше к Джону Стюарту Миллю, считавшему долгом человека добиваться победы добра и исчезновения зла. «Я ненавижу вульгарность этого человека, когда он говорит: “Что правильно для одного человека, то правильно и для другого”». Основываясь на этих принципах, охотно установили бы все человеческие отношения на *взаимных услугах*, так что каждое действие являлось бы платой наличными за что-то, сделанное для нас. Эта гипотеза низка до последней степени. Здесь принимается не требующим доказательства, что имеется некоторый род *равенства ценности моих и твоих действий*.

Особую ненависть вызывают у Ницше современники, тяготеющие к социализму. Декларируя на словах идеалы равенства и свободы, они прячут за ними свою «волю к отрицанию жизни». Социализм, пишет Ницше, «до конца продуманная тирания ничтожнейших и глупейших, то есть поверхностных, завистливых, на три четверти актеров». Социализм — это внутренний анархизм, отсутствие чувства ответственности перед собой, болезнь, ищущая выхода в «благородном негодовании», дающая простор извращенному чувству власти. Это концентрация мести, страстное желание сделать такими же несчастными всех окружающих: «Если я каналья, то и ты должен ею стать» — с такой логикой совершают все революции».

Возвращаясь в «Сумерках кумиров» к проблеме трагического, к определению дионисийства, Ницше писал:

Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах; воля к жизни, ликующая в *жертве* своими высшими типами собственной неисчерпаемости — *вот что* назвал я дионисовским, *вот в чем* угадал я мост к психологии *трагического поэта*. Не для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы очиститься от

опасного аффекта бурным его разряжением — так понимал это Аристотель, — а для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, *быть самому вечной радостью становления* — той *радостью*, которая заключает в себе также и *радость уничтожения*...

Пессимистической мудрости Ницше противопоставляет трагическую, жизнеутверждающую, становящуюся:

Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач, — более высокое воспитание человечества и в том числе беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает возможным на земле тот *переизбыток жизни*, из которого должно снова вырасти дионисовское состояние.

Едва завершив в спешке «Сумерки кумиров», он решает наконец взяться за «Опыт переоценки всех ценностей». Он придумывает новые названия: «Мы имморалисты», «Мы гиперборейцы». Менее чем за месяц он пишет первую часть, «Антихриста», и одновременно завершает работу над «Дионисийскими поэмами». Работа несет на себе следы той спешки, которая может быть объяснена уже явными предчувствиями близкого конца, о котором он говорит сам:

Солнце садится! Скоро, мое сожженное сердце, ты уже не будешь болеть! В воздухе чувствуется прохлада, я ощущаю дыхание неведомых уст, надвигается сильный холод...

Эта ночь, не бросила ли она на меня тайного соблазнительного взгляда? Сердце мое, крепись! Не спрашивай зачем! Вечер моей жизни настал!.. Солнце зашло.

В «Антихристе» христианским ценностям противопоставляются обретенные самим Ницше: Христу — Дионис, «спасению» — «вечное возвращение», состраданию — страдание, христианскому «обожению» — сверхчеловек. В основание собственной философии, как следует из «Антихриста», Ницше кладет:

- новую онтологию — учение о становлении и «воле к могуществу»;
- новую гносеологию — «перспективизм»;
- новую этику — «иммораль», «переоценку всех ценностей», «сверхчеловека».

Теологическим представлениям о грядущем противопоставляется миф о «вечном возвращении».

Ницше вновь одержим маниакально-утопической идеей — издать «Антихриста» одновременно на семи европейских языках тиражом по одному миллиону на каждом. Книга была опубликована небольшим тиражом только в 1895 году с многочисленными купюрами.

[В «Антихристе»] Ницше подверг резкой критике христианские церкви¹ и тех людей, которые называли себя христианами, на самом деле не являясь ими. Он противопоставил жизнь Иисуса трем синоптическим евангелиям,

¹ По иронии судьбы перу деда Ницше принадлежал трактат со следующим названием: «О вечности и нерушимости христианской веры. Против сеятелей смуты».

в которых, по его словам, предприняты первые попытки по созданию системы догм христианства в вопросе негативного отношения к миру.

Иисус же, по мнению Ницше, вовсе не отвергал мира, но истолковывал его лишь как преддверие лучшей потусторонней жизни. Только позднейшее искажение его взглядов последователями и апостолами, особенно Павлом, превратило его учение в отрицание сего мира. Он не был героем, как считал крупнейший французский исследователь Библии Эрнест Ренан, но был, по утверждению Ницше, идиотом. Причем Ницше употреблял этот термин в его древнегреческом значении *idiotes*, что означает святость как нахождение в своем собственном мире. Поэтому вряд ли допустимо толковать понятие «идиот» у Ницше в современном значении «безумец».

Ницше восстал против грубых попыток христианской церкви извратить смысл и цели истинного христианства, которое «не связано ни с одной из наглых догм, щеголяющих его именем». Ложь и обман то, что мы считаем себя христианами, а живем той жизнью, освобождение от которой проповедовал Христос.

Христианство навязывает жизни воображаемый смысл, препятствуя тем самым выявлению смысла истинного и заменяя реальные цели идеальными. В мире же, в котором «Бог мертв» и не существует более моральной тирании, человек остается одиноким и свободным. Но одновременно он становится и ответственным за все существующее, ибо, по Ницше, разум находит полное освобождение, лишь руководствуясь осознанным выбором, лишь взваливая на себя определенные обязательства. И если необходимости невозможно избежать, то истинная свобода и заключается в ее полном принятии. Принять мир земной и не тешить себя иллюзиями о мире потустороннем — это означает господствовать над всем земным. Ницше потому и отвергал христианство, что оно отрицает свободу духа, самостоятельность и ответственность человека, превращает несвободу в идеал, а смирение — в добродетель.

Но Ницше не дал ответа на вопрос: а будет ли тюрьма разума лучше разрушенной им тюрьмы Бога? Во всяком случае, он категорически предрекал, что переход к свободному обществу невозможно совершить насильственным уничтожением общества нынешнего, ведь насилие способно породить только новое насилие. Единственный, по Ницше, путь — возродить идеал свободной сильной личности, превыше всего поставить ее суверенитет, поправленный религией.

22 сентября 1888-го был опубликован памфлет «Случай Вагнер» — первая книга Ницше, вызвавшая реакцию прессы. Комментарии привели Ницше в отчаяние. Кроме Карла Шпиттелера, критика не только не поняла Ницше, но продемонстрировала свое полное неведение в отношении всех его предыдущих работ. Якоб Буркхардт даже не поблагодарил Ницше за присылку новой книги, его молчание красноречиво свидетельствовало об отношении к ней. Добрый гений Ницше, Мальвида фон Мейзенбург, прислала ему суровое, возмущенное письмо. Она надеялась, что Ницше никогда не решится на публикацию памфле-

та, смахивающего на пасквиль. Ницше отвечал ей: «Что Вагнеру удалось заставить поверить в себя, это без сомнения доказывает его г е н и а л ь н о с т ь, но л ж и в у ю гениальность... А я имею честь быть совсем другим, гением истины...».

Письма Ницше из Турина пропитаны эйфорией, но сквозь радостное возбуждение уже проглядывает трагедия — гипербореец сам несколько раз употребляет это слово. Смертельно раненный святой, со свойственной ему пронизательностью, предчувствует два события — приближение столь желанной славы и помрачение сознания. Именно в таком состоянии трагического ожидания он работает над последним своим творением, «Ессе Ното». Об этом свидетельствует и название книги, явная реминисценция на тему Христа, и ее эпатажирующее содержание, и подведение итогов, и сами заголовки: «Почему я так мудр?», «Почему я пишу такие хорошие книги?», «Почему я являюсь роком?», «Слава и вечность».

Нет книги, которая была бы написана с такой жаждой, с таким болезненно-судорожным, лихорадочным ожиданием ответа, как последние монументальные памфлеты Ницше: подобно Ксерксу, повелевшему бичевать непокорное бездушное море, он в своем безумном вызове пытается разбудить тупое равнодушие скорпионов своих книг. Ужасный страх, что он не успеет снять жатву, демоническое нетерпение сквозит в этой жажде ответа. И после каждого взмаха бичом он медлит мгновение, изгибается в нестерпимом напряжении, чтобы услышать вопль своих жертв. Но ни звука вокруг. Не слышно отклика в мире «лазурного» одиночества.словно железный обруч, стискивает молчание его горло, и самый ужасный вопль, какой раздавался на земле, не в силах его сломить. И он чувствует: нет Бога, который мог бы вывести его из темницы последнего одиночества.

Ницше, считавший самого себя роком, всю жизнь испытывал на себе всю трагичность человеческой судьбы, последняя издевка которой дала себя знать на пороге безумия. Рок, никогда не щадивший честолюбия этого великого человека, не дал ему насладиться славой: безумие поразило гиперборейца именно тогда, когда эта ветреница стояла на пороге... Георг Брандес уже собирался издать свои лекции о творчестве Ницше, Август Стриндберг прислал ему теплое письмо («В первый раз я получил отклик мировой и исторический», — написал он П. Гасту), в Париже Ипполит Тэн нашел ему редактора и издателя Бурдо, в Петербурге собирались переводить его книгу о Вагнере, один из старых друзей передал ему 2000 франков от неизвестного поклонника, пожелавшего подписаться на издание его книг. С той же целью тысячу франков прислала Ницше одна из старых приятельниц...

Может быть, на пороге ночи он все-таки ощутил сладкое счастье, о котором так мечтал?..

Д. Алеви:

Мы не знаем о том, как прошли его последние дни. Он жил в мебелированной комнате, в семье небогатых людей, у которых, по его желанию, столовался. Он редактировал «Ессе Ното», дописал к основному тексту

post scriptum, потом дифирамбическую поэму. В это же время он работал над новым памфлетом «*Nietzsche contra Wagner*». «Прежде чем выпустить в свет первый том моей большой работы, — писал он своему издателю, — надо приготовить публику, надо привлечь ее внимание, или ее постигнет та же судьба, что и Заратустру...» 8 декабря он пишет Петеру Гасту: «Я перечитал «*Ессе Ното*», я взвесил каждое слово на вес золота, книга буквально делит историю человечества на две части. — Это самый страшный динамит». 29-го декабря он пишет своему издателю: «Я присоединяюсь к Вашему мнению: не будем издавать «*Ессе Ното*» в количестве тысячи экземпляров; неблагоприятно издавать в Германии тысячу экземпляров книги, написанной столь высоким стилем. Во Франции, я вам говорю серьезно, я допускаю 80. 000—40. 000 экземпляров». 2-го января он снова пишет письмо (буквы большие и бесформенные): «Возвратите мне поэму — вперед с *Ессе*!»

Явные признаки сумасшествия появились в конце 1888 года. Ему начали мерещиться кошмары, исходящие от военной мощи Германской империи. В последних своих книгах он бросал вызов династии Гогенцоллернов, Бисмарку, германским шовинистам и антисемитам, церкви — теперь его ждет неминуемая месть, кара. Как бы упреждая угрозу, он пишет — уже *оттуда* — Бисмарку и Вильгельму II:

Его светлости князю Бисмарку. Я оказываю честь первому государственному мужу эпохи, оповещая его о моей вражде пересылкой *первого* экземпляра «*Ессе Ното*». Прилагаю второй экземпляр: вручить сей молодому кайзеру было бы единственной просьбой, которую я когда-либо вознамерился бы поднести князю Бисмарку.

Антихрист. Фридрих Ницше. Фромантин

Сим я оказываю кайзеру немцев великую честь, которая может выпасть на его долю, — я пересылаю ему первый экземпляр сочинения, в котором решается судьба человечества. Здесь начинается мгновение глубочайшего самоосмысления — последствия будут невероятными, они будут просто ужасными; в настоящий же момент установлен паритет всех сил. К счастью также *великое решение, новый путь, знание цели...*

Фридрих Ницше

Подпиши под другими письмами — Цезарь, Феникс, Антихрист, Дионис, Распятый...

Ф. Ницше — Г. Брандесу:

После того как ты открыл меня, невелико было искусство найти меня: трудность теперь заключается в том, чтобы потерять меня.

Распятый

Ф. Ницше — П. Гасту:

Спой мне новую песнь: мир просветлен, и небеса ликуют.

Распятый

Ф. Ницше — Я. Буркхардту:

С Вильгельмом, Бисмарком и всеми антисемитами покончено.

Антихрист. Фридрих Ницше. Фромантин.

С. Цвейг:

Как Наполеон в пылающей Москве, среди бесконечной русской зимы, видя лишь жалкие обломки великой армии, все еще издает монументальные, грозные манифесты (величественные до грани смешного), так Ницше, запертый в пылающем Кремле своего мозга, обессиленный, собирая рассеянные отряды своих мыслей, пишет самые убийственные памфлеты: он приказывает германскому императору явиться в Рим, чтобы расстрелять его; он требует от европейских держав вооруженного выступления против Германии, на которую он хочет надеть железную смирительную рубашку. Никогда столь апокалиптическая ярость не свирепствовала так буйно в пустом пространстве, никогда столь величественная гордыня не уносила человеческий дух так далеко за пределы всего земного. Будто удары молота, разбивают его слова все мироздание: он требует, чтобы летоисчисление начиналось не с рождества Христова, а с появления Антихриста, свое изображение он ставит над образами всех времен, — даже болезненный бред у Ницше величественнее, чем у других ослепленных духом; и здесь, как во всем, царит у него великолепная, смертельная чрезмерность.

А. И. Патрушев:

Тесная комната в четвертом этаже на Via Alberto начинает звучать, сферы парят и сияют, небеса объаты светом... О, какая музыка! Слезы текут по его усам, теплые, горячие слезы... о, божественная нежность! о, изумрудная радость!.. А теперь... какие светлые краски!.. И внизу, на улице, все улыбаются ему... все кланяются... как они приветствуют его!.. и эта разнощица — она ищет для него лучшие яблоки в своей корзине... всё склоняется перед ним, богоубийцей, все ликует... но почему?.. Да, да, он знает: Антихрист пришел в мир, и они возглашают «Осанна!.. осанна!»... всё гремит, мир гремит в ликованьи и в музыке... И вдруг — тишина... Что-то упало... Это он... он сам упал перед дверью своего дома... Его несут наверх... вот он уж в комнате... как долго он спал! какая тьма вокруг!.. вот рояль... музыка! музыка!.. И вдруг — в комнате люди... ведь это Овербек!.. нет, нет, он в Базеле... а сам он, сам он... где?.. Он не знает... Почему они смотрят так странно, так озабоченно?.. Потом — вагон, вагон... как грохочут колеса!..

как странно грохочут, — как будто вот-вот запоют... и вот поют... поют его «Баркаролу», и он поет с ними в тон... поет в беспредельной тьме...

И потом где-то в комнате, в незнакомом месте, где вечный мрак, вечный мрак. Нет больше солнца, нет больше света, ни здесь, нигде. Где-то внизу голоса людей. Вот женщина — быть может, сестра? Но ведь она далеко... навсегда. Она читает ему книгу... Книгу? Разве сам он не писал книг? Кто-то ласково отвечает ему. Но он уже не понимает слов. Тот, в чьей душе отшумел такой ураган, навеки глух для человеческой речи. Тот, кто так глубоко заглянул в глаза демону, ослеплен навеки.

Начавшийся отход от понимания реального мира привел Ницше к дерзкому плану объединения всех европейских стран в единую антигерманскую лигу, чтобы надеть на рейх смиренную рубашку или спровоцировать его на заведомо безнадежную войну против объединенной Европы.

Наброски столь фантастического проекта производят тягостное впечатление потому, что где-то посреди этих строчек пролегла страшная грань между разумом и безумием:

«Я возвещаю войну. Не между народами: у меня нет слов, чтобы выразить презрение к проклятой политике европейских династий, разжигающей эгоизм и высокомерие между народами. Не между сословиями. Ведь у нас нет высших сословий, следовательно, нет и низших.

Я возвещаю войну в области духа и оружием духа. Понятие политики поглощено войной духа, все великие державы взлетят в воздух — будут войны, каких еще никогда не было на Земле...

В ранге того, кем я должен быть, — не человеком, а роком, я хочу покончить с этими преступными кретинами, которые больше столетия провозглашали большие слова, великие слова. Со дней вора Фридриха Великого они ничего не делали, только крали и лгали; единственное исключение — незабвенный Фридрих III... Сегодня, когда у власти находится постыдная партия, когда христианская банда сеет между народами проклятое драконово семя национализма и из любви к рабам хочет «освободить» отечественную чернь, мы привлекаем к всемирно-историческому суду ложь...

Их орудие — князь Бисмарк, идиот, равного которому нет среди всех государственных мужей, — никогда, ни на йоту не мыслил шире Гогенцоллернов... Чтобы властвовала династия глупцов и преступников, Европа платит теперь ежегодно 12 млрд разверзаются пропасти между возникающими нациями, ведутся самые сумасбродные войны из всех, которые велись когда-либо: князь Бисмарк уничтожил своей династической политикой все предпосылки для великих задач, для всемирно-исторических целей, для благородной и прекрасной духовности... Я хочу стать судьей и навсегда, на тысячелетия, покончить с преступным безумием династии и попов... Я никогда не соглашусь, чтобы всякая каналья из Гогенцоллернов могла кому-то приказывать совершать преступления. Нет права повиноваться, если приказывают Гогенцоллерны... Да и сам рейх — ложь: ни один Гогенцоллерн, ни один Бисмарк — никогда не думали о Германии».

И в конце такая фраза: «Последнее соображение... Тем, что я уничтожу тебя, Гогенцоллерн, я уничтожу ложь».

На этом последняя в жизни Ницше запись обрывается.

Был ли душевный надлом Ницше неожиданным? Или признаки его начали проявляться гораздо раньше? Изменилось ли что-либо в характере и поведении Ницше в последние годы и месяцы перед трагедией? Ответить на это могут только небольшое число людей, знавших Ницше на протяжении многих лет, прежде всего Франц Овербек. Но он не замечал в друге никаких тревожных признаков и обеспокоился лишь в декабре 1888 г., когда Ницше начал проявлять некоторые странности в отношениях с издателем, постоянно требуя назад свои рукописи для внесения в них бесконечных исправлений. Ничего особенно настораживающего не увидел и Петер Гаст, которого даже не встревожила посланная ему 4 января 1889 г. открытка Ницше: «Спой мне новую песню: мир просветлен и небеса ликуют. *Распятый*».

Трагический надлом в психике Ницше произошел между 3 и 6 января 1889 г. Быстрое помрачение разума привело к смешению всех понятий. Он забыл, что живет в Турине: ему казалось, будто он находится в Риме и готовит созыв конгресса европейских держав, чтобы объединить их против ненавистной Пруско-Германии. Ницше клеймит позором вступление Италии в союз с Германией и Австро-Венгрией в 1882 г. и в письме итальянскому королю требует его немедленного разрыва.

Помрачение рассудка Ницше видно по его запискам между 3 и 5 января. Так, 3 января он написал давней знакомой Мете фон Салис: «Мир преображен, Бог вновь на Земле. Вы не видите, как радуются небеса? Я вступил во владение моей империей, я брошу папу римского в тюрьму и прикажу расстрелять Вильгельма, Бисмарка и Штёккера».

6 января Я. Буркхардт получит от Ницше письмо, из которого явствует, что бывший коллега сошел с ума:

Я Фердинанд Лессепс, я Прадо, я Chambige¹, я был погребен в течение осени два раза...

Я. Буркхардт немедленно встретился с другом Ницше Овербеком, который вскоре получил аналогичное послание. Он выехал в Италию, предварительно договорившись с профессором Вилле о помещении в его клинику больного друга.

Разыскав квартиру Ницше в Турине, Овербек — по одной версии — застал опекаемого хозяевами философа за роялем, играющим, локтем руки и громко распевавшим гимны Дионису, а — по другой — лежащим на кушетке и что-то читающим. Ницше узнал Овербека, обнял его и разрыдался. Затем в ужасных конвульсиях рухнул на пол.

¹ Имена людей, в то время не сходившие со страниц бульварной прессы.

Больного напоили водой с бромом, он несколько успокоился и внезапно заговорил о намеченном грандиозном приеме, устраиваемом им вечером. Ни о каком поезде в Базель не могло быть и речи — Ницше категорически отказывался покинуть кушетку. Овербек пришлось пойти на хитрость, объяснить другу, что им пора отправляться на этот прием. «Ницше согласился одеться и поехать на вокзал. Он явно не понимал, что происходит вокруг».

10 января Овербек и его больной друг прибыли в Базель и прямо с вокзала направились в лечебницу. Ницше явно не отдавал отчета в происходящем. Он поздоровался с профессором, вспомнив, что некогда они беседовали на тему о причинах религиозного фанатизма и безумия. Ницше явно не сознавал, что он доставлен в клинику профессора Билле в качестве пациента.

Но в дальнейшем болезнь протекала более бурно. Ницше страдал постоянной бессонницей, днем и ночью распевал неаполитанские песни или выкрикивал бессвязные слова, испытывал постоянное возбуждение и отличался чудовищным аппетитом.

Через три дня в Базель приехала убитая горем Франциска Ницше. Она не могла поверить в безумие сына и надеялась любовью и молитвами вернуть его в разумное состояние.

Увы, ее надеждам не суждено было сбыться. Мать хотела забрать Фридриха в Наумбург, но врачи категорически настояли на постоянном медицинском наблюдении. Тогда было решено перевезти больного поближе к дому, в йенскую клинику.

Первая встреча матери с сыном носила драматический характер. Ницше сразу узнал мать, быстро подошел и обнял ее со словами: «Ах, моя добрая, любимая мама, как я рад тебя видеть!» Он спокойно и почти осмысленно беседовал с ней о семейных делах и наумбургских знакомых. Но внезапно черты его лица исказились и раздался звериный крик: «Ты видишь перед собой туринского тирана!» После этого речь Ницше стала совершенно бессвязной, он все больше возбуждался, и свидание пришлось прекратить.

Вечером 17 января Ницше вместе с матерью, врачом и санитаром отправился в Йену, в клинику профессора О. Бинсвангера. Провожая их, Овербек окончательно уверился в том, что с Ницше как с мыслителем покончено навсегда.

Нам еще предстоит убедиться, что Ницше принадлежит множество пророчеств. Ему удалось лучше других разглядеть лик самого трагического века в человеческой истории и рассказать «историю грядущего». Уже в заглавии первой книги он предугадал также и свою страшную судьбу — рождение трагедии (безумия) из духа музыки, этой последней его связи с жизнью и культурой. Как бы следуя собственному принципу «вечного возврата», певец жизненной мощи сам обратился в беспомощного ребенка...

Вот как описал Карл Бернулли визиты матери Ницше с больным сыном к друзьям:

Когда г-жа Ницше посещала Гельцеров, она по обыкновению приходила вместе со своим сыном, который следовал за нею, как дитя. Чтобы избежать беспокойств, она вела его в гостиную и усаживала возле двери. Потом она подходила к роялю и брала несколько аккордов, отчего он, набравшись мужества, потихоньку приближался к инструменту сам и начал играть, поначалу стоя, а после на стульчике, куда его усаживала мать. Так он «импровизировал» часами, в то время как г-жа Ницше в соседней комнате могла оставлять своего сына без присмотра и быть спокойной за него ровно столько времени, сколько продолжалась игра на рояле.

А. Белый:

Последние годы жизни Ницше тихо молчал. Музыка вызывала улыбку на его измученных устах... пятнадцать лет¹ просидел Ницше — изобретатель взрывчатых веществ — на балконе тихой виллы, с разорванным мозгом. И теперь проезжающим показывают то место на балконе, где часы просиживал сумасшедший Ницше.

*Куда он шел? Кто скажет?
Одно лишь ясно: гибель он нашел.
Звезда погасла в местности пустынной:
пустынной стала местность...*

Еще при жизни пациента базельской и йенской лечебниц для душевнобольных вокруг философа вместе с зарождающейся славой возникла подозрительная, дурно пахнущая возня, трагически завершившаяся канонизацией великого мыслителя нацистской церковью сатаны.

Началось с абсурдных проектов излечения автора «Заратустры». Первым спасителем «прометеевской души» стал Юлиус Лангбен, автор библии германского шовинизма. Сумасбродная затея этого «психиатра» состояла в том, чтобы внушить несчастному философу, будто он германский принц, которого надлежит отвезти в Дрезден и создать вокруг него «королевский двор», главным министром которого должен был стать сам Лангбен. Идея оказалась достаточно «безумной», чтобы получить поддержку, и только решительным вмешательством Франца Овербека удалось пресечь это глумление.

Подобная бредовая идея почти одновременно возникла у Альфреда Шулера, мюнхенского мистагога, близкого к кругу поэта С. Георге. Спекулируя на «танце» Заратустры, этот «космик» предложил посетить больного в лечебнице и исполнить перед ним корибантскую пляску, которая просветлит мыслителя. Жалкая затея сорвалась по причине отсутствия средств на приобретение танцевального реквизита — доспехов, которым отводилась важная роль в излечении...

¹ А. Белый допускает неточность: «тихое молчание» продолжалось менее 12 лет.

Лангбен и Шулер вписали свои имена в списки предтеч и духовных отцов гитлеризма, а Шулер, по ряду сведений, оказал и непосредственное личное влияние на слушавшего в 1922 г. его лекции Гитлера. Появление этих фигур в самом преддверии культурной канонизации ницшевского наследия глубоко символично; здесь, пожалуй, и следовало бы искать камертон, по которому настраивалась печальной памяти деятельность «Архива Ницше», этого центра едва ли не всех последующих фальсификаций ницшевской философии... Руководство «Архивом» взяла на себя Элизабет Фёрстер-Ницше, сестра философа.

В августе 1896 года завладевшая архивом брата Элизабет Фёрстер перебралась в Веймар и принялась за беззастенчивую фальсификацию — подготовку к печати несуществующей книги «Воля к власти», о чем речь впереди. Параллельно она работала над биографией Фридриха Ницше, ставшего к этому времени знаменитым. Сам брат, погруженный в прострацию, не заметил ни переезда семьи в Веймар, ни смерти матери, скончавшейся в апреле 1897 года.

В конце августа 1900 года Фридрих Ницше заболел воспалением легких. Он тихо скончался в полдень 26 августа последнего года века¹. Ушел философ и поэт, возвестивший новые пути человеческого духа, человек трагической судьбы, чье творческое наследие стало предметом множества фальсификаций. Загнанный в угол при жизни, он был извращен и оболган после смерти. Судьба оказалась немилосердной не только к нему самому, но и к его творчеству.

Первое немецкое издание собрания сочинений Ф. Ницше, завершившееся в 1899 году, несет на себе демоническую тень Э. Фёрстер-Ницше. Карлу Шлехте и особенно Джорджо Колли и Маццино Монтинари пришлось проделать титаническую работу открытия подлинного Ницше — восстановления текстов философа в их первоначальном виде. Гневные филиппики великого немецкого философа в адрес соотечественников оказались пророческими: немцы опомнились от чада фальшивок лишь тогда, когда в 1964-м в Италии появились первые тома издания Колли—Монтинари. Карл Лёвит первый осознал скандальность ситуации, уговорив издательство *Walter de Gruyter* выкупить право «на опубликование нового критического [исправленного] Полного собрания сочинений немецкого философа Фридриха Ницше на языке оригинала у французского издательства *Gallimard* и итальянского издательства *Adelphi*».

Похоже, Ницше провидел и это: «Пусть же немцы еще раз бессмертно ошибутся во мне и увековечат! Для этого как раз есть еще время! — Достигнуто ли это? — Восхитительно, господа германцы! Поздравляю вас...»

¹ Ницше умер в клинике Отто Бинсвангера, дяди Людвиг Бинсвангера, близкого друга Зигмунда Фрейда.

ЛИЧНОСТЬ

Говорят, что боги преследуют за гордыню тех, кто возжаждал воплотить в жизнь свои возвышенные мечты. Боги всегда были на стороне посредственностей. Лишь те любезны им, кто покорно, как домашний скот, следует за своей судьбой.

Х. Ортега-и-Гассет

Я прекрасен, безобразен,
Груб и нежен, чист и грязен,
Мудр и глуп, хитер и прост.
Я — в своем единстве — разен:
Крылья у меня — и хвост!

Ф. Ницше

ФЕНОМЕН НИЦШЕ

Да, я знаю, знаю, кто я:
Я, как пламя, чужд покоя.
Жгу, сгорая и спеша.
Охвачу — сверканье чуда.
Отпущу — и пепла груды.
Пламя — вот моя душа.

И. В. Гёте

Трудно оспорить главный аргумент ницшефобии — разрушительность гения, ниспровержение им всего общепринятого, общеобязательного, соборного. Ницше действительно великий разрушитель, но чего? Все разрушители, по самому большому счету, делятся на две группы — вандалов, варваров, спо-

собных к «чистому разрушению», и гениев-матерей, сокрушающих общую веру ради более глубокой новой. За каждой новой парадигмой стоит такой «разрушитель», будь то Ницше, Достоевский, Фрейд, Эйнштейн. В этом ряду Ницше отличается лишь тем, что притязал ни много ни мало — на тотальность, на переоценку *всех* ценностей, на пересмотр всего общеобязательного и общепринятого. Никто не утверждает, что столь глобальная задача удалась ему полностью, но то, что удалось многое, сомнению не подлежит — свидетельство тому громкость и продолжительность лая Верных Русланов, не ослабевшего вплоть до нашего времени.

Феномен Ницше — это разрушение традиционных ценностей, достигнутое за счет саморазрушения, за счет попытки отделить тварь от творца: «Будем по крайней мере помнить, что философия Фридриха Ницше — это уникальный и всей жизнью осуществленный эксперимент саморазрушения «твари» в человеке для самосозидания в нем «творца», названного “сверхчеловеком”».

Феномен «Ницше» — это глубоко осознанная вереница отказов и самоотказов, квалифицируемая как «эксцентричность», само-судьба, само-неидентичность. В письме, адресованном П. Дёйссену (1888 г.), Ницше признается, что его судьба — изолироваться от собственного прошлого и порвать связывающую с ним пуповину.

Я так много пережил, так много желал и, возможно, достиг, что ничто не в силах вынудить меня к тому, чтобы снова вернуть далекое и утраченное. Резкий перепад внутренних колебаний был чудовищен; насколько безопасно видеть его издали, открывается мне из этих постоянных epithetis ornatibus, которыми меня награждает со своей стороны немецкая критика («эксцентричный», «патологичный», «психиатричный» et hoc genus omne). Этим господам, которые не имеют никакого понятия о моем центре и той великой страсти, ради которой я живу, трудно понять, где я прежде действительно был вне моего центра, где я действительно был «эксцентричен».

Задаваясь вопросом: «Почему я (есть) судьба?» — Ницше как бы констатирует парадоксальный факт, что он является судьбой для самого себя. На самом деле каждый человек является одновременно объектом и субъектом судьбы, случайность при этом как бы вторична, ибо сама генетика во многом определяет жизненный путь. Утверждая «я есть судьба», Ницше мог иметь в виду и свою обреченность на то, что он есть, и множество своих добровольно одетых масок, и внутреннюю склонность к двойничеству, точнее — к многоликости, и самоотчужденность, и протезизм, и склонность к провокации и эпатажу, в конце концов — осужденность на безумие, на самоотожествление с «каждым именем истории».

Не буду оспаривать, что у Ницше немало бравады, фронды, болезненного крика, эпатажа. Он часто напускал на себя вид человека, играющего святынями. Но за всем этим скрывалась не жестокость или мизантропия, а, как писал

Томас Манн, трогательное лирическое страдание, сокровенное любовное чувство, горькая жажда любви, которой ему самому досталось так мало...

Понять Ницше — это значит снять с него маски, которые он носил, осознать право мыслителя на провокацию, эпатаж, вызов, игру, дурачество и гримасничанье... Карл Ясперс не без оснований характеризовал Ницше как лицедея, буффона, скомороха, носящего маску циника.

Совершенно уникальные неожиданности по этой части ожидают читателя в «Веселой науке», этой, может быть, самой моцартовской книге в мире, написанной «на языке весеннего ветра», без всякого сомнения, и на «птичьем языке», — книге, редчайшим образом сочетающей в себе глубоко народную, местами даже мужицкую соль с истонченной *delicatelyzza* едва уловимых намеков и дуновений, как если бы именно на свирельном фоне пейзажей Клода Лоррена пришлось загулять волынке брейгелевских свадеб. Философу, воспитанному в строгих традициях теоретико-познавательной дисциплины, и в самом дурном сне не приснилось бы, что можно употребить в познании — дурачества и гримасничанье, стало быть, дурачась и гримасничая, — познавать, и причем познавать ту именно микрофизику проблем, которая, как оказалось, и не могла быть познана иначе.

Ницше не скрывал необходимости маскировки, более того, видел в ней способ существования «высокого ума», внутреннюю потребность гения в смене личин:

Всякий глубокий ум нуждается в маске: скажу более — у каждого высокого ума постоянно образуется маска.

— ...Дай мне, прошу тебя!

— Что? Что? Назови!

— Еще одну маску!

Идея масок очень импонировала позднему Мифотворцу: различные этапы и «противоречия» своего мировидения он стал выдавать не за выражение идей, но за «аполлонические образы», скрывающие его вакхическую сущность.

Есть еще одно объяснение «масок», данное самим Ницше: «Мне нужно обвести оградой свои слова и свое учение, чтобы в них не ворвались свиньи». Увы, последнее как раз ему не удалось: маскировка не уберегла его ни от фашистов, ни от *наших*... Похоже, ограды от свиней вообще не существует — свидетельство тому наши 70 лет...

Пьер Клоссовски даже безумие Ницше объяснял доведенным до предела «гистрионизмом», бессознательной игрой в маски, страстью к профанации. Возможно, он действительно примеривал на себя самую страшную маску — безумия, но мне представляется, в его жизни не было ничего, что могло бы испугать его больше, чем утрата собственного «я». Во всяком случае, покушения на самоубийство — уж никак не игра в такого рода маскировку...

Маски сыграли с Мифотворцем злую шутку: многочисленность метаморфоз была расширена интерпретаторами до nepoзвoлитeльных пределов — так возник «психопат» Нордау, одуевский «предтеча нацизма» и «адвокат империализма» с соответствующими этим образам интерпретациями его творчества...

Каким же был Ницше на самом деле? Каков его подлинный облик? Что скрывалось под масками?

Эдуард Шюре рисует нам портрет Ницше: широкий лоб, короткие, остриженные под гребенку волосы, славянские выдающиеся скулы.

По густым нависшим усам и смелым чертам лица его можно было принять за кавалерийского офицера, если бы в его обращении с людьми не было чего-то одновременно и застенчивого, и надменного. Но как обманулся бы тот, кто поверил бы видимому спокойствию его внешности. В пристальном взгляде постоянно сквозила скорбная работа его мысли: это были одновременно глаза фанатика, наблюдателя и духовидца.

А. Риль:

У него была привычка тихо говорить, осторожная, задумчивая походка, спокойные черты лица и обращенные внутрь, глядящие вглубь, точно вдаль, глаза. Его легко было не заметить, так мало было выдающегося в его внешнем облике. В обычной жизни он отличался большой вежливостью, почти женской мягкостью, постоянной ровностью характера. Ему нравились изысканные манеры в обращении, и при первой встрече он поражал своей несколько деланой церемонностью.

Л. Шестов:

Ницше был и остался до конца своей жизни нравственным человеком в полном смысле — самом обыденном — этого слова. Он не мог и ребенка обидеть, был целомудренным, как молодая девушка, и все, что почитается людьми долгом, обязанностью, исполнял разве что с преувеличенным, слишком добросовестным усердием.

В. Б. Кучевский:

По своему душевному строю и складу ума Ницше был утонченным аристократом и рафинированным интеллигентом-гуманитарием, влюбленным в античность, знатоком живописи, поэзии и музыки... Он был сердечным, наивным и способным смеяться, как дитя, человеком. В общении с людьми проявлял себя любезным, образованным, утонченным и сдержанным собеседником. О нем говорили, что это любопытный человек, очень странный и эксцентричный, может быть, великого ума.

С. Цвейг:

Порог переступает неуверенная, сутулая фигура с поникшими плечами, будто полуслепой обитатель пещеры ощупью выбирается на свет.

Темный, старательно почищенный костюм; лицо, затененное зарослью волнистых, темных волос; темные глаза, скрытые за толстыми, почти шарообразными стеклами очков. Тихо, даже робко, входит он в дверь; какое-то странное безмолвие окружает его. Всё изобличает в нем человека, привыкшего жить в тени, далекого от светской общительности, испытывающего почти неврастенический страх перед каждым громко сказанным словом, перед всяким шумом. Вежливо, с изысканно чопорной учтивостью, он отвечает поклон собравшимся; вежливо, с безразличной любезностью, отвечают они на поклон немецкого профессора. Осторожно присаживается он к столу — близорукость запрещает ему резкие движения, — осторожно пробует каждое блюдо — как бы оно не повредило больному желудку: не слишком ли крепок чай, не слишком ли пикантен соус, — всякое отклонение от диеты раздражает его чувствительный кишечник, всякое излишество в еде чрезмерно возбуждает его трепещущие нервы. Ни рюмка вина, ни бокал пива, ни чашка кофе не оживляют его меню; ни сигары, ни папиросы не выкурит он после обеда; ничего возбуждающего, освежающего, развлекающего: только скудный, наспех проглоченный обед, да несколько незначительных, светски учтивых фраз, тихим голосом сказанных в беглом разговоре случайному соседу (так говорит человек, давно отвыкший говорить и боящийся нескромных вопросов).

Любопытен портрет Ницше кисти Лу Саломе периода их знакомства:

Для поверхностного наблюдателя его внешность не представляла ничего особенного, можно было легко пройти мимо этого человека среднего роста, в крайне простой, но и крайне аккуратной одежде, со спокойными чертами лица и гладко зачесанными назад каштановыми волосами. Тонкие, выразительные линии рта были почти совсем прикрыты большими, начесанными вперед усами. У него был тихий смех, тихая манера говорить, осторожная задумчивая походка и слегка сутулые плечи. Трудно было представить себе эту фигуру среди толпы — она носила отпечаток обособленности, уединенности. В высшей степени прекрасны и изящны были руки Ницше, невольно привлекавшие к себе взгляд; он сам полагал, что они выдают его умственную силу. Это видно из одного замечания: «Бывают люди, которые неизбежно обнаруживают свой ум, как бы они ни увертывались и ни прятались, закрывая предательские глаза руками (как будто рука не может быть предательской!)».

Истинно предательскими в этом смысле были и глаза его. Хотя он был наполовину слеп, глаза его не щурились, не вглядывались со свойственной близоруким людям пристальностью и невольной назойливостью; они скорее глядели стражами и хранителями собственных сокровищ, немых тайн, которых не должен касаться ничей непосвященный взор. Слабость зрения придавала его чертам особого рода обаяние: вместо того чтобы отражать меняющиеся внешние впечатления, они выдавали только то что прошло раньше через его внутренний мир. Глаза его глядели внутрь и в то

же время — минуя близлежащие предметы — куда-то вдаль, или, вернее, они глядели внутрь, как бы в бесконечную даль. Ведь в сущности вся его философия была исканием в человеческой душе неведомых миров, «неисчерпанных возможностей», которые он неустанно создавал и пересоздавал. Когда он иногда, под влиянием какой-нибудь волнующей его беседы с глазу на глаз, становился совершенно самим собою, тогда в глазах его появлялся и вновь пропадал поражающий блеск; но когда он был в угнетенном настроении, тогда одиночество мрачно, почти грозно выглядывало из глаз его, как из таинственных глубин — из тех глубин, в которых он оставался постоянно один, которых он не мог ни с кем делить и пред которыми ему самому становилось иногда жутко, пока в них же, наконец, не погиб его дух.

Даже в безумии, констатирует Лу, Ницше сохранил на лице мету вдохновенной глубины, присущую гениальным натурам:

Интересны портреты, которые представляют Ницше во время последних десяти лет болезни. Это было время, когда его наружность приобрела наибольшую выразительность, когда полное выражение его существа наиболее было проникнуто глубокой внутренней жизнью и в лице его светилось то, чего он не высказывал, а таил в себе.

Человек малопрактичный, совершенно не умеющий устраивать свои личные дела, мягкий, нерешительный (каждое решение доставалось ему ценой циклопической внутренней борьбы и огромных страданий), типичный изгой и аутсайдер, представитель племени людей «не от мира сего», Ницше всю жизнь занимался тем, что выдавливал из себя раба. Он потому любил Достоевского, что — сознательно или бессознательно — чувствовал, что является его героем, Раскольниковым, Иваном, Алешей... Он не был тем «динамитом», которым хотел стать, больше — ветшкой, ибо все сверхчеловеки — люди действий, а не слов, люди, не знающие рефлексии по поводу своих действий. Сверхчеловеки действуют, а не сочиняют правила своих действий, правила, как устраивать жизнь.

*Ты не должен ни любить, ни ненавидеть народа,
Ты не должен заниматься политикой.
Ты не должен быть ни богатым, ни нищим.
Ты должен избегать пути знаменитых и сильных.
Ты должен взять себе жену из другого народа.
Своим друзьям ты должен поручить воспитание твоих детей.
Ты не должен исполнять никаких церковных обрядов.*

Возможно, апология жизненности и могущества была бессознательным «преодолением» собственного «юродства», бегством от себя — «святого»... И в этом отношении Ницше снова-таки живой герой Достоевского, преодоление в себе Алеши Карамазова — Иваном.

Все близко знавшие Ницше отмечали его деликатность, участливость, сильно развитое чувство сострадания — черты, прямо противоположные тем, которые он живописал в последние годы жизни.

Барон фон Зейдлиц:

Я не знал ни одного — *ни одного* — более аристократичного человека, чем он. Он мог быть беспощадным только с *идеями*, не с людьми — носителями идей.

Лу Саломе, подчеркивая изящные, доходившие до церемонности, манеры своего воздыхателя, объясняла их внешней маскировкой: мягкостью, вежливостью, обходительностью Ницше скрывал свой глубоко спрятанный духовный мир:

Я помню, что при первой моей встрече с Ницше — это было однажды весной, в церкви Св. Петра в Риме — его намеренная церемонность меня удивила и ввела в заблуждение. Но недолго обманывал относительно самого себя этот одинокий человек, так же неумело носивший маску, как человек, пришедший с горных высот и из пустынь, носит обычное платье горожан. Очень скоро поднимался вопрос, который он сам формулировал в следующих словах: «Относительно всего, что человек позволяет видеть в себе, можно спросить: что оно должно собою скрывать? От чего должно оно отвлекать взор? Какой предрассудок должно оно задеть? И затем еще: как далеко идет тонкость этого притворства? В чем человек выдает себя при этом?»

Эта черта рисует только обратную сторону того чувства одиночества, которое объясняет собой всю душевную жизнь Ницше — все возрастающее уединение в самом себе. По мере того, как это чувство растет в нем, все, обращенное на внешний мир, становится притворством — обманчивым покрывалом, которое ткет вокруг себя глубокая страсть одиночества, чтобы сделаться временно внешней оболочкой, видимой для человеческих глаз. «Люди, глубоко думающие, кажутся себе актерами в сношениях с другими людьми, ибо для того, чтобы быть понятыми, они должны надеть на себя внешний покров».

Можно даже сказать, что самые идеи Ницше, поскольку они выражены теоретически, составляют только этот внешний покров, за которым в бездонной глубине и в безмолвии покоится внутренняя жизнь, из которой они вышли. Они подобны «коже, которая кое-что выдает, но гораздо более таит», «потому что, — говорит он, — нужно или скрывать свои мысли, или скрывать себя за своими мыслями».

В отличие от большинства друзей, неспособных оценить его дар и его новаторство, холодно встречавших его гениальные книги, Ницше горячо откликнулся на их опусы, известные в наше время только потому, что авторы волею судеб попали в его «круг». Когда в 1881-м Пауль Рэ сообщил о своем намерении завершить собственную книгу, он тотчас получил самый восторженный ответ:

«В этом году должна появиться на свет книга, в стройной системе и золотой последовательности которой я буду иметь право забыть мою бедную раздробленную философию! Какой дивный год 1881-й!»

Ницше неизменно радовался успехам друзей и отдавал последние силы, дабы поддержать их в трудную минуту жизни. Вспомним, например, то нежное участие, которое он проявил к Петеру Гасту, написавшему отвергнутую всеми театрами оперу «Венецианский лев». Предлагая другу материальную помощь («Пусть наши капиталы будут общие; разделим то небольшое, что у меня есть...»), он, испытавший все мыслимые степени унижения, писал ему: «Мужайтесь, не позволяйте себя развенчивать; я, по крайней мере, будьте в этом уверены, верю в Вас; мне необходима Ваша музыка, без нее я не мог бы жить...» (Получал ли он сам когда-либо подобные письма?)

Хотя ему пришлось претерпеть в жизни много зла, он не знал злопамятства: «Я ненавижу людей, не умеющих прощать». Это не громкая фраза — это святая правда, и вся жизнь Ницше — тому свидетельство.

*Я приветлив к человеку,
и к случаю приветлив,
я приветлив к любому,
даже к травам:
веснушки на зимних щеках...
влажный от нежности,
ветер оттепели для заснеженных душ;
.....
высокомерен, я презираю
мелкие выгоды:
там, где я вижу длинные пальцы торговцев,
так и не терпится мне
протянуть те, что короче,—
этого требует от меня мой прихотливый вкус.*

...Одному гимназическому товарищу, впрочем довольно скептическому во всем остальном, приходит в голову сравнение с «двенадцатилетним Иисусом в храме»; Маленький пастор — это прозвище пристало к нему еще с самых первых классов школы («он мог декламировать библейские речения и церковные песнопения с таким выражением, что это почти исторгало слезы у слушателей»); удивительный факт: какой индикатор святости мог бы сравниться по точности с детским? — но вот же и сама точность: в присутствии этого подростка *нельзя было* осмелиться на грубое или сальное слово; сохранился рассказ: какой-то одноклассник хлопает ладонью по рту и восклицает: «Нет, этого нельзя говорить при Ницше!» — «Что же он тебе сделает?» — «Ах, он смотрит на тебя так, что слово застревает во рту».

Вот ведь как: «убийцу Бога» в жизни многие воспринимали il Santo, святым — «таким он казался даже случайным путевым знакомым и простым лю-

дям». О том же свидетельствуют почти все его знакомые и друзья: «Атмосфера «святости» и «праведности» оведала будущего «безбожника» с детских лет».

Взять хотя бы психологический портрет 32-летнего Ницше периода жизни на вилле Мальвиды фон Мейзенбург кисти самой хозяйки:

Сколько мягкости, сколько добродушия было тогда в характере Ницше! Как хорошо уравновешивалась разрушительная тенденция его ума добротой и мягкостью его натуры! Никто лучше не умел смеяться и веселиться от чистого сердца и прерывать милыми шутками серьезность нашего маленького кружка.

Здесь пронизательно подмечена дихотомия ум — натура, антитетичность «дьявольского» ума и характера «святого». Человек самой нежной души, монашеских добродетелей, высочайшей нравственности, объявивший войну собственным природным качествам, — вот что такое «феномен Ницше». Действительно, Ницше боролся не только с преодолением наследия Шопенгауэра и Вагнера в своем творчестве, но с теми своими качествами — интеллигентностью, мягкостью, кротостью, которые никак не отвечали воспеваемой «воле к могуществу». Если хотите, жало его книг в первую очередь направлено на их автора. Главный казус его книг — «казус Ницше».

*Сияясь скрыть избранность Божью,
Корчишь чертову ты рожу
И кощунствуешь с лихвой.
Дьявол вылитый! И все же
Из-под век глядит святой!*

Важно понять, что Ницше-человек и Ницше-писатель — два несовместимых лика Одинокого скитальца, богоизбранного и богоотверженного в одном лице, святого и провокатора... Книги Ницше множили ему врагов, жизнь Ницше свидетельствовала о высочайших человеческих качествах:

Я никогда не знал искусства восстанавливать против себя — этим я также обязан моему несравненному отцу, — и даже когда это представлялось мне очень ценным. И как бы это ни казалось не по-христиански, я даже не восстановлен против самого себя. Можно вертеть мою жизнь во все стороны, и редко, в сущности один только раз, будут открыты следы недоброжелательства ко мне, — но, может быть, найдется слишком много следов *добрых* отношений ко мне... Мои опыты даже с теми, над которыми все производят неудачные опыты, говорят скорее в их пользу; я приручаю всякого медведя; я делаю канатных плясунов все еще благонравными. В течение семи лет, когда я преподавал греческий язык в старшем классе базельского Pädagogium'a, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию; самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда выше случая; мне не надо быть подготовленным, чтобы владеть собой. Из какого удобного инструмента, будь он даже так расстроен, как только может быть рас-

строен инструмент «человек», если я не болен, мне удастся извлечь нечто, что можно слушать. И как часто слышал я от самих «инструментов», что еще никогда они *так* не звучали...

В «Ессе Ното» Ницше признается, что его *религия*, лучше сказать — *гигиена*, буддистская: освобождение души от зла, мести, неприязни. «Не враждою оканчивается вражда, дружбою оканчивается вражда» — это стоит в начале учения Будды и в начале житейской позиции Ницше (вопреки разрывам многих его дружеских связей — большей частью не по его вине).

Конечно же, Ницше не был прообразом сверхчеловека и, как мне представляется, не претендовал на это. Сверхчеловеческими были только его страдания. Конечно, он знал себе цену, но высокая самооценка не воспрепятствовала ни рефлексии, ни унынию непризнанного гения. «Я только пустослов: «а что́ в словах! что́ во мне!» Откровенно говоря, эта горечь отвергнутого меня удивляет: разве может притязать на признание человек, осознавший, что далеко упредил свое время? Никому ничто человеческое не чуждо, но гениальность представляется мне самодостаточной: вера гения в себя, как мне кажется, выше непризнания или остракизма. Не случайно при жизни коробило Элиота и других эзотерических поэтов, видевших в славе лишь недостаточно высокий уровень, обеспечивающий прижизненное признание. Человек, написавший о себе, что он «достаточно силен для того, чтобы расколоть историю человечества на два куска» (письмо к А. Стриндбергу), не должен страдать от того, что «песок человеческий» не оставил на себе его отпечатков.

Ницше никогда не курил, был умерен в еде, не любил спиртного. Он вообще не любил «быт», мелочи обыденной жизни вызывали в нем отвращение. «Все непередаваемое музыкой, — признавался он, — отталкивает, делается для меня отвратительным». «Я боюсь реальной действительности. По правде говоря, я не вижу больше ничего реального, а сплошную фантасмагорию».

О личности Фридриха Ницше можно судить по жизненным правилам, которые он выработал для себя в период после 1880 года:

Будь независим, никого не оскорбляй; пусть гордость твоя будет мягкой и сокровенной и не стеснит других людей, пусть не будет в тебе зависти к их почестям и благополучию; сумей также воздержаться от насмешки. Сон твой должен быть легок, манеры свободные и тихие; не употребляй вина, избегай знакомств со знаменитостями и особами королевской крови, не сближайся с женщинами; не читай журналов; не гонись за почестями; не посещай общества, за исключением людей высокой умственной культуры; если таких людей вокруг тебя не окажется, то обратись к простому народу (без него так же нельзя обойтись, как без того, чтобы не засмотреться на мощную и здоровую природу); готовь себе самые легкие блюда и приготавливай их себе сам. Лучше, если пища совсем не будет требовать приготовления...

Впрочем, в обыденной жизни Ницше мало чем отличался от обыкновенных людей. В пансионах, в местах, куда его забрасывали метания по Европе, он встречал множество людей, далеких от его интеллектуальных исканий, относившихся к одинокому, больному, немного странному человеку с манерами аристократа с теплотой и симпатией. Он умел быть любезным, утонченным, предупредительным собеседником и встречал такое же отношение к себе. Однажды одна пансионерка, девушка хрупкого здоровья, имя которой нам не известно, попросила Ницше дать ей его книги. Зная, что она горячо верующая католичка, Ницше ответил отказом: «Я не хочу, чтобы Вы читали мои книги. Если то, что я пишу понимать буквально, то такое бедное, страдающее существо, как Вы, не имело бы права на жизнь». Сохранились свидетельства того, что случайные знакомые Ницше с удовольствием общались с профессором и высоко ценили беседы с ним.

Они уважали, любили своего соседа и ценили его странные талантливые беседы. Они хотели сидеть с ним за соседним столом во время *table d'hôte*: этого было мало для того, что обычно именуется славой, но это много значило для Ницше. Благодаря этим знакомым он находил в Энгадине ту атмосферу доверчивости, в которой так нуждалась его душа и которой ему не хватало в Германии.

«ОСТАНЬСЯ ЧИСТ»

Он падает — кричат они, хохочут.
А он всего лишь — к ним спуститься хочет.
Он слишком счастлив был с самим собой.
Он — слишком свет, чтоб не пойти за тьмой.

Ф. Ницше

Несправедливость и грязь бросают они во-
след одинокому; но, брат мой, если хочешь
ты быть звездой, ты должен светить им,
несмотря ни на что!

Ф. Ницше

Оставь меня! Пусти! Оставь меня! Я слишком чист для тебя. Не прика-
сайся ко мне! Разве мир мой не стал совершенным?

Слишком чиста кожа моя для рук твоих. Оставь меня, бестолковый,
темный, удушливый день! Разве полночь не светлее тебя?

Самые чистые должны господствовать над землей, никому не ведо-
мые, непризнанные и сильные, души полуночи — полуночи, что светлее
и глубже всякого дня.

О день! тяжелой поступью ходишь ты за мной! Ты протягиваешь руку
за счастьем моим? Я, одинокий, богат для тебя, я для тебя — кладезь со-
кровищ, хранилище золота?

О мир, ты хочешь *меня*? Разве принадлежу я миру? Разве я набожен?
Или божественен? Но, день и мир, слишком вы неуклюжи:

— пусть ваши руки будут более ловкими, протяните их за глубочай-
шим счастьем и столь же глубоким несчастьем, ловите какого-нибудь бо-
га, но не меня;

— мое несчастье, мое счастье глубоки, о удивительный день, однако не
бог я и не божий ад: *глубока боль мира*.

Могу ли я осмелиться указать еще одну, последнюю черту моей нату-
ры, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения?
Мне присуща совершенно тревожная впечатлительность инстинкта чи-
стоты, так что близость — что говорю я? — самое сокровенное, или «вну-

тренность», всякой души я воспринимаю физиологически — *обоняю...* В этой впечатлительности содержатся мои психологические усики, которыми я ощупываю и овладеваю всякой тайною: большая *скрытая* грязь на дне иных душ, обусловленная, быть может, дурной кровью, но замаскированная воспитанием, становится мне известной почти при первом соприкосновении. Если мои наблюдения правильны, такие непримиримые с моей чистоплотностью природы относятся со своей стороны с предосторожностью к моему отвращению: но от этого запах от них не становится лучше... Как я себя постоянно приучал — крайняя чистота в отношении себя есть предварительное условие моего существования, я погибаю в нечистых условиях, — я как бы плаваю, купаюсь и плескаюсь постоянно в светлой воде или в каком-нибудь другом совершенно прозрачном и блестящем элементе. Это делает мне общение с людьми настоящим испытанием терпения; моя гуманность состоит *не* в том, чтобы сочувствовать человеку, как он есть, а в том, чтобы *переносить*, что я чувствую его подле себя... Моя гуманность есть постоянное преодоление самого себя. — Но мне нужно *одиночество*: я хочу сказать, исцеление, возвращение к себе, дыхание свободного, легкого, играющего воздуха... Весь мой «Заратустра» есть дифирамб одиночеству, или, если вы меня поняли, *чистоте*.

Ницше был разносторонне одарен, творческие инстинкты поэта, музыканта, философа, ученого не сталкивались, а сосуществовали в нем, рождая жажду творческого созидания и неукротимое стремление к новой, неведомой другим истине. Я не согласен с мнением Д. Алеви, будто Ницше приходилось жертвовать одним из своих устремлений ради другого. Если он чем-то и жертвовал, то, по его же словам, «собою ради н а р о ж д а ю щ е й с я к у л ь т у р ы».

Полная самоотдача, самозабвение присущи Ницше не только как философу или писателю, но Ницше человеку — студенту, военному, профессору. В армии он стал лучшим кавалеристом, в казарме — образцовым рекрутом, в университетской библиотеке — экстатическим «пожирателем» книг. Человек, казалось бы, несовместимый с солдатчиной, и в солдатчине пытался обрести полноту существования: «Солдатская жизнь не особенно удобна, но она, пожалуй, даже полезна. В ней есть постоянный призыв к энергии, которая особенно хороша как противовядие против парализующего людей скептицизма».

Нереализованный пылкий темперамент Ницше сублимировал в творчество, черпая энергию из боли, страдания, превращая мучения в «избыток воинственной энергии и счастья».

Его страсть к познанию переходит в алчность. Сам он говорит о себе, что у него — ненасытная душа, «которая хочет всем обладать, смотреть глазами множества индивидов и схватить их руками, как своими собственными, простирать свое господство даже на времена прошедшие, она ничего не желает утратить из того, что может только ей принадлежать. О пламя моей алчности! О если бы я мог возродиться в сотнях существ!»

Кто на собственном опыте не испытал силы этого вздоха, тот не знает, что такое страсть к познанию!»

Человек огромной творческой воли и энергии, подвижного и восприимчивого ума, он был настоящим трудоголиком, с замечательным упорством превозмогавшим собственную хворь. Его гениальные интуиции буквально рождались из его боли: «Я всегда писал свои книги всем телом и жизнью», — каждый шедевр сопровождался сокращением его «шагреновой кожи».

Недостаток жизненной силы, о которой Ницше так пекся в своей философии, имел своим последствием не только частые смены настроения или творческие метания, но — дефицит силы воли, просто работоспособности. У Ницше никогда не оказывалось достаточного промежутка времени — *«шести лет молчания и размышления»*, — дабы продумать нечто до конца. Все его работы не завершены, замыслы сумбурны, действия экзальтированы и лихорадочны.

Пламенность Ницше — его беззаветное служение тому, во что он верит в данную минуту, и столь же решительное отвержение этой веры — обращает его жизнь в гибельность вулканических извержений. Легко говорить и писать, что Ницше вначале обожествлял кумиров молодости — Шопенгауэра и Вагнера, а затем сбросил их с олимпа, трудно пережить те экзотические чувства, которые он испытывал, обожествляя и свергая.

С. Цвейг:

Вся его душа объята этим пламенем духовной любви, и потому отпадение от Вагнера наносит ему зияющую, почти смертельную рану, которая постоянно гноится и сочится и никогда не закрывается, никогда не заживает. И каждое духовное потрясение — для него землетрясение, превращающее в щепы всё здание его убеждений; всякий раз Ницше должен строить себя заново. Ничто не вырастает в нем тихо, мирно и незаметно, естественно и органически; никогда не напрягается его внутреннее «я» в скрытой работе, постепенно приводящей к обогащению: все, даже собственные мысли, разряжаются в нем, как «удар молнии»; всякий раз он должен разрушить свой внутренний мир, чтобы возник в нем новый космос. Беспримерна эта грозная сила идей у Ницше: «Я бы хотел, — пишет он, — быть свободным от экспансии чувства, вызывающей такие последствия: у меня часто является мысль, что я внезапно умру от чего-нибудь подобного». И действительно, при каждом духовном обновлении что-то в нем отмирает: всякий раз что-то разрывается в его внутренней ткани, как будто в нее вонзился нож, разрушающий все прежние сцепления. Всякий раз переплавляется в огне нового откровения вся духовная оболочка. Судорога смерти, судорога родов сопровождает у Ницше всякое превращение. Быть может, не было человека, который бы развивался в таких муках, всякий раз сдирая с себя окровавленную кожу. Поэтому все его книги — не что иное, как клинические отчеты об этих операциях, методика подобных вивисекций, своеобразное акушерство — учение о родах свободного духа. «Мои книги говорят только о моих преодолениях» — это история его

превращений, история его беременностей и разрешений, его умираний и воскресений, история безжалостных войн, которые он вел с самим собою, экзекуций и карательных экспедиций и, в совокупности, — биография всех людей, которыми становился и был Ницше за двадцать лет своей духовной жизни.

Огненный пафос Ницше — страстное нежелание быть «как все»: «Люди не равны — и того, что я желаю, не должны желать они». Даже в отношении собственных книг он предостерегал, что они, ободряющим и укрепляющим образом действующие на одних людей, опасны и вредны для других.

Ницше был не просто вдохновенным, экстатическим творцом, но дал одно из лучших описаний такого состояния, привлекательное глубиной, выстраданностью, живостью:

— Имеет ли кто-нибудь в конце девятнадцатого столетия ясное представление о том, что поэты сильных эпох называли в д о х н о в е н и е м? Если нет, то я это опишу. — Действительно, при самом ничтожном остатке суеверия в душе почти невозможно отказаться от представления, что являешься только воплощением, только мундштуком, только посредником сверхмощных сил. Понятие откровения, в том смысле, что внезапно, с невыразимой достоверностью и тонкостью нечто становится в и д и м ы м, слышимым, нечто такое, что глубоко потрясает и опрокидывает человека, — только описывает факты. Не слушаешь, не ищешь; берешь — и не спрашиваешь, кто дает; будто молния сверкнет мысль, с необходимостью, уже облеченная в форму, — у меня никогда не бывало выбора. Восторг, неимоверное напряжение которого иногда разрешается потоком слез, восторг, при котором шаг то бурно устремляется вперед, то замедляется; полный экстаз, пребывание вне самого себя, с самым отчетливым сознанием бесчисленных тончайших трепетов и увлажнений, охватывающих тело с головы до ног; глубина счастья, в которой самое болезненное и мрачное действует не как противоположность, а как нечто обусловленное, вынужденное, как н е о б х о д и м а я краска среди такого избытка света; инстинкт ритмических отношений, оформляющий обширные пространства, — протяженность, потребность в ш и р о к о м ритмическом охвате может почти служить мерой для силы вдохновения, как бы противоречивом давлению и напряжению. Все происходит в высшей степени произвольно, но как бы в урагане ощущения свободы, безусловности, божественности, мощи... Самое замечательное в этом — произвольность образа, сравнения; утрачивается всякое понятие об образе, о сравнении, все дается как самое точное, самое верное, самое естественное выражение. Действительно, кажется, говоря словами Заратустры, будто предметы сами приходят к тебе и сами сочетаются в сравнения («Тут все предметы, ласкаясь, приходят в твою речь и льнут к тебе; ибо они хотят ездить на твоей спине. Здесь раскрываются перед тобой все слова и все ларцы слова; всякое бытие здесь хочет стать словом, всякое становление хочет учиться

у тебя речи»). Вот мой опыт вдохновения; я не сомневаюсь, что нужно вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто скажет: и мой тоже.

Утонченность и экзальтация, основные черты натуры Ницше, придают жгучую пряность философии, до него казавшейся уделом нудной профессуры. Ницше выставлял напоказ то, что тщательно камуфлировали предшественники, — интеллектуальную инстинктивность, способность безоглядно броситься в пучину мгновенного увлечения, духовную ненасытность, страстность и неутомимость. В его философии перед нами открывается вся панорама человеческой души, так напоминающая природные стихии.

Хотя я не разделяю традиционную оценку философии Ницше как иррациональной — скорее, витальной, жизнеутверждающей, — рациональные критерии совершенно неприемлемы к мифотворчеству, параду масок, эйфории, жизненному порыву, болезни, пограничному состоянию, экзальтации — качествам, отличающим жизнь и творчество «пороговых людей», юродивых, аутсайдеров, «несчастнейших», иными словами, харизматических пророков, ощущающих в себе божественный голос.

Ницше — типичный «человек границы», прекрасно сознающий собственное пороговое положение-существование, свою амбивалентность, неустойчивость, отверженность, отчужденность, неприкаянность, внемирность...

Счастье моего существования, возможно, уникального, лежит в его судьбе: я существую еще, если это можно выразить в загадочной форме, в то время как мой отец уже умер, и подобно моей матери я еще живу и стал старым. Это двойное происхождение равным образом из более высокой и низкой лестницы жизни, одновременно Decadent и Anfang — это и есть то, что объясняет нейтральность, свободу от пристрастности по отношению к общим проблемам жизни, которые меня, возможно, характеризуют.

Ницше прекрасно осознавал особенности своего сознания: «Я — авантюрист духа, я блуждаю за своею мыслью и иду за манящей меня идеей». На самом деле он не шел, а бросался за ней сломя голову, невзирая на последствия...

Антигуманные и некрофильские фразы Ницше (скажем, человек — болезнь природы, смерть — праздник) неотрывны от жизненных обстоятельств поэта и его эпатирующего стиля мышления, болезненной страсти к «переоценке» ценностей. «Синтетическая» этика Ницше предельно далека от расхожей поляризации бытия на добро и зло, любовь и ненависть, да и нет. Мизантропия — один из ликов любви к человеку («Кто в сорок лет не стал мизантропом, тот никогда людей не любил»), пессимизм и антигуманизм — другая сторона человечности («Я люблю людей: и больше всего тогда, когда противодействую этому стремлению»).

При всей аффектации и склонности к крайностям, Ницше — сторонник беспристрастности («Для меня не должно быть человека, который вызывал бы у меня отвращение или ненависть»). Конечно, «ликующее чудовище», которое

«после своих варварских подвигов гордо и с легкой совестью, точно после студенческой проделки, возвращается домой, даже не вспоминая, как оно резало, жгло, пытало, насилывало», — это не беспристрастность — скорее это уже психическая болезнь, — но, находясь вне пограничных состояний, Ницше умел усмирять протуберанцы, вырывающиеся из больного бессознательного и наличествующие в бессознательном вполне здоровом (смотри Фрейда!).

«Сострадание должно погибнуть», «оно патологично», «толкни падающего», «не щади ближнего», «твой друг — твой враг», «слабые и неудачники должны погибнуть» — все это символы-экстремумы, требующие не остракизма, но понимания контекста, дешифровки, дезэкстремизации.

Война, агрессия, поединок отнюдь не выражение милитаризма Ницше — это символы его философствования, о чем прямым текстом сказано в «Ессе Ното»:

Моя практика войны выражается в четырех положениях. Во-первых, я нападаю на вещи, которые победоносны, — я жду обстоятельств, когда они будут победоносны. Во-вторых, я нападаю только на вещи, против которых я не нашел бы союзников, *где* я стою один — *где* я только себя компрометирую... Я никогда публично не сделал ни одного шага, который не компрометировал бы: это мой критерий правильного образа действий. В-третьих, я никогда не нападаю на личности — я пользуюсь личностью только как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать очевидным общее, но ускользающее и трудноуловимое бедствие. Так напал я на Давида Штрауса, вернее, на успех его дряхлой книги у немецкого «образования» — так поймал я это образование на деле... Так напал я на Вагнера, точнее, на лживость, на инстинкт двойственности нашей «культуры», которая смешивает утонченных с богатыми, запоздалых — с великими. В четвертых, я нападаю только на вещи, где исключено всякое различие личностей, где *нет* никакой подкладки дурных опытов. Напротив, нападение есть для меня доказательство доброжелательности, при некоторых обстоятельствах даже благодарности. Я оказываю честь, я отличаю тем, что связываю свое имя с вещью, с личностью: «за» или «против» — это мне безразлично. Если я веду войну с христианством, то это подобает мне, потому что с этой стороны я не переживал никаких фатальностей и стеснений, — самые убежденные христиане всегда были ко мне благосклонны. Я сам, противник христианства *de rigueur*¹, далек от того, чтобы мстить отдельным лицам за то, что является судьбой тысячелетий.

Было бы большой ошибкой представлять Ницше только как стихийного бунтаря, ниспровергателя, нигилиста, разрушителя существующих ценностей. Он сам неоднократно признавался, что испытывал невообразимый ужас от каждого своего прикосновения к новому, открывающемуся ему знанию. Я вполне допускаю, что будь «как все», не открывай «новых миров», не слышь грозного голоса: «познай или погибни!» — он остался бы «благонамеренным

¹ Необходимый, обязательный (*франц.*).

и покорным», чуждым терзания и мук, эврименом, каковым, если признаться, является «население», все мы, добропорядочные...

Ницше признавался, что и сам он, бывая на людях, думает, как все. Только наедине с собой он чувствовал свою мысль свободной. Не потому ли искал уединения? И на этот вопрос дал ответ — сам: «В одиночестве ты сам пожираешь себя; на людях — тебя пожирают многие: теперь — выбирай!»

Нонконформизм проявился очень рано. Настоящий немецкий бурш, весельчак, любитель песен и прогулок верхом в двадцатилетнем возрасте внезапно призывает студенческую корпорацию отказаться от табака, пива, бездумных пирушек, «времяпрепровождения». Реакция очевидна. Вся жизнь Ницше — это уход, отказ, утрата, усиливающееся одиночество. Он как бы сознательно отрезал себя от мира, вся его жизнь — вызов. Единственно, что мне непонятно, так это был ли эпатаж результатом самоизоляции, или самоизоляция — следствием тотальной переоценки общепринятого.

«Стройте жилища у подножия Везувия!» — не было красным словцом, Ницше действительно стремился к краю вулкана, тяготел к риску, искал опасности, бросал вызов, не боялся «все потерять и все начать сначала», говоря словами Киплинга. Он и был киплингским конкистадором в сфере духа.

Модернизм «молодого льва», пронесенный им до ухода в ночь безумия, выросший из огромной личной культуры, проявлялся не столько в отрицании, сколько в отказе от общепринятого, исхоженного, истоптанного другими. Как это свойственно всем модернистам, он отказался даже от своего прошлого, от своих первых произведений, от собственного профессорства:

Юмор моего положения в том, что меня будут *путать* — с бывшим базельским профессором, господином доктором Фридрихом Ницше. Чёрта с два! Что мне до этого господина!

Ничто не диссонирует с личностью «последнего ученика Диониса» сильнее, чем его базельское «профессорство»: «Попасть из единственно уместной (в личном плане) монашеской кельи в университетскую аудиторию, да еще в маске «*профессора*», — право, «*музыкант*», сидящий в Ницше (в сущности внутренний *sensor vitae*), должен был бы зажать уши от этого диссонанса».

Насколько бедна событиями его внешняя жизнь, лишенная впечатляющих событий и бурь, настолько бурной была жизнь внутренняя. Перед нами типичный интроверт, забившийся в свою нору единственно для того, чтобы будоражить свое глубинное «я». Одиночество — главный ландшафт его жизни, необходимый для самососредоточения, для написания картины внутренней жизни, для проговаривания тех монологов, какими, в сущности, являются его собрания афоризмов.

Ницше — один из самых интровертированных писателей, давший в своих произведениях исчерпывающую характеристику самому себе. Из его самонаблюдений можно составить очень точный психологический портрет человека, для которого большая часть мира находится не вовне, а внутри него:

Я ясновидящий, но совесть моя неумолимо освещает мое предвидение, и я сам воплощенное сомнение.

В Германии жалуются на мою «эксцентричность». Но поскольку никто не знает моей сущности, то очень трудно разобраться в том, где и когда мне случается быть эксцентричным.

Я совершенно не могу приспособиться к реальной жизни. Когда я не могу забыть обо всех окружающих меня мелочах, они угнетают меня.

Но худшим врагом, какого можешь ты только встретить, всегда будешь ты сам... Ты будешь для себя и еретиком, и ведьмой, и предсказателем, и глупцом, и сомневающимся, и нечистым, и злодеем. Ты должен сгореть на своем собственном пламени: как хочешь обновиться ты, не обратившись прежде в пепел?

Тот, кто может хоть отчасти угадать, к каким последствиям ведет всякое глубокое подозрение, кому знакомы ужас и холод одиночества, на которое обрекает нас всякое безусловно отличное от общепринятого мировоззрение, тот также поймет, как часто приходилось мне, чтоб излечиться от самого себя, чтоб хоть на время забыться, искать себе убежища в благоговении пред чем-нибудь, во вражде, в научности, в легкомыслии, в глупости; и почему я в тех случаях, когда не находил того, что мне нужно было, искусственно добывал его себе — пускался на фальсификации, выдумывал (а что другие делали поэты? И зачем вообще существует искусство?).

Во мне нет ни одной болезненной черты; даже во времена тяжелой болезни я не сделался болезненным; напрасно ищут в моем существе черту фанатизма.

Я знаю только одно отношение к великим задачам — *игру*: как признак величия это есть существенное условие. Малейшее напряжение, более угрюмая мина, какой-нибудь жесткий звук в горле — все это будет возражением против человека и еще больше — против его творения!..

Одна из основополагающих идей Ницше, прошедшая мимо внимания большинства исследователей, связана с личностным характером философии: «...Я в каждой системе хочу выделить лишь то, что составляет часть личности». «Личность» — трагедия, событие, то, что совершается, то, в чем бытийствует истина и проявляется бытие. Не поняв личности, мы не поймем философию.

Философия — только исповедь, только точка зрения, только личное видение, «не то, что нужно найти, но то, что нужно создать».

Всякая великая философия представляла до сих пор самопризнание ее творца и род невольных, бессознательных мемуаров. Сознательное мышление даже у философа в большей своей части ведется и направляется на определенные пути его инстинктами. И позади всякой логики и кажущейся самопроизвольности ее движения стоят оценки — точнее говоря — физиологические требования сохранения определенного рода жизни.

Ницше многократно подчеркивал, что относит самого себя к тому психологическому материалу, из самонаблюдения которого черпаются наисубъективнейшие идеи.

Надо иметь в виду, что «психологическим материалом» было собственное дионисийство, или, как определил он сам, вакхическое начало: «таинственное слияние скорби и восторга, нанесение себе ран и поклонение себе как боже-ству — та высочайшая напряженность чувств, в которой все контрасты взаимно обуславливаются и взаимно поглощаются».

Он был рожден, чтобы стать психологом, и психология была его доминирующей страстью; в сущности, познание и психология у него одна и та же страсть, и ничто так не свидетельствует о внутренней противоречивости этой великой и страждущей души, всегда ставившей жизнь выше науки, как ее самозабвенная, беззаветная приверженность к психологии. Ницше был психологом уже в силу признания шопенгауэровского тезиса о том, что не интеллект порождает волю, а, наоборот, воля порождает интеллект, что воля есть первичное и главенствующее, между тем как интеллект играет по отношению к ней роль чисто служебную, второстепенную. Интеллект как подсобное орудие воли — исходная точка всякой психологической теории, всякой психологии, видящей свою цель в обличении и в «подозрении»; и естественно, что Ницше, апологет жизни, бросается в объятия психологии морали.

Главные черты Ницше-писателя — бескомпромиссность, предельная смелость, безоглядность, абсолютная честность, неприспособляемость. Приспособляемость — страшная сила, — пишет он другу, — мы сразу много теряем, лишившись инстинктивного предубеждения против пошлости и низости обыденной жизни.

Там, где покидает меня честность, я становлюсь слеп; там, где я хочу познать, я хочу быть честен, то есть строг, жёсток, жесток, неумолим.

Ницше — типичный экстремист собственной правды, буквально следующий принципу: «Fiat veritas, pereat vita»¹ — пусть осуществится правда даже ценой жизни. «Все мы готовы скорее согласиться на гибель человечества, чем на гибель познания». Это опасная доктрина, не раз подводившая человека, но в устах Ницше она обретает не тоталитарный оттенок, а отражает высшее устремление духа, вызов всему, «во что верили до сих пор как в святыню».

С. Цвейг:

Как у всякой демонической природы, страсть — у него страсть к правдивости — постепенно превращается в мономанию и пожирает своим пламенем все достояние его жизни; как всякая демоническая натура, он в конце концов не видит ничего, кроме своей страсти. Поэтому пора на-

¹ Да свершится правда, пусть погибнет жизнь (*латин.*).

конец раз навсегда оставить школьные вопросы: чего хотел Ницше? что думал Ницше? к какой системе, к какому мировоззрению он стремился? Ницше ничего не хотел: в нем наслаждается собой непреодолимая страсть к правде. Он не знает никаких «для чего?»: Ницше не думает ни о том, чтобы исправлять или поучать человечество, ни о том, чтобы успокоить его и себя; его экстатическое опьянение мышлением — самоцель, самоупоевание, вполне своеобразное, индивидуальное и стихийное наслаждение, как всякая демоническая страсть. Это невероятное напряжение сил никогда не было направлено на создание «учения» — он давно преодолел «благородное ребячество начинающих — догматизирование» — или на создание религии. «Во мне нет ничего напоминающего основателя религии. Религии — дело черни». Ницше занимается философией как искусством, и потому, как истинный художник, он ищет не результата, не холодной законченности, а только стиля, «крупного стиля в этике», и, вполне как художник, он живет и наслаждается всем трепетом внезапных откровений.

Неустрасимость честности и правдивости — один из ключей к личности человека, свято соблюдавшего заповедь: «Останься чист». «Предельная чистота во всем» — даже не нравственная догма Ницше, но первичное условие существования: «Я погибаю в нечистых условиях». «Мне свойственна совершенно сверхъестественная возбудимость инстинкта чистоты — в такой мере, что я физиологически ощущаю — обоняю — близость или тайные помыслы, внутренности всякой души».

«Passio nuova¹, или Страсть к справедливости» — гласит заглавие одной из задуманных в юности книг Ницше. Он так и не написал ее, но — и это нечто большее — он воплотил ее в жизнь. Ибо страстная правдивость, фанатическая, иступленная, возведенная в страданье правдивость — вот творческая, эмбриональная клетка роста и превращений Фридриха Ницше...

Но всякая борьба за недостижимое возвышается до героизма, а всякий героизм неумолимо приводит к своему священному завершению — к гибели.

Такое фанатическое стремление к правдивости, такое неумолимое и грозное требование, какое ставил Ницше, должно неизбежно вызвать конфликт с миром, убийственный, самоубийственный конфликт. Природа, сотканная из многих тысяч разнородных элементов, с необходимостью отвергает всякий односторонний радикализм. Вся жизнь в конечном счете зиждется на примирении, на компромиссе (и Гёте, который так мудро повторил в своем существе существо природы, рано понял и воспроизвел этот закон). Для того чтобы сохранить равновесие, она, как и люди, нуждается в равнодействующих, в компромиссах, в соглашениях, в примирении противоречий. И тот, кто, живя в этом мире, ставит противное природе,

¹ Новая страсть (*итал.*).

абсолютно антропоморфное требование отказаться от поверхностности, от терпимости, примиримости, кто хочет насильственно вырваться из тысячелетиями сотканной сети обязательств и условностей — невольно вступает в единоборство с обществом и природой. И чем непримиримее индивид в этом требовании чистоты, тем решительнее ополчается против него действительность. Подобно Гёльдерлину, он хочет претворить в чистую поэзию эту прозаическую жизнь или подобно Ницше, внести «ясность мысли» в бесконечную путаницу земных отношений — всё равно это неблагоприятное, хоть и героическое требование означает мятеж против условности и быта и обрекает отважного борца на непроницаемое одиночество, на величественную, но безнадежную войну. То, что Ницше называет «трагическим умонастроением», эта решимость достигнуть крайних пределов чувства — переступает уже за грани духа в область судьбы и «порождает» трагедию.

Эмиль Фаге обнаружил связь учения Ницше с такими чертами его характера, как абсолютная правдивость, гордость, внутренний аристократизм: «Он был лоялен, ненавидел лицемерие... Наконец, из сочетания его лояльности и гордости родилась в нем неустрашимость мысли».

Неустрашимость мысли рождалась, прежде всего, из амбивалентного радостно-горестного чувства свободы. В письме к Ф. Овербеку Ницше сам называл себя «самым независимым человеком в Европе». Чтобы стать Дон Жуаном познания, необходимы были эти свобода и неустрашимость, которые своим происхождением обязаны высочайшей культуре — позиции, позволяющей, стоя на вершине «духа Европы», усвоив этот «дух», — бросить вызов наследию веков: «Я вобрал в себя дух Европы — теперь я хочу нанести контрудар».

Наши обвиняют Ницше в мегаломании, мании величия, крикливой саморекламе. Они хотели бы видеть человека, намерением которого было — ни много ни мало — переоценить все ценности, эврименом, середняком, одним из...

Конечно же, Ницше полностью отдавал себе отчет в масштабе своего творчества, знал диапазон собственной души и не без оснований искал себе место среди равных — Платон, Вольтер, Гёте, Будда... Знал он и о том, что скромность — не сестра таланта, а добродетель человека-термита, человека-саранчи.

К. А. Свасьян:

Читателя, воспитанного на усредненных представлениях о масштабе индивидуального и чересчур переоценивающего косметическую семантику скромности, эти заявления, пожалуй, смутят; но когда дело идет об объявлении войны тысячелетним ценностям и о *переоценке всех ценностей*, было бы более чем странным, если бы *subjectum agens* этой переоценки представился скромным «филологом» или «философом», неким «*ufficiale tedesco*», согласно одной из последних туринских масок Ницше. Заметим: все кривотолки и недоразумения, связанные с именем Ницше, коренятся именно здесь; в сознании среднего (да и не только среднего) европейца

он и по сей день пребудет таким моральным пугалом, от которого впору уберечь юные души.

Радикализм, экстремизм, безрассудность Отшельника Сильс-Марики были результатом его последовательного понимания вольтеровских слов: «Надо изречь истину и пожертвовать собою ради нее». Ницше действительно был безогляден: он писал так, как чувствовал, никогда не задумываясь о последствиях. Именно таким образом он понимал верность себе.

Ницше крайне обижало весьма распространенное среди немецких профессоров мнение о нем как разрушителе ценностей, безоглядом отрицателе. Сам он видел в себе только моралиста, глашатая доблестей, творца новых культов и новой душевной ясности. Но даже ближайшие его друзья не понимали этих его намерений.

БЕГСТВО

Одинокий, ты идешь дорогою к самому себе! И твоя дорога идет впереди тебя самого и твоих семи дьяволов!

Ф. Ницше

Женой Ницше стала философия, способом существования — уединенность. Он считал, что мыслитель, «который избрал своей задачей общее познание и расценку совокупности бытия», не вправе обременять себя заботами о быте, семье, детях. Одиночество отягощало его, рождало чувство изгойства, но вместе с тем позволяло осознать собственную исключительность и маргинальность, обеспечивало необходимость глубокого внутреннего сосредоточения и самонаблюдения, стало неременным условием творчества.

Одиночество было той гамлетовской чертой Последнего ученика Диониса, которую он скрыто пестовал и которое во всех его блужданиях составляло ту «неизменную раму, из которой на нас глядит его образ». Нет, не скрыто — декларативно. «Одиночество все более кажется мне и целительным средством и естественной потребностью, и именно полное одиночество. Нужно уметь достигнуть того состояния, в котором мы можем создать лучшее, на что мы способны, и нужно принести для этого много жертв».

Одиночество было ему необходимо для того, чтобы говорить свободно, без свидетелей, без присутствия любых форм внешнего давления — для предельно правдивого самовыражения.

Он одновременно тянулся к людям и бежал от них. В одно и то же время он жаловался, что ему не хватает солнца, дружбы и что он становится виртуозом по части уединения. В моей дружбе есть что-то патологическое, — признается он, предчувствуя страшные разрывы, — прежде всего с кумирами, с теми, кого он больше всех любил и кому больше всего доверялся.

Пожалуй, самое точное определение статусу Ницше среди людей дал его друг Эрвин Роде: «Он производит впечатление человека, вышедшего из страны, где никто не живет».

Вот что по этому поводу писал он сам:

Когда-нибудь все придет к своему концу — тому далекому дню, которого я уже не увижу, когда откроют мои книги и у меня будут читатели.

Я должен писать для них, для них я должен привести в порядок мои основные идеи.

Младший друг Ницше, Пауль Ланцкий, имел все основания упрекать его в бегстве от друзей. «Вы жалуетесь, что все Вас покинули, — говорил ему Пауль, — но кто виноват в этом? Вы зовете к себе друзей и убегаете от них...»

Собственно, у Одинокого скитальца было два выхода: покончить со своим одиночеством, выйти к людям, заговорить на их языке или остаться наедине с собой, отстоять свою субъективность и свое право быть не таким, как все. Мы знаем, что он выбрал...

Ф. Ницше:

Где же они, те друзья, с которыми, как мне когда-то казалось, я был так тесно связан? Мы живем в разных мирах, говорим на разных языках! Я хожу среди них, как изгнанник, как чужой; до меня не доходит ни одно слово, ни один взгляд. Я замолкаю, ибо меня никто не понимает. Я могу смело сказать: они никогда меня не понимали. Ужасно быть приговоренным к молчанию, когда есть так много сказать... Неужели я создан для одиночества, для того, чтобы никогда не быть никем услышанным? Отсутствие связей, отрезанность от мира — это самое ужасное из всех одиночеств; быть д р у г и м — это значит носить медную маску, самую тяжелую из всех медных масок...

Ницше отдавал себе отчет в том, что мог рассчитывать на понимание, поддержку, одобрение, может быть, даже на славу, говоря — как все. Его окружало бы множество друзей, не крутивших пальцем у виска, он мог бы стать в один ряд с Гёте, Шиллером, Вагнером. Но — сознательно или бессознательно — он понимал, что, говоря, как все, он и останется таким, как все. А именно это его больше всего страшило. Среди многих причин разрыва со старыми кумирами была необходимость покончить с собой прошлым, с общим путем, с принятыми идеалами. Возможно, та резкость, с которой он в определенный период своего творчества начал крушить традиционные ценности, объяснялась желанием «разрубить канаты». Видимо, он сознательно шел на обострение: рвал связи, дабы раз и навсегда отрезать пути назад.

Кто-то из критиков узрел в вечном скитании Одинокого Пилигрима, в его регулярных переходах через Сен-Готард — наряду с поиском «лучшего места» — бесконечное бегство, «заметание следов», глубоко скрытую манию преследования интеллектуального террориста Европы. В Ницше жил огромный подсознательный страх — страх высококультурного вандала, ломающего и рушащего все построенное до него, и бессознательная же боязнь мести, остракизма. Возможно, отсюда — разрывы, эскапизм, желание затеряться инкогнито в пансионах, стать «никем»...

Есть и другая версия. Странствия дионисийца — результат *неудержимого влечения к переменам*. Ницше не желал давать присяги ни одной истине, не клялся в вечной дружбе, не мог быть домоседом, преданным одной точке

на карте. Незавершенность почти всех книг, легкость смены идей, возведенное в принцип «предательство», перспективизм как философский принцип, любовь к горным ландшафтам как никогда не повторяющимся, страх женитьбы, сложность отношений с близкими и друзьями — всё это только следствия. Причина названа выше.

От кого и куда бежал Ницше? Ото всех и в никуда... Трагедия жизни Одинокого стрелка усугублялась тем, что даже самые близкие ему люди были не просто бесконечно далеки от него, но, как мы ныне знаем, представляли угрозу, которую он, глубоко чувствующий человек, не мог инстинктивно не ощущать...

* * *

Несколько слов о демоне в юбке — сестре Фридриха, сыгравшей в его жизни поистине inferнальную роль. В молодости Элизабет многим помогала брату, по первому зову прилетала на зов больного, ухаживала за ним и опекала его. Однако, созданный ею образ «конфидентки», «единомышленницы», «любимой сестры» и «единственной ученицы», каковой она предстает в собственном многотомнике «Жизнь Фридриха Ницше», мало соответствовал действительности. Видимо, Ницше любил сестру, но чем больше общался с ней, тем глубже убеждался в ее духовной нечистоплотности и протезизме: «Как можем мы быть родными — вот вопрос, над которым я часто размышлял»; «Она не перестает мучить и преследовать меня», «Люди вроде моей сестры неизбежно оказываются непримиримыми противниками моего образа мыслей и моей философии»; «Мои «ближние» первые против меня»; «Не доверяйте своим сестрам!»...

Проклятое антисемитство стало причиной радикального разрыва между мною и моей сестрой.

Между мной и мстительной антисемитской гусыней не может быть примирения. Позже, гораздо позже она поймет, как много зла принесла мне в решающий период моей жизни...

П. Гаст в 1883 г. писал Ф. Овербеку: «Она не имеет абсолютно никакого представления о том, кто ее брат и чего он хочет».

Поведение Элизабет во время романа Ницше с Лу Саломе наглядно продемонстрировало ему то, что он давно уже подозревал: что сестра вовсе не та подруга, за которую себя выдает.

Элизабет травила Пауля Рэ как еврея, а в старости объявила еврейкой и Саломе, самого же брата выдала за националиста и патриота, коим он никогда не был.

К. А. Свасьян:

«Фрау Фёрстер — патологическая лгунья» — от этой оценки Бинсвангера, йенского врача Ницше, как выяснится, был не так уж далек и сам «брат». Мошенничества не уступали по уровню и качеству архетипам буль-

варной литературы; нужно было прежде всего обеспечить миф наследственности, и, поскольку реальность оказывалась до противоположного иной, в ход пускались средства самого примитивного и низкопробного подлога, скажем, переадресат писем, где «любимой» и «дорогой» представляла уже не мать или какая-нибудь из добрых подруг, а «сестра» — негодные имена в оригиналах устранились... нечаянными кляксами.

Не было ничего проще, чем вытравить из текстов музыку, страсть и личность и предоставить тексты самим себе как сплошной бумбум, как свирепую оргию взбесившихся инстинктов, как безвкуснейший философский канкан, разжигающий интеллектуальную похоть образованного обывателя и западающий в память рядом профанированных символов. Если утрудить себя сопоставлением и сравнением двух текстов — сфабрикованной «Воли к власти» и восстановленных в первоначальной последовательности *тех же* отрывков, — то качество и масштабы случившегося поразят воображение. Взору предстанут две несоизмеримые картины, относящиеся друг к другу как серия фотомонтажей к естественной жизни лица, как изготовившийся в стойке боксер к мученику мысли, едва успевающему (в промежутках между невыносимыми болями) заносить на бумагу беспорядочный и в то же время необыкновенно ясновидческий шквал «истории ближайших двух столетий».

В 1885-м Элизабет Ницше вышла замуж за злобного юдофоба, сделавшего антисемитизм и ксенофобию своим призванием. Фёрстер собрал четверть миллиона подписей под петицией Бисмарку, требовавшей запретить въезд евреев в Германию и уволить их с государственной службы. Жалкий, неудачливый учитель гимназии в буквальном смысле задира и избивал евреев на улице и призывал к тому же своих знакомых. За полвека до «хрустальной ночи», не найдя «правды» на родине, он предложил молодой жене «спастись» от «жидовского засилья» в Парагвае, где молодожены намеревались основать «Новую Германию», снова-таки намного упредив беженцев III рейха. Затея не удалась: руководящая деятельность Фёрстера вызвала бунт среди немецких поселенцев, а он сам запутался в финансовых махинациях и в июне 1889-го застрелился. Э. Фёрстер-Ницше возвратилась в Германию вполне подкованной для той мрачной миссии, которую ей предстояло сыграть в посмертной судьбе великого брата.

Ницше, задолго до замужества сестры испытывший на себе ее грубость, бесцеремонность, напористость, был потрясен ее выбором. Он хорошо знал, что представлял собой Фёрстер, презирал его маниакальные идеи и, кроме того, был наслышан о распространении им оскорбительных слухов о его произведениях. Мысль о том, что сестра собирается связать судьбу с таким чудовищем, угнетала его. Брат и мать предприняли все возможное, чтобы отговорить Элизабет от замужества, но их усилия оказались тщетными.

В наследии Ницше нет книги с названием «Воля к власти». В 1893 году наследие философа оказалось в руках вернувшейся из Парагвая сестры. Тут-то

и начались странные вещи, скандал следовал за скандалом. Публикация собрания сочинений Ф. Ницше, начатая в 1892-м, дважды прерывалась вследствие отстранения от дел редакторов — сначала П. Гаста, затем Ф. Кёвеля, «буквально затерзанного интригами своевольной директрисы». Э. Фёрстер-Ницше сыграла зловещую роль в посмертной судьбе брата — именно ее усилиями был создан демонический образ Ницше как предтечи нацизма. Все началось с фальшивки — недобросовестной, тенденциозной компоновки текстов Ф. Ницше, работавшего в конце жизни над «Переоценкой всех ценностей», незавершенным произведением, в котором Ницше намеревался изложить свою философию. Под названием «Воля к власти» Фёрстер-Ницше издала подготовительные наброски этого труда, подобрав разрозненные записи таким образом, чтобы Ницше выглядел идеологом германского национализма, а впоследствии, снова-таки с подачи сестры, философом нацизма. Поскольку Ницше был далек от этих идей, Элизабет Фёрстер проявила недюжинные способности, дабы представить брата чудовищем.

Рудольф Штейнер еще в 1900 году предупредил общественность, что архив Ницше находится в руках недобросовестной фанатички. Эрих Подах и братья Эрнст и Август Хорнэферы в начале века намекали на фальсификацию, связанную с изданием трудов Ницше, а К. А. Бернулли в книге «Франц Овербек и Фридрих Ницше», вызвавшей со стороны Э. Фёрстер-Ницше судебный иск, поместил ряд разоблачительных писем Ницше, в которых «любимая сестра» фигурирует как «чудовище» и «мстительная антисемитская дура».

Разразился грандиозный скандал, завершившийся судебным разбирательством юридических прав Элизабет Фёрстер-Ницше на архив брата в связи с многочисленными фальсификациями. Суд принял сторону единственной наследницы, которая осталась владелицей архива вплоть до своей смерти. Второй том книги Бернулли обезобразил многочисленные купюры наиболее разоблачительных высказываний Ницше о сестре. Махинациям Элизабет Фёрстер-Ницше был дан зеленый свет.

В 1935 году О. Шпенглер демонстративно разорвал свои связи с «Архивом Ницше» и его распорядительницей в знак протеста против ее участия в нацистских фальсификациях наследия брата.

В 1956-м профессор Карл Шлехта в результате кропотливой работы над текстами Ф. Ницше разоблачил фальшивки Э. Фёрстер-Ницше и восстановил в первоначальном хронологическом порядке подготовительные авторские материалы к незавершенной книге под заглавием «Из наследия 80-х годов». Однако зло всегда активнее добра. Деформированный сестрой духовный облик Фридриха Ницше до сих пор окончательно не очищен от скверны...

ЛЮБОВЬ

Вы — раздумий тех причина,
Я открыть их нынче рад:
Девки — краше,
Но мужчина
Интересней во сто крат.

Ф. Ницше

По свидетельству Даниэля Алеви, «первая любовь» пришла к Фридриху еще в годы учения в Пфорта. На званом ужине у одного из профессоров он встретился с юной особой, пригласил ее на свидание и вскоре понял, что влюблен в эфирное создание. Вполне в духе дантевских Паоло и Франчески, чьи «над книгой взоры встретились не раз», он мечтал о совместном чтении и музицировании, ощущая томительную прелесть такого времяпрепровождения. Однако девушка недолго пробыла в Пфорта, и с ее отъездом он вынужден был заместить ее тающий образ «Пиром» Платона и трагедиями Эсхила.

Недавно в нашей печати появилась книга о великих русских женщинах, ставших музами европейских гениев: Лу Андреас-Саломе, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Е. Д. Дьякова (Гала Дали), Эльза Триоле, Дина Верни, Лидия Делекторская, Елена Зонина, Мария Курашева, Мура Будберг... Ницше тоже питался из этого источника, имел ангела-хранителя в лице Мальвиды фон Мейзенбург, до встречи с Лу знал другие «русские» привязанности.

Д. Алеви:

Часто во время антрактов и по вечерам (во время байрёйтских торжеств 1876 г.) Ницше любил оставаться наедине с г-жой О., очень милой и интересной женщиной, полурусской, полупарижанкой; ему нравилась женская манера тонкого и не всегда логически последовательного разговора, и своей собеседнице он прощал даже то, что она была вагнеристка.

В начале 1887 года, живя в Ницце, он близко сошелся с некой госпожой В. П. (полное имя мне не известно, не сохранилась и переписка с этой женщиной). Вместе они ездили в Сан-Ремо и Монте-Карло. Была ли эта встреча единственной во время пребывания Ницше в пансионах Лазурного берега или Энгадина, где сама атмосфера курортных мест благоприятствовала такого рода романам? Биографы Ницше склонны считать встречу Ницше с В. П. скорее исключением,

чем правилом его жизни на побережье Средиземного моря и горных курортах Швейцарии.

Ницше постоянно испытывал дефицит человеческой теплоты, ему нравились романтические встречи с женщинами, но вместе с тем он сознавал, что в его положении бедного, больного, вечно бегущего (убегающего) человека семья и любовь — запретны: «Где я найду себе жену? А если найду, имею ли право предложить ей разделить со мною жизнь?».

Ф. Ницше — сестре; 25 января 1888 г.:

Я должен рассказать тебе об одном маленьком происшествии: вчера, во время моей обычной прогулки, я услышал неподалеку голос, искренний, веселый смех... потом увидел прелестную юную девушку с карими глазами, нежную, как молодая козочка. Мое старое сердце одинокого философа забилося сильнее, я подумал о твоих матримониальных советах и в продолжение всей прогулки не мог отогнать от себя образ этой молодой милой девушки. Конечно, это чистое благодеяние иметь около себя такое грациозное существо, но для нее было ли бы это благодеянием? Разве я со своими идеями не сделал бы эту девушку несчастной? И разве не разрывалось бы мое сердце (я полагаю, что я любил бы ее), видя страдания этого милого творения? Нет, я не женюсь!

В одном из писем, адресованных своей доверительнице и старшему другу Мальвиде фон Мейзенбург, тридцатилетний Ницше по секрету признается, что его первейшее желание иметь хорошую жену: «Тогда я получу от жизни все, что желал бы от нее».

Ницше не просто был тайно влюблен в Козиму Вагнер, но позже внушал себе мысль, что она тоже была к нему равнодушна. Козима Лист в свое время ушла от первого мужа, не устранившись от общественного злословья, согласившись выйти замуж за Вагнера в тяжелую годину его жизни. Благодаря Козиме Вагнер стал тем, кем стал. Не будь ее, смог ли бы этот горячий и нетерпеливый человек обуздать свои титанические порывы, реализовать грандиозные замыслы? А что стало бы с ним, Ницше, будь Козима — его?

Ницше хотелось уверовать в эти иллюзии, и он действительно начинает в них верить. Без сомнения, между ними существует любовь, и Козима спасла бы его так же, как спасла Вагнера, если бы, благодаря счастливому случаю, узнала его несколькими годами раньше. Но все настроено против Ницше, и здесь Вагнер ограбил его. Он забрал у него все: славу, любовь, друзей.

Есть все основания полагать, что сюжет одного из последних творений Ницше — мифа Ариадны, Тезея и Вакха — прямым образом относится к треугольнику Козима—Вагнер—Ницше. Тезей (Вагнер) заблудился, Ариадна (Козима) спасла его, выведя из лабиринта. Но Тезей неблагодарен, он отвернулся от своей спасительницы, и Ариадна умерла бы от отчаяния, не явись Вакх-Дионис

(Ницше), который возлюбил ее. Уже после туринской катастрофы несчастный поэт писал Козиме: «Ариадна, я люблю тебя...»

С Лу Саломе Ницше познакомил Мальвида фон Мейзенбург, посетительницей салона которой с недавних пор стала русская девушка. Лу привлекла хозяйку недюжинным умом и интеллектуальной восприимчивостью. В сопровождении матери Лу набиралась знаний в Европе, и г-жа Мейзенбург приняла самое горячее участие в ее судьбе. Именно она познакомил Лу с книгами Ницше и старалась привлечь ее внимание к человеку, который давно просил подобрать ему жену. Это очень суровый философ, — говорила Мальвида Лу, — но у него нежная, преданная душа. Для всех, кто его знает, мысль о его одиночестве вызывает острую тоску. Лу увлеклась книгами Ницше и однажды заявила, что готова встретиться и познакомиться с ним.

В салон Мальвиды фон Мейзенбург Лу Саломе привел друг Ницше Пауль Рэ. Он был влюблен в девушку и даже сделал ей предложение. Но Лу успела привыкнуть к вниманию мужчин, и на ее счету уже были отказы претендентам на руку и сердце. Не будучи феминисткой, Лу очень дорожила свободой и независимостью, во всяком случае в ее планы никак не входило связывать свою судьбу с таким человеком, как Рэ. Безразличная к общественному мнению, может быть, даже стремящаяся к эпатажу, она обращала мало внимания на светские пересуды и вела себя так, как считала необходимым. Возможно, ей даже хотелось выглядеть в глазах общества фривольной (некоторые авторы пишут — развратной), хотя — при большом количестве дружеских связей — она до замужества сохранила невинность.

Лу отказалась стать женой Рэ, но согласилась, при условии его отказа на какие-либо притязания в ее отношении, жить с ним общими духовными интересами. Это казалось эксцентричным, но она слыла сумасбродкой и подобными поступками повышала себе цену в глазах мужчин.

Весной 1882 года Ницше чувствовал себя намного лучше, чем в последние годы, и когда Мальвида предложила ему встретиться с Лу, тотчас примчался в Рим. Здесь он выслушал множество панегириков в адрес русской девушки: тонкий ум, одаренная натура, отважный характер, независимость мнений, открытость в общении — одним словом, героиня будущих времен (что полностью соответствовало действительности). Даниель Алеви свидетельствует, что их встреча произошла в соборе Св. Петра и что Лу с первого взгляда покорила великого философа.

За долгие месяцы уединенных размышлений Ницше отвык от удовольствия говорить и быть выслушанным. «Молодая русская» (как он называл ее в своих письмах) оказалась изумительной слушательницей. Она мало говорила, но ее спокойный взгляд, мягкие, уверенные движения, меткие замечания не оставляли сомнений относительно быстроты реакции и глубины души. Очень быстро, чуть ли не с первого мгновения, Ницше полюбил ее. «Вот душа, которая одним дуновением создала это хрупкое тело», — сказал он м-ль Мейзенбург. Но м-ль Саломе не сразу поддалась

Ницше. Она чувствовала его превосходство, вела с ним продолжительные разговоры, и постепенно пылкость его мысли покорила ее так глубоко, что она даже потеряла сон. Романтическое приключение, завершившееся драмой, завязалось довольно быстро.

В Риме они проводили время втроем — третьим был Пауль Рэ. Ницше читал им отрывки из «Веселой науки», стараясь внушить девушке, что герой этой жизнерадостной книги, сверхчеловек, есть alter ego автора: «Иной идеал влечет нас к себе, чудесный, искушающий, чреватый опасностями идеал, для которого все то высшее, в чем народ справедливо видит свое мерило ценностей, представляло бы не более чем падение, унижение, опасность или, по меньшей мере, средство самосохранения». Вскоре Ницше поймет, что этот идеал, явившийся в его воображении, ныне материализовался перед ним.

Вскоре после римской встречи мадам Саломе с дочерью покидали столицу, в их планы входило путешествие по Северной Италии и Швейцарии. Два влюбленных в Лу философа увязались за ними. В Люцерне Ницше показал им дом в Тришбене, где произошло его знакомство с Рихардом Вагнером. В своей книге о Ницше, написанной позже, Лу Саломе описала его волнение, нахлынувшее от воспоминаний. Девушка заметила слезы на его глазах. Затем Ницше рассказывал русским о своей жизни, смерти отца, юношеских исканиях, открытии для себя Вагнера и Шопенгауэра, богоискательстве и о том ужасе, который охватил его после открытия «смерти Бога»...

Лу Саломе передает слова Ницше: «Да, вот как начались приключения моей жизни, которые еще далеко не завершились. Что ждет меня впереди? Какие новые мытарства? Не вернусь ли я снова к прежней вере? Или к какому-нибудь новому упованию? Во всяком случае, более правдоподобно возвращение к прошлому, чем духовная неподвижность».

Ницше не сразу признался Лу в любви — то ли не хватило мужества, то ли одолевали сомнения, связанные с последствиями такого признания. По сведениям Д. Алеви, Ницше перепоручил признание своему конкуренту, сам же покинул семью Саломе, уехав на несколько дней в Базель.

Входило ли в планы Ницше женитьба на Лу Саломе? Мне трудно представить это. Скорее всего, речь могла идти о духовном союзе, плодом которого будут не дети, а новые пророки — скажем, новый Заратустра. Да, они могут жить вместе, но как учитель и ученица, но и здесь есть трудность — бедность философа. Какого согласия ждал Фридрих от Лу? Согласия на замужество? на духовную связь? на совместную жизнь? Похоже, он готовил себя к любому варианту, только бы остаться с ней рядом.

Лу Саломе ответила Фридриху Ницше без задержек. Она написала, что в ее планы не входит замужество, но она готова предложить ему, как и Рэ, свою дружбу, моральную поддержку и даже — создать некую интеллектуальную коммуну, «святую, как Троица», в которой Ницше и Рэ, отказавшись от каких бы то ни было на нее притязаний, занялись бы духовными исканиями под эгидой

ее, Лу, музыки. Пауля Рэ этот проект вполне устраивал, отношение к нему Ницше мне неизвестно.

Я полагаю, что чувства Ницше периода увлечения Лу Саломе были крайне сложны и противоречивы. Без всяких сомнений, она ему нравилась, ему опостылело одиночество, был крайне необходим близкий друг, но — женитьба? семья?

А. Эткинд:

Возможно, чувственные влечения Ницше были столь же подавлены, что и не проснувшиеся еще чувства Лу, и потому им было так хорошо ощущать свою невероятную близость в разреженных высотах духа.

Конечно, Ницше быстро понял незаурядность встреченной им девушки, может быть, впервые полностью понявшей его как человека и как философа.

Лу Саломе — Паулю Рэ:

Разговаривать с Ницше, как ты знаешь, очень интересно. Есть особая прелесть в том, что ты встречаешь сходные идеи, чувства и мысли. Мы понимаем друг друга полностью. Однажды он сказал мне с изумлением: «Я думаю, единственная разница между нами — в возрасте. Мы живем одинаково и думаем одинаково».

Ницше и сам писал, что «вряд ли когда-либо между людьми существовала большая философская открытость», чем между ним и Лу.

Переданный через Пауля Рэ отказ Лу неожиданно для самого Ницше сделал его более решительным. Он тотчас вернулся в Люцерн, встретился с девушкой и предложил ей руку и сердце. Но вновь получил отказ. Она повторила предложение заключить духовный союз. Однако Ницше не терял надежды. Ведь Лу посвятила ему стихи и гимн, пусть не оставляющие надежды, но наполненные такой упоительной гаммой чувств:

СКОРБЬ

*Wer kann dich fliehn, den du ergriffen hast,
Wenn du die ernsten Blicke auf ihn richtest?
Ich will nicht flüchten, wenn du mich erfasst,
Ich glaube nimmer, dass du nur vernichtest!
Ich weiss, durch jedes Erden-Dasein muss du gehn,
Und nichts bleibt unberührt von dir auf Erden:
Das Leben ohne dich — es wäre schön,
Und doch — auch du bist werth, gelebt zu werden!¹*

¹ Покоренный тобою, ощущающий на себе твой суровый взгляд, мог ли я убежать? Я погибну, если ты завладеешь мною. Я верю, что ты способна лишь разрушать; я знаю, ты должна принадлежать всему живущему на земле. Никому не избежать твоего прихода. Жизнь без тебя была бы прекрасной, но и ты заслуживаешь права на существование!

Я люблю тебя, увлекательная жизнь, как только друг может любить друга; я люблю тебя, когда ты даешь мне радость или горе, когда я смеюсь или плачу, наслаждаюсь или страдаю; покидая тебя, я буду страдать и уйду от тебя с тем чувством горя, какое испытывает друг, освобождаясь из объятий друга. Если у тебя не останется для меня радости — что делать! Мне останется твое страдание.

Ницше решил переложить последние слова на музыку, но работа так взволновала его, что душевный подъем, как это уже случалось с ним не раз, сменился депрессией, невралгическими болями и приступами. Волна чувств, охвативших влюбленного философа, стала опасной для него.

В июле друзья Ницше, его сестра и Лу Саломе съехались в Байрёйт на премьеру «Парсифаля». Ницше сердцем был с ними, но после разрыва с Вагнером страшился показываться ему. Он отсиживался по соседству в деревне Таутенбург.

Ф. Ницше — Лу Саломе:

Я очень рад, что не могу поехать в Байрёйт, и тем не менее, если бы я мог быть около Вас, болтать с Вами, шепнуть Вам на ухо несколько слов, я бы, пожалуй, был способен примириться с музыкой «Парсифаля» (при других условиях это для меня невозможно).

Д. Алеви сообщает, что «молодая русская» тотчас после премьеры «Парсифаля» приехала к Ницше в Таутенбург в сопровождении Элизабет. Что происходило в эти дни, может быть, самые лучшие и самые трагические в жизни Ницше? Похоже, признания в любви перемежались посвящением ее в тайны его философии, попытками покорить душу «молодой русской» духовной мощью.

Лу Саломе:

Я никогда не забуду тех часов, когда он открывал мне свои мысли; он поверял мне их, как если бы это была тайна, в которой страшно сознаться. Он говорил вполголоса с выражением глубокого ужаса на лице. И в самом деле, жизнь для него была сплошным страданием, убеждение в ужасной достоверности «вечного возврата» доставляло ему неизъяснимые мучения.

Д. Алеви:

Конечно, страстная, горячая натура Ницше и его требовательность испугали Лу Саломе; соглашаясь быть его другом, она не предвидела возможности этих страшных эмоций дружбы, более сильных, чем припадки самой страстной и бурной любви. Ницше требовал сочувствия каждой своей мысли; молодая девушка не соглашалась на это требование: разве можно отдать кому-нибудь ум и сердце? Ницше не мог примириться с ее гордой непреклонностью и ставил ей в вину эту гордость и эту независимость.

Ф. Ницше — П. Гасту:

Лу остается со мною еще на неделю. Это самая умная женщина в мире. Каждые пять дней между нами разыгрывается маленькая трагедия.

Большая трагедия готовилась за его плечами близкими Ницше. Похоже, мать и особенно сестра играли в этой истории отнюдь не роль добрых фей. «Все добродетели Наумбурга вооружились против меня», — писал он. Но ради Лу Ницше, похоже, был готов пойти против воли близких. «Разрыв с семьей был для Ницше актом героизма, соответствовавшим его философии, но совершенно невозможным в практической жизни».

Ницше еще строил благостные планы: «Через два месяца мы [с Лу] поедem в Париж и проживем там, может быть, несколько лет», — но дело быстро двигалось к трагической развязке. Лу приехала к Ницше в Лейпциг, но не одна, а в сопровождении Пауля Рэ.

Она, должно быть, хотела, чтобы Ницше понял, что, при всех дружеских чувствах, в которых она ему никогда не отказывала, она желает сохранить полную свободу, но никак не подчиниться его воле. Отношение ее к нему можно назвать скорее симпатией, чем полной духовной преданностью. Хорошо ли она взвесила все трудности подобного предприятия, всю опасность такого опыта? Она знала, что оба друга влюблены в нее. Каким же было ее положение между ними? Была ли она уверена, что желая удержать обоих возле себя, она не уступит инстинкту, может быть, бессознательному любопытству измерить свои женские силы, свое очарование? Никто не может этого знать, и никто не ответит на эти вопросы.

Ницше терзался не только крайне отрицательным отношением к «союзу трех» со стороны семьи, но и ревностью к Рэ. В его больном воображении возникла идея предательства, вероломства: двое самых близких ему друзей любят друг друга и обманывают его, Ницше. Вот-вот он утратит и свою строптивую, непредсказуемую ученицу, и своего лучшего друга. Сложные чувства склонного к быстрым переменам настроения Ницше проглядывают со страниц его писем к Лу:

Если я бросаю тебя (?), то исключительно из-за твоего ужасного характера... Ты принесла боль не только мне, но и всем, кто меня любит... Не я создал мир, не я создал Лу. Если бы я создавал тебя, то дал бы тебе больше здоровья и еще то, что гораздо важнее здоровья, — может быть, немного любви ко мне.

Мои дорогие Лу и Рэ, не беспокойтесь об этих вспышках моей паранойи или уязвленного самолюбия. Даже если однажды в припадке уныния я покончу с собой, не должно быть повода для печали. Я хочу, чтобы вы знали, что я не больше чем полулунатик, пытаемый головными болями и помешавшийся от одиночества. Я достиг этого разумного, как я сейчас

думаю, понимания ситуации после приема солидной дозы опия, спасающего меня от отчаяния.

В таком состоянии подозрений и страха Ницше решается на поступок, недостойный философа, — унижает друга в глазах подруги: Рэ умен, — говорит он Лу, — но это слабый человек, без определенной цели. В этом виновато его воспитание, каждый должен получить такое воспитание, как если бы он готовился в солдаты; женщина же должна готовиться стать женою солдата. Ницше дает понять, что «солдат» — он, а не Рэ.

Похоже, все это время Элизабет, видевшая в Лу хищницу, готовую похитить добычу, ее брата, непрерывно подливала масло в огонь ревности, сомнений, разочарований, пылавший в его душе. Позже — с присущим ей лицемерием — Элизабет представит дело таким образом, что Ницше «пережил глубокие разочарования в дружбе» и что не он, а Лу, «используя максимы Фрица, пытается связать ему руки». Элизабет Ницше принадлежит идея отождествления Лу с будущим Заратустрой, получившая широкое распространение: «Не могу отрицать, она действительно воплощенная философия моего брата».

П. Гаст:

В течение определенного времени Ницше был заморожен Лу. Он видел в ней что-то необыкновенное. Интеллект Лу и ее женственность возносили его на вершину экстаза. Из его иллюзий о Лу родилось настроение Заратустры. Настроение, конечно, принадлежало Ницше, но именно Лу вознесла его на Гималайскую высоту чувства.

С высоты всегда больно падать, тем более с гималайской. Мне так и остался неизвестным повод, приведший к окончательному разрыву. Возможно, последней каплей стало рассердившее Лу грубое и бесцеремонное письмо Элизабет, адресованное ей. Сохранился черновик последнего письма Ницше к Лу Саломе, не проясняющего, однако, подробностей их разрыва. Вот это письмо:

Лу, что это за письмо! Так пишут маленькие пансионерки. Но что же мне делать? Поймите меня, я хочу, чтобы Вы возвысились в моих глазах, я не хочу, чтобы Вы упали для меня еще ниже. Я упрекаю Вас только в одном: Вы должны были раньше отдать себе отчет в том, чего я ожидал от Вас. Я дал Вам в Люцерне мою книгу о Шопенгауэре и сказал Вам, что главные мои мысли заключаются в ней и что я хочу, чтобы они стали Вашими. Вы должны были сказать мне тогда: «нет»... Вы бы тогда пощадили меня! Ваши стихи, «Скорбь», — такая глубокая неискренность. Я полагаю, что никто так хорошо и так дурно, как я, не думает о Вас. Не защищайтесь, я уже защитил Вас перед самим собой и перед другими, лучше, чем Вы сами могли бы сделать это. Такие создания, как Вы, выносимы для окружающих только тогда, когда у них есть в о з в ы ш е н н а я ц е л ь. Как в Вас мало уважения, благодарности, жалости, вежливости, восхищения, деликатности, — я говорю здесь, конечно, о самых возвышенных вещах. Что бы Вы ответили мне, если бы я Вам сказал: достаточно ли Вы храбры?

Не способны ли Вы на измену? Не чувствуете ли Вы, что когда к Вам приближается такой человек, как я, необходимо во многом сдерживать себя? Вы имеете дело с одним из самых долготерпеливых, самых добрых людей, испытывающих от вращения к мелкому эгоизму и слабостям. Никто не способен так быстро испытать отвращение, как я. Но я еще не вполне разочаровался в Вас, несмотря на все. Я заметил в Вас присутствие того священного эгоизма, который заставляет нас служить самому высокому в нашей натуре. Я не знаю, с помощью какого колдовства Вы, взамен того, что дал Вам я, ответили мне эгоизмом кошки, которая хочет только одного — жить... Прощайте, дорогая Лу, я больше не увижу Вас. Берегите свою душу от подобных поступков, и да сопутствует Вам счастье. Я не прочел Вашего письма до конца, но того, что я прочел, достаточно. Ваш Ф. Н.

Мне представляется, что пассаж из 71-го фрагмента «Веселой науки» («О женском целомудрии») — «Молодые женщины стараются выставить себя легкомысленными ветреницами, самым ловким из них удастся изобразить нечто вроде бесстыдной дерзости» — предчувствие (а может быть, результат) встречи с Лу. Позже, уже после разрыва с Лу, в «Сумерках кумиров», он напишет на основании личного опыта: «От женщин с мужскими свойствами бегут прочь».

На истории отношений Фридриха и Лели лежит зловещая тень его сестры. Только один факт, свидетельствующий о злопамятстве этой женщины. Когда страсти чуть-чуть улеглись и Ницше, подзуживаемый сестрой, приказал ей никогда больше не вспоминать о произошедшем, последняя не оставила желания «отомстить русской барышне». Именно она своими сплетнями спровоцировала брата спустя продолжительное время после размолвки написать Паулю Рэ резкое письмо, за которое в прежние времена вызывали на дуэль. Я не буду воспроизводить этот несправедливый и горячечный текст, недостойный философа, тем более что в нем задета честь самой Лели. Оправданием Ницше может быть только то, что его рукой двигал демон в юбке.

Пауль Рэ и Лу Саломе вели себя после размолвки с Ницше куда более корректно. Пауль собирался посвятить бывшему другу работу об основах нравственного сознания, проникнутую ницшеанскими идеями, но Ницше категорически отверг это публичное выражение уважения. П. Рэ принял также деятельное участие в написании Лу Саломе одной из первых книг о Ницше, значимость которой сохранилась до наших дней.

* * *

Д. Алеви пишет, что Ницше радовался семейному счастью своих ближайших друзей — Герсдорфа, Овербека, Роде, женитьбы которых все больше сужали холостяцкий круг его друзей. Вместе с тем он сознавал различие своей и их судеб. «Будь счастлив, — писал он женившемуся Герсдорфу, — ты уже больше не будешь одиноко блуждать по свету, как носорог».

Собрав высказывания Ницше о любви, можно составить целую книгу. О чем будет такая книга свидетельствовать? О приоритете духовности над телесностью, о дефиците сексуальности.

Хороший брак покоится на таланте и дружбе.

Против мужской болезни самопрезрения вернее всего помогает любовь умной женщины.

Женщины из любви становятся всецело тем, чем они представляются любящим их мужчинам.

При вступлении в брак нужно ставить себе вопрос: полагаешь ли ты, что до старости сможешь хорошо беседовать с этой женщиной?

Плод самой любви — свобода.

Тот, кто хочет стать любимым, стремится получить в подарок самого себя.

Ницше был страстным человеком, но его страсть носила интеллектуальный характер, сексуальности места почти не оставалось... Ницше был теоретиком — философом и психологом любви, далеким от практики, и все его многочисленные тексты — тому наглядное свидетельство...

Надо быть крепко укорененным в себе, надо смело стоять на обеих своих ногах, иначе совсем нельзя *любить*. Это, в конце концов, хорошо знают женщины: они нимало не беспокоятся о бескорыстных, объективных мужчинах... Могу ли я при этом высказать предположение, что я *знаю* женщин? Это принадлежит к моему дионисовскому достоянию. Кто знает? Может быть, я первый психолог вечно женственного. Они все любят меня — это старая история: не считая *неудачных* женщин, «эмансипированных», лишенных способности деторождения. — К счастью, я не намерен отдать себя на растерзание: совершенная женщина терзает, когда она любит... Знаю я этих прелестных вакханок... О, что это за опасное, скользкое, подземное маленькое хищное животное! И столь сладкое при этом! Маленькая женщина, ищущая мщения, способна опрокинуть даже судьбу. — Женщина несравненно много злее мужчины и умнее его; доброта в женщине есть уже форма *вырождения*... Все так называемые прекрасные души страдают в своей основе каким-нибудь физиологическим недостатком, — я говорю не все, иначе я стал бы медиком. Борьба за *равные* права есть даже симптом болезни: всякий врач знает это. — Женщина, чем больше она женщина, обороняется руками и ногами от прав вообще: ведь естественное состояние, *вечная* война полов отводит ей первое место. Есть ли уши для моего определения любви? Оно является единственным достойным философа. Любовь является в своих средствах войною, а в своей основе смертельной ненавистью полов. — Слышали ли вы мой ответ на вопрос, как *излечивают* женщину — «освобождают» ее? Ей делают ребенка. Женщине нужен ребенок, мужчина всегда только средство: так говорил Заратустра. — «Эмансипация женщины» — это инстинктивная ненависть *неудачной*, т. е. неприспособленной к деторождению женщины, к женщи-

не удачной — борьба с мужчиной есть только средство, предлог, тактика. Они хотят, возвышая *себя* как «женщину самое в себе», как «высшую женщину», как «идеалистку», *понизить* общий уровень женщины; нет для этого более верного средства, как воспитание в гимназиях, штаны и политические стадные избирательные права. В сущности эмансипированные женщины суть анархистки в мире «вечно женственного», неудачницы, у которых скрытым инстинктом является мщение... Целое поколение хитрого «идеализма» — который, впрочем, встречается и у мужчин, например у Генрика Ибсена, этой типической старой девы, — преследует как цель *отравление* спокойной совести и природы в половой любви... И для того чтобы не оставалось никакого сомнения в моем столь же честном, сколь суровом взгляде на этот вопрос, я приведу еще одно положение из своего морального кодекса против *порока*: под словом «порок» я борюсь против всякого рода противоестественности или, если любят красивые слова, против «идеализма». Это положение означает: «Проповедь целомудрия есть публичное подстрекательство к противоестественности. Всякое презрение к половой жизни, всякое осквернение ее понятием «нечистого» есть преступление против жизни — есть истинный грех против святого духа жизни».

«Мы находим удовольствие в женщине, как в более изящном, более тонком и эфирном создании. Какое удовольствие встретить создание, у которого в голове только танцы, чепуха и наряды! Женщины всегда были наслаждением для всякой сильной и глубокой мужской души». Однако даже эти привлекательные свойства можно обнаружить в женщинах только до тех пор, пока их держат в повиновении мужественные мужчины; как только женщины достигнут какой-то независимости, они становятся невыносимы. «У женщин так много оснований для стыда; в женщине скрыто столько педантизма, поверхностности, повадок классной наставницы, мелкой самонадеянности, распушенности и нескромности... Все это лучше всего сдерживалось и подавлялось до сих пор *страхом* перед мужчиной».

Любовь для Ницше — разновидность алчности, влечение к собственности. Не случайно познать женщину и овладеть ей — синонимы.

Отчетливее всего эта жажда обладания проявляется в любви полов: влюбленный стремится к единоличному обладанию тем, кто стал предметом его вожделений, он хочет безраздельно властвовать не только над душой, но и над телом, он хочет, чтобы любили только его одного, хочет войти в чужую душу и занять там главенствующее место и царствовать, как владыка.

Ницше явно не по душе такого рода алчный эгоизм любви. Поэтому любви он противопоставляет идеал дружбы:

Но на земле еще встречается своеобразное продолжение любви, когда жадная потребность двух людей друг в друге уступает место новому,

более высокому стремлению, обоюдному страстному желанию обладать высоким идеалом. Но кому известна такая любовь? Кто испытал ее? Ее настоящее имя — *дружба*.

Элизабет Фёрстер, свидетельствуем которой нельзя полностью доверять из-за ее предвзятости и ревности к брату, писала, что Фридрих испытывал отвращение к романам с их однообразной любовной интригой. Когда его спросили, какое чувство он предпочитает любви, ответ был — *дружба*:

«Дружба разрешает тот же кризис, что и любовь, но только в гораздо более чистой атмосфере, сначала взаимное влечение, основанное на общности убеждений; за ним следуют взаимное восхищение и прославление; потом, с одной стороны, возникает недоверие, а с другой, сомнение в превосходстве своего друга и его идей; можно быть уверенным, что разрыв неизбежен и что он доставит собою немало страданий. Все человеческие страдания присущи дружбе, в ней есть даже и такие, которым нет названия».

Ф. Ницше:

...Женщине хочется думать, что любовь все может — это ее специфический предрассудок. Увы! Знаток человеческого сердца угадывает, как бедна, беспомощна, притязательна, неуместна даже лучшая, самая глубокая любовь: она скорее добывает, чем спасает!

Мне представляется, всю страстность своей пламенной души Одинокий скиталец отдал духовной, а не телесной красоте. Даже история его непродолжительных отношений с Лу отдает прохладой, а не жаром, все его увлечения свидетельствуют о пониженном эротическом тоне.

В 59-м фрагменте «Веселой науки» («Мы художники!») Ницше противопоставляет физиологию плотской любви — пути ввысь:

Мы затыкаем уши, дабы не слушать все эти разговоры о физиологии, и принимаем про себя категорическое решение: «Человек — есть душа и форма, и я не желаю слушать всякие выдумки о том, что в нем есть что-то еще».

Обращаю внимание еще на две идеи этого фрагмента, поясняющие отношение Ницше к проблеме любви: «Когда мы любим женщину, то очень скоро начинаем ненавидеть природу...» и антиномия «любовник-художник» — «Мы художники! Мы, укрыватели естества!».

В следующем, 60-м фрагменте («О расстоянии и притягательной силе женщин») интонация меняется и поэт, начинающий петь гимн любви и женщине — «чудесные видения, скользящие куда-то вдаль, сулящие счастье, влекущие своей отрешенной недоступностью», — вдруг пресекает себя, заключая панегирик следующими словами: «Вся прелесть женщины, ее могущество заключены, если выразиться языком философов, в действии на расстоянии — *actio in distans*, а это значит, что непременным условием в данном случае является прежде всего — *дистанция!*»

Версия о заражении сифилисом основана на рассказе самого Ницше, переданном его другом, известным санскритологом и исследователем Вед Паулем Дёйссеном. В 1865 году, когда «молодому льву» шел двадцать второй год, он пережил забавное приключение, о котором и рассказал университетскому товарищу. Во время посещения Кёльна Ницше воспользовался услугами гида и целый день бродил с ним по старому городу, а вечером попросил провожатого свести его в ресторан поприличней. Гид оказался шутником и вместо ресторана свел молодого человека, никогда не знавшего женских ласк, в известное заведение на улице красных фонарей. Воспоминание о вертепе надолго врезалось в память поэта, ибо следы его легко найти в четвертой части «Заратустры» в главе «Среди дочерей пустыни», где в ориентальном стихотворении воспроизводится эротическая греза о девах-кошках и мелькают усыпанные блестками юбки кёльнских профессионалок.

*И вот я здесь,
Вокруг меня оазис;
Я словно финик —
Румяный, сладкий, сочный, золотистый,
Вожделеющий девичьих уст, алчущий укуса
Белоснежных, холодных и острых девичьих зубов:
Сердца всех пылких фиников
Томятся такой же страстью...*

*Итак, похожий — даже слишком —
На вышеназванные южные плоды,
Лежу я, окруженный роем
Игривых и назойливых жучков,
А также сумасбродной суетой
Нескромных, крошечных причуд и вожделий —
О кошки-девушки, Зулейка и Дуду —
Безмолвные и полные предчувствий,
Я вами окружен и осфинксован,
Когда одним бы словом
Мне выразить как можно больше чувства:
(Да простится мне этот грех против языка!).*

Окруженный проститутками музыкант, поэт и почитатель Шопенгауэра в тот вечер, удивив присутствующих, бросился к «единственной живой душе во всем зале» — роялю, стоявшему в зале, и погрузился в музыку, а затем спасся бегством, о чем и поведал со смехом Паулю.

Именно на этом мимолетном приключении выстроена версия болезни и смерти Ницше от сифилиса, использованная Томасом Манном в «Докторе Фаустусе» при создании образа Леверкюна. О том же Томас Манн поведал и прямой речью в статье о Ницше:

...Через год после своего кельнского бегства, он, на этот раз уже без сатаны-совратителя, сам разыскивает подобное же заведение и заражается (по мнению некоторых — намеренно, чтобы наказать себя за грех) болезнью, которой суждено было изломать его жизнь и в то же время вознести ее на несказанную высоту. Да, именно так, потому что именно его болезнь стала источником тех возбуждающих импульсов, которые порой столь благотворно, а порой столь пагубно действовали на целую эпоху.

Версия более чем сомнительная... Симптомы болезни Ницше трудно согласовать с проявлениями сифилиса. Нет ни одного медицинского свидетельства, подтверждающего такой диагноз. Даже слово «осфинксован» из вышеприведенного стихотворения (надо полагать, этот термин возник в результате продумывания своего состояния в *тот* вечер) делает версию творца «Доктора Фаустуса» маловероятной.

Возможно, в молодости у Ницше случались мимолетные встречи с проститутками, но, по мнению доктора И. К. Хмелевского, широко бытующая версия заражения сифилисом лишена оснований: его болезнь имела совершенно иные симптомы. Ослабленное половое чувство философа, скорее всего, результат этой болезни.

* * *

Питательной средой для версии о гомосексуализме Ницше стали письма философа к друзьям — Паулю Рэ, Генриху фон Штейну, Паулю Ланцкому, а также «женоненавистничество», существующее только в возбужденных мозгах недоброжелателей.

Письма Ницше друзьям действительно изобилуют фразами, напоминающими подполье другого странствующего рапсода (я имею в виду эпистолярный Григория Сковороды, его переписку с Ковалинским): «десять раз в день хочется мне быть у вас, с вами», «всегда в мыслях я связываю мое будущее с вашим», «от многих желаний должен был я отказаться, но ни за что не откажусь от желания жить вместе с вами», «изнемогаю от досады, до такой степени мне хочется быть около вас»; «десять раз на дню я вспоминаю о вас, и мне нестерпимо хочется видеть вас», «у меня никогда еще не было такого мягкого, нежного друга, как вы»...

*Unruhig Glück im Stehn und Spähn und Warten!*¹

Следует ли искать здесь «подполье»? Во-первых, надо знать отличительные особенности дружбы германских буршей, сохранявшей теплоту и сердечность на протяжении всей жизни. Во-вторых, убегая в «милую отчизну»,

¹ Беспокойное счастье: я здесь, я сторожу, я жду тебя! (*нем.*). Строка из стиха Ницше, адресованного Генриху фон Штейну.

одиночество, Ницше страдал от обрывов человеческих связей, его письма — приглушенные вопли одинокого волка, шатуна, раздавленного одиночеством и глухотой. В-третьих, он, человек больной, неприспособленный, слепнувший, нуждался в плече, на которое мог опереться, в глазах, которые заменили бы ему собственные, в руке, которая могла бы записать мысль слепнущего...

Чем мучительнее было одиночество, в котором он теперь очутился, тем большее значение приобретали для Ницше отношения к Паулю Рэ.

В отношениях Ницше к Рихарду Вагнеру более всего сказывалось преклонение перед ним как перед учителем; дружба же с Рэ носила скорее характер духовного товарищества, не нарушаемого и тем обстоятельством, что друзья жили далеко друг от друга.

Взгляды их в течение этих лет становились тем более общими, что им приходилось много работать совместно. Рэ доставлял Ницше большинство книг, в которых последний нуждался, читал ему вслух, когда они были вместе.

Дружба с Рэ была первоначальным источником позитивизма Ницше и его отрешения от прежнего идеализма.

ГЕНИАЛЬНОСТЬ КАК БОЛЕЗНЬ

То необычное, что создают выдающиеся таланты, предполагает весьма хрупкую организацию, позволяющую им испытывать редкие чувства и слышать небесные голоса. Такая организация, вступающая в конфликт с миром и стихиями, оказывается легко ранимой, и тот, кто, подобно Вольтеру, не сочетает в себе большой чувствительности и незаурядной выносливости, подвержен продолжительной болезненности.

Гёте — Эккерману

...Гений у Ницше был неотделим от болезни, тесно с нею переплелся, и они развивались вместе — его гений и его болезнь, — а с другой стороны, еще и тем, что для гениального психолога объектом самого беспощадного исследования может стать *все* что угодно — только не собственный гений.

Т. Манн

Ницше сделал широкое обобщение относительно связи своего гения со своей болезнью, давшее его последователям основание сказать, что гениальность — это болезнь. Ницше выразил мысль следующим образом: «Художника рождают исключительные обстоятельства, они глубоко родственны болезненным явлениям и связаны с ними; так что, видимо, невозможно быть художником и не быть больным».

Существует раздел ницшеведения, заложенный доктором Паулен Мёбиусом, изображающий всю духовную эволюцию Ницше как историю болезни прогрессирующего паралитика. Соглашаясь с тем, что определенные обороты текстов Ницше обязаны болезненным состояниям, я категорически отвергаю подспудные намеки на психопатологическую подоплеку его идей. Эйфо-

рия — да! Трепет, вибрация, дрожь, явно различимые в текстах, — да! Но не содержательная, «онтологическая», «гносеологическая» ценность! Даже если гениальность — болезнь, то болезнь ясновидения, то недуг, пробуждающий заснувшую интуицию, то «феномен» Сведенборга!

Сам «совратитель» связывал гениальность с вдохновением, внутренней дрожью, экстазом, вызовом: «Ни одна вещь не удается, если в ней не принимает участия задор».

Ницше никогда не сомневался в собственной гениальности, признаком которой считал именно этот задор, эту внутреннюю дрожь, эту экзальтацию, эту болезненную взвинченность. Гений, полагал он, это человек, вдохновение которого не препятствует ему оставаться трезвым. Экстазы необходимы гению для откровений, но экстатичность не должна уводить его в мир грез, прекраснотелых фантазий, мягкотелых решений. Экзальтация — способ постижения правды жизни, жизненной трагедии. В противном случае возникает сюсюканье *a la Rousseau*.

Из таинств орфических учений Ницше почерпнул мысль: «Мир глубоко погряз во зле», однако категорически отверг другую: «Тело — могила души». Очищение души от всего дурного было глубоко ему чуждо: очищаясь от страданий, горя, смерти, — останавливают жизнь. Тело есть движитель жизни, заключающий в себе «волю к могуществу», избыток сил.

Боль, считал Ницше, — величайший из творцов. В 318-м фрагменте «Веселой науки» («Люди, наделенные пророческим даром») говорится о том, что это дар произведен от страдания, «пророком становится чувство боли!».

В боли заключено столько же мудрости, сколько и в удовольствии: боль, подобно удовольствию, относится к наиважнейшим силам, *направленным на сохранение рода*. Если бы она не выполняла эту роль, она давно бы уже исчезла с лица земли; а то, что она причиняет страдания, не может быть убедительным аргументом против нее: такова ее сущность.

Великие мученики и *мучители* человечества, в страдании открывающие новое, — вот главная сила, способствующая сохранению рода и его развитию, «пусть даже они достигают этого только тем, что не приемлют никакого покоя и уюта и не скрывают своего отвращения к счастью такого рода» (это уже о себе).

Собственное страдание Ницше превращал в объект наблюдения и анализа, в поучительный эксперимент над сферой духа. В 1880-м он признавался своему врачу, доктору Эйзеру:

Существование стало для меня мучительным бременем, и я давно покончил бы с ним, если бы терзающий меня недуг и необходимость ограничивать себя решительно во всем не давали мне материала для самых поучительных экспериментов и наблюдений над сферой нашего духа и нравственности... Постоянные изнурительные страдания; многочасовые приступы дурноты, какие бывают при морской болезни; общая рас-

слабленность, чуть ли не паралич, когда я чувствую, что язык у меня отнимается, и в довершение всего жесточайшие припадки, сопровождаемые неудержимой рвотой (в последний раз она продолжалась трое суток, без минуты облегчения. Я думал, что не выдержу этого. Я хотел умереть)... Как рассказать вам об этой *всечасной муке*, об этой непрекращающейся головной боли, о тяжести, которая давит мне на мозг и на глаза, о том, как все тело мое немеет от головы до кончиков пальцев на ногах!

Среди многих пророчеств и предчувствий философа-Кассандры было раннее ощущение собственного избранничества, редкий и поразительный дар жить в великом и возвышенном — вопреки всем низостям и порокам окружающей жизни. «Кто не живет в возвышенном, как дома, тот воспринимает возвышенное как нечто жуткое и фальшивое». Можно сказать, что он был единственным жителем собственноручно созданной страны, окруженной варварами. Не отсюда ли это паскалевское чувство бездны под ногами? — *Ich bin immer am Abgrunde*¹.

Лейтмотивом жизни и творчества Ницше было пиндаровское «*стань тем, кто ты есть*» — не прячь, а демонстрируй собственную творческую мощь, не бойся клеветы и наветов черни, будь одиноким, отверженным — но оставайся собой! И главное — не соизмеряй свои речи с ожиданиями «песка человеческого».

...Как раз в этом и концентрировалась вся неповторимая специфика феномена Ницше, цельность и непротиворечивость его характера, верность самому себе; здесь он шел до конца, дошел до конца, сея вокруг смятение и устилая свой жизненный путь бесконечными разрывами: сначала с филологами, потом с Вагнером, метафизикой, романтикой, пессимизмом, христианством, самым близким и родным...

Необузданность, ярко проявившаяся в последних творениях Отшельника Сильс-Марии, изначально была ему присуща: холодности и строгости (правильности) он всегда предпочитал «полет на метле», возможность безраздельно отдаться тому воздушному потоку, который в данное мгновение несет ввысь. Ницше не заботили «плоды» — только зачатие. Дон Жуану познания «тысяча и одна» были необходимы для того, чтобы не замкнуться в раковине первой и последней истины. «Что выяснено, перестает существовать» — таков другой лейтмотив творчества и гносеологии подвижника бесконечной истины.

Характеризуя творчество «больных» гениев, Ницше, в сущности, характеризовал самого себя:

Эти великие поэты — Байрон, Мюссе, По, Леопарди, Клейст, Гоголь — были такими, какими они должны были быть: людьми мгновения, восторженными, чувствительными, ребячески наивными, легкомысленными

¹ Я всегда у пропасти (*нем.*).

и непрочными в своей подозрительности и доверчивости; принужденными скрывать какую-нибудь брешь в своей душе; часто своими сочинениями ищущими возможность отомстить за пережитой позор; в своем парении стремящимися освободиться от напоминаний слишком хорошей памяти; топчущимися в грязи, почти влюбленными в нее... часто борющимся с вечным отвращением к жизни, с постоянно возвращающимся к ним привидениями неверия... какое мучение эти великие художники и вообще эти великие люди для того, кто однажды разгадал их.

Страдание, боль были для Ницше необходимым условием творчества, глубины: «Страдание не делает человека лучше, оно делает его глубже».

Особым достоинством произведений, написанных в минуты непереносимых страданий, он считал собственную способность «страдающего и терпящего лишения говорить так, как будто бы он не был страдающим и терпящим лишения».

Ницше удалось не просто стоически следовать собственному призыву *amor fati*, но превратить страдание в источник высочайшей духовной активности. «Заратустра» — величайшая человеческая реакция на судьбу, на боль, на бесконечное страдание. Ницше глубоко проникся мистической идеей, что страдание — наинадежнейший путь к постижению высших истин бытия. Лишь дойдя до крайней точки изнеможения, мистик способен обрести в себе источник освобождения и утешения. Одно из открытий Ницше: боль, страдание не оставляют подвижнику права на поражение. Даже слабость человеческую следует преобразовать в силу — силу духа.

Творец «Заратустры» не раз признавался, что вся его философия есть плод его воли к жизни, что он перестал быть пессимистом именно в годы своей «наименьшей витальности». В этом контексте следует понимать сказанное им об этой книге: «Чтобы только уразуметь что-либо в моем «Заратустре», надо, быть может, находиться в тех же условиях, что и я, — одной ногой стоять по ту сторону жизни».

Ф. Ницше:

Существо типически болезненное не может стать здоровым, и еще меньше может сделать себя здоровым; для типически здорового, наоборот, болезнь может быть даже энергическим *стимулом* к жизни, к продлению жизни. Так на самом деле представляется мне *теперь* этот долгий период болезни: я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее, я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах, тогда как другие не легко могут находить в них вкус — я сделал из моей воли к здоровью, к жизни мою философию... Потому что — и это надо отметить — я перестал быть пессимистом в годы моей наименьшей жизненности: инстинкт самовосстановления воспретил мне философию нищеты и отчаяния...

Можно без преувеличения сказать, что книги Ницше выделялись из его страданий. Его путь к совершенству пролегал через страдание. «Заратустра»

буквально вылеплен из боли: он писал его в состоянии обострения болезни и, хуже того, в состоянии душевного угнетения, вызванного всеобщим непониманием того, что выходило из-под его пера: «Для многих из моих мыслей я не нашел никого достаточно зрелым; пример «Заратустры» показывает, что можно говорить с величайшей ясностью и все-таки никем не быть услышанным». Тем более потрясает шедевр, созданный в атмосфере страданий и всеобщего безразличия.

Лу Саломе:

Побудительной причиной того, чтобы это внутреннее одиночество как можно полнее слить с одиночеством внешним, послужило в значительной степени его физическое страдание, которое удаляло его от людей и делало даже общение с несколькими близкими друзьями возможным лишь с большими перерывами.

Страдания и одиночество — таковы два главных жизненных начала в духовном развитии Ницше, и они все сильнее сказываются по мере приближения конца.

Подобно тому, как телесные страдания Ницше стали причиной внешнего уединения, в его психических страданиях следует искать исток его сильно обостренного индивидуализма, его резкого подчеркивания слова «отдельный» в смысле «одинокий». Понимание «отдельности» человека у Ницше таит в себе историю болезни и не идет в сравнение ни с каким общим индивидуализмом: содержание его обозначает не «удовлетворение самим собой», а, скорее, «претерпевание самого себя». Следя за мучительными подъемами и падениями в его душевной жизни, мы читаем историю стольких же насилий над самим собой, и длинная, мучительная, геройская борьба таится за отважными словами Ницше: «Этот мыслитель не нуждается ни в ком, кто бы опровергал его; он сам удовлетворяет себя в этом отношении!»

Ницше хотел, особенно в последние годы, когда он был больше всего болен, чтобы его болезнь и была понимаема в таком смысле, т. е. как история выздоровления. Эта могущественная натура успела среди страданий и борьбы найти исцеление и новые силы в своем идеале познания. Но достигнув исцеления, она снова нуждалась в страданиях и борьбе, в лихорадке и ранах. Она, которая сама достигла своего исцеления, снова вызывает болезнь: она обращается против себя самой и как бы перекипает, чтобы снова впасть в болезненное состояние.

Бесконечной энергией своей природы Ницше пробивался через болезненные промежутки к прежнему здоровью. Пока он мог еще осиливать боли и чувствовал в себе силу к работе, страдания не влияли на его неутомимость и самосознание. Еще 12 мая 1878 года он писал бодрым и веселым тоном в одном письме из Базеля: «Здоровье мое шаткое и внушает опасения, но мне так и хочется сказать: что мне за дело до моего здоровья».

Чтобы достигнуть могущественного развития своего самосознания, дух его нуждался в борьбе, страданиях, потрясениях. Нужно было, чтобы

душа его оторвалась от того мирного состояния, в котором он естественно находился, проводя время в пасторском доме своих родителей, — потому что его творческая сила зависела от волнения и экстаза всего его существа. Тут впервые в жизни Ницше проявляется жажда страдания, свойственная «декадентской натуре».

Апология страдания складывалась у Ницше задолго до того, как он сполна испытал боль. Уже в период работы над «Рождением трагедии» он писал: «В страданиях и трагедии люди создали красоту, надо их глубже погрузить в страдание и в трагедию, чтобы удержать в людях чувство красоты».

Л. Шестов:

У Ницше под каждой строчкой его сочинений бьется измученная и истерзанная душа, которая знает, что нет и не может быть для нее милосердия на земле.

Никому не дано измерить глубину внутренних мучений человека, чья физическая боль, возможно, уступала духовным страданиям — страданиям гения, испытывающего вековечные метафизические, религиозные и нравственные истины. Паскалевская бездна трансформировалась у Ницше в жизнь на краю пропасти: «*нужно быть на краю гибели, дабы понять, что это нешуточное дело*».

Я обнаружил у Мифотворца образное ощущение такого состояния — пастух, которому вползла в рот змея: «*самое тяжелое, самое черное вошло в душу...*»

Ницше разрушала не только болезнь, но постоянное творческое напряжение, экстатическое состояние гениальности, вызывающее лихорадку, внутреннюю дрожь, трепет, эйфорию. Еще — духовный надрыв, самораспятие, постоянное пребывание «на пределе»...

Возможно, даже в момент своего арзамасского ужаса Л. Н. Толстой не пережил тех страданий, вызванных внезапным узрением собственной греховности, которые довелось испытать Ницше от постоянного столкновения с собственным духом — своей смелостью быть всегда против всех, искать в запретных зонах души, говорить людям то, о чем они предпочитают молчать.

Обуреваемый комплексом пророка, вестника, витии, Ницше болезненно переживал собственную безвестность, непризнанность. Конечно же, он знал цену собственных книг, которым не мог найти издателя, которые, большей частью, приходилось издавать за свой счет, он предвидел трагические последствия своих мыслей, жаждал славы, но окружало его — молчание. По его собственным словам, в Германии его «принимали за нечто странное и нелепое, которое нет никакой надобности принимать всерьез». Неудовлетворенное честолюбие тоже подтачивало его, толкало к безумствам неумеренного самовосхваления, в которых вера в гениальность смешивалась с горечью всеобщего непонимания.

Удивительно, что этому одинокому «охотнику до загадок», испившему до дна чашу непризнанности и вынужденному, несмотря на крайнюю бедственность, печатать за свой счет жалкие тиражи собственных сочинений,

так и не пришлось хоть однажды усомниться в aere perennis каждой написанной им строки.

Экстаз и эйфория — только ширмы внутреннего аутсайдерства и алармизма Ницше. Как писал Е. Трубецкой, сквозь жизнерадостность Ницше просвечивает глубокая грусть, составляющая основу его настроения. Отвергая Шопенгауэра, он повторяет: «Счастье в жизни невозможно; высшее, чего может достигнуть человек, есть существование, преисполненное героизма». Героизмом было отвержение общепринятого, героизмом было «нет!», брошенное собственному времени, героизмом было собственное донкихотство и собственное самопреодоление («Мое сильнейшее свойство — самопреодоление»). Героизмом было обращение страдания в движущую силу, громогласное «нет» — боли: «Страдать от действительности — это значит самому быть неудачной действительностью».

*«Уж нет пути!.. Вокруг зияет бездна!»
Ты сам хотел того!.. Небезвозмездно?
Смелее, странник! Здесь или нигде!
Погибнешь ты, подумав о беде.*

Уже в прозе он писал:

Только великая боль приводит дух к последней свободе; только она позволяет нам достигнуть последних глубин нашего существа — и тот, для кого она была почти смертельна, с гордостью может сказать о себе: «Я знаю о жизни больше потому, что так часто бывал на грани смерти».

Д. Алеви:

Болезнь свою Ницше переносит как испытание, как духовное упражнение и сравнивает свою судьбу с судьбами других людей, великих в несчастьи, например с Леопарди. Но Леопарди не был мужественен; страдая, он проклинал жизнь. Ницше же открыл для себя суровую истину: больной не имеет права быть пессимистом. Христос пережил на кресте минуту слабости: «Отец мой, зачем ты меня оставил!» — воскликнул он. У Ницше нет Бога, нет отца, нет веры, нет друзей; он намеренно лишил себя всякой поддержки, но все-таки не согнулся под тяжестью жизни. Самая мимолетная жалоба свидетельствовала бы о поражении. Он не сознается в своих страданиях; они не могут сломить его воли. Напротив, они воспитывают ее и оплодотворяют его мысли.

Ф. Ницше:

Напрягая свой ум для борьбы со страданием, мы видим вещи в совершенно ином свете, и несказанного очарования, сопровождающего каждое новое освещение смысла жизни, иногда достаточно для того, чтобы победить в своей душе соблазн самоубийства и обрести желание жить. Страдающий с презрением смотрит на тусклое жалкое благополучие здорового

человека и с презрением относится к своим бывшим увлечениям, к своим близким и дорогим иллюзиям. В этом презрении все его наслаждение. Оно поддерживает его в борьбе с физическими страданиями и как же оно ему в этой борьбе необходимо! Гордость его возмущается, как никогда; радостно защищает он жизнь против такого тирана, как страдание, против всех уловок физической боли, восстанавливающих нас против жизни. Защищать жизнь перед лицом этого тирана — это ни с чем не сравнимый соблазн.

Героический идеал Ницше — сочетание наибольших страданий с высочайшей надеждой. «Мучительное сознание собственного несовершенства влекло его к этому идеалу и его тирании над собой».

Ницше — уникальный феномен победы духа над плотью, попытка само нездоровье обратить в творческую силу. Исходя из посылки, что философский пессимизм — результат недуга, он самому себе доказывал возможность оздоровления посредством веры — веры в здоровье. Он жаждал быть оптимистом, чтобы стать здоровым, сильным, несокрушимым.

Я сам взял себя в руки, я сам сделал себя наново здоровым: условие для этого — всякий физиолог согласится с этим — **быть в основе здоровым**. Существо типически болезненное не может стать здоровым и еще меньше может сделать себя здоровым; для типически здорового, напротив, болезнь может быть энергичным **стимулом** к жизни, к продлению жизни. Так фактически представляется мне **теперь** этот долгий период болезни: я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее, я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах, тогда как другие не легко могут находить в них вкус — я сделал из моей воли к здоровью, к жизни мою философию... Потому что — и это надо отметить — я **перестал** быть пессимистом в годы моей наименьшей витальности: инстинкт самовосстановления воспретил мне философию нищеты и уныния.

Одному из своих корреспондентов Ницше писал:

Мне всегда так тяжело слышать, что вы страдаете, что вам чего-нибудь недостает, что вы кого-нибудь утратили: ведь у меня самого страдания и лишения составляют необходимую часть всего и не составляют, как для вас, лишнего и бессмысленного в мироздании.

Великий дар базельского профессора, отличающий его от других профессоров и позволивший ему увидеть много такого, чего не могли и не хотели видеть они, состоял в способности превращать историю, философию, мораль в личную судьбу, в собственную боль: «Вся история, как *лично пережитая*, — результат *личных страданий*».

Воспитание страдания, *великого* страдания — разве вы не знаете, что только *это* воспитание во всем возвышало до сих пор человека?.. В чело-

веке *тварь* и *творец* соединены воедино: в человеке есть материал, обломок, избыток, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть и творец, ваятель, твердость молота, божественный зритель и седьмой день — понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что *ваше* сострадание относится к «твари в человеке», к тому, что должно быть сформовано, сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, — к тому, что *страдает* по необходимости и *должно* страдать? А *наше* сострадание — разве вы не понимаете, к кому относится наше *обратное* сострадание, когда оно защищается от вашего сострадания, как от самой худшей изнеженности и слабости?

Ницше не был неврастеником, однако, судя по всему, имел наследственную предрасположенность к невропатологии. Унаследовав от отца крепкое телосложение и природный ум, он всю жизнь убегал от призрака мозговой болезни. Отец и две его сестры действительно страдали мигренями, однако причина смерти Карла Людвигу Ницше так и осталась невыясненной. Мать Ницше отличалась повышенной склонностью к фантазиям и экзальтациям, но считалась психически нормальной. Но у двух ее сестер были явные отклонения: одна сошла с ума, другая покончила жизнь самоубийством. Психопатологические отклонения наблюдались и у ее братьев.

Первые проявления мигрени появились у Фридриха Ницше в 1858 году¹. Головные боли особенно усилились в 1879—1880 годах, порой вызывая полупаралитические состояния, затрудняя речь. В 1880-м тяжелые невыносимые головные боли не отпускали его треть года, но, когда боль стихала, склонный к трудоголии человек с еще большим неистовством набрасывался на книги, вновь ввергая себя в состояния глубокой депрессии и раздражительности.

Конечно, болезнь наложила отпечаток на его творчество: резкие смены настроений, скачки из крайности в крайность, рискованные пассажи, упоение небывалыми возможностями, односторонность, радикализм — все это свидетельства ослабления процессов торможения. Болезнь Ницше не может не учитываться при анализе его творчества, которое вполне могло бы принять совсем иные (не обязательно лучшие) формы у здорового человека. Вот почему задача исследователя — оградить Ницше от его больного двойника, защитить его *alter ego*.

Он сам корректировал свои мысли, но не говорил об этом прямо. В иные минуты он напрочь забывал об уже достигнутом и начинал все сначала. То и дело падая, соскальзывая к догматической фиксации, которая на миг казалась ему истиной в последней инстанции, он тотчас поднимался вновь — полностью открытый иным возможностям. Он был всегда готов мгновенно опрокинуть только что возведенное мысленное построение.

¹ На самом деле какие-то отклонения от нормы Фридрих ощущал уже в детском возрасте. Свидетельство тому — признание о себе-ребенке: «Я был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью».

Надо быть хорошо подготовленным, дабы не поддаться его соблазнам. Карл Ясперс с полным на то основанием призывал при чтении воинственно-агрессивных текстов Ницше не позволять оглушать себя грохотом оружия и боевыми кликами: «Ищите те редкие тихие слова, которые неизменно, хоть и не часто, повторяются — вплоть до последнего года его творчества. И вы обнаружите, как Ницше отрекается от этих самых противоположностей — от всех без исключения; как он делает собственным исходным принципом то, что объявлял сутью Благой Вести Иисуса: **нет больше никаких противоположностей**».

Ницше сам предупреждал и об опасности буквального понимания его текстов, и о необходимости искать свои пути. В четверостишье «Интерпретация», помещенном в «Веселой науке», читаем:

*Толкуя сам себя, я сам себе не в толк,
во мне толмач давно уж приумолк.
Но кто ступает собственной тропой,
тот к свету ясному несет и образ мой.*

Наглядным свидетельством депрессивных состояний Отшельника из Сильс-Марии являлись частые, чуть ли не ритмические скачки настроений, связанные с течением болезни. Страдания доводили его до изнеможения, но иногда кажется, что он искал их, сам жаждал боли и той лихорадочности, в которой рождались его идеи. Мазохизм, искание страдания — вот что питает его творческий дух.

С гордым восклицанием: «Что не убивает меня, то делает более сильным!» он истязает себя — не до полного изнеможения, не до смерти, но как раз до тех лихорадок и ран, в которых он нуждался. Это *искание страдания* проходит через всю историю развития Ницше, образуя истинный источник его духовной жизни. Лучше всего он это выразил в следующих словах: «Дух есть жизнь, которая сама же наносит жизни раны: и ее собственные страдания увеличивают ее понимание — знали ли вы уже это раньше? И счастье духа заключается в том, чтобы быть помазанным и обреченным на заклятие — знали ли вы уже это?.. Вы знаете только искры духа, но вы не видите, что он в то же время и наковальня, и не видите беспощадности молота!»

Признаками болезненного состояния психики является отсутствие чувства меры, страсть к преувеличениям, крайняя степень пристрастности оценок. Порой он совершенно безжалостен в своих судебных вердиктах и крайне несправедлив. Философ вообще не должен брать на себя роль судьи. Приговоры Ницше свидетельствуют о толстовской черствости суждения, присущей маниакальным гениям. Толстой и Ницше испытывали глубинную внутреннюю потребность «развенчать» кумиров, бросить им в лицо несправедливые и жестокие обвинения, совершенно не считаясь с общепринятыми оценками и чувствами «подсудимых».

Ницше не знал середины: чувство благоговения легко и без веских на то оснований трансформировалось в бессердечную хулу, беспощадную и холодную критику. «Святотатственным ударом» он раз за разом разрушал тот образ, на который недавно молился (Кант, Вагнер, Шопенгауэр, другие).

Проведенный Томасом Циглером анализ текстов Ницше выявил заметные изменения стиля, появление тяжеловесных периодов и изменение тона полемики, начиная с «Веселой науки» (1885 г.), хотя явные болезненные проявления заметны в произведениях 1882 — 1884 годов.

В последних произведениях Ницше на смену культу духовности пришел культ энергии, воли, инстинкта. Поздний Ницше, по словам А. Рилья, впадает в барокко: орнамент заслоняет мысль. Болезненное состояние Ницше возводит в категорию полноты жизни и творчества. Болезнь прогрессирует, но он, в состоянии эйфории, чувствует себя выздоравливающим, опьяненным выздоровлением. По словам Мёбиуса, налицо все симптомы «паралитической эйфории».

В таком состоянии написан «Заратустра». По словам кого-то из критиков, автор этой поэмы не Ницше, а хлоралгидрат, возбуждавший нервную систему поэта и деформировавший его видение жизни. Патологические особенности произведения — отсутствие сдерживающих центров, сверхэкзальтация, духовный оргазм, признаки мании величия, обилие бессмысленных восклицаний и т. п.

Злобой великого называл он гнетущую тишину, окружавшую пророка, тишину, звенящую одиночеством, непреодолимую, страшную в своей изоляции: «У одиночества семь шкур; ничто не проникает сквозь них. Приходишь к людям, приветствуешь друзей: новая пустыня, ни один взор не приветствует тебя. В лучшем случае это есть род возмущения тобой. Такое возмущение, но в очень разной степени, испытывал и я и почти от каждого, кто близко стоял ко мне...» Все великое действительно противопоставляет своих носителей современникам, изолирует, обрекает на страдание. Завершив «Заратустру», Ницше не просто страдал — надорвался, сник, тяжело заболел. Оборонительные силы были окончательно сломлены, сам дух обессилел.

Психическая патология усиливается после 1885 года, когда Ницше постепенно теряет прежних друзей, сам рвет связи, не перенося ни малейших признаков противоречия. Депрессии становятся все глубже, их продолжительность увеличивается. В 1887-м появляются признаки прогрессирующего паралича: движения затрудняются, речь становится тяжелой, с частыми запинаниями. Тем не менее это почти не сказывается на его творческой продуктивности: за два года (1887—1888) — дюжина произведений. Патологическая характеристика, данная в это время Вагнеру, оказывается точной копией диагноза самого Ницше.

В «Сумерках кумиров» — явные признаки помрачения самого автора. Мания величия сказывается в автобиографии, написанной 10 апреля 1888 года — по просьбе Брандеса. События собственной жизни представлены здесь в гиперболически-хвастливом тоне.

В декабре 1889 года произошло непоправимое: два дня он пролежал без движения и речи, затем появились явные признаки психического расстройства: он пел, кричал, разговаривал с собой, писал бессмысленные фразы...

Элизабет Фёрстер в книге о брате объясняла его сумасшествие следствием апоплексического удара, в свою очередь вызванного нервным истощением и вредным действием успокаивающих средств. Вряд ли это соответствовало действительности: никаких физических расстройств, сопровождающих апоплексический удар, у него не было зафиксировано.

Официальный медицинский диагноз определил болезнь великого мыслителя как прогрессирующий паралич, что также маловероятно, ибо после туринской катастрофы Ницше прожил еще одиннадцать лет и умер от воспаления легких.

На таком диагнозе, тем не менее, настаивал крупный лейпцигский невропатолог П. Ю. Мёбиус, находивший следы душевного расстройства в текстах философа, написанных задолго до туринской катастрофы. Поставленный Мёбиусом диагноз оказал отрицательное влияние на многих исследователей творчества Ницше, объяснявших его нонконформистские взгляды душевным расстройством¹.

Согласно ретроспективному диагнозу, поставленному психиатром И. К. Хмелевским, психические патологии начались у Ницше в 1881-м году в виде легких маниакальных состояний, перемежающихся все более глубокими депрессиями. Начало распада личности датируется 1887 годом, а в 1888-м возникает и развивается мания величия. После восьмилетнего периода неврастенически-маниакальных состояний Ницше впал в слабоумие, продолжавшееся 11 лет — вплоть до смерти.

Безумие Ницше часто — особенно русскими авторами — интерпретировалось как расплата за кощунства, за «смерть Бога», за «Антихриста»: «...В этой борьбе герой гибнет. Ум его мутится — занавес падает». Конечно, нигилистические экстазы Ницше сказались на его здоровье, возможно, ускорили трагическую развязку. Но она не была «расплатой» — болезнь прогрессировала, мозг был поражен задолго до «богохульств» и только время (а не книги) определило трагедию.

Своим творческим путем Ницше обязан цельности собственного характера, верности себе: противу всех может быть только человек огромной души и огромных душевных сил. Я не верю в надрыв Ницше, связанный с противостоянием миру, в то, что он заплатил безумием за непокорность вопрошающе-взыскивающей мысли. Болезнь развивалась в нем сама по себе и, вполне возможно, творческими взрывами гигантской мощи он лишь отдалял свой конец. Не раздвоенность омрачила его дух и умертвила разум, не утрата способности защищаться от самого себя, но чисто физиологический процесс разрушения болезнью.

¹ Такую интерпретацию, низводящую философию Ницше к психической патологии, резко критиковал К. Ясперс, крупнейший исследователь его творчества.

ТВОРЧЕСТВО

В эволюции творчества Ф. Ницше обычно выделяют три периода: первый — «время общения» (1871—1876 гг.), когда он «учился всему», собирал «все почитаемые ценности» и позволял им «конкурировать друг с другом». К этому периоду относятся «Рождение трагедии», «Несвоевременные размышления» (1-я и 2-я части) и несколько работ, собранных после смерти в «Nachlass». Работы и письма этого периода насыщены энтузиазмом и пафосом. Здесь мы не обнаружим горечи разочарования в культуре и острого чувства одиночества, присущих «зрелому» Ницше. Это период дружбы с Р. Вагнером и тесных духовных связей с единомышленниками (Э. Роде, П. Гаст, Я. Буркхардт, А. Овербек и др.).

Второй период — Köhne, перелома, критичности (1876—1877 гг.), когда Ницше испытывает резкое разочарование в традиционной культуре и стремится нащупать собственный путь. При всей горечи одиночества — это период мощнейшего творческого всплеска: «Человеческое, слишком человеческое», «Странник и его тень» (2-й том «Человеческого, слишком человеческого»), «Утренняя заря», «Веселая наука» (книги 1—4). Цели и самооценка работ этого времени:

...разбить восторженное сердце... Свободный дух. Независимость. Время пустыни. Критика всего почитаемого (идеализация непочитаемого). Попытка перевернутых оценок.

Только теперь обрел я трезвый взгляд на действительную человеческую жизнь.

Теперь я осмелился обратиться к самой мудрости и сделаться философом самому; раньше я философов почитал.

Переоценка ценностей, нарастающая со скоростью горного обвала, началась с резкого изменения отношения к прежним кумирам — прежде всего Шопенгауэру и Вагнеру. Разрыв с Вагнером датируется январем 1878 года, затем происходит кризис в отношениях с Лу Саломе, резкая ссора с Паулем Рэ и охлаждение дружбы с другими духовно близкими людьми.

Ницше делает вид, что разрывы человеческих связей мало трогают его, глушит чувства разочарования и горечи новыми «принципиальными идеями» («На моем горизонте возникли мысли, равных которым я еще никогда не видел...»), но все это — сублимация, самообман, начало саморазрушения.

Третий период творчества открывается «Заратустрой», затем следуют книги «По ту сторону добра и зла», «Веселая наука» (книга 5), «К генеалогии морали». В последних работах этого периода («Случай Вагнер», «Сумерки кумиров»,

«Антихрист», «Ессе Номо», «Ницше contra Вагнера») в той или иной степени сказываются болезненно-проphetические состояния человека с разрушающейся психикой, самооценки завышены и нескромны:

Речь идет о неслыханном синтезе... я открыл собственную новую землю... высоко вознеслась моя воля...

Ницше ощущает себя конкистадором мудрости, завоевателем новых философских пространств, творцом великих и «опасных» вещей: «Я чувствую, что теперь начинается новый отрезок моей жизни — и что передо мною стоит грандиознейшая задача!»

А. Белый различал в творчестве Ницше два периода — декадентский и богореческий, разделенные промежуточным этапом, когда он делал ставку на социологию, позитивизм.

Первый период окрашен влиянием Вагнера и Шопенгауэра: тут у него еще буржуазный склад мысли. Приветствуя пробуждение в культуре «духа музыки», он указывает на Вагнера как на знамение эпохи, как на провозвестника мистерии жизни. И незаметно для себя заслоняет мистику жизни подмостками сцены: ритм становится у него судорогой. Гостеприимно принимает он смерть под свое покровительство в лице богоподобных мясников «Кольца» — на самом деле актеров, только актеров. Так пробуждение ритма смешивает он с вагнеровской позой — гениальной позой, но — позой. И вырастает для Ницше апофеоз безобразия — Вагнер. Тут осознает он в себе декадента: неспроста же проклял он Вагнера и его напыщенную риторику декадентства. Себя проклял в себе самом. «Ах, этот старый разбойник! — восклицает он по адресу Вагнера. — Он разгадал в музыке средство возбуждать усталые нервы, он этим сделал музыку больной». Возрождение духа музыки Ницше связал сперва с возрождением личности. Симптомом возрождения признал Вагнера, сумевшего, по его словам, «отравить болезнью даже и музыку».

Ницше пришел к музыке, анализируя дионисические культы древности. В истории развития человечества увидел он две силы: силу динамики и статики. Жизненный ритм личности отображается в музыке. Музыка взрывает в нас новые силы, но чрезмерный взрыв может разорвать и нас. И вот является миф — этот предохранительный клапан, закрывающий от нас музыкальную сущность жизни. Смена ритма мифическим образом, построенным и предопределенным ритмом, в истории человечества отображается, по Ницше, борьбой духа Диониса с Аполлоном. В трагедии образ налагается на ритм. Тут — своего рода приложение алгебры (ритма) к геометрии (мифу).

Е. Трубецкой, отвергая трехпериодную концепцию Рилья и Гаста, склонялся к концепции «перелома», датированного 1876 годом, когда Ницше окончательно разочаровался в Шопенгауэре и порвал с Вагнером. Впрочем, и Гаст, и князь Трубецкой признавали, что Заратустра незримо присутствует уже на страни-

цах «Рождения трагедии» и «Несвоевременных размышлений», уже здесь намечен идеал личности, «свободно и бесстрашно парящей над людьми, нравами, законами и обычными оценками вещей».

К. А. Свасьян, наиболее эрудированный и глубокий исследователь творчества Ницше в нынешней России, вернувший доброе имя «предтече фашизма» в стране сверхфашизма, по-своему интерпретирует трехпериодное деление творчества немецкого философа: первый период — проба пера и выискивание союзников; второй период — разочарование в союзниках, испытание одиночеством, перемена тактики, выработка нового плана военных действий; третий период — тотальная война.

В значительной мере перечисленные периоды, повороты, переоценки, переломы в творчестве Ф. Ницше условны — мы имеем дело с эволюцией «сквозных» идей на фоне развивающейся болезни, непрерывно усиливающей «экстремистский» элемент мышления человека границы, пограничного состояния. Эпатаж — это всегда дефицит чего-то, в данном случае — человеческих связей, просто здоровья¹...

Любопытным феноменом творчества Ницше — при всей его фрагментарности, непоследовательности, «скачках», «поворотах» — является удивительная цельность, с какой воспринимаются все его работы безотносительно времени их создания. В известной мере это можно сказать о творчестве большинства мыслителей, «случай Ницше» интересен здесь тем, что «красная нить», пронизывающая его труды, ни разу не порвалась при всех шараханьях и «переоценках». Другой яркий пример такого феномена — Лев Толстой, оставшийся верным самому себе при движении в направлении, прямо противоположном эволюции Ницше.

По свидетельству Г. Маркеса, каждый писатель пишет только одну книгу, хотя она и выходит во многих томах и под разными названиями. Каждый философ — Ницше не исключение — во многих книгах раскрывает одно и то же содержание своего сознания, передает свой настрой, демонстрирует склад своего ума. Любая философия связана со структурой сознания и личностью ее творца.

Несколько примеров. Слова «Бог мертв» Ницше записал в третьей книге «Веселой науки», опубликованной в 1882 году. Однако в записях к его первой книге, относящихся к 1870 году, находим: «Верую в издревле германское: всем Богам должно будет умереть».

В «Рождении трагедии» нет ни слова об имморализме, но «отвращение к морали сочувствия, сострадания и милосердия... уже живет в нем, хотя и скрытно» (Г. Рачинский). Сам Ницше считал эту книгу своей «первой переоценкой всех ценностей, всего дорогого...»

¹ Нельзя не признать, что сам Ницше дал повод своим исследователям неоправданно много говорить о смене мировоззрения: свои первые книги он нередко характеризовал как нечто решительно пережитое и отвергнутое, неоднократно просил читателя не обращать внимания на его прошлое метафизика и теоретика. Это свойственно большинству людей Köhne, крутых поворотов. Толстой, как мы помним, тоже отказывался от себя прошлого, хотя, как мы знаем, в сути своей никогда не менялся, арзамасский ужас жил в нем всегда.

В последнем классе гимназии Ницше написал эссе о Феогниде, в котором возвеличил героического мегарца за «презрение к черни».

В Пфорте написаны два философско-поэтических эссе «Рок и история», а также «Свобода воли и рок», в которых в зародыше можно найти большинство идей будущих произведений Ницше. Только один пассаж как бы из будущего Ницше:

То, что Бог становится человеком, указывает лишь: человек должен искать свое блаженство не в бесконечности, а создать свое небо на земле; иллюзия неземного мира исказила отношение человеческого духа к миру земному: она была созданием детства народов. В тяжелых сомнениях и битвах мужает человечество: оно осознает в самом себе начало, сердцевину и конец религий.

В сохранившихся текстах студенческого периода мы находим страницы, равные по силе будущему «Заратустре». Ницше пишет о «постоянной борьбе, что питает и укрепляет душу», о свободе воли как принципе обособления, о борьбе новых и старых начал, о великом историке и великом философе, которым надлежит стать пророками, о необходимой переоценке ценностей, сложившихся за тысячелетия, о непременном возмужании человека, которое позволит осознать величие стоящих перед человечеством задач... Даже стилистика этих «проб пера» уже вполне заратустровская:

Много раз подстерегая свои мысли и чувства и анализируя их в религиозном уединении, я переживаю такое состояние, как будто кругом меня волновались и гудели целые дикие орды и от крика их содрогался и как бы разрывался самый воздух. Так чувствуют себя орел и гордая мысль человека, когда они приближаются к солнцу.

И образ Заратустры, и комплекс его идей сопровождали Ницше с самой ранней юности. Молодой филолог писал своей сестре, что еще ребенком видел великого перса во сне. Зародыши идей «Заратустры» прослеживаются с первых работ Ницше, а в почти полностью сформированном виде представлены в работах 1873—1875 гг. В идее рождения и становления сверхчеловека проглядывает юношеский идеал Ницше: «цель человечества лежит в его высших представителях». В ранней работе «Мы, филологи» читаем:

Благодаря счастливым открытиям, можно воспитать великую личность совершенно иначе и гораздо выше, чем она воспитывалась до сих пор благодаря случайным обстоятельствам. На этом-то и покоятся надежды: воспитание великих людей.

Т. Манн обратил внимание на то, что даже в отношении к Вагнеру у Ницше не было никакого перелома, изображаемого большинством биографов:

...Еще в пору своего, казалось бы, беззаветного служения Вагнеру, задолго до того, как он отдал на суд широкой публики свою книгу о вагнеров-

ских торжествах «Рихард Вагнер в Байрёйте», он в Базеле как-то высказывает в разговоре с близкими друзьями несколько глубоко пронизательных и вместе с тем столь резких замечаний о «Лоэнгрине», что они кажутся предвосхищением «Дела Вагнера», написанного Ницше пятнадцать лет спустя.

По мнению Т. Манна, ранние произведения Ницше «содержат не только в зародыше, но в совершенно законченном виде все его позднейшие идеи, все то, что он называл своей веселой вестью».

В «Рождении трагедии» нет еще борьбы добра и зла, борьба еще не началась. Но главное уже сказано: там, где сплошное добро или сплошное зло, нет трагедии, нет материала для драмы. Нет ничего об имморализме или сверхчеловеке, но их тени уже живут на страницах книги.

Т. Манн:

Действительно, Ницше, каким мы его знаем, уже весь в этой своей первой книге, в этой романтически-мечтательной, окрашенной мягким гуманизмом прелюдии к своей философской системе...

В России аналогичную позицию занимал Ф. Ф. Зелинский, утверждавший «единство развития Ницше, как сына и проводника античности, от первой до последней написанной им строки».

В «Рождении трагедии» эстетика преобладает над философией, но уже высказана мысль, которую можно взять в качестве эпиграфа ко всему последующему творчеству Ницше: «Все существующее справедливо и несправедливо, и в обоих случаях оно может быть оправдано».

*Мир должен быть оправдан весь,
Чтоб можно было жить...*

Лу Саломе была, пожалуй, первой, обратившей внимание на то, что «философия Ницше в самом деле описывает круг, и возмужалый мыслитель возвращается в одном из своих самых глубоких поздних произведений к тому, что он пережил в ранней юности».

Лу Саломе:

Таким образом, к развитию его философских идей применимы его слова: «Посмотри на реку, которая, извиваясь, течет обратно к источнику!». Не случайным является то обстоятельство, что Ницше в своем последнем творческом периоде пришел к мистическому учению о вечном повторении одного и того же в мире: образ *круга — вечных изменений среди вечного повторения* — является загадочным символом, таинственным знаком над входной дверью к его творчеству.

Своей первой «литературной игрушкой» Ницше называет сочинение, написанное им в детстве, «О происхождении зла». Он упоминал об этой работе в разговорах в доказательство того, что он предавался философским мечтам еще среди филологической дисциплины школьных лет.

В. Б. Кучевский:

Философские труды Ницше, отличаясь названием, порой поражают схожестью по своему основному содержанию. Как в симфонической музыке одна и та же тема служит основой для бесконечных вариаций, так и в философии Ницше проблема отрицания существующей морали, религии, философии переходит с одних страниц на другие, но при этом все в новой и новой обработке. Бесконечное повторение одних и тех же проблем, составляющих сюжетную канву разных философских произведений Ницше, — одна из особенностей изложения им своих мыслей. Невольно создается впечатление, что движение его мышления оказывается как бы подчиненным выдвинутому им принципу «вечного возвращения того же самого».

По мнению К. Ясперса, даже восприятие Ницше христианства существенно не изменилось на протяжении его жизни: «Ницше с самого начала — и это чрезвычайно важно для характеристики его мышления в целом — воспринял христианские импульсы именно в том виде, в каком они продолжали жить в нем до самой его смерти; то есть безусловность высшей морали и истины он изначально ощущал как нечто свое, родное, как несомненную действительность, но христианское содержание этой морали и этой истины, христианские данности и христианские авторитеты не существовали для него как нечто реальное даже в детстве. Так что впоследствии ему не от чего было освободиться: не было юношеских иллюзий, которые пришлось бы разбивать, не было праха, который пришлось бы отрясать с ног своих».

М. Хайдеггер обратил внимание на то, что ницшевская идея «воли к власти» предвосхищена в первоначальной редакции «Рождения трагедии», именно в его фразе: «Грек знал и ощущал ужас и жуть существования: чтобы вообще суметь хотя бы просто жить, он вынужден выставить впереди них сияющее порождение сна — олимпийцев». В этой фразе, считает Хайдеггер, прекрасной и возвышенной кажимости олимпийской жизни противопоставлено «титаническое», «варварское», «дикое», «импульсивное», «сущностное» — составляющее грядущую «волю к могуществу».

Совершенно неприемлема оценка творчества Ницше как возрастающего возбуждения, крикливости, исступленности (так, например, воспринимал последние произведения Ницше Томас Манн). Можно согласиться, что менялась манера письма, что отточенная размеренность речи уступала будоражащей взвинченности, но нет никаких оснований определять историю его творчества как историю возникновения и упадка одной мысли. Во-первых, мыслей было много — в «переоценке ценностей» Ницше не прошел мимо большинства животрепещущих философских проблем. Во-вторых, стилевая эволюция была движением к модернизму, к символизму, может быть, даже к джойсизму. Это может нравиться или не нравиться, но лично мне поздний Ницше ближе раннего — не осталось следов ученичества, отточилось «я», вдохновение вырвалось на простор...

ИНСТРУКТОР ГЕРОИЗМА

...Еще не знаю сам,
Чем отомщу, но это будет нечто,
Ужаснее всего, что видел свет.

У. Шекспир

Трагедия — это всегда оргия Бога.

В. Иванов

Есть еще один эпитафия, самый короткий и выразительный: «Transcendere! Преступить пределы!». Или такой: «О Заратустра, плоды твои зрелы, но ты не созрел для плодов твоих!»

Почему столько внимания я уделю низвергателю разума — мыслителю, бросившему вызов совокупной мудрости человечества?

Почему? Потому, что я пишу не историю мысли, но человека в мысли: рождение, перевоплощение, метаморфозы, смертные крики, небытие. Потому, что сама его жизнь есть прорыв демонизма, трагическая страсть к отвергаемому мышлению, испытание мыслью всех неиспробованных пределов. Потому еще, что он — *наш* антипод, вычисливший торжество «человеческого песка»...

Важнейшая особенность гениального экстремизма, отличающая его от массового фанатизма, — новый взгляд. Увидев мир иным, гений часто отрицает все иные перспективы, но нам-то важно не это отрицание, а новый срез бытия, открытый Распятым. Гениальный экстремизм — путь к новому, фанатизм масс — цепляние за отжившее, защита рабства.

Элитарность, все проявления элитарности — от высших (духовная культура, искусство, знание) до низших (деньги, власть) — имеют тенденцию усиливаться. Собственно, прогресс — это углубление пропасти между культурой и суммой бескультурья, между привилегированными и обделенными, сильными и слабыми, власть имущими и власть вожделяющими. Век неистово презираемых им масс, возобладавший над веком «белокурых бестий», — этого-то не предвидел последний ученик Диониса, — был одним и тем же веком: каждый выродец — столоначальник, мнящий себя сверхчеловеком, а над ними — верховный параноик.

*Посеяли драконов,
Пожали блох...*

Это был не философ, а филолог, скажет Владимир Соловьев. Поэт, vates, оргиастр музыкальных упоений. Последний романтик, стерший грань между

философией и искусством, переливший фантазию в жестокую реальность жизни и наоборот. Новый Пиндар, поэт войны духа, инструктор героизма. Мисоксен, ксенофоб, ксеноктонн, ксенофаг.

Это не философия — оргия, эйфория, дионисийское исступление, экстаз, болезненное вдохновение, неоязычество, захмелевшая жизнь, упоенно-романтическая рапсодия, профетическое откровение.

Распятый Дионис, Бог переизбыточного.

Герольд насилия? Аргонавт свободы? Номо *maniacus*? Диагност и терапевт культуры? Лирик познания?

Внимание! — Он слишком поэт. Его нельзя понимать буквально. Есть множество Ницше — почти столько, сколько существует книг о нем — Адорно, Андерс, Андлер, Андреас-Саломе, Белер, Бенхолдт-Томсен, Бергер, Берелс, Бернштейн, Бернулли, Беррис, Бертран, Бизер, Битнер, Бок, Болманн, Брандес, Брандль, Бранн, Брантц, Бреннеке, Бриджуотер, Бризель, Бринк, Бритон, Бробье, Будо, Бурц, Ван ден Брук, Ван-Цутаберг, Вебер, Вейман-Вейе, Венцель, Вересаев, Вильгельм, Вилкоккс, Вильямс, Волф, Ган, Гебхардт, Гербер, Гессе, Гофман-сталь, Греммлер, Гримм, Глюксман, Герен, Гранье, Грац, Далмассо, Даннхаузер, Данто, Делёз, Деррида, Дильтей, Долсон, Дрюс, Дустдар, Дэвис, Жамбе, Жид, Зигмунд, Зиммель, Зитлер, Иезингауз, Иенц, Иоэль, Кауфман, Кайзерлинг, Кальтгоф, Каросса, Карсон, Кеннеди, Керкгоф, Кёстлер, Клаус, Клоссовски, Колли, Кольбах, Кольхаузен, Кофман, Краус, Крёкель, Крелль, Кремер-Мариетти, Куннас, Кюльпе, Кэрролл, Лав, Лавелл, Лаврин, Ламм, Ланге-Эйхбаум, Ланье, Лардо, Лебон, Леви, Лессинг, Лёвит, Лихтенберже, Лоув, Лукач, Магнус, Манн, Мейер, Меллер, Менкен, Минсон, Мистру, Миттельман, Монтинари, Моска, Мюгге, Мюллер-Варден, Мюллер-Лаутер, Мюнц, Немо, Ортега-и-Гассет, Парето, Петерс, Планкен, Подах, Пуц, Рейбурн, Рейхерт, Риккерт, Риль, Риттельмейер, Роде, Розенталь, Рормозер, Рукзер, Салакард, Салтер, Серна, Симон, Солтер, Стейнер, Стерн, Стрекер, Томас, Трумплер, Тэтчер, Уилкоккс, Файхингер, Фиггис, Фигль, Финк, Фишер, Флейшер, Фрид, Фуко, Хаар, Хавенштейн, Хайдеггер, Хауи, Хейман, Хеллер, Хермердинг, Хиллебранд, Хина, Хиндерке, Ховей, Холлингдейл, Хольц, Хоркхаймер, Э. и А. Хорнэферы, Хоун, Хоффманн, Хух, Цвейг, Циглер, Чатер, Чаттертон-Хилл, Шапиро, Шахт, Шварц, Шелер, Шестов, Шламм, Шлехта, Шмид, Шмид-Миллард, Шпенглер, Штапель, Штамлер, Штайнер, Шутте, Штраус, Эйнер, Эмге, Юнг, Юнгер, Янц, Ясперс и т. д. без конца. У каждого — свой. Мой — цвейговско-манновский: «белокурая бестия» без бестиальности, виталист без здоровья, оптимист без надежды... Еще — веберовский Ницше: мыслитель-колосс, самая яркая индивидуальность, духовный выразитель судьбы, но также поэт витальной силы, вульгарный биологизатор, макиавеллист, brutальный экстремист, Калибан-богоборец, князь мракобесья Уриан, неистовый охлофоб. Симптом духа времени — человек рока...

Стоп! А может, познание темных глубин — сфера искусства? Может, великие поэты и их *claritas* — и есть высшее знание?

Прост, как Парсифаль, искатель святого Грааля?

Или новая ветвь поэзии — *guine*? А почему бы и нет? — Раз воспето высшее начало, почему бы не воспеть низшее? Бодлер, Рембо, Верлен, Лотреамон и первый среди них — Бертран. Раз так много непостоянных искателей добра, почему кому-то не стать непреклонными защитниками «цветов зла»?

Страсть к разрушению — творческая страсть...

Культура — стихия...

Понимать поэта буквально? Обвинять рапсода в употреблении слов? Во что тогда превратится поэзия? А философия?

В Ван Гоге языка важен не речевой хаос, не слова. Самое ценное в мыслителе не однозначность, а множественность интерпретаций.

И если все вычитывают одно — это не мудрец, а бабочка-однодневка. Слава богу, что есть ницшеанские философии — не стройные и последовательные системы, а неистовые инвективы, саркастические бурлески, интуитивно-художественные всплески, начисто лишённые анемичного равнодушия.

Экстаз то делал его вещью, то бросал в воды той самой утопии, которой он так страшился. Разве не он усматривал в вагнеровском искусстве возвешение будущего, когда не будет высших благ и счастья, которые не были бы доступны всем? Хотя его юношеская утопия была эстетической, рожденной из духа музыки, хотя с годами он порвал с романтическими упованиями, его мифология и оптимизм выросли из веры в «золотой век» сверхчеловека, которым питается любая утопия, аристократическая в том числе. И здесь, в этой точке, в этой вере, в этом оптимизме сверхчеловека он соприкоснулся с недочеловеками, выходцами из мюнхенских пивных...

Но, даже бросаясь в мутные воды утопии, он оставался пророком, прорицателем, харизматическим, а не присяжным гением. Ведь в утопии (скорее анти-) он нашел свое, синтезировав келейное одиночество творца и дионисийский оргиастический экстаз толпы: «Обнимитесь, миллионы!» Да и пророчества его отнюдь не наивны.

Над полями этого грядущего не раскинутся, подобно вечной радуге, сверхчеловеческое добро и справедливость. Быть может, грядущее поколение покажется даже более злым, чем наше, ибо оно будет *откровеннее* как в дурном, так и в хорошем. Возможно, что душа его потрясла и испугала бы наши души, как если бы мы услышали голос какого-либо дотолемского скрытого демона в природе.

РОДОСЛОВНАЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА, ИЛИ КУЛЬТУРА КАК ИСТОРИЯ ВЛИЯНИЙ

Какое мучение эти великие художники,
вообще великие люди для того,
кто однажды разгадал их!

Ф. Ницше

В теоретическом отношении он часто
опирается на других мыслителей,
но то, в чем они достигли своей
зрелости, своей творческой вершины,
служит ему исходным пунктом
для собственного творчества.

Лу Саломе

Культура — история влияний, писать ее можно, как своеобразное переселение душ. Ницше не скрывал, что апостольство начинается с желания иметь «руководителя и учителя»:

Мне хочется остановиться несколько на желании, которое в молодости часто и сильно являлось у меня. Я надеялся в минуты радостных мечтаний, что судьба оградит меня от ужасной необходимости воспитывать самого себя и что в свое время я найду воспитателя — в каком-нибудь философе, истинном философе, которому можно верить, не задумываясь, потому что ему можно доверять больше, чем самому себе.

Главная особенность интеллектуальной восприимчивости Отшельника Сильс-Марии, тонко подмеченная его эксцентричной подругой Лу Саломе, состоит в полном растворении усвоенного в самом ницшеанстве. Отталкиваясь от кого бы то ни было, он трансформировал усвоенное в собственное представление без остатка. «Если мы соберем все, что было посеяно в его уме прежними учениями, у нас окажется лишь несколько незначительных зерен».

С другой стороны, Хайдеггер считал, что философское новаторство Ницше глубоко укоренено в философской культуре: Ницше необходимо читать, непрерывно вопрошая историю Запада. В противном случае останется лишь пере-

жевывать общие места. Конечно, это относится к любому новаторству, идет ли речь о Джойсе, Элиоте, Бродском, Шёнберге, Берге, Пикассо, Шагале.

Во всех моих книгах я стремился проследить духовную наследственность гения, историю влияний. Особенность «случая Ницше» в том, что, всецело выйдя из европейской традиции, будучи подверженным мощнейшей культурной иррадиации, он, следуя собственной доктрине «переоценки всех ценностей», кончил тотальным преодолением: «...искал великих людей, но всегда находил лишь обезьян, передразнивавших свой идеал...» «Сумерки кумиров» — «философствование молотом», закладка фундамента новой культурной парадигмы, в наши дни блистательно сформулированной Фейерабендом в виде принципа пролиферации: стабильность знания больше не гарантируется, надо строить теории, несовместимые с известными, наращивать количество перспектив.

Единодушие годится для церкви и тирании, разнообразие идей — методология, необходимая для науки и философии.

Хотя эти слова принадлежат современному философу науки, восходят они к ницшеанскому «философствованию молотом», отвержению авторитаризма, интерпретации знания как океана альтернатив, взаимно усиливающих друг друга.

То были ступени, по которым я поднялся, — пришлось оставить их позади. А они ждали, что я присяду на них отдохнуть...

Обосновывая в «Сумерках кумиров» эту свою позицию, Ницше писал:

Вы спрашиваете, что же вызывает у философов идиосинкразию? Да хотя бы историзм: философам ненавистна сама идея становления, их подход — древнеегипетский. Они воображают, что оказывают предмету *честь*, лишая его истории, превращая его, *sub specie aeterni*¹, в мумию. На протяжении тысячелетий всё, к чему бы ни притронулись философы, оборачивалось понятием-мумией, ничто действительное никогда еще не уходило из их рук живым. Они поклоняются кумирам понятий, эти господа идолопоклонники, их поклонение умерщвляет, высушивает, оно смертельно опасно для всего живого. Смерть, изменение, старение, а равным образом и зарождение, и рост — это для философов доводы против предмета, более того, его отрицание. Что есть, то не *становится*, что становится, то не *есть*...

Б. Рассел:

Ницше пытался соединить два рода ценностей, которые нелегко гармонируют между собой: с одной стороны, ему нравятся безжалостность, война, аристократическая гордость; с другой стороны, он любит философию, литературу, искусство, особенно музыку. Исторически эти ценности сосуществовали в эпоху Возрождения; папа Юлий II, завоевавший Боло-

¹ С точки зрения вечности (латин.).

ню и использовавший талант Микеланджело, может служить примером человека, которого Ницше желал бы видеть во главе правительства. Естественно сравнить Ницше с Макиавелли, несмотря на важные различия между этими двумя людьми. Различия эти состоят в том, что Макиавелли был человеком действия, его мнения формировались в тесном контакте с делами общества и шли в ногу с веком; он не был ни педантичным, ни систематичным, и его философия политики не образует непротиворечивого целого. Ницше, напротив, был профессором, в сущности книжником, философом, находящимся в сознательной оппозиции к доминирующим политическим и этическим течениям своего времени. Однако сходство их глубже. Философия политики Ницше аналогична философии политики, изложенной в книге «Князь» (но не в «Размышлениях»), хотя она разработана и применена более широко. У обоих — и у Ницше, и у Макиавелли — этика нацелена на власть и носит умышленно антихристианский характер, причем антихристианский характер у Ницше выступает более выпукло. Наполеон был для Ницше тем же, что Чезаре Борджа для Макиавелли: великим человеком, побежденным мелкими противниками.

Итак, *homo agressus, homo bellicosus, homo invasor, homo ferus*¹.

К а и н. Я хочу, чтобы она [природа] создала побольше мужчин. Я сочинил блистательную поэму, где действует множество мужчин. Я разделю их на два больших войска. Одно поведу я, другое — тот, кого я сильнее всего боюсь, кого сильнее всего хочу убить. Оба войска стараются перебить друг друга. Представляешь себе? Толпы людей сходятся, сражаются, убивают. Все четыре реки красны от крови. Торжествующие клики, исступленный рев, отчаянные проклятья, мучительные стоны! Вот настоящая жизнь! Жизнь, волнующая до мозга костей, кипучая, хмельная! Кто не видел, не слышал, не чувствовал, не пережил этого, тот жалкий глупец в сравнении с тем, кто изведal это.

А может быть, вслед за Киркегором он понял, что прогресс (то, что именуют прогрессом) есть непрерывное нарастание господства посредственности, серости, пекуса, быдла, осознал, ужаснулся и восстал против такого прогресса — сверхчеловеком? Может быть, пафос Ницше — орудий от боли и ненависти протест против грядущего хамства, против мира, которым заправляет ничтожность, против мира, в котором живем мы?

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЛ. СОЛОВЬЕВА

Явился в Германии талантливый писатель, который стал проповедовать, что страдание есть чувство низкое, что нравственность годится только для рабских натур, что человечества нет, а есть господа и рабы, что первым все дозволено, а вторые обязаны служить орудием для первых. И что же? Эти идеи, ко-

¹ Человек агрессивный, воинственный, захватчик, дикий (латин.).

торым некогда верили и которыми жили подданные египетских фараонов и царей ассирийских, были встречены в нашей Европе как что-то необыкновенно оригинальное и свежее и в этом качестве повсюду имели grand succès surprise¹.

Так ли все просто и примитивно?

Почему же тогда вся литература эпохи греческого чуда, — нет, вся греческая литература — от Гомера до Кратина, Аристофана, Платона и Ксенофонта — столь «ницшеанская»? Как там говорится в «Афинской политике»? «Хорошие законы могут быть лишь там, где благородные держат в повиновении простых и не допускают, чтобы безумцы говорили и даже принимали участие в народном собрании».

Почему вся история мысли насыщена одами великим? Без духовной элитарности, слышу ответ, не возникла бы светская интеллигенция. Без филологического пуризма нельзя было бы овладеть новыми стилями мышления. Без эзотеричности не возникли бы величайшие шедевры мировой культуры, начиная с «Эдды», Дантовой «Комедии» и кончая «Улиссом» и «Полыми людьми».

Увы, гениальность слишком часто есть сочетание великого и смешного, трагедии и фарса, святого слова и ярмарочного вопля — от Конфуция и Сократа до Толстого и Уитмена. Создавая величественный эпос о сверхчеловеке, Ницше не подозревал, что его тысячекратно опередили: Каин, библейские патриархи, античные схолярхи, Христос, римские историки... Коллективный портрет «великого человека» — Джонатана Уайльда — создавался на протяжении всей культуры и ко времени первого имморалиста к нему уже нечего было добавить.

*Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и славе рождены.*

Да, Лаэрт — отец одного из первых сверхчеловеков и даже имя сына — Человекобог, Qutiz, Zeus, Одиссей. Передержка? — Что ж, послушаем величайшего из слепцов:

*Если беду на него посылают блаженные боги,
Волей-неволей беду переносит он твердой душою.*

*Стойкость могучую в дух нам вложили бессмертные боги,
В ней нам средство дано против ужаснейших зол.*

Мыслью о смерти мое никогда не тревожилось сердце...

И т. д.

Песнь о Гильгамеше, египетская мифология, послегомеровская культура, Архилох, Эмпедокл, Гераклит, Пифагор, Аристофан, Платон полны неистовых инвектив в адрес пекуса. Ненавистью к демосу пропитаны «Всадники» Аристофана, вся античная трагедия, Гораций с его «презираю темную толпу», учение о иерархии Платона. Чем олигархи Ницше, стоящие на высшей ступени пирами-

¹ Успех неожиданности (англ.).

ды, отличаются от философов на троне, наделенных неограниченной властью, творцов-деспотов, интеллектуалов-варваров?

А Спарта — древнее воплощение утопической мечты?.. В «Государстве» Аристотеля уже весь философ Вечного Возвращения, разве что без надрыва, исступления, экстаза. И хотя сам он считает себя гераклитиком — понятное дело! — с таким же основанием он орфик, эмпедоклик, платоник, стоик, стагиритик, разве что без добропорядочности *in medio stat veritas*¹.

Аристократичность — разве не в ней причина греческого чуда? Ренессанс лишь унаследовал у греков рост самосознания с неизбежным для него противопоставлением анемичности толпы индивидуальной воле и эгоизму. Архилох, а за ним Алкей и Анакреонт, бросая вызов Гомеру, заявляли, что кинули в сражениях свой щит, дабы сохранить свою жизнь. Архилох — уже в манере Камю — говорит, что он не откажется из-за смерти близкого от удовольствий и празднеств, хотя и будет скорбеть. О своем нежелании считаться с мнением сограждан кричит Мимнерм. Сапфо объявляет лучшим благом в мире собственную любовь. Эпихарм требует отказа от всех установлений. Гекатей Милетский противопоставляет свои «Генеалогии» плебейско-смехотворным суждениям народа. Фемистокл требует от гражданина только одного — неповторимости. Ликий рассказывает о кружке Кинесия, гордящегося пренебрежением к общественным установлениям и объявившего себя покровителем «Злого демона». Релятивистская философия Протагора, Горгия, Антисфена, Ликофрона — разве не эпатаж сверхчеловечности? Важнейшим компонентом греческого чуда бесспорно был аристократизм, в том числе установка личности на то, чтобы превзойти окружающих в достижении своих духовных и жизненных целей.

Перебирая схолархов Греции, мы находим лишь одного, думавшего иначе. Его имя — Сократ, Христос эллинов.

Но не Христос иудеев. Ведь когда пророк из Назарета яростно вопрошает: Кто мать моя? Кто братья мои? — разве не голос сверхчеловека слышим мы? И разве не он — вопреки столь развитым родовым чувствам и племенным обязательствам сынов Израиля — разве не он отвечает ученику, испрашивающему разрешения похоронить отца: «Пусть мертвые хоронят мертвых»?

Враги человеку домашние его... Кто не оставит ради Меня отца и матери, тот не идет за Мной...

Разве есть гений, которого бы не осквернили и не извратили? не обвинили в безнравственности? не осудили? который не осудил бы себя сам?

А теперь предоставим слово Заратустре древности, говорящему уже вполне языком современным:

Мне противно всё, что носит имя человека, и меня не будут касаться ни общественные отношения, ни дружба, ни сострадание. Жалеть не-

¹ Добродетель посередине (*латин.*).

счастливых, помогать нуждающимся — это слабость и преступление. Я хочу закончить мои дни в уединении, как дикие звери, и никто, кроме Тимона, не будет другом Тимона... Пусть мое одиночество будет непреодолимым барьером между миром и мною — люди из этой же филы, фратрии и демы, да и само отечество — пустые бессвязные слова, которые способны услышать одни дураки.

В греческой мысли Ницше привлекала «высокая простота» — философия трагедии, воля к могуществу, внутренний накал жизненных сил, мощь дионисийской стихии, жизнь-игра...

Беда заставила греков быть сильными: опасность была близка, она подстерегала повсюду. Великолепная гибкость и ловкость тела, бесстрашный реализм и имморализм грека — не «натура» его, это его беда. Имморализм не существовал от века, он был лишь следствием. И в празднествах, и в искусствах греки имели одну только цель: почувствовать, что удалось *совладать с собой, показать это* другим; и празднества, и искусства были для греков средствами, чтобы восславить самих себя, порою же — чтобы вселить страх в других...

Хотя Гомер и Архилох — поэты Аполлона и поэтому прямо не входят в «корпус идей» Ницше, разве не у них почерпнута *amor fati*, стойкость, закаленность души, ницшеанская «формула для величия человека», о которой он писал: «Не только переносить необходимость, но и не скрывать ее, — любить ее... Являешься необходимым, являешься частицею рока, принадлежащим к целому, существуешь в целом». Гомеровская парафраза: «Мыслью о смерти мое никогда не тревожилось сердце».

*Если же кто из богов мне пошлет потопление в темной
Бездне, я выдержу то отверделою в бедствиях грудью:
Много встречал я напастей, немало трудов перенес я
В море и битвах; пускай же случится со мною и это...*

У Архилоха не только стоицизм, но — уже почти ницшеанское признание необходимости страданий для движения жизни:

*Стойкость, могучую в дух нам вложили бессмертные боги,
В ней нам средство дано против ужаснейших зол.
То одного, то другого судьба поражает. Сегодня
С нами несчастье, и мы стонем в кровавой беде,
Завтра в другого ударит. По-женски не падайте духом,
Бодро, как можно скорей, перетерпите беду.*

Почти все учение Заратустры, вложенное в шесть строчек...

Мы начинаем нащупывать основной нерв гомерово-архилоховского отношения к жизни. Божественная сущность жизни вовсе не скрывала от

человеческого взора ее аморального, сурового и отнюдь не идиллического отношения к человеку: жизнь была полна ужасов, страданий и самой обидной зависимости. И тем не менее, гомеровский эллин смотрел на жизнь бодро и радостно, жадно любил ее «нутром и чревом», любил потому, что сильной душе его все скорби и ужасы жизни были *нестрашны*, что для него «на свете не было ничего страшного». Мрачное по н и м а н и е жизни чудесным образом совмещалось в нем с радостно-светлым о т н о ш е н и е м к ней.

В метафизике Гераклита Ницше привлекал образ мира как бесконечного процесса, как вечной борьбы, этого «отца всех вещей»: «всякое развитие берет свое начало из борьбы». Конкуренцию, борьбу Ницше расценивал движущей силой жизни. У Гераклита, вблизи которого он чувствовал себя «теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте», фактически заимствована идея жизни-огня, «живущего смертью вещей», и квинтэссенция имморализма: «добро и зло — одно»:

Этот космос, один и тот же для всего сущего, не создал никто из богов и никто из людей, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерно воспламеняющимся и мерно угасающим.

Гераклит учил, что космос пребывает по ту сторону добра и зла, что жизнь в равной мере предполагает справедливость и несправедливость, что позиция человека в мире — гордый аскетизм, презрение к страсти, отвлекающей от цели, активность — всё это вошло в корпус идей Ницше.

Подтверждение исчезновения и *уничтожения*, отличительное для дионисовской философии, подтверждение противоположности и войны, *становление*, при радикальном устранении самого понятия «*бытие*» — в этом я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего, что до сих пор мыслили. Учение о «вечном возвращении», это значит, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, — это учение Заратустры *могло* однажды уже существовать. Следы его есть, по крайней мере, у стоиков, которые унаследовали от Гераклита почти все свои основные представления.

Вместе с тем Ницше не приемлет скептическое отношение «темного» философа к чувствам. Чувства говорят человеку правду, но вот разум фальсифицирует свидетельства чувств, привнося в них свои ложные понятия единства, постоянства, противоречивости, запредельности. Лжет разум, утверждающий, что за пределами наших чувств существует какой-то иной истинный мир, сверхчувственный и вечный.

Переоценка всех ценностей не была у Ницше обрывом корней: его философия буквально пропитана досократическим мифотворчеством, его имморализм — дальнейшее развитие и совершенствование моральных ценностей.

...Неучастие Ницше в развитии современной ему филологии и истории философии лишь оттеняет тот факт, что образцы и модели досократовской философии проникли в плоть и кровь его мысли: тут совершалось соотражение такого масштаба, которое для тогдашних филологии и философии не было доступно, и, как кажется, даже вольность и раскованность своей мысли Ницше почерпнул не где-либо, а именно в своем истолковании досократиков.

Досократовскую Грецию Гераклита и Эмпедокла Ницше считал вершиной культуры, самой правдивой эпохой, не питавшей иллюзий и не украшавшей трагичность человеческого существования «торжеством разума».

Более поздняя эпоха — античная классика — уже подточена изнутри теми самыми ядами, которые затем будут собраны, настояны и предложены человечеству в виде христианства и приведут мир к крушению...

Гераклиту и Демокриту Ницше предпочел Протагора, который, по его словам, объединил двух первых (надо полагать — максимой «человек — мера всех вещей», основополагающей для гносеологии Ницше). Учение софистов лучше других античных метафизиков отвечало жизни и мысли-процессу. В софистах Ницше видел не только провозвестников современной теорий познания, но и первых имморалистов, предшественников его собственного учения о нравственности. У Калликла он мог усвоить целую связку идей о приоритете права «сильного», действии согласно природе, тирании большинства. Законы, писал Калликл, состояются «слабыми», «худшими», «многими» и направлены против «сильных». Увы, демократия придает количеству статус закона: лучшее — устраивающее большинство. Но ведь еще Гераклит сказал: «многие — плохи». Там, где лучше — больше, лучшим — плохо...

Не будучи пирронистом, Ницше мог позаимствовать идею сверхчеловека не только у многочисленных немецких предтеч, но и у Анаксарха¹, убедившего Александра Великого в его божественном происхождении.

В молодые годы Ницше зачитывался Фукидидом, Диогеном Лаэртцем, штудировал Платона и Эмпедокла. В начале 70-х годов он изучал тексты «учителей жизни», как они называли себя сами, — Фалеса, Гераклита, Пифагора. Наследие досократиков казалось ему более основательным, чем беспочвенные, благостные труды учеников Сократа. Ницше импонировала аристократичность и свобода этих мыслителей, к которым каждый мог без страха и обиды прийти со своей точкой зрения и со своими оценками, вступить в диспут на равных.

Сознательно его мировоззрение было эллинским, но без орфической компоненты. Его восхищают досократики, за исключением Пифагора. Он питает склонность к Гераклиту. Великодушный человек Аристотеля очень похож на «благородного человека» Ницше, но в основном Ницше

¹ Учитель Пиррона.

утверждает, что греческие философы, начиная с Сократа и далее, были ниже своих предшественников.

Ницше не может простить Сократу его плебейского происхождения, называет его «goturier» и обвиняет в разложении знатной афинской молодежи с помощью демократических моральных принципов. Особенно он осуждает Платона за склонность к назиданиям. Однако ясно, что ему не очень хочется осуждать Платона, и, чтобы извинить его, Ницше предполагает, что Платон, вероятно, был неискренним и проповедовал добродетель только как средство удержания низших классов в повиновении. Он назвал его однажды «великим Калиостро». Ницше нравятся Демокрит и Эпикур, но его приверженность к последнему кажется нелогичной, если только ее не интерпретировать как в действительности восхищение Лукрецием.

Разгадка негативного отношения Ницше к Сократу в том, что Овод создавал знание не для себя, а для других — учил тому, чему не собирался следовать сам. В этом отношении он предтеча всех «господ мыслителей» — от Гегеля до Маркса и Ленина-Сталина.

Сократ совершил непоправимую ошибку, подчинив спонтанную жизнь правилам ума, заразив рационалистической верой последующие века. Чистый разум — рассудок — неспособен подменить обилие жизни, он сам — лишь «небольшой островок в море первичной жизненности».

Не имея ни малейшей возможности заменить ее, чистый разум должен на нее опираться, получать от жизни питательные соки, подобно тому, как каждый член организма живет жизнью целого.

Не навязывание жизни правил ума, но первичность дионисийского начала, не разумность любой ценой, но разумность как элемент воли к могуществу.

Если возникает необходимость установить тиранию *разума*, что и было сделано Сократом, то, вероятно, велика и опасность тирании со стороны чего-то другого. Современники Сократа открыли, что их спасение — в разумности. И сам Сократ, и его «больные» стали разумными поневоле, разумность была суровой необходимостью, *последней* надеждой греков. Фанатизм, с которым греческая мысль устремилась к спасительной разумности, говорит о крайне бедственном положении; грекам грозила страшная опасность, они стояли перед выбором: либо погибнуть, либо стать *разумными до абсурда...* Морализм греческих философов, начиная с Платона, обусловлен патологией, а точно так же и их почтение к диалектике. Разум = добродетель = счастье — смысл тут один: поступай, как Сократ, вопреки всем темным вождениям не давай угаснуть свету разума, *свету дня*. Любой ценой будь разумным, исполненным света и ясности, ибо всякое потворство инстинктам, бессознательному увлекает *вниз...*

Ярчайший свет, разумность любой ценой, жизнь светлая, холодная, осторожная, сознательная, лишенная инстинктов, противящаяся инстинк-

там, сама по себе была болезнью, еще одной болезнью, но отнюдь не возвращением к «добродетели», «здоровью» и счастью... Инстинкты *нужно* подавлять: эта формула — формула декаданса. Но пока жизнь *стремится вверх*, счастье равно инстинкту.

Понял ли это сам Сократ, этот умнейший из всех хитрецов, перехитривших самих себя? Сознался ли в этом себе в конце концов, когда принял мудрое мужественное решение — умереть? Сократ *хотел* смерти: *он сам* взял чашу с цикутой, вовсе не Афины обрекли его смерти — напротив, это он поднес Афинам чашу с ядом... «Сократ не врачеватель, — тихо молвил он, — одна лишь смерть здесь исцеляет... Сократ сам долго был болен...»

Из римских писателей Ницше больше других чтит Саллюстия и Горация. Первый дал ему стиль, сжатость, силу, богатство содержания, холодное презрение к «красивым чувствам». «Заратустра» — наследник римского стиля, «*aere pergenius*»¹ в стиле. Оды Горация потрясли молодого Ницше, вызвали его восхищение.

Пестрая мозаика слов, где каждое является звуком, картиной, понятием, где сила бьет отовсюду ключем, доведенное до *minimum*'а количество письменных знаков и достигнутый ими *maximum* силы и выразительности — все это отличается римским духом и, если хотите мне поверить, то и благородством *par excellence*. Вся остальная поэзия в сравнении с этой является пошлой, чувствительной болтовней...

Римских стилистов Ницше предпочитал греческим: разностильный Платон — «декадент в области стиля». Его диалоги — самодовольная и ребяческая форма диалектики, «надувательство высшей марки». Платону Ницше предпочел Фукидиду, излечившего автора «Заратустры» от «розовых идеалов»:

Читая его, так и сяк десять раз повернешь каждую строчку, слово за словом, иначе не доберешься до спрятанных в глубине тайных мыслей — немного найдется столь скрытных мыслителей, как Фукидид. В нем обрела свое совершенное выражение *культура софистов*, лучше сказать, *реалистов* — движение огромнейшей ценности, тем более, что оно появилось тогда, когда всюду уже пробивалось и рвалось вперед шарлатанство сократических школ по части морали и идеалов. Философия греков — *упадок* греческого инстинкта, Фукидид — великий итог, последнее откровение сильной, строгой, жестокой реальности факта, той, что была присуща инстинкту греков более древней эпохи. *Мужество* перед лицом реальности — им в конечном счете разнятся такие натуры, как Платон и Фукидид. Платон — трус, он боится реальности и *поэтому* прячется от нее в убежище идеала, Фукидид властвует *собой* и *поэтому* властвует и над вещами...

По мнению А. Швейцера, у Ницше были и восточные предтечи. В частности, прототипом этики жизнеутверждения и воли к могуществу можно рассматри-

¹ Прочнее меди (*латин.*).

вать учение Ле-цзы о существовании природного стремления к таинственной власти над вещами. Ян-цзы создал этику, оправдывающую полное «прожигание» жизни. Этика Ницше представляет собою европейский синтез учений Ле-цзы и Ян-цзы, — заключает автор «Культуры и этики».

Современность несет на себе черты упадка и вырождения по сравнению с космизмом и метафизической глубиной Средневековья с его грандиозными готическими соборами, «Божественной комедией» или философией Фомы. Сравнивая свой век с творениями Рафаэля и Микеланджело, музыкой Баха и Моцарта, Ницше констатирует деградацию «шутов современной культуры» до уровня фельетонистов. Музыканты то псевдогероичны, как Вагнер, то бесхарактерны, как Шуман: утратив эстетическое чувство, они проявляют болезненное любопытство среднего человека то к пороку, то к угрызениям совести, то к конвульсиям души.

А Ренессанс, который мы так превозносим? Разве не итальянские гуманисты провозгласили право личности на абсолютную свободу действий без оглядок на моральные ограничения? Разве не отсюда берет свое начало макиавеллиевский Государь, считающий аморальность, жестокость и вероломство способами достижения великих целей? Разве не здесь совершал свои подвиги Заратустра под именем Медичи?

Хотя у Ницше можно обнаружить много филиппик, адресованных Лютеру, его отношение к отцу протестантизма не было однолинейным — Ницше считал себя первооткрывателем зависимости новой немецкой поэзии от языка Лютера (его перевода Библии). По мнению Л. Шестова, Ницше был первым из немецких философов, обратившихся лицом к Лютеру и Библии. Лютером, в частности, навеяна идея «философии с молотом» (у него часто встречается та же мысль о Божьем молоте). Мысли Ницше о Сократе во многом напоминают то, что Лютер говорил о падшем человеке: падший человек весь во власти чуждой ему силы и ничего уже не может сделать для своего спасения. Видимо, Ницше испытал многие из тех чувств, которые ранее пережил Лютер, и, прежде всего, — ощущение падения, формула которого — «из бездны взываю», падения как пути к озарению.

Как это ни парадоксально, но в воле к могуществу можно обнаружить проявление лютеровского *sola fide*, тертуллиановского «верую, ибо абсурдно».

Л. Шестов:

Лютеровская *sola fide* вела его к Тому, о котором он говорил: «*est enim Deus omnipotens ex nihilo omnia creans*» (ибо Он — Всемогущий Бог, творящий все из ничего). Но не есть ли тогда ницшевское *Wille zur Macht* только другие слова для выражения лютеровской *sola fide*? Лютер опирался на авторитет Св. Писания, на пророков и апостолов. Но у Ницше его стремление к синайским высотам родилось в тот момент, когда Библия утратила всякий авторитет в его глазах. Наоборот, все, что для Ницше еще сохранило какой бы то ни было авторитет, властно говорило ему, что *Wille zur Macht* есть предел безумия и что для мыслящего челове-

ка нет иного спасения, нет иного убежища, чем те блаженства, которые нам принесены были Сократом и Спинозой. Об этом он нам достаточно рассказал в первых книгах, написанных непосредственно после кризиса. И все же какая-то загадочная сила толкала его прочь от «древа познания». Как назвать эту силу? И есть ли для нее имя среди сохранивших для нас смысл слов? Подождем с ответом на этот вопрос. Но послушаем, как сам Ницше говорит о ней: «О, пошлите мне безумие, небожители! Безумие, чтоб я сам наконец поверил себе, пошлите мне бред и судороги, внезапный свет, и внезапную тьму, бросайте меня в холод и жар, каких не испытал еще ни один человек, пугайте меня таинственным шумом и привидениями, заставьте меня выть, визжать, ползать, как животное: только бы мне найти веру в себя. Сомнение пожирает меня. Я убил закон, закон страшит меня, как труп страшит живого человека: если я не больше, чем закон, — я отверженнейший из людей. Новый дух, родившийся во мне, — откуда он, если он не от вас? Докажите мне, что я ваш, — одно безумие может мне доказать это».

«Пошлите мне безумие» у Ницше и «спасение верой» у Лютера отличаются разве лишь тем, что Лютер опирался на авторитет Писания и апостолов («я бы не осмелился так называть закон и считал бы это величайшим кощунством по отношению к Богу, если бы Павел этого не сделал раньше»), а Ницше после «смерти Бога» не мог ссылаться на что-либо, кроме собственного «безумия». Лютеровское «предопределение» — суровейшая доктрина, означающая необходимость каждого человека безропотно положиться на волю Божью. Хотя сам Ницше видел в Лютере «совратителя», объявившего призыванием немцев сферу чистого духа вместо практического действия, это величайшее заблуждение: именно на основе «предопределения» выстроена стройная протестантская доктрина наилучшего исполнения человеком своих обязанностей как высшей формы служения Богу, прообраз «воли к могуществу» Ницше. Пафос деятельности, развязывание деловой инициативы приобретали в протестантизме значение религиозного призвания вне зависимости от профессии. Важен не характер деятельности, а «пребывание в призвании своем».

Всюду — в мастерской или мануфактуре, за прилавком или конторкой, и в море или на поле — человек обязан был всем напряжением своих профессиональных сил служить Богу, и если дело удавалось ему — он мог надеяться, что на нем почилла благодать Божия. Характерны названия многих сочинений кальвинистов (пуритан) XVII в.: «Одухотворенное мореходство», «Одухотворенный сельский хозяин», «Одухотворенный ткач», «Христианское судоходство», «Призвание торговца», «Милая торговля» и даже «Гидротеология».

«Спасение в вере» означает: спасение не в бездеятельном квиетизме, но в деятельности, если хотите, могущественности деятеля, не в пустопорожном созерцании, а в решительной и страстной борьбе и самоутверждении. Лютер

и Ницше ставили веру выше знания, оба противопоставляли сократовской культуре — бездну жизни, бездну смерти, бездну судьбы:

Бог... Всемогущий Творец, Создающий из ничего все... Но до этого своего существенного дела не допускает зловредная чума, сомнение праведности, которая не хочет быть грешной, нечистой; жалкой и осужденной, а справедливой и святой. Оттого Бог должен прибегнуть к тому молоту, именно к закону, который разбивает, сокрушает, испепеляет и обращает в ничто это чудовище с его самоуверенностью, мудростью, справедливостью и властью.

Так восклицает М. Лютер, а в § 22 «По ту сторону добра и зла» Ницше чуть ли не дословно повторяет мысль об опасности сооружения алтарей знанию, истине и добру. Ницшеанская воля к могуществу — это лютеровский Всемогущий Творец в нас, противостоящий нашему рационализму. «Спасение в вере» и «воля к могуществу» надразумны, высшие человеческие ценности неподсудны уму, логика к ним не применима.

Экономические воззрения Ницше тоже вполне протестантские: труд, много труда, нравственность обогащения, но — в меру: «Должны быть открыты все трудовые пути к приобретению небольшого состояния, но не должно допускать легкого и быстрого обогащения». Ницше страшится тех, кто не владеет ничем, но и тех, кто владеет слишком многим. То и другое чревато одним — тоталитаризмом...

Отвергая идеи Лютера и Кальвина, Ницше тем не менее пропагандирует активизм, конкуренцию, волю к власти как принцип состязания, иными словами, комплекс идеалов рыночного общества. За эпатажем имморализма кроется пропаганда творческой активности свободной личности, «невинность», дающая нам «великое мужество и великую свободу».

Христианство полагает, что человек не знает и не может знать, что для него добро и что зло: он верит Богу, который один знает это. Христианская мораль есть приказ, источник которой трансцендентен; она по ту сторону всякой критики, она обладает лишь истиной, поскольку Бог есть истина — она возникает и ниспровергается вместе с верою в Бога.

Как это ни покажется парадоксальным, ницшеанское «свержение кумиров» и корпус лютеровских идей — одно. Отбросив шелуху слов и идеологическую подоплеку, можно заключить, что стержневая идея Лютера и Ницше совпадает: Личность, Свобода, Труд — направленные на создание человека богоизбранного, ответственного, активного, творческого, творящего собственную жизнь.

Среди множества прочитанных мною книг я не обнаружил параллели Ницше — Рабле. Между тем, она напрашивается, лежит на поверхности. Карнавальности (которой, кстати, Рабле далеко не исчерпывается) можно поставить в соответствие танец, задор, веселость, «зубодробительность» Ницше (качества, которыми он также далеко не исчерпывается). Полистаем «Веселую науку»:

Поголовная насмешка над всяким нынешним морализированием. Подготовка к *наивно-иронической стойке Заратустры перед всеми священными вещами* (наивная форма превосходства: *игра со святым*).

Из этой «веселой науки» не поняли ровным счетом ничего: даже заглавия, о провансальском смысле которого забыли многие ученые.

Еще одна упущенная «параллель»: Ницше — Николай Кузанский, посрамляющий «мудрость мира сего».

А разве не Леонардо да Винчи — величайший знаток души и тела — сказал эти сакраментальные слова: «Если бы тело твое было устроено согласно требованиям добродетели, ты бы не смог существовать в этом мире»?.. (А душа?..)

А «Плеяда» во главе с Ронсаром? А Матюрен Ренье, оставивший за собой право на свободу от стесняющих правил? А Микеланджело, постоянно твердящий: искусством должны заниматься благородные, а не плебеи?

Для Данте, Тассо, Микеланджело, Бруно, Шекспира жизнь — вечная битва Героя с *bête noire*.

Шекспир, как греки до него, а Ницше после, не верил ни в прогресс, ни в первородный грех. Он верил в то, что большинство людей заслуживает презрения.

Ф. Ницше:

Я не знаю более разрывающего душу чтения, чем Шекспир: что должен выстрадать человек, чтобы почувствовать необходимость стать шутом! *Понимают ли Гамлета?* Не сомнение, а *несомненность* есть то, что сводит с ума... Но для этого надо быть глубоким, надо быть бездною, философом, чтобы так чувствовать... Мы все *боимся истины*...

Восторгаясь мощью Шекспира, нередко уподобляемого Бетховену, Ницше видел в нем правдивого хрониста самой жизни со всеми ее страстями, терзаниями, корчами, нарушениями справедливости, душевной раздвоенностью и смутой. Шекспир — не просто «любопытствующий психолог», но единомышленник, имморалист: «Ошибается тот, кто приписывает театру Шекспира моральный эффект, полагая, что пример с Макбетом означает удар по злу честолюбия».

Шекспир привлекателен не только как великий художник, но и как великая личность: подлинные поэты — ровня своим созданиям. Шекспир не только рассуждал о страстях или живописал их, но «имел доступ ко многим из них». Это вообще свойственно драматургам: «Байрон, Мюссе, По, Леопарди, Клейст интересны тем, — упреждает Ницше Фрейд, — что своими произведениями «мстили за свою внутреннюю грязь»». В «Веселой науке» идея вытеснения и сублимации уже отлита в афористическую форму: «Мы, эстетика высшего ранга, не можем обойтись без преступлений, порока, мучений души и заблуждений».

Когда я ищу свою высшую формулу для *Шекспира*, я всегда нахожу только то, что он создал тип Цезаря. Подобных вещей не *угадывают* —

это есть или этого нет. Великий поэт черпает *только* из своей реальности — до такой степени, что наконец он сам не выдерживает своего произведения... Когда я бросаю взгляд на своего Заратустру, я полчаса хожу по комнате взад и вперед, incapable совладать с невыносимым приступом рыданий.

Величие Шекспира — в независимости души! Именно она позволила Шекспиру — вопреки традиции — возвысить Брута над Цезарем. В самом Шекспире, считал Ницше, сидела частица Брута, поднявшего руку на Кумира.

И даже Брут, сам Брут, теряет последнее терпение, когда появляется поэт, надменный, важный, назойливый, как все поэты, словно некое существо, которое, кажется, вот-вот лопнет от распирающих его возможностей проявить величие, но не способный даже в своей житейской философии поступков подняться до высот элементарной порядочности. «Терплю я шутовство в другое время, война — не дело этих стихоплетов. Любезный, прочь», — восклицает Брут. Переведите эти слова обратно в душу поэта, который их сочинил.

Разве Бальмонт не находил почти весь комплекс ницшеанских идей у Кальдерона, Марло, даже Сервантеса с его «Дон Кихотом»?

Летом 1875-го, находясь на лечении в Штейнабаде, Ницше вчитывался в «самую горькую книгу», «Дон Кихота». Он воспринял ее как насмешку над всеми благородными порывами. Но уподоблял ли он тогда Дон Кихоту себя самого? Думал ли вообще над собственным кихотизмом?

А демократический Чапмен, этот соперник Шекспира? «Я ненавижу чернь и посвящаю свои странные поэмы лишь тем пытливым душам, которые облагорожены знанием», — Чапмен, считающий упрощение поэзии — дорогой к варварству?

Заратустре явно не хватает дерзновенности маркиза де Сада — он не холоден, он воодушевлен!

Маркиз де Сад предвосхитил Ницше, объявив христианство религией жертв, которую, по его мнению, следует заменить идеологией силы. Но, похоже, и в человеческих отношениях он был его предтечей: я имею в виду не чудовищные сексуальные фантазии «120 дней Содома», но — чисто человеческую слабость: оба так много говорили о силе своего духа не потому, что ею обладали, а потому, что страстно мечтали о ней. Их объединяет еще одна заслуга: оба заставили насилие заговорить, наделили зло голосом.

Разве все французские моралисты и первый среди них — Паскаль — не были предшественниками Ницше, когда открывали абсурд как «изначальную бедственность нашего удела»? Так ли уж не прав Андлер?

С Паскалем, Гаманом и Киркегором Ницше сближает не только «пограничное состояние», переходящее порой в безумие, но антиакадемический стиль философствования, принципиальная бессистемность, а также та «уединен-

ность» несчастнейших, которая дарит им самое важное в творчестве — свободу нонконформизма, ничем не скованное «Я».

К. Ясперс:

Киркегор и Ницше оба всем своим существом осознавали себя как «исключение», стоящее особняком, оба ощущали как роковое несчастье свое абсолютное одиночество. Меньше всего на свете ощущал себя каждый из них представителем чего бы то ни было, образцом для подражания, учителем, указующим путь: они сознавали себя людьми, призывающими обратить внимание, вспомнить, усомниться, попытаться.

И вот что удивительно: жизнь Киркегора и Ницше — абсолютно ненормальная, не образцовая, отпугивающая, жизнь, которую сами они хотели сделать и сделали неподражаемой и единственной — стала для современного человека одним из важнейших ориентиров. Ибо они показывают, в каком смятении живет сегодня мир, как поверхностно, туманно и иллюзорно все, что предлагается нам сегодня в качестве обоснования и оправдания нашей деятельности.

С этим связано и то, что Киркегор и Ницше, как никто другой (в отличие, впрочем, от Маркса), осмысливали собственную жизнь и реально «проживали» свои мысли, делая собственную биографию предметом рефлексии, интерпретируя смысл и смысловые возможности каждого события и переживания; так что мы и не можем представить себе их философию иначе, как пронизывающей насквозь их жизненный путь, отраженной во множестве зеркал биографических подробностей; и в конце концов их жизнь и их мысль являются нам в удивительно завершенном целом.

Они, конечно, пророки, но пророчество их — жертва, а не провозвестие нового мира: они сами целиком охвачены ужасом времени, они сами более чем кто-либо терпят бедствие утрачивающего себя, отчужденного от себя человека. И потому пророчество их роковым образом двусмысленно. Никто с такой силой не требует и не осуществляет стремления к истине, как они, но никто и не несет в себе такой разрушительной, всеуничтожающей силы. Без них сегодня не может быть никакого воспитания, но воспитанникам их грозит неслыханная опасность. Нам еще предстоит научиться, как воспитываться у них, не давая погубить себя этим воспитанием. Их мысль не просто обнаруживает уже происшедшие разрушения, она сама продолжает действовать как активная разрушительная сила. Они пробуждают наше сознание, расчищая его для новых возможностей, и в то же самое время предлагают мысли неодолимой соблазнительности, завлакивающие только что расчищенное пространство и погружающие замороженное сознание в новый волшебный сон. Порой кажется, что самая пронизательность их взгляда порождает либо всеуничтожение, либо новый догматизм.

...Именно их заблуждения оказались прообразом того, что позднее воплотилось в реальной действительности. Их ошибки стали историей. То, что с точки зрения истины было их слабым местом, оказалось выра-

жением реальности наступившего после них столетия. Они высказывали мысли, которым суждено было прийти к власти; они снабдили двадцатый век символами веры и лозунгами дня.

Киркегор и Ницше, всецело принадлежавшие XIX веку, стали нашими современниками, определившими философию века XX-го. Киркегор и Ницше — два ясновидца, предсказавшие наше время и узревшие в своем истоки того, чего, кроме них, никто не увидел.

Жизнь каждого из них — напряженное переживание всемирно-исторического момента в становлении человеческого бытия; с душераздирающей ясностью они отдавали себе отчет в этом моменте и видели его в целом — в необозримом горизонте, в неслыханных масштабах. Они предвидели и предсказали грядущее, ибо видели его ростки в настоящем. В своем мышлении и делании они уже прошли тем путем, которому еще только предстоит стать действительностью этого мира.

Киркегора и Ницше объединяет радикальный антидогматизм, смелость мысли, беспокойство за будущее, страстное желание заразить своими, часто взаимоисключающими идеями других.

При всей несовместимости абсурда веры и «переоценки всех ценностей», конгениальность Киркегора и Ницше выражается в остроте экзистенциального мироощущения, экстатическом возвышении Личности, критике эпохи, ощущении пустоты знания, необходимости «любви к судьбе», восприятию жизни как лицедейства с его разглагольствованиями, скукой, опасностью омассовления и механизации. Как и Киркегор, Ницше много писал о том, что все говорят, но никто никого не слышит, что все разлагается в потоках слов, все пробалтывается и предается.

Киркегор и Ницше (позже — Бергсон) всем своим творчеством выразили предельное возмущение духа против рационализма, господствующего в европейской мысли в XVIII и XIX веках. Именно этой троице выпала трудная доля радикальной смены парадигмы — не «крушения разума», но демонстрации его производности от более глубоких, бытийных оснований. Одновременно это был переход от самодовольного, нарциссического гуманизма «человека-машины» к новому гуманизму — преклонению перед полнотой жизни.

Свасьян обнаружил еще одну неожиданную параллель Киркегор—Ницше — вечное «бегство» от самих себя, выражающееся через инкогнито, через смену масок — у Киркегора это фокусничество многочисленных псевдонимов, у Ницше — помимо «масок» — странничество, страсть к перемене мест, внешне напоминающая страх, болезненность мании преследования.

В давней, пронизывающей человеческую культуру тяжбе этики и эстетики Ницше и Киркегор занимают непримиримые позиции: жизнь имеет оправдание лишь как эстетический феномен для Ницше и лишь как этический для Киркегора. Для одного жизнь — безусловная красота, для другого столь же безусловное следование Богу.

Этический подход разделяет сущее на противоположности, одно отрицает, другое утверждает. В этом выражается враждебно-мстительное отношение к жизни, стремление развенчать ее первозданную полноту и мощь. Как любовь отождествляется со своим объектом, так и жизненность чужда анализу, дихотомии, вычленения плюсов и минусов. Этическая точка зрения, считал Ницше, содержит подспудно отвращение к жизни противопоставлением ей другой, потусторонней. Античность относилась к жизни эстетически, в Средние века сложилось этическое отношение к миру, сковавшее спонтанность чувств и могучую игру жизненных инстинктов. Итогом этического подхода стала деформация высших ценностей, извращение жизненных канонов и уродование жизни моральными фетишами.

Человек — это диссонанс в человеческом образе. Для возможности жить этому диссонансу требуется прекрасная иллюзия, облекающая покровом красоты его собственное существо. Бытие и мир являются оправданными лишь в качестве эстетического феномена.

Трудно отрицать эстетизм Ницше, можно даже полагать, что именно из него родился имморализм. Из двух высших критериев существования — библейского добра и эллинской красоты — Ницше явно предпочел вторую как первоначальную, лежащую в истоках культуры. И. Бродский полагал, что эстетика старше этики: «...Эстетика — мать этики; понятия «хорошо» и «плохо» — понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории «добра» и «зла». В этике не «все позволено» именно потому, что в эстетике не «все позволено». Ницше, напротив, считал дозволенным все, что жизненно, мораль он оценивал с позиций «старшей сестры». Для него этика и эстетика объединены витальностью: добро и красота — то, что способствует жизни, но в этой связке красота предшествует добру.

Можно сказать, что этика Ницше эстетична, но красотой его добра является жизненность. При таком подходе исчезает напряженное состояние, извечно существующее между красотой и добром.

«И как не раз пророчествовали поэты, не нравственное, а прекрасное обречено гибели, — мог ли Ницше этого не знать?» — риторически вопрошал Томас Манн. Ницше знал больше — что все в мире смертно, что все рождается и все умирает, даже «вечная истина», даже «вечный Бог»...

Т. Манн:

«С той минуты, когда Сократ и Платон начали проповедовать истину и справедливость, — сказал Ницше однажды, — они перестали быть греками и сделались евреями или кем-то еще в этом роде». Что ж, твердые нравственные принципы помогли евреям стать хорошими, стойкими детьми матери-жизни. Евреи пронесли сквозь тысячелетия свою религию и свою веру в справедливого Бога и выжили сами, в то время как беспутные эсты и художники, шелопаи греки, очень скоро сошли с арены истории.

Простота вывода ошеломляет: иудейская этика спасительна, греческая эстетика гибельна. Мне представляется, дешифровка приведенной мысли человека, любившего одновременно и греков и евреев, полностью лишена национальной, как, впрочем, и этико-эстетической окраски: единственная истина и единственная справедливость (талмудизм) смертельно опасны и для греков, и для евреев — их исторические судьбы (упадок одних и диаспора других) — наглядное тому свидетельство...

А Блейк? «Одинаковый закон для льва и для вола — это гнет». Или: «Желание, не сопровождающееся действием, рождает заразу». И еще: «От стоячих вод жди только заразу». А это? «В одной энергии жизнь. Энергия — вечное наслаждение». «Путь крайностей ведет во дворец мудрости». «Если бы безумец упорствовал в своем безумии, он сделался бы мудрецом». И еще, и еще, и еще... Четвертое колесо «Большой Медведицы».

А романтики? Байрон, Клейст, Клиггер, Альфред де Виньи, Мюссе, Шатобриан, Мэтьюрен, Гофман, Нодье, на излете — Леконт де Лиль, Бертран, Бодлер, Лотреамон?

У романтиков Ницше заимствовал принцип эстетизма как иронии, самопародирование, осознание непреодолимого конфликта между мощью творческого порыва и его результатом. Правда, романтики возвышали творчество над жизнью, тогда как Ницше требовал возвышения самой жизни, творчества жизни, красоты жизни, стоящей по ту сторону человеческих суждений о ней, по ту сторону Добра и Истины. Впрочем, это различие нюансов. Ницше, как и романтики, исповедовал культ художественного гения, верил в примат идеалов эстетического величия над нравственными убеждениями.

А. Белый:

И по-новому воскресают перед нами романтики: Иоиль верно указывает на то, что Ницше родился на родине романтизма, он увлекается Новалисом, в «Гиперионе» Гёльдерлина он видит прообразы сверхчеловека, его пфортский учитель Коберштейн — историк романтизма, его друг Родде открывает следы романтизма в Древней Греции. После Ницше лучше понимаем мы Тика, когда этот последний говорит: «Всё — игра» и далее: уходя в глубь истории, — мы встречаем философа музыки Гераклита, орфиков и пифагорийцев. «Я чту огонь», — перекликается с Гераклитом Фр. Шлегель. «Будем писать подобно трубадурам», — восклицает Ницше. «Будем вакханками», — возглашает Новалис.

Романтизм сказался на ранних творениях автора «Рождения трагедии», но в целом ему претили романтическая меланхоличность, страстность и витиеватость, пришедшие на смену классической сжатости и строгости. «Великий стиль» Корнелия и Расина был ему гораздо ближе романтического дендизма Байрона, ценимого не столько за поэзию, сколько за «сверхчеловечность».

И понятно: в «Манфреде» — уже весь «Заратустра»:

*Я презираю стадо;
Я не хочу быть вожаком и в волчьей стае.
Лев одинок — таков и я.*

А разве в самом Байроне уже не весь Ницше? «Один против всех — в жизни и в смерти, во времени и в вечности. Война одного со всеми. Все что угодно, только не действительное». Anything, but reality. Да, последний из учеников Диониса лишь договорил до конца сумрачные думы байронических скитальцев, скажет имярек.

Ницше ощущал сродство с «дивным» Гёльдерлином¹ и с ёрничающим Гейне, борцом против аскетического «назарейства» и подвижником «языческой» красоты. У Гёльдерлина Ницше вычитал и взял на вооружение мысль, ставшую лозунгом его философии: «Порочность идей и философских систем представляется мне более трагическим явлением, чем пороки реальной жизни».

В «Люцинде» Шлегеля и «Мадонне» Мундта Ницше вполне мог уловить близкие ему настроения.

Я не согласен с бертрамовской² интерпретацией творчества Ницше как мифологического романтизма, хотя «белокурая бестия» действительно несет на себе отпечаток романтической тоски по идеалу. Скорее Ницше — антиромантик, радикальный ниспровергатель устоявшихся ценностей.

И у секамбров сверхчеловек появился задолго до последнего дионисийца. И даже слово это находилось в обороте гвардейцев «Бури и натиска». Новалис видел в страдании величие, а Шиллер ввел в обращение своего идеалиста, у которого представление о человеке и человечности «столь величественное», что ему «грозит опасность презирать людей». У Шиллера сверхчеловек постоянно вертится на подмостках, принимая образы Карла или Франца Моора, Фиеско или Валленштейна.

А разве Гёте не предупреждал об опасности «чрезмерного добра»? Художник должен иметь происхождение, должен знать, откуда он взялся, говорил Олимпиец из Веймара. От Ганса Георга Гадамера мы знаем: Отшельник из Сильс-Мариин произошел от Веймарского мудреца. Не фрагментарно — целиком: и языческое восприятие жизни, и роковая героика, и сомнения в свободе и зрелости человека, и ненависть к филистерству, и «сброд людской», и «сумасшедший дом — мир», и цинизм, даже повышенный интерес к античной трагедии — все от Олимпийца-громовержца, не отличавшегося слишком лестным мнением о человеке и человечестве.

¹ Лирика «Заратустры» во многом напоминает «Гипериона» и «Эмпедокла». Однако влияние Гёльдерлина, героя отроческих лет, просматривается уже в «Рождении трагедии».

² Э. Бертрам — ученик и последователь Стефана Георге.

*Я шел всю жизнь беспечно напролом
И удовлетворял свои желанья,
Что злило, оставлял я без вниманья,
Что умиляло, не тужил о том.
Я следовал желаньям, молодой,
Я исполнял их сгоряча, в порыве.*

Фауст говорит: я похожу не на богов... я похожу на червя. И Заратустра повторяет: Вы совершили путь от червя к человеку, а многое в вас еще червь.

*Блажен, кто вырваться на свет
Надеется из лжи окружной, —*

разве эти заимствованные у Гёте слова не эпиграф к значительной части творчества Ницше?..

Ницше ощущал себя духовным наследником Гёте, видя в близкой ему атмосфере Фауста крест, смерть и могилу.

По словам Ю. Цайтлера, Ницше всю жизнь оставался верен двум божествам — Гёте и Греции, постоянно пробуждал их в себе и уподоблял себя с ними.

Гёте для него — символ целостности, вечного становления, совокупности знаний о мире, проникновения во все формы жизни. Гёте всегда был в гуще жизни, никогда не отрывался от ее корней, соединял жизненную волю, созерцание и мышление. Гёте — дионисиец, ставивший перед собою цель добиться жизненной целостности, собственным волевым усилием принудить жизнь творить его самого как целостность.

Гёте для Ницше — возвращение к природе, *восхождение* к естественности, самопреодоление восемнадцатого века.

Сильнейшие инстинкты века были ему присущи: чувствительность, обожествление Природы, антиисторичность, тяга к идеалистическому, нереальному, революционному (последнее лишь форма нереального). Он призвал к себе в помощники историческую науку, естествознание, античность, а также Спинозу, но прежде всего — практическую деятельность человека. Он окружил себя сплошными, замкнутыми горизонтами, он не отрывался от жизни, но пребывал в самой гуще жизни, он не поддавался унынию, он брал на себя, выбирал для себя, вбирал в себя столько, сколько было возможно. То, чего он желал, была *тотальная цельность*, он победил раздор между разумом, чувственностью, чувствами, волей (тот раздор, который *Кант*, антипод Гёте, проповедовал своей отпугивающей схоластикой). Он самодисциплиной добивался цельности в себе, он себя *творил*... В своей устремленной к нереальному эпохе Гёте остался убежденным реалистом — он говорил «да» всему в эпохе, что было ему в этом сродни: его сильнейшим переживанием осталось *ens realissimus* по имени Наполеон.

Гёте начертал образ человека сильного, прекрасно образованного, искусенного во всех утехх плоти, умеющего обуздать себя, исполненного

уважения к себе, человека, который вправе позволить себе всю полноту естественности, все богатства естества, который имеет довольно силы для такой свободы. Гёте начертал образ человека терпимого ко всему, но не от слабости, а от силы, ибо то, от чего посредственность гибнет, он умеет применить с пользой, человека, для которого нет ничего запретного, кроме *слабости*, как ее ни назови, пороком или добродетелью...

Гёте для Ницше — выражение самых могущественных инстинктов жизни: богатства чувств, обожествления природы, всего антиисторического. Гёте — великий дионисиец и певец жизни.

Гёте совмещал в себе силу, высокое образование, физическую ловкость; он умел сдерживать себя, умел по заслугам уважать себя; он мог позволить себе пользоваться естественностью во всем ее объеме и изобилии — его мощь давала ему на то право.

Гёте — последний немец, перед которым я преклоняюсь; его отношение к трем жизненным явлениям одинаково с моим; мы сходимся с ним и во взгляде на «страдание».

Такой ставший свободным дух стоит с радостным и доверчивым фатализмом среди Вселенной, веруя, что лишь единичное является негодным, что в *целом* все искупается и утверждается, — он не отрицает более... Но такая вера — высшая из всех возможных вер: *я окрестил ее именем Диониса*.

Гёте и Ницше почти всегда говорили об одном: «Где первый как бы случайно приподнимает уголышек завесы, обнаружив глубину, второй старается выбросить глубину на поверхность...»

Мудрость Ницше на более углубленной, сравнительно с трагизмом, стадии понимания можно определить как стремление к теургии. И отдельные места этой мудрости явно сквозят теургизмом.

По мнению Свасьяна, Гёте задал ход мысли «Несвоевременных размышлений»: «Тон задан уже самим началом книги, исконно гётевским *ceterum senso*, звучащим словно некий камертон, по которому будет настраиваться весь умозрительный оркестр рефлексии». Здесь речь идет не о воздействии определенных текстов, но влиянии духа, мировоззрения Гёте в целом: «...*гётеанизм* второго «Несвоевременного» производит ошеломляющее впечатление, прежде всего в срезе судеб становления мысли самого автора».

...Маяк Гёте никогда не переставал светить этому одинокому Колумбу познания, — присутствием Гёте овеваны практически все его поздние сочинения. Рудольф Штейнер, познакомившийся с этими сочинениями в год роковой болезни Ницше, был поражен сродством их с собственными работами (тогда еще исключительно гётеведческими, но в перспективах гётеанизма XX в.): «Независимо от него и на иных путях, чем он, пришел я к воззрени-

ям, созвучным с тем, что высказал Ницше в своих сочинениях «Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «К генеалогии морали» и «Сумерки кумиров». Уже в моей вышедшей в 1886 г. маленькой книге «Теория познания гётевского мировоззрения» выражены те же взгляды, что и в названных трудах Ницше».

Гёте — величайший германский предтеча «последнего ученика Диониса»: помимо огромного количества прямых «пересечений», в его творчестве можно обнаружить мотивы, придававшие смелости молодому дионисийцу. Гёте и сам был дионисийцем, в котором «стучала кровь», который всегда считал мир гениальнее своего гения и видел в античности не только пропорции, но и стихию: «...Мы желаем брать у античности неизмеримое». Многие его мысли сегодня вполне читаются как ницшеанские:

Мои работы не что иное, как сохраненные радости и страдания моей жизни.

Кто хочет быть всеобщим, не делается никем...

Лучшая радость — жить в самом себе.

*Суха, мой друг, теория везде,
А древо жизни пышно зеленеет!*

Кто нынче христианин, каким его хотел видеть Христос? Пожалуй, я один, хотя вы и считаете меня язычником.

Гёте видел неискоренимость борьбы, страдания, трагедии и, упреждая Ницше и вагнеровского Вотана, писал: «Где буйные силы клокочут, открыто зову я к войне».

Гёте предвосхитил Ницше идеей первичности жизни, ее самоценности и самодостаточности: «Жизнь существует просто для того, чтобы ее прожить». Ницшеанство — философия жизненности, заимствованная у Гёте. Всё, что хотел сказать Ницше — сверхчеловеком, Заратустрой, «белокурой бестией», — это производность культуры, философии, религии, этики от жизни, от жизненной мощи и жизненного разума.

Х. Ортега-и-Гассет:

Открытие имманентных жизни ценностей, совершенное Гёте и Ницше (несмотря на чрезмерно зоологический язык последнего), было гениальным предвидением будущего, событием огромного значения — открытием этих ценностей, мироощущением целой эпохи. Провиденная, возведенная гениальными авгурами эпоха наступила — это наша эпоха.

О, как был бы он счастлив, если бы знал, что «Гёте» означает: «изливающий», «производитель», «жеребец», «самец».

Ницше пошел дальше. Он не просто позаимствовал у Гёте имморализм, не просто выставил трагедию напоказ, но утвердил превосходство могущества жизни, вскрыл творческое начало борьбы для развития жизни.

Неумолимый инквизитор, безжалостно допрашивает он свою совесть о каждом своем убеждении и переживает испански-мрачное, сладострастно-жестокое наслаждение при виде бесчисленных аутодафе, пожирающих убеждения, которые он признал еретическими. Постепенно влечение к самоуничтожению становится у Ницше страстью: «Радость уничтожения сравнима для меня только с моей способностью к уничтожению». Из постоянного превращения возникает страсть противоречить себе, быть своим собственным антагонистом: отдельные высказывания в его книгах как будто намеренно сопоставлены так, чтобы одно опровергало другое; страстный прозелит своих убеждений каждому «нет» противопоставляет «да», каждому «да» — властное «нет»; бесконечно растягивает он свое «я», чтобы достигнуть полюсов бесконечности и электрическое напряжение между полюсами ощутить как подлинную жизнь.

«Душа, убегающая от самой себя и настигающая себя на самых дальних путях».

У Ницше огромное количество точек соприкосновения с Гёте, и все-таки они взаимоисключительны: по стилю жизни, по характеру горения, по духовной эволюции. Жизнь все больше умудряет Гёте: пламенный юноша становится рассудительно-деятельным мужем, затем убеленным сединами сшолархом: «Из революционера он становится консерватором, из лирика — ученым, само-сохранение сменяет юношескую расточительность».

С. Цвейг:

Ницше идет обратным путем: если Гёте стремится к достижению внутренней прочности, плотности своего существа, то Ницше всё более страстно жаждет саморастворения: как всякая демоническая натура, с годами он становится всё более торопливым, нетерпеливым, бурным, буйным, хаотичным. Даже внешние события его жизни обнаруживают направление развития, противоположное обычному. Жизнь Ницше начинается старостью. В двадцать четыре года, когда его сверстники еще предаются студенческим забавам, пьют пиво на корпорантских пирушках и устраивают карнавалы, Ницше — уже ординарный профессор, достойный представитель филологической науки в славном Базельском университете.

Взор начинающего Ницше обращен назад, в историю, в мир мертвого и прошлого; его жизнерадостность замурована в старческую манию, его задор — в профессорское достоинство, его взор — в книги и научные проблемы. В двадцать семь лет «Рождением трагедии» он прорывает первую, пока еще скрытую штольню в современность; но автор еще не снимает строгую маску филолога, и лишь первые подземные вспышки намекают на будущее — первые вспышки пламенной любви к современности, страсти к искусству. В тридцать с лишним лет, когда нормально человек только начинает свою карьеру, в возрасте, когда Гёте получает чин статского советника, а Кант и Шиллер — кафедру, Ницше уже отказался от карьеры и со вздохом облегчения покинул кафедру филологии.

Подлинный Ницше начинается лишь с момента его вторжения в современность — трагический, несвоевременный Ницше, со взором, обращенным в будущее, с чаянием нового, грядущего человека. Он вступил на путь непрерывных молниеносных обращений, внутренних переворотов, резких переходов от филологии к музыке, от суровости к экстазу, от терпеливой работы к танцу. В тридцать шесть лет Ницше — философ вне закона, аморалист, скептик, поэт и музыкант — переживает «лучшую юность», чем в своей действительной юности, свободный от власти прошлого, свободный от пут науки, свободный даже от современности, двойник потустороннего, грядущего человека. Так годы развития, вместо того чтобы сообщить жизни художника устойчивость, прочность, целенаправленность, как это бывает обычно, с какой-то страстностью разрывают все жизненные отношения и связи. Неимоверен, беспримерен темп этого омоложения. В сорок лет язык Ницше, его мысли, всё его существо содержат больше красных кровяных шариков, больше свежих красок, отваги, страсти и музыки, чем в семнадцать лет, и отшельник Сильс-Марии шествует в своих произведениях более легкой, окрыленной, более напоминающей танец поступью, чем преждевременно состарившийся, двадцатичетырехлетний профессор. Чувство жизни у Ницше не успокаивается с годами, а приобретает всё большую интенсивность: всё стремительнее, свободнее, вдохновеннее, многообразнее, напряженнее, всё злораднее и циничнее становятся его превращения.

А клейстовский «Гискар» — разве не символ силы, стоящий по ту сторону добра и зла? Разве самого Клейста, ненавидящего Наполеона, не соблазнила сила, не ищущая оправданий? А «живи опасно» — разве не от Клейста, для которого «жить с осторожностью — значит умереть, обратить во прах свою высшую жизненную силу»?

Кстати, слова «эвримен — фабричный товар природы» вполне могли быть навеяны Ницше чиновником Гофманом, сказавшим чуть иначе — *Fabrikarbeiten*, изделие фабричной работы.

А отношение к массе — ведь это от Рольфа, который говорил: «Природа повсюду жертвует массой».

Ардт, как у нас Достоевский или Вл. Соловьев, в своей «Речи о мире» заявлял, что войны необходимы, «потому что иначе мы погрузимся в ничтожность, изнеженность и лень». Ардт произнес слова, которые мы затем найдем у Ницше: Живи опасно: будь весел в смерти. *Viva salvatoribus mundi! Vac victis!*¹

Мы дали себя убаюкать и обмануть лжеучениями о чувствительном гуманизме и филантропическом космополитизме (так возвышенными иностранными словами называют это убожество), будто военной доблести мало, будто мужественность тупа и стойкость тягостна; полулень

¹ Слава спасителям мира! Горе побежденным! (Латин.).

и бабские добродетели выставляются нами как высочайшие жизненные образцы — поэтому мы и ищем тщетно те прежние достоинства.

Ладно, пусть Арндт, Фихте, Ян — «предтечи фашизма», но разве Фридрих Шлегель не проповедовал в «Люцинде» иммораль как принцип проявления индивидуальности, разве не он положил в основу морали парадокс противостояния личности нормам пекуса? «Первым проявлением моральности является оппозиция по отношению к положительным законам и условной юрисдикции». Разве Шлейермахер теоретически не оправдывал индивидуализм, когда, «направляя взор к внутреннему «я», сразу оказывался в области вечного». Вильям Ловель, герой Тика, гордился тем, что меняется, как хамелеон, а Фауст боялся остановиться, чтобы не стать рабом. А гофмановский Дон Жуан? «Глубоко презирал он общепринятые житейские понятия, чувствуя себя выше их». А Медард, отведавший эликсир дьявола, — разве не провозвестник другого героя, Леверкюна, однажды испробовавшего эликсир любви?

В диком, бешеном веселье пляшем мы над раскрытыми могилами! Так будем же ликовать! Те, что спят здесь, не услышат нас. Веселее, веселее! Танцы, клики — это шествует дьявол с трубами и литаврами.

А Бетховен — певец оргийных таинств духа с его *Durch Leiden Freude*¹?

А вся немецкая философия? Разве не Штирнер в «Единственном» во всеуслышание заявил: станьте эгоистами, пусть каждый из вас станет всемогущим «я».

Я вывожу всякое право и всякое правомочие из себя. Я имею право на все, что в моих силах. Я имею право изгнать Зевса, Иегову, Бога и т. д., если я могу это сделать.

Или:

Того, кто становится на моем пути, я пожираю, чтобы утолить голод моего эгоизма.

А Шеллинг со своим взятым у Горация девизом: «Ненавижу толпу невежд и держусь от нее вдалеке»? Разве его философия откровения не находится по ту сторону добра и зла? Разве не Шеллинг требует отбросить чуму морали, обратясь к вере, равно распространяющейся на доброе и злое.

И уж от кого нам не уйти, так это от духовного отца Ницше, правда, преданного сыном анафеме. Ведь именно Шопенгауэр, а не Неистовый Дионисиец стал Орфеем бессознательного, именно он внес в метафизику надрыв, экстаз, вдохновенность. Ницше унаследовал у Шопенгауэра слишком многое: психологичность, лиризм, личностность, благодаря которым даже самые сомнительные стороны его учения приобрели привлекательность. Философия жизни уже бы-

¹ Радость в страдании (нем.).

ла немислима без поэтичности. После Киркегора и Шопенгауэра нельзя было писать бесталанно, а Ван Гог языка, то бишь Ницше, возвел философию-поэзию в норму последующей мудрости: Сантаяна, Марсель, Мережковский, Соловьев, Бердяев, Шестов, Валери, Сартр, Камю, Ортега, Шоу, Голдинг..

Идею единства и борьбы аполлоновского и дионисийского начал жизни Ницше заимствовал у Шопенгауэра и Вагнера. Муки шопенгауэровской «воли» многими чертами напоминают искания художника Ницше, а вагнеровская демоническая музыка отражается в дионисийском духе метафизики Ницше. Пластические виды искусства (архитектура, скульптура, танец) отвечают аполлоновскому началу (фигуральное влечение духа), музыка — дионисийскому (нефигуральное влечение). Борьба двух начал — основа древнегреческой трагедии.

«Мир как воля и представление» Артура Шопенгауэра стал философским потрясением Фридриха Ницше в первый год обучения в лейпцигском университете. Он набрел на книгу в лавке букиниста. «Я не знаю, какой демон шепнул мне, чтобы я купил эту книгу. Придя домой, я с жадностью раскрыл приобретенную книгу, весь отдавшись во власть энергичного, мрачного, но гениального автора». Шопенгауэр сразу покорила неопита интеллектуальной красотой построений, тонким вкусом и широким размахом мысли. Ницше казалось, что книга написана и обращена именно к нему — так, во всяком случае, он воспринял слова об истине:

Я убежден, писал Шопенгауэр, что вновь открытая кем-либо истина или новый луч света, брошенный им на некую неизведанную область, могут поразить другое мыслящее существо и привести его в состояние радостного и вдохновляющего возбуждения; к нему обращается автор в эту минуту, с ним говорит, как это случается с родственными душами, успокаивающими нас в пустыне жизни.

Ницше буквально проглотил огромный фолиант, развенчивающий утопические химеры человечества и рисующий суровую и жестокую картину жизни. Его поразила мощь мировой воли, стоящей над разумом и управляющей миром. Как в дальнейшем не будет меняться отношение Ницше к Шопенгауэру, понятие воли войдет краеугольным камнем в его философию.

В течение нескольких недель Ницше живет этой книгой, спит несколько часов в сутки, буквально доводит себя до исступления. Идеи Шопенгауэра упали на благодатную почву, многие из них и раньше приходили ему в голову, прежде всего мысль о поиске истины, сколь бы ужасной и отвратительной она ни была. Он приемлет и мрачный шопенгауэровский мир, напоминающий ему Эсхила.

Шопенгауэр пробуждает интерес Ницше к философии, тот начинает посещать философские семинары и убеждается в правильности страстных выпадов вновь обретенного учителя против жалких профессоров. С тем большей жадностью он набрасывается на философские первоисточники.

Говоря о великом «отце» по духу, Ницше сравнивал Шопенгауэра с рыцарем Альбрехта Дюрера — рыцарем, которого не собьют с дороги его ужасные спутники, смерть и дьявол, «без надежды, но спокойно едет он вперед — один со своим конем и верною собакой». «У него не было надежды, но он хотел истины», — пишет Ницше о Шопенгауэре, подразумевая молодого себя, услышавшего первый манящий зов Диониса. Ему и Шопенгауэру «матери бытия» напевали свой соблазнительный напев, он и Шопенгауэр слышали торжественный шум «победного шествия Диониса от Индии до Греции», и оба — не свернули с пути. Их, Шопенгауэра и Ницше, вело великое сострадание и милосердие (в «Рождении трагедии» Ницше еще признавал эти слова), и они бесстрашно шли вперед.

У Шопенгауэра Ницше воспринял до крайности негативное отношение к грядущим переворотам и презрение ко всем недовольным общественным укладом жизни. Жизнь трагична в своей основе, надо стоически относиться к ее угрозам. Никакого «светлого будущего» не будет, ибо жизнь без боли, страданий, борьбы вырождается в растительное существование — это все у Ницше от Шопенгауэра.

Книга «Мир как воля и представление» произвела на него огромное впечатление. Страшен мир в изображении Шопенгауэра. Не Бог им управляет, а слепая, разрушительная Воля. Все феномены мира суть лучеиспускание этой Воли, она же неизменна и бесконечна, но раздрается на части, а поэтому страдает. Жизнь как проявление Воли — страдание; прогресс — бессмысленная выдумка философов. Ницше с жадностью проглотил все две тысячи страниц шопенгауэровского текста, развенчивающего ребяческие иллюзии человечества. Рано осиротевший, он называет Шопенгауэра «отцом». Он определяет великого пессимиста как «единственного немецкого философа XIX столетия». В своей статье «Шопенгауэр как воспитатель» (1874 г.) он также утверждает, что всегда мечтал о таком философе, которому можно было бы подчиниться и доверять больше, чем самому себе. Ницше относит Шопенгауэра к лучшим представителям человеческой расы — великим художникам, философам и святым, озаряющим темные глубины природы светом своего сознания.

Книга Шопенгауэра потрясла Ницше, перевернула его представления о мире, послужила отправной точкой собственного творческого пути, дала мощный импульс к изучению античной философии и искусства. Хотя в зрелости автор «Заратустры» разошелся с Шопенгауэром, он сохранил глубокую признательность своему крестному отцу. Юношеским восторгом дышат письма зрелого Ницше, в которых идет речь о кумире молодости: он признается в мучительно-радостном состоянии духа, напоминающем упоение музыкой, которое рождает эта философия.

Надо признать, что, называя Канта и Шопенгауэра «своим отцом» и «величайшим учителем», Ницше в «Рождении трагедии» «приспосабливает» «отца» и «учителя» довольно своеобразно, приписав им собственные идеи, весьма далекие от контекста их учений.

...Если бы Шопенгауэр прочел его сочинение, он, наверное, отыскал бы в своем неистощимом лексиконе самую отборную брань для своего «сына». С Кантом Ницше сойдется ближе во втором периоде, когда он, по своему обыкновению, выхватит из его учения одну часть, именно — отрицательную оценку Кантом сострадания и любви как этических мотивов, и отбросит его теорию категорического императива. Тогда повторится на наших глазах довольно обычное в истории мысли, а в истории этики чуть ли не постоянное, явление двух мыслителей, утверждающих одно и то же на диаметрально противоположных основаниях.

В «Рождении трагедии» Кант привлекал Ницше как создатель «вещи самой по себе», указавшей на границы познавательной способности человека. Она, по словам «сына», свела философию к «учению о воздержании», «которое не идет дальше порога и добросовестно отнимает у себя право входа».

Еще больше, чем к Вагнеру, изменилось отношение Ницше к Канту. В «Рождении трагедии» перед нами «всесокрушитель», обрушивающийся всей мощью своего гения (имеется в виду непостижимая «вещь сама по себе») на самодовольный и самоуверенный разум, успевший стать верховным судьей жизни. Кант расчистил место в философии для шопенгауэровской воли и в поэзии для Фауста Гёте, для глубочайшего понимания смысла жизни и сил, движущих ею. В «Антихристе» перед нами «кенигсбергский китаист», «роковой паук», первый декадент:

Ничто не поражает так глубоко, ничто так не разрушает, как «безличный долг», как жертва молоху абстракции... И почему только категорический императив Канта не воспринимали как *жизнеопасный!*.. Только богословский инстинкт и взял его под защиту!.. Когда к действию побуждает инстинкт жизни, удовольствие служит доказательством того, что действие было *правильным*, а для нигилиста с христианской догмой в потрохах удовольствие служило аргументом *против*... Ничто так быстро не разрушает, как работа, мысль, чувство без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без удовольствия, как автоматическое исполнение «долга»! Прямой *рецепт décadence*, даже идиотизма... Кант сделался идиотом... И это современник Гёте! Роковой паук считался — нет, все еще считается первым немецким философом!.. Ошибочный инстинкт во всем, противоестественность инстинктов, немецкий *décadence* в философском обличье — *вот вам Кант*.

«Переоценка всех ценностей» в первую очередь касалась кумиров самого Ницше. Благоговейное отношение большей частью оборачивалось глубочайшим разочарованием, «горечью обманутых надежд». Ницше был верен собственному учению: никто не должен становиться идолом: замороженность опасна — она ослепляет. Кумиры должны быть свергнуты, дабы не тормозить жизнь.

«Рождение трагедии» из духа музыки обязано Вагнеру, великому мифотворцу, выразителю страстной активности духа, мощи жизненных начал, мировой воли — всего того, что Ницше не хватало у Шопенгауэра. Музыка Вагнера молодой Ницше воспринимал как персонифицированную метафизику воли и героического пессимизма, игрища страстей и «мировой несправедливости»:

В произведениях композитора с огромной художественной силой переданы страсти, переживания лиц; в ярких, певучих мелодиях, хоровых сценах, симфонических вступлениях и эпизодах представлены их драматические коллизии («Тангейзер» — 1845 г., «Лоэнгрин» — 1850 г.). Основная идея оперы «Тристан и Изольда» (1865 г.) находится в полном соответствии с пессимистическим учением Шопенгауэра: только в смерти любящие существа могут обрести подлинное счастье. 1848 год — начало работы Вагнера над музыкально-драматической композицией «Кольцо Нибелунгов» (по скандинавскому эпосу VIII—IX вв. «Эдда» и средне-верхнегерманскому эпосу начала XIII в.). В оперной тетралогии — «Золото Рейна» (1853—1854 гг.), «Валькирия» (1854—1856 гг.), «Зигфрид» (1856—1871 гг.) и «Гибель богов» (1870—1874 гг.) — композитор как бы передал, по Ницше, философско-этические мотивы «мировой несправедливости» и ее преодоления в жизненной драме. Борьбу против власти золота призван осуществить идеальный герой, лишенный пороков современной цивилизации. Эта борьба приводит к гибели Зигфрида, а вместе с ним и к гибели всех богов германской мифологии во главе с Вотаном: «власть золота», ненасытная, вечно неудовлетворенная «воля к жизни» умерщвляют людей и богов.

С Вагнером Ницше сближает философская идея: музыка — это язык человеческих чувств и страстей. Реформатор музыкального театра борется против современного оперного спектакля с его внешне развлекательной интригой, вокальным виртуозничеством и отсутствием связи между текстом, музыкой и сценическим действием. Вагнер стремится к монументальности и философской значимости искусства и избирает темы, очищенные от конкретно-исторического и современного. Отсюда его тяготение к героическим мотивам, переосмыслению древней мифологии и средневековых легенд в синтезе музыки, текста и жеста; Вагнер называл свои произведения музыкальными драмами. По Ницше, это драматическое искусство раскрывает тайну человеческого бытия.

Во всем сущем Вагнер подметил единую мировую жизнь, пишет Ницше, у него все говорит и нет ничего немного: он погрузился в утреннюю зарю, леса, туманы, ущелья, горные вершины, ужасы ночи, блеск месяца и подметил в них затаенное желание: они тоже хотят звучать. Если философ говорит, что в одушевленной и неодушевленной природе существует воля, жаждущая бытия, то музыкант прибавляет: и эта воля на всех своих ступенях хочет бытия в звуках.

Вагнер представлялся молодому Ницше воплощением шопенгауэровской гениальности, сумевшим выразить в музыке сам дух философии мировой во-

ли. Ницше импонировала энергия вагнеровской музыки, спасающей культуру от кризиса.

Вагнер был для Ницше модернистом, радикально обновившим миф и музыку: «И художник слышал ясно веление, обращенное к нему одному, — вернуть мифу его мужественность, освободить музыку от заволаживающих ее чар и дать ей возможность заговорить».

Они оба тяготели к мифологическому мышлению, позволявшему погрузиться в архетипические глубины собственных душ и — одновременно — овладеть, упорядочить, придать эстетическую форму и смысл той необозримой панораме анархии и суетности, которая называется современной историей, выражаясь словами Т. С. Элиота.

Поэтическое творчество Вагнера Ницше истолковывает как сугубо бессознательное, мифологическое. «Поэтический элемент Вагнера, — утверждает он, — сказывается в том, что он мыслит видимыми и чувствуемыми событиями, а не понятиями, т. е. что он мыслит мифически, как всегда мыслил народ. В основе мифа лежит не мысль... но он сам есть мышление».

В четвертой части «Несвоевременных размышлений», целиком посвященной Вагнеру, Ницше противопоставляет «детям жалкого века» — «властную душу», нового Эсхила, соединившего миф и музыку, возродившего трагическое чувство и саму витальность.

Обычно отношения Ницше и Вагнера описываются как вспыхнувшее пламя, которое, перегорев, оставило душный чад: как говорится, от любви до ненависти — один шаг. Это большое упрощение реального хода событий. Во-первых, Ницше — даже в молодости, даже в годы ничем не омраченного общения со своим старшим другом, отнюдь не стоял в подобострастной стойке: сохранилось его письмо к Герсдорфу, датированное октябром 1866 года, в котором он пишет, что от чтения «Валькирии» у него осталось неопределенное впечатление: «Великая красота сочетается с меньшим безобразием и уродством, плюс и минус дают в результате нуль». В это время Ницше явно предпочитал Шумана, а о будущем друге писал: «Вагнер — это нерешенная проблема».

Отношение Ницше к Вагнеру изменилось не враз, не внезапно, а претерпело длительную эволюцию. В последние дни пребывания Вагнера в Трибшене это был уже другой человек — не герой, не первопроходец, не обновитель искусства, но — эгоист, умело приспособившийся к обстоятельствам, к успеху, к славе, увлекаемый страстями человеческими: «Он становится шовинистом с шовинистами, идеалистом с идеалистами, галлофобом, если необходимо; для одних он воскрешает трагедию Эсхила, для других оживляет древнегерманские мифы, он охотно становится пессимистом или, при желании, христианином; но все же каждую минуту он не перестает быть искренним. Этот великий руководитель человеческих сердец и великий поэт искусно подчинял своему влиянию общественное мнение своей родины».

Я не утверждаю, что Ницше и Вагнер были абсолютно несовместимы, но разделяло их очень многое. Первый — при всем своем визионерстве — часто впадал в утопии, второй отличался прагматизмом, способностью хорошо подать себя, приспособиться к вкусам публики. Ницше всегда пренебрегал общественным мнением, был склонен к эпатажу, не выбирал выражений. Вагнер остерегался крайностей, нередко предостерегал младшего друга от опасностей, которые сулят ему вызовы, бросааемые коллегам, обществу, миру. С некоторых пор, продолжая поддерживать отношения с Ницше, Вагнер сам опасался резкости и непредсказуемости его языка.

Возможно, Вагнер любил Ницше настолько, насколько он был способен любить. Окруженный слишком покорными учениками и поклонниками, Вагнер ценил пылкий темперамент Ницше, его потребность отдаваться целиком, его свободолюбивый характер. Часто Ницше сердил Вагнера, выводил его из терпения, но Вагнер обычно прощал его. Хотя Вагнер до конца не понимал, он все же угадывал трагические кризисы, переживаемые Ницше в его жизненных исканиях, и тогда с неподдельной добротой ободрял его. Но Ницше страдал от снисходительного отношения еще сильнее, он еще яснее чувствовал всю ценность того, с кем ему предстоит расстаться.

Явные признаки ухудшения отношений Ницше и Вагнера появились тотчас после переезда последнего из Трибшена в Байрёйт. Вагнер, привыкший видеть в молодом друге верного оруженосца и пропагандиста собственных идей, с раздражением и неприязнью воспринимал «шокирующую резкость» его суждений, полемический эпатаж и стремление к радикальному пересмотру моральных и религиозных ценностей старого мира. Поиск новых ценностей казался ему опасным и провокационным. Ницше, однако, все еще не терял надежды, что Байрёйт — усилиями Вагнера — станет центром возрождения европейской и мировой культуры в духе обновленных им ценностей.

По-видимому, Вагнер не выдержал испытания «медными трубами». Еще до переезда в Байрёйт он сильно изменился. Продолжая выказывать Ницше свое расположение, он утратил открытость и прямоту, в нем появились снисходительность и тираничность. Властолюбие породило в нем недоверие и подозрительность. Радикализм сменился нетерпимостью. Ницше удручали эти перемены, эти явные признаки диктата. В своих заметках этого времени Ницше писал: «Вагнер не обладает способностью делать окружающих его людей свободными и великими; Вагнер недоверчив, подозрителен и высокомерен».

Ницше удручало не столько даже изменение характера Вагнера, сколько нарастающее лицемерие, стремление творить «на потребу»: «Обнимитесь миллионы», — пел под руководством Вагнера хор байрёйтского театра. Пели хорошо, слаженно, но Ницше от этого пафоса бросало в дрожь. В «Лоэнгрине» он

слышал только поток романтической фальши и не скрывал от друзей своего отрицательного отношения к этой «поделке».

Разрыву Ницше с Вагнером приписывали самые разнообразные причины; его объясняли чисто идеальными побуждениями — непреодолимым стремлением к истине, а также мотивами, которые он сам потом называл «человечными, слишком человеческими» (*Menschliches, Allzumenschliches*). В действительности оба эти мотива переплетались, подобно тому как это было в первом периоде развития Ницше, по отношению к вопросам религиозным. Именно то обстоятельство, что он нашел полное довольство, душевный покой, что мирозерцание Вагнера мягко и гладко «облегало» его, «как здоровая кожа», — именно это побуждало его сбросить с себя эту кожу; «избыток счастья» казался ему «горем»; он опять «ранен своим счастьем». Только в этом добровольно избранном мученичестве дух его находил надежный оплот, позволявший ему вступить в борьбу со своим старым идеалом. Конечно, Ницше должен был почувствовать большое облегчение от сознания, что, если он отказывается от возвышенного и прекрасного, то вместе с тем и освобождает себя от последних уз; но все-таки это освобождение было в некотором роде лишением, и он страдал от него.

Разрыв совершился окончательно и совершенно неожиданно для Вагнера в то время когда он, работая над своим «Парсифалем», приближался к католическим идеям, между тем как Ницше очень круто перешел к позитивной философии англичан и французов. И это идейное разногласие Ницше и Вагнера не только интеллектуально разъединило их, но разорвало связь, бывшую столь же близкой, как между отцом и сыном, братом и братом. Ни тот, ни другой из них не мог никогда ни забыть этого разрыва, ни примириться с ним.

Байрёйт все сильнее тяготил Ницше: он признался, что некоторых людей предпочитает видеть издали, но не вблизи. Трещина в отношениях все ширилась, Ницше все больше ощущал себя *enfant terrible*¹ в кругу Вагнера, но — при всем своем нонконформизме — долго не находил в себе сил пойти на открытую конфронтацию.

Переломными в отношении к Вагнеру стали Байрёйтские торжества 1876 года, публика этих торжеств, «общество, от которого волосы встают дыбом!» Вагнер, перед которым Ницше благоговел, оказался окруженным тем пеклом, которого бежал философ.

То, что тогда у меня решилось, был не только разрыв с Вагнером — я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные ошибки которого, называясь они Вагнером или базельской профессурой, были лишь знаменем. *Нетерпение* к себе охватило меня; я увидел, что настала пора осознать себя.

¹ Ужасный ребенок (*франц.*).

«Человеческое, слишком человеческое» — реакция Ницше на себя прежнего, на увлечения молодости, на юношеский идеализм. Сам он назвал это «возвращением к себе», *выздоровлением*.

«Человеческое, слишком человеческое», этот памятник суровой дисциплины своего «я», с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесённому в меня «святому восторгу», «идеализму», «прекрасному чувству» и другим женственностям, — было во всем существенном написано в Сорренто...

По иронии судьбы эта книга, порожденная глубоким разочарованием в прежних идеалах, вышла почти одновременно с текстом «Парсифаля», посвященным Вагнером Ницше. Это произошло так, будто скрестились две шпаги, — комментировал Ницше. Это был вызов — не только Вагнеру, но прежней философии и самому себе, прежнему. Вот как сам Ницше определил главную идею новой книги:

«Моральный человек стоит не ближе к умопостигаемому миру, чем человек физический, — *ибо* не существует умопостигаемого мира»... Это положение, ставшее твердым и острым под ударами молота исторического познания (*Lisez: переоценки всех ценностей*), может некогда в будущем — 1890! — послужить секирой, которая будет положена у корней «метафизической потребности» человечества, — на благо или проклятие человечеству, кто мог бы это сказать? Но во всяком случае, как положение с самыми важными последствиями, вместе плодотворное и ужасное и взирающее на мир тем двойственным взором, который бывает присущ всякому великому познанию...

Объясняя причину резкого поворота к своим кумирам, он писал, что безосновательно придавал им свои собственные свойства. В «Ессе Номо» Ницше вопрошает: «Чего я никогда не прощал Вагнеру?» — и дает ответ: «Того, что он снизошел к немцам, что он сделался немцем Империи. Куда бы ни проникала Германия, она портит культуру».

Главные эстетические претензии Ницше Вагнеру — подчинение музыки идее, бесконечного — конечному, рационализация мифа, работа на потребу масс.

«Вагнер покорило юношество не музыкой, а идеей». Вагнер заменил миф словом, мифос — логосом, полноту жизни — конструкциями ума.

Мне представляется, что корни «обращения» Ницше простираются глубже эстетических переоценок. Массовость байрёйтских празднеств соединилась в его сознании с революционными статьями Вагнера, снова-таки обращенными к массовому в человеке, — и колосс пал...

Со свойственным ему максимализмом Ницше обвиняет Вагнера в творческом грехопадении, смешении искусств и ощущений, подмене прекрасного грандиозным и художественного страстным. Вагнер «словно измором берет

слушателя, твердит ему одно и то же без конца, пока тот не придет в отчаяние и не уверует». Стремясь к коммерческому успеху, заигрывая с массой и революцией, композитор-драматург наделяет мифологических героев чертами «интересных грешников» и героинь — характером мадам Бовари.

А присущая Вагнеру склонность к спекулятивным построениям, даже если дело касается темы любви! Насколько в этом отношении лучше опера «Кармен», где Бизе так естественно передал мощь любовной страсти. Основной порок Вагнера — желание покорить массовую публику, применяя грубые эффекты. У него, считает теперь Ницше, кое-что общее с другим представителем позднего романтизма — Виктором Гюго; обоих роднит влечение к театральщине, «плебейской реакции вкуса».

Ницше раздражала чрезмерная патетика Вагнера, «плебейская реакция вкуса», романтическая революционность Зигфрида, демагогическая ориентация и вместе с тем переусложненность. Бизе, в запальчивости пишет Ницше, выше Вагнера хотя бы потому, что сумел с предельной простотой и силой передать всю естественность любовной страсти, силу человеческих чувств. На самом деле он так не считает, потому что в письме Карлу Фуксу признается: «Вы не должны принимать всерьез того, что я говорю о Бизе; при моих вкусах Бизе для меня совершенно ничего не значит. Однако в качестве иронической антитезы к Вагнеру он способен производить самое сильное впечатление...»

Невзирая на все перипетии отношений с великим маэстро, при всех взаимных обвинениях и обидах, Ницше до конца сознательной жизни сохранил признательность и теплые чувства к другу молодости. Будучи уже на грани безумия, возможно, даже перейдя эту грань, в ноябре 1888 года он писал:

Когда я говорю об утешениях, которые были в моей жизни, я прежде всего хочу выразить благодарность всему случившемуся, и теперь, уже издалека, вспомнить о моей самой глубокой, радостной любви, о моей дружбе с Вагнером. Я отдаю справедливость моим последующим отношениям к людям, но я не могу вычеркнуть из моей памяти дней, проведенных в Трибшене, дней взаимного доверия друг к другу, дней радости, высоких минут вдохновения и *глубоких* взглядов... Я не знаю, чем был Вагнер для других людей, но на *нашем* небе не было ни одного облака.

На самом деле облаков было предостаточно, но в переписке последних лет жизни имя Вагнера всплывает часто и, как правило, в духе письма Ницше П. Гасту: «Я любил Вагнера и я еще люблю его».

Если взвесить все, то я не перенес бы своей юности без вагнеровской музыки. Ибо я был приговорен к немцам. Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Ну, что ж, мне был нужен Вагнер. Вагнер есть противоядие против всего немецкого *par excellence*, яд, я не оспариваю этого... С той минуты, как появилась фортепьянная партитура «Тристана», — примите мое приветствие, господин фон Бюлов! — я был вагне-

рианцем. Более ранние произведения Вагнера я считал ниже себя — еще слишком вульгарными, слишком «немецкими»... Но и поныне я ищущу, ищущу тщетно во всех искусствах произведения, равного «Тристану» по его опасной обольстительности, по его грозной и сладкой бесконечности. Вся загадочность Леонардо да Винчи утрачивает свое очарование при первом звуке «Тристана». Это произведение положительно *non plus ultra* Вагнера; он отдыхал от него на «Мейстерзингерах» и «Кольце». Сделаться более здоровым — это *шаг назад* для такой натуры, как Вагнер... Я считаю наибольшим счастьем, что я жил в нужное время и жил именно среди немцев, чтобы быть *зрелым* для этого произведения: так велико мое любопытство психолога. Мир беден для того, кто никогда не был достаточно болен для этого «сладострастия ада»: здесь позволено, здесь почти приказано прибегнуть к мистической формуле. Я думаю, я знаю лучше кого-либо другого то чудовищное, что доступно было Вагнеру, те пятьдесят миров причудливых очарований, для которых ни у кого, кроме Вагнера, не было крыльев; и лишь такой, как я, бывает достаточно силен, чтобы самое загадочное, самое опасное обращать себе на пользу и через то становиться еще сильнее; я называю Вагнера великим благодетелем моей жизни. Нас сближает то, что мы глубоко страдали, страдали также один за другого, страдали больше, чем люди этого столетия могли бы страдать, и наши имена всегда будут соединяться вместе; и как Вагнер, несомненно, является только недоразумением среди немцев, так и я, несомненно, останусь им навсегда. *Прежде всего* два века психологической и артистической дисциплины, господства немцы!.. Но этого нельзя наверстать.

Даже отношение к «Парсифалю» претерпело кардинальное изменение. Прослушав в обществе мадам В. П. прелюдию к этой опере (Монте Карло, начало 1887 года), Ницше написал П. Гасту:

Я спрашиваю самого себя: сотворил ли Вагнер что-нибудь лучше этого? И отвечаю себе, что в этой вещи сочетаются высшая правдивость и психологическая тонкость в выражении, сообщении, передаче эмоции. Налицо наиболее краткая и прямая форма; каждый оттенок, переход чувств определены и выражены с почти эпиграмматической краткостью; описательная сторона настолько ясна, что, слушая эту музыку, невольно думаешь о каком-либо щите чудесной работы. Наконец чувство; музыкальная опытность необыкновенно высокой души; «высота» в самом значительном смысле этого слова; симпатия, проникновенность, которые как нож входят в душу, — и жалость к тому, что он нашел и осудил в глубине этой души. Таковую красоту можно найти разве у Данте. Какой художник мог написать такой полный грусти и любви мир, как Вагнер в последних аккордах своей прелюдии!

Ницше не мог скрыть потрясения, вызванного кончиной Вагнера. В «Ессе Номо» мы читаем о священной минуте, когда в Венеции скончался кумир,

которому он посвятил столько колкостей... Уже стоя на грани безумия, Ницше посвящает вагнеровскому «Тристану» вдохновенно-восторженный панегирик.

Чем глубже проникала новая философия в пещерные недра души, тем ближе оказывалась к огнедышащему (дьявольскому) подполью, дремлющему в этих глубинах. Куда уж дальше: даже прирейнские амазонки, даже презренные сверхчеловеком женщины — и те оказались предтечами ницшеанства:

*В борении с огнем и громом лавр добыть!..
В страданиях — сердцам и душам закаляться!..
Тому, что говорю, не надо удивляться:
Лишь тот, кто смерть познал, способен жизнь любить!*

Катарина Грейфенберг, XVII век...

А Гейне?

Ф. Ницше:

Высшее понятие о лирическом поэте дал мне *Генрих Гейне*. Тщетно ищу я во всех царствах тысячелетий столь сладкой и страстной музыки. Он обладал той божественной злобой, без которой я не могу мыслить совершенства, — я определяю ценность людей, народов по тому, насколько неотделим их бог от сатира. И как он владел немецким языком! Некогда скажут, что Гейне и я были лучшими артистами немецкого языка.

И только ли немцы?

У Мандевилля, Вовенарга и маркиза де Сада Ницше мог позаимствовать хлесткость критики, остроту и вызов.

Ницше высоко ценил и учился афористике у французских стилистов Монтеня, Паскаля, Фонтенеля, Шамфора, Ларошфуко.

Как-то на Рождество Козима Вагнер подарила другу семьи томик Монтеня, которого Ницше раньше не читал. Ницше многому научился у великого скептика и моралиста. Для него это было весьма плодотворное, а не опасное чтение, как считал Д. Алеви. «Жизнь на земле, — писал Ницше, — стала более богатой от того, что творил такой человек. С тех пор, как я соприкоснулся с его мощным и свободным умом, я люблю повторять его собственные слова о Плутархе: «Едва только я взгляну на него, как у меня вырастает новая нога или крыло». «Я был бы с ним заодно, если бы можно было лучше устроить жизнь на земле»».

Работая над книгой «По ту сторону добра и зла», он штудировал «Мысли» Паскаля и «Пор-Рояль» Сент-Бёва. Великие французские психологи и моралисты многому научили предтечу Фрейда, но его отношение к ним было амбивалентным: Паскаль стал для него одновременно учителем и примером «порчи» великих людей поклонением «благой вести». Ницше, конечно, не прав, утверждая, что Паскаль из-за ранней смерти не успел «из глубины своей великолепной и горестной души осмеять христианство, как он успел осмеять иезуитов». В отличие от Ницше, духовная эволюция Паскаля, выстрадавшего не меньше отшельника Сильс-Марии, привела его к «Апологии христианства», которую он смог бы блестяще завершить, не оборви болезнь его страшную жизнь.

Ницше с удовольствием читал Стендаля и Мопассана, последнего считал родственным себе духовно.

Я отнюдь не вижу, в каком столетии истории можно было бы собрать столь интересных и вместе с тем столь тонких психологов, как в нынешнем Париже: я называю наугад — потому что их число совсем не мало — Поль Бурже, Пьер Лоти, Мельяк, Анатоль Франс, Жюль Леметр, или, чтоб назвать одного из сильной расы, истого латиниста, которому я особенно предан, — Гюи де Мопассан.

В книге Ж.-М. Гюйо «Опыт морали без обязательств и санкций» Ницше искал пересечений со своим имморализмом. Гюйо тоже замышлял основать новую мораль, в основу которой положена экспансия жизни, но на этом сходство кончалось, ибо Гюйо сводил силы жизни к силе любви.

А Бодлер?

Наступающий прилив демократии, заливающий все кругом и все уравнивающий, постепенно смыкается над головой последних носителей человеческой гордости, и волны забвения смывают следы этих могикан.

А Бальзак?

Есть две морали — для великих людей и для всех остальных.

Или:

Принципов нет — есть события, законов нет — есть обстоятельства.

Или:

Великий политик должен быть отвлеченным злодеем, иначе общество будет плохо управляться.

А Прудон? Разве Прудон в «Феноменологии войны» не говорит, что война есть дело великое, глубоко связанное со всем тем, что есть высокого и творческого в человечестве, с религией, поэзией, государственной истиной?

Ох, уж эти милитаристы, патриоты, поддавшиеся угару войны «реакционеры» — Достоевский, Соловьев, Сологуб, Маковский, Гумилёв, Гамсун, Маритен, Хьюм, Маринетти, Моррас, Арндт, Уэллс, Бутуль, Дали, Монтерлан, Селин, Паунд, Гауптман, Верхарн, Бергстед, Джентиле, Уэллс, Планк, Эрнст, Геккель, Дебюсси — почему и они?..

Шпенглер и Шоу разглядели в сверхчеловеке еще одно, с первого взгляда, неожиданное влияние — Дарвина. Разрыв Ницше с Вагнером связан с его переходом к другому учителю — от Шопенгауэра к Дарвину, от метафизического к физиологическому формулированию все того же мироощущения, от отрицания к утверждению воли к жизни. «Сверхчеловек» суть продукт эволюции. Заратустра, возникнув из бессознательного протеста против Парсифаля, испы-

ывал влияние последнего, являясь плодом ревности одного провозвестника к другому.

Дарвин явно приложил руку к сверхчеловеку, и французская переводчица «Происхождения видов» К.-О. Руайе углядела это:

Коль скоро мы применим закон естественного отбора к человечеству, мы увидим с удивлением, как были ложны наши законы и наша религиозная мораль.

Люди не равны по природе: вот из какой точки должно исходить.

А безобидный Карлейль с его культом героя и максимой «сила есть право»?
А вполне умеренный Бентам?

А Беньян? — Разве имморализм, согласно которому сами по себе мораль, законность и воспитанность ограничивают волю, не комментарий к беньяновскому Бэдмену, скажет Шоу.

У Стерна Ницше учился полифонии, плюрализму, многоплановости, перспективизму, полистиликтике, в Стерне видел образец раскрепощенного и свободного писателя.

Мы должны восхвалять в нем не одну какую-нибудь определенную ясную мелодию, но «мелодию бесконечную»: если только можно выразить этими словами такой стиль искусства, при котором постоянно нарушается определенная форма, рамки ее раздвигаются и она обращается во что-то неопределенное, так как, означая собою одно, она в то же время означает и другое. Стерн — большой мастер на двусмысленность... Читатель, который всякий раз хочет знать точно, что собственно думает Стерн об известной вещи, совершенно теряется и не понимает, делает ли он, говоря о ней, серьезное лицо или улыбается, потому что в выражениях своего лица он умеет изобразить и то, и другое, равным образом он умеет и непременно хочет быть в одно и то же время справедливым и несправедливым, соединить в одно целое и глубокомыслие, и шутку. Его отступления от рассказа служат продолжением и развитием фабулы; его сентенции заключают в себе в то же время и насмешку над всем сентенциозным, его отвращение от серьезного происходит от свойственной ему способности, при которой, взяв известную вещь, он не может изобразить ее только поверхностно и внешним образом. Поэтому у настоящего читателя он вызывает чувство неуверенности в себе — он сам не знает, ходит он, стоит или лежит: это такое чувство, которое близко напоминает собою парение в воздухе. Он, этот самый изворотливый из всех писателей, часть этой изворотливости уделяет и своему читателю. Стерн совершенно неожиданно меняет роли и так же скоро делается читателем, как тот становится автором; его книга похожа на театральную сцену, изображаемую на сцене, и театральную публику на сцене, на которую смотрит другая публика.

Лекции Я. Буркхардта о «смысле истории», прослушанные Ницше в 1870/71 учебном году, укрепили его в неверии в революцию и быстрый прогресс.

Вопреки социализму, будущее — учил Буркхардт — не сулит человеку райские кущи: во все эпохи человек обречен на страдание и слепоту, во все эпохи он не ведает, что творит. Из лекций старшего друга Ницше вынес то, что прикованность к прошлому снижает активность человека, что надо не болтать об истории, а действовать, преодолевать, побеждать. У Буркхардта Ницше услышал то, что знал уже сам: вопреки учению социалистов, грядущее не сулит человеку лучшего и совершенного мира — всем эпохам присуще страдание, все эпохи одинаково слепы по отношению к результатам своих дел.

Не без влияния Буркхардта Ницше начал разрабатывать трагическое содержание истории в набросках к драме «Эмпедокл», посвященной легендарному сицилийскому философу, врачу и поэту V в. до н. э. В них уже заметны явные элементы философии позднего Ницше. В эмпедокловском учении о переселении душ он нашел один из постулатов собственной теории «вечного возвращения». Сильное впечатление произвела на Ницше легенда о самообожествлении Эмпедокла, бросившегося в кратер Этны: Эмпедокл в разные годы посвящал себя исследованию религии, искусства, науки, обратив последнюю против самого себя. Изучив религию, он пришел к выводу, что она — обман. Тогда он переключился на искусство, в результате чего у него выявилось осознание мирового страдания. Рассматривая мировое страдание, он думал, что становится тираном, использующим религию и искусство, и при этом все более ожесточался. Он сошел с ума и перед своим исчезновением возвестил собравшемуся у кратера народу истину нового возрождения.

«Немецкий» круг чтения Ницше — Я. Буркхардт, Э. Гартман, Е. Дюринг, Ф. Ланге, А. Лео, Т. Моммзен, Л. Ранке, Г. фон Трейчке, А. Вольф. Идеей «воли к могуществу» Ницше обязан не столько историкам, сколько физикалистским концепциям Р. Босковича, Г. Гельмгольца, Б. Римана. Позитивистские следы — результат тайных штудий Конта, Дюринга и Ланге — проглядывают в «Человеческом, слишком человеческом», работая над которым Ницше хотел избавиться от вагнерианства. Материалистические трактаты Фохта и Бюхнера, которыми увлекалось немецкое студенчество, не могли удовлетворить Ницше. Материализм казался вульгарным философу жизни. С юношеских лет он не воспринимал и демократических идей, исповедуемых, как правило, поклонниками Фейербаха.

Большое влияние на философское развитие Ницше оказала «История материализма» Ф. Ланге. Из книги этого учителя гимназии Ницше получил представления о социал-дарвинизме, политических и экономических учениях современности, а также о новейших течениях английского позитивизма и утилитаризма.

У Ланге Ницше нашел и подтверждение собственным, еще смутным философским представлениям. Согласно Ланге, окружающий нас мир — это представление, обусловленное физической структурой человеческого

организма. Но человек не может удовлетвориться только ограниченным чувственным материалом, открываемым в опыте. Человек — духовное, нравственное существо, он нуждается и в идеальном мире, который сам же и создает. Человек — творец поэтических образов, религиозных представлений, дающих ему возможность построить в своем сознании более совершенный мир, чем тот, который его окружает. Такой идеальный мир возвышает человека над миром обыденности, вооружает его этической идеей, а ею для Ланге была идея социализма. Представление о реальном мире как алогичном, иррациональном явлении Ницше почерпнул уже у Шопенгауэра, а Ланге лишь укрепил в нем это убеждение.

Ницше высоко ценил Кёллера и Штифтера. В «Людях из Зельдвиллы» и «Бабьем лете» он находил «душевное здоровье», силу и бодрость духа, твердость и суровость жизненной позиции, ненависть к лицемерию и ханжеству, свободу от «морализма». Эрвин Роде, как-то читая с другом Адальберта Штифтера, воскликнул: «Бог ты мой, Ницше, как похожи на тебя эти юноши! Они ничем не отличаются от тебя; им недостает лишь гениальности!» Еще Ницше любил и перечитывал автобиографические повести Юнг-Штиллинга.

У Августа Вольфа Ницше вычитал и воспламенился идеей спасительности рабства: «Фридрих Август Вольф уже показал, что рабство необходимо для развития культуры. Это одна из самых крупных мыслей моего предшественника». Надо ли буквально понимать сказанное Ницше о рабстве: «Мы погибаем потому, что у нас нет рабов»? Естественно, мыслитель масштаба Ницше не мог не осознавать дремучесть идеи рабства в эпоху либерализма. «Рабство» — только символ, означающий возможность избранных философствовать и творить красоту благодаря труду «песка человечества». На обыденном языке «рабство» означает ту общественную реалию, что творец не может существовать без содержания: духовная независимость возможна, если она оплачена — «рабством», трудом людей, никакого отношения к творчеству не имеющих.

Е. Дюринг соблазнил Ницше несколькими идеями «Ценности жизни». В этой книге Ницше пришлось по душе мысль о здоровой жизни, что сама себе придает ценность. Трагизм жизни, писал Дюринг, не является чем-то преходящим, — и это тоже легло на душу читателя. Впрочем, со многим он не соглашался — с трактовками Дюрингом эгоизма, аскетизма, ценностей жизни. Больше всего его возмутила трактовка эгоизма как мнимости. Дюрингу он явно предпочел Шопенгауэра.

Интерес Ницше к Дюрингу связан, главным образом, с идеей «вечного возврата». В книге «Курс философии» Ницше вычитал мысль, что Вселенная — только калейдоскоп различных комбинаций конечного числа элементарных частиц. Количество таких комбинаций тоже конечно. Следовательно, мировой процесс можно рассматривать как циклическое повторение уже бывшего. Сам Дюринг отвергал такую гипотезу, считал, что количество комбинаций уходит в «дурную бесконечность», по словам Гегеля, но Ницше придерживался иной точки зрения. Элементарные частицы он заменил конечным количеством

квантов силы. Эти кванты, аналогичные объективациям воли в философии Шопенгауэра, находятся в состоянии вечной борьбы друг с другом, образуя при этом фиксированные сочетания — мировые картины. Но поскольку количество квантов фиксированное, то и число мировых картин конечно и они периодически повторяются: «Все становление имеет место только в рамках вечного круговращения и постоянного количества силы».

В «Биологических проблемах» А. Вольфа Ницше пытался найти обоснования своей воли к могуществу, стремления к возрастанию жизненной силы, положенного в основу его метафизики.

Ницше интересовался идеями и личностью Ж. Гобино, ученого, «научно» обосновавшего идею расизма. Кое-кто усматривает отдаленные параллели этих двух авторов, однако Ницше было за сорок, когда он познакомился с книгами Гобино, и серьезного влияния на сложившегося философа автор теории расизма оказать не мог.

Из писателей Нового Света он признавал прежде всего Эмерсона, которым зачитывался еще в Пфорте, заряжаясь радостным и чистым воодушевлением американского моралиста. Перечитывая Эмерсона в тридцатилетнем возрасте, Ницше сохранил ту же свежесть впечатлений и советовал всем своим друзьям «почитать истину» по Эмерсону:

Мир еще молод, — пишет Эмерсон в конце своих «Representative men». — Великие люди прошлого страстно призывают нас к себе, мы сами должны также писать Библии, чтобы снова соединить небеса и землю. Тайна Гения заключается в том, что он не терпит вокруг себя никакой фикции; он реализует всё, что мы знаем, неустанно требует доброй веры, соответствия с действительностью и идеалом во всех утонченных проявлениях современной жизни, в искусствах, в науках, в книгах, в самих людях; прежде же всего, и это самое главное, он учит почитать истину, проводя ее в своей жизни.

Ницше высоко отзывался о «плавном, ясном искусстве» Вальтера Скотта, книги которого часто читала ему сестра в периоды полуслепоты. Его прельщала героика и близость к жизни романов этого писателя, отвлекавшего от одиночества и дурного настроения.

А русский гений? А величайший из наших поэтов?

*И взор я бросил на людей,
Увидел их — надменных, низких,
Жестоких, ветреных друзей,
Глупцов, всегда злодейству близких.*

А «Поэт и чернь»? Разве не Пушкин проклинал правду, угождающую «посредственности холодной, завистливой, к соблазну жадной»?

— Нет!

*Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...*

Разве «нас возвышающий обман» — не сущность ницшеанства? Разве не пушкинский Сильвио демонстрировал свою неприязнь к людям, разве не лермонтовский Печорин — беспредельный байроновский демон?

Или вот это:

*Всё, всё, что гибелью грозит,
для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог...*

Экзотику России Ницше воспринимал, главным образом, через творчество Лермонтова и Достоевского. Видимо, имея в виду «Демона», он писал другу о России: «...Страна, столь незнакомая мне, и разочарованность в западном духе, всё это описано в прелестной манере, с русской наивностью и с мудростью подростка». Написанный за полвека до «Заратустры», но запрещенный русской цензурой «Демон» был опубликован в Германии раньше, чем в России, причем издание 1852 года осуществил Ф. Ботенштедт, лично знавший Лермонтова и Ницше.

«Демон» поражает той же, что и знаменитая книга Ницше, доведенной до абсурда романтикой — поэтикой одиночества, презрением к обыденной жизни, мечтой о возрождении в любви и отсутствием интереса к техническим деталям осуществления этой мечты. Автор «Заратустры», возможно, с изумлением находил в странном герое русской поэмы себя, свои мечты, тревоги и ощущаемую им вину. Мрачные символы мужского начала, извне вторгающегося в устоявшуюся женственную обыденность, герои Лермонтова и Ницше полны предчувствий «жизни новой». Наследники классических дьяволов Гёте и Байрона, оба они оказываются дальними предшественниками новых демонов русской литературы — «Бесов», Хулио Хуренито, Воланда.

Экзотика русской жизни не мешала, а скорее помогала увидеть в Лермонтове те же знакомые проблемы, что в Байроне или Новалисе.

Даже такой демофил как Великий Пилигрим — то преобразует мир человеком, противопоставленным обществу как всесторонне развитая личность, то пишет — вопреки своей ахимсе — «Хаджи-Мурата», видящего свое предназначение в насильственной борьбе с недругами, то говорит об аристократичности искусства — вопреки категориям народности и массовости собственной эстетики.

А Достоевский, пусть не сверх- — зато всечеловек, проклявший свое нутро и отвернувшийся от него — разве не его Ницше называл своим учителем? Разве не в его каторжниках находил своих сверхчеловеков? «Записки из Мертвого

дома» привлекают Ницше прежде всего стихией, бушующей в преступнике. Каково главное свидетельство Достоевского? Во всех преступниках проявляются качества, которые должны быть присущи мужчине. Узники — самая сильная и ценная часть народа...

И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего.

А подпольный человек?

«Пусть погибнет мир, но будет философия, я сам», — восклицает Ницше. Разве это не перевод на европейский: «Я скажу, чтоб свету провалиться, а чтобы мне чай всегда пить»?

А разве Версиров — не сверхчеловек, излагающий теорию спасения России аристократами духа?

Нас таких в России, может быть, около тысячи... Мы носители идеи... У нас создан веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого еще нигде нет в целом мире.

А Валковский?

Люби самого себя — вот одно правило, которое я признаю. Идеалов я не имею и не хочу иметь...

А Раскольников?

Первый разряд живут в послушании и любят быть послушными. Второй разряд, все преступают закон, разрушители...

К тому же Раскольников — по его словам — носитель высокого нравственного начала, повышенного этического чувства, обостренной реакции на страдание, и именно эта чуткость к страданию якобы и есть мотив его преступления.

А статья Раскольникова — разве она не содержит почти всего Ницше?

Все законодатели и установители, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами, все до единого были преступниками уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и отцов перешедший, и уж, конечно, не останавливались и перед кровью...

Пусть сам Раскольников — «вошь», но — как идеолог — он вполне сверхчеловечен: то, что для слабых — преступление, то для хладнокровных — признак силы. Их незначительное меньшинство, но именно они управляют.

Еще одно совпадение: бунт Раскольникова, как и бунт Ницше, — судьба слабых. Они — только теоретики, ибо чтоб стать Наполеоном, надо не рассуждать, а действовать. Есть профессии, которым не обучают...

Последний мистический символ «родства душ» — туринская катастрофа, сумасшествие Ницше, явь сна Раскольникова: «Он видит, как ее [лошадь] секут по глазам, по самым глазам! Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут... С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы...» Так у Достоевского. А так в жизни Ницше: «Выйдя из дому, он увидел старую, изнуренную клячу, засеченную до полусмерти кучером. Захлебываясь от слез, он бросился ей на помощь, обнял ее за шею и упал...»

А Ставрогин с его демонизмом? Тут Достоевский — пронизательней, глубже, его «сверхчеловек» сам признается: «О, какой мой демон? Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся». А Шатов с его «смертью Бога»?

А параллель «жизнь — страдание»?

Ну, страдают, конечно, но... все же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие; все обернулось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато.

А «Дневник писателя»?

— Господа, я предлагаю ничего не стыдиться!..

— Ах, давайте, давайте, ничего не стыдиться! — слышались многие голоса...

На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь — синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила!

А Великий Инквизитор?

Они станут рабы и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и смеху, светлой радости и счастливой детской песенке... О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить.

Ну, как? Каковы ассоциации? Теперь вы знаете, что есть провиденция?

Достоевский, пишет Аскольдов, всеми своими симпатиями и оценками провозглашает: злодей, святой, грешник, доведшие до последней черты свое лич-

ное начало, имеют некую равную ценность именно в качестве противостоящей мутным течениям все нивелирующей среды.

Да, если кто в стране рабов и восстал против одномерности, однозначности, заданности, покорности эвримена, то — Достоевский! И нечего валить на «тлетворное влияние» Ницше!

Тема «Достоевский и Ницше» беспредельна: Шестов, Мережковский, Ясперс, Манн, Цвейг... Все наши попытки разорвать эту связь смехотворны. Оба были «подпольными мыслителями» и «ясновидящими пророками грядущего хаоса», оба не скрывали своих подлинных чувств, оба воспринимали человеческое существование как страдание и боль, оба остро чувствовали «всеобщее неблагополучие» и были духовными бунтарями, переоценивающими все ценности. То же ясновидение обнаженными нервами, та же болезненно-мучительная чувствительность, та же жестокая, неумолимая и гипертрофированная правдивость, то же «дозволение греха».

Ницше повторил открытие Достоевского — выяснил опасность «прочности убеждений», «великих идей», «единственно истинной веры». Жизнь сложна и многообразна, в ней нет устойчивости, единственности, абсолютности. Жизнь движется волей к могуществу, конкуренцией, борьбой. Без проб и ошибок, без заблуждений и фикций, без безумия и абсурда она превращается в существование, тление, убогость. Без сомнений и страданий человек не может существовать. Отказаться от ложных суждений, от эгоизма и интереса, от борьбы — значит отказаться от жизни, отрицать жизнь.

Мыслить для Ницше — не «открывать истины», но терзаться, мучиться, корчиться в судорогах. Вот почему у Ницше возникли сомнения, действительно ли приемы, рекомендуемые Спинозой и иными учителями мудрости, обеспечивают единственно верный путь к истине:

Может быть, в нашем борющемся существе и есть скрытое *геройство*, но, наверное, в нем нет ничего божественного, вечно в себе покоящегося, как думал Спиноза. *Сознательное* мышление, именно мышление философское, есть наиболее бессильный, а потому относительно более спокойный и ровный вид размышления: так что именно философ легче всего может быть приведен к ошибочному суждению о природе нашего познания...

Мы все живем в сравнительно слишком большой безопасности для того, чтобы стать настоящими знатоками человеческой души, один из нас познает вследствие страсти к познанию, другой — от скуки, третий — по привычке; никогда мы не слышим повелительного голоса: «Познай или погибни».

Вот почему в молитве своей Ницше просит у небожителей безумия — безумия, рождающего новые срезы истины и новый взгляд на жизнь:

О, пошлите мне безумие, небожители! Безумие, чтоб я наконец сам поверил себе. Пошлите мне бред и судороги, внезапный свет и внезапную тьму, бросайте меня в холод и жар, каких не испытал еще ни один

смертный, пугайте меня таинственным шумом и привидениями, заставьте меня выть, визжать, ползать, как животное: только бы мне найти веру в себя. Сомнение пожирает меня, я убил закон, закон страшит меня, как труп страшит живого человека; если я не «больше», чем закон, то ведь я отверженнейший из людей. Новый дух, родившийся во мне, — откуда он, если не от вас? Докажите мне, что я ваш, — одно безумие может мне доказать это.

Почти все философские баталии связаны с борьбой двух способов познания — умозрения и откровения. Здесь не время говорить о достоинствах и недостатках каждого из них, ибо сам выбор — бессознателен и индивидуален. Страстность я всегда предпочитал логике, потому что из «логиков» вышли самые страшные, самые беспощадные учителя человечества. Единственность их логики дала им право на единственность их истины и на само учительство, «пастьбу народа». Профессор Риль справедливо говорил, что Ницше не годится в учителя: в учителя годятся «истинно верующие», «господа-мыслители» — Руссо, Гегель, Прудон, Маркс, Ленин... Им всегда легче находить учеников...

Здесь пред нами еще и две принципиально расходящиеся парадигмы: абсолютной веры и сомнения как принципа мышления и жизни. Абсолютная вера во все времена рождала фанатиков и экстремистов, способность сомневаться открыла путь многообразию мысли и жизни. Выбирайте...

Там, внизу (у людей), — говорит Заратустра, — все слова напрасны. Там видят лучшую мудрость в умении забывать и проходить мимо: это я узнал от них. И кто хочет все понять у людей, тот должен на все нападать.

Лев Шестов считал, что отказ Ницше от учителей молодости подобен отказу Достоевского от Белинского: Ницше проклинает своих учителей за то, что они погубили его юность, совратив его пошлыми и отжившими идеями. Заратустра говорит:

Такое слово я скажу моим врагам: что значит всякое человекоубийство в сравнении с тем, что вы сделали мне! То, что вы делали мне, — хуже всякого убийства; вы отняли у меня невозвратное: так говорю я вам, враги мои. Вы убили мои видения и милые чудеса моей юности. Вы отняли у меня товарищей моих, блаженных духов. В память о них я возлагаю здесь этот венок и это проклятие. Это проклятие вам — мои враги.

И Толстой, и Достоевский, и Ницше пытались выкорчевать из собственной души зло, эгоизм, «прежнюю жизнь». «Но эгоизм не только не ослабевал, а усиливался и все в новой форме предъявлял свои права: у него, как у сказочного змея, вместо каждой отрубленной головы являлись две новые».

Ницше прекрасно знал Достоевского, хотя познакомился с его книгами поздно, где-то около 1887 года. Познакомился и, по единодушному признанию Мережковского, Льва Шестова, Томаса Манна, попал в вечный круговорот мысли Достоевского. Его сверхчеловек — результат чтения, болезненно окрашен-

ное воспоминание о Достоевском, гениальная литературная реминисценция. Реминисценция!

В «Сумерках кумиров» Ницше пишет, что Достоевский принадлежит к самым счастливым открытиям в его жизни. «Это психолог, с которым я нахожу общий язык». Достоевский значил для Ницше «даже больше, чем открытие Стендаля». Он давал ему «ценнейший психологический материал» и «был единственным психологом, у которого было чему поучиться». Это естественно: философ подсознательного, психолог инстинкта, Ницше тяготел к Достоевскому, художнику бездн.

Достоевский был ему близок отсутствием страха перед ужасами жизни. «Записки из подполья» — воистину гениальный психологический трюк, ужасное и жестокое самоосмеяние принципа «*gnothi seauton*», проделанное с дерзновенной смелостью, с упоением бьющей через край силы, опьяняющее наслаждение, признается Ницше.

«Записки из подполья» Ницше ценил за исповедальность, за то, что они «написаны кровью». Подобным образом он сам писал «Ессе Ното». Подпольные люди Достоевского — герои Ницше. И слова Достоевского: «Причина подполья — уничтожение веры в общие правила», «Нет ничего святого», — как бы сказаны о философии Ницше.

И разве эта философия снова-таки не сводится к фразе Достоевского — «Что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать... а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть сознательно и бессознательно, хоть и врет, да живет»?

Само Евангелие он воспринимал как бы через Достоевского, через русскую жизнь:

Тот странный и больной мир, в который нас вводят Евангелия — мир словно из русского романа. Пророк, Мессия, будущий судья, моралист, чудотворец, Иоанн Креститель — всё это поводы, чтобы обознаться в типе... Можно пожалеть, что вблизи этого интереснейшего декадента не жил какой-нибудь Достоевский, то есть кто-нибудь, кто умел бы ощутить захватывающую прелесть такой смеси возвышенного, больного и детского.

Ницше штудировал «Бесов», выписывал фразы Достоевского, особенно поразившие его: об утрате веры, о смысле жизни, о природе самоубийства, о провокации революции... Его потрясло совпадение мнений о революционерах-социалистах, которых Достоевский тоже именовал сволочью:

Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки «передовых»... и та направляет весь этот сор куда ей угодно... Дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать всё священное, тогда как прежде и рта не смели

раскрыть, а первейшие люди... стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим образом подхихикивать...

«Сумерки кумиров» написаны в тот период, когда настольной книгой Ницше были «Записки из Мертвого дома», а «Дневник нигилиста» навеян письмом Ставрогина («Бесы»). Можно себе представить чувства Ницше, читающего у Достоевского фразу: «Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности... когда они стали преступны, то изобрели справедливость...» Я не знаю, читал ли Ницше «Сон смешного человека», но идея «вечного возвращения» представлена здесь в ее первоизданной чистоте...

У Достоевского Ницше «вычитывал» собственную жизнь и собственный характер, сочетание святой юродивости «идиота» и интеллектуального терроризма Великого Инквизитора или Антихриста. Подобная реинкарнация или метампсихоз затем происходили со многими читателями самого Ницше, держащими равнение на Заратустру, Диониса, Ариадну, сверхчеловека.

Ницше — Брандесу:

Я вижу в Достоевском ценнейший психологический материал, какой я только знаю, — я в высшей степени благодарен ему за то, что он всегда отвечает моим сокровенным инстинктам.

Ницше безоговорочно принимал слова Брандеса о соединении в Достоевском христианства с бесовством, старца Зосимы со Смердяковым:

Он великий поэт, но по строю души совершеннейший христианин и в то же время целиком садичен. Вся его мораль сводится к тому, что Вы окрестили моралью рабов.

Ницше сожалел, что эпоха зарождения христианства не имела психолога, соразмерного Достоевскому и способного «ощутить захватывающую прелесть такой смеси возвышенного, больного и детского». В отрывке под названием «Иисус: Достоевский» Ницше писал, что именно Достоевский «разгадал Христа». Он «инстинктивно уберёгся от того, чтобы представить этот тип с вульгарностью Ренана...»

Говоря о «смеси возвышенного, больного и детского», Ницше вполне мог (подсознательно!) самоотождествляться с экзотическим русским вестником, у которого болезнь тоже стала «инструментом познания», открывшим величие и бездны жизни (абсурд существования — на языке Киркегора). Достоевский интересовал Ницше как истолкователь Христа, и идея Христа-идиота явно подсказана Ницше Достоевским, так же, как Заратустра — Великим Инквизитом.

Параллельность текстов Ницше и Достоевского позволяет говорить об инвариантности, конгениальности,

Ф. М. Достоевский:

...Я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних.

Ф. Ницше:

Вы жметесь к ближнему, и для этого у вас есть прекрасные слова. Но я говорю вам: ваша любовь к ближнему есть ваша дурная любовь к самим себе... Выше любви к ближнему стоит любовь к дальнему и будущему.

Ф. М. Достоевский:

Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек.

Ф. Ницше:

Человек есть нечто, что должно превзойти... Свободен к смерти и свободен в смерти...

Ф. М. Достоевский:

...Новому человеку позволительно стать человекобогом... и уж, конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона!

Ф. Ницше:

Ну что ж! вперед! высшие люди! Только теперь гора человеческого будущего мечется в родовых муках. Бог умер: теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек!

Ф. М. Достоевский:

...Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда!

Ф. Ницше:

Перед ним открывается край, где в радостных аккордах дивно замирает диссонанс, и тонет страшная картина мира.

Ф. М. Достоевский:

Что такое живая жизнь, я не знаю. Знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтобы оно было так просто и естественно, проходя мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая.

Ф. Ницше:

Новой воле учу я людей: *желать того пути, которым слепо шел человек: и назвать его хорошим*, и больше не красться от него в сторону, подобно больным и умирающим!

Написаны тома и тома относительно того, что, произнося близкие слова, Достоевский и Ницше идейно несовместимы, антитетичны, антиподичны: «в то время как Достоевского ужасают его предвидения, Ницше они, наоборот, приводят в экстаз»; «Ницше идентифицируется со своим проектом, а Достоевский свой осуждает» и т. п. И сам Ницше считал Достоевского зорким художником, которому не хватало силы объявить изображаемую им правду вечной, объявить движителем жизни, а затем преодолеть — новой моралью и новым человеком. Достоевский впадал в болезненное, не имеющее выхода блуждание мысли современного человека и в этом уподобился своим героям. Ницше внушали отвращение *folie circulaire*, покаяния и искупления. «Преступники Достоевского были лучше него, так как обладали самоуважением». Вот почему нет ничего более противного сверхчеловеку, чем человекобог Достоевского. Первый — воля к жизни, жизненность, побеждающая саму смерть; второй — мертвенность, разрушение, смертельный исход.

И все же, мне представляется, все сказанное — только видные планы, выходящие на поверхность. Конечно, с рационалистической точки зрения Ницше и Достоевский — антиподы, а с глубинной, бессознательной, психоаналитической?.. В «Многоликом Достоевском» многое сказано о героях-проекциях души. Не буду повторяться...

Ницше и Достоевский — экзистенциальные мыслители, прямо противоположным образом преодолевающие отчаяние, но одинаково реабилитирующие человеческие качества и порывы. Оба — безбоязненные искатели смысла жизни, не страшась осуждения снобов. Их многое разделяет, но по зоркости они не уступают друг другу.

Достоевский всеми своими героями-богочеловеками с неотразимой художественной убедительностью показал, что «человеческое, слишком человеческое» в человеке неустранимо...

Не было непреодолимой пропасти, разделяющей двух великих скитальцев¹, русского писателя и немецкого философа, — НЕ БЫЛО! То, что Достоевский глубоко скрывал, Ницше бесстрашно выставлял на всеобщее обозрение! Достоевскому требовались подпольные люди, чтобы выговаривать правду жизни, Ницше пользовался прямой речью — вот вся разница. Никто лучше самого Ницше не высказал этого в предельно сжатом определении, данном философом автору «Бесов»: «глубочайший человек».

Ницше осознавал непоследовательность Достоевского, несовместимость вскрываемой им правды жизни с сюсюканьем, подполья — с ханжеством «моральки», но, тем не менее, понимал, что именно Достоевский — его предтеча, именно Достоевский начал говорить то, что договорил он, Ницше.

¹ С. Цвейг обратил внимание на тот факт, что скитания Достоевского по Европе происходили почти в те же годы и в том же убожестве, что и Ницше.

Достоевский — это единственный психолог, у которого я мог кой-чему научиться; знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни.

Он принадлежит к прекраснейшим счастливым случаям моей жизни, даже в большей степени, чем открытие Стендаля... Этот глубочайший человек, который был десятки раз прав, презирая поверхностность немцев, воспринял совершенно иначе, чем ожидал он сам, сибирских каторжников, среди которых он долго жил, сплошь тяжких преступников, для которых не было больше никакого возврата в общество, — (убедившись), что они как бы вырезаны из лучшего, прочнейшего и ценнейшего дерева, которое вообще выросло на русской земле.

Чтение Достоевского придало смелости Ницше, так что самые эпатажные мысли Ницше — результат «достоевских» штудий. Достоевский утвердил Ницше в том, что присутствие жестокости в мире тождественно изначальности зла. Если хотите, философия Ивана Карамазова, отражающая один из ликов Достоевского, аутентична философии Ницше.

Я категорически не согласен с характеристикой Достоевского и Ницше как выразителей *кризисной* культуры. Подполье — не кризис, а правда жизни, норма, спрятанная человеком от самого себя. Достоевский и Ницше и выражали то, что пытались спрятать их предшественники, именно поэтому и стали Достоевским и Ницше! Оба — «жестокие таланты»...

Шестов и Томас Манн, не сговариваясь, называли их «братьями-близнецами», «братьями по духу». Те же главные темы и проблемы — богооставленность, вседозволенность, «высшие» и «низшие», воля к власти, преступность, бесовство, масса, революция, христианство, личность Иисуса Христа. Для обоих творить — мыслить новые миры. (Камю, например, считал Достоевского и Ницше провозвестниками абсурдного мира или мира абсурда.)

Конечно, Ницше и Достоевский по-разному относились к Христу и придерживались полярных взглядов на функции этики. Достоевский воспринимал мораль как данную Богом и в исполнении категорического императива видел путь к достижению полноты жизни и постижению мировой гармонии. У Ницше мораль Священного Писания — то, что должно превозмочь, то, что препятствует жизни и процветанию на земле. А жизнь не имеет смысла, она сама смысл всего.

Конечно, Достоевский и Ницше — эталоны, символы двух разных культур: статичной культуры соборности, всемства и динамичной культуры личности, Заратустры. Нет сомнений в том, что идея сверхчеловека не могла возникнуть в России, хотя вся ее история изобилует Иванами Грозными, Петрами Великими, Лениными и Сталиными...

Говоря о Достоевском как о предтече Ницше, надо знать, что последний напроочь отрицал массу, а Достоевский, знавший куда больше о психологии масс и «сверхчеловеков», чем вся наука о них, страстно искал путь к народу и только в нем видел спасителя Руси. Достоевский близок ему подпольем, но не русской всечеловечностью и не совестью, которые больше идеология, чем правда подполья.

При всей противоречивости отношения Ницше к Достоевскому, при отрицании в нем поборника морали рабов и русского пессимизма, преобладающим все-таки является инстинкт родства, высочайшая оценка Достоевского-художника. Подпольный герой — их общее детище, как бы каждый из них к нему ни относился.

Мы видим: атмосфера была пропитана ницшеанством еще до появления Ницше. Андре Жид говорил: «Мы ждали Ницше еще до того, как его узнали; ведь ницшеанство возникло гораздо раньше появления самого Ницше». Индивидуализм и аристократизм, зачатые в глубокой древности, выпестованные Ренессансом, поставленные на ноги романтизмом, заматеренные Штирнером и накануне смерти гальванизированные Достоевским и Ницше, констатировали тот непреложный факт, унаследованный затем модернизмом, что разрушительность цивилизации, стремление к прогрессу, повергает свои собственные творения: Бога, этику, разум...

Кроме Достоевского, Ницше читал Гоголя, Тургенева, у которого, по одной из версий, заимствовал понятие «нигилизм»¹, был знаком — в небольшом объеме — с творчеством Толстого, любил русскую музыку, знал многие русские пословицы. Он был лично знаком с дочерьми Герцена — Ольгой и Натальей, пианисткой М. Ф. Мухановой, Лу Андреас-Саломе.

У Тургенева есть модернистское стихотворение в прозе «Насекомое», созвучное настроениям позднего Ницше: идеалист отказывается признать существование кружащегося вокруг него чудовища, и оно убивает его...

НАСЕКОМОЕ

Снилось мне, что сидит нас человек двадцать в большой комнате с раскрытыми окнами.

Между нами женщины, дети, старики... Все мы говорим о каком-то очень известном предмете — говорим шумно и невнятно.

Вдруг в комнату с сухим треском влетело большое насекомое, вершка в два длиною... влетело, покружилось и село на стену.

Оно походило на муху или на осу. Туловище грязно-бурого цвету; такого же цвету и плоские, жесткие крылья; растопыренные мохнатые лапки, да голова угловатая и крупная, как у коромыслов; и голова эта и лапки ярко-красные, точно кровавые.

Странное это насекомое беспрестанно поворачивало голову вниз, вверх, вправо, влево, передвигало лапки... потом вдруг срывалось со стены, с треском летало по комнате — и опять садилось, опять жутко и противно шевелилось, не трогаясь с места.

¹ Термин «нигилизм», от латин. *nihil* — ничто, Ницше позаимствовал у Поля Бурже, который, возможно, взял его у Тургенева.

Во всех нас оно возбуждало отвращение, страх, даже ужас... Никто из нас не видал ничего подобного, все кричали: «гоните вон это чудовище!», все махали платками издали... ибо никто не решался подойти... и когда насекомое взлетало — все невольно сторонились.

Лишь один из наших собеседников, молодой еще, бледнолицый человек, оглядывал нас всех с недоумением. Он пожимал плечами, он улыбался, он решительно не мог понять, что с нами случилось и с чего мы так волнуемся? Сам он не видел никакого насекомого — не слышал зловещего треска его крыл.

Вдруг насекомое словно уставилось на него, взвилось и, прикинув к его голове, ужалило его в лоб повыше глаз... Молодой человек слабо ахнул — и упал мертвым.

Страшная муха тотчас улетела... Мы только тогда догадались, что это была за гостья.

Особняком, ни на кого не похожий, не имеющий ни предтеч, ни последователей в собственной стране, но сказавший много нового, во многом упредивший Ницше, Гобино, Шпенглера, одиноким мечтателем стоял «супротив всех» К. Н. Леонтьев, остро поставивший проблему судьбы культуры, много предвидевший и от многого не сумевший предостеречь.

Не будучи жестоким человеком, он проповедывал жестокость во имя высших ценностей, совсем как Ницше. К. Леонтьев — первый русский эстет, он думает «не о страждущем человечестве, а о поэтическом человечестве»... Для него нет гуманных государств. Гуманистическое государство есть государство разлагающееся. Всё болит у дерева жизни. Принятие жизни есть принятие боли... Чистое добро некрасиво; чтобы была красота в жизни, необходимо и зло, необходим контраст тьмы и света.

К. Н. Леонтьева называли «русским Ницше» за воспевание сил жизни, бурных эпох истории, конкуренции и борьбы, а также за неистовые инвективы в адрес либеральных и социалистических идеологов. Прочтя одну из первых русских статей о Ницше, В. Розанов воскликнул: «Да это же Леонтьев, без всякой перемены». Впрочем, «перемена» была: Леонтьев преклонялся перед византийским христианством и восточным деспотизмом.

«Эстетический аморализм», «трансцендентный эгоизм», восхваление Возрождения (совершенно так же, как у Ницше прославляются — героизм, трагедия и даже «демонизм» эпохи Возрождения) — все это определяет Леонтьева как прямого предшественника Ницше. Как верно заметил Джордж Клайн, Леонтьев даже очень близко подошел к идее «сверхчеловека».

Сам В. Розанов попал под влияние К. Леонтьева задолго до знакомства с Ницше. Как они оба, он был противником омассовления, уравнительного принципа, социалистических идей, а в критике христианства пошел дальше Ницше. Стиль книг Розанова уже вполне ницшеанский — афористически фрагментарный.

Индивидуализм и адогматизм Розанова не сближали его с Ницше, но удаляли от него: неправильно поняв имморализм как brutальное отрицание нравственности, автор «Уединенного» писал, что о нравственности нельзя судить как о вещи, нельзя ставить под вопрос ее необходимость — «Можно ее отрицать, но пока дело не коснулось нас в жизни».

Ницше не был знаком с текстами К. Н. Леонтьева, поразительно — вплоть до интонации — совпадающими с его собственными:

Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский или немецкий буржуа в безобразной комической одежде своей благодушеествовал бы индивидуально и коллективно на развалинах всего этого прошлого величия... Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки.

Леонтьев тоже отрицал универсальность морального мерил и в своих этических исканиях тоже исходил из имморализма, позиции «по ту сторону добра и зла».

К. Н. Леонтьев был человеком иного времени, иной культуры и иной земли. Ренессансный, даже средневековый человек, он был рыцарем, аристократом, русским Дон Кихотом, создавшим неведомый России культ женщины, культ личности и культ красоты. Он принадлежал к тому редкому на Руси типу людей, которые «больше думали о *развитии* собственной личности, чем о пользе людей».

К. Н. Леонтьеву принадлежит идея прекрасного как максимально разнообразного: жизненно и прекрасно лишь общество, основанное на многообразии, стратификации, дифференциации, неравенстве. Унификация, эгалитарность, равенство смертельны для общества, ибо убивают саму жизнь.

Нам есть указание в природе, которая обожает разнообразие, пышность форм, наша жизнь по ее примеру должна быть сложна, богата. Главный элемент разнообразия есть личность, она выше своих произведений... Многосторонняя сила личности или односторонняя доблесть ее — вот более других ясная цель истории; будут истинные люди, будут и произведения!

Человек «нестерпимо сложных потребностей», К. Н. Леонтьев не терпел «среднего человека», мещанства, пошлости буржуазной жизни, морализма и «любви к человечеству». Он любил конкретных людей, много делал для своих близких, но впадал в неистовство, когда слышал о «вселенской любви» вместо «возлюби ближнего своего». Он был «реакционером», но гораздо более свобод-

ным, чем все «прогрессисты» и «революционеры» вместе взятые. И в отличие от них, ясно осознавал роль боли и страдания в человеческой культуре:

Страдания сопровождают одинаково и процесс роста и развития, и процесс разложения. Все болит у древа жизни людской...

Как искупительны страдания Христа, так и человеческие страдания имеют смысл, непостижимый в пределах земной жизни, но необходимый для самой жизни. Все христианские мыслители, пишет Леонтьев, находили, что зло, обиды, горе в высшей степени *полезны*, даже необходимы. Уничтожить страдания и боль — значит уничтожить жизнь.

С христианской точки зрения можно сказать, что воцарение на земле постоянного мира, благоденствия, согласия, общей обеспеченности и т. д., т. е. именно того, чем задался так неудачно демократический прогресс, было бы величайшим бедствием в христианском смысле.

Милосердие, доброта, справедливость, самоотвержение, всё это только и может проявляться, когда есть горе, неравенство положений, обида, жестокость.

Добро нуждается во зле, совершенство — в несовершенстве. Леонтьев не терпел морализма, ибо видел в нем подмену религиозных начал гуманистическими.

Н. А. Бердяев писал, что Леонтьев был добрым и мягким человеком и жестоким и суровым социологом. Ибо общество, как и органическая природа, живет разнообразием, конкуренцией, антагонизмом и борьбой. «Прогресс равномерного счастья» невозможен и готовит лишь почву для еще большего неравенства и новых страданий.

Благоденствие земное — вздор и невозможность; царство равномерной и всеобщей человеческой правды на земле — вздор и даже обидная неправда, обида лучшим. Божественная истина Евангелия земной правды не обещала, свободы юридической не проповедовала, а только нравственную, духовную свободу, доступную и в цепях...

В обличении равенства и однообразия Леонтьев поднимался до пафоса Заратустры, которого своим творчеством упредил:

О, ненавистное равенство! О, подлое однообразие! О, треклятый прогресс! О, тучная, усыренная кровью, но живописная гора всемирной истории! С конца прошлого века ты мучаешься новыми родами. И из страдальческих недр твоих выползает мышь. Рождается самодовольная карикатура на прежних людей; *средний рациональный европеец*, в своей смешной одежде, *неизобразимой* даже в идеальном зеркале искусства; с умом мелким и самообольщенным, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью! Нет, никогда еще в истории до нашего времени не видал никто такого уродливого сочетания умственной гор-

дости перед Богом и нравственного смирения перед идолом однородного, серого рабочего, только рабочего и безбожно-бесстрастного всечеловечества! Возможно ли любить такое человечество?..

Леонтьев потому и не мог смолоду «терпеть бесцветности, скуки и буржуазного плебейства», что видел в современной ему Европе не раскрытие личностного начала, а торжество «среднего человека». Оттого вся его любовь отдана не современному Западу, а Западу средневековому, рыцарскому, безвозвратно ушедшему:

В жизни европейской было больше разнообразия, больше лиризма, больше сознательности, больше разума и больше страсти, чем в жизни других, прежде погибших исторических миров. Количество первоклассных архитектурных памятников, знаменитых людей, священников, монахов, воинов, правителей, художников, поэтов было больше, войны громаднее, философия глубже, богаче, религия беспримерно пламеннее (напр., эллино-римской), аристократия резче римской...

Равенство чревато однообразием, однообразие — признак дряхлости, умирания, смерти. Предсказывая до Шпенглера закат Европы, Леонтьев главной причиной заката видел усиливающееся стремление к идеалу однообразной простоты. Русский де Местр, он считал однообразие антисоциальным и признавал единственную мораль — могущества, дерзания, красоты, силы. Однообразию, равенству, царству окончательной правды он предпочитал драматизм истории с ее борьбой, конкуренцией, контрастами, светом и тьмой, добром и злом. И спасения он искал личного, а не мирового.

На излете европейского просветительства русская идея питалась рационализмом картезианства и гуманизмом Возрождения. На смену Гегелю уже пришли Шопенгауэр и Киркегор, а русские писатели все еще «пасли народы» и пели гимны человеку и человечеству. К. Н. Леонтьев, один из всех противостоящий «вере в человека», в брошюре «Наши новые христиане, Достоевский и граф Л. Н. Толстой» писал, что «гордо-своевольная любовь к человечеству может довести обоих великих писателей «до кровавого нигилизма». Это было некоторое преувеличение, но не в глубинном смысле: сегодня мы знаем, что революции споспешествуют не только отрицание и разрушительные призывы, но, иногда, не в меньшей мере, «дух реакции» — «вторая щека», ксенофобия, «патриотизм», мессианство, просто «Идея». Та, о которой сам Достоевский говорил: «идея съела»...

Первый русский философ жизни, Леонтьев писал: «Поэзия жизни обворожительна, мораль очень часто — увы! — скучна и монотонна...» Леонтьева отталкивал морализм русской литературы, убивающий цветение жизни и культуру. Леонтьев поднимался до настоящего пафоса в обличении утилитаризма, плебейского прагматизма и любых проявлений стадности.

Константин Николаевич Леонтьев охладил восторги русской общественности по поводу вселенской любви русских: нельзя любить человечество, можно

любить лишь отдельных людей — так словами Свифта отреагировал он на восторженно встреченный призыв Достоевского ко всемирной любви.

Подобно библейскому вопрошанию: «Не лобзанием ли предаешь Сына Человеческого?» — Леонтьев в очередной раз поставил под вопрос благость морализма: «*Любя человечество, не предаешь ли человека?*»

Искушая публику любовью к человечеству, Достоевский искушал ее тем бесовством, с которым боролся, ибо, говоря словами Гартмана, если бы идеальная цель, преследуемая прогрессом (тотальная любовь и тотальное благоденствие), осуществилась, то человечество достигло бы степени *нуля* или *полного равнодушия* всех ко всем.

Пафос отповеди Леонтьева Достоевскому — в отрицании личной, персональной любви любовью общественной и в антихристианской подмене личного примирения примирением общественным.

Христос... ставил милосердие или доброту — *личным идеалом*; Он не обещал нигде торжества *поголовного братства на земном шаре*... Для такого братства необходимы прежде всего уступки со всех сторон. А есть вещи, которые *уступать нельзя*.

Пророчество всеобщего примирения людей во Христе не есть православное пророчество, считает Леонтьев, а больше даже пророчество еретическое, ибо в Божественной Книге нигде не говорится о всеобщей любви и всеобщем мире, а лишь — об искушении и прельщении людей ложью:

Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят.

К. Н. Леонтьеву были чужды идеи уравнительности и справедливости социальной жизни. Он знал одну правду — многообразие. «Красота и цветение культуры были для него связаны с разнообразием и неравенством».

К. Леонтьев в своем отношении к государству — антипод славянофилов. Он признает, что у русского народа есть склонность к анархии, но считает это великим злом. Он говорит, что русская государственность есть создание византийских начал и элемента татарского и немецкого. Он тоже совершенно не разделяет патриархально-семейственной идеологии славянофилов и думает, что в России государство сильнее семьи. К. Леонтьев гораздо лучше понимал действительность, чем славянофилы, имел более острый взгляд.

Хотя К. Н. Леонтьев отстаивал византизм — пышную и обильную жизнь Востока, он был более европейцем, чем византийцем или русским. Более того, его вполне можно назвать славянофобом, даже русофобом. Он гораздо больше любил греков и турок, чем славян, он приветствовал турецкие гонения на христиан: «Пока было жить страшно, пока турки часто насильовали, грабили, убивали, казнили, пока в храм Божий нужно было ходить ночью, пока христианин

был собака, он был более человек...» Туретчина подхлестывала и активизировала жизнь, предохраняла от однообразия и мещанства.

К. Н. Леонтьев не принимал ни панславизм, ни «русскую идею». Полностью свободный от национализма и народопоклонства, он не верил в русский народ, как, впрочем, в любой народ, подозрительно относясь к массе как к стихии. Идея, рыцарство, красота, вера, церковь — все было для него важнее народа и даже «всякой России»:

Я не понимаю французов, которые умеют любить *всякую* Францию, и *всякой* Франции служить... Я желаю, чтобы отчизна моя достойна была моего уважения, и Россию *всякую* я могу разве по *принуждению* выносить.

Он ясно видел отрицательные черты народа, обличал зависимость церкви от государства и пророчески предсказал грядущую Россию, которую уже нельзя будет любить.

У Леонтьева гораздо больше, чем у Чаадаева, обличительных строк в адрес собственной страны, будущее которой он так ясно провидел и от которого этими строками предостерегал. Его русофобия — результат страстного желания предостеречь народ и страну от жуткого падения, от социализма, от антихриста. Я вообще считаю, что ненависть к собственной стране невозможна — возможно или абсолютное безразличие к ее судьбам, присущее большинству, или «русофобия» леонтьевского толка — огромная щемящая боль.

Безошибочным чутьем «реакционера» Леонтьев чувствовал приближение нового рабства, предсказал перерождение социализма в жуткую тиранию, в жестокое подчинение, в полное подавление личности.

Социализм теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере *для некоторой части человечества*. Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным, сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя... законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже, принудительнее, даже *страшнее*.

К. Н. Леонтьев раньше Достоевского и Вл. Соловьева почувствовал беду, надвигающуюся на Россию. У него было «катастрофическое чувство наступления новой эпохи» — но не Христа, а антихриста.

Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всесмешения и — кто знает? — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой веры, — и мы, неожиданно, из наших государственных недр, сперва бессловных, а потом бесцерковных или уже слабо церковных, — родим антихриста.

Глубокий знаток своего народа, Леонтьев понимал, что со своей тягой к крайностям, со своим максимализмом, русские не остановятся на умеренных, либеральных и легитимных формах, а обязательно доведут до антихристового предела.

Воспитывать наш народ в *легальности* очень долгая песня; великие события не ждут окончания этого векового курса! А пока народ наш понимает и любит *власть* больше, чем *закон*. Хороший «генерал» ему понятнее и даже приятнее хорошего параграфа устава.

Молодость наша, говорю я с горьким чувством, *сомнительна*. Мы прожили много, *сотворили духом мало* и стоим у какого-то страшного предела.

Оригинален наш русский психический строй, между прочим, и тем, что до сих пор, кажется, в истории не было еще народа *менее творческого, чем мы*. Разве турки. Мы сами, люди русские, действительно весьма оригинальны психическим темпераментом нашим, но никогда ничего действительно оригинального, *поразительно-примерного вне себя создать до сих пор не могли*. Правда, мы создали великое государство; но в этом царстве почти нет своей *государственности*; нет таких своеобразных и на *других влияющих* своим примером внутренних политических отношений, какие были в языческом Риме, в Византии, в старой монархической Франции и в Великобритании.

Может быть, в этом и есть значительная доля *очень печальной* для славянского самолюбия правды: дисциплина нашей церкви происхождения вполне византийского; немцы до сих пор еще учат нас порядку; а татарской крови, как известно, течет великое множество в жилах того дворянства русского, которое столько времени стояло во главе нации нашей... Быть может, кто знает, *если бы не было всех этих влияний*, то и всеславянское племя, и русский народ, в частности взятый, из буйного безначалия перешел бы легче всякого другого племени или нации в *мирное безвластие*, в организованную, *легальную анархию*.

Все великое и прочное в жизни русского народа было сделано почти искусственно и более или менее принудительно, по почину правительства.

Боже, патриот ли я? Презираю ли или чту свою родину? И боюсь сказать: мне кажется, что я ее люблю как мать и в то же время презираю, как пьяную, бесхарактерную до низости дуру.

К. Н. Леонтьев не видел в русских людях ни той морали и любви, которые приписывал им Достоевский, ни сильной веры, ни самобытности.

Будучи человеком глубокой и искренней веры, кончив свою бурную жизнь монастырем, русский де Местр и Ницше в одном лице никогда не переоценивал ни православие, ни русскую церковь, ни религиозность русского народа.

Когда речь идет о развитии, о своеобразии, о творчестве культурно-религиозном, я не могу не видеть, что после разделения церковью православие в Византии остановилось, а в России (и вообще в славянстве) было принято оттуда без изменения, т. е. без творчества. А европейская культура именно после этого разделения и начала выделяться из общевизантийской цивилизации. В истории католичества что ни шаг, то творчество, своеобразие, независимость, сила.

К. Н. Леонтьев считал западные народы более одаренными и дисциплинированными, чем русский народ. Он не верил во внутреннюю силу любого наро-

да и особенно собственного, признавая лишь начала, идущие сверху: «У нас что крепко стоит? Армия, монастыри, чиновничество и, пожалуй, крестьянский мир. *Все принудительное*. Убери принуждение — и вчерашние рабы «потребуют для себя как можно побольше земли и вообще собственности и как можно меньше податей». «За свободу же печати и парламентских прений он [наш народ] не станет драться». Интуиция Леонтьева порой поразительная:

...Социализм рано или поздно возьмет верх, но не в здоровой и безобидной форме новой и постепенной государственной организации, а среди потоков крови и неисчислимых ужасов анархии.

Церкви и монастыри еще не сейчас закроют: лет двадцать, я думаю, еще позволено будет законами русским помолиться.

Главную беду России и главную угрозу ее будущему К. Н. Леонтьев видел в отсутствии личного начала — коллективизм, «соборность» препятствовали не только развитию культуры, но и нормальной истории, государственности, многообразия.

Лишь малочисленные консерваторы, я бы сказал — реакционеры, стоящие на самом краю политического спектра, адекватно воспринимали российскую реальность, требуя не равенства, а «достоинства в смирении». Всеобщее уравнение, пророчествовал Константин Леонтьев, приведет русское общество не к либерализму и демократии, а к бессловному и бесцерковному государству и подготовит путь антихристу, пришествие которого он предрекал к концу XX века (мы видим, даже консерватизм наш оптимистичен). Разглагольствованию либералов Леонтьев противопоставлял развитое стратифицированное общество, опирающееся на иерархию и естественно сложившуюся сословную структуру: «Сами сословия или, точнее, сама неравноправность людей и классов важнее для государства, чем монархия». Если русский народ хочет быть великим народом, писал российский Парето, он «должен быть ограничен, привинчен, отечески и совестливо стеснен», поскольку «при меньшей свободе, при меньших порывах к равенству прав будет больше серьезности», а значит, и больше «достоинства в смирении», без которого народ станет, «сам того не замечая, народом богоборцем, и даже скорее всякого другого народа, быть может».

Мы потому не любим историю, историческую ретроспективу, что именно пророчества «циников» и «аморалистов» оказываются верными, именно ненавистные нам «реакционеры» оказываются реалистами и плюралистами, именно «антигуманисты» — вестниками, пророками, визионерами. Нам говорят об «историческом сатанизме» Константина Леонтьева; что ж, послушаем этого «сатану»:

Нам есть указания в природе, которая обожает разнообразие, полезность форм; наша жизнь по ее примеру должна быть сложна, богата... Не в том дело, чтобы не было страданий, но чтобы страдания были высшего разбора, чтобы нарушение закона происходило не от вялости или грязного подкупа, а от страстных требований лица... Прекрасное — вот

цель жизни, и добрая нравственность и самоотвержение ценны только как одно из проявлений прекрасного, как свободное творчество красоты.

Любить мирный и всемирный демократический идеал — это значит любить пошлое равенство, не только политическое, но даже бытовое, почти психологическое... Идеал всемирного равенства, труда и покоя?.. Избави боже! Необходимы страдания и широкое поле борьбы!

Чего бояться борьбы и зла?.. Нация та велика, в которой добро и зло велики. Дайте и злу, и добру свободно расширить крылья, дайте им простор... Зла бояться? О боже! Да зло на просторе родит добро! Не то нужно, чтобы никто не был ранен, но чтобы были раненому койки, доктор и сестра милосердия...

К. Н. Леонтьев говорил то же, что затем Ницше, Парето и Моска: что необходима сильная элита, что для величия родины и нации необходима конкуренция, что в мире не существует никаких абсолютов, в том числе абсолютов истины, добра и красоты. Существует реальный человек с реальными человеческими качествами — существо максимально естественное и тем более интересное и красивое, чем более разнообразно и выразительно. Дайте человеку возможность свободно и законно конкурировать — и вы увидите, как из личного эгоизма вырастет общественный альтруизм с его милосердием, «койками, докторами и сестрами». Вот почему «зло на просторе родит добро!»

Не оттого ли, что для многих поколений русских интеллигентов все это называлось цинизмом, аморализмом и сатанизмом, и сидим в...

Внимание! У Ницше есть еще один исток, может быть, самый главный: социалистическая идея. Ницшеанство — реакция на нее, не будь этой идеи, не было бы Ницше.

Социализм имел результатом Ницше, т. е. протест личности, которая не хочет исчезнуть в анонимате, против нивелирующей и все захватывающей массы; восстание гения, отказывающегося подчиниться глупости толпы, и — в противоположность всем великим словам о солидарности, равенстве и общественной справедливости — смелое и парадоксальное провозглашение того, что только сильные имеют право на жизнь и что человечество только затем и существует, чтобы время от времени производить нескольких сверхчеловеков, которым все другие должны служить рабами.

Здесь Плеханов сгустил краски, но начало — бесспорно: сверхчеловек понадобился Ницше, чтобы противостоять все усиливающемуся напору этого самого «анонимата».

Трагедия в том, что вся культура вела не только к плюрализму, но и к множеству собирателей фиг с чертополоха — прежде всего к нам, своей практикой доказавшим, что на почве, унавоженной химерическом равенством, из дьявольских зерен человеческой ничтожности вырастают в огромном количестве микро-сверхчеловеки, неотличимые от своих антиподов — сподручных бесноватого.

Инструкторы героизма, они хотели царства Грааля, но кто виноват, что получилось — Клингзора?..

АПОЛЛОН И ДИОНИС

Все существующее и справедливо и несправедливо и в том и в другом случае равно право.

Ф. Ницше

Обращение начинающего писателя к античной трагедии не случайно — вся немецкая культура глубоко пропиталась идеями эллинизма. Это был второй ренессанс античности, возвращение к культурным истокам, к «золотому веку» юности человечества. Нонконформизм Мифотворца выразился не в отказе от культурных поветрий времени, но в пересмотре их содержания. Вызов, брошенный Ницше профессорам, состоял в тотальной переоценке древнегреческого «рая», в демонстрации его темных дионисийских стихий.

Винкельмановской трактовке античности (кстати, воспринятой Гёте и Шиллером), которая основывалась на скульптурных интуициях, Ницше противопоставил понимание аттической жизни в музыкальном ракурсе: музыка озвучивала все размышления философа о судьбах античной культуры.

Там, где традиция усматривала в античных образцах совершенство, «высокую простоту», строгость, величавое спокойствие, идеальный образ мыслей, Ницше обнаружил инстинкт, волю к могуществу и трепет перед неукротимой силой этой воли. Позже, в «Сумерках кумиров», он признался, что только глубокое понимание психологии уберегло его от следования традиции — изображения аттической жизни в духе пасторалей Ватто или утопических химер Руссо.

Еще находясь под влиянием Шопенгауэра, Ницше заимствует в «Рождении трагедии» мысль о том, что искусство служит выразителем идей как вечных форм объективизации воли. Художник созерцает явление как чистый объект и самого себя в момент созерцания — как чистый субъект познания, свободный от мира, с которым он тесно связан. Именно благодаря этому человек искусства способен раскрыть то, что у Шопенгауэра зовется волей.

Греция была только предлогом и примером, той классикой, с помощью которой гипербореец начал обкатку своих модернистских взглядов: «Греция выростала в гигантский предлог... к философии Фридриха Ницше». Возможно, он сам еще не сознавал, что этой «филологической» книгой открывается новая эпоха человеческой мысли, окончательно отказавшейся от своей собственной «незыблемости».

Занятия греческой древностью не только пробудили в Ницше сознание своего внутреннего стремления и первую мысль о цели своих сокро-

венных влечений, но они указали ему также дорогу, по которой он мог бы приблизиться к этой цели. Изучение классической древности раскрыло перед ним всю картину древнеэллинической культуры и те образы забытого искусства и религии, из которых оно черпало свежую, полную жизнь. Таким образом, филологическая ученость лишается своего крайнего формализма и ведет его к исследованиям исторического, эстетического и философского характера.

В «Рождении трагедии» в неявном виде содержались идеи его будущих произведений; в частности, в свертке находилась тайная мысль о Дионисе как потенции Христа. Собственно, само обращение к Греции скрывало пристальный интерес Ницше к современности, к современным институтам, к церкви, к христианской морали, к авторитаризму нероформированной христианской культуры.

Главный материал трагедии — стародавние мифы о дионисийском познании — мифы о Прометее, Оресте, Эдипе, о смысле жизни и содержании трагического искусства. Задача гения сродни задаче творца мироздания — творение прекрасного ценой вечной муки, ибо мудрость и знание покупаются путем нарушения всех законов, всего общепринятого, всего созданного ранее. Задача гения — постичь жизнь, разорвать цепи, стать выше мира и богов.

Трагедия, следовательно, является выражением дионисийского душевного состояния, переложеного и приспособленного в некотором роде для зрительского и умственного восприятия посредством аполлоновского образа. Она кончается обыкновенно смертью героя и тем не менее дает нам отрадное чувство утешения, поскольку жизнь героя продолжается в нас самих; мы проникаемся сознанием вечной жизни, которая, погибая в одном индивидуе, неизбежно возрождается в других. «Метафизическое утешение всякой истинной трагедии, — говорит Ницше, — то утешение, что жизнь в основе вещей, несмотря на всю смену явлений, несокрушимо могущественна и радостна; это утешение с воплощенной ясностью является в хоре сатиров, в хоре природных существ, неистребимых, как бы скрыто живущих за каждой цивилизацией и, несмотря на всяческую смену поколений в истории народов, пребывающих неизменными». Трагедия возвышает нас над индивидуом, над всем, что временно и преходяще: она побеждает присущий всякому индивиду страх времени и смерти. И это ее значение было понято в Древней Греции.

Основа онтологической философии трагедии — в признании темной стороны жизни, в постижении ее приоритета.

Ницше не только не стремится устранить из жизни все загадочное, таинственное, трудное и мучительное, но ищет всего этого. В законах природы, в порядке, в науке, в позитивизме — залог несчастья, в ужасах жизни — залог будущего.

Не следует отрешиваться от опаснейших чудовищ — только признав их существование, только научившись жить рядом с ними, можно надеяться постичь

правду жизни, преодолеть извечную утопию, обрести силы не в прекраснотушной надежде, но в полноте бытия. Шопенгауэровский алармизм, утопический оптимизм должны быть преодолены ясным сознанием, не строящим никаких иллюзий, видящим опасности, не желающим фальши, — героической способностью овладеть исторической (трагической) ситуацией и обеспечить успех.

«Рождение трагедии» — первая проба пера и одновременно «коперниковский переворот» в филологии, аналогичный «Критике чистого разума» в философии:

Надо вспомнить центральный вопрос кантовской «Критики» — «Как возможны синтетические априорные суждения?» — никогда еще до этого не задававшийся в философии, хотя именно на указанных суждениях и покоилась вся логика естественнонаучного познания, и перенести — *mutatis mutandis* — этот вопрос в сферу филологии, где он получил бы единственно адекватную формулировку: «Как возможна Греция?» — именно таковой, хотя и без кантовской терминологии, окажется *философская* интенция «Рождения трагедии». Пафос «Критики чистого разума» трансформируется здесь в «Критику чистой Греции», ибо едва ли стоило бы специально оговаривать такую очевидную параллель, как релевантная идентичность филологической «Греции» и логико-методологических «синтетических априорных суждений». Указанная трансформация метода со временем станет привычной процедурой — Кассирер и Леви-Стросс применяют ее к мифу, Юнг — к бессознательному, а, скажем, Э. Ласк — к самой кантовской философии; следует, однако, отметить, что в случае «Рождения трагедии» она носит исключительно *формальный* характер, так что о *содержательной* аналогии с Кантом не может быть и речи. Возможность ницшевской «Греции» конституировалась в существенно ином ключе; здесь догматически-классической парадигме «чистого» эллинского мира, изживающего свой художественный гений, казалось бы, в кредит и в назидание будущим поколениям, противопоставлен иной образ Греции — критический, кризисный, во всех смыслах «нечистый», поскольку скрывает за потемкинским камуфляжем достижений свирепый разгул хаоса и неменяемости.

Позже, после разрыва с Вагнером, Ницше назовет свой первый опыт «невозможной книгой», выражая тем самым недовольство своими юношескими увлечениями, помешавшими «Рождению трагедии» стать первым «Несвоевременным размышлением». Досада на себя 26-летнего была напрасной:

«Рождение трагедии» в этом смысле оказывается как бы камертоном, задающим тон, темой тем ницшевской философии и — что примечательнее всего — чисто *христианской* темой, на фоне которой камуфляж текста обнаруживает *двойное дно*: Кант, Шопенгауэр и Вагнер в отношении эллинства, но и само эллинство в отношении христианства. Не случайно, что раскавычивание книги в последних сочинениях Ницше (в последних днях его сознательной жизни) уже прямо связано с устранением на этот раз эллинской «примеси» и стоянием один на один с христологической

проблематикой: тексты «Антихриста» и «Ессе Номо» с этой точки зрения воспроизводят «Рождение трагедии» в редуцированной очищенности темы от смысловых и исторически неизбежных опосредований.

«Рождение трагедии», как тема тем ницшевской мысли, оказывается в этом свете настоящим ключом к расшифровке всего его творчества, которое выглядит уже не иначе как сплошной родовой мукой в условиях лихо разыгрываемого водевиля позитивистической современности.

Возвышенной метафизической целью трагического мифа было, согласно Ницше, облагораживание и просветление реальности: оправдание всего существующего, охрана движущих сил жизни, катарсис, констатация неумолимости судьбы. Именно в мифологии трагическое представало человеку как необходимое и естественное, космически-непреодолимое. Непреложность неведомого, обозначаемая как дионисийское, оборачивалась аполлоновской гармонией, очищением, слиянием с миром, согласием с судьбой.

Гераклит потому неизмеримо выше Сократа, что у него человек полностью вписан в космос, неотрывен от него. Философствование и деятельность у досократиков не отделены друг от друга. Человек связан с природой своей мифологией. Своей художественностью, открытостью «я» в бытие, глубиной бессознательного миф отражает их неотрывность.

Открытость культуры греков в мир, в «Первоединое» и основное противоречие этой культуры, вытекающее из ее открытости, а отсюда и взгляд на миф как «подлинную» иллюзию, которая одна лишь в состоянии снять, разрешить это противоречие реально — все это было скрыто от «теоретического человека» [Сократа]. Естественно, что гибель трагедии, а вместе с ней и мифа оказывается в таком случае исторической случайностью, порожденной появлением «теоретического человека».

Трагически-мифологическое мироощущение, характерное для досократиков, начинает разрушаться по мере развития теоретического мышления. Переломная точка — Сократ, «демон Сократа», трактуемый Ницше как демон отрицания: на смену творящему инстинкту приходит инстинкт критический и аналитический, полнота жизни подменяется рассудочностью и систематизацией. Максима сократической эстетики: «Все должно быть разумным, чтобы стать прекрасным», — воплощена в трагедиях Еврипида.

Драматическое искусство Еврипида все больше отрывается от мифологии Эсхила и Софокла, склоняясь к скептицизму, риторике, жесту. Исчезает музыкальность, а на место вечности и мудрости приходят миг, острота, причуда. Дионисийская мощь уступает аполлоновскому созерцанию, глубина и полнота чувств — аффектам.

Аристофана можно принять за его антисократовский пафос, но его творчество — только пародия на медиумов «дионисизма», открывающая фельетоническую эпоху. Комедия вообще мало отвечает «духу жизни», профанирует

ужасы действительности, отвечая «предрассудкам демократического вкуса». Комедия — удел черни.

Сократовский дух убил греческую трагедию — убил рационализацией, дискурсией, демифологизацией, устранением дионисийского начала. Для Сократа трагедия утратила свой смысл, оказалась бесполезной. Он разрушил ее жизненность, цельность и полноту ради нового, рассудочно-примитивного мира, лишённого страданий, боли, борьбы, — одним словом, жизни. Вакхическому строю жизни Сократ противопоставил голую рассудочность.

Начиная от Сократа, рационализм которого направлен был против коренных греческих инстинктов, стремясь обуздать их, «греческий эстетический вкус меняется в пользу диалектики» и начинается победное шествие теоретического начала, стремящегося проникнуть путем разума в смысл бытия и даже внести в него нужные поправки.

Деградация греческой трагедии, наметившаяся уже у Софокла, связана с «торжеством разума» — наступлением на мифологическую дионисийскую стихию александрийской культуры, аполлоновского порядка, сократической мысли. «Любимец муз и граций», Аристофан, недаром осмеял Сократа и его клевету Еврипида: Сократ испортил Еврипида, убедил трагика в силе человеческой мысли, в пресловутом «торжестве разума». Ученики Сократа убедили в этом человечество, толкнув его на опасный путь упадка и вивисекции — вивисекции самой жизни. Проницательные судьи Сократа почуяли опасность, вынесли «мудрейшему из смертных» смертный приговор, но они опоздали — за ним стоял Платон, а через пятнадцать лет после казни Овода появился на свет главный развратитель-вивисектор, творец логики, рационализма идеального государства и александрийской культуры, без особых изменений дожившей до наших дней и окончательно покончившей с дионисийской стихией жизни.

Характеризуя в «Ессе Ното» свою первую книгу, Ницше писал:

Я увидел впервые истинную противоположность: с одной стороны — *вырождающийся* инстинкт, обращенный с подземной мстительностью против жизни (христианство, философия Шопенгауэра, в известном *смысле* уже философия Платона, весь идеализм, как его типические формы), с другой — рожденная из полноты, из переизбытка формула *высшего утверждения*, утверждения без ограничений, утверждения даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании... Это последнее, самое радостное, самое чрезмерное и надменное утверждение жизни есть не только самое высокое убеждение, оно также и самое *глубокое*, наиболее строго утвержденное и подтвержденное истиной и наукой. Ничто существующее не должно быть устранено, нет ничего лишнего — отвергаемые христианами и иными философами-нигилистами стороны существования занимают в иерархии ценностей даже бесконечно более высокое место, чем то, что мог бы одобрить, *назвать хорошим* инстинкт декаданса. Чтобы постичь это, нужно *мужество* и, как

его условие, избыток *силы*: ибо насколько мужество *может* отважиться на движение вперед, настолько по этой мерке силы приближаемся и мы к истине. Познание, утверждение реальности для сильного есть такая же необходимость, как для слабого, под давлением слабости, трусость и *бегство* его от реальности — «идеал»... Слабые не свободны познавать: декадентам *нужна* ложь — она составляет одно из условий их существования.

В. Вересаев:

...Как же может трагедия вести к утверждению жизни? Ведь страдания трагического героя иллюстрируют все ту же безотрадную Силенову мудрость; трагедии великих трагиков, Эсхила и Софокла, кончаются гибелью героев и самым, казалось бы, безнадежным отрицанием жизни. Почему же трагедия не вселяет в нас отчаяния, а как раз напротив, очищает души и примиряет с жизнью? Как может безобразное и дисгармоничное, составляющее содержание трагического мифа, каким бы то ни было образом примирять с жизнью? Достигается это тою таинственною силою, которая скрыта в искусстве, — силою, которая жизненный ужас претворяет в красоту и делает его предметом нашего эстетического наслаждения.

Мы убеждаемся, что даже безобразное и дисгармоничное в жизни есть только художественная игра, которую Воля, в вечном избытке своей радости, ведет сама с собою, — игра созидания и разрушения индивидуального мира. Жизнь творится великим Художником, и конечная цель его творчества — красота. Для этой красоты одинаково необходимы радость и горе, добро и зло, свет и мрак.

Аттическая трагедия — эстетический регулятор жизни, средство катарсиса и способ оправдания жизни. Трагическое в искусстве, отвечающее трагическому в жизни, роковой неизбежности страдания, дает возможность как бы освободиться от ужаса существования посредством своеобразного *катарсиса*, патологически-экстатического облегчения, «относительно которого филологи не знают, отнести ли его к медицинским или моральным явлениям».

Сознавая истину, в которую удалось ему проникнуть, человек видит повсюду только ужас и нелепость своего существования... И вот в тот момент, когда воле угрожает наибольшая опасность, приходит спасительное, исцеляющее от недуга, волшебное искусство; оно одно только в состоянии заглушить посредством изображений эти, вселяющие в человека отвращение, мысли об ужасе и нелепости существования, изображений, благодаря которым жизнь делается сноснее; изображения эти являются или в виде *возвышенного* — это тогда, когда искусство смягчает *ужасное*, — или *комического*, когда искусство выражает отвращение к *нелепому*. Хор сатиров, поющих дифирамбы, совершал в греческом искусстве дело спасения...

Трагедия рождается из духа музыки и в основе своей музыкальна: музыка выражает в ней саму мировую волю. По словам Ницше, «музыка поднимает нас

над призрачностью вещей, представляет нам мировую волю, побуждая внимать той единой мелодии, которая звучит во всем». «Те хоровые части, которые вплетены в трагедию, являются, таким образом, первоисточником настоящей драмы». Диалог драмы суть ее аполлонический элемент, музыка — вакхический, дионисийский.

Именно дионисийский элемент музыки вновь воскресил великую трагическую культуру, именно в музыке знание отступило перед стихийной мощью великих сил жизни и смерти:

В хорале немецкой Реформации впервые прозвучал мотив будущего немецкой музыки. Этот хорал Лютера звучал так глубоко, мужественно и душевно, он звучал такой безмерной добротой и нежностью, словно первый манящий зов Диониса, вырывающийся из густой поросли кустов с приближением весны. В ответ ему наперерыв зазвучали отголоски того благоговейно-дерзкого шествия дионисиевских мечтателей, которому мы обязаны немецкой музыкой и которому мы будем обязаны возрождением германского мифа.

Г. Рачинский:

Немецкая музыка — дочь Реформации — спасла для Германии национальный миф, а Вагнер дал ему форму музыкальной трагедии. Эта трагедия — своего рода религия: только не современная полуученая, полуморальная александрийская религия с ее вредным для трагического человека этическим мягкосердечием. Музыкальная драма есть результат высшего соединения Диониса и Аполлона.

Таким образом, под античную трагедию Ницше подверстывал вагнеровский миф, о чем сожалел впоследствии, что привело его к дальнейшему отказу от собственного раннего творчества...

В «Рождении трагедии» мы обнаруживаем критику главного постулата христианства — вечного существования души в потустороннем мире. Не является ли абсурдом смерть как наказание за первородный грех Адама и Евы? Может ли быть смерть искуплением такого греха? Ницше высказал мысль о связи воли к жизни со страхом смерти. Нельзя жить, не думая о неизбежности смерти, не страшась ее. Античная трагедия и возникла как такое понимание реальности, в котором жизнь неизбежно погружает человека в смерть.

Хотя в первой книге Ницше стремился не выходить далеко за пределы филологии, здесь уже много от будущей философии жизни, вообще от мировоззрения зрелого экзистенциального мыслителя:

Мир отвратителен, он жесток, как дисгармоничный аккорд, душа человека суть такая же дисгармония, как и весь мир, сама в себе несущая страдание; душа могла бы оторваться от жизни, если бы связала себя иллюзией, мифом, убаюкивающими ее, создающими ей убежище красоты. В самом деле, как далеко можно зайти, если не положить предел отступ-

ничеству, если мы сами станем выдумывать себе утешения. Мы снисходим к своим слабостям, и нет низости, которой бы мы не нашли оправдания. Мы поддаемся иллюзиям, но каким, благородным или низким? Сознаем ли мы, что мы обмануты, если сами ищем обмана?

Мифологизм Ницше всецело отвечает жизненности его философии, ибо сама жизнь предельно мифологична, цельна в своей разорванности, синкретична в своей противоречивости, правдива в неотделимости добра и зла, альтруизма и эгоизма, фантазии и реальности. Субъективность мифа есть предельно возможная объективность жизни, правда, еще не препарированная на «наше» и «чужое», символизм, еще не обедненный дискурсивной и понятиями, диалектикой и дихотомией.

Мифологизм чужд рационального, сократовского подхода к жизни: уже в «Рождении трагедии» Ницше выступает против «этического» толкования античной трагедии, которую никак не назовешь торжеством «добрых» начал или прекраснодушных импульсов. Дабы искусство воздействовало на жизнь, оно должно являть единую мифотворческую стихию жизни. Сила воздействия искусства определяется не его обыденностью, повседневностью, а его мифологичностью, отражающей глубинную полноту, правду и цельность жизни.

...Без мифа всякая культура лишается своей естественной, здоровой и творческой силы: только сияющий мифами горизонт довершает единство цельной культурной эпохи... Образы мифа должны быть незримыми, вездесущими демоническими стражами; под их охраной вырастает молодая душа; их знамена объясняют человеку его жизнь и борьбу: и даже государство не знает неписаного закона более могущественного, чем мифическая основа; она свидетельствует о связи государства с религией и о происхождении его из мифа.

Миф так же правдив, как сама жизнь; в мифе налицо соединение искусства и жизни. Вот почему и философию необходимо строить по законам мифа, только мифологическая философия адекватна сокровенной реальности, только эсхилловская или софокловская мощь мифологической философии даст ей жизнь.

Экстаз как эстетический феномен трагического искусства — это способ погружения в полноту человеческого существования, вторая реальность, наиболее полно «схватывающая» сущее. В ликующем потоке экстаза человек как бы сливался с действительностью, обретал способность противостоять отчаянию, трагическое искусство служило катарсису — очищению, переносу, сублимации.

В гибели невинного, находящегося в плену рокового незнания Эдипа, зритель видел компенсацию своих собственных утрат, проблем своего собственного личного бытия. Герой погибает не потому, что нарушил заповедные границы, своей гибелью восстанавливая нарушенную гармонию, но потому, что экстатическое опьянение зрителя, олицетворяющее

прежнее мифическое бытие, требует его гибели, чтобы уравновесить свое индивидуальное бытие как личности с ее проблемами.

Трагедия — это иллюзия, но иллюзия «подлинная», отвечающая сущности человеческого существования, в отличие от сократовского оптимизма, от сократовской «науки», от сократовского направления культуры, членившего жизнь, представляющего собой вивисекцию жизни. Миф — «прочный священный первоначальный очаг культуры»; дискурсия, диалектика, логика — ее мистификация, уплощение, отказ от полноты...

Наука имеет свои пределы. Рано или поздно она натывается на то первоначало, которое невозможно постичь рационально. Здесь-то и происходит переход науки в искусство, на смену логики приходят интуиции или инстинкты жизни. Искусство, миф, интуиция неизбежно корректируют и дополняют науку. Эта идея была позже положена Ницше в основу его философии жизни.

А. Белый:

Под безобразным коростом жизни ритм жизни подслушал Ницше. Духом Диониса назвал он биение жизни; духом Аполлона — жизнь творческого образа. Оба начала оказались вне жизни, потому что жизнь перестала быть жизнью: оттого-то музыку мы можем определить только как небо души, а поэзия — облака этого неба: из неба выпадает облако; из ритма — тело: соединение ритма с образом.

Дионисийское начало — жадность к жизни, радость жизни, пульс жизни. Трагедия культуры в том, что она пошла по пути Сократа, что в ней возобладало александрийское, аполлоновское начало: жизнь, полноту жизни заменили знание, просвещение, порядок, наука. Именно сократовская культура подменила жизненность пользой, выгодой, вытеснила высшие жизненные ценности — персональность, разнообразие, конкуренцию, борьбу. Перестал цениться человек, его истинная природа, его жизненно важные инстинкты. Место многообразия занял предписывающий норму закон, место человека — машина. Сократовская культура оказалась культурой нивелирующей, рационалистичной, тоталитарной.

Сократ противопоставил инстинкту жизни сознание и разум, тогда как у всех талантливых людей (по Ницше) именно инстинкт и представлял собой творчески-утвердительную силу. Размышляя над такими сократовскими тезисами, как: «добродетель есть знание», «грешат только по незнанию», «добродетельный есть счастливый», Ницше заметил, что они приводят к ложным выводам. По Сократу получается, что добродетель и знание, вера и мораль уже необходимым образом связаны, одно из другого следует. Жизнь предстает, таким образом, слишком упрощенной, упрощенной до плоскости, а трансцендентальная справедливость в развязке сведена к *deus ex machina*¹.

¹ Бог из машины (*латин.*).

Аполлон и Дионис — два первоначала культуры: гармония, счастье, тишина, светлый покой (аполлоновское начало) и темная стихия порыва, диссонансы, противоречия, муки жизни (дионисийское начало). Жизнь — феномен эстетический, именно поэтому возникает культура, несущая на себе отпечаток человеческих антиномий.

Итак, два греческих бога, Аполлон и Дионис, стали для Ницше символом разных мироощущений и инстинктов. Аполлон предостерегал от диких порывов, передавал мудрый покой Бога. Эта красота и гармония аполлоновского мироощущения отразились в гомеровском искусстве. Но при этом Аполлон оставался богом иллюзий и заслонял человека от смерти иллюзией вечности. Дионис же порождал противоположные инстинкты: тревоги, сомнения, смятения. Под влиянием такого мироощущения человек сбрасывал с себя «покрывало Майи», т. е. как бы пробуждался от сна иллюзий и праздновал праздник единения с природой. Ибо только природа способна научить человека жизни, она лучше (чем христианство и традиционная мораль) знает добро и зло. Потому и искусство благотворно только такое, в котором «все наличное обожествляется, безотносительно к тому — добро или зло». Божественна сама жизнь, деление же ее на добро и зло — искусственно.

Фактически Аполлон — бог человеческих иллюзий, гармонии, порядка, красоты, Дионис — бог правды жизни, ее страданий, неистовств, экстазов. Но он же — бог художественных откровений, опьяняющей силы творчества, приобщения к истокам бытия. Место встречи богов — греческая трагедия: «В ней взаимодействие дионисовой «истины» и аполлоновой «иллюзии» достигло наибольшей глубины и гармоничности».

Что имел в виду Ницше, провозглашая соединение аполлоновского и дионисийского начал в искусстве? В чем двуединая природа всякого искусства? Послушаем ответ Вяч. Иванова:

Аполлон есть начало единства, сущность его — монада, тогда как Дионис знаменует собою начало множественности (что и изображается в мифе как страдание бога страдающего, растерзанного).

Бог строя, соподчинения и согласия, Аполлон есть мощь связующая и воссоединяющая; бог восхождения, он возводит от разделенных форм к объемлющей их верховной форме, от текучего становления — к недвижно пребывающему бытию. Бог разрыва, Дионис, нисходя, приносит в жертву свою божественную полноту и целостность, наполняя собою все формы, чтобы проникнуть их восторгом переполнения и искупления, — и вновь, от достигнутого этим выходом из себя и, следовательно, самоупразднением бесформенного единства, обратить живые силы к мнимому переживанию раздельного бытия.

Аполлон — это утверждение, Дионис — это отрицание. Но отрицание творческое, несущее новую истину. Говоря о своей дионисийской натуре, Ницше

имел в виду радость уничтожения старого во имя блаженства творения нового. Нет, не так, — радость соединения отрицания с утверждением: «Я знаю радость уничтожения в степени, соразмерной моей силе к уничтожению, — в том и другом я повинуюсь своей дионисийской натуре, которая не умеет отделять отрицания от утверждения».

Аполлон — это сновидение, Дионис — опьянение. С одной стороны, прекрасные иллюзии, фантомы, грезы художника и поэта, с другой стороны — расхолодившаяся, раскрепостившаяся жизнь... Аполлон — бог обманчивого мира, его великая радость и надежда. «Зажигатель порывов», Дионис — бог переизбыточного, исступленного, дерзающего, хмельного...

Так, в сновидениях душам людей предстают чудные образы богов, прекрасные иллюзии видений, в создании которых человек является вполне художником. Но при всей жизненности этой действительности снов всегда остается ощущение ее иллюзорности и предчувствие у философски настроенного человека, что в мире, в котором мы живем, лежит скрытая, вторая действительность, во всем отличающаяся от первой, следовательно, иллюзорной. Так Шопенгауэр определяет фантомы, грезы этого мира. И Ницше говорит о человеке, объятom покрывалом богини Майи: «Как среди бушующего моря, с ревом вздымающего и опускающего в безбрежном своем просторе горы валов, сидит на челне пловец, доверяясь слабой волне, — так среди мира мук спокойно пребывает отдельный человек, с доверием опираясь на принцип индивидуации». В этой иллюзии держит человека Аполлон — бог «обманчивого» реального мира, божественный образ «принципа индивидуации», приятная необходимость сонных явлений, великая радость и надежда мира.

Бог страдающий, вечно умирающий и нарождающийся, он [Дионис] символизировал истинную сущность жизни, вечное стремление всеобъемлющей космической воли.

Таким образом, к ужасу нужно прибавить блаженный восторг, поднимающийся из недр человека и даже природы, когда либо под влиянием наркотического напитка, о котором говорят в своих гимнах все первобытные люди и народы, либо при могучем, радостно проникающем всю природу приближении весны просыпаются те дионисийские чувствования, в подъеме которых субъективное исчезает до полного самозабвения.

«...Буйным исступлением зажигает он уравновешенные души и во главе неиствующих, экстатических толп совершает свое победное шествие по всей Греции». «...Под чарами Диониса не только вновь смыкается союз человека с человеком: сама отчужденная, враждебная или поработанная природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном — человеком».

Дионисийское — не хаотическое, не разрушительное, а, наоборот, в полном соответствии с этикой Ницше, служащее жизни «сообразно тому, что усили-

вает жизнь вида». Дионисийское — жизненное, биологическое, генетическое, предельно многообразное, спасительное для победы жизни над смертью.

Когда Дионис нисходит в душу человека, чувство огромной полноты и силы жизни охватывает ее. Какие-то могучие вихри взвиваются из подсознательных глубин, сшибаются друг с другом, ураганом крутятся в душе. Занимается дух от нахлынувшего ужаса и нечеловеческого восторга, разум пьянеет, и в огненном «оргийном безумии» человек преобразается в какое-то иное, неузнаваемое существо, полное чудовищного избытка сил.

Богом избытка сил всегда и является Дионис. Не богом силы, а непременно богом избытка сил.

Бог переизбыточного, а не бог войны и катастроф, именно Дионис, а не Водан, синтезированный К. Юнгом из Эдипа и Диониса.

«Дионисийское чудовище», Заратустра, — символ «воли к жизни», «воли к могуществу», веры в человека — вопреки всему, что так ненавидит Ницше — омассовлению, равенству, рассудочности и рассудительности, нивелированию, обобществлению.

Дионис — это утверждение жизни, опьянение жизнью, восхищение ею. «Дионисий для Ницше — символ вечного круговращения мировой жизни, вечного возвращения всего существующего, радостное явление всемогущей силы жизни, беспрестанно умирающей и воскресающей».

Еще Дионис — выражение мощи мировой воли, стихийное творчество этой воли, первоисточник свободы жизни и творчества. Если аполлоновскому началу жизни соответствует гармоническая музыка, то дионисийскому — музыка диссонансная... В эффекте диссонанса мы созерцаем феномен Диониса, «постоянно говорящий нам об удовлетворении изначальной радости игрою в созидание и разрушение индивидуального мира, подобно тому как у Гераклита Темного творческая сила Вселенной сравнивается с ребенком, который, играя, наваливает там и сям камни, насыпает кучи песку и затем раскидывает их снова». Художественный инстинкт — это одновременно инстинкт играющего ребенка и дионисийских сил.

В «Рождении трагедии» Ницше славит Аполлона и Диониса, но его отношение к праотцам искусства далеко не равное. Хотя оба начала жизни-искусства необходимы, симпатии Ницше явно на стороне стихии жизни, полнота которой выражена дионисийством.

Ницше в заключении своего труда славит обоих богов, но поклоняется, очевидно, одному Дионису, а к Аполлону продолжает относиться с некоторой опаской, очень уж этот бог склонен присваивать себе единовластие и даже гнать Диониса.

Познание сущности мира дает только Дионис, Аполлон же, как «*principium individuationis*», такого познания дать не может. Созерцание Вселенной с точки зрения Аполлона избавляет нас от индивидуальной

воли, но не только не углубляет нашего взгляда на жизнь, а, напротив, делает его легкомысленно-поверхностным.

Высокое искусство — это соединение двух божественных начал. Торжество одного из них опасно вырождением, падением человека. И вновь подчеркивается «развращающее» влияние восторжествовавшего Аполлона: искусство теряет жизненную полноту, человек становится орудием манипуляций, личность утрачивается.

Впрочем, судя по всему, она утрачивается и в чистом дионисийстве. Древний Восток, считает Ницше, — царство необузданного Диониса, вот почему Восток не дал великого трагического искусства, какое дала Греция. И дала именно потому, что ее великие трагики, прежде всего Эсхил, соединили глубокую стихию чувств с мерой и формой, присущими Западу.

«Рождением трагедии» Ницше разрушал все профессорские стереотипы о «детстве» человечества — красоте, гармонии, любви, пастушески-философской идиллии. Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины, писал он. Античность — полнота жизни, следовательно, конкуренция, борьба, мощь страстей, дионисийство, «шевелиющийся хаос» мифов, наиболее адекватно отвечающий глубине жизни.

Греки отделялись от пессимизма его преодолением в трагедии: именно трагедия есть доказательство того, что они не были пессимистами, как считал Шопенгауэр.

Ф. Ницше:

Два решительных новшества книги составляют, во-первых, толкование дионисовского явления у греков — оно дает его первую психологию и видит в нем единый корень всего греческого искусства. Во-вторых, толкование сократизма: Сократ, познанный впервые как орудие греческого разложения, как типичный декадент. «Разумность» *противопоставляется* инстинкту. «Разумность» рисуется во что бы то ни стало как опасная, подрывающая жизнь сила!

А. Новиков:

Вопреки всем традициям, которые обожествляли философа Сократа, Ницше со свойственной ему горячностью яростно развенчивает древнего мудреца. Ему ненавистна спокойная уверенность Сократа в познаваемости мира, его убеждение, будто знание универсально, и нет ничего темного, таинственного ни в окружающем человека мире, ни тем более в самой человеческой душе.

Этот спокойный оптимизм чужд Фридриху Ницше, он отвергает обманчивую ясность и простоту мира, ему мнится стоящая за ней самоуспокоенность, посредственность, усредненность. И он взволнованно призывает преодолеть сократические начала, вернуться к мифу, к необузданной и необъяснимой музыке, рождающей трагедию. Музыка и трагический миф, — заключает Ницше свою первую работу, — в одинаковой мере суть

выражение дионисийской способности народа. Дионисийское, беспокойное, тревожащее начало — это «вечная и изначальная художественная сила».

Дионисийство задало тон всему творчеству философа-поэта, в момент написания первой книги еще не сознававшему опасности начатого им предприятия. Дионис — вызов традиционным представлениям, следуя по этому пути, «последний ученик философа Диониса» должен был, оставаясь верным себе, «переоценить все ценности», тем самым взять себе в противники всю сократовскую и всю христианскую культуры, стать еретиком всех философий и теологий. Несколькими веками раньше это грозило огненными палатами, но во второй половине просвещенного XIX века — только полным изгойством, разрывом всех связей. В момент появления «Рождения трагедии» этого не понимал ни сам Ницше, ни большинство его друзей, но взятый им курс последовательно и неизбежно вел к необъявленному ostracismu.

«Рождение трагедии» вызвало яростные нападки Ульриха фон Виламовица-Мёллендорфа, Германа Узенера и Эрвина Роде, которые, однако, не смогли предотвратить вызванный ею переворот в филологии, лишивший ее цеховой замкнутости и академичности «закрытой» науки. Герман Узенер, назвавший книгу «совершенной чушью», заявил своим студентам: «Каждый, кто написал нечто подобное, научно мертв». Даже «старый Ричль» не удержался от укола: «остроумное похмелье». Хуже того, Ницше не приняли не только «профессора», но и «будущее» филологической науки — его собственные студенты, сорвавшие зимний семестр 1872/73 года. Ницше — уже первой своей книгой — слишком опередил время. Современники не прощают такого никому...

Ф. Ф. Зелинский:

В то самое мгновение, когда античность, благодаря книге Ницше, готовилась к одному из своих самых славных завоеваний в умах новой Европы, наука об античности в лице своих представителей-филологов исключила из своей среды ее лучшего бойца!

Впрочем, он не остался в долгу: афоризмы Ницше — яркое свидетельство его реакции на всех его зоиллов:

И когда я жил у них, я жил над ними. Поэтому и невзлюбили они меня. Знаешь ли ты, брат мой, уже слово «презрение»? И муку твоей справедливости — быть справедливым к тем, кто тебя презирает?

Ты принуждаешь многих переменить о тебе мнение — это ставят они тебе в большую вину. Ты близко подходил к ним и все-таки прошел мимо — этого они никогда не простят тебе.

Ты стал выше их; но чем выше ты поднимаешься, тем меньшим кажешься ты в глазах зависти. Но больше всех ненавидят того, кто летает.

«Каким образом хотели вы быть ко мне справедливыми! — должен ты говорить. — Я избираю для себя вашу несправедливость как предназначенный мне удел».

ПЕРЕОЦЕНКА ВСЕХ ЦЕННОСТЕЙ

В с е науки заранее должны приготовить задачу философа будущего, состоящую в том, чтобы разрешить проблему ценностей и установить иерархию ценностей.

Ф. Ницше

Переоценка всех ценностей: это есть моя формула для акта наивысшего самознания человечества.

Ф. Ницше

Я противоречу, как никогда никто не противоречил, и, несмотря на это, я — противоположность всеотрицающего духа.

Ф. Ницше

Ницше — один из немногих мудрецов, пытавшийся понять то, что кроется за мудростью, исследовавший психологию философствования, стремившийся проникнуть в источник идей: «Свободный ум хочет испытать, каковы все эти вещи, если их опрокинуть».

Современные технологии познания, пролиферации идей, разрушения старых и создания новых парадигм — движение по пути Ницше. Необходимо строить новые теории, несовместимые с существующими, — требует Фейерабенд. Необходимо для решения задачи опробовать все тупики, все «нельзя» и «невозможно», — учат пособия по изобретательству. А вот как пишет об этом Ницше:

Нельзя ли перевернуть все ценности? И может быть, добро есть зло? А Бог — выдумка и ухищрение дьявола? И может быть, в последней своей основе все ложно?

Нет, это не принижение разумных начал. Если хотите, это не иррационализм, а новая, высшая форма разумности — декларация свободы и конкурентности познания, разрешение на поиск в самых запретных местах.

Ценностным подходом к явлениям жизни философия во многом обязана Ницше. Его философию можно назвать философией ценностей, поскольку

именно он ввел в обиход и сделал привычными понятия жизненных, духовных, культурных ценностей, иерархии ценностей, переоценки ценностей и т. п. Ницше присвоил значение ценностей науке, искусству, государству, культуре, религии. «После Ницше в философии утвердился ценностный подход, ценностное мышление, которое все сущее понимает в аспекте оценки, смысла, цели и направлено на выработку новых ценностей».

В. Б. Кучевский:

У Ницше понятия «ценность» и «смысл» — одно и то же. Человек во всем происходящем ищет какой-то смысл и тем выявляет его ценность. Смысл же, в свою очередь, есть направленность к какому-либо концу. Отсюда смысл связан с постановкой и достижением той или иной цели. Последняя всегда заключает в себе какой-либо смысл. Следовательно, ценности есть там, где существуют цели. Они являются целями и одновременно средствами для достижения целей.

Ценности — это то, что полезно для реализации, сохранения и возрастания человеческого бытия. Понятие ценности служит для осмысления специфики человеческой реальности в ее соотношении с природным миром, для выявления диалектики соотношения субъекта и объекта.

Ценности — это проявления сущности человека в процессе его отношения к миру и к себе самому. В них фиксируется бытие человека как субъекта с его потребностями, интересами, волей, активно противостоящего объекту. В ценностях происходит субъективизирование объекта, ибо выявляется его полезность человеку, и в то же время объективирование субъекта, поскольку через них в предметном мире реализуются сущностные силы человека.

Ценности составляют основание культуры и духовности человека. Именно в них заключен источник смысла и целей жизни людей, а также мотивов их поведения и деятельности. Без человека никаких ценностей нет и не может быть в мире самом по себе, ибо некому его оценивать.

Ценности человечески. Их творят, как творят культуру. Культура — сфера реализации ценностей.

Ценности не существуют в бытии, а привносятся человеком: «Всё, что имеет ценность в нынешнем мире, имеет ее не само по себе, не по своей природе — в природе нет никаких ценностей, — но оттого, что ему однажды придали ценность, подарили ее, и этими деятелями и дарителями были мы! Только мы и создали мир, до которого есть какое-то дело человеку!»

Добро и зло, прекрасное и безобразное, праведное и неправедное, общепринятое и запретное, положительное и отрицательное существует не само по себе, а как результат нашей оценки. Каждая эпоха имеет свой набор и свою иерархию ценностей, удовлетворяющих общество на определенном этапе его развития.

В иерархии ценностей высшая ценность — жизнь, сохранение и подъем жизни. Ценности, собственно, необходимы жизни для ее укрепления и подъема. Одна из главных причин необходимости переоценки ценностей — в выборе жизни как главного приоритета, что отвечает росту самосознания человека.

Если ценности есть там, где есть оценка, то, в свою очередь, оценка возможна лишь при наличии властной воли, которая всему дает свою цену. Властная воля сама и только она полагает ценности, поддерживает их значимость и единолично обосновывает оценки. Ценности по своему существу привязаны к воле, к власти, к господству, ибо полагаются именно ею.

Ницше понимает творчество как творение новых ценностей, споспешествующих жизни.

Творчество есть соединение познания с бытием в образе ценности. И это-то творчество ценностей называет Ницше познанием, а себя — *познающим*.

Он пользуется всеми средствами воздействия, чтобы внушить нам ту или иную ценность, — здесь наукой, здесь метафизикой, там — сладкой, сладкой песнью своей.

Проповедник и подвижник новых ценностей, Ницше отождествляет жизнь и творчество, тело и душу: «“Я”, — говоришь ты, — и гордишься этим словом. Твое тело и его великий разум... не говорят «я», но делают «я». Делать «я», творить — главное в жизни, что позволяет вынести ее».

Творчество, новые ценности несовместимы с авторитетами, догмами, конформизмом. Самая великая опасность для человека — верить в то, во что верят все. Подняв Заратустру на пьедестал сверхчеловека, Ницше вкладывает в его уста знаменательные слова:

Вы говорите, что верите в Заратустру, — вещает он им. — Но что значит Заратустра! Вы — мои верующие, но что могут значить все верующие! Вы еще не искали самих себя и потому нашли меня. Так поступают все верующие, и потому-то всякая вера так мало значит. Теперь я взываю к вам, чтобы вы утратили меня и нашли самих себя; и только тогда я возвращусь к вам, когда все вы отречетесь от меня.

Господствовать означает для Ницше навязывать другим свой тип. Это самое ужасное в господстве: «Разве мое счастье не состоит именно в созерцании множества других типов?»

Ценности являются основой философского творчества. «Переоценка ценностей», среди прочего, подразумевает переосмысливание всей философской проблематики с позиций ценностного подхода. Метафизика — не учение о бытии, а поиск ценностных аспектов существования, выявление смыслов и значений бытия, важных для жизни. В философском познании на первом месте стоит человеческое стремление оценивать, отдавать предпочтения, выбирать. Философия — один из способов «творения» мира, она «всегда создает мир по своему образу и подобию, она не может иначе; философия сама есть этот тираннический инстинкт, духовная воля к могуществу, к «сотворению мира». Истина всегда ценностно окрашена. Взятая безотносительно ценностей жизни, она становится ущербной и неполноценной.

Главное отличие ценностей от идеалов в их соотношении с жизнью: ценности необходимы для развития жизни, идеалы сковывают ее. Прежняя философия потому представляет собой «заблуждение человечества», что ставит существование сверхчувственных эйдосов и безусловных духовных субстанций выше жизненных реалий и движущих развитие ценностей. Ницше категорически отвергает любую догматическую философию и этику, создающие незыблемые идеи, прежде всего, конечно, платонизм как учение о совершенном потустороннем мире вечных, неизменных, абсолютных эйдосов, и связанное с ним, вытекающее из него христианство, этот «платонизм для масс».

Для Ницше ценность эквивалентна смыслу, смысл же есть направленность к цели. Следовательно, ценности есть там, где существуют цели. Ценности суть цели плюс средства их достижения.

Ценности — то, что способствует возрастанию качества человеческого бытия, делает полной человеческую жизнь, служит жизни.

Ценности — полнота реализации сущности человека, источник смысла и целей жизни людей.

Ценности — то, что обновляет или оправдывает жизнь, не дает ей закоснеть. Ценности должны противостоять принципам, этим символам закоснелости. Нет ничего опаснее, чем отдать жизнь за идею; «убеждение — это темница». Подлинно ценное — то, что позволяет преодолеть, превзойти убеждение, не допустить фанатизма, не сковать высшую ценность — жизнь.

Ценности — новые оценки, точки зрения; оценивать — значит создавать, лишь через оценку появляется ценность.

Изначально человек придал ценность вещам, чтобы этим сохранить себя; он дал вещам символ, человеческий смысл. Потому и назвал он себя человеком, что стал оценивать.

Перемена ценностей — это перемена созидающих. Всегда будет разрушителем тот, кто становится творцом.

М. Хайдеггер:

Ценность пребывает во внутренней сопряженности — с таким-то количеством, с квантом, с числом. Поэтому ценности... сопряжены со «шкалой числа и меры». И остается только спросить, на чем, в свою очередь, основывается шкала возрастания и убывания.

Хотя ценности творятся человеком, они прагматичны, увязаны с реальностью, вытекают из нее: «Нам смешны претензии человека отыскать ценности, которые превосходили бы ценности реального мира».

Ценности Ницше полностью отвечают принципу «вечного возвращения»: они текучи, изменяемы, жизненны, подвижны, «легки».

Ж. Делёз:

Утверждать — означает не нагружать жизнь грузом высших ценностей, но создавать новые ценности, которые будут ценностями жизни,

делающими ее «легкой» — утверждающими ее. «Нужно, чтобы он отучил свою волю от героизма, я хочу, чтобы он чувствовал себя свободно, пребывая на вершинах, а не просто на них взбираясь».

Ценности — неотъемлемые составляющие становления, возрастания жизни, воли к могуществу: «*Ценности и их изменение пропорциональны росту могущества у полагающего ценности*». «Ценность — это наивысшее количество власти, которое человек в состоянии усвоить — человек, а не человечество! Человечество, несомненно, скорее средство, чем цель». Становление, воля к могуществу, возрастание жизни, переоценка ценностей — всё это разные подходы к одному и тому же, к жизни, к эволюции жизни.

М. Хайдеггер:

Ценность, по словам Ницше, есть «точка зрения условий сохранения, возрастания, что касается сложных образований с относительной длительностью жизни в пределах становления». Само по себе неопределенное слово «становление» здесь, как и вообще на понятийном языке метафизики Ницше, означает не какую-либо текучесть вещей, не простую смену состояний, не означает и какого-либо развития или неопределенного разворачивания. «Становление» означает здесь переход от чего-то к чему-то, то движение и ту подвижность, которые Лейбниц в своей «Монадологии» (§ 11) именует *changements naturels*¹, которые пронизывают *ens qua ens*, то есть *ens percipiens et appetens*². Это властно пронизывающее всякое сущее начало Ницше мыслит как основную черту всего действительного, то есть сущего в более широком смысле. То же, что таким образом определяет сущее в его *essentia*, Ницше постигает как «волю к власти».

Завершая свою характеристику сущности ценностей на слове «становление», Ницше дает этим последним словом указание на ту основную область, к которой относятся ценности и полагание ценностей вообще. «Становление» — это для Ницше «воля к власти». Тем самым «воля к власти» — это основополагающая черта «жизни», — словом этим Ницше нередко пользуется и в широком значении; в согласии с таковым «жизнь» в рамках метафизики (ср. Гегеля) была отождествлена со «становлением». Воля к власти, становление, жизнь и бытие в самом широком смысле — все это одно и то же на языке Ницше.

Переоценка ценностей — это прежде всего отказ от сверхчувственного, потустороннего, абсолютного мира, который в прежней философии ложился в основу осуждения мира жизненного, действительного, реального со всеми его трудностями, многообразиями и иерархиями. Мир эйдосов, вечных и незыблемых сущностей, Ницше называл «великой школой клеветы» на жизнь, опасной иллюзией, покушающейся на полноту жизни. Переоценка ценностей,

¹ Естественные изменения (*франц.*).

² Сущее воспринимающее и стремящееся (*латин.*).

собственно, для того и необходима, чтобы абсолютным идеям — добродетели, счастья, познания, долга, универсума и т. п. — противопоставить движение, становление, углубление ценностей. Необходимо творить все новые ценности и заражать ими других — таков путь...

В. Б. Кучевский:

«Прогресс философии, — считает Ницше, — больше всего задерживался до сих пор скрытыми моральными побуждениями». Никто из прежних философов не отважился на критику моральных чувств ценности. В философии Канта дело дошло до того, что вместо разума стала говорить потребность сердца, мораль, «долг». У Гегеля же процесс развития предстал не чем иным, как постепенным осуществлением царства морали. Еще дальше пошел по этому пути Шопенгауэр, который ради оправдания своих моральных оценок становится мироотрицателем.

Все это вело к тому, что в качестве аргументов принимались «прекрасные чувства», а в качестве критерия истины — убеждения, в результате чего почти полностью было приостановлено действие инстинкта интеллектуальной добросовестности, так как заранее в философии было известно, что нужно доказать и какие истины следует признавать. На место этого инстинкта была поставлена «любовь к добру». «Моральная философия, — замечает Ницше, — это скабресный период в истории духа». Это философия декаданса и состояния опасности.

«Подлинные же философы, — считает Ницше, — суть повелители и законодатели; они говорят: «так должно быть!», они-то и определяют «куда?» и «зачем?» человека. (...) Их «познавание» есть созидание, их созидание есть законодательство, их воля к истине есть воля к могуществу. Основная задача подлинных философов сводится к определению ценности. Они «должны быть разрушителями», обладающими дионисовской мудростью. Гибель всего существующего, как бы хорошо оно ни было, должна у них вызывать наслаждение одерживающим победы грядущим, будущим. Против парализующего ощущения всеобщего разрушения и неоконченности они должны использовать идею вечного возвращения.

Переоценка всех ценностей — это принципиальный философский антидогматизм, антиавторитаризм, философское кредо непрерывного обновления ценностей.

Еще — расставание с иллюзиями, вечными упованиями человечества, надеждами на рай на земле. В письмах молодой литератор уже называл себя человеком, который ничего так не желает, как иметь возможность ежедневно утрачивать хотя по одной успокоительной иллюзии на пути к полному духовному освобождению, «возможно даже, что я больше хочу быть человеком духовно свободным, чем могу быть им».

Переоценка всех ценностей означала для Ницше переоценку большинства великих, развенчание величия, не отвечающего его критериям «переоценки». В «Сумерках кумиров» находим:

Невозможные для меня. — Сенека, или тореадор добродетели. — Руссо, или возвращение к природе *in impuris naturalibus*¹. — Шиллер, или трубач нравственности из Зиккингена. — Данте, или гиена, сочиняющая стансы во гробах. — Кант, или *sant* (непонятный язык), как непонятный характер. — Виктор Гюго, или маяк на море бессмысленности. — Лист, или школа покорения женщин. — Жорж Санд, или *laktea ubertas*², выражаясь по-немецки: молочная корова с прекрасным слогом. — Мишле, или вдохновение, снимающее одежду. — Карлейль, или пессимизм как запоздавший обед. — Джон Стюарт Милль, или оскорбительная ясность. — Братья Гонкуры, или два Аякса в борьбе с Гомером. — Музыка Оффенбаха. — Золя, или «радость от испускания вони».

Ренан. — Богословие, или гибель разума от «наследственного греха»... *Сент-Бёв.* Ни одной мужской черты; вместо того — мелочная злоба против всех мужественных умов... *Эмерсон.* — Это такой человек, который питается только амброзией и инстинктивно избегает всего, что дурно переваривается желудком.

Переоценка ценностей — это путь эволюции духа, символ творчества: «смена ценностей — это смена создаваемого».

Переоценка ценностей — философия жизни, ее эволюция, ее дионисийское начало.

Переоценка ценностей — иное наименование воли к могуществу, ибо находится в самой сердцевине этой воли. Движение жизни определяется волей к могуществу, ведущей к постоянному обновлению ценностей. «В воле заключено: всему давать цену».

Давать цену — значит договариваться о ценности и устанавливать ее. Воля к власти дает цену, выясняя условие возрастания и устанавливая условие сохранения. Воля к власти, по своему существу, — воля, полагающая ценности. Ценности — это условия сохранения, возрастания в пределах бытия сущего. Сама воля к власти, коль скоро она особо выходит наружу в чистоте своей сущности, есть основа и область полагания ценностей. Основа воли к власти не в чувстве недостатка — нет, сама же воля к власти есть основа сверхизобильной жизни. Здесь жизнь означает волю к воле. «*Живое* — это уже значит: оно дает цену».

Поскольку воля к могуществу — движитель бытия, а ценности — условия сохранения и возрастания, ценности приоритетнее истин. По словам Ницше, вопрос о ценностях *фундаментальнее* вопроса о достоверности: последний обретает всю свою серьезность лишь при условии, что мы ответили на вопрос о ценности. Для Ницше ценности определяют истины, а не наоборот: «Истина не считается высшей мерой ценности, тем более наивысшей властью». По-

¹ В природных нечистотах (латин.).

² Молочное изобилие (латин.).

добным образом искусство выше науки, ибо первое — царство ценностей, вторая — королевство истин.

«Переоценка ценностей» включает и пересмотр онтологических иерархий: неорганическое — высшее, ибо только здесь *«господствует истина»* — «восприятие силы» однозначно и точно. Чем выше степень организации структуры — тем ниже (расплывчатей) совершенство, тем неопределенней закон: «То, где нет заблуждения, это царство стоит выше: неорганическое есть лишенная индивидуальности духовность» (преджизнь — жизнь — сверхжизнь Тейяра де Шардена, перевернутая наоборот). Разница между Ницше и Тейяром — терминологическая: больше духа — меньше порядка или наоборот в зависимости от эталона, меры. Впрочем, *воля к власти* — другое наименование творческой эволюции: ведь познание, духовность — те же плоды воли к могуществу по Ницше.

Видимость целесообразности (бесконечно превосходящая всякое человеческое искусство) — простое следствие той *воли к власти*, которая действует во всем совершающемся, что и ведет с собой порядок, делающий сильнее, который и выглядит похожим на проект целесообразности; при этом являющиеся цели не должны игнорироваться, но, коль скоро бóльшая сила побеждает меньшую и последняя работает как функция первой, то должен образоваться порядок *рангов*, организация, обладающая видимостью некоторого порядка средств и целей.

Там, где Бергсон или Тейяр видели эволюцию, Ницше обнаруживал регресс: душа — упадок тела, путь природы — падение:

...Все, ведущее к нам, было *упадком*. Человек, и как раз самый мудрый, — высшее заблуждение природы и выражение ее самопротиворечивости (самое страдающее существо): путь природы, приведший к настоящему, — падение. Органическое как дезорганизация.

Более того, ничто не развивается от низшего к высшему, ибо рано или поздно высшему предстоит дезинтегрировать в низшее в силу основополагающего для Ницше принципа *«вечного возвращения»*.

Конечно, сама философия Ницше, сами ценности Ницше подлежат той переоценке, на необходимости которой он так настаивал, ибо никакая переоценка не может быть окончательной, абсолютной. В этом отношении можно согласиться с М. Хайдеггером, что ниспровергатели платоновских идей так или иначе идут по пути Платона, даже если, как Ницше, отвергают эйдосы и идеализм. Воля к могуществу — даже если она не является эйдосом, а движущей силой мира, в конце концов представляется категорическим императивом, идеологией.

Уже в первопонятиях метафизики заложена неотъемлемая безосновность, для разоблачения которой Ницше только и требовалась, что утрата «философской наивности». Он открыл за бытием, единством, благом, истиной, Богом, монадой, субъектом интерес к обеспечению себе мак-

симально свободного, всеобъемлющего, действенного подхода ко всему сущему. Но и ницшеанская воля к власти всего лишь узаконивает то, чем метафизика всегда бессознательно была. Современные мировоззрения и идеологии покончили не только с «чистым бытием» и платоническими первоидеями, но и с «волей к власти» — и все-таки они выносят общие суждения о мире еще «категоричней», чем отвергнутая ими метафизика, хотя не в силах уже не только определить источник своего априорного знания, но даже просто заметить, что пользуются им.

Идеологи оперируют не отвлеченным «бытием», а «ценностями»; «идеи» означают теперь не надмирные первообразы вещей, а силу, организующую и воспитывающую массы. Однако начало этого нынешнего положения вещей было заложено еще в метафизике Платона. По Платону, над миром вещей и над умопостигаемым миром царит «идея блага», которая, подобно солнцу, обеспечивает своим «теплом» существование сущего, а своим светом — его явленность и познаваемость. Не следует понимать это «благо», или «добро», в теологическом или нравственном смысле: платоновское благо, αγαθον — это «способное», «пригодное», а именно способное к тому, чтобы обеспечивать для сущего возможность существования. И вот, если Ницше понимает ценности как «условия возможности» воли к власти, то при всей своей «антиметафизичности» он остается в строгом смысле платоником.

Ницшеанская переоценка всех ценностей сыграла определяющую роль в возникновении техногенной цивилизации с ее активной поддержкой и высокой оценкой постоянной генерации новых идей, концепций, принципов, технологий, программ. Конкуренция идей и технологий, постоянное наличие идей и ценностных ориентаций, альтернативных доминирующим, преобразующая активность — все это во многом стимулировано «переоценкой всех ценностей» и «волей к могуществу». Увы, наряду с приобретениями есть и потери. У Ницше воля к могуществу — глубинная движущая сила, а не вульгарное покорение природы или политическое насилие. На практике техногенная или политическая активность почти всегда направлена вовне, на изменение внешних предметов, на покорение природы и человека, а не вовнутрь или в глубину — на преобразование самого деятеля, на возникновение сверхчеловека как результат нового витка эволюции — духовной, нравственной.

Увы, переоценка всех ценностей в ницшеанской ее интерпретации привела к приоритету ценностных ориентаций власти, силы и господства, а сама «техногенность» вылилась в опасность бесконтрольности. Дело в том, что с позиции эволюции и самоорганизации сложных систем доминирование покорения, силы, могущества чревато возникновением непредсказуемых последствий. Проходя через точки бифуркации, такие системы под влиянием даже небольших силовых воздействий способны переходить в необратимые и непредсказуемые состояния, потенциально содержащие в себе катастрофические последствия. За все приходится платить: воля к могуществу потенциально чревата коллапсом...

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ, ЧЕЛОВЕКА, КУЛЬТУРЫ

Всё великое опасно, если оно ново.

Ф. Ницше

Сегодня еще рано судить о том, насколько глубок надрез, сделанный Ницше на историческом древе человеческого сознания и мышления. Но влияние его теорий и постулатов, даже его поз и словечек бесспорно огромно. Оно сказалось повсюду — во всяком случае, в том мире, где говорят по-немецки. Выяснить свои отношения с Ницше неизбежно придется человеку, который пытается сегодня философствовать.

К. Ясперс

Понять мыслителя — означает докопаться до его глубинных мотивов, за высказываниями разглядеть побуждения, увидеть в целом то, что сокрыто за частностями, найти центр мировоззрения, сокрытый частоколом отдельных мыслей и идей. Конечно, трудно инкриминировать мыслителю бессознательность основ его мышления, но за явным мировидением всегда скрывается тайное, уходящее в хтонические глубины бессознательного. Самая большая ошибка ницшеведения — буквальное понимание его текстов. Афористика Ницше опасна кажущейся прямолинейностью. Он сам предупреждал об этом, когда называл бытие «вечно проблематичным»: никому не дано однозначно выразить себя в мыслительном творчестве, если само бытие «вечно проблематично». Тютчев говорил: мысль изреченная есть ложь, Ницше учил о мимикрии истины, о вечном ее движении, о философском творчестве — расчистке новых мыслительных пространств.

К. Ясперс:

Между подлинной мыслью Ницше и ницшеанством, превратившимся в разговорный язык эпохи, огромная разница. Всеобщим достоянием стала его разоблачительная психология — в особенности широко разошедшаяся по всевозможным разновидностям психоанализа — и его анти-

христианство. Однако сама его философская мысль, для которой обе эти области — всего лишь средство или предварительные шаги, не содержащие собственной истины, осталась столь же недоступной и сокровенной, как и творчество всех великих немецких философов. Глубокий поток этого философствования, перерезающий нашу эпоху, так и не был замечен толпой. Вот действительное положение вещей: публика превратила этого философа в собрание расхожих мнений, может быть, и спровоцированных какими-то аспектами его философии, но отнюдь не составляющих ее сути. Задача критического исследования — не дать утопить Ницше и его настоящую философию, ибо только благодаря ей он может занять свое место в ряду великих предшественников — в выступающих на передний план плоскостях.

Но выполнить эту задачу невозможно, просто опровергая каждое однозначное высказывание Ницше его же собственной цитатой противоположного смысла. Нам придется покинуть уровень альтернативного мышления и обратиться к **мышлению иного рода**, где совсем иначе ставятся вопросы, где взору открываются далекие просторы, а истина становится глубока; куда не достигает шум старающихся перекричать друг друга категорических утверждений. Однако просто обратиться к мышлению такого рода нельзя — его можно лишь стяжать медленным и трудным самовоспитанием, самообразованием человека к своей сущности. В области мышления такого рода Ницше чувствовал себя, как дома...

Притягательность философии Ницше в ее пролиферативном характере, нестандартности, автономности, личностности. Философия должна быть не застывшей системой, а школой мысли, выражением духовной свободы, «переоценкой ценностей», конкуренцией идей. Никому не дано право на обладание «последней» истиной, никто не может судить другого.

Ницше категорически отвергал диалектику за ее способность все объяснить и все оправдать. Диалектика является мировоззрением и моралью слабых, служит черни, представляет собой «плебейскую мудрость». Место диалектики должен занять «перспективизм», способ познания, отвергающий догматические толкования и однозначные трактовки, — то, что ныне именуется философией точки зрения.

Ницше — крестный отец философии перспективизма: не существует истин *sub specie aeterni*¹ — хаос событий организуется интеллектом каждый раз по-разному, философия — сумма проектов философий. В мире существует не только борьба воли, но и вечная конкуренция умов, структур сознания, мировидений. Ницше отрицал не метафизику, но ее претензию на абсолютность и универсальность, взывал к новому ее прочтению, поиску все новых и новых перспектив. Философия самого Ницше — попытка найти новые ценности, придать новый смысл жизни и человеку.

¹ С точки зрения вечности (латин.).

Это глубоко личностная философия, ориентированная не на «истинность», а на «сродность». До Ницше создатели Великих Систем, отцы-основатели и господа-мыслители, все благодетели человечества, творили Всеобщую Мудрость, Истину в последней инстанции. Ницше напITYвал свои книги той интимной силой, с которой личность обращается к личности, единомышленник беседует с единомышленником.

Философия Ницше — это опробование неизведанных мест, свидетельство истинности «антиистин», выяснение следствий обратных утверждений. Переоценка ценностей преследовала тайную цель доказать наличие огромного познавательного содержания «негативных» феноменов, ценности отвергаемых культурой полярностей, необходимости зла.

Н. А. Бердяев:

Явление Ницше имеет огромное значение для судьбы человека. Он хотел пережить божественное, когда Бога нет, Бог убит, пережить экстаз, когда мир так низок, пережить подъем на высоту, когда мир плоский и нет вершин. Свою, в конце концов религиозную, тему он выразил в идее сверхчеловека, в котором человек прекращает свое существование. Человек был лишь переходом, он лишь уваживал почву для явления сверхчеловека. Происходит разрыв с христианством и гуманистической моралью. Гуманизм переходит в антигуманизм...

«Антигуманизм» здесь следует читать как отрицание человека ради высшего человека, как создание новых, сверхчеловеческих ценностей, как движение эволюции.

«Худшему из миров» Шопенгауэра Ницше противопоставлял величие мира и жизни, природные реалии — без сокрытия правды, без шор, фикций и утопий. Не потому ли порой его философия представляется «дикой» — нетронутыми джунглями с роскошной флорой и фауной среди чахлой рукотворной «сельскохозяйственной» природы?

Путь Ницше к философии жизни пролегал не через «хлад ума», но сквозь жар жизненной глубины. И цель этой философии он обозначил сам: «Открытие новой, еще не открытой до сих пор возможности философской жизненности».

Ницше многократно подчеркивал, что, в отличие от других мыслителей, своим творчеством бессознательно мстивших за обиды, служил жизни, здоровым инстинктам, жизненной игре.

Вдохновенный характер философии и стиля Ницше делали его философствование игрой, свободным парением, головокружительным пируэтом. Ницше никогда не ставил себе целью проникнуть умозрением в глубинные структуры бытия или дать стройное обоснование той или иной философской проблемы. Он видел своей задачей новую неожиданную постановку проблем, предельное их заострение, глубокий надрез. Он прекрасно осознавал эту свою свободу и мыслил собственное философствование в образе ныряния: «С глубокими проблемами у меня обстоит так же, как с холодной ванной, — мигом туда, мигом оттуда».

Под воздействием мощных порывов вдохновения он чаще всего не имел ни времени, ни сил не только для доведения своих философских мыслей до конца, но и оказывался просто не способным ясно и последовательно осмыслить последние и поэтому нередко давал им даже разное толкование.

Интуитивный и афористический характер философии Ницше действительно лишает ее системного характера, но это не дает оснований видеть в ней «кучу случайных афоризмов» — она по-своему последовательна, стройна и развивается из взаимосвязанной совокупности пронизывающих ее идей.

Философия — не холодное абстрагирование, нет, это переживание, страдание, самопожертвование во имя человечества; и Ницше знал это и был сам тому примером.

Перед нами один из первых образцов субъективистской, эмоциональной философии *als-ob*, «как если бы», философии экзистенциального перспективизма, философии сродности, родства душ. В ней нет ничего окончательного, ничего императивного, она не зовет за собой — только пробуждает. Ницше — великий будильщик, девиз которого: *«Не следуй за мной, следуй за собой!»* Нечеховой мыслитель, нонконформист, он считал независимость главной привилегией сильных.

Мне представляется, что системность, последовательность и исчерпанность убили бы Ницше. Ведь сама суть его философии в том, что никакая окончательность невозможна, что всегда будут альтернативы, что всеохватность опасна тоталитаризмом.

Главная особенность философии Ницше — динамичность, подвижность, калейдоскопичность мысли. Он не решает проблем — он делает попытки. Это воистину «испытательная философия», эксперимент мудрости, вихрь.

С бешеной скоростью меняя позиции, установки, точки зрения, он вихрем крутит бедного читателя, который неизбежно лишится рассудка, если не наделен собственной изначальной самостоятельностью, если его экзистенция не в силах переварить мысли Ницше, превратив их в часть самой себя.

Вопреки чисто человеческому желанию Ницше завоевать себе неофитов путем виртуозно отработанных приемов суггестивного воздействия на подкорку, его художественные тексты оставляют читателя свободным, открытым персональному выбору.

...При освоении содержания философских взглядов Ницше читатель не чувствует того интеллектуального принуждения и подчинения, которые связаны с развертыванием логической необходимости выводов одних положений из других посредством приведения достоверных доводов и фактов. Погружаясь своей мыслью в философию Ницше, читатель, образно говоря, как бы отправляется в свободное плавание без руля и ветрил по

морю его идей, которые высказываются, но, как правило, не навязываются силой непреложных аргументов. Читатель поэтому лишь знакомится с ними, но логически к ним не принуждается, так что свободно принимает решение о том, какие из них заслуживают внимания, а какие — нет.

Философия никогда не бывает только результатом теоретического интереса, она — результат глубоко спрятанных в душе философа практических влечений и жизненных запросов, вызванных этой борьбой. Во всякой философии, по словам Ф. Ницше, нравственные или безнравственные намерения составляют то жизненное зерно, из которого вырастает все растение. Поэтому центр тяжести всякой философии — в ее морали, в ее этике.

Утилитарность вредит метафизике, вводит в нее ложные идеи; эйдосы, универсалии — «тени» Бога. Метафизика, постулирующая существование истинного, трансцендентного мира за пределами явлений, является наследием богословия, философским вариантом религии. Необходимо не преодолевать метафизику, а делать ее философией жизни, за пределами которой не стоит ничего, кроме развития этой жизни.

Ницше категорически отвергал противопоставление наличного, «кажущегося» мира истинно-сущему, существующему только в нашем уме. Ничего сверхчувственного и потустороннего не существует, как нет никаких метафизических «сущностей», ничего вечного, неподвижного, неизменного. Истинно только вечное становление, непрерывный процесс, поток жизненности.

Вопреки платоновской линии в философии Ницше объявил чувственное истинным миром, а сверхчувственное — вымышленным, неистинным. Позже Хайдеггер охарактеризовал это «завершением забвения бытия», заменой сверхчувственного физикалистской «волей к могуществу».

Сознание, понятийное мышление, логичность, системность — только тончайшая пленка на поверхности жизни. Осознанным мышлением философа, полагал Ницше, тайно руководят его инстинкты. Именно глубинная структура сознания заставляет его двигаться определенным путем. Приоритет телесности перед духовностью для Ницше означал производность сознания из бессознательного почти в духе Фрейда. Он даже ввел понятие «Оно»: «Оно господствует и является даже хозяином над «я». За твоими мыслями и чувствами стоит более могущественный хозяин, неведомый мудрец, который называется Оно. В твоём теле он живет; он и есть твоё тело». Телесность, жизненность, бессознательность для Ницше первичны и синонимичны. «Творческое тело сотворило себе дух как длань своей воли». Поскольку сознание производно от воли, поскольку жизнь есть бытийное условие сознания, разум не может быть высшей инстанцией процесса жизни. Само человеческое существование должно прислушиваться к «зову жизни», «зову Диониса» («зову бытия» на языке Хайдеггера): «...Под мистичный радостный зов Диониса разбиваются кандалы неволи индивидуации и открывается широкая дорога к Матери бытия, к тайной сути вещей».

Бессознательное трактуется Ницше как внеисторическое, глубинное, жизненное.

Ф. Ницше почти в духе З. Фрейда писал:

Все живое может быть здоровым, сильным и производительным только в пределах какого-нибудь горизонта. Внеисторическое подобно атмосфере, которая, окружая собой пространство, делает возможной жизнь... Правда, что только тем человек и заявляет себя человеком в истинном смысле слова, что рассуждает, сравнивает, различает, объединяет, т. е. именно ограничивает внеисторический элемент, среди всеохватывающей облачной атмосферы прорывается светлый луч, т. е. появляется сила пользоваться прошлым для настоящего, обращая минувшее в историю; но от избытка исторического элемента человек перестает быть самим собой.

Картезианская формула «мыслю, следовательно, существую» неприемлема для Ницше тем, что мышление стоит перед существованием. Согласно классической философии, познание не только проясняет суть объектов, но субъект в процессе познания проясняет сами акты мышления. Согласно онтологической концепции жизни Ницше, жизнь является предпосылкой, предусловием мышления, которое не может быть — именно в силу своей жизненности — рационализировано, систематизировано и тем более поставлено впереди жизни. Жизненный свет является почвой для любой практической и теоретической деятельности. Дионисийская глубина жизни задает тон всех субъективных теоретических идеализаций.

Исходя из своей концепции жизни, Ницше перетолковывает и весь свет объективного духа, то есть речь, судьбу, гражданское общество, государство, право, родину. Главная черта жизни — это ее волевой характер. Ницше, в сущности, отождествляет жизнь и волю к жизни, которая, в свою очередь, эквивалентна воле к могуществу. Присущая жизни воля имеет онтологический статус, и поэтому мир объективного духа имеет конечным пунктом своего обоснования бытие (жизнь), а не всеобщий разум, не конституирующие акты субъекта.

При всем том, при предпочтении жизни всему остальному, главная функция жизни у Ницше — познание: жизнь — средство познания, — пишет он.

В. А. Поссе высказал предположение, что философия Ницше была отчасти протестом против швейцарского пуританства, своеобразной «реформацией реформации». Ницше глубоко претила неискренность, лицемерие, ханжество пуритан, особенно — от философии. Ему импонировала мысль Стендаля: «Чтобы быть философом, надо быть сухим, трезвым, без иллюзий». В философии он исповедовал безбрежный реализм, неограниченную «свободу ума», особенно острый скептицизм, который обнаруживал у Монтеня.

Быть сухим, трезвым, без иллюзий — означало для Ницше принимать жизнь так, как она есть, не закрывать глаза на темные стороны жизни, принимать ее законы. «Я называю животное, род, индивида испорченным, если они теряют свои инстинкты, если они выбирают, если они *предпочитают* то, что им вредно».

Быть сухим, трезвым, без иллюзий — означало также видеть движение жизни, круговорот жизни, отсутствие вечного, непреходящего, абсолютного: «Злым называю я это и человековраждебным, — все эти учения об Едином и Непреходящем. Все *непреходящее* — *оно* есть только подобие. И поэты лгут слишком много... Итак, о творящие, будьте приверженцами и оправдателями всего преходящего».

Новой гордости научило меня мое «я», ей учу я людей: больше не прятать головы в песок небесных вещей, но свободно нести ее, эту земную голову, которая творит для земли смысл.

Высшую трезвость философа Ницше усматривал в правде жизни, ибо «вне жизни нет ни одной устойчивой точки, опираясь на которую можно было бы судить о бытии, ни одной инстанции, перед которой жизни могло бы быть *стыдно*».

Фактически Ницше сформулировал главную проблему философии — проблему обоснования обыденной жизни и впервые попытался разрешить эту проблему: в обыденной жизни человеком движет не то, что он сознает, но то, что сильнее его.

«Онтология» Ницше — это живая жизнь, философия жизни, привязанность духа к тому, что его производит:

Мир, взятый независимо от нашего условия, а именно, возможности в нем жить, который не сведен нами на наше бытие, нашу логику и наши предрассудки, такой мир, как мир в себе, не существует.

Мир — это мы и наши обстоятельства, остальное — малоинтересно. Конечно, есть иной, химический, неорганический мир, мир конечных предметов и угроз, но «настоящий» мир — целостность, именуемая «жизнью», не знающая противопоставлений материи и сознания, объекта и субъекта, даже органического и неорганического.

Мир — великое игрище сил, «законы природы есть формулы отношения сил». Воля к власти — понятие не социологическое, а онтологическое: мир — борьба воли на всех уровнях бытия.

«Неземным надеждам», то есть утопиям, Ницше противопоставлял «верность земле», то есть жизни, жизненным порывам, витальности, природе. Не к счастью, а к делу своему должен стремиться человек! Прекраснодушие — символ духовной китайщины, опасный духовной кастрацией, лишением жизненных сил.

Говорят, что философия Ницше суть философия тела: «Душу Ницше приводит к земле. Душа для него и есть тело, отряхнувшее пыль вырождения» (А. Белый). Мне представляется, «тело» Ницше — лишь известковое отложение на душе, точнее, душа и тело — единый организм, душа — мощь тела, тело — материализация души. Субъект и объект — одно.

Жизнь оправдана как средство познания, как творчество; ценность жизни — радость свободной мысли. Хотя мудрость — дурачество жизни, в ней — всё.

Хотя философия Ницше — гимн телу, хотя, в увлеченности жизненностью, он порой скатывался к вульгарностям Бюхнера и Молешотта и сводил идеи к витальным влечениям и инстинктам, отказ от идеализма коренился не в «первичности материи», а в отрицании вечности платоновских эйдосов. Говоря, что всякий идеализм был до сих пор чем-то вроде болезни, Ницше имел в виду притязание разума на творение абсолютных идей. Творчеству жизни должно соответствовать свободное сознание, отказавшееся от догм и авторитетов.

Идеализм — болезнь, ибо приписывает миру существование чего-то надмирного, вечного, неизменного, незыблемого, то есть всеми своими свойствами противостоящего этому текучему, изменчивому миру физических тел. Идеализму в философии Ницше противопоставлял психологию человека, считал, что она «есть путь ко всем основным проблемам».

Ницше полагал, что философия — признак здоровья, но не способ лечения болезни.

Где найти пример народа, которому философия бы вернула утраченное здоровье? Если она когда-либо являлась помощницей, спасительницей — это было лишь здоровьем.

Есть противники философии; и хорошо делают, прислушиваясь к ним, когда они советуют больным головам... оставить метафизику и проповедают им очищение природой.

«Бытие» — понятие не из лексикона Ницше: его «бытие» — «становление». Я не говорил бы о взаимоисключительности «бытия» и «становления», ибо для Ницше — это синонимы. Ницше не растворяет бытие в становлении, а отождествляет их: отличительная черта его становления-бытия — отсутствие оснований и остановок: мир как становление находится в вечном процессе самосозидания-саморазрушения, в потоке смены единичных предметных форм бытия. «Становление не упирается ни в какое-либо «бытие» и не содержит в себе той или иной субстанции».

Поскольку становление бесцельно, постольку оно не может когда-либо завершиться в каком-то предельном и окончательном результате и тем самым прекратить свое дальнейшее развертывание, оно вечно, постоянно и непрерывно.

Пожалуй, категория становления является самой фундаментальной в онтологии Ницше: устойчивости, прочности, постоянству, вечности дионисийский философ противопоставляет безосновность, бесцельность, неопределенность. Бытие вещи у Ницше погружено в поток времени, не имеющий начала и конца. Становление «не имеет никакого конечного состояния как цели, оно не упирается ни в какое бытие». Жизнь — высшая форма становления, непостижимый поток, не укладывающийся в «схему сущего».

Ницше четко разграничивает становление и мышление. Становление — поток существования, мышление — создание фикций. Мысля сущее, мы не в си-

лах обходиться от созданных нами фикций, именуемых истинами. Человек не способен освободиться от фикций своего ума, придающих качественную стабильность вечному изменению.

Становление скрывает от человека самое глубокое, мудрое, и если жизнь основана на видимости, то для жизни вообще, как и для жизни индивида, «истина была бы разрушительным принципом».

В чем смысл человеческого существования в мире, покинутом Богом? Смысл жизни, отвечает Ницше, в ней самой, в ее полноте и правде, красоте и мифологичности. Жизнь должна стать произведением искусства, философия жизни невозможна без эстетического отношения к ней.

Если жизнь — высшая ценность, то, естественно, вымышленный Платоном и канонизированный христианством сверхчувственный, потусторонний, трансцендентный мир идей, идеалов, целей, Божественной сущности, возведенный над земной жизнью и определяющий ее, отступает на второй план, становится вторичным, производным от жизни, сознания, человеческого духа, культуры. В христианстве Ницше не мог воспринять «второсортность», отвержение реальной земной жизни во имя идеальной небесной. Сама эта «идеальность» претила ему как выпадающая из всей совокупности свойств жизни, из развития как процесса, из полноты бытия. Приоритет, отдаваемый вымышленному миру перед существующим, Ницше воспринимал как свидетельство деградации жизни, духовного упадка человека.

Все потусторонние миры создаются на основе страданий и бессилия людей. Те, кто презирает тело и землю ради истинного мира, — это больные и умирающие. В связи с этим Ницше выступает против признания существования истинного мира. Налично сущий мир — единственный, истинный же мир есть его своеобразное повторение. Последний — это целительный, утешающий мир иллюзий и фикций, это все, что мы ценим и ощущаем как приятное. Он был до сих пор источником опаснейших покушений на жизнь, величайших сомнений и всяческого обесценивания того мира, который мы представляем собой. Стремление к истинному миру есть перенос мечты по ту сторону человека.

Идеалом коммунистов был утопический, безмятежный мир тотальной радости и красоты — курицы к обеду, идеалом Ницше — способность человека принять действительность во всей ее полноте, со всеми ее радостями и ужасами, правдами и грехами — жизнью и смертью.

Трагедии из жизни не изгонят никакие общественные переустройства, и, по-видимому, настало время не отрицать страдания как некую фиктивную действительность, от которой можно, как крестом от черта, избавиться магическими словами «ее не должно быть», а принять их, признать и, быть может, наконец понять.

Философии благих намерений, которыми, как известно, устлана дорога в ад, Ницше противопоставил философию трагедии, правды жизни, приятия жизни такой, какова она есть.

Философия жизни — это ее драма, полнота, целостность. Желать жизни — значит принимать ее со всем ее добром и злом, правдой и ложью, счастьем и страданием. В жизни, как в драме, необходимы опасности, страдания и даже сама смерть.

Жизнь должна восприниматься как искусство, творчество. Сама она лишена смысла и цели, но творчество — во власти человека. Человек волен создавать себе цели и ценности, волен сделать прекрасной свою жизнь, превратить ее в явление эстетическое. Дабы жизнь несла на себе печать вечности, необходимо самому стать творцом своей жизни, овладеть искусством жить.

Если жизнь — это эксперимент, то, тем более, философия — это экспериментирование, навсегда отказавшееся от каких бы то ни было догм, абсолютов, «систем», безусловных ценностей. Любопытно, что такой подход к философии почти полностью совпадал с «сущностной философской реконструкцией» Джона Дьюи — его требованием «освободить от традиционного балласта» «подлинно современные энергии и искания» философии, придать жизненности фундаментальное значение.

Философия, адекватная жизни, желающая быть непосредственным выражением жизни, то есть философией жизни, не может строиться как рационализованная система, как «наукоучение» — она может быть просто житейской мудростью, экзистированием, трансцендированием, исповедью, потоком персонального сознания, личной позицией (перспективой). Философия Ницше мифологична, символична, метафорична. Он далек от определений, однозначных понятий, систематичности и упорядоченности. Его приемы — заострение проблемы, открытие неожиданной грани, вызов устоявшимся стереотипам, переоценка.

Философия Ницше — признание права на существование «темной жизни» «цветов зла», трагической и абсурдной стороны бытия. И не только признание — констатация необходимости для жизни ее бездн, ее боли, ее борьбы. Философия Ницше — грандиозная компенсация сократической линии культуры, противовес рационализму, утопии, социалистическим идеям.

Л. Шестов:

Уважать великое безобразие, великую неудачу! Это последнее слово философии трагедии. Не переносить все ужасы жизни в область Ding an sich, за пределы синтетических суждений a priori, а уважать! Может идеализм так относиться к безобразию? Когда Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых душ», его объявили сумасшедшим — иначе нельзя было спасти идеалы. Но Гоголь был более прав, когда сжигал свою драгоценную рукопись, которая могла бы дать бессмертие на земле целому десятку не «сумасшедших» критиков, чем когда писал ее. Этого идеалисты не допустят никогда, им нужны «творения Гоголя» и нет дела до самого Гоголя и его

«великой неудачи, великого несчастья, великого безобразия». Так пусть же они навсегда покинут область философии! Да и зачем она им, наконец? Разве их заслуги недостаточно оправдываются ссылкой на железные дороги, телеграфы, телефоны, потребительные общества и даже на первый том «Мертвых душ», поскольку он способствует прогрессу? Философия же есть философия трагедии. Романы Достоевского и книги Ницше только и говорят, что о «безобразнейших» людях и их вопросах. Ницше и Достоевский, как и Гоголь, сами были безобразнейшими людьми, не имевшими обыденных надежд. Они пытались найти свое там, где никто никогда не ищет, где, по общему убеждению, нет и не может быть ничего, кроме вечной тьмы и хаоса, где даже сам Милль предполагает возможность действия без причины. Там, может быть, каждый подпольный человек значит столько же, сколько и весь мир, там, может быть, люди трагедии и найдут то, чего они искали... Люди обыденности не захотят переступить в погоне за таким невероятным «быть может» роковую черту.

Ницше сформулировал одну из основополагающих идей философии жизни, согласно которой жизнь — тяжелое, порой смертельное усилие, полное страданий и страхов. Жизнь опасна! Но в этом — вся прелесть жизни: «Это и была Жизнь? Ну и что ж! Попробуем еще раз!»

Для Ницше смысл *amor fati* — ничего не изменять ни впереди, ни позади во веки веков: «Не только выносить необходимость — еще меньше скрывать ее от себя — всякий идеализм есть ложь пред лицом необходимости, — но любить ее».

Amor fati есть формула величия, говорит Ницше, гарант богоравности человека: «будете, как Боги» — другая сторона этой формулы. Парадоксальным образом *amor fati* и воля к могуществу — одно: возлюбить судьбу — стать Богом, обрести Божественную силу.

Amor fati — это вечное «да» бытию, жизни как она есть, реальной, а не вымышленной истории. Как считал К. Ясперс, в *amor fati* соединяется, казалось бы, несоединимое: напряженная активность осуществления того, чего еще нет, и любовное принятие того, что происходит. При этом у Ницше речь идет не о пассивном подчинении человека необходимости, но об изначальной направленности познания к неизведанному, об активности, созидании, творчестве, о совмещении космических горизонтов и горизонтов личности в единстве становления и бытия (*А. Аствацатуров*).

Прежняя культура была ориентирована не на личность и интересы каждого человека, а на социум, стадное начало, общественную пользу. Вместо культивации естества индивида, иерархии общества, истинного единичного бытия — рационалистами развивались идеи общественной пользы, равенства, общественного благополучия, либерализма и демократии. Выравнивая природно разных людей, культура подавляла движущие силы жизни, вела к утрате подлинного бытия, обращала людей в манкуртов. Теряя свою волю к могуществу, лишаясь природных инстинктов, человек превращался в робота, не способного утверждать себя и выбирать то, что ему полезно. Культура убила человеческую

подлинность, под видом «высоких чувств» и «идеалов человечества» создала «прирученного» человека, все больше дегенерирующего в меру отдаленности от природы.

«Недостаток личности мстит за себя» — эта максима Ницше не просто краеугольный камень философии персонализма, но и глубочайшее предвидение судьбы общества, ориентированного на подавление человека и предпочитающего соборность индивидуальному началу.

Главная проблема философии жизни Ницше — проблема человека. Человек — светило, вокруг которого «вращаются» все идеи ницшеанства: ценности, нравственность, культура, религия, искусство, музыка. Ницшеанская приверженность дионисийству символизирует человекообожествление, доверие жизни, веру в ее торжество. «Быть только человеком и ничем больше» — эта максима выражает отправную позицию философии жизни. Быть человеком — полагаться на себя, не строить иллюзий, оставаться собой, найти себя. Быть человеком — не устремлять взгляд к совершенству, а жить всей полнотой жизни, трезво смотреть на жизнь, быть реалистом, принимать жизнь такой, какова она есть. Гуманизм Ницше — приоритет человеческого начала.

Собственно, сама философия Ницше, по словам К. Ясперса, есть воля к тому, что есть собственно человек в его мире: «она призвана разбудить этого человека и сделать его возможным; или так: она есть воля к подлинному бытию, которое открывается в целокупном движении мысли, при условии, что под воздействием этой мысли изменяется сам человек».

Человек и мир, человеческое существование и бытие неразделимы, в философии Ницше — это единая жизненная целостность, которую нельзя резать на сферы сущности и явления, материю и дух, объект и субъект. Неправомерно и нелепо говорить о мире самом по себе вне его связи с человеческим существованием, человеческим сознанием и волей. Мир и сознание неотделимы, ибо сознание невозможно без связанного с миром человека, а мир становится необнаруживаемым без присутствующего в нем сознания.

Главная цель философии — поиск путей к возвеличению человека, к усилению могущества человека, к ускорению перехода от человека к сверхчеловеку. Сами философы — элита познания человека, «насадители культуры», готовые прийти на помощь грядущему человеку. Они — предвестники свободного духа, аристократического образа мысли, всего того, что должно быть свойственно будущему человеку.

Гегель и Маркс внушали мысль об абсолютной зависимости человека от своей эпохи, о полном соответствии личности своему времени; Ницше требовал от человека самому стать эпохой, определять свое время и вести его за собой (собственно, в этом суть сверхчеловека).

Универсализация человека невозможна, как невозможна универсальная переделка человечества. Мораль может быть действенной, только если она персональна, выстрадана, укоренена. Человечество — неисчерпаемое разнообразие человеческого, а не единая шеренга или единая цель: «Только в том

случае, если бы человечество имело общепризнанную цель, можно было бы давать указания: «делай так-то и так-то», но такой цели нет».

Ницше различал два крайних типа человеческой личности: натуру гармоническую и натуру героическую. Гармонический тип не знает раздвоенности и рефлексии — это человек инстинктов, врожденный властитель. Героический тип, каким он видел самого себя, состоит из противоположностей, это тип философа, поэта, исследователя. Для гармонического типа, олицетворяющего волю к могуществу, нет препятствий — он идет по жизни напролом, как идет сама жизнь. Героический тип — щупальца жизни, для него жизнь — средство познания. Он не стремится к внутренней гармонии, к единству. Он открыт, готов к любым экспериментам, сам — живой материал для опытов, сам разрушает свое единство: чем многосторонней субъект, тем лучше.

«Ибо мы, познающие, должны быть благодарны Богу, дьяволу, овце и червю в нас... также внешним и внутренним душам, глубину которых не легко постичь, с их внешними и внутренними пространствами, до крайнего предела которых не смогут добежать ничьи ноги». Познающий имеет душу, «у которой самая длинная лестница и которая может наиболее глубоко опуститься под землю, самую обширную душу, которая может широко блуждать и бродить в самой себе, которая бежит от себя самой и нагоняет себя в самых далеких кругах; самую мудрую душу, которой безумие нашептывает сладкие речи, — самую любящую себя душу, в которой все имеет свое течение и истечение, свои приливы и отливы...»

Образец человеческого могущества — Висмавитра, «который из тысячелетних самоистязаний вынес такое сознание своей силы и такую веру в себя, что взялся построить *новое небо*... Всякий, кто когда-нибудь строил новое небо, находил силу для этого лишь в *собственном аду*» (последнее — это уже личный мотив).

Что же такое для Ницше Человек? Послушаем его самого:

В человеке соединяется *создание* и *созидатель*: в человеке есть материя, недоделанность, избыток, прах, нечисть, безмыслие, хаос; но в нем есть и созидатель, художник, есть в нем твердость молота, божественность созерцателя, настроение седьмого дня...

Конечно же, *творец* в человеке выше *твари*. Мощь и значимость человека состоят в его способности справляться с историей и побеждать ее:

Чем сильнее в своих основах внутренний мир человека, тем больше он может усвоить и воспринять из прошлого. Если представить себе самого могущественного, великого по духовной силе человека, то отличительной чертой его будет то, что никакие границы исторического не остановят его, не нанесут вреда ему; все прошедшее, свое и чужое, он может привлечь к себе, вдохнуть в себя и как бы переработать в собственную кровь и плоть. То, что нельзя осилить, он сумеет забыть; оно не существует,

горизонт замкнут, и ничто уже не напоминает о том, что за его пределом существуют еще люди, страсти, учения, цели.

Историческое должно быть подчинено индивидуальной жизни, непреходящим условием которой является внеисторическое начало.

Сильная натура, согласно Ницше, вмещает в себя всё историческое и внеисторическое: восприняв наследие прошлого, она умеет сделать его плодотворным, ибо владеет им и властвует над ним, а не покоряется прошлому, как властителю. Творец — тот, кто способен выразить дух человечества, а не идти на поводу у него. Творец — тот, кто способен «преодолеть» саму природу: «Только человек сопротивляется направлению гравитации: ему постоянно хочется падать — *вверх*».

Проблему «иметь или быть» Ницше решает вполне в духе Эриха Фромма: «Кто обладает, тот обладаем». Избранники человечества должны «чураться трех блистательных и громких вещей — славы, царей и женщин». Подлинный человек возлагает на себя огромное бремя — оставаться собой, не дать себя соблазнить идеями и вещами, уметь быть противу всех.

В сущности человека биологическое противостоит социальному, причем первое безусловно превалирует: природное, физиологическое, психическое, инстинктивное, аффективное преобладает над родовым, общественным, культурным, сознательным. Внешнее благородство не способно скрыть животное начало. Природное, генетическое — первично, социальное и культурное — вторично. Последнее суть не сама жизнь, но ее декорация, способ маскировки, прикрытия.

Культура, при всем ее огромном влиянии на социум, до сих пор не спешествовала укреплению жизни, скорее, наоборот, вела к ее ослаблению, убивая в человеке подлинно человеческое. Культура социализует человека, приобщает его к роду, народу, государству, а это вынуждает индивида во все большей степени отказываться от самого себя как суверенного и уникального биологического существа, руководствующегося своими интересами и требованиями собственных инстинктов, даже такого, как инстинкт самосохранения. «Смыслом всякой культуры является выведение из хищного зверя «человек» некой ручной и цивилизованной породы животного, домашнего животного».

Подлинная культура — творчество жизни, мифотворчество человека, как очеловеченное упорядочение хаоса бытия. В культуре находят выражение фантазии, чаяния, сокровенные желания, иллюзии человечества. Свобода, по Ницше, это свободное творение иллюзий, воплощенное в культуре. Н. А. Бердяев видел главную заслугу творца «Заратустры» в постановке проблемы творчества, в жизнетворчестве: «Он искал экстаза, и экстаз был связан для него с творчеством».

Предвидя опасные тенденции развития культуры, Ницше предупреждал о росте «способности человека быть дрессируемым», превращающей его в «стадное животное, даже весьма интеллигентное»: «К измельчанию человека

и к приданию ему большей гибкости и подчинению всякому управлению стремятся, видя в том прогресс».

Ницше восстал против самодовольного и оптимистического благодушия поклонников «лучшего из миров», задолго до Ортеги поставив жизненный разум выше рационального.

Ибо культура должна развиваться в согласии с природой, а не вопреки ей.

Преыдущая культура и этика не наращивали жизненный потенциал человека, но, наоборот, стремились поработить, ослабить, превратить его в беспомощное, зависимое и неполноценное существо, «которое опаснейшим для себя образом потеряло здравый животный ум». Благодаря им человек во все большей мере обращался в больное животное, в жалкое подобие, в тень жизни:

Подавление инстинктов историей превратило людей почти в сплошные абстракции и тени: никто не осмеливается проявить свою личность, но каждый носит маску или образованного человека, или ученого, или поэта, или политика.

Если в философии Ницше первое место занимает человек, то сразу за ним стоит культура. Культура почти уравнивается в правах с жизнью: культура — аристократизм жизни, творческий инстинкт — высшее ее проявление. Перед нами философия-культурология, эстетизирующая и окультуривающая витальность. Жизнь — это искусство, это космическое зрелище, это Божественная Трагедия, сводящаяся к колориту Дантова Ада. Как бы ни относиться к Ницше, он — бесспорно — крупнейший диагност и терапевт культуры, вложивший в «лечение» всю свою страсть. Можно сказать, что он жаждал оздоровления культуры так же сильно, как собственного...

Цель философа как теоретика — познать вечную сущность жизни, как практика — освободиться от пут животной жизни. Цель культуры — освободиться от страданий, связанных со слепыми стремлениями, призрачными и суетными целями, и заменить животные стремления сознательной волей лучших людей, представляющих собой *тайное намерение* природы.

Если никто не сможет ответить тебе на вопрос, для чего ты существуешь, то попытайся наконец оправдать смысл своего существования, так сказать, а posteriori и для этого поставь себе задачу и цель, некоторое «для чего», возвышенное и благородное «для чего». Погибни ради этой цели. Я не знаю лучшей жизненной задачи, чем погибнуть ради чего-либо великого, невозможного.

Это — типичный пример инфантильно-романтического максимализма Ницше, скрывающий на дне избыток субъективности: осмыслить мировой процесс — значит озарить ярким светом сознания темную глубину природы.

Хотя культура — все еще тоненькая кожура над раскаленным хаосом, в ней, как в плодоносящей корочке почвы, — всё...

ВОЛЯ К МОГУЩЕСТВУ

Воля к могуществу — это действительность действительного, или же, беря слово в более широком смысле, нежели в том, в каком обычно употреблял его Ницше, — бытие сущего.

М. Хайдеггер

В отличие от прежних философов, «властителей-мыслителей», камуфлирующих обоснование могущества и стремление к господству «ухищрениями» (абсолютный разум у Гегеля, наукоучение у Фихте, экономика у Маркса), Ницше объяснял власть через саму власть. По словам А. Глюксмана, для него «все организации, государство, наука, искусство, политика, религия являются только «формообразованиями господства», структурой «воли к власти».

Власть у Ницше первична, она все измеряет, все производно от нее: «Властвующий измеряет сам, не позволяя при этом, чтобы его измеряли; он сам задает нормы».

Вот круг кругов. Властитель фабрикует свои истины — фикции, но претендует при этом как минимум на то, что все они истины и что он настоящий властитель.

Если для Платона бытие сущего представлялось в виде идеи, то Ницше определял бытие как ценность воления к могуществу: «Бытие явило собственное существо в качестве воли к могуществу».

И в конечном счете не абсолютная субъективность, охватившая своими безграничными расчетами все сущее, подвела к истолковыванию бытия как воли к власти, а скорее наоборот, проект бытия как воли к власти издавна нес с собой сначала господство субъекта, а потом впервые позволил абсолютной субъективности «тела» впервые развернуть всю ответственность своей действительности.

Воля к могуществу, сила — творческая активность, спонтанность, источник становления, движения. Ж. Делёз обратил внимание на то, что идея победы в борьбе чужда Ницше, противоречит его пониманию творчества: победитель действует на уровне расхожих ценностей, а не творит новые. Воля к могуществу — способность давать, а не брать, творческое созидание жизни: «Воля к могуществу подобна энергии. И, как энергию, называют благородной ту волю, которая способна к самоизменению».

Воля к могуществу — принцип эволюции, роста, увеличения мощи жизни. «Вообще воля — это то же, что хотеть стать сильнее, хотеть расти...» Воля к могуществу — «самая внутренняя сущность бытия», эквивалент жизни. Сам Ницше нередко называл волю к власти — жизнью.

Воля к могуществу — природная сила, не различающая добро и зло, правду и ложь, положительное и отрицательное. Воля к могуществу — immoralное начало жизни, суть жизненности.

Воля к могуществу суть воля к жизни, воля к конкуренции жизни, воля к красоте жизни. Не случайно Ницше видит противоядием жизненному упадку — искусство, творчество, эти универсальные средства против снижения жизненной силы. Искусство выражает волю к могуществу, красота стимулирует жизнь и имеет бóльшую ценность для жизни, чем истина.

С. Франк, еще в начале века предвидевший вульгаризацию и фальсификацию ницшеанских понятий «воли к власти» и «сверхчеловека», писал:

«Wille zur Macht» — стремление к власти — признано им [Ницше] основным из жизненных и необходимых человеческих побуждений, его «сверхчеловек» есть прежде всего могущественный и господствующий над окружающим миром человек. Однако это господство отнюдь не должно быть понимаемо как господство политическое или вообще правовое. Кому известно отвращение Ницше к государству, к этому, по словам Заратустры, «холоднейшему из всех холодных чудовищ», тот знает, что этот крайний индивидуалист не мог мечтать о юридической санкции для того господства, к которому он призывал «высших людей». Еще менее можно думать о значении господства у Ницше как экономической, материальной власти над людьми, так как все вопросы материального порядка лежат вообще за пределами его мыслей и стремлений. Отсюда следует думать, что проповедуемое им господство означает просто духовное влияние, власть, приобретенную над людьми силою выдающихся духовных качеств. Уча господству, Ницше резко отличает корыстное властолюбие мелких людей от того властолюбия, которое «приходит к чистым и одиноким самодовлеющим вершинам». Подобное властолюбие не есть стремление подняться, возвыситься посредством власти; наоборот, оно означает, что «высокое хочет спуститься к власти», оно есть стремление к бескорыстному расширению духовной сферы своей личности, к такому воздействию на людей, на которое способны только сильные духом и которое испытывается со стороны подчиняющихся не как тягость и подавление их личности, а как даровое участие в духовных благах воздействующего. Это властолюбие есть и дарящая добродетель (*schenkende Tugend*).

Мне представляется ошибочным интерпретировать «волю к могуществу» как некую умозрительную сущность, обладающую трансцендентным, надмирным существованием, — это противоречит самому духу философии жизни, отвергающей источники жизни за пределами ее самой. Воля к могуществу — главная природная сила, внутренняя энергия (так и хочется сказать — внутриатомная), закон природы. Ницшеанство — философия энергетизма, воля

к могуществу — энергетический символ. Фактически понятие «силы» Ницше расширил до понятия «воли к могуществу». По его терминологии законы природы суть соотношение «воль», их развитие «до последних своих пределов». «Воля к могуществу» в широком смысле — движущая сила природы, эволюции, внутренняя природа всего сущего.

«Физический» мир в интерпретации Ницше — не атомы или вещи (фикции нашего ума), но центры энергии, дословно: «динамические количества, находящиеся в известном отношении напряженности ко всем другим динамическим количествам; сущность их состоит в отношении ко всем другим количествам, в их «действии» на последние». При этом действия этих энергетических центров устремлены на овладение окружающим пространством, на распространение своей силы и вытеснение чужой. «Вся движущая сила есть воля к могуществу, кроме нее нет никакой физической, динамической или психической силы». Если учесть, что все это сказано задолго до появления релятивистской физики и квантовой механики и в отсутствие соответствующего научного языка, то все эти динамические напряженности, центры силы, потенциалы, энергии — разве не потрясающее предчувствие открытий Пригожина, Хакена?

Будучи аккумулятивной энергией, воля к могуществу пребывает не в застывшем состоянии, а в вечном круговороте, в котором она то поднимается до известной точки, то снова опускается. Именно в таком колебательном движении заключен источник превращения энергии в жизнь.

Положив в основу своего динамического истолкования мира идею о воле к могуществу как сгустке энергии, Ницше с неизбежностью приходит к выводу о том, что мир в своем существовании является процессом становления.

Как бы ни интерпретировать физическую картину мира Ницше, перед нами один из наиболее динамичных дорелятивистских миров, находящийся в состоянии непрерывного становления или пульсации. Не случайно сам Ницше называет свое мировоззрение «настоящей философией становления».

Никто не обратил внимание на то, что «воля к могуществу» Ницше — предчувствие, неразработанный прототип *антропного* космологического принципа Картера. О чем идет речь? Согласно *сильному* антропному принципу, Вселенная (фундаментальные параметры, ее определяющие) должна быть такой, чтобы в ней на некотором этапе эволюции возник наблюдатель (человек, способность самопознания). Согласно антропному принципу самоотбора, то, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей.

Проще говоря, из бесконечного количества возможностей разных Вселенных (разных мировых констант, определяющих их структуру) путем самоотбора формируется та, в которой рано или поздно появляется наблюдатель. Картер не приписывал антропному принципу *теологические* (теистические) коннотации — речь идет не о первоначальном замысле мира, ведущем к самоосознанию, а о существовании многих миров, устроенных иначе, реализующих

все возможные комбинации фундаментальных параметров. Стохастические (вероятностные) фазовые переходы таких миров ведут к «нашему» миру, в котором проявляется антропный принцип, то есть реализуются фундаментальные параметры, необходимые для эволюции, приводящей к возникновению наблюдателя. Следуя интерпретации Джона Уилера, *неустойчивость* других «возможных миров» делает реальной лишь одну жизнеобеспеченную Вселенную, в которой значения физических мировых констант гарантируют появление жизни, разума и процесса самонаблюдения.

Но ведь «воля к могуществу» — не что иное, как декларация устройства мира по принципу самоотбора именно такой, жизнеобеспеченной Вселенной: «воля к могуществу» — внутренний принцип эволюции, ведущий путем череды трансформаций ко все более развитой, «живой», продуктивной Вселенной. Преджизнь, жизнь и сверхжизнь Тейяра де Шардена — еще одна схема самоотбора, отвечающая антропным аргументам современной физики.

В этом смысле жизнь — частный случай воли к могуществу: «Жизнь не есть приспособление внутренних условий к внешним, а воля к могуществу, которая, действуя изнутри, все больше подчиняет себе и усваивает “внешнее”».

В приложении к жизни воля к могуществу означает не стремление к самосохранению, но стремление к наращиванию энергии, к господству. Это означает, что в жизни более сильная воля управляет более слабой. Одна из главных целей жизни — умножение могущества.

Воля к могуществу может быть интерпретирована и как стремление к цели. Целесообразность — иное название жизненных процессов, управляемых волей к могуществу. Из воли к могуществу, как источника жизнедеятельности, можно вывести все влечения и функции организма.

Удовольствие или неудовольствие — проявления воли к могуществу, причем то и другое — равноценные элементы жизни, тесно связанные между собой: неудовольствие возникает при встрече жизни с препятствием и требует его преодоления. Сильная личность — это способность преодоления препятствий, умение держать удар, преодолевать боль. Удовольствие — преодоление препятствий, следовательно, боли. Удовольствие тем сильнее, чем сильнее преодоленная боль. Препятствия, связанное с ними неудовольствие — великий стимул к жизни. Жизнь остро нуждается в препятствиях, избежать их — симптом слабости человеческой. Стремление к счастью невозможно без преодоления несчастий.

Воля к могуществу — главный опорный пункт онтологии Ницше, атрибутами которой являются становление, жизнь, сознание. Единство всех проявлений бытия определяется именно волей к могуществу как внутренней пружиной существования и эволюции мира и жизни.

Воля к могуществу — физикалистское, а не политологическое понятие. Ницше принадлежит идея «динамического кванта власти» — квантованности процессов роста, поглощения, подавления действующих сил жизни.

Воля к могуществу имеет эвристическую значимость как способ толкования бытия. Согласно Ницше, бытие — это «многообразие воли к могуществу, об-

разующее Мир», онтологическая сумма квантов силы, квантов сущего, составляющих плюральное поле жизни.

Воля к могуществу — синтез силы и мудрости, результирующая конкуренции воли, совокупность стремлений на разных уровнях жизни, хаос непрерывно меняющихся и преобразующихся организаций власти.

Хайдеггер интерпретировал «волю к могуществу» как *волю к воле*, власть — как действительность воли, не знающей покоя и стремящейся к расширению.

Из-за того, что временами воля воплощается в отдельных «волевых личностях», кажется, будто воля к воле есть излучение этих личностей. Возникает мнение, будто источник воли к воле — человеческая воля, между тем как, наоборот, человек задействуется волей к воле, не осмысливая того, что он задействован.

Поскольку человек таким образом задействован и поставлен волей к воле на службу ей, в его существе по необходимости задействуется тоже «воля», которой дается полная воля как инстанции истины. Вопрос повсюду только в том, действуют ли индивид и коллективы от имени этой воли или же они пока еще просто имеют дело и торгуются с этой волей, пусть даже противятся ей, не ведая о том, что она их уже переиграла. Единственность бытия дает о себе знать также и в воле к воле, допускающей только одно направление, в каком можно воливать. Отсюда происходит единообразие мира *воли к воле*, которая так же далека от простоты раннего начала, как неистовость от истины, хотя первая принадлежит второй.

Для Х. Кауфмана «воля к власти» — стремление личности к самосовершенствованию и самотрансценденции, сублимация стремления к самоопределению. Это не власть над другими, но сублимация влечения к власти, аналогичная сублимации полового влечения, либидо Фрейда¹. Чувство власти — сильнейшее жизнеутверждающее и жизнеукрепляющее влечение, противостоящее пассивности, пессимизму и отрицанию жизни.

Поскольку «Бог умер», у воли к могуществу нет сверхъестественных целей, воля к могуществу — чистая воля к воле, борьба без цели. Цели борьбы и призывы к борьбе, по словам М. Хайдеггера, — только средства борьбы. За что борются, это уже заранее решено, это само могущество, которое не нуждается в цели.

Воля к могуществу эгоистична. История — процесс реализации во времени присущей людям воли к могуществу, выражающейся в их эгоизме: «рычагом исторических движений всегда служил эгоизм отдельных лиц, групп или масс». Главный субъект исторического действия — индивид, утверждающий себя посредством этой воли. Исторический подъем — такое утверждение, исторический упадок — недостаток такой воли. Исторически ценно лишь то, что проявляет себя через мощь воли.

¹ В сущности, воля к власти занимает в философии Ницше место либидо в психоанализе Фрейда. А. Адлер положил волю к власти в основу своего психоаналитического учения.

Воля к могуществу — движущая сила истории, подлинный смысл которой в появлении и реализации «более сильного и совершенного человеческого экземпляра».

Господство масс, усиливающееся со времени Французской революции, спешествует деградации государства. Предотвратить упадок способны лишь «благостные вестники» грядущего исторического переворота, возвышение великих людей, новая волна воли к могуществу.

Воля к могуществу — конкуренция творцов, борьба точек зрения, вечный поиск и все новые обретения смысла существования, смыслообразующее начало мира.

«Воля к власти» — это управление собой («владеющий собой выше завоевателя города»), «воля к власти» — синоним человеческой свободы: власть над собой дает человеку подлинную свободу, она выше и значительнее власти над другими. Отсутствие «воли к власти» — признак рабского сознания, зависимости, подчинения. Скажем, «теоретический человек» — раб созданных им правил и законов, политический человек — раб идеологии, технический человек — раб «зубчатых колес и механизмов».

Политическая подоплека «воли к власти» практически не имеет оснований: правильнее перевести это выражение как волю к мощи, энергию, силу, витальность, инстинкт жизни, волю к самопреодолению.

Понятие «воли» в философии Ницше является системообразующим принципом. «Воля к власти», «власть» — не обязательно «господство», но и «творческий порыв», «соревнование волей», «Бог» (Бог — высшая власть). Речь, таким образом, идет не о *внешней* власти, а о *внутренней* творческой активности, способности человека создавать новые цели и ценности. «Воля к власти» — онтологическая трактовка мира, созидание новых ценностей и верований, власть над умами.

Учение о «воле к могуществу» отталкивалось от эволюционных идей Ламарка и Дарвина, особенно — от социал-дарвинистских интерпретаций становления, перенесших «борьбу за существование» в горизонт развития человечества. Вместе с тем Ницше постоянно подчеркивал свои расхождения с концепцией «естественного отбора» и эволюционного прогресса. «Естественный отбор» благоприятствует не «лучшим», а «наихудшим», стаду, которое лучше всего умеет приспособливаться. «Высшие люди» возникают не путем естественного отбора, а как случайные счастливые исключения.

Ницше считал, что «школа Дарвина ошибается во всех своих утверждениях». Медленной эволюции в борьбе за существование он противопоставил скачки, точки бифуркации, самой борьбе за существование — волю к могуществу, хотя возможно, понятия эти близки по содержанию. Некоторые авторы считают, что, часто возражая Дарвину, он пользовался Дарвиным. На самом деле, главные позиции Дарвина и Ницше расходятся: не борьба за существование вообще, а конкуренция сильных, уникальных, единственных в своем роде и обыкновенных, массовых, безликих; наряду с «естественным отбором» — отбор противоестественный, в частности история человечества, «два тысячелетия противо-

естественности и человеческого позора»; не только «восхождение», но в равной мере и «нисхождение»; не обязательно — возможность торжества сильного над слабым, но, в равной мере, и торжество стаи над вожаком.

Исходя из идеи воли к могуществу, Ницше отрицал эволюционную теорию Дарвина как восхождение от низших форм жизни к высшим. Высшие и сложные виды жизни гибнут легче, чем низшие, поэтому борьба за существование не может привести к отбору сильнейших. Движущая сила эволюции — не естественный отбор, а та же воля к могуществу, борьба волей. Выживают сильнейшие в конкурентной борьбе. «Из-за чего деревья первобытного леса борются друг с другом? Из-за счастья? Из-за власти». Эволюции от низших форм к высшим вообще не существует: виды развиваются одновременно в своих нишах, конкурируя в могуществе, тесня друг друга. При этом огромное количество особей приносится в жертву немногим, обладающим бóльшей волей к могуществу.

Что касается хваленой «борьбы за существование», то, по-моему, ее наличие не установлено, а скорей лишь декларировано. Она встречается только в исключительных случаях; общий аспект жизни — *не* бедственное состояние, *не* голод, а, напротив, богатство, пышность и даже абсурдное транжирство. Если же за что-то борются, то всегда борются за *власть*... Нельзя подменять природу теорией Мальтуса. Но допустим, что такая борьба есть — ведь она и в самом деле встречается, — увы, ее итог представляет собой обратное тому, чего хотелось бы школе Дарвина, на что, следуя его учению, *можно было бы* надеяться: дело в том, что итог «борьбы за существование» неблагоприятен для сильных, обладающих превосходством особей, счастливых исключений. Ни один биологический род *не* пребывает в совершенном благополучии: слабые то и дело захватывают власть над более сильными — оттого что слабых большинство, к тому же они *умнее*... Про ум-то Дарвин забыл (чисто по-английски!) — *у слабых больше ума*... Чтобы быть умным, надо иметь в этом надобность — ум пропадает, когда надобности в нем нет. Обладающий силой избавляется от ума («И пусть мы многого лишимся, о, только б *Империя* наша жила!» — так нынче рассуждают в Германии...). Вполне ясно, что ум, в моем понимании, это осторожность, терпение, хитрость, притворство, большое самообладание и все, что зовется мимикрией (последняя охватывает большую часть так называемой добродетели).

Человек — не высшее животное и не «венец творения», а только «один из». Хотя человек хитрее и тем самым сильнее других животных, он — творение не вполне удачное, весьма болезненное и опасное для самого себя. Причина опасности — утрата инстинктов и безосновательное доверие рассудку, обладающему разве что огромным потенциалом совершения ошибок.

Сознательность представляет собою последнюю и позднейшую ступень развития органического и, следовательно, также и наиболее недоделанное в нем. Из сознательности происходят бесчисленные промахи, вследствие которых зверь, человек гибнет раньше времени.

ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Род уходит, другой род приходит.

Екклезиаст

Хотя идея «вечного возвращения» принадлежит Пифагору, воспета Лукрецием и Горацием, вошла в корпус идей Екклезиаста, оформлена в теорию Макиавелли, Монтескьё, Вико, — Ницше считал ее своей, великой и победоносной мыслью, возникшей как лучезарное откровение и вызвавшей переворот в миропонимании. Почему он, бесспорно знакомый с *ixion*’ом, этим символом вечного возврата, придавал «вечно вращающемуся колесу бытия» столь большое значение в собственной философии? Почему учение о вечном возвращении должно, по его представлениям, занять место прежней философии и религии, где оно и раньше играло значительную роль? Как вечное возвращение сосуществует с идеей становления, о которой так печется Ницше?

Я уже писал о цельности ницшеанского мировидения, о соединении его афористических фрагментов в прочное здание, замковым камнем которого и стало «вечное возвращение». Если жизнь — вечная иррациональная стихия, движимая стремлением к обновлению или, на другом языке, волей к могуществу, то, естественным образом, мировой процесс, мировое движение — колесо.

Своим «вечным возвращением» Ницше выражал символический протест против идей прогресса и гегелевского восхождения к абсолютной истине, против господствующей гносеологии как таковой. Вечное возвращение — констатация глубины жизни, не исчерпываемой дневной ее стороной, мощь молчания, противостоящая ничтожности слов, или — вечности, противостоящей текучести времени, или — мистического ужаса, противостоящего радости мгновения...

По мнению Льва Шестова, объяснение «вечного возвращения» как величайшего откровения следует искать во все том же отказе от слепого следования «законам разума»: «Человек отказывается от повиновения разуму, который и природе до сих пор диктовал свои законы». Вечные истины потеряли свою власть и больше не диктуют законов ни миру, ни ему самому». То, что открылось Ницше на высоте 6000 футов над уровнем моря, полагает Л. Шестов, неизмеримо более важное и значительное, чем вечный возврат, — это отказ от историчности, логичности, незыблемости, вечных ценностей и идей...

Любопытно, что в собственном творчестве Одинокий пилигрим бессознательно следует собственной идее, раз за разом возвращаясь к своим прежним взглядам, меняя точки зрения-маски.

Вагнеровско-шопенгауэровское мировоззрение так глубоко отозвалось на Ницше, что впоследствии, после долгих исканий, уже исходя из совершенно противоположных направлений мысли, он опять приблизился к их основным идеям — и этот факт показывает, как эти идеи шли на встречу всей его натуре, как в них воплощалось то, что дремало в его душе.

Философия истории Ницше отвергает схемы упадка, прогресса или цикличности — процесс истории не направлен, открыт. История — процесс жизни, сама жизнь. История как дисциплина призвана не объяснять или предсказывать ход истории, но служить жизненному процессу, воспитывать человека в духе притяжения полноты жизни. История и есть служение жизни, вечное обновление жизни, многообразие потока жизни. Отвергая идеологию истории, концепцию историзма, Ницше видел в истории лекарство от неосмысленного настоящего, способ интерпретации человеческого существования. Главное требование к истории — быть современной, отвечать потребностям времени.

Ницше не просто считал, что восходящая и нисходящая эволюции сосуществуют, но в самом себе видел средоточие той и другой, самого себя оценивал как точку бифуркации:

Счастье моего существования, его отличительная черта лежит, быть может, в его судьбе: выражаясь в форме загадки, я умер как продолжение моего отца; но как продолжение матери я еще живу и старею. Это двойственное происхождение от самой высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни — одновременно и декадент и *начало* — всего лучше объясняют эту, быть может, отличительную для меня нейтральность, эту независимость от партий пред лицом общей проблемы жизни. У меня более тонкое, чем у кого другого, чувство восходящей и нисходящей эволюции; в этой области я учитель *par excellence*, — я знаю ту и другую, я воплощаю ту и другую.

История неразумна и не имеет цели, считал Ницше. Вместе с тем он видел задачами будущего появление лучших людей, отличающихся полной независимостью от авторитетов, силой духа, свободой, но главное — мощью субъективности, большим потенциалом личностного начала.

Отрицая метафизическую телеологию, Ницше переносил целевое начало в личностное пространство: мир, может быть, бессмыслен и возвращается к самому себе, но сильная личность не может принять эту бессмысленность и должна, вопреки вечному возвращению, ставить и добиваться *собственных* целей.

Диалектика «вечного возвращения» утверждает становление. Для Ницше метафизика и христианство вступили в заговор против становления. Поэтому истинный мир метафизики является заблуждением, ибо он

разрушает именно то, что стремится оценивать, — жизнь. Таким образом, «вечное возвращение» следует истолковывать как экзистенциальный императив.

Становление не означает направленности, упадка или прогресса, становление — движение жизни, свобода этого движения, его непредсказуемость. В сущности, Ницше упредил хайдеггеровскую концепцию закрытого будущего: о будущем ничего нельзя сказать, потому что невозможно предвидеть его волю, его идеи, его великих людей.

Идея вечного возвращения принципиальна для Ницше, ибо это жизнь без цели, без Бога, без высшего смысла. Если все возвращается, значит у жизни нет цели, а для символического животного, каковым является человек, утрата цели и смысла — наивысшая трагедия. Жизнь без Бога — вечное блуждание во мраке ночи. Достоевский видел в безбожии конец человеческого; Ницше, трагически возвещая о смерти Бога, отдавая себе отчет в ужасе такого существования для «маленького человека», ищет Богу замену в грядущей религии, сознавая, что без нового кумира осмысленная жизнь становится невозможной.

Ницше чувствует, что религиозная потребность лежит в корне нашего существа, и в этом — тайная мука его атеизма. В своем отрицании цели он отдает себе отчет в том, что значит для человека утрата Бога.

Сверхчеловек — вот выход Ницше из ловушки. Сверхчеловеком кончает он с атеизмом. Новая религия — это старая религия с новым Богом, тоже вышедшим из людей. Вечное возвращение. Впрочем, это уже не Ницше, это моя его интерпретация.

Вечное возвращение — творчество жизни: разрушение старого и создание нового, преодоление отжившего и открытость мира зародившемуся, никогда не прекращающаяся культивация почвы для новых посевов. Заратустра потому «учитель вечного возвращения», что — пророк философии жизни, вращающегося колеса...

Важнейшая задача сверхчеловека — стать подлинной мерой всех вещей, но уже в динамическом смысле «вечного возвращения», «переоценки всех ценностей», возрастания «воли к могуществу».

Новый порядок, построенный на основе не небесных, а земных ценностей, не может установить человек прежней эпохи, а только новый человек, имеющий новую сущность. Этого нового человека Ницше называет сверхчеловеком.

Все идеи Ницше, в том числе — вечного возвращения и сверхчеловека, — восходят к мифотворчеству, адекватному потоку жизни.

«Вечное возвращение» — мифологическая «регенерация времени», возвращение к мифологическому «*Alles ist schön da gewesen*»¹. Ставя миф выше дис-

¹ Всё уже было (нем.).

курса, он черпал из него не только символы, но основания нового мышления, нового сознания, не пренебрегающего своей основой — бессознательным, архетипичным. Кто-то из *наших* писал, что мифы отражают уровень сознания, постигнутого принцип изменчивости природы, но еще не дошедшего до идеи диалектики. Представляю гомерический хохот Ницше! Впрочем, что ожидать от «верных ленинцев», видевших в марксизме вершину мировой мудрости?..

Идея «вечного возвращения» не декларируется Ницше, но — вопреки стилю его мышления — обосновывается принципом сохранения энергии и конечности Вселенной (здесь, как мы видим, Ницше упреждает Фридмана).

Если мир вечен, а пространство и энергия (сила) конечны, то развитие — это повторение огромного количества конечных состояний:

...Бесконечно новое становление невозможно, поскольку оно — противоречие, ибо предполагало бы бесконечно возрастающую силу; но откуда ей братья?!

Тезис о сохранении энергии требует вечного возвращения (при условии замкнутости системы).

Все возвращается — Сириус и паук, и твои мысли в этот час, и эта твоя мысль — все возвращается.

...Вечные песочные часы бытия снова и снова перевертываются.

Все идет, все возвращается; вечно катится колесо бытия. Все умирает и все расцветает вновь; вечно бежит год бытия... В каждом моменте начинается бытие: в каждом «здесь» поворачивается колесо «там». Повсюду середина. Кругло колесо вечности.

«Вечное возвращение равного» — закон циклической космологии, констатирующий конец иллюзиям прогресса (и, равным образом, «мирового конца»). Любая мировая цель, будь то «светлое будущее», «всеобщее счастье», «гармония», «прогресс» или, наоборот, «армагеддон», «апокалипсис» — только бесплотные идеи, иллюзорные ценности, не имеющие оснований внутри жизни, движение которой обусловлено только внутренней волей к могуществу, а не идеалами «чистого разума». Бытие не имеет цели и смысла, оно неумолимо вновь и вновь повторяется, никогда не переходя в небытие, — только вечный круговорот и вечное возвращение. Следовательно, повторяется и человек, а значит, нет никакой потусторонней жизни.

«Вечное возвращение» — Голгофа Ницше: распятие и воскрешение преображенной личности. Еще — пульсация мира и жизни.

Когда новообращенный говорит, что он нашел *в себе себя*, Ницше ему отвечает: «Так выдержи *себя* в Вечности, если ты — ты». Свою Голгофу индивидуализма — эту гимнастику упражнений духа — называет он «*вечным возвращением*».

«Вечное возвращение» — снаружи это детерминистический парадокс. Утверждение бессмертия этой жизни без всякой бутафории «инобытия». Здесь он как бы говорит нам: «Если ты силен духом и выдержишь самого

себя, то я тебе открою, что восторг твой с тобой: восторг этой жизни; но только и есть у тебя эта жизнь во веки веков. Ну? Что осталось с твоим восторгом?»

Все повторяется. Сумма всех комбинаций атомов Вселенной конечна в бесконечности времен; и если повторится хотя бы одна комбинация, повторятся и все комбинации. Но спереди и сзади — бесконечность; и бесконечно повторялись все комбинации атомов, слагающих жизнь и в жизни нас; повторялись и мы. Повторялись и повторимся.

Вечное возвращение — это символ памяти мира, ключевой архетип бытия и культуры, соединительная ткань времени...

В большом опыте мир не совпадает с собою (не то, что он есть), не закрыт и не завершен. В нем — память, не имеющая границ, память, опускающаяся и уходящая в дочеловеческие глубины материи и неорганической жизни... Эта большая память не есть память о прошлом (в отвлеченно-временном смысле), время относительно в ней. То, что возвращается вечно и в то же время невозвратно... Момент возвращения уловлен Ницше, но абстрактно и механистически интерпретирован им.

Вечное возвращение — необходимый элемент философии жизни, опора для сильных, тех, кому предназначено восторжествовать в будущем:

Раз человек становится творцом своей жизни, весть о всеобщем возвращении вещей звучит для него как великое утешение и радость: он сознает, что он творит нечто *непреходящее*, вечное; он чувствует себя таким образом *спасенным от закона всеобщего течения и всеобщего умирания*. Бессмертна та минута, говорит Ницше, когда я создал учение о всеобщем возвращении: ради этой минуты я могу вынести всеобщее возвращение.

По мнению Ж. Делёза, вечное возвращение не эквивалентно повторению прошлого: негативное не возвращается, а самоотрицается, уходит из бытия и мышления. Творчество природы и человека подразумевает определенные «уроки». Вечное возвращение — цикличность бытия, подразумевающая становление победивших форм, утверждений, позитивных сил, новых пониманий.

Вечное возвращение — союз Диониса и Ариадны, движение жизни, ее удвоение и укрепление.

Ж. Делёз:

Вечное возвращение — результат двойного утверждения, заставляющего повториться то, что утверждается, и ведущего к становлению лишь то, что является активным. Ни реактивные силы, ни воля к отрицанию не повторяются: они устранены благодаря трансмутации, благодаря вечному возвращению, осуществляющему выбор. Ариадна забыла Тесея. Он не остается даже в качестве дурного воспоминания. Тесей никогда больше не вернется. Вечное возвращение — активно и утверждающе: это союз Дио-

ниса и Ариадны... А что касается отпрыска от союза Диониса с Ариадной, то это и есть сверхчеловек или сверхгерой...

Ницше отнюдь не отказывает в праве на существование становлению, росту, могуществу, понимая под ними не «назад к природе», но возвышение себя до природы, «до великой, свободной, даже внушающей ужас природы, которая играет и *смеет* играть великими задачами жизни». «Я тоже веду речь о возвращении «назад к природе», но я, собственно, имею в виду не возвращение, а восхождение — к высокой, свободной, грозной, если угодно, природе и естественности...» Рост — это движение к справедливости природы, к неравенству природы, к иерархии природы. Прогресс несовместим с равенством и бунтом.

Я ненавижу... нравственность Руссо, так называемые истины революции, истины, которые до сих пор имеют влияние и покоряют себе все поверхностные и дюжинные умы. Учение о равенстве... Да ведь нет более ядовитой отравы, как это учение! Проповедуя справедливость, оно на самом деле стремится к гибели справедливости... «Равным — равное, неравным — неравное» — вот что говорит истинная справедливость...

Как и Руссо, Ницше говорит о возврате к природе, но сколь разные смыслы вложены в эти понятия! Не назад к природе и варварству, не красота дикарства, но — вперед к природе, к восприятию полноты жизни и ее правды:

Я также говорю о возвращении к природе, хотя это, собственно говоря, не движение назад, а восхождение к свободной, даже страшной природе и естественности, к той естественности, которая играет великими задачами, дерзает играть ими.

«ЖИЗНЬ — СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ»

Истина не есть нечто такое, что нужно найти, а есть нечто такое, что нужно создать.

Ф. Ницше

Человек в конце концов находит в вещах лишь то, что он сам вложил в них.

Ф. Ницше

Отправная точка гносеологии Ницше: жизнь шире любой рационализации, нравственности, навязанной ей системы.

Кантовский вопрос: «Что я могу знать?» — Ницше превратил в вопросы: «В чем состоит для меня благо знания? Какого рода знание содействует моей воле к жизни, и что ей мешает? В чем состоит мое благо?» Истина и знание должны, считал Ницше, служить человеку, апеллируя к единству моральных и когнитивных аспектов его жизни.

Основополагающий вклад Ницше в гносеологию сформулирован в записи времен написания «Утренней зари»: «Новое в нашем теперешнем отношении к философии — убеждение, которого еще не было ни у одной эпохи, *что мы не обладаем истиной*. Все прежние люди «обладали истиной», даже скептики».

Ницше положил конец классической философии *обретенной истины* и открыл модернистскую философию бесконечного поиска, *эксперимента над истиной*, парадигмальности истины, открытости истины, права каждого на субъективность (здесь вспоминаются слова Гёте о недостатке субъективности у молодых поэтов).

Уже в «Рождении трагедии» Ницше заключает, что бытие человека и абсолютная истина несовместимы: «...Быть может, даже одно из основных свойств существования заключается в том, что полное познание влечет за собой гибель». Познание истины ведет к невыносимому для человека крушению иллюзий, фикций, заблуждений, без которых немыслима жизнь. Систематическая истина, долженствование истины, истина как высший долг познающего — опасные концепции, враждебные жизни и существованию как таковому: «Истина убивает — даже убивает себя сама, как только она познает, что ее фун-

дамент — заблуждение». За абсолютной волей к истине скрывается забвение жизни, воля к смерти.

Главная мысль «Сумерек кумиров» — старая истина приходит к концу: «Великий ветер проносится между деревьями, и всюду падают плоды — истины. В этом расточительность слишком богатой осени: спотыкаешься об истины, некоторые из них даже придавлены насмерть, — их слишком много...»

Свободомыслие, полагает Ницше, состоит не в слепой вере в Истину, но в способности любую истину поставить под сомнение, переоценить, заменить новой. Истина с большой буквы — это только ловушка для простодушных. Не истина, а ее бесконечный поиск — вот путь свободномыслящих. «Окалечиться мыслью» — это дать поймать себя, стать рабом собственной истины, предпочесть конечное бесконечному.

Стабильность знания — один из его мифов, единодушие необходимо для деспотии, знание требует свободы и разнообразия идей. Первый шаг к новому знанию — пересмотр старого. Это всегда трудный шаг: думать, что Природа открывается истиной — впасть в утопию. Природа, считал Дарвин, насколько может, говорит нам явную ложь.

Истина всегда в маске. Истину нельзя поймать, как птицу, ее нельзя вычислить, обрести в споре. Глубокая истина жизни не рождается в споре, говорил Платон. Человек слышит ее как живое истолкование и исполнение себя самого!

Просвещение стремилось обрести единую истину для всех и вручить ее всем в виде величайшего благодеяния и вразумления, Ницше обнаружил, что ни единой, ни вечной истины не существует и что само «торжество познания» заключает в себе опасность порабощения. Нижеследующие слова принадлежат не Ницше, а одному из его интерпретаторов, но, мне кажется, они пришлись бы по душе творцу «Заратустры»:

«Истина и признание». Когда человек старается убедить других в своей истине, т. е. сделать то, что ему открылось, обязательным для всех, — он обыкновенно думает, что руководствуется высокими побуждениями: любовью к ближним, желанием просветить темных и заблудившихся и т. д. И теория познания, и этика его в этом поддерживают: они устанавливают, что истина едина и истина есть истина для всех. Но и теория познания с этикой, и человеколюбивые мудрецы равно плохо различают, откуда приходит потребность приведения всех к единой истине. Не ближних хочет облагодетельствовать тот, кто хлопочет о приведении всех к единой истине. До ближних ему мало дела. Но он сам не смеет и не может принять свою истину до тех пор, пока не добьется действительного или воображаемого признания «всех». Ибо для него важно не столько иметь истину, сколько получить общее признание. Оттого этика и теория познания так озабочены тем, чтобы, по возможности, ограничить права вопрошающих. Еще Аристотель называл всякую «преувеличенную» пытливость невоспитанностью. Такое соображение или, вернее, такой отвод никому бы не показался убедительным, если бы для людей признание их истины не было бы важнее, чем сама истина.

Знание невозможно без скептицизма, без сомнения в том, что знаешь. Убеждения, особенно незыблемые, слепая вера — прямой путь к догматизму:

Верующий вообще не волен решать вопрос об «истинном» и «неистинном» по совести: будь он порядочен в *одном этом*, он незамедлительно погибнет. Его видение патологически предопределено: так из человека с убеждениями вырастает фанатик — Савонарола, Лютер, Руссо, Робеспьер, Сен-Симон, — тип, противостоящий сильному уму, сбросившему с себя цепи принуждения. Однако грандиозная поза этих *больных* умов, этих эпилептиков рассудочности производит свое действие на массу — фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать *доводы*...

Открытость знания — независимость от любых убеждений, способность менять убеждения, а не гордиться ими. Подлинному знанию свойственен не «патриотизм», но «дух измены», ибо для истины убеждения гораздо опаснее, чем ложь.

Принципиальность, убежденность — сколько подлостей совершило человечество ради «таково *наше* убеждение». Люди не становятся приличнее оттого, что бесчинствуют или лгут согласно принципу или убеждению.

До Ницше философия только тем и занималась, что отстаивала убеждения «до костра включительно». Он впервые открыто призвал не к жертвам ради убеждений, а к необходимости жертвовать убеждениями: «Мы бы не дали себя сжечь за свои убеждения, мы не настолько уверены в них. Но, быть может, мы пошли бы на костер за свободу иметь мнения и иметь право менять их». Кредо Одинокого стрелка: «Кто достиг своего идеала, тот тем самым и перешагнул через него».

Дух спасает нас от полного исления и превращения в обгоревший уголь. Спасаясь от огня, мы шествуем, побуждаемые духом, от мнения к мнению, — как *благородные предатели* всего на свете.

Мы *должны* стать предателями, совершать измены, покидать свои идеалы.

С. Цвейг:

Он «вынашивает и изнашивает убеждения», отказывается от того, что он приобрел, и скорее может быть назван филалетом, страстным поклонником истины, девственной богини, жестоко искушающей своих жрецов, подобно Артемиде, обрекающей тех, кто воспылал к ней страстью, на вечную погоню — только для того, чтобы, оставив в их руках разорванное покрывало, пребывать вечно недостижимой. Истина, правда, как понимает ее Ницше, — не застывшая кристаллизованная форма истины, а пламенная воля к достижению правдивости и к пребыванию в правдивости, не решенное уравнение, а непрестанное демоническое повышение и напряжение жизненного чувства, наполнение жизни в смысле высшей полноты: Ницше стремится не к счастью, а только к правдивости. Он ищет не покоя

(как девять десятых из числа философов), а — как раб и поклонник демона — превосходной степени возбуждения и движения.

В отличие от картезианской «воли к истине» как к исканию непоколебимой достоверности, ницшеанская истина подвижна, как ее творец:

Мышление для нас средство не «познавать», но обозначать, упорядочивать происходящее, делать его доступным для нашего употребления, так мыслим мы сегодня о мышлении; завтра, возможно, иначе.

Истинное — это ценное, значимое для человека, вплетенное в ткань его судьбы. Поэтому истина страстна, пристрастна, жгуча, волнуяща, глубоко переживаема и этим отличается от всех видов общественной лжи, рядящейся в одежды всеобщей истины. Само познание, согласно Ницше, есть мотивированная, устремленная деятельность субъекта, смыслом, содержанием и целью которой являются интересы, ценности, определяемые субъектом и своими корнями уходящие в бессознательные структуры личности.

Познание не достоверно, а субъективно, видеть и слышать — недостаточно для познания: надо «видеть и все же не верить», надо уметь ставить под сомнение видимое. Чтобы познать, необходимо предельно проникнуться предметом познания, слиться с объектом, самоотождествиться с предметом познания, не утрачивая, однако, высокого заряда субъективности. Ибо знание личностно, персонально: субъект является единственным и полновластным творцом результатов познания. Познание — индивидуальное *истолкование* реальностей внешнего мира, придание им того или иного смысла. Мир — это скрытый текст, дешифруемый познающим: «Понимание возможно лишь постольку, поскольку оно является простой семиотикой». Познание — возвешение смысла вещей, придание им смысла: «фактов не существует, а только интерпретации». «Вещи обязаны своим существованием всецело деятельности представляющего, мыслящего, волеизъявляющего, ощущающего индивида». Познание — своеобразное очеловечивание вещей, превращение их в образы нашего сознания: «описывая вещи и их последовательность, мы учимся с большей точностью описывать самих себя». («Какое тут может быть еще объяснение, когда мы заведомо все превращаем в образ, наш образ!»)

Отсюда то, что остается за пределами такого рода очеловечивания, не поддается изучению, поскольку вещам, взятым самим по себе, не присущи ни сущность, ни явление, ни причина, ни следствие. Всем этим они обладают лишь во мнении людей. Согласно Ницше, даже «логика есть попытка понять действительный мир по известной созданной нами схеме сущего». Мир представляется нам логичным, потому что мы сами его сначала логизировали.

Поскольку каждый субъект по-своему истолковывает мир, единообразного «мира» для всех не существует. Количество потенциальных интерпретаций мира в пределе равно числу интерпретирующих.

Фактически Ницше принадлежит идея персонального, сокровенного, выстраданного знания. Успехи и достижения науки камуфлируют подлинные движущие силы познания — внутренние экзистенциальные мотивы ученого, сомнения, устремления, человечность истины. Нет, Ницше не отрицал истину как таковую — он отрицал безусловную, Божественную, конечную истину. «Ничто не истинно, всё позволено» — означает не релятивность, а подвижность знания, вечный поиск в неизведанных местах, переоценку ранее добытых истин, их самоснятие: «Все великие вещи губят себя сами, совершая акт самоснятия». Истина жизненна, истина исторична, истина всегда в пути. Становление, движение, жизнь — такова эволюция истины Ницше.

В научном или философском познании, полагает Ницше, важно не обладание, а искание истины, процесс «переоценки ценностей». Поиск истины невозможен без веры в искомую истину, беспредпосылочная наука — утопия, иллюзия: «Нужно всегда заведомо иметь в наличии некую философию, некую «веру», дабы предначертать из нее науке направление, смысл, границу, метод, право на существование». Сама наука своим появлением обязана сократовской вере в познаваемость природы и благотворность знания для организации счастья на земле. Поскольку жизнь невозможна без борьбы и боли, указанная предпосылка науки иллюзорна, а сама наука — следствие принятия этой иллюзии.

Ошибочна и другая предпосылка науки — попытка рационализировать хаос. Знание возможно лишь в меру такой рационализации, хотя последние основания мира нерационализируемы. Возникшее из «отвращения к хаосу» научное мышление направлено на пользу человека: «Наука суть превращение природы в понятия в целях господства над природой». Поэтому науку можно рассматривать как способ конкуренции с Богом, отвержение первородного запрета на плод с «древа познания». Научное познание — попытка человека сравняться с Богом, обрести способность преобразовать сотворенное Им.

Движущая сила науки — воля к истине, признание истины, стоящей над убеждением. Приоритет истины по сравнению с убеждением позволил Ницше предвосхитить попперовский принцип фальсифицируемости — признания принципиальной возможности опровержения любой научной теории. Вот ницшевская формулировка будущего принципа К. Поппера: «Никогда ничего не утаивать, не скрывать от себя того, что может быть сказано *против твоей идеи*. Это ты должен обещать самому себе! Это первый долг честного мыслителя. Нужно каждый день вести поход против самого себя. Победа и завоевание крепости уже касаются не тебя, а истины, но и твое поражение не должно смущать тебя!»

Формула гносеологии Ницше — вполне фейерабендовская: «Всё дозволено!» Молоху авторитета, догматизму, абстракции, массовой вере, ученому консерватизму, осмотрительности, подстеленной под возможное падение соломке — он предпочитал безоглядную смелость, парение духа, риск, безумие идей, субъективность, личный опыт: «Каков бы ты ни был, служи себе источником своего опыта». Для человека нет более убедительных аргументов, чем чувствование, внутренний опыт, веление души.

Гносеология Ницше, сжатая до афоризма: познание — это истолкование, интерпретация. Природа — текст, а «один и тот же текст допускает бесчисленные интерпретации: нет никакого истинного истолкования».

Нет фактов, есть только интерпретации. Поскольку вообще слово «познание» имеет смысл, мир познаваем; но он может быть истолковываем и на другой лад, он не имеет какого-либо одного смысла, но бесконечные смыслы.

Нет никаких событий в себе; то, что происходит, это группа явлений, прочитанных и связанных неким интерпретирующим существом.

Перед нами — чисто прагматический подход, плюралистическая точка зрения, воспринятая новейшей гносеологией и эпистемологией Куна, Лакатоса, Полани, Фейерабенда. Обращаю внимание на герменевтический характер «науки» Ницше: знание — интерпретация текста природы. Текст — «вещь сама по себе», законы природы — «интерпретация, не текст». Чтение природы-текста невозможно без примешивания личной интерпретации — готовая идея личного знания Полани.

Мысль в образе, в котором она проявляется, — *знак, обладающий множественностью смыслов*, который нуждается в истолковании, пока не станет, наконец, однозначным. Она всплывает во мне — откуда? зачем? — я этого не знаю... Происхождение мысли остается скрытым; велика вероятность того, что она — лишь симптом некоего более богатого состояния... в них всех выражается нечто из нашего целостного состояния. Так же дело обстоит со всяким *чувством* — оно не обозначает чего-то в себе: оно, когда оно возникает, интерпретируется нами и зачастую столь причудливо интерпретируется!

Все наше так называемое сознание — более или менее фантастический комментарий относительно непознанного, может быть непознаваемого, но тем не менее ощутимого текста... Что такое наши переживания? В них куда больше того, что в них вкладываем мы, чем того, что лежит в них помимо этого.

Поскольку познание человечно, владение истиной — человеческая иллюзия, разновидность самообмана. Истина всегда исторична по причине непрерывной подвижности, становления мира («Познание и становление исключают друг друга») и в силу непреодолимой субъективности познания, содержащего огромный элемент веры («Познание возможно лишь на основании веры в сущее»).

Познавать сущее — это значит мыслить фикцию, а не подлинную сущность мира. Отсюда истина как конечный результат человеческого познания всегда будет иметь статус заблуждения. «То, что мы теперь зовем миром, — отмечает Ницше, — есть результат множества заблуждений и фантазий, которые постепенно возникли в общем развитии органических существ». Человек обречен на существование неправды. В основе

человеческой жизни лежит неистинное, так что поступки и мысли любого человека изначально базируются на лжи... Правдивый человек в конце концов приходит к пониманию, что он всегда лжет.

Истина, тождественно равная заблуждению, не парадокс или абсурд Ницше, но констатация, с одной стороны, историчности, изменчивости, неполноты, неустранимой субъективности познания, и, с другой, ошибочности «истинного» мира метафизики, творимого всей предшествующей философией.

«Истинный» мир метафизики — это выдуманный философами мир сверхчувственных сущностей, некий потусторонний мир, обладающий безусловной необходимостью, абсолютной духовностью, совершенством и полностью лишенный противоречий, страданий и каких-либо изменений. Нередко идея истинного мира в прежней философии отождествлялась с идеей Бога, с высшим разумным, целительным и утешающим идеалом добра, красоты и истины. При этом «истинный» мир в метафизике резко противопоставлялся «кажущемуся» миру, т. е. посюстороннему, действительному миру, в котором живут люди.

Ницше признает единственно существующим только «кажущийся», действительный мир. С его точки зрения, «истинный» мир — это мир человеческих иллюзий и фикций, созданный вовсе не на основе инстинкта жизни, а на основе инстинкта разочарования и утомления жизнью. В этой связи он пишет: «Чрезвычайно важно то, чтобы истинный мир был упразднен. Он источник величайших сомнений и всяческого обесценивания того мира, который мы представляем собой; он был до сих пор нашим опаснейшим покушением на жизнь».

То, что в философии Ницше именуется волюнтаризмом, лучше назвать апологией субъективизма, доходящей до неразличимости истины и лжи. Если истина человечна и если знание — сила, то правом воли к знанию-власти является назначать, чему быть истиной и чему быть ложью в интересах своего усиления. Волюнтаризм — продолжение стремления знать, то есть господствовать.

М. Хайдеггер:

Истина, понятая как установленность, позволяет субъекту абсолютно распоряжаться истинным и ложным. Субъективность не просто вышла из всяких границ, она сама теперь распоряжается любым видом полагания и снятия ограничений.

Метафизика абсолютной субъективности воли к власти, какую выступает философия Ницше, абсолютизирует и исчерпывает второй член метафизического определения человека — «разумное животное», подобно тому как панлогизм Гегеля абсолютизировал и исчерпал его первый член. Безусловная сущность субъективности с необходимостью разворачивается как брутальность бестиальности.

Мне трудно согласиться с М. Хайдеггером, будто ницшеанская абсолютизация субъективности является другой стороной гегелевского панлогизма: на

одной стороне — разумное действительное, на другой — брутальность и бес-тиальность.

...У Ницше еще бóльшая абсолютизация субъекта делает различие между истиной и ложью вообще неважным: истины самой по себе нет, она поэтому то же самое, что ложь; безраздельно царит «справедливость» как право воли к власти назначать, чему быть истиной и чему быть ложью, в интересах своего усиления. Истина, понятая как установленность, позволяет субъекту абсолютно распоряжаться истинным и ложным. Субъективность не просто вышла из всяких границ, она сама теперь распоряжается любым видом полагания и снятия ограничений.

Истину как ложь следует понимать не в абсолютном, а во *временном* отношении: любая истина, как правило, рано или поздно сменяется другой истиной. Гегелевские претензии на абсолютную истину — не оборотная сторона ницшеанства, а духовный тоталитаризм, противостоящий духовной открытости, предоставляющей человеку право на сомнение в любой истине, на формулировку новой истины, которая тоже может оказаться ложью.

Ницше положил конец жречеству, дидактике, догматизму знания, интеллектуальной порче — практике выдавать добытое знание за последние истины:

Если мы примем во внимание, что почти у всех народов философ наследует и развивает тип жреца, то нас уже не удивит эта привычка *чеканить фальшивую монету*, обманывая самого себя. Коль скоро на тебя возложены священные обязанности — как то: совершенствовать, спасать, искуплять людей, коль скоро ты носишь божество в своей груди и выступаешь рупором потусторонних императивов, то ты со своей миссией недосыгаем для чисто рассудочных оценок, тебя освящает обязанность, ты сам тип высшего порядка!.. Чтó жрецу *знание!* Он слишком высок для наук!.. А ведь до сей поры *царил жрец!*.. Он определял, что «истинно», что «неистинно»!

«Вот истина» — эти слова, где только они ни раздаются, означают одно: *жрец лжет...*

Типичным примером экстравагантного глубокомыслия Ницше является «логически противоречивая» парадоксальная максима, варьируемая в многочисленных разновидностях: «истина есть ложь». Ключ к пониманию дан самим Ницше: «Истина есть тот род заблуждения, без которого определенный вид живых существ не мог бы жить». Господа-мыслители и системотворцы всех мастей до Ницше создавали грандиозные наукоучения, претендующие на окончательную истинность. «Поверхностный» и «противоречивый» Ницше — вопреки логике, здравому смыслу и авторитетам — констатировал «инструментальную» функцию истины, способность человека «конструировать» мир с помощью фикций-истин, теряющих всякий смысл без действенности и преобразующей мощи. Истина — ложь, потому что другие эпохи обретут иные истины, но она ложь еще и потому, что ложь сильные правды, что действенность

фикций эффективнее чистой «воли к творчеству», не имеющей практических последствий (декаданса, на языке Ницше).

Определяя истину как непроверяемое заблуждение, Ницше не утверждает недостоверности познания, как интерпретирует это Е. Трубецкой, а лишь предостерегает от отождествления истины и достоверности, истины и глубинных реалий жизни. Истина может оказаться губительной, а заблуждение может послужить нашему процветанию и могуществу. По своей действенности, по крайней мере — краткосрочной, ложь слишком часто превосходит правду — это и имеет в виду Ницше.

Может быть, Паскаль, а за ним Ницше потому и определяли истину как род заблуждения, что задолго до Фрейда понимали глубинную связь между подсознательной верой и подсознательной пользой.

Истина есть род заблуждения, без которого определенный род живых существ [именно человек] не мог бы жить. Решает в конечном счете ее ценность для жизни...

Логика вырастает не из воли к истине, а из стремления оправдать или самооправдаться. По той же причине «вера в тело фундаментальнее, чем вера в душу».

Изменившееся отношение к истине всего яснее дает о себе знать по изменению статуса ее противоположности, лжи. У Декарта ложь есть то, что не отвечает требованиям несомненности и достоверности, но в качестве «заблуждения» она предполагает возможность «нахождения» истины и потому выше рангом, чем безошибочность природных вещей. На следующей ступени метафизики субъекта, у Гегеля, неистина уже прямо включается в процесс познания: она — односторонность истинного, снимаемая полнотой знания, присущей абсолютному субъекту. Наконец у Ницше еще большая абсолютизация субъекта делает различие между истиной и ложью вообще неважным: истины самой по себе нет, она поэтому то же самое, что ложь; безраздельно царит «справедливость» как право воли к власти назначать, чему быть истиной и чему быть ложью, в интересах своего усиления.

Отождествление истины с заблуждением играет основополагающую роль в «переоценке ценностей»: ведь вся предшествующая философия выдавала результаты философствования как истины в последней инстанции, против чего категорически возражает Ницше в своем отвержении всего безусловного, окончательного, данного раз и навсегда. «Убеждения суть более опасные враги истины (которая, следовательно, в каком-то виде все же существует), чем ложь». Переоценка ценностей потому и необходима, что почти всё, что когда-либо признавалось истинным, рано или поздно оказывается ложным. Собственно, только это, в конечном итоге, и хочет выразить Ницше своими парадоксальными утверждениями, и только это считает своим вкладом в гносеологию.

Сознание, дух, обожествляемые предшествующими философами, столь же несовершенны, как и человеческое тело. Сознание ошибается гораздо чаще,

чем инстинкты, просто потому, что инстинкты гораздо древнее сознания. Сознанию нет оснований доверять тем больше, чем оно прагматичней, хитрей, изворотливей, чем в большей мере оно компенсирует бессилие тела. Ницшеанство — это попытка развеять божественный ореол, созданный сознанию Просвещением. Сознание не является безусловным благом, деятельность сознания может быть опасной, разрушительной, тоталитарной. Социализация, омассовление человека обязаны своим происхождением сознанию. Сознание в равной мере позволяет человеку понять свое личное начало, в какой — утратить себя, раствориться в массе. Массовое сознание приковывает человека к «интересам общества», к «родине», ко всем видам стадности, подавляет подлинные импульсы персональной жизни. Массовое сознание деформирует жизненные реальности и потому есть величайшая опасность.

Массовое сознание радикально отличается от индивидуального мышления. Почти всё, что Ницше приписывает истине-лжи, касается прежде всего массового сознания — его бесконечные ошибки, иллюзии, химеры, упования, не имеющие отношения к реальной жизни и способные стать угрозой самому существованию человечества. Массовое сознание Ницше отождествляет с «извращенными суждениями и бредом наяву», которые этим же сознанием возводятся в статус истин. Посредством массового сознания люди постоянно канонизируют свои заблуждения в «истины» и затем начинают преследовать «неправоверных». «Истина» постоянно перерабатывается в «веру» с помощью все того же массового сознания. Человечество давно погубило бы само себя своими химерами и ложной верой, если бы жизнь не управлялась более мощной силой — волей к могуществу, инстинктом самосохранения, которые действуют безошибочно и целесообразно. Вот почему конечной целью развития сознания должны стать синтез сознания и воли, интеллектуальный инстинкт, интуиция.

Только инстинктивно-интуитивное знание может предохранить человечество от заблуждений. Борьба за истину не равноценна искоренению человеческих заблуждений. Обнаружить заблуждения не означает утвердить истину, потому что истина — продукт сознания, а искоренение заблуждения — результат инстинкта, воли к могуществу. Сознание ошибается, воля — нет. Постигание истины нашим рассудком не есть однозначное добро, поскольку своим результатом может иметь принимаемую за истину ложь. Само стремление к истине содержит в себе элемент неопределенности: «Что собственно в нас хочет “истины”?» «Положим, мы хотим истины, — отчего же лучше не лжи? Сомнения? Даже неведения?» Человечеству свойственно заблуждаться; вся история человечества изобилует суевериями, искоренением «ересей», борьбой за «правоверие», требующей жертв, жертв, жертв...

Даже свободная от заблуждений рассудочная истина может быть опасной. Во-первых, сама истина может оказаться деструктивной, разрушительной, губительной для человека, так что ее достижение отнюдь не ведет к счастью. Во-вторых, полное овладение истиной лишает человека иллюзий, фикций, заблуждений, лежащих в основании духовной жизни. Мудрость суть дозирова-

ние истины; всеобъемлющая истина убивает жизнь, которая бессознательно «ищет заблуждения, живет заблуждением».

*Наша охота за истиной —
ужели это охота за счастьем?*

«Правда, и только правда» — чрезвычайно опасный моральный императив, противостоящий воле к жизни. Стремление к истине любой ценой суть инфантильное окаянство в любви к истине, обрекающее человека на мученичество и ненужные жертвы. Ницше призывает «остерегаться страдания» «во имя истины», которая слишком легко, как мы знаем из истории, оборачивается ужасающими заблуждениями и горами жертв (защитников и противников «истины»).

Мы больше не верим тому, что истина остается истиной, если снимают с нее покрывало... Теперь для нас это дело приличия — не все видеть обнаженным, не при всем присутствовать, не все хотеть понимать и «знать».

Правда жизни, ее истина состоят в том, что иллюзии человеку не менее необходимы, чем «истина», к тому же недостижимая. Поэтому моральная декларация безусловного стремления к истине, во-первых, лицемерна и, во-вторых, вредна, лишая человека спасительных иллюзий. В ней выражается забвение жизни. Истина и заблуждение — равноправные и паритетные компоненты познания, тем более что вчерашние истины сегодня представляются заблуждениями, а истины грядущего всегда встречаются человечеством как покушение на основу основ.

Истины — формообразующие структуры нашего сознания, наши внутренние предпочтения. Истины историчны, они возникают и исчезают во времени. Критерием истины служит сам человек, его польза, его стремление господствовать над вещами. Но поскольку сознание человека, как и мир, подвижно, у человечества не может быть постоянного критерия для суждения о вещах. Поэтому наши суждения выражают не истину, а лишь преходящее настроение. Это не значит, что человек должен отказаться от всяких суждений — он на это не способен, а они ему необходимы. Человек не может обходиться без оценки вещей, следовательно, без суждений о них. Он должен отказаться не от «истин», а от гипостазирования идей.

Познание — не добывание истин, но установление наших отношений с вещами, а к этим отношениям можно вообще не применять понятия «истины» или «лжи». Думать, что истина ценнее лжи — не более чем предрассудок: «истины» нередко грозят невероятными опасностями, а «ложь» оказывается спасительной. Важны вообще не «истина» или «ложь», а служение сохранению и возрастанию жизни. Вот почему предметом наших поисков должны стать не фантомы рассудка, а здоровье, увеличение степени нашего могущества.

Нет безусловных истин, ничего не может быть принято на веру потому, что имярек «сказал». Познание — это всегда риск, многоаспектность, эксперимент с истиной. Мы — эксперименты, так и будем же ими, — читаем в «Утренней

заре». Познание — это интерпретация, претендовать на большее — мегаломания. И если самого Ницше тоже можно обвинить в максимализме, то лишь — в мегаломании как бесконечности перспектив (если не считать болезненных маний-притязаний).

В познании важен не результат, а процесс. Процесс познания бесконечен, поэтому «истина» всегда представляет собой ничтожную малость, тайна же всегда бесконечно велика. Переходить за рубеж, разделяющий познанное и непознанное, всегда опасно, ибо человек все еще не созрел до плодов рук своих. Бесконечность процесса познания означает и неискоренимость заблуждений: поскольку истину никогда не удастся раскрыть целиком, всегда пред человеком будет расстилаться целина ошибок и проб. На любом этапе познания человечество будет обладать небольшой суммой истин и огромной совокупностью заблуждений.

Можно сказать, что задолго до Хайдеггера Ницше поставил вопросы, что такое истинное и в чем истина истинствует, ответив на них не утверждением некоей новой истины, но констатацией ее ускользания. Важна не истина, важен ее поиск, важно право каждого искать истину, важны не доказательства истинности, а полезность поиска для жизненности, для более глубокого проникновения в сущее, для воли к могуществу.

Уже находясь «по ту сторону» разума, больной Ницше, еще не утративший связность мысли, назовет правду *полем битвы* — в глубине подсознания, видимо, фигурировал он сам, Одиноким воитель, то ли выигравший, то ли проигравший великое сражение собственной жизни.

Величайшая опасность для мыслителя — всегда оставаться верным самому себе. Надо иметь способность время от времени терять себя и находить снова, вредно быть замкнутым в одной личности, замуровывать себя в мировоззрение. «Убеждения суть более опасные враги истины, чем ложь».

*Мне чужды и ведомый, и водитель.
Послушник? Нет! Но нет и — повелитель!
Не страшен тот, кто сам себе не страшен:
А страх и есть над судьбами властитель.
Я и себе не склонен быть — водитель!
Люблю я, словно зверь, искать укрытий,
Найти себе пустынную обитель,
Блуждать в себе мечтательно и сладко
И издали манить себя загадкой,
Чтоб был себе и сам я — соблазнитель.*

Познание — это всегда неожиданность, непредсказуемость, удар. Необходимо, говорит Ницше, чтобы *собственные мысли поражали и ранили как нечто приходящее извне*, как своего рода события и удары.

Человек познающий, человек вообще — неисчерпаемая глубина, «скрытые погребя и подвалы», кладезь тайн, лабиринт...

Я подобен старому несокрушимому замку, в котором есть много скрытых погребов и подвалов; в самые скрытые из моих подземных ходов я еще сам не пробирался, в самые глубокие подземелья еще не спускался. Разве они не находятся под всем построенным? Разве из своей глубины я не могу подняться до земной поверхности во всех направлениях? Разве через всякий потайной ход мы не возвращаемся к самим себе?

Если бы мы хотели и осмеливались создать архитектуру, соответствующую нашей душе, то нашим образом был бы лабиринт!

Видеть и все же не верить — первая добродетель познающего; видимость — величайший его искуситель.

Ницше упредил Фрейда в обнаружении огромного мира, лежащего под сознанием, рождающего идеи, хранящего огромный запас сил жизни, в котором интеллект — лишь тонкий поверхностный слой:

Ощущения и мысли — это нечто крайне незначительное и редкое в сравнении с бесчисленными органическими процессами, непрерывно сменяющими друг друга. В самом незначительном процессе господствует целесообразность, которая не по плечу даже нашему высшему знанию: предусмотрительность, выбор, подбор, исправление и т. д. Одним словом, мы тут имеем перед собою деятельность, которую мы должны были бы приписать интеллекту несравненно более высокому и обладающему несравненно более широким горизонтом, чем известный нам. Мы научились придавать «меньшую» цену всякому сознанию, мы разучились считать себя ответственными за наше «сам», потому что мы, как сознательные, полагающие цели существа, составляем только самую малую часть его... В результате мы научились понимать, рассматривать само сознательное «я» лишь как орудие на службе у указанного выше верховного, объемлющего интеллекта.

Здесь нет только имени фрейдовского «бессознательного» — темная, глубокая таинственная бездна, не озаряемая светом сознания, не названа, ибо безымянна...

Позади твоих мыслей и чувств, брат мой, стоит могучий повелитель, неведомый мудрец — он называется *Сам*. В твоём теле живет он, он — твоё тело.

В теле твоём больше разума, чем в твоей наилучшей мудрости. И кто знает — на что именно нужна твоему телу твоя наилучшая мудрость?

Истина для Ницше — женщина, и само это утверждение скрывает бездну смыслов: красоты, непостоянства, ветрености, легкости, притворства, поверхностности, тайны, необходимости завоевания, чары, соблазна, неоправданных обещаний...

Тексты самого Ницше не оставляют сомнений в том, что он преднамеренно уподоблял истину женщине, подразумевая все метафорические возможности такого уподобления:

*Истина —
она как женщина, ничуть не лучше:
стыд — лишь лукавство;
чего она хочет сильнее всего,
того она знать не желает,
пальчиком строго грозит...
Кому она подчиняется? Только насилью!
Так прибегайте к насилью,
будьте жестоки, вы, мудрейшие!
Вам надлежит ее принудить,
стыдящуюся истину!..
Для высшего блаженства
ей нужно чувство принужденья —
она, как женщина, ничуть не лучше!*

Предположив, что истина — женщина... — как? так не с полным ли основанием подозревали всех философов, мысливших догматически, в том, что они плохо разбирались в женщинах? И что устрашающая серьезность и угловатая навязчивость, с которыми они имели обыкновение приступать к истине, были неловкими и неприличными попытками подцепить бабенку?.. Разумеется, она не дается в руки, не дает себя подцепить — и сегодня всякий род догматизма держится жалко и подавленно. Если только он вообще еще держится на ногах!

...Небожественная реальность вообще не дарует нам красоты или уделяет ее нам лишь однажды! Я хочу сказать, что мир изобилует красивыми вещами, но, тем не менее, он беден сверх меры прекрасными мгновениями и прекрасными откровениями подобных вещей. Но, возможно, в этом и коренятся сильнейшие чары жизни: она покрыта златотканым покрывалом, завесой прекрасных возможностей, придающей ей вид обещающий, сдержанный, стыдливый, насмешливый, сострадательный, соблазнительный. Да, жизнь [истина] — это женщина!

Комментарии Жака Дерриды:

Ведь хотя женщина и *есть* истина, она знает, что истина не имеет места и что истину не имеют. Она — женщина в той мере, в какой она не верит в истину, следовательно, в то, что она есть, в то, что как верят, она есть, что, следовательно, она не есть.

...«Женщина» проявляет столь мало интереса к истине, она верит в нее столь слабо, что истина, сама по себе, даже не касается ее больше.

Это «мужчина» верит в то, что его дискурс о женщине или истине *касается*... Это «мужчина» верит в истину женщины, в женщину-истину.

«Истина» — всего лишь поверхность, она становится глубокой, бесстыдной, желанной истиной, только под действием завесы, падающей на нее: истиной, не подвешенной между кавычек и скрывающей поверхность

стыдливым движением. Достаточно приподнять завесу, чтобы истина исчезла или обратилась в «истину» — написанную в кавычках.

Истина связана с женщиной многими связями: истиной беременеют, истине отдаются, истину любят или насилуют, истина, как женщина, «выдает себя за...» «Прогресс идеи: она становится тоньше, двусмысленней, неуловимей — *она становится женщиной...*»

Все атрибуты, все черты и прелести, обнаруженные Ницше в женщине — соблазнительное обетование, вызывающая желание запредельность, *Entfernung* — так же принадлежит к истории истины, как и к истории заблуждения.

Другой символ истины Ницше — бездна, бесконечность, опасность, бездонный дар. Ницше — один из крестных отцов плюрализма, перспективизма, прагматизма, очень точно сформулировавший цель философии: «Задача: видеть вещи, как они есть! Средство: смотреть на них сотней глаз, из многих лиц».

Главный грех Просвещения — самонадеянная попытка выдать мысль за существование, одно из проявлений жизни — за всю жизнь:

Основная ошибка кроется в том, что мы, вместо того, чтобы понять сознательность лишь как *часть* в общей системе жизни, — принимаем ее в качестве масштаба, в качестве высшей ценности жизни... Если захотеть достаточно широко поставить цель жизни, то она не должна бы совпадать ни с одной категорией сознательной жизни; наоборот, она должна была бы еще объяснять каждую из них, как средство, ведущее к сказанной цели.

Ницше исходил из того, что жизнь выше познания, ибо, когда познание уничтожает жизнь, оно уничтожает самое себя. Именно жизнь является предпосылкой познания, поэтому функция познания — не умалять жизнь, не высокомерно распоряжаться ею, не превращать жизнь в марионетку ума, но сохранять и укреплять ее правдой.

Рационализм претил Мифотворцу обожествлением рассудочности, «торжеством разума». Ведь ум связан с хитростью, изворотливостью, лицемерием, ложью. Интеллект — искусство *мимикрии*, разум — средство обмана и самообмана. Фантазия чище интеллекта. Мышление шире рассудочности. Жизнь шире мышления. Жизнь — творческий процесс. Если бы жизнь творила по законам рассудка, то итогом эволюции стал бы робот, голем, Франкенштейн.

«Объективности» рационализма Ницше предпочитал синкретизм мифа, просвещенческой гносеологии — перспективизм, конкуренцию воли и идей.

Прекраснодушию рационализма, лучшему из миров «*философ неприятных истин*» — так однажды назвал он себя — противопоставил «ужасные» истины, подлинную правду жизни, поедающей жизнь...

«Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины» — ницшевская парафраза тютчевским строкам о шевелящемся на дне песен хаосе.

Отсюда — главная гносеологическая идея Ницше: познание должно иметь *глубину*: «Мир глубок: глубже, чем думали».

Ницше часто предъявляют претензию в неоднозначности определений, в отсутствии авторских комментариев к основополагающим категориям собственной философии, таких как «воля к могуществу», «переоценка всех ценностей», «сверхчеловек» и т. д. Это справедливо, но естественно. Правильно бы поступил «ниспровергатель разума», если бы начал испытывать свою философию судом рассудка? Платон говорил, что Творца и зиждителя Вселенной трудно увидеть, а показать всем просто невозможно. Начала нашего знания уходят в темноту — определить их строго — покуситься на божественную прерогативу. Первоначала темны и неопределенны, поскольку — первоначала, в противном случае можно было бы подменить мир математикой, человека — дробью.

Научная строгость была тисками для пламенной природы Ницше, творческие силы и энтузиазм которого могли черпать пищу только из дионисийского хаоса, из глубин бессознательного, из темных жизненных пучин. В этом отношении «Рождение трагедии» — яркий пример психологичности и психоаналитичности молодого автора, черпавшего гораздо больше из себя самого, чем из истории, филологии и всех предшественников вместе взятых.

Человеку свойственно освящать непостижимое: движение Солнца на небесах, Бога, собственный разум... Интеллект на протяжении невероятно долгого времени не производил ничего, кроме заблуждений, но стоило ему пробудиться от вековой спячки, как Просвещение провозгласило «торжество разума». Разум слаб, непостоянен, склонен к самообману и самовозвеличиванию, создает превратное представление о своем собственном состоянии. Интеллект неотделим от собственных фикций, от иррациональности, от огромного хаотического жизненного мира, из которого он появился и на котором вырос.

Неужели вы думаете, что науки могли бы родиться на свет Божий и набрать силу, не будь тех волшебников, алхимиков и ведьм, которые появились задолго до них и потратили немало сил, чтобы своими предсказаниями и разными хитроумными уловками вызвать к жизни жажду, ненасытную потребность и вкус к *тайным и запретным* силам? Подумайте, ведь *предсказать нужно было* неизмеримо больше того, что в действительности могло бы свершиться, дабы хоть что-нибудь свершилось в области познания.

То там, то здесь проскальзывающий негативизм по отношению к науке разъяснен самим Ницше в 335-м фрагменте «Веселой науки» «Да здравствует физика!» На свете не так уж много людей, умеющих наблюдать, но сколько среди этой горстки таких, кто занят созерцанием самих себя?.. Главная претензия философа к людям науки — ошибочность приоритетов, предпочтение мертвого живому. Почему тогда «Да здравствует физика!»? О какой физике речь? Послушаем самого Ницше:

Мы *не хотим быть тем, что мы есть* — новыми, неповторимыми, несравненными, — сами себе законодатели, сами себе создатели! А для этого мы должны быть лучшими исследователями и открывателями всего того,

что есть закономерного и безусловного в мире: мы должны быть *физиками* для того, чтобы суметь стать *творцами* в нашем смысле слова, — ибо до сих пор все оценки и все идеалы опирались на незнание физики или строились в полном *противоречии* с ней. И потому — да здравствует физика! А еще больше то, что нас *принуждает* обратиться к ней — наша честность!

Ницше имел множество оснований для убеждения, что «рядом со злой совестью всегда росло знание», что опасность мудрого в том, что он больше всех подвержен соблазну влюбиться в неразумное. Как никто иной, он понимал, что «без неразумия ничто человеческое не может существовать». Честность для Ницше — это умение смотреть правде в глаза, отказ от рационалистических иллюзий — вот о какой «физике» шла речь.

Своим острием ницшеанство было направлено против самодовольства и оптимистического благодушия Просвещения (до Гегеля включительно), согласно которому заведомо обречено на гибель все трагическое, несчастное, калечное и больное.

Рационализм Декарта претил Ницше приоритетом сознания перед многообразием жизни, разума — перед океаном неразумия.

Сознание, сформировавшееся исключительно в целях общения, представлялось Декарту управляющим органом жизни, коим оно, естественно, не являлось, ибо даже в эпоху Просвещения многим было ясно, что человеческие порывы, поступки, волевые движения, страсти, вожделения управляются отнюдь не только разумением, логикой, силлогизмом. Декарт явно переоценивал роль самосознания в психической жизни, сводя все огромное поле сознательного к дискурсии, логике, языку, грамматической структуре, порядку слов и имен, идеальным структурам и несуществующему единству сознания. Делая ставку на язык, считая последний выражением всего сознательного, Декарт не только упускал из виду стихию бессознательной или витальной жизни, но и «темные» пласты самого языка, его внутреннюю мифологичность, неопределенность, многозначность.

Отвергая картезианскую формулу: «Мыслю, следовательно, существую», Ницше писал:

Мыслят: следовательно, существует мыслящее — к этому сводится аргументация Декарта. Но это значит предполагать нашу веру в понятие субстанции «истинной уже априори»: ибо когда думают, что необходимо должно быть нечто, «что мыслит», то это просто формулировка нашей грамматической привычки, которая к действию полагает деятеля.

«Свет разума», «эфир разумности», «божественность интеллекта», другие картезианские уловки — не более чем камуфляж непреодолимых внутренних проблем сознания, недостоверности знания, смутности бессознательного, несводимости жизни и даже психической жизни к понятию, знаку, числу. Становясь «мыслящей вещью» Декарта, человек перестает быть телом, порывом, желанием, волей, но — одновременно — субъектом, душой, бездной духа, бес- и сверхсознательным континуумом. Не говоря уже о той правде, что тело, телес-

ные функции «в миллион раз важнее, чем все красивые состояния и вершины сознания», само сознание столь же бездонно, как эволюция жизни, приведшая к нему и наложившая на него отпечатки биологически-витального и психически-плюрального — я имею в виду те глубинные и многообразные структуры психического, которые открыты психоанализом и в которых выражена связь человеческого со всей эволюцией жизни:

Человеческое тело, в котором снова оживает и воплощается как самое отдаленное, так и самое ближайшее прошлое всего органического развития, через которое как бы бесшумно протекает огромный поток, далеко разливаясь за его пределы, — это тело есть идея более поразительная, чем старая «душа».

Декарт, упреждая современных аналитиков, мечтал о создании нового языка философии, *lingua universalis*, способного упорядочить и логически исчислить все философские проблемы. Уместно напомнить, что все попытки такого рода, как то: в математике — Гильберта, в физике — Эйнштейна, в философии — Рассела, потерпели поражение. Жизнь оказалась шире сознания, Ницше оказался глубже Декарта.

Ницше не иррационалист, но антирационалист, восставший против рационалистической механизации жизни и человека. Пафос его антирационализма направлен против строгой механики картезианских машин. Телесность и жизненность, эти важнейшие категории философии Ницше, даже не биологичны, но символичны, мифологичны, культурно обусловлены: «Идеальная телесность выступает у Ницше в роли вездесущего посредника между возможными биологическими, психофизиологическими и культурно-историческими процессами...»

Идея Ницше, согласно которой многообразие жизни не вписывается в логические схемы, нигде не проявилась с такой наглядностью, как в стране «торжества разума». Разгул стихии во все времена не обходил Россию; «непрерывной цепи иррациональных событий современной истории нашего общества не видно конца».

Философия жизни в принципе не может быть всецело рационалистической: хаос, непредсказуемость, случайность, безрассудность, страдание, боль, судьба, смерть — такие же компоненты жизни, как порядок, гармония, красота, причинность. Философская мудрость, адекватная жизненности, не может быть рациональной: правда жизни — не только ее торжество, но и ее трагедия.

Ницше отрицал рассудочно-механистическое мышление как не соответствующее жизненной реальности. Жизнь — стихия, подчиняющаяся разве что воле к жизни, воле к могуществу жизни. Философия жизни — интуиции, схватывающие вечную игру этой стихии.

Идея становления, экстатический язык, переоценка ценностей необходимы Ницше для создания нового образа мира — зыбкого, неустойчивого, меняющегося, активного, вечно обновляемого, становящегося. Философским системам-монументам, творящим идолов для поклонения, Ницше противопоставляет вечную иррадиацию жизни и мысли, которые, конечно, могут повторяться, но

не должны препятствовать новой жизни и мысли, ибо монументальная философия, мысль, ставшая монументом, суть то, что сказано, — памятники на мемориальном кладбище духа. Монумент — не идеал философского знания, но знак того, что все, в том числе знание, — смертно...

Ницше притягателен именно незаданностью, многообразием, парадоксами. «Секрет книг Ницше в том, что сколько бы к ним ни возвращался, впечатление каждый раз будет иное».

Антигегельянство Ницше — прямое следствие его негативного отношения к рационализму и историческому детерминизму. Формула «Все действительное разумно» втискивала человеческую историю и человеческую жизнь в жалкие рамки рассудочности навязанных жизни понятий и дихотомий. Всё действительное жизненно, а не разумно, всё действительное подчинено воле к могуществу — такова ницшеанская перелицовка Гегеля, «переоценка всех ценностей». Естественно, исторический финализм Гегеля был чужд Ницше: не «конец истории», а открытость «исторических горизонтов», не движение к абсолютной идее, но вечная смена идей...

Ницше принадлежит основополагающая мысль о связи знания и веры: познание сводится к поиску постоянных свойств вещей и к вере в то, что таковые существуют. Постоянство в вере спасительно для человека, вот почему он принимает это постоянство за свойство самих вещей. Процесс познания, собственно, в том и заключается, что *мы возводим условия сохранения нашего существования в объективные свойства Вселенной*.

Что такое вообще категории нашего разума и наши логические законы? Это — такие представления, которые в процессе развития человечества оказались *полезными* для сохранения человеческого рода. Вследствие своей полезности они стали предметом постоянной веры, приобрели для нас значение непреложных и априорных истин. Иначе говоря, познавательный процесс покоится на том предположении, что полезное для нас есть истинное.

Именно Ницше принадлежит мысль, что сознательным мышлением философа руководят его инстинкты, интересы, само устройство его сознания — колея, как писал он сам: «За логикой и за кажущейся самовластностью ее движения стоят оценки, точнее физиологические действия, призванные сохранять такую-то разновидность жизни».

Философия — только исповедь конкретного человека, облеченная в разные формы (мифа, сказания, наукоучения, системы, афористического высказывания, поучения, заповеди, категорического императива и т. п.).

Поскольку знание неотделимо от веры, связь науки и религии носит сложный характер. С одной стороны, познание выросло из досократовской мифологии, привившей «голод и вкус к скрытым и запретным силам», из «чудес» мистагогов и кудесников, из таинств Пифагора и Эмпедокла. С другой стороны, в соответствии с теорией «двух истин», между религией и наукой «не существует ни родства, ни дружбы, ни даже вражды: они живут на разных планетах».

Философское познание Ницше ставил выше научного, видел в метафизике «вершину всей пирамиды знания». Если наука претендует на конкретное и частное знание, то философия — на целое, всеобщее, сущностное. Именно философия «хочет придать жизни и действию возможно бóльшую глубину и значительность».

Только философия занимается изучением самой природы познания, только она касается ценностей, граничащих с пределами самого познания, только философ, не противопоставляя истинное и ложное, не устанавливая конкретные факты, полагает цели, творит образы, придает форму воле.

Ницше был невысокого мнения об ученых, которые занимаются исследованиями, потому что им так велено и потому что видели, что до них так поступали (слова Ницше). Ученые стремятся к объективному знанию и недооценивают собственную субъективность, тем самым утрачивая волю к могуществу и подчиняясь самим вещам. В результате они обречены на утрату «я», паралич воли и духовную обезличенность.

Идея историзма, исторического прогресса — лживая и пагубная. Прогрессом именуют утрату целостности, вкуса, стиля, жизненного обилия. Прогресс оборачивается муштрой, отрывочностью, снижением умственного уровня, тотальной вульгаризацией, падением культуры.

Будучи смешанным существом, современный человек есть вместе с тем что-то недоделанное, обрывок и начаток чего-то. Наше время как никакое другое характеризуется развитием специальностей; вследствие колоссального роста разнообразных отраслей знания образование становится все менее и менее общим: оно получает характер отрывочный; натуры богатые и глубокие уже не находят себе подходящих воспитателей. Человек-дробь, односторонний наблюдатель с высокомерными претензиями — вот современный культурный тип. Нынешние университеты стали настоящей школой принижения умственного уровня.

Предметом особых нападок Ницше являлась современная наука и философия, высокомерие высоколобых, видящих себя солью земли, идеологическая зашоренность, зависимость от какого-либо одного философского учения, служащего предметом безотчетной и наивной веры. Ницше тревожили позитивистские тенденции в метафизике, растущее недоверие к философии и стремление приблизить ее к физике, науке.

Ницше всегда ставил жизнь выше познания, инстинкт выше рассудка. Знание — одна из иллюзий, убежище человека от жизненных бездн. Творчество, стихийность, дионисийское начало не могут стать «актами познания», выверенными по часам и метрам. Творчество — синоним жизни, стихия жизни. Идя по стопам «теоретического человека», человек реальный попадает в плен созданных им самим схем и моделей, оказывается подвластным «богу машин и плавильных тиглей», впадает в машинобожие. «Механическим богом» такого человека оказывается не только техника, но идея, идеология, диктатура,

власть. Такой человек начинает верить в «светлое будущее», «земное счастье для всех», «достоинство человека труда». Человек впадает в худшее из рабств — становится рабом идей, химер, утопий.

Заповедь «Не сотвори себе кумира» относится прежде всего к рассудку, обесчеловеченному знанию, «объективной» науке. Отвергнув мифологию, «субъективность», витальность, наука и просвещение сковали жизнь и обессилили ее: «Жизнь б о л ь н а от этой смеси зубчатых колес и механизмов, от безличия работника и ложной экономии разделения труда».

Вот почему не доказательство, а внушение полагает он в основу своего метода. Вот почему на творчестве, а вовсе не на теории знания базирует он свою систему... Вот почему говорит он не столько логикой, сколько образом.

Ницше — до Пуанкаре, Полани и Фейерабенда — понял, что любая наука мифологична, парадигмальна, личностна, пристрастна, ответственна, конкурентна, альтернативна. Наука — дерево, дерево цветущее, плодоносящее, но — выбрасывающее все новые и новые ветви на мощном природном стволе.

Ницше изжил в себе мысли греческих физиков: утопал в беспредельном, сгорая в огне Гераклита, был Фениксом он; повернувшись назад сквозь огонь, он увидел старинное Зороастрово солнце; и спел о нем песню; но с холодом развития мыслей Сократа, Платона и Аристотеля был он едва ли знаком изнутри; его миссия велика: философию вывести сызнова из глубин познающего духа; перевернуть ось истории, превративши ее в биографию состояний сознаний. Наоборот: биографию вытянуть вдоль истории, подчиняя историю индивидуальному ритму; так в новом пробеге истории, погруженной в себя, он дошел до Сократа: Сократ ему чужд, а трагедии крепнущей мысли ему кажутся мертвыми; всё отличие Ницше от нас в том, что мы созерцаем пассивно историю мысли и бесконтрольно глотаем градацию положений ее; Ницше выявил мускулы досократической мысли...

Для Ницше важно не знание истины, но пребывание в ней, не абстракция истины, а личность в событии. Истина — не то, что вне, но то, что внутри нас. Несколько переиначивая слова самого Ницше, можно сказать, что вокруг человека всё становится «миром». Не истина-отношение, не истина о чем-то, но организация мира «вокруг человека», творение человеком смысла бытия. Истина полезна, истина прагматична, истина целесообразна: «Истинно — это, в общем, не более как то, что целесообразно для человечества».

Педагогические идеи Ницше — не натаскивать, не вдалбливать догмы, но учить мыслить самостоятельно, не цепляться за старые истины, но стремиться к истинам новым. «...Первое условие воспитания — хороший воспитатель — встречается в Германии как исключение — в этом и заключается главная причина упадка немецкой культуры».

В публичных лекциях «О будущности наших учебных заведений», прочитанных Ницше в Базеле в начале 1872 года, рефреном звучала мысль о необходимости воспитания главной общественной силы — элиты, аристократов духа. Всеобщее образование, — говорил Ницше, — это пролог коммунизма. Ницше фактически предвосхитил идею «образованщины» — «плодов просвещения» в виде Шариковых. Следует честно и прямо признать необходимость классического образования и прагматического обучения в реальных школах, прививающих полезные знания, но не претендующих на высшее, элитарное.

Что означало для Ницше «преподавание», «воспитание»? Вот его ответ: воспитывать — значит *направлять умы по такому пути, чтобы общий уровень развития возвысился, если не до понимания, то, во всяком случае, до всеобщего уважения гениальных произведений.*

Ницше волновало омассовление знания, отношение к нему как к способу добывания куска хлеба. Наука постигается без всякого энтузиазма, писал он, видимо, опираясь на собственный опыт. В этом он видел трагедию просвещения. Вдохновение — непрменный атрибут не только творца, но и воздействия творения. Этим жил он сам, это хотел видеть у других. Здесь следует искать корни ницшеанского элитаризма.

Ницше полагал, что познавать можно только существующее, реальное, бытийствующее, то, с чем можно находиться в определенных отношениях. Абсолютное, безусловное, запредельное не могут быть познаны потому, что находятся за гранью реальных, жизненных отношений. То, что не входит в какие-либо отношения с познающим, для него не существует и не может быть познано. Кантовская «вещь сама по себе» потому и непознаваема, что представляет собой такое безусловное бытие, голую абстракцию, идею. Свойства всего существующего познаются через действия на другие вещи. В отсутствие других вещей свойства объекта никак себя не проявляют: вещи даны нам через отношения, взаимодействия, восприятия. Поэтому без отношения объекта к чувственной восприимчивости и рассудочной активности субъекта свойства оказываются как бы бытием в себе, бытием, не знающем о себе. Реальность мира — это в определяющей степени то, как мы ее определяем. Реальность разворачивается перед нами в меру схватывания субъектом все более сокрытых ее элементов. Онтология — это эволюция гносеологии.

Познание — атрибут жизни, одно из проявлений ее движущей силы — воли к могуществу: «Мера желания познать зависит от меры роста воли к могуществу... Каждая порода захватывает столько реальности, сколько она может одолеть и заставить служить себе».

Ницше действительно квалифицировал волю к истине как разновидность воли к власти: то, *что* мы мыслим, «истинно» лишь постольку, поскольку служит поддержанию воли к власти. Впрочем, нечто подобное есть и у Декарта: «Обладание истиной делает нас хозяевами и обладателями природы».

Истина — одно из средств господства. Только сильные духом производят истины для собственного и широкого потребления. Как нет оснований для го-

сподства, так нет «объективных» критериев истины. По Глюксману, в данном случае налицо парадокс производства истины-фикции: «Если я говорю, что истина — это фикция, следует ли из этого, что истина фиктивна?»

Парадокс лжеца, который говорит «Я лгу», парадокс истинного мира, который становится выдуманным, и, наконец, парадокс выдумки, которая представляется истинной, — в этом состоит логика, в силу которой властитель, в понимании Глюксмана — Ницше, утверждает свое господство. Таким образом, Ницше доказал, согласно Глюксману, что мыслитель никогда не ищет и не находит некую объективную истину, но только «истину истины-фикции, мир миров».

В гносеологии Ницше верен себе: познание — проявление воли к власти в низших ее формах; «базовый текст» — принадлежит природе, силе; слабый человек, в лучшем случае, способен добраться до поверхности природной твердыни, «перевести» человеческое в природное, но сердцевина, глубина ему недоступны:

В нашем основании, совсем «внизу», имеется, видимо, нечто, не поддающееся изучению, гранит духовного фатума... В случае любой кардинальной проблемы слышится непреклонное «это “я”»... Время от времени находят определенное решение проблем... Быть может, это называют своими «убеждениями». Позднее в них усматривают только... указатели к проблеме, что мы есть, — вернее, к большой глупости, которую мы собою представляем, к нашему духовному фатуму, к тому, что совершенно «внизу» и что не поддается изучению.

Познание — полезные фикции, служащие «воле к власти», выражение жизненной силы, человеческой экспансии, способ покорения природы, возможность добиться поставленной цели, отнюдь не означающая достоверности исходных предпосылок.

Мы сами устроили себе мир, в котором можем жить, с помощью тел, линий, поверхностей, причин и следствий, движения и покоя, образа и содержания. Без этих символов веры никто не мог бы прожить. Но вместе с тем существование их вовсе еще не доказано — жизнь вовсе не аргумент: в числе условий жизни может быть и заблуждение.

...Вера в истину приводит нас к своему крайнему следствию: если и есть что-то, чему следует поклоняться, так это *кажимость*, которой будет нужно поклоняться; что не истина, а ложь божественна.

«Воля», «дело», «практика» для Ницше важнее мысли, идеи, интерпретации, хотя между ними существует глубинная связь: последние возникают для обслуживания первых. Первичен «практический инстинкт», обслуживающий «волю к власти», все остальное — у него на службе. В конце концов, не суть важно, истинны ли идеи, — важно, эффективно ли они работают. Неважно, что есть

вещь на самом деле, важна действенность нашего мнения о вещи. При наличии последней сущность вещи тождественна действительному мнению о вещи.

Вещи обязаны своим существованием всецело деятельности представляющего, мыслящего, волящего, ощущающего индивида, и при том как понятие «вещи», так и все ее свойства.

Поскольку действенность — главный критерий «истинности», стремление к «непрактичным» истинам — проявление упадка, декаданса. Воля к истине, не питаемая «волей к власти», — бессилие творчества. «Чистое искусство», «чистая наука», «только истина» — удел слабых, чахоточных обитателей башен из слоновой кости, бегущих полноты жизни. Вот почему теоретическая наука — «промежуточная станция, где находят свое естественное облегчение и удовлетворение средние, более многогранные и более сложные существа: все те, кому деятельность не по нутру». Впрочем, для «сильных» наука — то же орудие «воли к власти», «превращение природы в понятия в целях господства над природой — она относится к рубрике “средства”».

В этой функции истина (научная как частный случай) должна быть соединена с *волей действовать, властью и верой*, без которых не существует даже поиска истины: «Требовать, от себя говорить только «истину» значило бы предполагать, что истина существует; но это должно лишь означать, что утверждают, что для кого-то нечто значит истинно; что бывает, когда это важно — говорить как раз то же самое, что для кого-то другого тоже значит быть истинным: что это на него действует». Отсюда следует, что «то, что должно действовать как истинное, не нуждается в том, чтобы быть истинным», и даже рассматривается в качестве истинного тем, кто данный тезис высказывает.

Общезначимость, универсальность, безусловность не являются для Ницше критериями истины — только убежденность, персональность, уверенность, энергичность. Всеобщие истины опасны тоталитарностью, рабством: «Просвещение принесло: именно раб хочет безусловного, он понимает только тираническое».

Универсальные истины, в том числе научные, ведут к тотальности и конформизму, отучают мыслить самому. Следование чужим истинам — признак «рабской души».

Требовать от человека «жертв во имя истины» — служить идеологии. Это — от агитаторов и актеров. Право на заблуждение — первое из прав человека и одновременно условие жизни на земле.

Жить — это условие познания. Заблуждаться — это условие жизни. Нам следует любить и пестовать заблуждение — это материнское лоно познания, любить и направлять заблуждение во имя жизни... это основное условие всякой страсти познания.

Жизнь — это мультиверсум, следовательно нет единообразного мира для всех, нет всеобщих истин, нет восхождения к Божественной истине. Быть — это быть собой, творить свою истину, отказаться от роли «стадного животного в царстве познания».

В мифе «О трех превращениях», помещенном в «Так говорил Заратустра», Ницше описывает три состояния познающей души, восходящей к истине. Низшее — состояние верблюда — это рациональное знание, благоговение перед нормами и законами предшествующих поколений. Среднее — состояние льва — полное осознание своей воли и освобождение от абсолютов и норм. Третье и высшее — состояние ребенка — способность к подлинному персональному творчеству.

Дитя — это невинность и забвение, новое начинание и игра, колесо, катящееся само собою, первое движение, священное «Да».

Ибо священное «Да» необходимо для игры созидания, братья мои: своей воли желает теперь человеческий дух, свой *мир* обретает потерянный для мира.

Я назвал вам три превращения духа: сначала дух стал верблюдом, потом сделался львом, и наконец лев стал ребенком.

Истина открывается человеку в страдании. В одном из писем Ницше спрашивает у судьбы возможность испытать все ужасы, какие когда-либо выпадали на долю человека, ибо, только пережив их, можно поверить, что тебе открылась истина. Почти все идеи Ницше давались ему ценой невероятных страданий и поэтому, заплатив за них самую высокую цену, он не страшился ни обвинений в плагиате, ни «жестокости», ни «чудовищности». Смелость Ницше глубоко выстрадана, «любовь к судьбе» суть глубоко пережитый личный опыт, оттесняющий на второй план все общепринятые добродетели и моральные установки. Само познание — страдание. Сама истина — боль...

«Жестокость» Ницше, которой в свое время люди так ужасались, не от Ницше пошла. Ее принял в свою душу первый человек, соблазненный плодами от дерева познания добра и зла.

В «Сумерках кумиров» ключевой мыслью является антиплатоновское утверждение: «...Истинный мир стал в конце концов басней». Ницшеанское преодоление платонизма состоит в окончательном отказе от вечных идей, по которым тиражируются вещи, ибо сами вещи — неповторимы, сами идеи — текучи и преходящи.

Действительно ли ницшевская апелляция к жизни или мифу привела к пренебрежению мыслью? Верно ли, что отточенные до афоризмов мысли Ницше — туманны и поверхностны? Бездумна ли воля к могуществу? Только ли художественна философия «Заратустры»? Пытаясь разобраться, Мартин Хайдеггер пришел к заключению, что философия Ницше развивалась в русле европейской мудрости и что даже воле к могуществу присуще безраздельное господство

рассчитывающего разума, а не туман и путаница темного брожения жизни. В сущности, Ницше обобщил намечающиеся тенденции соединения рациональной и мифологической компонент истины, открыл новые аспекты изменения существа истины, предвосхитил идею ее парадигмальности.

...Из этого понимания [необходимо] заново осмыслить метафизику Ницше как следующую простой траектории новоевропейской метафизики, вместо того чтобы делать из нее литературный феномен, более горячий, чем прочищающий головы, сбивающий с толку, а то и пугающий. В конце концов, ницшевское пристрастие к творцам выдает, что Ницше мыслит лишь по-ноевропейски, идя от гения и гениальности, и одновременно в технической колее, идя от результативности. В понятии воли к власти обе конститутивные «ценности» (истина и искусство) суть лишь перифразы для «техники» — в сущностном смысле планирующе-рассчитывающего обеспечения результата — и для творчества «творческих личностей», которые, поднимаясь над данностью жизни, снабжают жизнь новым стимулятором и обеспечивают функционирование культуры.

Именно Ницше принадлежит получающая все большее распространение идея синтеза науки и мифа, логики и мудрости: наука будущего — соединение дискурсивного мышления с художественным видением мира, синтез, который позволит перевести знание на более высокий уровень развития.

ДОН ЖУАН ПОЗНАНИЯ

Змея, которая не может сменить кожу, погибает. Так же и дух, которому не дают сменить убеждения...

Ф. Ницше

Ницше довольно рано преодолел традиционную для философии Просвещения утопию создания «вечных истин», рано понял, что единственно существующая «вечность» — это вечное течение мирового процесса.

Молодой Ницше искал вечное в текущем, зрелый текущее объявил вечным — отсюда идея «вечного возвращения». Метафизическое утешение не по ту, а по сию сторону мироздания, не в абсолютном, а в изменчивом. Но, чтобы принять эту мысль как утешение, необходимо изменить воззрения на жизнь, необходимо переоценить ценности, отречься от старой метафизики и морали.

Е. Трубецкой:

Та пессимистическая, или, как говорит Ницше, та «нигилистическая», точка зрения, которая осуждает мир и считает жизнь невыносимой, есть результат неправильного применения требований разума и в особенности — наших нравственных требований к мировому целому. Наш разум всюду ищет цели и смысла, и вот мы осуждаем мир, потому что в нем нет смысла, потому что наша категория *цели* к нему не приложима. Мы ищем в мировом целом *единства* и опять-таки осуждаем его, потому что не находим в нем ничего, кроме беспорядочной множественности явлений, ничего соответствующего нашей идее единства. Мы предъявляем к жизни наши требования правды, добра и в результате — обесцениваем жизнь, потому что окружающая действительность полна неправды и зла, потому что она оказывается в полном несоответствии с *нашими* нравственными требованиями. Словом, пессимизм осуждает Вселенную, потому что она не выдерживает критики *наших* идеалов, противоречит *нашим* ценностям.

Отсюда вытекает такой вывод: чтобы преодолеть пессимизм, мы должны отрешиться от наших лживых категорий разума: чтобы полюбить жизнь, мы должны сами, подобно внешней природе, стать «по ту сторону добра и зла», разбить скрижали наших ценностей.

С христианской точки зрения, весь мир во зле лежит: он осужден, потому что находится во власти греха. Первый результат отрицания целей в мире есть отрицание греха, оправдание мира. Раз над Вселенной нет высшей воли и, следовательно, высшего идеала и критерия, то в ней *нет греха*:

все существующее безгрешно и невинно. Раз в нашей оценке природы мы возвысились над противоположностью добра и зла, всякое негодование против неустройства мироздания, всякое осуждение жизни сами собою падают. Все вещи «крещены в источнике вечности», все они пребывают «по ту сторону добра и зла». Наши понятия о добре и зле — как бы облака, помрачающие наше зрение; поднимемся над этими облаками! Тогда ничто не мешает нам созерцать ясное, чистое небо и наслаждаться им. Проклятье, тяготеющее над жизнью, для нас превратится в благословение, зло перестанет вызывать в нас отвращение — оно уже не будет нуждаться в оправдании. Жестокость природы, дикие проявления животной страсти в ней и в человеке уже не будут для нас предметом ужаса.

Ницше вкладывал в нигилизм тот смысл, что высшие ценности рано или поздно обесцениваются. Иными словами, нигилизм — это процесс, в ходе которого происходит постоянное обновление ценностей. Нигилизм, — в этом смысле, не упадок, отрицание, но — процесс, закономерность эволюции, движение сознания, внутренняя логика исторического движения, констатация необходимости смены ценностей. «Высшие ценности начинают обесцениваться уже вследствие того, что люди постепенно осознают: идеальный мир не осуществим, его никогда не удастся осуществить в пределах мира реального». Такое понимание нигилизма подразумевает признание вечного движения жизни и необходимость нигилизма как содействия такому движению. Но такое понимание нигилизма, увы, не единственно, и в данном случае мы имеем дело с тем случаем, когда одно и то же понятие применяется для обозначения взаимоисключающих движений, потому что под нигилизмом можно понимать и отрицание самой жизни, революционное разрушение, бесовщину.

Хайдеггеровская характеристика Ницше как «радикального нигилиста» справедлива в первом понимании этого понятия — как констататора процесса обесценивания высших ценностей, понимающего «внутреннюю логику» исторического процесса в духе «переоценки всех ценностей». В этом отношении бунт против «современной эпохи» или «современной философии» содержит в себе не только и не столько отрицание, сколько утверждение новых ценностей.

Сам Хайдеггер требовал в философствовании о бытии быть подальше от культуры и поближе к земле, почве, вещам. И Ницше, и Хайдеггер пытались освободиться от философии сходным образом — усваивая ее уроки, «проходя» через нее и постоянно бросая ей вызов, стремясь покинуть достигнутый ею уровень, преодолевая ее оковы. Драмы Киркегора, Ницше и Хайдеггера отличаются событиями и фактами, но питаются из одного источника — непреодолимости культуры, культурного наследия, традиции, человечности, земли.

Нигилизм не лишил Ницше высочайшей чувствительности к культуре, чувства благоговения перед ней. «Как сын внимлет он поучения отца!» Какие бы ругательные слова ни бросал Ницше в своих экстазах в адрес противников, они не могут скрыть присущего ему преклонения перед учителями: «Ницше,

несмотря на все совершаемые им переоценки и оборачивания метафизики, последовательно остается на пути ее преданий».

Нигилизм Ницше не тотален, а избирателен: говоря «нет» неизменному, всеобщему, массовому, догматическому, традиционному, он отрицает лишь то, что препятствует развитию жизни, сознания, духа. Нигилизм Ницше — не более чем категорическое отрицание тоталитаризма, сковывания жизни идеей, протест против революционной бесовщины и тарантулов-совратителей человечества.

Ницше делил нигилизм на пассивный, упадочный, выражающий «тоску по ничто», отвергающий всякую истину, и на активный, ориентированный на страстный поиск истины и возрастание мощи человеческого духа. Активный нигилизм не ведет войну с жизнью, а отрицает то, что ее истощает. Пассивный нигилизм приводит к торжеству бессмысленности, упадку духа, деградации культуры, ликвидации ценностей. Активный нигилизм — право творца на «переоценку ценностей», пассивный — удел черни, утрата всех ценностей, вырождение человечества.

Активный нигилизм декларирует разнообразие и иерархию жизни, ее эволюцию, преодоление отживших форм, пассивный — отрицает разнообразие и неравенство, ведет к стагнации и смерти.

Устремление к равенству прав и, в конце концов, к равенству потребностей — это почти неизбежная логика нашей цивилизации, жидущейся на коммерции и на политической равноценности голосов, — несет с собой оттеснение и медленное вымирание людей более высокого, более опасного, более необычного — в общем, более нового склада: всякий эксперимент как бы прекращается и наступает своего рода застой.

Естественно, сам Ницше — нигилист активный, отвергающий все то, что направлено против многообразия и могущества жизни¹.

Эволюция нигилизма, по Ницше, проходит через четыре периода:

— **Период НЕЯСНОСТИ**, отвечающий «консервированию» абсолютов, недопущению «продвижения нового».

— **Период ЯСНОСТИ**, отвечающий осознанию фундаментального противостояния старого и нового, пониманию принадлежности старых ценностей «нисходящей» жизни и новых — «восходящей». Но, «понимая старое», люди еще «недостаточно сильны для нового».

— **Период ТРЕХ ВЕЛИКИХ АФФЕКТОВ** — презрения, сострадания и разрушения, отвечающий собственно фазе нигилизма — обновления ценностей.

— **Период КАТАСТРОФЫ**, отвечающий приходу новых ценностей, их признанию.

¹ Любопытный факт: Н. Н. Страхов писал, что нигилизм — чисто русское явление, возникшее, однако, под влиянием Запада. Н. С. Лесков уточнил: прекраснодушный западный социализм превращался в России в оголтелый русский нигилизм.

Мы видим, что нигилизм Ницше — отнюдь не чистое отрицание, а прообраз «структуры научных революций» Куна, личностного знания Полани, пролиферации идей Фейерабенда, причем не зародышевая форма, а вполне разработанная версия гносеологии, вполне отвечающая современным представлениям о парадигмальности человеческого познания.

Позже Хайдеггер расширит ницшевское понимание нигилизма: нигилизм — не просто переоценка ценностей, но — выражение кризиса культуры, реакция на этот кризис, историческое состояние культуры:

Нигилизм является историческим движением, а не каким-то и кем-то представленным воззрением или учением. Нигилизм приводит в действие историю в виде едва заметных основных процессов в судьбе западных народов. Нигилизм поэтому не только историческое явление среди других явлений, не только духовное течение наряду с другими течениями, которое встречается наряду с христианством, гуманизмом и просвещением внутри европейской истории. Нигилизм, в сущности, является, скорее, основным движением истории Запада. Это движение являет собой такой глубокий процесс, что его развитие может иметь своим следствием только лишь мировую катастрофу. Нигилизм — всемирно-историческое движение народов земли, втянутых в сферу власти нового времени. Поэтому он не только явление настоящего века и не только продукт XIX столетия... Нигилизм ни в коей мере не является продуктом отдельной нации, чьи мыслители и писатели говорят именно о нигилизме.

В «Дневнике нигилиста» Ницше анализирует состояния сознания, психологию человека, постепенно осознающего «ложь» культуры, разрушение ценностей: ужас перед открывшейся бездной заблуждений, «пустоту», образовавшуюся после утраты истины, «катастрофу» до конца проведенного, последовательного отрицания, наконец, переоценку всех ценностей и обретение новой истины. Ницше был потрясен обнаружением ставшего для него непреложным обстоятельства, что начавшаяся в эпоху Сократа и Платона эволюция философии, пройдя через эпоху Просвещения, Декарта, Лейбница и Канта, завершилась «абсолютным» гегелевским идеализмом, оборвавшим все связи с жизнью, объявившим все действительное разумным и одновременно зависящим от потусторонней идеи.

В нигилизме Ницше не было приписываемого *нами* «влечения к ничто», «отрицания всего человеческого», «поругания святынь, растления идеалов» — только отрицание абсолютов и поиск новых ценностей. Потому-то Ницше и отрицал революцию, бесов, что их нигилизм был разрушительный, неплодотворный — чистое nihil, ничто, «нетствование». «Бесы» Достоевского были для Ницше яркой демонстрацией этого тотального отрицания, а не переоценки ценностей. В этом отношении Достоевский и Ницше — единомышленники, а не антиподы. Оба противопоставляли «чистому отрицанию» определенный идеал: Достоевский — мораль Христа, Ницше — новую ценность.

Можно сказать, что формула нигилизма: «Бог умер», это равноценно отсутствию навсегда и наперед заданных высших ценностей. В таком понимании эта констатация является квинтэссенцией всей философии Ницше.

Великий физик XX века Н. Бор как-то заметил, что человечество за всю свою историю сделало всего два открытия: одно — что Бог есть, другое — что Бога нет. Ницше разделяет второе открытие, но с косвенным признанием и первого, ибо только то умирает, что живет.

Нигилизм Ницше — другое название свободы творчества или нонконформизма. По словам В. А. Поссе, он был нигилистом, нигилизмом неудовлетворенным.

Кстати, сам Ницше не оставил неясности в этом вопросе. Когда мы отрицаем, писал он, это значит, что в нас есть нечто такое, что хочет жить и утверждать себя, нечто такое, чего мы, может быть, еще не видим и не знаем.

Даже Е. Трубецкой, видевший в философии Ницше симптом общественного недуга, кризис мысли и предчувствие грозящей человечеству опасности, подчеркивал страдательный элемент ницшеанской критики существующего: она — не удача аутсайдера, но грозное предостережение, к которому должно прислушаться.

Итак, нигилизм — обесценивание ценностей, воля к могуществу, жизнь — преодоление нигилизма.

М. Хайдеггер:

Каково бытию? Бытию ничего. А что, если в этом-то и возвещает о себе, впервые возвещает, затуманивавшаяся доньше сущность нигилизма? Так тогда мышление ценностями — это чистый нигилизм? Но ведь Ницше постигает метафизику воли к власти как раз как преодоление нигилизма. На деле, до тех пор пока нигилизм понимается лишь как обесценивание высших ценностей, а воля к власти мыслится как принцип переоценки всех ценностей на основе новополагания высших ценностей, до тех пор метафизика воли к власти — это преодоление нигилизма. Однако в таком преодолении нигилизма ценностное мышление возводится в принцип.

Но ведь если ценность не дает бытию быть бытием, тем, что оно есть как само бытие, мнимое преодоление нигилизма и есть самое настоящее завершение его. Потому что теперь метафизика не только не мыслит само бытие, но и само это не-мышление бытия прикрывается видимостью, будто оно все же мыслит бытие, коль скоро дает ему цену как ценности — самым достойнейшим образом, так что излишним становится даже и спрашивать о бытии. Однако если — в сопоставлении с мыслью о бытии — мышление, мыслящее все по мере ценностей, это нигилизм, то тогда даже и ницшевское постижение нигилизма как обесценивания высших ценностей это нигилизм.

Метафизика — это эпоха в историческом совершении самого бытия. Но в своей сущности метафизика — это нигилизм. Сущность нигилизма находится внутри того исторического совершения, в качестве какого бытийствует само бытие.

Почему метафизика — это нигилизм? Потому, что идеализм философии суть творение идеалов за пределами жизни, самой этой жизнью не воспринимаемых. По словам самого Ницше, «весь идеализм былого человечества стоит на пути к превращению в нигилизм, в веру в полное отсутствие какой-либо ценности, т. е. в бессмысленность».

Нигилизм, в понимании Ницше, суть восстановление в своих правах существующего жизненного мира, управляющих им реалий и отрицание первичности сверхчувственного, идеального, потустороннего мира, придуманного человеком в минуту слабости жизненного духа.

Нигилизм Ницше — иное определение эволюции жизни, исторического движения, все большего освобождения человечества, развития мысли: «Каждое плодотворное и могущественное движение человеческой мысли вызывало одновременно и нигилистическое движение». Нигилизм — путь культуры, ее освобождение от собственного «праха» — канонов, предписаний, ложных ценностей. С помощью такого рода отрицания человек обретает полноту существования, становится «естественным», принимает жизнь такой, какова она есть. Любопытно, что Ницше никогда не говорил о несовершенствах жизни, видя в них необходимый фактор ее развития, совершенствования человека, восхождения жизни.

Последовательность Низвергателя разума — всего лишь видимость, кочеванье с места на место. Как у всех мудрецов, его воодушевление переменчиво: метание между живописанием трагического шопенгауэровского антиидеала и виталистским идеалом сверхчеловека, вечный возврат и новые ценности, неистовое восхваление Вагнера и столь же ожесточенное его поношение...

У него нет столь свойственной мудрецам жажды к системе, к прочности, к обоснованию. Никакое познание не может привлечь его надолго, нет истины, которой он принес бы клятву верности, с которой бы он обручился как со «своей системой», со «своим учением». Все истины чаруют его, но ни одна не в силах его удержать. Как только проблема утратила девственность, прелесть и тайну преодолеваемой стыдливости, он покидает ее без сострадания, без ревности к тем, кто придет после него, — так же, как покидал своих *mille e tre*¹ Дон Жуан, его брат по духу.

Подобно тому, как великий соблазнитель среди множества женщин настойчиво ищет единую, — так Неистовый Дионисиец, среди всех своих познаний ищет единое познание, вечно не осуществленное и до конца не осуществимое; до боли, до отчаяния чарует его не овладение, не обладание и нахождение, а преследование, искание, овладевание. Не к достоверности, а к неуверенности стремится его любовь, демоническая радость соблазна, обнажения и сладострастного проникновения и насилования каждого предмета познания.

¹ По-испански: тысячу три (число соблазненных Дон Жуаном женщин).

Для Дон Жуана тайна во всех и ни в одной — в каждой на одну ночь и ни в одной навсегда: так и для психолога истина во всех проблемах на мгновение и ни в одной навсегда.

Потому так безостановочен духовный путь Дон Жуана познания: он всегда стремителен, извилист, полон внезапных излучин, распутий и порогов. Поэтому так потрясающе звучат его жалобы — жалобы Агасфера, вопль человека, жаждущего отдыха, наслаждения, остановки.

Но не способного остановиться. Ибо все Эмпедоклы, Гераклиты, Паскали, Киркегоры, Гёльдерлины, Клейсты, Достоевские, другие поклонники беспредельного находятся во власти вечной неудовлетворенности, порожденной зыбкостью и многозначностью бытия. Но ни муки, ни надрывы не способны заставить их променять свою «гибельную жизнь» на спокойное существование: *aequitas anima*, обеспеченный душевный отдых.

По словам С. Цвейга, Поклонник беспредельного всегда стремился в неизвестность, будто преследуемый какой-то враждебной силой. Эта тревога исканий, органическая неспособность остановиться в поиске, безостановочный полет в неведомое сообщали его существованию беспримерный трагизм и художественную привлекательность.

Только не уверенность, не удовлетворенность, не самодовольство! «Как можно пребывать среди чудесной зыбкости и многозначности бытия и не вопрошать, не трепетать от вожделения и наслаждения вопроса?» С высокомерным презрением отталкивает он домоседов и всех, кто удовлетворяется малым... Пусть они сидят в теплом доме своей системы, как в лавочке, честным трудом и расчетливостью умножая свое достояние, накапливая богатство: его привлекает только игра, только последняя ставка, только жизнь, поставленная на карту. Ибо даже собственная жизнь не пленяет авантюриста как достояние; даже и здесь он требует героического избытка: «Не в вечной жизни суть, а в вечной жизненности».

Мало кто из ницшеведов прошел мимо так называемых противоречий Ницше, не отказав себе в удовольствии процитировать ряд «несовместимостей», диаметрально противоположных суждений, антиномий, логических абсурдов. Даже К. А. Свасьян определил эту особенность философствования Ницше как «самую неприкрытую, самую бесцеремонную и вызывающую противоречивость, какую только знала история европейской духовности».

Категорически не согласен! Неужели мы, малые сии, увидели то, что прошло мимо сознания великого философа? Неужели он не заметил абсурдности сосуществования своих «да» и «нет»? Неужели так просто «человеку с улицы» уязвить схоларха?

Внимательный читатель без особого труда заметит, что такого рода «абсурдность» неотъемлема от текстов Ницше, является их глубинной особенностью, нормой и стилем его философствования, имманентной чертой мышления

Ницше, включающего антиномии в свой корпус, делающего их демонстрируемым способом самореализации.

Само понятие «противоречия» возникло сравнительно недавно — почти одновременно с понятиями «патриотизма» и «абсолютной идеи». Диалектика, противоречия, антиномии — фикции нашего ума, которыми мы безуспешно пытаемся описать бесконечное разнообразие жизни, конкуренцию, борьбу за существование, жизненный хаос. Нас так долго приучали к рационализму, плодами которого является примитивная поляризация жизненного обилия, что мы уже не допускаем возможности мышления, не знающего и не страшящегося противоречий. Приписывать Ницше «противоречия» — все равно что описывать миф на языке логики¹.

В связи со сказанным хочу привести одну из лучших русскоязычных интерпретаций философии Ницше, одновременно извинившись за пространность цитирования.

В. Б. Кучевский:

Чтобы добиться полной адекватности в раскрытии содержания любой в логическом плане иррациональной философии, необходимо само это раскрытие сделать иррациональным. Но в этом случае такая философия не будет понята абсолютным большинством людей. В этом аспекте философия Ницше представляет собой своеобразную загадку духовной культуры. Ее следует либо вовсе не пытаться истолковывать, а ограничиться лишь констатацией самого факта ее существования как феномена особого рода философствования, находящегося «по ту сторону» здравого смысла, либо это все же делать, но тогда ее придется так или иначе рационализировать, что не может не дать в результате не совсем то или совсем не то, чем она является на самом деле. Второй путь представляется предпочтительнее, поскольку она в этом случае оказывается хотя бы как-то интегрированной в состав традиционной духовной культуры человечества.

Косвенным выражением иррационализма является бессистемный характер философии Ницше, т. е. полное отсутствие какой-либо целостной упорядоченности выдвинутых им философских идей. Формулируя последние, он совершенно не был озабочен их какой-либо организацией в виде целостного системного образования, в котором все имеющиеся в наличии элементы были бы внутренне связаны, взаимозависимы и структурированы. Вместе с тем Ницше хорошо осознавал, что отдельные философские понятия не представляют собой ничего произвольного, находятся в соотношении и родстве друг с другом и составляют собой единую систему.

Философия Ницше — это своеобразный калейдоскоп множества разрозненных и имеющих вполне самостоятельное значение идей и положений, мысленно погружившись в которые читатель далеко не сразу и лишь с большим трудом может приобрести представление о начале и конце размышлений Ницше и как бы невольно оказывается в некоем интеллектуальном

¹ Миф имеет свою логику, но, естественно, это иная логика.

лабиринте, выход из которого возможен не по каким-то указателям, а лишь посредством простого перебора всех высказываний Ницше. Причем до тех пор, пока не будет выявлен исходный пункт его философии, такого рода перебор рискует превратиться в движение мысли по замкнутому кругу. Не-что подобное наблюдается у окончательно заблудившихся в таежном лесу, когда они начинают до бесконечности ходить по одному и тому же кругу.

Отсутствие должной и последовательной разработки соответствующей философской концепции существенно затрудняет достижение адекватной интерпретации философии Ницше. Всякая попытка упорядоченного изложения его идей не может поэтому не напоминать склейку многочисленных осколков разбитого зеркала, которые не всегда оказывается возможным состыковать точно по линиям их периметров и без зазоров.

Это служит основанием для выдвижения любых, вплоть до произвольных истолкований философских взглядов Ницше, так что каждый может найти в его философии то, что ищет, и при этом никто не вправе претендовать на единственно верное понимание его философской позиции. Сам же Ницше вряд ли бы узнал себя в зеркале своих комментаторов и интерпретаторов.

В конечном итоге получается так, что философия Ницше оказывается тем прежде всего и ценной, что от нее можно отталкиваться, а затем двигаться в любом направлении и проявлять в полной мере свою самостоятельность и творчество. Она служит своеобразным отправным теоретическим источником для постоянного возбуждения и пульсации философской мысли. Не поэтому ли философы самых разных течений чтут Ницше?!

Обратной стороной бессистемности философии Ницше выступает его пренебрежительное отношение к обоснованию и логическому доказательству своих взглядов. Системная выстроенность и доказательное изложение философских идей предполагают друг друга, но первая направлена на внутреннее самообоснование, а второе — на установление в конечном итоге системных связей между элементами философского миропонимания.

Ницше не случайно видел вершину мудрости в досократовской мысли, еще не разделившей бытие на противоположности, зло и добро, упадок и подъем, хорошо и плохо. Человек крайностей, Мифотворец ратовал за меру («Мы будем блюсти свою меру»), трактовал Благую Весть как отсутствие противоположностей и оставлял жизни право на существование всего: «Если наше очеловечение что-нибудь означает, так именно то, что нам не нужны больше радикальные противоположности — вообще никакие противоположности...»; «Противоположности подобают эпохе черни — их легко понять»; «Упадок, даже разложение как таковое нельзя осуждать: это необходимое следствие жизни...»

Хотя у самого Ницше много крайностей, они — только форма внешнего выражения, средство эпатажа, экспрессии, усиления идеи. Ницше не знал приписываемых ему противоречий, потому что был *проблематичен, открыт, незавершен*. Противоречия — качества строителей систем, Ницше же расчищал новые пространства, видел в мышлении *процесс*. Мысль самого Ницше многопланова,

мифологична, динамична, напряженна. Он не знал покоя мысли, его философия — *движение, попытка, взрыв*.

Он не указывает пути, не учит нас никакой вере, не дает нам точки опоры, почвы под ногами. Наоборот, он не дает нам ни секунды покоя, беспрерывно нас мучит, гонит из всякого угла, куда мы забились, отбирает последнюю тряпку, которой можно прикрыться.

У Ницше нет единой позиции, его мысль всегда открыта альтернативам, его кажущиеся крайности — всегда поиск, новая перспектива, проба, неизведанное место. «Мое сильнейшее свойство — самопреодоление». Это — ключ, это — принцип, позволяющий понять «несуразности» величайшего диагноста культуры.

Самопреодоление, естественно, включало в себя преодоление всего чужого: ученичества, установлений, общепринятых догм, старых привязанностей, увлечений молодости и зрелости.

Даже те произведения, которые он когда-то любил больше всего, теперь вызывали у него ощущение как бы духовной тяжести в желудке: в «Мейстерзингерах» он чувствует тяжеловесность, причудливость, вычурность, насильственные потуги веселья, у Шопенгауэра — омраченные внутренности, у Канта — лицемерный привкус политического моралина, у Гёте — бремя чинов и службы, насильственную ограниченность кругозора.

Можно даже сказать, что именно кажущаяся внутренняя несамостоятельность, с которой Ницше вначале отдается чужому образу мыслей, служит доказательством героической самобытности его духа. В то время как привычные, дорогие идеи манят его обратно, он, не защищаясь, отдается идеям, по отношению к которым чувствует себя еще чужим и даже в глубине души противником.

Уже в юношеские годы Дон Жуан познания признавался, что не был «расположен обременять себя знаниями как машина». Что же ему было по душе? «Самое приятное для меня — это, найдя какую-нибудь новую точку зрения, развивать и обосновывать ее». В сущности, это декларация построения собственной философии как непрерывного поиска и обоснования новых точек зрения, новых перспектив, философии как процесса, как перспективизма.

Понятие противоречия неприменимо к творчеству Ницше еще потому, что, в его понимании, творчество — это творимое, а не сотворенное. Пафос вечного порождения несовместим с определенностью, завершенностью, заданностью. Творчество не есть канонизация, творчество — отказ от канона, от логики, от последовательности. Конечно, миф тоже может иметь свою логику, но это — логика парадокса, каковой можно назвать творчество самого Ницше.

Мысль Ницше не вращается в противоречиях (В. Герхардт), но стремится к риску, адекватному риску человеческого бытия. Сама философия Ницше есть хорошо им осознаваемый риск, риск поиска новых ценностей, риск перспекти-

вы, риск непонимания, риск крайности, риск ответственности, риск взять на себя «все то (небывалое, неслыханное, невероятное и т. д.), что “подумается”».

И это уже рискованность не «стиля» и не эстетически воплощенного вслушивания, а рискованность человеческого бытия в мире и, далее, свойство самого бытия, свойство его устроенности, поскольку совершенно ясно, что оно устроено так, что может быть доступно и понято лишь с «точки зрения» какого-либо «я» или, как предпочитал говорить Ницше, в определенной «перспективе». Такой «перспективизм», следовательно, относится к самой сущности бытия. Таким образом, получается, что «риском» пронизано решительно все, и прежде всего этим высказывается нечто «экзистенциальное».

Одним из первых Ницше осознал, что «доказательство» не делает философию более весомой, что не аргументом живет мысль, что прозрение может быть плодотворней умозаключения: «В течение тысячелетий европейские мыслители только о том и думали, как бы доказать что-нибудь — нынче, напротив, для нас подозрителен всякий мыслитель, который “хочет нечто доказать”».

Отсутствие заботы о строгости и последовательности выразилось, в частности, в стремлении Ницше к поэтичности, при том, что в «Заратустре» поэтам брошено немало платоновских упреков:

Но поэты слишком много лгут! Ах, я закидывал сеть свою в моря их, желая наловить хороших рыб, но постоянно вытаскивал я голову какого-нибудь старого бога. Так море дало камень голодающему.

Несомненно, попадаютя перлы у них: тем более похожи сами они на твердых раковин. И часто вместо души находил я у них соленую тину.

*Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.*

*Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь;
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.*

Человек порыва, человек мгновения, Ницше не анализировал, а выражал настроение данной минуты, чувство, переполняющее его здесь и сейчас. Его абсолютно не смущало то, что в другое время и в другом месте он будет думать иначе, будет самому себе противоречить. Но он не противоречил себе потому, что каждый раз был предельно искренен в выражении своих чувств, а то, что чувства у одного человека могут быть разными до взаимоисключительности, вина не Ницше, а человеческой природы — того единственного, чему он следовал постоянно и непротиворечиво.

Жизнь бесконечно сложна и парадоксальна. Простые ответы на проблемы человеческого существования — отнюдь не свидетельства человеческой мудрости. «Иногда, чтобы убедить в чем-либо одаренных людей, нужно только изложить утверждение в виде чудовищного парадокса». «Кто глубже мыслит, знает, что он всегда не прав...»

То, что именуют «противоречиями» Ницше, связано даже не с особенностью его психики — быстрой сменой настроений, но, прежде всего, с самой ее структурой, с его мировидением — категорическим отказом от догм, авторитетов, окаменелости, закованности в мировоззрение.

Непоследовательность Ницше производна от его интеллектуального обилия, особенностей психического склада и личной жизни.

К. П. Янц:

Двусмысленность — выражение его внутреннего экзистенциального раздвоения: разрыв между призванием и должностью, видимостью и бытием, бюргерской идентичностью («базельский профессор, господин доктор Ф. Ницше») и скрытой либидозной анархией («моя дионисийская натура») и т. д. породили процесс систематического саморазрушения, выразившийся в глубокой печали, которая сквозила в его облике, в метафизической тоске, которыми проникнуты путь его творчества, его письма, записки и т. д.

Вряд ли вообще необходимо уличать Ницше в противоречивости и непоследовательности — грехах, разрушительных для системотворца. Ницше многомерен и, я полагаю, сознательно или бессознательно, стремился к полноте выражения, а не к математической строгости высказывания. Он не знал противоречий, ибо обитал в том жизненном мире, где они животворны.

Ницше всегда пишет о том, что и как видит и чувствует он, Ницше. Его философские взгляды — это его собственный «портрет», это «инобытие» его личности. Не случайно изменения в его философской позиции, которые фиксируются в его трудах, чуть ли не «день в день» синхронны переменам в его жизни и судьбе. В зависимости от этих последних даже один и тот же «материал» выглядит в разных его сочинениях по-разному, поворачивается разными сторонами, предстает в ином свете.

Переоценка ценностей — фикция самого Ницше, до глубины не осознававшего свойства собственной психики двигаться в нехоженые места. Правильно понятая «переоценка ценностей» — это глубинный перспективизм, плюрализм, синкретизм Ницше, преподанный в экстравагантных одеяниях. Парадоксальность «противоречий» Ницше — это обилие жизни, плюралистическая структура его психики, образное видение мира, евангелический стиль.

Концепция противоречий у Ницше — свидетельство непонимания Ницше: противоречия возникают из дискурса, а не из плюральной жизни. Переоценка всех ценностей подразумевает отказ от дихотомий: не добро и зло, не истина и ложь, а мультиверсум, пролегающий между ними. Не демонизм «крови»,

«расы», «белокурой бестии», «сверхчеловека», но многоплановость, метафоричность, синкретичность, художественность, духовность, раз и навсегда покончившие с «нашим» и «не-нашим»...

Мне трудно согласиться и с идеей *внутреннего раздвоения* мыслителя, ведущего к противоречиям и позволяющего «смотреть на свою собственную природу, на свои чувства и побуждения как на нечто, стоящее вне его». Не было ни раздвоения, ни противоречий — было развитие идеи, вдохновения и отказы, увлечения и разочарования — нормальная внутренняя жизнь, внутренняя борьба, осложняемая развивающейся болезнью. Конечно, существуют «непротиворечивые» мыслители одной извилины, не знающие сомнений и колебаний, но печально известно то, что получается из их железобетонных систем...

С легкой руки проф. Рила многие считают, что Ницше не годится в учителя, что его творения не дают и не могут дать твердых и неизменных правил для руководства ученикам. Это — концепция XIX века. Ницше — великий учитель, учивший творцов века XX-го отказу от «вечных» принципов, «переоценке ценностей», вдохновенному порыву, вечной неудовлетворенности.

Когда мыслитель противоречив, а мыслить и быть последовательным невозможно, важна не суть противоречий, а дух мыслителя. Он не только не хотел служить усилению власти Бисмарка, Гогенцоллернов, Круппа или прусского юнкерства, но глубоко презирал их. Мы слышаны о его шовинизме, экстремизме, экспансионизме, но послушаем самого Ницше.

Обрушиваясь на немецкую мысль, всех «бессознательных» ее фальшивомонетчиков, делателей покрывал (Фихте, Шеллинга, Шопенгауэра, Гегеля, Шлейермахера, Канта, Лейбница), Ницше называет «немецкий дух» своим дурным воздухом: «...Я с трудом дышу в этой ставшей инстинктом нечистоплотности в *psychologica*, эту нечистоплотность выдает каждое слово, каждая мина немца».

То, что в Германии называется «глубоким», есть именно этот инстинкт нечистоплотности в отношении себя, о котором я и говорю: *не хотят* видеть ясно себя.

Создали ли немцы хотя одну книгу, в которой была бы глубина? У них нет даже понятия о том, что глубоко в книге.

Свое *недоверие* немецкому характеру я выразил уже двадцати шести лет (третье «Несвоевременное размышление») — немцы для меня невозможны. Когда я придумываю себе род человека, противоречащего всем моим инстинктам, из этого всегда выходит немец.

За исключением моих сношений с Рихардом Вагнером, я не переживал с немцами ни одного хорошего часа... Я не выношу этой расы, среди которой находишься всегда в дурном обществе... У немцев отсутствует всякое понятие о том, как они грубы, но это есть превосходная степень грубости — они не стыдятся даже быть только немцами... Напрасно я ищу хоть одного признака такта, деликатности в отношении меня. Евреи давали их мне, немцы — никогда.

Напыщенная глупость под личиной ума, тяжеловесность понятий — вот что до известной степени свойственно немцам и что за границей принимается за самую сущность немецкого характера.

...У немцев аффект всегда действует им же во вред; он у них всегда саморазрушителен, как у пьяницы. В Германии даже энтузиазм не имеет того значения, что в других странах, потому что здесь он бесплоден.

Немцы лишили Европу последнего великого урожая культуры — урожая *Ренессанса*.

Ренессанс — событие, лишенное смысла, великое Напрасно. Ах, эти немцы, во что они нам стали! Любое «Напрасно» — дело рук немцев... Реформация; Лейбниц; Кант и так называемая немецкая философия; «освободительные» войны; империя — каждый раз новая «напрасность» чего-то уже народившегося, а теперь *безвозвратно утраченного*... Признаюсь: они мои враги, эти немцы; презираю в них нечистоплотность понятий и ценностей, презираю их боязнь прямого и честного Да и Нет. За тысячу лет они все залапали и сваляли, чего ни касались.

Немецкие историки, пишет Ницше, только паяцы политики (или церкви), они лишены широкого взгляда. Немецкая историография носит имперский и антисемитский характер, немецкая культура ограничена, напыщена, убога, страдает национальным неврозом.

...Я испытываю желание, я чувствую это даже как обязанность: сказать наконец немцам, что у них уже лежит на совести. *Все великие преступления против культуры за четыре столетия лежат у них на совести!*.. И всегда по одной причине, из-за их глубокой *трусости* перед реальностью, которая есть также трусость перед истиной, из-за их, ставшей у них инстинктом, несправедливости, из-за их «идеализма»... Немцы лишили Европу жатвы, смысла последней великой эпохи, эпохи Возрождения...

Немцы добровольно одуряют себя, немецкий ум грубеет и опошляется, налицо признаки умственного вырождения, производимого пивом, немцы совершенно забыли, что не «государство», а воспитание и образование должны быть целью...

Я присматривался к германским университетам. Какая удушливая атмосфера царит среди ученых! Какое самодовольство, какая пустота, какое равнодушие к умственной жизни!

«Высшие школы» Германии фактически стремятся к тому, чтобы посредством грубой дрессировки и при возможно меньшей затрате времени сделать бесчисленное количество молодых людей пригодными для служения государству.

Когда вся Германия, пользуясь правом победителя, готовилась к открытию немецкого университета во французском Страсбурге, один Ницше негодовал. Он собирался даже направить памфлет Бисмарку с сакраментальным вопросом: какое право имеют немцы праздновать свой военный триумф на ниве культуры? Да, немецкие солдаты победили французских, честь им и слава! Но разве французская культура покорена культурой немецкой? Разве военные победы дают основание для культурного унижения другой нации?

Что общего, спрашивает Ницше, могло быть у ленивого, несмотря на всю его хищную воинственность, невежи германца, этого чувственно-холодного любителя поохотиться и выпить пивка, ушедшего в своем духовном и религиозном развитии никак не дальше какого-нибудь американского индейца и лишь десять столетий назад переставшего приносить своим богам человеческие жертвы, — что могло быть у него общего с высочайшей моральной утонченностью христианства, с восточной филигранной изощренностью его мысли, отшлифованной раввинским умом!

Презрение к немцам резко усилилось после посещения байрёйтских празднеств: «Бедный Вагнер! Куда он попал! Если бы он еще попал к свиньям! А то к немцам!..»

«Германия превыше всего» — это для Ницше конец немецкой философии. Ницше предостерегал Германию от опасности соединения этатизма и шовинизма, то есть фашизма; еще одно его пророчество — «немецкий дух» все больше становится жертвой «германской империи»... Такой вот «предтеча»...

Этот народ самовольно одурял себя почти в течение тысячи лет.

Куда бы ни простиралась Германия, она портит культуру.

По-немецки думать, по-немецки чувствовать — я могу всё, но это выше моих сил.

Не могу ли я предложить слово «немецкий» как международную монету для обозначения этой психологической испорченности?

Надутая неуклюжесть умственных приемов, грубая рука при схватывании — это нечто до такой степени немецкое, что за границей это смешивают вообще с немецкой натурой.

Определение германцев: послушание и длинные ноги...

Происхождение немецкого духа — из расстроенного кишечника...

Деятельность современной науки в Германии *убийственна* для мысли.

День ото дня упрочивается репутация Германии как европейского *болота*.

Немецкая культура переживает упадок...

У современных немцев бывают припадки оглупления. Они страдают то антифранцузской глупостью, то антисемитской или антипольской, то тевтонской, то прусской.

Ф. Ницше — И. Тэну:

Я страдаю от того, что мне приходится писать по-немецки... В конце концов французы уловят на слух... глубокую симпатию, которую они заслуживают; я же всеми своими инстинктами объявляю Германии войну...

Отрекаясь от своей национальной принадлежности, Ницше от других требовал «не привязываться к Родине», ставил личность над нацией, гордился своим славянским происхождением, называя прусских родственников «немецкими канальями».

Ницше считал «полезным и справедливым удалить из страны антисемитских крикунов», полагая, что Европа должна быть благодарна евреям за ве-

ликий стиль в морали, высокий уровень моральных проблем и за воспитание любви к жизни.

Ф. Ницше:

Нет сомнений, что евреи, если бы они этого хотели или были к этому принуждены, то могли бы уже теперь иметь преимущество и даже господствовать в Европе; но точно также нет сомнения, что они этого не хотят и не имеют относительно этого никаких намерений.

Евреи, без сомнения, наисильнейшая, наистарейшая, наичистейшая раса, которая живет теперь в Европе: они умеют выходить из самых плохих обстоятельств.

Мыслитель, на совести которого лежит будущее Европы, при всех планах, которые он составляет себе относительно этого будущего, будет считаться с евреями — и с русскими — как с наиболее надежными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил.

Встретить еврея — благодеяние, допустив, что живешь среди немцев.

Поистине, общество, от которого волосы встают дыбом!.. Ни в каком убудюке здесь нет недостатка, даже в антисемите.

...Для меня это вопрос чести — быть в отношении антисемитизма совершенно чистым и недвусмысленным, и именно против, как это видно из всего, что я пишу.

А. И. Патрушев:

Считая евреев «самой сильной, самой цепкой, самой чистой расой из всего теперешнего населения Европы», Ницше глубоко раскрывал корни антисемитизма, им всегда осуждавшегося: «Вся проблема евреев имеет место лишь в пределах национальных государств, так как здесь их активность и высшая интеллигентность, их от поколения к поколению накапливающийся в школе страдания капитал ума и воли должны всюду получить перевес и возбуждать зависть и ненависть; поэтому во всех теперешних нациях распространяется литературное бесчинство казнить евреев как козлов отпущения за всевозможные внешние и внутренние бедствия». Если Ницше осуждал литературные казни евреев, что бы сказал он, когда эти казни обернулись крематориями Аушвица и рвами Бабьего Яра?

«Предтеча фашизма», Ницше категорически отвергал расизм, считал проблему расы надуманной, а европейские нации искусственными: «То, что теперь называется в Европе «нацией», это — только искусственная, а не природная вещь». Он призывал «не иметь дела с тем, кто принимает участие в лживом блефе расы».

«Предтеча фашизма», Ницше в одной из последних открыток, посланных Францу Овербеку уже на грани срыва в пропасть, с последней границы разума, писал: «Я занят составлением Prometheus для европейских дворов с целью создания антинемецкой лиги. Я хочу зажать «рейх» в ежовых рукавицах...»

«Предтеча фашизма», Ницше, сравнивая немцев со славянами, говорил: «Одаренность славян казалась мне более высокой, чем одаренность немцев,

я даже думал, что немцы вошли в ряд одаренных наций лишь благодаря сильной примеси славянской крови».

«Предтеча фашизма», Ницше метал гневные филиппики в тоталитаризм, патриотизм, развенчивал культ государства.

Ницше не просто ставил личность выше государства или нации, но обращал пафос своего Заратустры против «самого холодного из всех чудовищ», ведущего свой народ к гибели. Раздел «О новом кумире» «Заратустры» — отповедь всем тоталитаристам и этатистам:

...Государство лжет на всех языках добра и зла: и в речах оно лживо, и всё, что имеет оно, — украдено им.

Фальшь у него во всем: не своими зубами кусается зубастое это чудовище, даже внутренности его — и те фальшивы.

Смотрите же, как оно приманивает к себе эти многие множества! Как оно душит их, как жуёт и пережевывает!

«Нет на земле ничего большего, чем я: я — перст Божий, я — устроитель порядка», — так рычит чудовище. И не одни только длинноухие и близорукие опускаются на колени!

Этот новый кумир все готов дать *вам*, если вы поклонитесь *ему*: так покушает он блеск добродетелей ваших и взор гордых очей.

Государством зовется сей новый кумир, там все — хорошие и дурные — опьяняются ядом; там все теряют самих себя; там медленное самоубийство всех называется жизнью.

Безумцы все эти карабкающиеся обезьяны, мечущиеся, словно в бреду. Зловоние исходит от их кумир, это холодное чудовище; зловонны и они сами, служители его.

Только там, где кончается государство, начинается человек — не лишний, но необходимый: там звучит песнь того, кто нужен, — единственная и неповторимая.

Говоря, что родина — это свинья, пожирающая своих сыновей, Джойс не делал открытия: Ницше произнес это до него. Задолго до написания «Заратустры» Ницше сказал еще сильнее: «Германская империя вырывает с корнем немецкий дух».

Человек, восставший против общего блага, посвящает свою книгу поборнику разума и просветительства Вольтеру. Жестокость, пишет он, не совместима с высокой стадией культуры и человеческим совершенством. А вот что воинствующий «поборник насилия» и «шовинист» говорит о силе и национальном нарциссизме:

Слишком дорого приходится платить за силу; сила оглуляет.

Нет, не культ насилия, а «Ессе Ното» — трагическая правда о Ницше.

Могло ли вообще случиться, чтобы натура нежная, бескорыстная и чуждая всякой грубости, личность художественная и романтическая — вопреки самой себе — развила дикую антигуманную теорию торжествующего аморализма? Мог ли мягкий и кроткий Ницше, доброжелательный к славянам, французам, евреям, Ницше, требующий разоружения, неистово славословить жестокость?..

ТОЛКНИ ПАДАЮЩЕГО?

Скверный воздух! Эта мастерская, где фабрикуют идеалы, — мне сдается, она провоняла ложью.

Ф. Ницше

Люди всего лучше водятся за нос моралью!

Ф. Ницше

Я понимаю теперь ясно, чего искали когда-то прежде всего, когда искали учителей добродетели, искали крепкого сна и сновтворных добродетелей. Для всех этих хваленых мудрецов и учителей — мудростью считался сон без сновидений...

Ф. Ницше

Вряд ли стоит говорить о моральном релятивизме Ницше, человека, невероятно чувствительного к добру, порядочности и любви. «Мне невыносимо нарушить слово, тем более — убийство». «Вернуть злomu человеку чистую совесть — не это ли является моим произвольным стремлением?». «Я расположен к таким моральям, которые побуждают меня вечно что-то делать: и с утра до вечера и ночью грезить и не думать ни о чем другом, как только о том, чтобы сделать это хорошо, настолько хорошо, как я и в состоянии сделать!» Упреждая идеи ненасилия Ганди, Ницше требовал «быть справедливым к тем, кто тебя презирает».

Понимая амбивалентность добра и связанной с ним морали, глубоко почувствовав опасность невыстраданной проповеди идеалов и лицемерие учителей жизни, Ницше отнюдь не требовал свободы от этических обязательств: «Быть может, черт придумал мораль, чтобы мучить людей гордостью, а другой черт когда-то ее снова отобрал, чтобы мучить их презрением к самим себе».

Как можно говорить об аморализме человека, придавшего добродетели вместо небесной абстракции — земное звучание?

Я заклинаю вас, братья, будьте верны земле! Не сидите, зарывшись с головою в мертвый прах небесной галиматы. Держите ее гордо, свою земную голову, — она оправданье и смысл этой земли!.. Торопитесь, верните на

землю отлетевшую от нее добродетель — да, верните ее для любви и для жизни: и да будет добродетель смыслом земли, ее человеческим смыслом!

Ницше — один из самых морализующих философов в истории метафизики, поставивший этическую тематику в центр своих изысканий, сделавший ее нервом своей философии и посвятивший ей львиную долю своих текстов. Ницше не аморалист, а сверхморалист, не довольствующийся догматикой, требующий коренного обновления нравственности. Если хотите, главный императив Ницше — тот же, что и в Новом Завете: «Непримиримая борьба со старыми нравами и обычаями, упорно отстаиваемыми книжниками и фарисеями, и неустанная и настойчивая проповедь и пояснение принципиально новых моральных требований и установлений».

У Ницше мы действительно обнаружим множество эскапад, направленных против христианского сострадания, изображаемого как нарыв на здоровом теле жизни. Это и есть символ ницшеанского понимания болезненности, мертвенности этого чувства: «**Здесь** быть врачом, **здесь** быть неумолимым, здесь действовать ножом — это **наше** дело, это **наш** вид человеколюбия, это делает **нас** философами, нас, гипербореев!»

Здесь ключевые слова «врач» и «наш вид человеколюбия»: не сюсюкать, не лицемерить, не врать, не вымучивать несуществующего страдания, но — «быть неумолимым», говорить правду, признавать жизненную необходимость боли, лечить.

«Толкни падающего» можно интерпретировать как главный принцип аморализма. Но для Ницше это отнюдь не принцип жестокости, бессердечности или разнузданности страстей. Вчитайтесь в Ницше! «О братья мои, разве я жесток? Но я говорю: что падает, то нужно еще толкнуть!» «И кого вы не научите лежать, того научите — быстрее падать!» Можно ли интерпретировать это как принцип взаимоотношений между людьми? Нет, это принцип философский, принцип обновления ценностей, необходимость быстрой смены обветшалых догм и идей. Сам Ницше дает нам еще один символ, художественный образ философии-«молота», неистовствующего над «тюрьмой». «“Толкнуть падающего” — это обновить ценности, используя философию как молот, разбивающий стены “темницы”».

Увы, легко «передергивать» Ницше. Скажем, с негодованием цитировать слова: «Мы должны освободиться от морали...», опустив продолжение фразы: «...чтобы суметь жить морально», и т. д., и т. п.

Упреки Ницше в адрес философской и религиозной этики заключаются в том, что они не в ладах с правдой жизни и не позволяют человеку стать личностью, направить свои силы на самосовершенствование.

Согласно Ницше, старая этика утратила свою истинность именно потому, что взяла понятия добра и зла не из полноты жизни, но измыслила их сама для того, чтобы сохранить отдельных индивидов в подчинении коллективу, «песку человеческому».

А. Швейцер:

Эта этика держалась, собственно, на том, что оставляла туманной самую меру жизнеотрицания. В теории она пропагандирует принцип жизне-

отрицания, в действительности же она протаскивает свою неестественную и хилую идею жизнеутверждения. Ницше разоблачает ее ложный пафос и доказывает, что только та этика может стать действительной этикой, которая в результате собственного размышления постигает смысл жизни и честно полемизирует с действительностью.

Индивидуальная этика должна предшествовать любой социальной этике.

Этика должна содержать в себе высшую мораль жизнеутверждения.

Категорический императив Канта для Ницше — форма китаизма, добродетель муравейника, крайняя степень жизненной дистрофии: «Глубочайшие законы сохранения и роста настоятельно требуют обратного — чтобы каждый сочинял себе добродетель, выдумывал свой категорический императив. Когда народ смешивает свой долг с долгом вообще, он погибает. Ничто не поражает так глубоко, ничто так не разрушает, как «безличный долг», «как жертва молоту абстракции...»

Автоматическое исполнение всеобщего «долга» не воспитывает, а разрушает человека, о чем свидетельствует наш трагический национальный опыт. Без глубокого личного выбора, без экзистенции, без выстраданности нравственность (как и религиозная вера) — только камуфляж, легко сбрасываемый покров. Масса не может «тяготеть к благу» — это персональный удел конкретного человека, который либо сознательно «выбирает себя» (свою добродетель), либо лжет.

Претензии Ницше к ветхозаветной морали наиболее полно изложены в «Антихристе»:

Понятие Бога становится орудием в руках жрецов-агитаторов, которые толкуют теперь удачу как вознаграждение, несчастье — как кару за непослушание Богу: вот бесконечно лживая манера интерпретировать будто бы «нравственный миропорядок» — раз и навсегда она выворачивает наизнанку естественные понятия «причины» и «следствия». Кары и вознаграждения изгнали из мира естественную причинность, но тогда появляется нужда в причинности *противоестественной*: всякая прочая ненатуральность следует по пятам. Теперь Бог *требует*, а не помогает, не подает совета и не служит, по сути дела, лишь наименованием любых проявлений вдохновенного мужества и доверия к самим себе... И *мораль* перестала быть выражением условий, в которых произрастает и живет народ, мораль перестала быть глубочайшим жизненным инстинктом и сделалась абстрактной — противоположностью жизни... Мораль — принципиальное ухудшение фантазии, «дурной взгляд», коснувшийся вещей мира. Что такое иудейская, что такое христианская мораль? Это Случай, у которого отнята невинность, это Несчастье, замаранное понятием «греха», это благополучие, понятое как опасность и «искушение», это физиологическое недомогание, отравленное гложущей совестью...

Характеризуя в «Ессе Номо» свою прелюдию к философии будущего — «По ту сторону добра и зла», — Ницше писал, что это — *критика современности*, отказ от общепринятого, вызов науке.

Утонченность в форме, в замысле, в искусстве *молчать* стоит здесь на первом месте, психология трактуется с намеренной твердостью и жесткостью — эта книга отклоняет всякое добродушное слово. На всем этом можно отдохнуть, впрочем, кто угадает, *какого* рода отдых нужен после такой траты доброты, как у Заратустры?.. Говоря теоретически — пусть послушают, ибо я редко говорю как теолог, — сам Бог лег в конце своего трудового дня под древо познания: так отдыхал он от своего бытия, как бытия Бога... Он сделал все слишком прекрасным... Дьявол есть только праздность Бога в каждый седьмой день...

Традиционная мораль — только камуфляж, в нее одевается средний человек, чтобы стать «ручным», покорным, манипулируемым, бессильным. Она не выстрадана, глубоко не пережита, поверхностна, труслива, лжива своей благоразумностью.

Традиционная мораль закоснела, догматизировалась, а там, «где правит традиция, нет никакой нравственности»: традиция требует подчинения, традиция подавляет молодое, традиция омертвляет жизнь. Это, собственно, и есть ключ к пониманию имморализма.

«Моральность есть стадный инстинкт в отдельном человеке». Ницше признает существование восходящего к стае «инстинкта общности», но считает опасной подмену естественного объединения людей их дрессировкой.

В. Б. Кучевский:

Моральные императивы Ницше называет стадными инстинктами еще и потому, что они действуют в жизни индивидов с такой же непреложной необходимостью, что и физиологические инстинкты, и к тому же в сознании людей не могут получить логического оправдания, в связи с чем всегда остаются за порогом сознания, т. е. строятся на бессознательности. И в этом заключается их достоинство, так как именно они обеспечивают целостность стада на основе проявления его воли, а не на основе произвольных волевых действий индивидов. Поэтому моральное воспитание всегда было направлено на то, чтобы нравственные ценности, установленные общиной в виде благих целей и прекрасных средств, приобретали в психике людей прочность инстинкта.

Здесь к месту будет сказать, что стадные инстинкты позже Фрейдом будут названы сферой подсознательного («Сверх-Я»), а физиологические — сферой бессознательного («Оно»).

В морали как стадном инстинкте прежде всего находят выражение потребности общины, а не отдельно взятого человека. Поэтому «моральные ценности только кажущиеся ценности — в сравнении с физиологическими». Мораль служит средством подчинения и интеграции в состав стада изолированных и самостоятельно существующих индивидов. Выполняя нормы морали, каждый человек тем самым вынужден отказываться от своей автономии и становиться подчиненным элементом целого. «Моралью каждый побуждается быть функцией стада». «Быть моральным...

значит оказывать повиновение издревле установленному закону или обычаю».

Вместе с тем нравственные правила выражают в себе степень опасности, среди которой отдельная личность живет сама с собой. В этом аспекте можно утверждать, что матерью морали является боязнь. Уничтожение причины боязни, т. е. опасности, привело бы к уничтожению морали.

Мораль как инстинкт стада, находясь за порогом сознания, тем самым как бы выпадает из состава возможных предметов познавательного интереса. При этом оказывается, что заниматься разумным осмыслением морали труднее всего людям, обладающим бóльшим духовным богатством и независимым, самостоятельным интеллектом. Такие люди в процессе рационального анализа морали невольно попадают в положение критиков нравственных устоев общества, поскольку в ходе такого анализа они вырабатывают собственные интерпретации морали, которые имеют неморальное происхождение. Общество же, признавая существование морали самой по себе, не может не отвергать любые интерпретации последней.

Не соглашаясь с таким положением дел, Ницше заявляет: «Мое основное положение: нет моральных явлений, а есть только моральная интерпретация этих явлений». Этим он отвергает признание наличия в морали каких-либо раз навсегда заданных и объективных абсолютов и открывает себе путь для критической оценки существующей в Европе морали.

В. П. Преображенский:

Всеобщие и необходимые истины — это такие истины, которых многие вовсе не знают и которые большей частью никому не нужны... Во всех спорах о нравственном и безнравственном забывается одно, что нет *аксиом воли*, иначе говоря, что в основании человеческой деятельности и всяких нравственных идеалов лежат не логические истины, а коренные влечения человека. Их можно развивать, переделывать или истреблять путем личного и исторического воспитания, но нельзя логически доказывать или опровергать. Жизненность и практическое влияние игравших историческую роль нравственных систем основывались, конечно, не на логической состоятельности и строгом проведении их отвлеченных начал, а на притягательности тех живых типов идеального человека, которые безотчетно выражались и описывались в этих системах. А эти типы — создания воли, а не построения разума, и нравственность — такое же *творчество*, как искусство. Всякое убеждение логическими средствами бывает здесь только призраком, заслоняющим собою незаметно подкрадывающееся *внушение*; а, следовательно, всякое *обоснование нравственности* оказывается в конце концов только скрытой *проповедью* морали.

Пафос Ницше направлен против пошлости, филистерства эврименов и минитменов — пруфроков, иллиджей, людей со спокойной совестью, равно готовых к бездумной молитве и строительству концлагерей. Духовный застой, лицемерие, ханжество («Добродетель значит — тихо сидеть в болоте...») гораздо

опасней, чем представлялось самым передовым умам, безликость — прямой путь к омассовлению, утрате воли, «грядущему хаму»¹. Вот почему ключевая идея имморализма Ницше, выраженная в «По ту сторону добра и зла»: «Уметь с о х р а н и т ь с е б я: это высшая проба независимости».

Не сюсюкать о морали, творя подлости, но быть собой, сохранить себя, жить активной жизнью, преодолеть в себе пошлость и подлость — это-то и есть содержание ницшеанской «воли к власти», воли властвовать над собой.

Сила морали — в творчестве человека! Добро — это мощь творческого начала. Творить добро — творить ценности. Кстати, спорный с первого взгляда тезис Ницше, декларирующий «любовь к дальнему», можно интерпретировать как возвышение творческого начала в человеке. «Ближние» — это средние, такие как все. «Дальние» — это высокие, подающие пример, творящие. «Ближние», говорит сам Ницше, подобны часам с ежедневным заводом: они делают свой тик-так и хотят, чтобы тик-так назывался добродетелью. «Дальние» — это грядущие, «страна детей», к которой он устремляет свои помыслы, которую постоянно взыскует.

Главное, что Ницше не приемлет в традиционной морали, — это ее тотальность, универсальность, всеобщность, общеобязательность, навязанность, неукорененность. «Мораль рабов», как и рабский труд, «не заинтересованы», поверхностны, эфемерны. Сегодня соборные неистовые поклоны в пол головы, завтра — колокола с церковью долой.

«Теоретическое» обоснование безусловности категорического императива связано с внеприродностью этики: «Нет моральных феноменов, но лишь моральное истолкование феноменов»:

...Во всем развитии морали не встречается истины: все понятийные элементы... суть фикции, все — психологика... обманки... все эти формы логики, которые формулируются в этом царстве лжи, софизмы.

Требовать от человека «моральности» в традиционном смысле «означает отнимать у бытия его величественный характер, означает кастрировать человека и сводить все к нищей китайщине».

Что справедливо для одного, вовсе не может быть справедливым и для другого; требование однообразной морали для всех — ведет ко вреду для людей высшего порядка; существуют градации между людьми и, следовательно, между видами нравственности.

Фактически Ницше озвучил то, о чем умалчивали другие, назвал своими словами скрываемое пророками и поэтами. Разве вся Европа в лице своих величайших представителей не пела гимны Наполеону? Разве стрелецкие казни и другие непотребства воспрепятствовали Пушкину канонизировать Петра в «Медном всаднике» и «Полтаве»? Разве по сей день толпы с красными стя-

¹ Вполне возможно, что «грядущий хам» Д. Мережковского — реминисценция на тему Ницше.

гами не носят портреты Сталина и Мао? Что пред всем этим жалкий Борджиа, которого не могут простить Ницше?

А. И. Патрушев:

То, против чего протестовал Ницше, — это идея долга в морали. Она не может быть не чем иным, как принуждением, обязанностью. А так как моральное принуждение исходит из собственного «я», то психологически оно более чувствительно, нежели принуждение внешнее. Потому-то Ницше так восставал против морального принуждения, основанного на страхе наказания, общественного осуждения либо на расчете на награду:

«Вы любите вашу добродетель, как мать любит свое дитя; но когда же слышано было, чтобы мать хотела платы за свою любовь?..

Пусть ваша добродетель будет вашим Само, а не чем-то посторонним, кожей, покровом — вот истина из основы вашей души, вы, добродетельные!..

Пусть ваше Само отразится в поступке, как мать отражается в ребенке, — таково должно быть ваше слово о добродетели!»

Разве отсюда не ясно, что Ницше настаивал на воспитании таких моральных качеств, когда должное будет одновременно и желаемым, когда моральные установки превратятся в индивидуальные потребности, когда исчезнет чувство тягостной принудительности моральных норм и законов?

Ницше поставил перед человеком труднейшую дилемму: мораль или свобода, ибо традиционная мораль, окружившая человека колючей проволокой запретов, могла утвердиться лишь на основе принудительности. Выбор Ницше был в пользу свободы, но не столько свободы от морали, сколько свободы для морали, новой и истинно свободной.

Поскольку стержень христианской этики — долг, беспрекословное должествование и подчинение, для их поддержания необходима столь же абсолютная санкция — высший авторитет и судья, Бог. Без Бога насильственная мораль трещит по всем швам. «Тот свет», ад и рай, непоколебимая вера во все это, страх перед наказанием — вот основные мотивы принудительного морального поведения людей. Опора морали — вера в «иной мир», в богоизбранность и богоотверженность, в воздаяние, искупление, в возможность торговой сделки между грозным Богом и падшим человеком.

Кому выгодна христианская мораль, кому она служит? Собачьей породе людей, — отвечает Ницше, — среднему человеку массы, плебейам, неудачникам, изгоям, обездоленным, униженным и оскорбленным, всем тем, кому она что-то обещает, кому она сулит незаработанный входной билет в рай. «Упадочные люди» черпают в такой псевдоморали отсутствующую уверенность в себе. Она дает шанс несостоятельным и ограничивает уникальных. Она необходима посредственности, дабы восторжествовать над даровитым. С ее помощью количество берет верх над качеством.

Чтобы стряхнуть с себя глухое недовольство и ощущение слабости, слабые инстинктивно стремятся друг к другу и к стадной организации

своей жизни. Посредством морального суждения слабые и посредственные во все времена стремились сделать более сильных слабее и низвести их к своему уровню. Более могущественные, мудрые и плодотворные в стаде воспринимались «как нечто ему враждебное и вредное». И это не могло не привести в конечном итоге к вырождению и саморазрушению «высших натур». В силу этого христианская мораль выражает в себе не что иное, как инстинкт упадка, деградации и неверия в жизнь и является по своей сути «болезнью европейцев», причинившей и причиняющей им до сих пор огромный вред и делающей из них «возвышенных вырожденков».

С помощью традиционной морали, поощряющей инстинкт стада, масса угнетает Личность, покушается на ее свободу, заставляет ее жертвовать персональным началом ради расплывчатого будущего. Повиновение оказывается высшей добродетелью, неповиновение — злом.

Выполняя одинаковые для всех нормы нравственности, человек оказывается в своем поведении запрограммированным на определенный стандарт и образ действия, что нивелирует его индивидуальность, ибо не позволяет ему проявить «прекраснейшие случайности своей души». Долг заставляет человека работать, думать, чувствовать без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без удовольствия, т. е. автоматически. Это ведет к обеднению личности, к ее самоотказу и отрицанию ее уникальности.

Личность имеет значение в морали не сама по себе, но лишь постольку, поскольку она находится в согласии с целым, ему подчиняется и действует в интересах целого. Добродетельный человек, бездумно подчиняясь моральному долгу, получает свою ценность благодаря тому, что он отвечает в той или иной мере известной, общепризнанной и выработанной раз навсегда схеме идеального человека. В силу этого он уже не может представлять собой личность. Мораль унижает и губит человека. По мнению Ницше, «моральный человек представляет собой низший и более слабый вид сравнительно с безнравственным».

«Безнравственный» здесь следует понимать не в смысле «аморальный», но в смысле отказавшийся от личностного начала, утративший «самость». Общая мораль вынуждает человека отказаться от выбора, воли, самостоятельности, собственных жизненных целей.

Говоря на современном языке, то, к чему мы сегодня пришли под влиянием насквозь лицемерного «нравственного кодекса строителей коммунизма», — прямой итог предсказанной Ницше дегенерации, усиленной тоталитарным способом навязывания «морали рабов».

И остерегайся добрых и праведных! Они любят распинать тех, кто изобретает для себя свою собственную добродетель, — они ненавидят одинокого.

Остерегайся также святой простоты! Все для нее нечестиво, что не просто; она любит играть с огнем — костров.

Существующая мораль способствует омассовлению человека и учит его лжи и лицемерию. Мораль ставит человека в жесткую зависимость от общества и объявляет «хорошими» «лучших учеников» (по иронической терминологии Шварца). Существующая мораль «стадных животных» освобождает индивида от личной ответственности и лишает его инициативы, одновременно подавляя инстинктивные движущие силы жизни. Традиционная мораль объявила порочными волю к могуществу, самостоятельность и независимость, индивидуальную инициативу, само становление. Человеческая зависимость, несвобода, подчинение были объявлены моральными, свобода самореализации — опасной.

Дефект традиционной морали Ницше видел в ее рассудочности, аналитичности, диалектичности. Целостная жизнь рассматривается в ней через призму противопоставленности истины и заблуждения, добра и зла, причины и следствия. «Да» и «нет» неприменимы к жизни, жизнь необходима во всех ее формах, анализ, дихотомия угрожают жизни, лишают ее жизненных сил, превращают мифологичность жизни в механистичность.

Добро не начало и конец всего, но лишь одно из множества проявлений жизни, не первое и не последнее.

Ницше отнюдь не противник истины, наоборот, именно исходя из правды жизни, он отвергает ложь и лицемерие «идеализма», «утопии», «социализма». Истина подвижна, но она прежде всего жизненна, болезненна, прямолинейна.

Самое понятие истины проникнуто у него аскетизмом, ибо истина для него то, что причиняет страдание, и ко всякой истине, приятной ему, он отнесся бы с недоверием. «Среди сил, взращенных и выпестованных моралью, — говорит он, — была также и правдивость; но правдивость в конце концов обращается против морали, вскрывает ее телеологию, *корыстность* всех ее оценок...» Таким образом, «иммoralизм» Ницше — это самоупражнение морали из побуждений правдивости, вызванное своеобразным избытком морали; это своего рода моральное роскошество, моральное расточительство, подтверждением чему служат слова Ницше о наследственных моральных богатствах, которые, сколько их ни тратить и ни разбрасывать, никогда не оскудевают.

Вот что кроется за всеми страшными словами и экзальтированными пророчествами о власти, насилии, жестокости, политическом вероломстве, за всем, чем наполнены его последние книги и во что так блистательно выродилось его положение о жизни как эстетически самооценной сущности, и о культуре, основанной на господстве инстинктов, не разъедаемой никакой рефлексией. «Весьма признателен», — с сарказмом ответил он однажды некоему присяжному критику, обвинявшему его в том, что он будто бы ратует за упразднение всех добропорядочных чувств, — непонимание глубоко задело его. Еще бы! Ведь побуждения его были самыми позитивными, самыми доброжелательными, он лелеял мечту об ином, более возвышенном и мудром, более гордом и прекрасном человечестве.

Главные претензии Ницше к христианской морали — фарисейство, лицемерие и стадность. Раз нет всеобщей цели, не может быть и общего пути: догматическая, тотальная мораль приучает личность к стадным чувствам. К тому же история этической мысли — вечное изменение и обновление этических норм.

Фарисейство христианской морали Ницше демонстрирует на примерах понятий сострадания и альтруизма. Акт сострадания неизбежно содержит в себе, во-первых, самоутверждение, во-вторых, удовольствие, в-третьих, лицемерие. В сострадании наличествует преувеличенное, наигранное сочувствие, несоизмеримое с глубиной боли страждущего. Акт помощи является источником удовольствия, льстит тщеславию или разгоняет скуку. Сострадание совлекает с чужого страдания все то, что в нем есть личного, особенного, — в этом оскорбительность благодеяния: благодетель, симулирующий сочувствие, оскорбляет и унижает достоинство страждущего более, чем враг. Сострадание, не ставшее проникновением в чужое страдание, суть простое *удвоение страдания*.

Человек в принципе неспособен брать все горести мира на себя. Если бы он следовал категорическому императиву «ощущать страдания ближнего так, как он сам их ощущает», то, учитывая бесконечность мирового страдания и всеобщность смерти, человек не смог бы выдержать жизни даже самое короткое время.

Альтруизм, сострадание в глубине своей содержат отрицание движущих сил жизни — борьбы за существование, конкуренции, воли к жизни. Сострадание не уменьшает количество страданий, но множит их, плодит неудачников, понижает жизненную энергию и жизнестойкость, продлевает боль, вообще придает жизни мрачный и сомнительный характер¹. Генетическое вырождение человечества — итог «добродеяний»... Суровая правда: жизнь не может существовать, не поедая жизнь. «Я называю испорченным всякое животное, род или индивид, когда он избирает то, что для него вредно». Сохранение жизни — это рост ее могущества. Жизни служит то, что это могущество наращивает. Можно сколько угодно разглагольствовать об альтруизме, без эгоизма жизнь идет к своему концу. Эгоизм — не зло, но движущая сила жизни, главная причина общественного здоровья и общественного богатства, принцип сохранения рода. К тому же альтруизм и забота о человеке или народе чаще всего служат сокрытию сверхкорыстных и сверхэгоистических целей «радетелей человечества». Идеалы — покрывало, скрывающее истинные намерения. Некрофилу необходима защита от самого себя — тут-то и возникает «счастье всего человечества» или «спасение моего народа».

Хотя Ницше не мог знать масштабы того зла, которое принесут человечеству «великие идеи» в XX веке, он категорически отвергал прекрасноту и связанную с ним филантропию: «Вы хотите по возможности уничтожить страдания, — и как безумно это «по возможности», а мы, напротив, предпочитаем, чтобы они были сильнее и хуже, чем когда бы то ни было. Благополучие... — это конец.

¹ Возможно, это имел в виду Платон, когда тоже требовал искоренения сострадания.

Это — то состояние, которое делает человека смешным, достойным презрения... Школа страдания, великого страдания, разве вы не знаете, что только эта школа и создавала доселе всякое величие человека? Изобретательность, выносливость, мужество, всё, что есть в нашей душе таинственного и глубокого, наш ум и хитрость, всё это воспитывается страданием, несчастьем и опасностями».

Называя старую этику «моралью стадных животных», Ницше провидел поглощение личности обществом, грядущую эпоху тоталитаризма, чреватую полным истощением жизненных сил сообществ, для которых «великие идеалы» заменят суровую правду жизни, но не спасут их от этой правды, спрятанной в подполье.

«Моральный кодекс строителей коммунизма» и то, что из него последовало, не лучшее ли свидетельство проницательности «антигуманиста»?

Самые высокие идеалы человечества становятся опасными, превращаясь в догмы. Как бы предвидя эволюцию гуманизма в бесчеловечность (я имею в виду коммунистическую практику), Ницше обвинил учителей человечества в экспансионизме — присвоении безусловного права на истину: «Для того, чтобы делать мораль, нужно обладать безусловной волей к противоположному», иными словами: внушать собственные идеи другим — узурпировать их право на собственные.

Кстати, имморализм Ницше отнюдь не означал отказа от традиционных форм морали — лишь отказ от морального принуждения, насилия, властного навязывания общих догм:

Я объявил войну малокровному христианскому идеалу не в намерении его уничтожить... Продолжение христианских идеалов относится к числу наиболее желательных вещей среди тех, которые имеются.

Мы — имморалисты и атеисты, но мы поддерживаем религию и мораль стадного инстинкта: дело в том, что с их помощью подготавливается такая порода людей, которая когда-нибудь да попадет в наши руки.

...Эта книга для немногих — для тех, кто стал свободным, для кого нет запретов: шаг за шагом мы отвоевали право на все запретности.

Что такое свобода? То, что имеешь волю к собственной ответственности.

Х. Хаймзёт:

Ведущее ницшевское понятие о свободном духе и духовном освобождении есть выражение высочайшего личностного и экзистенциального этоса, одновременно свидетельствующее о пафосе серьезнейшей и весомой философской задачи, которую Ницше хотел решить, — проникнуть в самоуглубление индивида, в непонятную истину смысла жизни, в предназначение человека.

«По ту сторону добра и зла», как проницательно подметил Вяч. Иванов, это иная формулировка принципа святости, мистической свободы, не оставляющей свободы блаженным и подлинным мудрецам, дышащей силой неземной.

«По ту сторону добра и зла» — это признание божественности самой жизни, самоутверждения жизни, благословение жизни, восхищение ею, освящение ее. Необходимо не менять жизнь, не перестраивать ее, но брать такой, какова она есть, принимать ее от начала и до конца. Нормативности и императивности морали следует противопоставить обилие жизни, становление, движение.

Важнейшим элементом этики Ницше является свобода. Свобода — это мужественность, способность преодолевать величайшие препятствия, бесстрашие перед опасностью. «Мы должны преклоняться перед этой опасностью, так как она научает сознавать наши силы, добродетели и орудия обороны, наш ум, так как она принуждает нас быть сильными». Ибо свобода — это сила, стремление стать сильным, умение побеждать.

Главная добродетель Ницше — искренность, способность говорить правду, искать истину, где бы и какой бы она ни была.

Практичность философов сказывается в том, что они всегда знают, что должны доказать; и узнаются по сходству взглядов на «истины». «Ты не должен лгать», — на обыденном языке немцев значит: «Господин философ, остерегайся высказывать истину...»

«Чистая» и «нечистая совесть» — не случайно постоянные персонажи философской афористики Ницше. Совесть — главный атрибут нонконформиста. Совесть — вот высшая мораль человека, глубоко исповедующего принятый на себя корпус ценностей. Имморализм и есть совесть.

Понять Ницше — это правильно оценить иерархию его идеалов, среди которых, пожалуй, на первом месте стоят честь и честность.

Я не считаю, что честность в отношении себя была бы чем-то абсолютно высоким и чистым; но для меня она — как требование чистоты. Любой может быть тем, кем хочет, — гением или игроком — только начистоту!

Собственных кумиров Ницше, сверхчувствительный к фальши, выбирал отнюдь не среди «святош» или «отцов философии» — исключительно среди выстрадавших идеалы, аутсайдеров и изгоев. Видимо, пережив в детстве ужас, рожденный лицемерием кого-то из близких людей, одержимый комплексом правдивости, он предостерегал от опасности двойных стандартов, ханжества и моральной спеси:

Наша честность, мы — свободные души, и мы заботимся о том, чтобы она не стала нашим тщеславием, нашей спесью и нашей роскошью, нашей ограниченностью, нашей глупостью! Любая добродетель склоняется к глупости, любая глупость — к добродетели — позаботимся же о том, чтобы мы — из честности — не стали святошами и скучными!

Моральный поступок не возникает от морали, в основе морального действия лежит природное благородство. Нравственность требует аристократизма. «Никакая мораль невозможна без хорошего происхождения». У рабов

возможна только рабская мораль. Морали нельзя научиться — ее необходимо иметь в крови.

Справедливость также входит в «корпус» идеалов Ницше, но не справедливость уравнивания, а следование иерархии жизни, признание имманентного неравенства как движущей силы, как разности потенциалов, рождающей ток жизненного порыва.

И злой, и несчастный, и выдающийся человек должны иметь свою философию, свое доброе право, свое солнечное сияние!.. И моральная земля кругла! И на моральной земле есть антиподы. И антиподы имеют право на существование.

Что справедливо для одного, вовсе не может быть справедливым и для другого, требование однообразной морали для всех ведет ко вреду для людей высшего порядка.

Справедливость как функция власти, широко обозревающей все окрест, — она поднимается над мелочными перспективами добра и зла, стало быть, обладает куда более широким горизонтом *преимущества*, — намерение сохранить нечто такое, что *больше*, чем вот та или эта личность.

Справедливость как образ мысли созидающий, отбрасывающий излишки, уничтожающий, исходящий из оценок; *высший репрезентат са-мой жизни*.

Справедливость не тождественна добродетели, как жизнь не тождественна утопии доброхотов. Опасна «уравнительная» справедливость, лишаящая творческий инстинкт силы и мужества. Справедливость должна противостоять нивелляторству, оскопляющему и унижающему жизнь. Справедливость должна быть поставлена на службу творчеству как инструменту «воли к власти», созиданию, разнообразию, конкуренции, меритократии, «безумным идеям». Справедливость — это свобода, дух которой делает историю. Справедливость — это право стать великим, возможность «обновить мир», жить вопреки «правде всех».

М. Хайдеггер:

Ницше отнюдь не понимает справедливость как в первую очередь определение этической и юридической области. Напротив, он мыслит ее, исходя из бытия сущего в целом, то есть из воли к власти. Справедливо то, что сообразно правому. А что правое, определяется на основе того, что *есть* как сущее. Поэтому Ницше и говорит: «Право — воля к тому, чтобы увековечить данное соотношение сил. Предпосылка — удовлетворенность им. Все почтенное привлекается с тем, чтобы право выглядело как нечто вечное».

Ницше высоко ценил правдолюбие, «добросовестность мысли», интеллектуальное искание и связанный с ним пафос.

Ницше, считает Т. Карсон, никогда не был этическим релятивистом. Он страстно искал более высокие «внеморальные нормы для оценки норм мо-

ральных». Отвергая иудео-христианские нравственные ценности, он возродил в их трактовке древнегреческие традиции.

Он верил в спартанскую дисциплину и учил терпеть боль ради высокой цели. «Я оцениваю *силу воли*, — говорит он, — по количеству сопротивления, которое она может оказать, по количеству боли и пыток, которые она может вынести, и знаю, как обратить ее к ее собственной выгоде. Я не указываю на зло и боль существования пальцем укора, но, напротив, я питаю надежду, что жизнь может однажды стать еще более злой и еще более полной страданий, чем когда-либо».

Состраданию, этому эквиваленту деградации «воли к могуществу», Ницше противопоставляет страдание, самопреодоление, рост власти над самой собой, способность преодолевать болезнь и боль.

Ах, где в мире совершались большие безумства, чем у сострадательных? И что в мире причиняло бóльшие страдания, чем безумства сострадательных? Горе всем любящим, еще не достигшим такой высоты, которая выше сострадания их! Так говорил мне однажды дьявол: «Даже у Бога есть ад свой: это любовь его к людям». А недавно слышал я, как говорил он: «Бог умер, из-за сострадания к людям умер Бог».

Ницше не отказывается от любви к ближнему, но вкладывает в нее иное содержание: «Возлюби ближнего своего — это значит прежде всего: “Оставь ближнего своего в покое!”» Не отвергая традиционных ценностей, он считал их привилегией благородных: «Человек ведет себя произвольно благородно, когда он научился ничего не желать от людей и всегда давать им». Такая вот иммораль...

Ницше понимал «добро» как жизненность, силу жизни, разнообразие жизни, способность преодолевать препятствия, приспособленность, победу в конкурентной борьбе. Добро — всё, что служит жизни, зло — всё, что препятствует ей. Воля к могуществу — добро, потому что помогает человеку в «войне» с самим собой, в превосхождении себя самого. Враг не вне, а внутри нас, его-то и необходимо победить. Мир — довольство собой, успокоенность, прекраснодушие, фарисейство. Добро — правда жизни, реальные человеческие качества, торжество жизненного. Зло — упадок последнего.

Ницше отказывается не от морали вообще, а от той ее разновидности, которая учит человека лгать, лицемерить, поддерживать в человеке чувство виновности и греха, доводит человеческие страдания «до ужасающей жестокости и остроты». Современный человек — результат «вивисекции совести и тысячелетнего самостязания животного», плод «стадной совести». Быть моральным, по Ницше, означает: не лгать себе, оставаться собой, защищать свое «я», преодолеть «стадную совесть» и выработать «новую совесть» — персональный моральный выбор, личную моральную чуткость, умение слышать свою совесть и свой долг.

«Новая моральная добродетель» должна запретить «жизнеоблегчающую ложь», сделать человека свободным, отказаться от лицемерия и авторитетов, найти свой путь.

«Что говорит твоя совесть?» — «Ты должен стать тем, кто ты есть».

...Мы хотим стать тем, что мы в действительности из себя представляем, — новыми, обособленными, несравнимыми, законодателями для самих себя, творцами самих себя!

Что это означает? Это означает, что человек должен стать уникальным, неповторимым, самобытным, свободным, «утвердить над собой волю свою как закон»: «И быть самому себе — мстителем и судьей закона своего».

В. Б. Кучевский:

Эгоизм выступает главным пунктом в искусстве самосохранения личности и ее становления самой собою. Только в морали эгоизма личность приобретает сознание своей бесконечной ценности. Если альтруизм ведет к растворению личности в «другом "я"», то эгоизм — к сосредоточению личности в собственном «я». Самое существенное в человеке — это чувство «кто "я"?» и понимание того, кто этот другой в отношении ко мне. У людей, у которых «я» делается слабым и жидким, ослабляется сила великой любви. По мнению Ницше, «любовь есть выражение эгоизма».

Негативная оценка эгоизма выгодна и полезна не личности, а стаду. Эгоизм не есть зло. «Я, — пишет Ницше, — старался доказать прежде всего, что ничего иного кроме эгоизма, быть не может».

Всё, что направлено против эгоизма, направлено против жизни. Поэтому общество, подавляющее эгоизм, обречено на деградацию, вырождение, самоубийство.

Как и другие страсти человеческие, эгоизм инстинктивен, жизненно необходим, жизненно спасителен. «Боязливое самозашнуровывание» человека, обуздание инстинктивных порывов заповедями, о котором так пеклась христианская мораль, подавляло «великие источники силы», инстинкт жизни, интересы конкретного индивида и, в конечном итоге, общественное благосостояние, ибо сохранение и процветание рода возможно при условии свободной самореализации Личности: общественный альтруизм складывается из суммы персональных эгоизмов.

Когда примитивно-утопическая рассудочность, именуемая «сознательностью», объявляется высшим состоянием человека (рационализм), когда человеческое «я» становится жалким прислужником неопределенного «мы», тогда торжествует не благо, но деградация, упадок. Иммораль направлена именно на то, чтобы создать новые этические ценности, такие как свобода человеческих порывов, укрепление жизненных сил, приоритет «я» — все то, что предохраняет человечество от вырождения и дает мощный импульс развитию рода человеческого.

ЧТО ТАКОЕ ИММОРАЛЬ?

Мы должны освободиться от морали, чтобы суметь морально жить.

Ф. Ницше

— И кто должен быть творцом в добре и зле, поистине, тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности. Так принадлежит высшее зло к высшему благу: а это благо есть творческое.

Ф. Ницше

Решимости природный цвет хиреет под налетом мысли бледным.

У. Шекспир

Со времен греческих трагиков великие художники сознавали полноту жизни как непреодолимость борьбы, боли, страдания, смерти. Почти всё, что прямым текстом изложил Ницше в своей философии жизни, поэты изобразили в образах и символах: Эсхил, Софокл, Данте, Тассо, Шекспир, Мильтон, Донн, Драйден, Гонгора, Спанд, Гёте...

Вынесенные в эпиграф слова Гамлета — квинтэссенция мысли Ницше, но подобные слова можно обнаружить у любого большого поэта. Так что, отвергая имморализм Ницше, *наши* отвергали, в сущности, мировую культуру.

Т. Манн:

Потому что всё, в чем есть глубина, таит в себе зло. Глубочайшее зло несет в себе уже сама жизнь; жизнь не сказочка, придуманная моралью; она ничего не знает об «истине»; она зиждется на видимости, на художественном обмане; она глумится над добродетелью, ибо по самой сути своей жизнь есть беззаконие и притеснение, — и потому, — говорит Ницше, — бывает пессимизм силы, бывает интеллектуальное предрасположение к жестокому, ужасному, злему, к сомнению в истинности бытия, но проистекает это не от слабости, а от «полноты бытия», от «избытка жизненных сил».

В. Б. Кучевский:

Оценивая христиански-дуалистическое понимание соотношения добра и зла как «болезнь и идеологическую неестественность», Ницше считает,

что «как противоположности, добро и зло взаимно обуславливают друг друга». То и другое — это категории ценности, взаимно дополняющие друг друга. «Можно быть хорошим только тогда, когда умеешь быть и дурным, бываешь дурным потому, что иначе ты не сумел бы быть хорошим».

Становиться целиком на сторону хорошего и полностью отрицать дурное — значит фактически отвергать жизнь, поскольку в этом случае человеку начинают предъявляться требования, чтобы он вытравил в себе те инстинкты, которые побуждают его враждовать, гневаться, жаждать мести.

Однако в реальной жизни добро и зло — две стороны одной медали; в ней положительное и отрицательное существуют нераздельно. Так, война признается злом, но она тем не менее ведется и, как ни странно, именно людьми, считающимися добродетельными и «хорошими». То же можно сказать о любой власти, в природе которой заложена тенденция приносить пользу и в то же время способность вредить. И так дело обстоит везде, ибо «люди дали себе все добро и все зло свое».

Ницше считает, что мораль, в которой добро отрывается и резко противопоставляется злу, «становится отравительницей жизни». Именно поэтому нужна такая мораль, которая бы не третировала зло, более того, строилась бы на его признании в качестве моральной ценности и жизненной необходимости. Такой моралью у Ницше и предстает разработанная им мораль эгоизма (иммораль), в основе которой лежит тезис: «Зло есть лучшая сила человека» и в то же время «архитектор и пролагатель путей гуманности».

Главная этическая идея Ницше, выраженная им в «Заратустре», не в отделении зла от добра, но в их конкуренции, борьбе, движении: «Заратустра первый увидел в борьбе добра и зла истинное колесо в движении вещей...» История человечества — наглядное опровержение тезиса о «нравственном миропорядке». Заратустра — потому правдив, что его правда выше добродетели. Ему чужда трусость идеалиста, обращающегося в бегство перед реальностью. Либо истина, либо доброта, либо ложь оптимизма, либо правда жизни.

У меня будет серьезный повод доказать чрезмерно тревожные последствия *оптимизма*... для всей истории. Заратустра был первым, который понял, что оптимист есть такой же декадент, как и пессимист, а может быть, еще более вредный; он говорит: *«Добрые люди никогда не говорят правды. Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые; во лжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые все извратили и исказили до самого основания»*. К счастью, мир не построен на таких инстинктах, чтобы только добродушное, стадное животное находило в нем свое узкое счастье; требовать, чтобы всякий «добрый человек», всякое стадное животное было голубоглазо, доброжелательно, с «прекрасной душой» или, как хочет господин Герберт Спенсер, альтруистично, значило бы отнять у существования его *великий* характер, значило бы кастрировать человечество и низвести его к жалкой китайщине.

Созидает не доброта, созидает — жизнь. Созидает борьба, стремление к истине, какой бы она ни была, созидает творчество, воля, вызов, ответственность, дионисийский дух в человеке. Созидать в самоослеплении невозможно. Слепота — преступление против жизни. Противоестественность, нравственное прекраснотушение — преступление против истины. Отказ от движущих сил жизни — неизбежный ее упадок. Жизнь, мудрость жизни, ее здоровье, ее сохранение — в ее вечном движении, в ее эгоизме, в ее стремлении превзойти себя. Жизнь — это Бог, в противном случае остается только смерть...

Ницше полагал, что жестокость — одно из самых старых и самых неустранимых оснований культуры, что эгоизм — ее движущая сила, что конкуренция — ее пища и воздух. Аскетизм — уход от мира из стремления не иметь конкурентов.

Ницше одним из первых осознал не только шаткость противопоставления добра и зла, но и тонкость перегородки, отделяющей истину от лжи: «Отказаться от ложных суждений — значит отказаться от жизни». Дело даже не в том, что жизнь невозможна без лжи, дело в том, что считаемое ложным сегодня вполне может оказаться истинным завтра — не только в быту, политике, искусстве, этике, но и в естественных науках, даже математике. Фактически Ницше принадлежит основополагающая идея современной эпистемологии: «И кто хочет всё понять... тот должен на всё нападать».

Истину Ницше отождествляет с ножом, резекцией, гибелью: «Познать или погибнуть». Истина должна врезаться в старое тело подобно скальпелю, истина — удаление раковой опухоли стареющего тела, истина — боль. Искать новую истину — терзаться, страдать, мучиться, корчиться от боли, а не бесстрастно рассуждать. Открытие — всегда акт героизма, акт нонконформизма, акт противостояния. Открывать — всегда ниспровергать, вступать в борьбу, побеждать.

Любимая мысль Ницше-модерниста, Ницше-обновителя морали: всё новое встречается старым в штывки, всё новое опасно для открывателя, но трагедия его в том, что пути назад нет...

Дурная совесть есть лишь предыдущая ступень, а не противоположность чистой совести: ибо все хорошее было когда-то новым, стало быть, непривычным, противным нравам, безнравственным и грызло, как червь, сердце того счастливица, который открыл его впервые.

До сих пор, — рассказывает он, — хуже всего умели думать о добре и зле. Это всегда было слишком опасным делом. Совесть, доброе имя, ад, а подчас даже и полиция не позволяли и не позволяют здесь откровенности; в присутствии нравственности, как и в присутствии каждой власти, думать или разговаривать не разрешается: здесь нужно — *повиноваться*. С тех пор как стоит мир, ни одна власть еще добровольно не соглашалась стать предметом критического обсуждения; критиковать нравственность, принимать ее как проблему, как нечто проблематическое — разве это не значило самому стать безнравственным? Но нравственность располагает не только всякого рода устрашающими средствами, чтоб отпуги-

вать от себя беспощадную критику; ее сила и прочность еще больше коренятся в свойственном ей особом искусстве очаровывать людей: она умеет вдохновлять. Одного ее взгляда бывает достаточно, чтобы парализовать критическую волю, переманить ее на свою сторону, даже обратить ее против нее же самой, так что критик, подобно скорпиону, впивается жалом в свое собственное тело. С древнейших времен нравственность владела всеми средствами искусства убеждения: нет таких ораторов, которые не обращались бы к ее помощи. С тех пор как на земле говорят и убеждают, нравственность всегда оказывалась величайшей соблазнительницей — и, что касается нас, философов, она была для нас истинной Цирцеей.

Дело не в том, что добро, сострадание, любовь «не спасают», дело в том, что «слова» не защищают от реальности, от правды человеческого существования. Нужно опираться на действительность, а не уповать на «идеалы»: «Нам смешны претензии человека отыскать ценности, которые превосходили бы ценность реального мира». Реальный мир суров и нередко безжалостен — к этому следует готовить человека, дабы не сделать его несчастным. Действительность всегда предшествует идеализму. Ницше оправдывал не добро, но — жизнь...

*Ужель найдется тот, кто даст тебе право?
Так осмелюсь и право возьми!*

Этика Ницше не противостоит великодушию, состраданию, добру, любви, но испытывает их на прочность, проверяет, что кроется за ними у таких доброхотов и проповедников, как иезуиты, профессиональные моралисты, церковники, гуманисты, патриоты, поборники справедливости и вселенской любви. «Найдите же мне любовь, которая не только всё наказание, но и *вину* несет на себе; найдите мне справедливость, оправдывающую всех, кроме судей». «Те, кто до сих пор больше всего любили человека, всегда причиняли ему наисильнейшую боль; подобно всем людям, они требовали от него невозможного».

Л. Шестов:

...Если он [Ницше] отказался учить людей любви и состраданию, то лишь потому, что понял своим тяжелым опытом, что любовь и сострадание ничего принести не могут и что задача философа в ином: не пропагандировать любовь к ближнему и сострадание, а *справиться с этими чувствами, ответить на вопросы, которые они задают*. «Горе тем любящим, у которых нет ничего *выше* сострадания», — восклицает Заратустра, — и в этом разгадка того, что называют «жестокостью» Ницше.

Ницше не борется с состраданием (о себе самом говорит, что «задыхается от сострадания»), но ищет более действенные средства поддержания жизни, говорит о недостатке сострадания для ее поддержания, ищет то, что выше сострадания (то есть не выпадает из ряда моралистов, но в известном смысле ведет себя как сверхморалист).

Л. Шестов:

Традиционная, приспособившаяся к среднему человеку нравственность оскорбляла Ницше своим высокомерным отношением к людям, своей готовностью клеймить всех, кто хоть притворно не отдает ей дани уважения. Ей приходилось чуть ли не весь мир, всех людей объявлять дурными, и она соглашалась на это, лишь бы не поступиться своими правами на первенство. Ницше ищет такой справедливости, которая бы не наказание, т. е. не материальные невзгоды несла на себе, а вину. Что, собственно, кроется под этими словами, если не комментарий к евангельской притче о фарисее и мытаре? Ибо всякий нравственно осуждающий, всякий слагающий вину на ближнего обязательно говорит про себя: «Благодарю тебя, Господи, но я не таков, как этот мытарь». А вот еще слова Заратустры по этому поводу: «Наслаждение и невинность — стыдливейшие вещи. Они не хотят, чтобы их искали. Их должно иметь — но искать их должно скорее *вины* и страдания». Это ли речи Антихриста?

Будучи в собственной жизни по любым меркам глубоко нравственным человеком, Ницше лучше многих учителей человечества понимал «цену» этичности: «Ни за что так дорого человек не расплачивается, как за свои добродетели». Если хотите, имморализм Ницше гораздо моральней «нравственности» Толстого в перспективе личного опыта того и другого. Оба не следовали тому, чему учили, но, согласитесь, есть злая ирония в том, что имморалист всеми близкими людьми характеризовался как эталон нравственности, а проповедник морали даже после арзамасского ужаса подставленной под удар щеке предпочитал лично не подставляться...

Сравнивая Ницше и Толстого, Лев Шестов писал, что Ницше гораздо благочестивей, ибо Толстой жил вопреки тому, чему учил, а Ницше никогда не нарушал заповедей Христа в личной жизни.

Величайший гуманист нашего времени Альберт Швейцер, причисляя Ницше к первому ряду моралистов человечества, видел его заслугу в создании этики самосовершенствования, высшей морали жизнеутверждения.

Его никогда не забудут те, кто испытал всю силу воздействия его идей, когда его страстные творения, как весенний ветер, налетели с высоких гор в долины философии уходящего XIX века, ибо они останутся всегда благодарны этому мыслителю, проповедовавшему истину и веру в личность.

Высшую этику жизнеутверждения Ницше обосновывал как развитие воли к могуществу, высшей духовности. «Отправляясь от этического начала, содержащегося в жизнеутверждении, он возводит само это жизнеутверждение в этику».

Принято отождествлять ницшеанство с культом жестокости и бессердечия. Послушаем самого Ницше:

Люди, способные на жестокость, в наше время являются, в сущности, людьми прежних культурных ступеней. Это люди отсталые; мозг их, вследствие всевозможных случайностей наследственности, развился не так тонко и многосторонне.

В «Человеческом, слишком человеческом» Ницше усматривал человеческое достоинство в победе над животным прошлым, ослаблении инстинктивного. Позже Ницше изменил свою точку зрения, но ведь изменилось и состояние его здоровья. Многие из сказанного им в последние годы жизни разума несло на себе отпечаток прогрессирующей мозговой болезни.

Три базисных идеи имморали Ницше: наличие негативной моральной ценности, неразрывность добра и зла, производность морали от воли к жизни.

Традиционная мораль резко разграничивала и противопоставляла добро и зло, в категорической форме требовала следовать первому и избегать второго. Добро морально, зло аморально. Добродетели — хорошо, пороки — плохо. Почему дело обстоит именно так, не подлежит обсуждению. «Переоценка всех ценностей» не могла пройти мимо главной этической проблемы. Действительно ли зло не является этической ценностью? Правда ли, что оно вредит жизни? Насколько в реальном человеческом существовании зло несовместимо с добром? Ответ Ницше: «Злые влечения целесообразны, родохранительны и необходимы не в меньшей степени, чем добрые, — лишь функция их различна». Зло вообще не является антитезой добра: они взаимообратимы, внутренне взаимосвязаны, по-разному представимы с разных позиций. Дело даже не в том, что без зла нет добра, но в том, что доброе в одном месте расценивается как злое в другом. Более того, полярная или дуальная этика деформирует мир человека, вынуждает делить его на друзей и врагов, искать правду и ложь, «переполняет до краев всем, что ему ненавистно, против чего необходима вечная борьба». Такого рода «святоша» кончает тем, что «признает природу злою, человека — испорченным, а добродетель — милостью Божией, недоступной для человека».

Не следует отвергать зло, ибо тогда необходимо отвергать жизнь. Мораль, отрывающая зло от добра, противопоставляющая их, «отравляет жизнь». Почему отравляет? Потому что мораль требует правды, согласия с природой, полноты жизни, в корпус которой в качестве необходимого элемента входит эгоизм, зло, страдание, боль.

Будьте тверды, — говорит он своим ученикам, — чтобы уметь вынести страшный вид жизни, уничтожающей всякого сострадательного человека.

К тому же «зло» — критерий творчества. Как эстетическую ценность, его надо оберегать, «как оберегают «лес», дабы существовала культура».

Этика Ницше сродни бодлеровским «Цветам Зла»: полное обнажение жизни, отказ от фиктивных ценностей цивилизации, осознание глубинной природы возникновения «нечистой совести», антиутопия. Ницше одним из первых понял, что сдерживание свободы человека оборачивает его инстинкты вспять, то есть против самого человека.

Томас Манн считал заблуждением трактовку жизни и морали как несовместимых противоположностей, видя в этике опору жизни. Но ведь имморализм — не отвержение морали как таковой, категорическим императивом имморализма являлась жизненная мораль, мораль, укрепляющая жизнь, а не подрывающая ее основы.

Т. Манн:

«Место, занимаемое человеком на *иерархической лестнице*, определяется теми страданиями, которые он может вынести». Антиморалист так не скажет. И когда Ницше пишет: «Если говорить о страданиях и воздержанности, то жизнь моя в последние годы ничем не уступит жизни аскетов прежних времен», — в словах этих нет ничего похожего на антиморализм. Нет, он не ищет сострадания, он говорит с гордостью: «Я хочу муки, и такой тяжкой, какая только может выпасть на долю человека». И мука стала его добровольным уделом, тяжкая мука страстотерпца-святого, ибо шопенгауэровский святой по существу всегда оставался для него высочайшим образцом человеческого поведения, и именно его жизненный путь Ницше воплотил в своем идеале «героической жизни». Что отличает святого? Святой никогда не делает того, что ему приятно, но делает всегда то, что ему неприятно. Именно так и жил Ницше. «Лишить себя всего, что считаешь, лишить себя самой возможности что бы то ни было почитать... Ты должен стать господином над самим собой, господином над своими добродетелями». Это и есть тот «прыжок выше своей головы», то сальто, самое трудное из всех, о котором когда-то говорил Новалис... Для Ницше сальто Новалиса — это кровавое самоистязание, покаянное умерщвление плоти, морализм.

Имморализм — не «освобождение от морали», но соответствие этических установлений правде жизни, ее разнообразию, ее иерархии, ее множественности. «Что справедливо для одного, то несправедливо для другого». «Нужно принудить мораль прежде всего преклониться перед табелью о рангах». Невозможна единая мораль для всех. В идеале: сколько людей, столько этик. И еще: иммораль — это верность себе, правда о себе, открытие себя: «Вас назовут истребителями морали, но вы лишь открыватели самих себя».

Ницше затронул проблему двойной морали — господ и рабов. Но сколь извращен его взгляд в расхожих представлениях, постоянно подпитываемых теми, кто не удосужился вдуматься в эту проблему или просто не в состоянии этого сделать!

Ведь Ницше никоим образом не пропагандировал идею о том, что для власть имущих должна быть одна мораль, а для подчиненных масс — другая. Он просто констатировал это как реальный факт, но сам писал о другом — о двух типах одной морали, существующих «даже в одном и том же человеке, в одной душе». Различия этих типов определяются различием моральных ценностей. Для морали господ характерна высокая степень самоуважения, возвышенное, гордое состояние души, ради которого мож-

но пожертвовать и богатством, и самой жизнью. Мораль рабов, напротив, есть мораль полезности. Малодушный, мелочный, унижающийся человек, с покорностью выносящий дурное обхождение ради своей выгоды, — вот представитель морали рабов, на какой бы высокой ступени социальной лестницы он ни находился. Рабская мораль жаждет мелкого счастья и наслаждения; строгость и суровость по отношению к самому себе — основа морали господ.

Ницшеанская мораль господ и мораль рабов, если убрать пышную фразеологию и громкую фразу, это мораль свободных и стадных людей, мораль жизненной силы и жизненной слабости, мораль смелости и трусости, мораль правды и мораль лжи. Добро и зло — атрибуты морали рабов, спасающихся от тягот жизни такого рода дихотомиями. Восстание рабов против господ — попытка навязать жизни мораль слабости, пользы, стадных инстинктов. Если такое восстание одерживает победу, общество коллапсирует в результате застоя, лицемерия, лжи. Общество, в котором возобладает марксизм, обречено, — этого нет у Ницше, но это главный вывод его этики.

«Господа» и «рабы» — символы Ницше, отнюдь не означающие прямолинейное деление человечества на две касты. «Господа» и «рабы» — компоненты человеческого: «В человеке есть тварь и творец; в нем есть материя, нечто недоделанное, излишество, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть также творец, ваятель, твердость молота, божественность созерцания и седьмой день отдохновения; понимаете ли вы эту противоположность?» Не господа или рабы возьмут верх, но тварное или творческое, падение или полет. «Мораль силы» — отнюдь не мораль насилия, как часто интерпретируют Ницше и как по временам он дает основание себя интерпретировать, но мораль могущества жизни, воли к жизни, силы сопротивления: «Я ценю человека по количеству его могущества и по полноте его воли». Высшая ценность человека — его жизненность, стойкость, душевное здоровье, новаторство, на которое он способен. Как и Достоевский, Ницше высоко ценил каторжников, изображенных в «Записках из мертвого дома» даровитыми, стойкими и сильными людьми. Когда Заратустра призывает человека стать лучше и злее, это не есть воспевание зла — это осанна жизненности.

Мораль высших людей — это полная и всесторонняя реализация всех потенций их жизни с целью утверждения их уникального «я».

Основополагающая этическая идея Ницше — персональность морали: не давать моральные указания другим, а находить свою линию. *«Помогай себе сам: тогда поможет тебе каждый. Принцип любви к ближнему».*

По словам первого русского ницшеанца В. Преображенского, главный этический критерий — качество жизни: *«Относительная ценность нравственности измеряется упадком или взлетом жизни».*

Главное отличие имморализма от морали — любовь к нетривиальному, необычному, нетрадиционному, к тому, во что ты веришь сам. Нельзя любить ско-

пом — вот что такое имморализм. Доброжелательность, терпимость, справедливость, безропотность — да! Но не по отношению к конформизму, протезизму, тоталитаризму, а — к неизведанному, неизбитому, неисхоженному, персональному. Иммораль как экзистенциальная разновидность морали.

Имморализм — не рассудочная, абстрактная проповедь, не холодное исповедание, а новая выстраданная форма морали, самопожертвование во имя ее: «...Как истинно верующий человек, он не только в поступках своих, но даже в мыслях не изменял своей святыне...».

Понять имморализм творца «Заратустры» невозможно без осознания глубочайшей личности нравственности, без страстной выстраданности новых этических идей. Имморализм Ницше и есть плод его страдальческой жизни, выношенный так, как женщины вынашивают «тяжелых» детей.

Нужно было — однажды и навсегда — отнестись к двум с половиной тысячелетиям европейской морали как к сугубо личной проблеме, т. е. воспринимать их с такой страстью и заинтересованностью, которая могла бы посоперничать с самыми яркими образцами эротической неисцелимости (недаром на страницах «Утренней зари» фигурирует опаснейший образ «Дон Жуана познания»), нужно было во всех отношениях отказаться от личной жизни и стать завсегдаем духовной истории, неким обывателем платоновского «умного места», нужно было, таким образом, перевернуть норму жизни и годами навывлет жить в том, в чем по профессиональному обыкновению живут считанными часами, — стало быть, отождествить всю европейскую историю с личной биографией, чтобы все прочее свершилось уже само по себе.

Понять имморализм Ницше — это, прежде всего, глубоко осознать признание самого творца новой этики, сказавшего, что проблема нравственности — его личный вопрос, что с ней связана его судьба.

Впервые и громогласно Ницше поставил вопрос о *проблематичности* нравственности, о нерешенности проблемы добра и зла:

То, что философы называли обоснованием морали и чего они требовали от себя, было только, в сущности, ученой формой доброй веры в господствующую мораль, иначе говоря, в конце концов, просто отрицанием того, что мораль может быть представлена в виде проблемы.

Заслуга Ницше не в «окончательном решении» этой проблемы, заслуга Ницше в декларации историчности нравственности и ее персонификации.

Л. Шестов:

И — что самое важное — своеобразное отношение Ницше к нравственности не являлось результатом отвлеченных рассуждений. Вопрос о значении нравственности разрешился не в голове Ницше и не путем умозаключений — а в глубоких тайниках его души и через мучительнейшие

переживания. И на этот раз, как почти всегда, — чтоб явилась новая истина, потребовалась новая Голгофа.

Имморализм Ницше — это отчаянный протест против человеческой бесчувственности, против спокойствия в страдающем мире, против тех «добрых» рабских душ, которые своим молчанием и поддержкой благословляют самые страшные дела, что творятся в нашем мире:

...Все они люди злобы, физиологически искалеченные, изъеденные червями люди; это огромное, дрожащее царство подземной мести, ненасытимое, неистощимое в вылазках против счастливых, а также в искусстве маскировать месть, отыскивать для нее предлоги. Но когда достигнут они своего последнего, высочайшего, величайшего триумфа? Несомненно, тогда, когда им удастся свое несчастье, всякое вообще несчастье в з в а л и т ь н а с о в е с т ь с ч а с т л и в ы х, так что эти последние в один прекрасный день начнут стыдиться своего счастья и станут говорить себе: стыдно быть счастливым, слишком много несчастья на земле.

Имморализм — это отказ от любых категорических императивов, приковывающих человека к средним, привычным жизненным нормам, годных для всех жизненных обстоятельств, для любых времен и любых людей. Еще — отказ от абсолютной уверенности, спокойствия, вечной гармонии и порядка, несвободы, определенности, безальтернативности, предписанности, постоянства как предиката совершенства.

Обрести «добро и справедливость» — это значит утратить их; вред «добрых» — самый вредный вред: «О, братья мои! Некто взглянул однажды в их сердце и сказал: они — фарисеи. Но его не поняли. Добрые и справедливые и не должны были понять его: их дух пленен их чистой совестью. Глупость добрых бездонно умна. Но истина в том: добрые должны быть фарисеями — у них нет выбора. Они должны распинать того, кто ищет собственной добродетели».

Для Ницше важны не истоки, а направленность морали, ее открытость будущему. Иммораль и есть такая открытость, новые и новые моральные ценности.

Имморализм — не «преодоление» нравственности, но анализ морали с позиции «над схваткой». Поскольку существует разная мораль (скажем, мораль рабов и мораль господ), поскольку мораль исторична, проблема морали не может быть рассмотрена с позиции человека, придерживающегося одной из ее форм. Имморализм — отправная позиция пересмотра устаревших моральных ценностей или переходная ступень между отжившей и зарождающейся моралью.

Ницше считает, что необходим выход за пределы прежних представлений об «истине, добре и красоте» для того, чтобы найти, создать «новые» ценности, «новую» истину, вырваться за пределы обветшавших и устаревших моральных норм в мир неких неморальных ценностей, трансцендентных по отношению к отжившим.

Если мораль плюральна, значит, она иерархична: ранг морали — это степень ее «истинности», ценности, важности для жизни. Моральная проблема — гносеологична, аксиологична, витальна, то есть производна от истины, ценности, жизненной силы.

Имморализм — не отказ от морали, а дальнейшее ее развитие: «Все, что мы делаем, — всего лишь моральность, только обратившаяся против своей прежней формы». В наших руках, развивает мысль Ницше, «высокий результат, достигнутый прежним человечеством — моральное чувство».

Имморализм — историческая необходимость, обращение морального чувства к подлинной сущности человека. В отличие от традиционной морали, противостоящей человеческой имманентности, имморализм суть способ свободной реализации внутренней природы в повседневной жизни людей, гармония должного и сущего. Имморализм призван устранить отчуждение и самоотчуждение личности в мире культуры.

Имморализм — расчистка европейской почвы от ханжества и лжи «добрых и праведных» для создания на месте категорического императива альтернатив, права на выбор, персональных решений с соответствующей ответственностью за эти решения, формирования касты «высших людей», мораль которых — полная и всесторонняя реализация всех потенций жизни с целью утверждения уникального «я».

Ницше всегда ставили в упрек «высших людей», «белокурых бестий», «художников насилия», активных борцов за бескомпромиссное насаждение морали эгоизма и т. п. Что скрыто за всеми этими символами? Почему Мифотворец видит в них спасителей рода человеческого? Мне кажется, ответ дан нашей 70-летней историей — результатами того, что вышло из глумления над непрерывно насилуемым «благом народа» или «братством» всех бедных. Ницше смотрел глубже и дальше всех нивелляторов, эгалитаристов и либертинов. Фактически имморализм — это разоблачение коммунизма до реализации его «морального кодекса», до построения «светлого будущего» и «рая на земле». «Христиане», по терминологии Ницше, это грядущие коммунисты с их идеями стадности, равенства, истребления «высших людей» (самых активных и дееспособных членов общества). Замените в текстах Ницше понятие «христиане» на понятие «коммунисты», сравните получившиеся предсказания с нашей славной реальностью, и вопросов не будет.

Почему во главу угла имморали Ницше ставит принцип эгоизма. Потому что эгоизм — принцип жизни, потому что общество, поставившее его себе на службу, придавшее ему цивилизованные и подзаконные формы, становится обществом процветания, а общество, презревшее правду жизни, — обществом деградации и упадка (то есть нашим обществом). Ницше признает, что эгоизм «живет всегда на средства другой жизни», что эгоизм эгоцентричен, но именно в этом его сила и необходимость.

Иммораль — это моралистический натурализм, этика утверждения жизни, декларация приоритета «я», объявление натуральных ценностей, чувства

самоутверждения, самостоятельности и неповторимости отдельного индивида первичными движущими силами становления. Общество, руководствующееся лицемерной и ханжеской моралью стада, обречено на упадок и тоталитаризм, общество, предоставляющее возможность наиболее полной реализации каждого, — на рост и процветание. Иными словами, старая мораль деморализует («благими намерениями устилает дорогу в ад»), иммораль активизирует и ведет к процветанию, ликвидирует фальшь, открывает неограниченные возможности развития.

Я совершенно не согласен с интерпретацией имморали как этики зла, антигуманизма, прямой противоположности христианской морали: во-первых, «по ту сторону добра и зла» означает глубинную связь добра и зла вместо их противопоставления; во-вторых, осознание опасности «благих намерений» констатировано самой христианской этикой. Ницше не выходил за пределы добра и зла, но демонстрировал те опасности, которые таит в себе примитивизация, диалектичность, рационализм.

Место антитез, противоположностей, полярности в этике Ницше заняла иерархия. Жизнь — не конкуренция добра и зла, но «переплетающаяся масса восходящих и нисходящих процессов». Основное условие «поддержания общества» и «всякого возвышения культуры» — социальное и иное неравенство, квантованное распределение воли к могуществу. Иерархия, неравенство — движущая сила жизни, ее разность потенциалов. Выравнивание, во-первых, невозможно и, во-вторых, смертельно опасно, чревато социальным коллапсом. Равенство — величайшая и опаснейшая ложь.

Имморализм Ницше — покров, наброшенный на тайну, тайну добра и зла, жизни и смерти. Если понимать Ницше так, как его должно понимать, т. е. поэтически, символически, то его учение действительно мало отличается от христианства. Увы, Ницше дал слишком много поводов понимать его буквально, тогда является его деформированный лик — беса, искусителя, врага человеческого.

Сталкиваясь с Ницше, обыкновенно идут совершенно другим путем: не так его изучают: не слушают его в себе самих; читая, не читают: обдумывают, куда бы его скорей запихать, в какую бы рубрику отнести его необычное слово; и — рубрика готова: только Ницше в ней вовсе не уместается. Обходя и исключая противоречия (весь Ницше извне — противоречие), не стараясь вскрыть основу этих противоречий или вскрывая ее не там, легко и просто обступают Ницше: и ветвистое дерево его системы глядит на нас, как плоская доска...

АНТИХРИСТИАНИН?

Моя первая благодарность принадлежит Ему, всем меня одарившему! Что, кроме горячей благодарности всего моего сердца, полного любовью, принесу я Ему? Этою чудною минутой моей жизни я также обязан Его благости. Да будет милость Его всегда со мною!

Ф. Ницше

При всей тенденциозности этих слов, принадлежащих выпускнику Пфорты, при всей кажущейся «нестыковке» с мировоззрением зрелого Ницше, вопреки ставшему притчей во языцех богоборчеству Ловца душ, я сознательно вынес в эпиграф мысль юного вундеркинда по причине назревшей необходимости «переоценки ценностей» — в данном случае общепринятого воззрения на атеизм Ницше.

НЕВЕДОМОМУ БОГУ

*И снова, чуть ослабеваю
В уединенном постоянстве,
К Тебе — блаженной цели странствий —
Я обращаюсь, уповая, —
К Тебе, которому во мраке
Души возвел я алтари:
Стоят — воззри! —
Молением об едином знаке.
На алтарях огнем-узором
Слова: Неведомому Богу.
В толпе язычников премногой
Он мне надеждой и укором.
Он мне порукою — пусть змеи
Меня повергли ниц в борьбе.
Воззвав к Тебе,
Из их объятий, уцелею.
Познать Тебя, Неуследимый,
Непостижимый и Загадочный,
Потусторонний, Дальний, Рядошный,
Неведомый и мой Родимый!
Познать, дабы служить Тебе!*

Вопреки расхожему мнению, вопреки высказываниям в «Антихристе», вопреки ожесточенной полемике с христианством, Ницше не только не был атеистом, но считал атеизм опасным симптомом грядущего нигилизма и омассовления, борьбе с которыми отдавался с болезненной страстью неопита:

То, что я рассказываю, — писал Ницше в предисловии к последнему незаконченному произведению, — это история ближайших двух столетий. Я описываю то, что грядет, что не может не прийти — восхождение нигилизма. Эту историю можно рассказывать уже сейчас, ибо здесь за работой сама необходимость. Это будущее усматривается в сотне признаков, эта судьба возвещается повсюду, для этой музыки будущего открыты все уши. Вся наша европейская культура уже давно движется с мучительным напряжением, которое увеличивается с каждым десятилетием и развязывает катастрофу.

Декларируя атеизм, Ницше оставался страстным богоискателем-нонконформистом. Здесь речь идет даже не о том, что всякое «анти-» застрекает, по словам М. Хайдеггера, в сущности того, против чего выступает, но о недопустимости зияния пустоты на месте умершего Бога. Бог умер — да здравствует Бог! Такова скрытая логика философии Ницше, направленной, в переоценке всех ценностей, на поиск новых высших ценностей.

В конце концов, религиозность — это богоискательство. Атеизм — это отказ от поиска Бога.

Можно ли назвать метафизический пафос Ницше отказом от богоискательства? Является ли его мышление, его вопль *de profundis*¹ свидетельством упразднения воли к вере? Можно ли назвать атеистом человека, высшей ценностью которого является бесконечный поиск?

М. Хайдеггер:

...Сдвинувшийся и стронувшийся с места человек именно поэтому не имеет уже ничего общего с повадками торчащих на площади праздных зевак, «не верующих» в Бога. Ибо эти люди не потому не веруют в Бога, что Бог как таковой утратил для них достоверность, а потому, что они сами отказались от возможности веровать и уже не могут искать Бога. Они больше не могут искать, потому что перестали думать. Торчащие на площади бездельники упразднили мышление, заменив его пересудами, — болтовня чует нигилизм всюду, где предчувствует опасность для своих мнений. Подобная самоослепленность, сверх всякой меры ширящаяся перед лицом настоящего нигилизма, пытается заглушить в себе страх перед мышлением. Однако страх этот — страх перед страхом.

Напротив того, безумный человек, и это однозначно так после первых же произнесенных им слов, и это еще куда однозначнее так для того, кто хочет слышать, после последних произнесенных им слов, — это тот человек, что ищет Бога: крича, взывает к Богу. Быть может, тут на деле некто

¹ Из бездны, из глубины (*латин.*).

мыслящий вопиет *de profundis*? А что уши наших мыслей — неужели все еще не расслышат они его вопль? Уши до той поры не услышат, пока не начнут мыслить. Мышление же начнется лишь тогда, когда мы постигнем уже, что возвеличивавшийся веками разум — это наиупрямейший супостат мышления.

Отношение Ницше к христианству производно от его отношения к абсолюту. Отрицая авторитаризм, единственность истины и «свет» разума, он не мог принять то, что их породило — *lucem divinam et donum maximum* (божественный свет и величайший дар). Хотя библейские люди боялись своего разума, хотя сам Бог ввел запрет отведать от древа познания, хотя в Библии мифотворчество преобладает над силлогизмом, именно иудеи, древние иудеи, начали тот процесс, из которого возник наш антиавгустиновский мир. Мне кажется, что у Ницше вообще много общего с бл. Августином, и эта близость первого отца христианской церкви и ее отрицателя тоже указывает на глубинное родство...

Никто из серьезных аналитиков творчества Ницше не сомневался в том, что этого «атеиста» всю жизнь «Бог мучил». А. Волынский еще в 1896 году называл искания Ницше религиозными. Богоискателем называли его Н. Минский и Л. Шестов. У «белокурой бестии» — вполне христианская душа!.. Андрей Белый вообще проводил параллель между творцом «Заратустры» и... Христом:

Не надо обращать внимание на форму символических проповедей, она отражает эпоху. И не в догматах — суть религиозных учений. Ницше можно сравнить с Христом. Оба уловляли сердца людские, голубиную кротость соединили со змеиной мудростью.

Откроем любое место из «Заратустры»: оно будет ни с чем несравнимо, но что-то в Евангелии ему откликнется. Сходство ли здесь противоположностей, противоположность ли сходства — не знаю. Но вот: белые голуби тучей любви окружают Заратустру, своего нового друга. Этим образом кончается «Заратустра». Вспомним:

Только в творчестве живая жизнь, а не в размышлении над ней. «Я», — говоришь ты, — и не гордишься этим словом, — восклицает Ницше. — Твое тело и его великий разум... не говорят «я», но делают «я».

Можно ли говорить «учение Ницше о личности», минуя личность самого Ницше? Всё учение и весь блеск переживаний ему нужен, чтобы создать себя в нужном и ценном образе. Этот образ в себе предощущает он, как новое имя. К нему применимы слова Апокалипсиса: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну; и дам ему белый камень и на нем написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Иоанн). Пересоздать небо и землю по образу и подобию нового имени — вот что хотел Ницше. Это значит: изменить в себе формы восприятия земли и неба: «И будет новая земля и новое небо». Тут слова его звучат, как гремящие трубы ангелов, возвещающих в «Откровении» гибель старых времен, пространств и небес. Но гибель старых богов и ветхого человека возвещает Ницше: «Дальше идти некуда», — вот что говорит он.

Кто подобен ему?

Только раз в истории раздавались эти речи, когда поставили перед Каиафой безумца из Назареи. И тогда сказали: «Распни Его». И распяли.

И вот вторично в сердце своем распинаем мы Ницше, когда он склоняется над нами в царственной своей багрянице, шепча: «Как можешь ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом?»

«Еще один раз хочу я идти к людям: среди них я хочу закатиться; умирая, хочу дать им свой богатый дар». Кто это говорит — Христос? Нет, Фридрих Ницше. «Огонь принес Я на землю: О, как хотел бы Я, чтобы он разгорелся». Это говорит Ницше? Нет, Христос...

«Заповедь новую даю вам: любите друг друга, как Я возлюбил вас». «Любите ближнего». — «Разве я призываю к ближнему? — говорит Ницше, — скорее я советую вам бегство от ближних, и любовь к дальним». Но ведь не в буквальном смысле заповедал любить ближних Христос, сказавши: «Я — меч и разделение». Любовь к ближним — это только алкание дальнего в сердцах ближних, соалкание, а не любовь в ближнем близкого, т. е. «мира сего». «Не любите мира сего», т. е. старого мира, ближнего, в его разлагающемся образе: любите его в образе дальнем, хотя бы и казался призрачен этот образ. «Выше, чем любовь к людям, кажется мне любовь к... призракам, — говорит Ницше, — призрак, который скользит над тобой, брат мой, красивее, чем ты... Но ты боишься и бежишь к своему ближнему». Образ Воскресшего, призрачно возникающий среди рыбаков галилейских, не был ли этим стремлением к дальнему в сердцах апостолов? В проповеди Христа и Ницше одинаково поражает нас соединение радости и страдания, любви и жестокости. «Огонь принес Я на землю, Я — меч и разделение». — «Подтолкни падающего», — мог бы сказать и тот, и другой одинаково и по-разному оформить. Но смысл их не в форме, а в гипнозе переживаний, подстилающих форму.

Один как бы закликает нас: «Оставайтесь верными небу». «Оставайтесь верными земле», — закликает другой и называет душу, это испарение тела, «лазурным колоколом неба». Когда говорит: «Оставайтесь верными земле», — не договаривает «и небу». Когда Христос учит верности небу, Он вдруг останавливается, как бы не договаривает, вздыхает: «Многое имел бы Я вам сказать, но не поймете, а вот пошлю вам Духа Утешителя; Он наставит вас на всякую истину». И восхищенное духом христианство создает образ к недосказанному вздоху Христа: град новый, Иерусалим, спускающийся с неба на землю. «Оставайтесь верными небу... — и земле», — утаил во вздохе Христос. «Новой земле», да, «новой», — соглашается и Ницше; и оба говорят о мече и разделении.

Душу Ницше приводит к земле. Душа для него и есть тело, но тело, отряхнувшее пыль вырождения.

Близко знавшая Ницше Лу Саломе полагала, что все творчество Отшельника из Сильс-Мариин — вытеснение его глубокого религиозного экстаза, мощи религиозного инстинкта.

Из всех великих дарований Ницше нет ни одного, который бы глубже и неразрывнее связан был со всем его духовным существом, чем его религиозный гений. В другое время, в другой период культуры он помешал бы этому пасторскому сыну сделаться мыслителем. Но среди влияний нашей эпохи его религиозный гений обратился на познание, и то, к чему он инстинктивно наиболее стремился как к естественному проявлению здоровья, находило удовлетворение лишь болезненным образом, т. е. посредством обращения на самого себя вместо обращения к жизненной силе, лежащей вне его и включающей его. Таким образом он достиг полной противоположности того, к чему стремился: не высшего единства своего существа, а его глубочайшего раздвоения, не согласования всех побуждений и инстинктов в объединенном индивидууме, а разделения его на «*dividuum*»¹.

Вследствие этого в глубоком религиозном аффекте, из которого исходит у Ницше все познание, связаны в неразрывный узел *отрешение от себя и собственный апофеоз, жестокость собственного уничтожения и ликование собственного боготворения, мучительная болезнь и торжествующее выздоровление, опьянение и холодное самообладание*. Здесь чувствуется тесное сочетание контрастов, которые постоянно обуславливают друг друга: чувствуется перекипание и добровольное низвержение напряженных и возбужденных до крайности сил в хаос, мрак, ужас и отсюда опять стремление к светлomu, нежному...

К. Ясперс:

Ницше понимает себя так: его мысль выросла из христианства под воздействием христианских же импульсов. Его борьба против христианства отнюдь не означает стремления просто выбросить его на свалку, отменить или вернуться в дохристианские времена: напротив, Ницше желает обогнать его, преодолеть, опираясь на те самые силы, которые принесло в мир христианство — и только оно.

Фактически то же самое признает сам Ницше, когда говорит, что христианская атмосфера — дух высокого напряжения, какого никогда еще не было на земле: «Мы, добрые европейцы, носители свободного, очень свободного духа (обязанного, кстати, христианству) — мы сохранили все томление духа, все напряжение духовной тетивы! Не исключено, что найдется у нас и стрела — задача, а может быть, даже и цель — кто знает?» И в другом месте: «Дальнейшее существование христианского идеала принадлежит к числу самых желательных вещей, какие только существуют». Такой вот атеизм...

Ницше мечет гневные филиппики в адрес христианства и просит за это прощения у своего друга Петера Гаста, уверяя его, что в мире идеального не знает ничего прекраснее христианства и что «в сердце своем я никогда и ничем не согрешил против христианства». Собственной творческой биографии он дает наихристиан-

¹ Делимое (латин.).

нейшее название «Ессе Номо» и последние записки, уже в безумии, подписывает именем «Распятый». Он пишет «Заратустру», полного антихристианского пафоса, и одновременно имитирует новозаветную стилистику. Такой вот атеизм...

В разговоре о переменах, уже свершившихся в его духовной жизни, Ницше заметил однажды полушутливо: «Да, так начинается скитание и оно продолжается — до каких пор? Когда все пройдено, куда тогда стремиться? Когда все комбинации, какие только возможны, исчерпаны, что тогда? Не пришлось ли бы опять вернуться к вере? Быть может, даже прийти к католической церкви?»

— Во всяком случае, круговое движение правдоподобнее остановки.

С одной стороны, «насильственные, суровые, ужасающие, идущие вразрез с разумом» этические установления христианства, с другой, христианство — средство, «при помощи которого европейскому духу была привита его сила, его необузданное любопытство и тонкая подвижность».

С одной стороны, отвержение христианской морали, с другой, «мораль была нужна, чтобы обеспечить человеку победу в его борьбе с природой и “диким зверем”»: «Без заблуждений, которые лежат в основе моральных допущений, человек остался бы зверем».

Быть может, у христианства и буддизма нет ничего заслуживающего большего уважения, как то искусство, при помощи которого они научают даже самого падшего подняться путем благочестия на более высокую степень иллюзорного порядка вещей и благодаря этому примириться с действительным порядком, при котором живет так тяжело, — хотя эта-то тяжесть существования и необходима.

Христианские тенденции точно так же благотворны и ничего столь не желательно, как их постоянство, — пишет Ницше на пороге безумия. — Они нужны всем страдающим, слабым, они необходимы для здоровой жизни человеческого общества, дабы страдания и неизбежная слабость воспринимались покорно, без возмущения, если возможно, даже с любовью.

Ф. Ницше — П. Гасту:

Что бы мне не приходилось говорить о христианстве, я не могу забыть, что я обязан ему лучшими опытами моей духовной жизни.

С одной стороны, все более громкие и вызывающие декларации собственного атеизма, с другой — надрывающее душу опустошение, испытанное от открытия «смерти Бога». Я не исключаю, что страдание Ницше, вызванное этим открытием, было гораздо глубже радости богоискателей, обретших наконец своего бога.

«Атеизм» Ницше лишен ханжества иных богомилов и доброхотов: если хотите, пред нами настоящий мученик, глубоко выстрадавший предательство последователей Христа, извративших и утопивших в океане лицемерия и лжи Его идеи.

Ницше решительно, безусловно, язвительно, изобретательно отвергал христианство, говорил ему безусловное «нет» и в то же время в его текстах мы обнаруживаем совершенно удивительные для атеиста высказывания, свидетельствующие о далеко не простом и не однозначном отношении сына протестантского пастора к «вере отцов».

С одной стороны, пламенный радикализм «давителя гадины», неистовые инвективы в адрес священнослужителей («самые ловкие из сознательных лицемеров», «миропомазанные клеветники», «ядовитые пауки на древе жизни», «коварные карлики», «паразитический тип человека» и т. п.), с другой...

Я почитаю за честь, что происхожу из рода, в котором принимали свое христианство всерьез во всех отношениях.

Народ тысячу раз прав в своей неизменной любви к людям этого типа: к кротким, простым и серьезным, целомудренным священникам...

Властная красота и утонченность облика князей церкви во все времена служила для народа подтверждением истинности церкви.

Неизменное благоговение перед Библией, сохраняющееся в Европе, в общем, и по сей день, — это, пожалуй, лучший образчик культуры и утончения нравов, каким Европа обязана христианству...

Церковь, церковники — смертельные враги культуры, раковая опухоль на ней и...

...Христианство отчеканило самые, пожалуй, тонкие лица в человеческом обществе: лица, несущие на себе печать высокой и наивысшей католической духовности.

Церковь, полагал Ницше, сильна именно «священническими натурами», которые подвижнически «делают свою жизнь исполненной трудностей, а тем самым и глубокого смысла». Даже борьбу против церкви «антихристианин» признает только в том случае, когда ведут ее натуры более высокие и глубокие, чем священнослужители.

Конечно, сказанное легко отнести на счет противоречивости Ницше, но, как выяснил К. Ясперс, речь идет не о непоследовательности, а о глубинной внутренней связи антихристианства Ницше с его богоискательством: «его **вражда** к христианству как действительности неотделима от его **связи** с христианством как требованием». По словам самого «маленького пастора», «мы — безбожники и антиметафизики — зажигаем наши факелы от того старого пожара, разожженного тысячелетнею верой». Подтверждением этих слов является составленный юным Ницше реестр дисциплин, которые он намерен изучить, завершаемый фразой: «И сверх всего — религию, прочное основание всякого знания». К этому же времени относится признание ученика Пфорты: «Любовь к Богу согласуется с любовью к истине».

Ницше сам открыл глубинные корни своего антихристианства, выросшего «среди детей протестантских пасторов»: «Слишком много в Германии филосо-

фов и ученых, которым случилось в детстве, послушав проповедь, перевести глаза на самого проповедника (!) — и в результате они больше не верят в Бога...» Здесь проявилась сверхчувствительность Ницше к фальши: именно дети с их пронизательностью и чистотой взгляда больно ранились двойными стандартами отцов, именно в их чистосердечных и инфантильно-экстремистских душах рождался тот нигилизм, который провоцировало ханжество.

У самого Ницше мы обнаруживаем ключ к тому, что принято называть атеизмом, но что не является таковым: «Не просто отделаться от всего христианского, но преодолеть его через сверххристианское». Ницше — не неистовый богоборец, а яростный богоискатель — вот сокровенная тайна «противоречий», вот скрытая пружина «преодоления», вот отмычка к этике, «переоценке всех ценностей», всему творческому наследию одного из самых страстных философов.

Ницше не был атеистом — он исповедовал иную религию, религию жизни, религию человека, религию веры в человека.

Т. Манн:

Ибо религию, которая должна, по его мнению, преодолеть противоречия ныне существующих религий, невозможно представить себе иначе как связанной с мыслью о человеке, то есть как окрашенный в религиозные тона, религиозно обоснованный гуманизм, прошедший через многие испытания, обогащенный опытом прошлого, измеривший в человеке все бездны темного и демонического для того, чтобы еще выше поднять человека и возвеличить тайну человеческого духа.

Религия — это благоговейное поклонение; прежде всего, благоговейное поклонение тайне, которую представляет собой человек.

Религия Ницше — найти не Бога, а себя, Бога в себе! Мне кажется, он говорил о себе, когда словами папы обращался к Заратустре: «О, Заратустра, со всем твоим неверием — ты благочестивее, чем ты думаешь! Сам Бог обратил тебя к безбожию. Разве не благочестие не позволяет тебе верить в Бога?»

СПОР С ВЕРУЮЩИМ

— Бог создал нас и любит нас!
 — Бог создан нами, — отвечаем, —
 Мы в нем поэтому не чаем
 Души! — И спор наш нескончаем,
 А черт хромает возле нас.

Сама по себе формула «Бог умер» не является свидетельством атеизма, ведь Христос умер тоже. Ницше никогда и нигде не говорил, что умерла идея Бога. Поскольку в основе философии Ницше лежит жизнь, а жизнь представляет собой смену рождений и смертей, Ницше, отправляясь от мифологии, рождающегося и умирающего Бога предпочел Вечно Сущему. «Бог умер» может быть прочитано на французский манер: «Бог умер, да здравствует Бог!» «Бог умер» —

формула богоискательства, другая сторона неисчерпаемости Бога: умерли одни представления о Боге, родились другие.

Более того, каждая вещь как телесное воплощение Бога есть в какой-то мере смерть Бога, ибо она в своем бытии содержит отрицание его идеальной природы. Творя мир, Бог не только реализует себя в нем, но в то же время отрицается в предметных формах вещей, ибо мир оказывается несоизмеримой противоположностью относительно своего Творца. Из этого можно сделать вывод, что взятый сам по себе тезис Ницше «Бог умер» вряд ли следует считать неожиданным и подрывающим устои религиозной веры.

Тезис «смерть Бога» в расширительном смысле означает отказ от сверхчувственного, запредельного мира, от платоновских эйдосов и платоновской философии в целом, от стабильности и ясности традиционного мышления, от всего, что находится за пределами жизни и не желает подчиняться ее течению.

М. Хайдеггер:

Бог — наименование сферы идей, идеалов. Эта область сверхчувственного, начиная с Платона, а точнее, с позднегреческого христианского истолкования платоновской философии, считается подлинным и в собственном смысле слова действительным миром. В отличие от него, чувственный мир лишь посюсторонен и изменчив — потому он кажущийся и недействительный. Посюсторонний мир — юдоль печали, в отличие от горнего мира вечного блаженства по ту сторону вещей. Если, подобно еще Канту, называть мир чувственный миром физическим в более широком смысле, тогда сверхчувственный мир будет миром метафизическим.

Слова «Бог мертв» означают: сверхчувственный мир лишился своей действенной силы. Он не дарует уже жизни. Пришел конец метафизике — для Ницше это вся западная философия, понятая как платонизм. Свою же собственную философию Ницше понимает как движение против метафизики — для него это значит против платонизма.

Сверхчувственное основание сверхчувственного мира, если мыслить его как действенную действительность всего действительного, сделалось бездейственным. Вот в чем метафизический смысл метафизически продумываемых слов «Бог мертв».

По мнению М. Хайдеггера, слова «Бог мертв» — не атеистический тезис, но глубинный событийный опыт западной истории, подытоженный Ницше. Смерть Бога — это отказ от общезначимого, общепринятого, соборного, замена его индивидуальным, личным выбором, свободой выбора.

К. А. Свасьян:

«Бог мертв» — это значит: человек вступил наконец в пору совершеннолетия, т. е. свободы и предоставленности самому себе... это значит: всякая попытка строить на прежней почве и прежнем фундаменте, вы-

давая реминисценции вчерашнего дня за реалии сегодняшнего, является ложной оптикой и мошенничеством, страхом перед вновь открывшейся экзистенцией и судорожным цеплянием за призрак недавнего и всячески гальванизируемого Опекуна, который — «мертв»...

«Смерть Бога» не означает для Ницше Его отсутствия. Мы не найдем у него «Бога нет» или «Я не верю в Бога». Формула «Бог умер» многозначна, но не означает одного — атеизма. «Бог умер» — это и «Бога предали», и «Бога заговорили», и «христианская фальшь убила Бога», и «распад прежнего порядка, строя и исходных основ жизни», и «отрицание прежних ценностных ориентаций человека».

Ницше не оспаривал историчности Иисуса, но видел в нем жизнь человека в своем *внутреннем* мире, образец такой жизни, блаженную жизнь, непротивление, чистую любовь, Благою Весть, мир без зла и смерти, «нежизненный мир».

В Евангелии начисто отсутствует понятие естественной смерти: смерть не мост, не переход — ее просто нет, ибо она принадлежит иному, нереальному, призрачному миру. Время, физическая жизнь с ее кризисами просто не существуют для проповедников Благой Вести.

Своей смертью Иисус подтвердит блаженство своей жизненной практики: «Этот «благовестник» умер, как жил, как **учил** — не ради «искупления людей», но для того, чтобы показать, как нужно жить». Именно так «ведет он себя перед судьями... ведет себя на кресте. Он не сопротивляется, не отстаивает свои права... Он просит, страдает, он любит тех, кто причиняет ему зло, — он с ними и в них». И это принципиальная установка: «Не защищаться, не гневаться, не возлагать на кого-то ответственность... не противиться даже и злему — любить его...»

Хотя образ благой жизни неприемлем для Ницше, он относится к нему в высшей степени уважительно: «Подобная смесь возвышенного, болезненного и младенческого обладает хватающим за душу обаянием». Иисус — обаятельнейший, но внеисторичный образ человека: «В сущности, христианин был только один, и тот умер на кресте». Христианство, взяв Христа за высший образец, за эталон, практически предало его — отказом от Его жизненной практики, лицемерием, превращением образа жизни благого человека в веру и множеством извращений этой веры, созданием церкви, вся история которой — «Великое Извращение»...

Ницшеанский Христос — абсолютная достоверность внутреннего мира и духовного опыта, кстати, характерная для выдаваемого *нами* в качестве антипода Достоевского. Это чутко уловил Ницше: «Евангелия приводят нам точь-в-точь те самые физиологические типы, которые описывают романы Достоевского...»

Поучительна и ницшевская версия смерти Христа: «Ведь умирая, Иисус ничего иного и не мог желать, кроме как публично представить самое сильное свидетельство в пользу своего учения и этим *доказать* его...» «Что *отрицал* Христос? — Всё, что сегодня называется христианским».

В жертвенности Христа Ницше увидел устрашающее наследие язычества — «невинного приносят в жертву за грехи виновных! Какое устрашающее язычество!..»

Ницше был убежден, что мораль Иисуса — только начальная фаза нравственности: «Верьте мне, братья мои! Он (Христос) умер слишком рано, он сам отрекся бы от своего учения, если бы достиг моего возраста! Достаточно благо-разумен был, чтобы отречься!»

Отношение Ницше к Иисусу амбивалентно: он уважает жизненную практику, экзистенциальность и искренность величайшего человека, но не приемлет добровольное самопожертвование как проявление слабости, нежизненности, упадка, сдачи без борьбы. С одной стороны, Ницше ценит в Галилеяnine борьбу против статус-кво, возвышение над земной моралью («Иисус говорил: «Какое дело до морали нам, сынам Божьим?»; “Бог — по ту сторону добра и зла”»), считает Иисуса выразителем его собственной моральной позиции, с другой, — жить, как Иисус, означает для него сознательно обрекать себя на гибель: «Самое неевангельское понятие на свете — это понятие героя. Здесь стало инстинктом то, что противоположно всякой борьбе; неспособность к сопротивлению сделалась здесь моралью».

К. Ясперс:

Великим противником и соперником Иисуса был для Ницше Дионис. «Долой Иисуса!» и «Да здравствует Дионис!» — звучит почти в каждом положении Ницше. **Крестная смерть** Иисуса для него — символ упадка угасающей жизни и обвинения против жизни; **в растерзанном на куски Дионисе** он видит саму вновь и вновь возрождающуюся жизнь, поднимающуюся из смерти в трагическом ликовании. И все же — поразительная двойственность! — это не мешало Ницше порой — хоть и редко, хоть всего на мгновение — самому отождествляться с Иисусом и смотреть на мир его глазами. Свои записи периода безумия, исполненные столь глубокого смысла, он подписывал не только именем Диониса, но и «Распятый».

Это двойственное отношение к Иисусу, когда Ницше то борется против него, то сам себя с ним отождествляет, то отрицает его, то поддерживает, — лишь один из примеров характерного для Ницше вообще поведения, своего рода универсального принципа. Ницше был всем на свете — не через реализацию в этом мире, а через сокровенный опыт своей страстно испытующей все на свете души. Он сам говорил, что ему довелось посидеть в каждом уголке современной души. Он смотрел на самого себя как на типичного представителя декаданса; однако полагал, что, доведя этот декаданс до крайности, преодолел его в себе с помощью более глубинных здоровых сил. Он знал, что он сам — тот нигилист, о котором он пишет; однако полагал, что отличается от всех прочих нигилистов опять-таки тем, что доводит свой нигилизм до последней крайности и тем создает пред-посылки для его преодоления.

Что не устраивало Ницше в христианстве? Почему он экстатически отвергал его? Христианство не следует тому, чему учит, прежде всего, не следует за-

поведям и жизни Христа. Церковь неискренняя, лжива, лицемерна. Ее главные побуждения — уравнивать людей, превратить человечество в послушное стадо, подавить полноту человеческого персонального начала. Христианство — это декаданс. Церковь «стремится сломить сильных, превратить их мужество в расслабленность, использовать всякую дурную минуту, когда они подавлены и утомлены, чтобы заменить их гордую уверенность беспокойством и бесплодными угрызениями». Христианство поверхностно: церемонии и внешние эффекты берут в нем верх над глубиной и сознательным выбором.

Ницше категорически отрицал христианский универсализм — единство истины, единство морали, единство истории, безусловность знания, единство духа. Единства не существует, существует выбор, и его должен делать каждый. История — опытная мастерская, ход истории не предопределен, планировать историю невозможно. Правильного исторического устройства не существует, в известной мере все правильно в силу «правильности» жизни. Важны не прогнозы и императивы, не «светлое будущее», но «здесь и сейчас». Важна не церковность и соборность, а человеческая личность.

«Фундаментальный промах» человека — полагаться на все, что угодно, кроме самого себя! «Фундаментальный промах» человека — иллюзии, нежизненные и недостижимые идеалы, противоестественные устремления. «Реальный человек в сто раз драгоценнее любого идеального человека, существующего лишь в пожеланиях и мечтах». Кстати, жить, как Иисус, — это, прежде всего, полагаться на себя. Если хотите, Иисус и есть первый сверхчеловек, экзистенциальная Личность, нашедшая саму себя.

Христианство подменило *жизнь* по Христу *верой* в Него, практику Иисуса — практикой церкви, любовь и непротivление — лицемерным учением, благое существование — ханжеской моралью. Слепая вера оказалась важнее жизни по Христу, идея о личном бессмертии — важнее благой жизни. Подлинные корни христианства, считает Ницше, не в миролюбивом отказе Иисуса от всякой борьбы, не в Христовом непротivлении злу, не в отрешенности от мира и от смерти — корни христианства в изначальном извращении жизненной концепции Христа, в **рессантименте** неудачников и изгоев, злобе угнетенных и униженных, зависти сырых и посредственных. Психологически Христова церковь строилась из комплексов неполноценности, претендующих на манию величия, из попыток превратить немощь, бессилие и унижение в творческую мощь, из желания *последних* взять реванш у *первых* и тайной жажды мщениия.

К. Ясперс:

Уже первоначальная апостольская община представляла собой, по Ницше, «мир, словно вышедший со страниц русского романа, — прибежище отбросов общества, нервных больных и инфантильных идиотов». А в **позднеантичном мире** эти люди повсюду встречали родственные души. Ибо в недрах здорового язычества давно уже росло антиязычество — уродливые и больные религиозные формы, против которых боролся еще Эпикур. И вот христианство «проглотило и усвоило» учения и обряды всех

подземных культов Римской империи, бессмысленные порождения всех видов больного разума». Ибо «судьба христианства заключается в том, что вера его не могла не стать столь же больной, низменной и вульгарной, сколь болезненны, низменны и вульгарны были потребности, которым оно должно было удовлетворять».

Религия — не вера, а действие. На деле христиан почти не было потому, что, провозглашая высокую веру, люди продолжали следовать животным инстинктам, следовательно, лгали:

Если присмотреться поближе, то в нем, в этом «христианине», *несмотря* на всю его «веру», царили инстинкты — и *что за инстинкты!*.. «Вера» во все времена, например у Лютера, была только предлогом, маскарадом, *занавесом* — позади играли инстинкты; «вера» была благоразумной слепотой на предмет *известных* инстинктов, воцарившихся в человеке... о «вере» без конца *толковали*, а *поступали*, как подсказывал инстинкт...

Нападки на христианскую мораль продиктованы гуманистически ориентированным побуждением защитить жизнь от лицемерия и лжи: по словам Томаса Манна, Ницше изображает дело так, будто моральное сознание, точно Мефистофель, грозит жизни своей кощунственной сатанинской рукой. Я не вижу сатанизма ни в ницшеанской оценке морали, ни в ницшеанском отношении к жизни, стоящей над моралью, ни в имморализме как таковом. В конце концов, Ницше далеко не ушел от первых христиан, искавших Бога не на небесах, а на земле, и нашедших его здесь. Богоискательство Ницше в своей сути мало отличалось от веры Петра и Павла, за исключением разве того, что Христос — историческая личность, а Заратустра — по крайней мере у Ницше — мифологический тип.

Восстание Ницше против церкви — бунт против омертвления жизни:

Церковь воюет со страстью при помощи отсечения, кастрации: деятельность, ее «попечение» — кастратизм. Она никогда не спрашивает «как одухотворить, украсить, обожествить желание?» Во все времена вся тяжесть ее дисциплины служила искоренению чувственности, гордыни, страстного желания властвовать, обладать, мстить. Но искоренение страстей есть искоренение жизни: практика церкви *враждебна* жизни.

Одухотворение чувственности зовется *любовью*; она есть величайший триумф над христианством. Другой триумф — наше одухотворение вражды. Оно состоит в глубоком постижении ценности обладать врагами: говоря коротко, это означает действовать и мыслить способом, обратным тому, каким действовали и мыслили до сих пор. Церковь всегда желала уничтожения своих врагов: мы же, имморалисты и антихристиане, мы видим для себя выгоду в том, что церковь существует...

Сильнее всего ненавистен верующему не свободный ум, а новый ум, обладающих новой верой.

Фундаментальный упрек Ницше в адрес христианства связан с его требованием «уподобиться Богу», «слиться с Богом», тем самым приобщиться к высшим ценностям, добру и красоте. Это — недоверие к жизни, отказ от самих себя, попытка отучить человека смотреть на себя как на творца ценностей, покушение на эволюцию духа. Если все ценности уже созданы и существуют «там», зачем нужен человек? зачем Бог создал его? «Близится время — пишет Ницше, — когда нам придется расплачиваться за то, что целых два тысячелетия мы были христианами».

Это тоже величайшее предвидение Ницше, за которым кроется понимание ответственности христианства за утопии равенства, рая на земле, существования без боли и борьбы, за которое прежде надо «пострадать». Все это — категорически отвергаемый Ницше мистицизм, отнюдь не безобидный. Ведь мистицизм, повернутый с неба на землю, по словам Г. Померанца, есть революция. Достоевский это только угадывал, Ницше прокричал со своего креста. То, за что Христос заплатил собственной жизнью, когда-либо потребует миллионы жизней поверивших в его мистику, мистику рая на земле. Французская революция и социализм — наследие христианской идеи равенства и убожества среднего человека.

Ницше считал христианство обанкротившимся мировоззрением и возлагал на него ответственность за наступление эпохи тарантулов, социалистов, коммунистов. Рожденному христианством нигилизму Ницше противопоставлял стоическое *amor fati*, любовь к року, вызов судьбе. Евангельская традиция, считал он, должна уступить место мифу «вечного возвращения», воплощенному в его собственном учении. Не отрицание человеческого, не разрушение святого, но признание миродержавной судьбы, углубление религиозного чувства, возвышение Личности — таково движение человеческого духа.

«Бог умер, да здравствует рок!» — в этих словах можно резюмировать итог «переоценки ценностей» у Ницше.

На месте христианского святого-юродивого он хотел видеть сильного и благородного человека, существо высшего порядка, воплощение воли к могуществу.

Добродетели, в основе которой лежат юродство и страх, он предпочел нравственность могущества и силы жизни.

DER ÜBERMENSCH

Место, занимаемое человеком на иерархической лестнице, определяется теми страданиями, которые он может вынести.

Ф. Ницше

Все дело в том, как мы понимаем, как мы произносим слово «сверхчеловек».

Вл. Соловьев

Макиавелли. Лучше, чтоб тебя боялись, чем любили.

Монтень. Лучше, чтоб меня любили, чем боялись.

А вас? А тебя? А меня?

Или так: приносить себя в жертву, желать собственной гибели — вот награда! — Приемлемо ли это для тебя, для меня, для вас?

Но и здесь его исказили. Оплодотворенный собственными противоречиями, он никогда не был ближе к собственной сущности, чем тогда, когда в «Веселой науке» говорил: «Лучше погибнуть, чем бояться и ненавидеть, и вдвойне лучше погибнуть, чем допустить, чтобы тебя боялись и ненавидели».

Но почему я не слышу этого мотива в «Веселой науке», положенной на музыку Малером?

Еще вопрос: почему нас так возмущает сверхчеловек, если мы с такой симпатией относимся к макиавеллиевскому государю, который руководствовался прежде всего правилами общения «диких животных»?

Эвоя! Да ведь партия нового типа была коллективной «белокурой бестией» Ницше! Разве всё, что *наши* писали о партии, не является парафразой к текстам Ницше о Bestie? Разве эта партия не ближе к заветам Макиавелли, чем к фаланге эврименов?

Marginalia, черновые заметки, необработанное. Вульгаризм: общественное, тождественно равное стадному. Человеку важно не то, что он думает о себе сам, но то, что думают о нем другие. Социальное — буффонада, спектакль, фарс, шоу. Человек неподлин. Лицедей. (Даже речь изобретена для среднего, посредственного, сообщаемого. Ею уже вульгаризуется говорящий.)

Люди по природе не равны — бесконечный континуум: от идиотии до гениальности, две крайности (две болезни?). Но безличное, анонимное общество не терпит различий, оно превращает всех в средних, в усредненную посредственность. Люди — дроби, приведенные нами к единому знаменателю.

Сверхчеловек освобождает себя от прессинга массы, за что общество платит ему ненавистью, изоляцией, именуя преступником (или пресмыкается, если он — вождь). Но он выше такой морали, он единственно подлинен и, следовательно, человечен, морален.

Как стать сверхчеловеком? Превозмочь человека в себе: человек есть нечто, что должно превозмочь.

Вот тут-то и ошибка: подлинная сверхчеловечность не разглагольствует о себе и не подогревает свою силу увещеваниями — она действует!

Слова... слова... слова... А кто сказал эти:

Мы отнеслись бы с предубеждением к человеку, если бы услышали, что ему нужны особые *основания*, чтобы оставаться порядочным.

Это сказал Ницше!

В своем отношении к действительности дионисийский человек являет сходство с Гамлетом: оба заглянули в истинную суть вещей, оба познали ее, и с тех пор им претит действовать, ибо их действие ничего не может изменить в вечной сущности вещей: познание убивает действие — чтобы действовать, нужно быть окутанным покрывалом иллюзии...

Вячеслав Иванов затем подытожит: дионисийский человек познал невозможность действием изменить вечную суть вещей.

А что если вся эта исступленная одержимость певца сверхчеловека — трагедия, эпатаж, вызов? Ведь по натуре Ницше — фрондер, полный сарказма и иронии по отношению к лубочному здоровью и активизму эвримена, к его галопирующему энтузиазму и к его вере в свои одноцветные дали. Не издевался ли он над нами? Вот была бы шутка!

Тяга к исключительному, невиданному, диковинному — признак незрелости, слабости, инфантильности духа. Величие раскрывается не в великом, а в повседневном. Когда великолепие сверхчеловеческого обращается в манию, где уж тут до трагедии? (О чем я говорю? Чего требую? — безучастия, спокойствия, гессеанского олимпийства? Я — спокойствия? Но можно ли создать великое, оставаясь невозмутимым? Ведь мы не Олимпийцы из Веймара!..)

Во мне нет ничего напоминающего основателя религии. Религия — дело черни.

Нет, есть! Он — типичный, ярко выраженный, талантливый евангелист, идеолог, фанатик собственной религии и ее поэт, собравший под своими хоругвями еще какое воинство! Даже его эстетизм, «философия как искусство» — ангажированы, даже его экстатическое ясновидение служит мессианству. Ведь религия, даже самая изуверская, обязательно страстна и самозабвенна, бескомпромиссна и непримирима, заразительна и общедоступна.

Разве его — не такова?

СВИДЕТЕЛЬСТВО Т. МАННА

Если изучать духовное развитие Ницше с естественнонаучной, медицинской точки зрения, то здесь можно увидеть процесс паралитического растворения и перерождения различных функций, иначе говоря — процесс подъема от уровня нормальной одаренности в холодную сферу кошмарного гротеска, смертоносного познания и нравственного одиночества, к тем высотам страшного проникновения в сущность вещей, когда человек преступает дозволенные границы; нежной и доброй натуре Ницше было в высшей степени свойственно сострадание к людям, для такого «преступления» он вовсе не был создан от природы, а разве что, подобно Гамлету, призван обстоятельствами.

Что жило в тех глубинах его сознания, которые он не обнажал?

Что служило столь мощным источником духовного подъема?

Апокалипсис безнадежности, будь то пессимизм Леопарди или оптимизм Ницше, имеет один корень: глубокое недовольство существующим, безоглядное отрицание, страстную тягу к высоким жизненным и духовным нормам. Не биологический аристократизм, а духовная ориентация на человечность у столь несхожих Киркегора, Эмерсона, Ницше, Ибсена, Джойса.

Питающей средой Мифотворца было предощущение омассовления, тоталитаризма, кризиса культуры, прогресса бездуховности и фарисейства, грядущего торжества скотской компоненты человеческого.

Раз мир не имеет ни цели, ни смысла, попытки приписать ему изначальную значительность обречены на провал. Раз нет цели, каждый себе цель. Раз старое погибает, а новое никуда не годится, необходимо сверхновое, и вот, дабы обуздать бытие, несвоевременный философ сулит миру спасение — сверхчеловека.

Мистическое учение о господах земли — всего лишь мост от античного культа героя к «гармонической личности». Шаткий мост, вступать на который опасно, — он висит над бездной. Герой, повелитель, варвар, насильник, экспериментатор, созидатель, игрок, гегемон, убийца — вот гармония!

Главная идея «Рождения трагедии» — эстетическое оправдание бытия: только красота оправдывает мир, жизнь же всегда остается неправой. Вечную рану существования можно залечить лишь силой духа, трагическое ощущение — страстным желанием прекрасного. Как говорится в «Веселой науке»? — «Мы, эстетики высшего ранга, не можем обойтись без порока, мучений души и заблуждений».

Страдая от несправедливости и зла мира, он страстно стремился к чистоте. За его волюнтаризмом кроется тяга к красоте человека и трагическое ощущение ее дефицита. За гипертрофией зла — как и у Бодлера — правдивость и понимание невозможности победить зло добром, потому, в частности, что они не отделимы. За сверхчеловеком — строжайшая нравственная дисциплина.

Провозвестник фельетонической эпохи измельчания, он скорбил о героических временах «Божественной комедии» и готики, Моцарта и Баха, кватрочен-

то и барокко. Ницше восхищался творениями Леонардо, Рафаэля и Микеланджело, его содрогал Шекспир, которому он многократно уподоблял Бетховена. Он был крайне чуток к художникам, отвергнутым их средой. Клейст и «дивный» Гёльдерлин близки ему духом протеста, Гейне — жизнелюбием. Вслед за гуманистами Возрождения он мечтал о совершенном человеке. И сверхчеловек его — симбиоз гения, страдания и красоты. Противопоставление расы духовной аристократии толстокожей массе расы демократической — реакция на бездуховность филистерства.

Истоки сверхчеловека: презрение к каторжникам наживы, к духу торгашества, вызов бюрократии, казарме, ранжиру.

Что велико в человеке, это — то, что он мост, а не цель; что можно любить в человеке, это то, что он — переход и гибель.

Мифотворчество — непрерывный поиск истины, причины падения человека, и неистовая жажда спасения. Сверхчеловек — плод исканий, рожденный страданием. Отсюда: «Здесь лучше, потому что здесь больше страдают».

Переоценка всех ценностей должна быть непрерывной, единственный источник прогресса — движение. Остановка даже на самой глубокой, самой привлекательной, самой гуманной идее — начало вырождения.

Осознание бесцельности бытия уже есть ценность, вложенная им в сверхчеловека.

А может быть, сверхчеловек — вовсе не фантазия, не бред, не эпатаж, не трагедия а, наоборот, глубочайшая реальность, к которой он прикоснулся? Может быть, начало нового витка эволюции — духовной?

Главный вопрос, который волновал Ницше: что может человек? Его ужасала мысль, что человек сам погрёбает себя, успокаиваясь и довольствуясь данным. «Человек, который желает, но не действует, является очагом заразы», — вопил в нем анти-Плотин.

Так кто же он — сверхчеловек?

Подвижник бесконечного преодоления, превозмогший себя?

Сверхжизнь или сверхразрушение?

Интеллектуальная высь или цинизм разума?

Абсолютная ответственность или отсутствие ограничений?

Вариант спасения мира красотой или абсолютное зло?

Отчуждение или презрение?

Новый миф или последний отголосок старых?

Завершенная полнота личности или голое насилие?

Правдолюб, не желающий утонуть в массе, или гангстер?

Любовь к жизни или бесчеловечность?

Дело в мифологичности сверхчеловека. Он ориентирует на безграничное, учит мыслить взаимоисключающе, умеет желать и знает тщету желаний. Его отрицание неотделимо от утверждения, а утверждение устремлено ввысь. Он философ сомнения, которое для него... «стимул, наполненный позитивным содержа-

нием: любовь к благородной сущности человека, которую приводят в отчаяние все реально существовавшие типы людей, *непреклонная сущность правдивости, ставящая под вопрос саму истину*, наполненность историческими образами, терпящая крушения из-за бессмысленности и бесцельности истории».

Отношение Ницше к человеку — средневековое, шекспировское: венец творения и пригоршня праха. «В человеке есть нечто в своей основе ошибочное» и человек — «вечно будущее»; «насквозь лживое, искусственное и близорукое животное» и — «великий экспериментатор»:

Он отваживается на большее, сопротивляется большему, требует от судьбы больше, чем все остальные животные, взятые вместе: он великий экспериментатор в отношении самого себя, неудовлетворенный, ненасытный, который борется с животными, природой, богами за окончательное господство... он... вечно будущее.

Сверхчеловек — икона Ницше, синтезировавшая биологию и эволюцию духа, Дарвина и Августина, борьбу за существование и высшее творчество. Только в отечественной литературе начала века налицо четыре типа сверхчеловека: биологический (Л. Толстой, Н. Грот), культурно-этический (Н. Авксентьев, Н. Абрамович), религиозно-метафизический (А. Белый, Н. Бердяев, Д. Мережковский), социально-аристократический (Е. Тарле, Ф. Зелинский).

Я полагаю, сверхчеловек Ницше не является синонимом «белокурой бестии», отвечающей не духовному, но животному началу человека. Ницше говорит об этом прямым текстом: «Зверь (Bestie) в нас должен быть обманут, мораль есть вынужденная ложь, без которой он растерзал бы нас». В «К генеалогии морали» «белокурая бестия» также отождествляется с роскошным, похотливо блуждающим в поисках добычи животным. Еще менее основательно отождествление «белокурой бестии» с германцами или нордической расой. Перечисляя примеры «благородных рас», в которых просматривается мощь хищного начала, Ницше называет «римскую, арабскую, германскую, японскую знать, гомеровских героев и скандинавских викингов». Как известно, не существует белокурых арабов или японцев. В «Заратустре» эпитет blonde (белый) относится ко льву: «в ужасе перед белокурым чудовищем с львиной гривой». Таким образом, «белокурая бестия» полностью лишена расовой принадлежности — это животное, львиное начало человека.

Человек Ницше — мультиверсум, лежащий между «высокомерным насекомым» и «белокурой бестией», вся полнота жизни от болезненного бытия до торжества над судьбой.

...Там бегают утонченные хищники, и вы среди них... воздвигнутые вами города, ваши войны... ваши взаимные хитрости и суета, ваши вопли страдания, ваше упоение победой — всё есть продолжение животного начала.

То, что доставило человеку его победу в борьбе с животными, было чревато опасностью болезненного развития.

Ницше много размышлял о сути человека, проблеме личности и пришел к выводу, что, при всей неуволвимости человеческих качеств, сущность челове-

ческого — динамизм, активность, плюральность. «Стань тем, кто ты есть» — эта максима глубоко почитаемого им Пиндара является ключевой в антропологии Ницше.

Именно перечисленные особенности человека позволяют надеяться на переход от животной несвободы к почти отсутствующей пока свободе. Отличие сверхчеловека от человека — в его способности к самоопределению, самопреодолению, к освобождению от власти «других». В предисловии к «Человеческому, слишком человеческому» Ницше писал про будущие «свободные умы» и выражал надежду, что содействует ускорению их прихода, описывая заранее условия и пути их появления.

Ницше предпочел свободу морали. Стремление к свободе — категорический императив Ницше, подразумевающий отрицание морали, сковывающей человеческую свободу.

«Сверхчеловек» у Ницше не антропологический тип. Сам он неоднократно принимается возражать Дарвину и, тем не менее, пользуется Дарвином: но пользуется как случайно подобранной на пути хворостиной, чтобы нанести удар подвернувшемуся под ноги схоластику; нанести удар, отшвырнуть, обтерев при этом руки.

«Обидная ясность», — морщится Ницше, упоминая о Джоне Стюарте Милле. В глубине души не мог не питать он подобных же чувств и к Дарвину. Но и о б и д н ы м и я с н о с т я м и дерется он в пылу боя. Всё для него, где нужно, — средство, чтобы сбить с ног. Здесь устроить католическую засаду из Боклей, Миллей, Дарвинов; там пустить под ноги почтенным ученым иезуита.

Сомнительно видеть в биологической личности сверхчеловека; еще сомнительнее, чтобы это была коллективная личность человечества. Скорее это — принцип, слово, логос или норма развития, разрисованная всеми яркими атрибутами личности. Это — икона Ницше. Учение Ницше о личности — ни теория, ни психология; еще менее это — эстетика или наука. Всего более это — мораль, объяснимая в свете теории ценностей — теории символизма.

Сознательно или бессознательно — Ницше «списывал» сверхчеловека с самого себя: осознавал биологическую «дефектность» материала и компенсировал ее духовным порывом в грядущее.

Свой идеал утонченной человеческой природы Ницше воссоздал в своих произведениях в образах «аристократа», «господина», «сверхчеловека». Но этот опыт умения владеть собой, быть господином своего «я», пренебрегать физическими страданиями и с уважением относиться к людям, эти «аристократические замашки» он воспитывал в себе с детства, развил в зрелом возрасте, определив свои нравственные качества и свою философию. Ницше — мягкий и нежный, аристократ по чувству и уму, ненавидит рабское, лакейское, слабое, медлительное, полумерное в человеке и в обществе, и преклоняется перед героями, героическими поступками, героической историей.

Не обязательно отыскивать «корни» сверхчеловека у Гёте, Гердера или Г. Мюллера (XVII в.) — сверхчеловек не имеет узконационального происхождения, встречаясь в древнегреческих, латинских и иных текстах. Если все же вернуться к немецким корням сверхчеловека, то стоит процитировать понимание этого понятия первым немцем, у которого обнаружен этот термин. Г. Мюллер, 1631 год: «Сверхчеловек — религиозный человек, истинный, богочеловек, христианин».

Конечно же, сверхчеловек — не изобретение Ницше: начиная с Калликла платоновского «Горгия», еще раньше — с мифологических фигур таких исторических личностей, как Гераклит или Эмпедокл, каждая эпоха, каждый народ, каждый великий мифотворец создавали своего — Зигфрида, Вотана, Гипериона, Кольхааса, Фауста...

Сверхчеловек — реакция Ницше на Ренессанс, Просвещение, утопию, социализм, любые упрощенные решения сверхсложных проблем.

Ж. Делёз:

Известно, что у Ницше теория высшего человека является критикой, разоблачающей самую глубокую или самую опасную мистификацию гуманизма. Высший человек должен вести человечество к совершенству, вплоть до полного его осуществления. Он должен восстановить в силе все качества человека, преодолеть его отчуждение, осуществить идеал целостного человека, поставить его на место Бога, превратить в такую силу, которая *утверждает и самоутверждается*.

Главное же, что — вопреки сусальным картинкам легкости и быстроты преобразований, рисуемым гуманистами и утопистами, — Ницше не питает иллюзий: наличный человек — все еще *непригодный* материал, в лучшем случае *почва*, на которой, при благоприятных условиях, может возникнуть новая порода, *отвечающая природе вещей, а не противостоящая ей*, — порода сверхчеловеков.

В. Б. Кучевский:

Сверхчеловек — это не супермен, в котором качества обычного человека гигантски умножены и возвышены. Словом «сверхчеловек» Ницше обозначает сущность человечества, которое, будучи человечеством нового времени, начинает входить в стадию завершения своей эпохи. Сверхчеловек — это новое и облагороженное человечество, пробужденное к невиданной ранее жизни прославлением своего собственного существа и освободившееся от заблуждений христианской религии и связанной с ней морали; это человек, находящийся в процессе самопреодоления и свободного творения самого себя на основе собственных законов с целью достижения высшего будущего.

«Сверхчеловек — смысл земли». Это значит, что сверхчеловек — цель волящего себя человечества, страстная воля на службе жизни, бытие, поставленное на службу «смыслу земли».

Сплочение массы в новое человечество идет вокруг сверхчеловеческого *типа*. Это не сверхчувственный идеал: он не есть также и когда-то

дающая о себе знать и где-то выступающая личность. В качестве высшего субъекта завершенной субъективности он есть чистое властвование воли к власти. Воплощением такой воли становится не человек, а тип; человек становится типическим человеком. Механизм типа впервые осмыслил и изобразил тоже Ницше. «Дело идет о типе; человечество есть просто материал для опыта, колоссальный избыток неудавшегося: руины». Новый человек в качестве своей трансцендентной задачи несет над собой самого себя таким, каким себя волит. Человеческая масса чеканит себя по типу, определенному ее мировоззрением. Простым и строгим чеканом, по которому строится и выверяется новый тип, становится задача абсолютного господства над землей...

Человек — грязный поток, сверхчеловек — море, ибо только оно способно принять в себя грязные потоки, сохранив чистоту.

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он — море, где может потонуть ваше великое презрение.

Презрение людей к себе, презрение автора к людям, презрение автора к самому себе, комментирует в «Эросе невозможного» А. Эткинд.

Как один из принципов цельного учения Ницше, сверхчеловек связан с другими принципами, особенно с волей к могуществу, он — высшее ее проявление. Человек, сущность которого волится изнутри воли к власти, суть сверхчеловек.

Слово «сверхчеловек» наименоывает сущность человечества, которое, будучи человечеством нового времени, начинает входить в завершение сущности его эпохи. «Сверхчеловек» — это человек, который *есть* на основе действительности, определенной волей к власти, и для нее.

Сущность сверхчеловека — это не охранная грамота для буйствующего произвола. Это основанный в самом же бытии закон длинной цепи величайших самопреодолений, в течение которых человек постепенно созревает для такого сущего, которое как сущее всецело принадлежит бытию, что своим выявлением творит целую эпоху, а именно последнюю эпоху метафизики.

Сверхчеловек — итог исторического развития, цель наличного человечества. Смысл существования «высших» людей — готовить почву для скачка, для взрыва жизненных сил, для нового уровня жизни. О том, что сверхчеловек — это не преобразование наличного человечества, а именно скачок, свидетельствуют следующие слова Ницше: «Человек как вид не прогрессирует. Правда, достигаются более высокие типы, но они не сохраняются. Уровень вида не подымается».

Ницше присущ исторический оптимизм — не вера в безоблачное будущее человечества, но в способность человека «превзойти себя», разрушить все старые ценности, отбросить заблуждения и иллюзии, расстаться с прошлым. Грядущее — преодоление наличного. Таков исторический путь. Высокое назначение человечества выражается в его способности создать большее, чем оно само.

Квинтэссенция понимания сверхчеловека — максима: «Все боги умерли: теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек!» Раз «Бог умер», человеку ничего не остается, кроме самообожения: «Тоска о божестве должна была сказаться среди своих мук в стремлении создать божество, и это выразилось в самообожении».

Сверхчеловек — новая, очередная ступень человечества. В моей интерпретации это не новый биологический тип, но начало нового витка эволюции — духовной. Это принципиально новый уровень духовности, новое состояние существования, подлинный Наблюдатель (если иметь в виду антропный принцип).

Не случайно, не красного словца ради поставил Ницше сверхчеловека в зависимость от смерти богов. На первый взгляд кажется, что Ницше помещает сверхчеловека на опустевшее место Бога. Но это не так. Если Бог мертв, то его место так и остается пустым, и не созидание, а только господство над сущим в виде господства над землей переходит к сверхчеловеку будущего.

Лев Шестов считал, что сверхчеловек — конец философии и начало проповеди Ницше, что функция сверхчеловека та же, что добра в учении Толстого. Но мне представляется, это не так: сверхчеловек и есть вершина его философии, ее замковый камень, скрепляющий весь свод.

Ницше принадлежит постановка проблемы разделения «свободы от» и «свободы для». Одно дело стать господином в собственной уединенной от мира «пустыне», другое — стать творцом новой жизни. Нельзя быть свободным, постоянно следуя общественным установлениям. Отличительное качество сверхчеловека — устремленность в будущее, в мир подлинной свободы. «Сверхчеловек — это «дальнее» (синоним идеального) и противоположен «ближнему» во временно-пространственном и психологическом плане». «Свободный от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но твой ясный взор должен поведать мне: свободный для чего?»

Сверхчеловек — это сверхсознание, противостоящее недосознанию «последних людей», это антитеза «организованному счастью» бюргера, мещанина с их убогими ценностями: «свободой от», желанием иметь, а не быть.

Сверхчеловек — это оппозиция утопии, декларация подвижничества и героизма стоической личности, идущей своим путем.

Ницше не трактовал сверхчеловека как человека власти. Это — сильный, творческий, благородный, великодушный человек, которому свойственны постоянная напряженность духа, самоконтроль и самообуздание, независимость, нонконформизм, жизнерадостность, веселость, сила страсти, *amor fati*.

Сверхчеловек — это самопреодолевающая и самосозидающая личность, это духовная неумность, преобразующая сила, устремленность в грядущее.

Чем свободнее и сильнее индивидуум, тем *взыскательнее* становится его любовь; наконец, он жаждет стать сверхчеловеком, ибо все прочее не *утоляет* его любви.

Сверхчеловек — опора Ницше в его борьбе против апокалипсиса стадности, вырождения, тоталитаризма, когда старое мельчает, крошится и погибает. Это значит, что нарождается новая, высшая форма существования. Самые страдания, симптомы упадка предзнаменуют эпохи усиленного движения вперед, фактически налицо альтернатива: или «автономное стадо», или сверхчеловек, либо общество человеко-машин, либо высшая культура.

Сверхчеловек — это то, что должны совместно создать все люди, лучшее, высшее человечество, которое может появиться в наших детях и внуках. Нынешнее человечество уже чревато будущим; его муки — муки рождения.

Сверхчеловек есть продолжение человека, наиболее творческое в нем, совокупность всего, что есть великого в человеке, высшая форма существования человека.

Именно сверхчеловек — творец новых ценностей, их разрушитель и обновитель одновременно (тот, «кто разбивает скрижали ценностей, разрушитель, преступающий, но это и есть созидающий»). По Хайдеггеру, сверхчеловек — это человек с новыми ценностями, радикально превосходящими старые.

Сверхчеловек — это мощь персонального начала, «тип высшей гармоничности», свободное служение культурному росту человека. Он не стремится быть, как все, не боится выйти из ряда, чужд лживым добродетелям и лицемерным массовым истинам.

Познание, созидание, труд, добродетель, стремление к отказу от своего бытия, свобода — все это человек должен направить на создание необходимых условий для появления сверхчеловека, который должен в составе универсума занять место человека.

Сверхчеловек — это следующая ступень в восхождении духа, новый высший образец, новый высший тип земного существования, ставший на место прежнего, обремененного слабостями и иллюзиями *homo sapiens*. «Новый человек утверждает в господстве над сущим настолько, насколько воспитывает и дисциплинирует сам себя».

Сверхчеловек несовместим с равенством, общезначимостью, соборностью, «объективностью», ибо является носителем индивидуального человеческого начала, выражением экзистенциального существования. Наивысшим идеалом человечества является не призрачное счастье или бесконечный прогресс, но — лучшие представители человеческого рода, противостоящие ущербной массе.

Идея Сверхчеловека вырастает из экзистенции. Сверхчеловек не может занять место субъекта. Ницше не только вскрыл слабые места субъективизма, он поставил под сомнение само место универсального субъекта. Экзистенция становится границей универсализации субъекта.

Сверхчеловек Ницше — это высшее выражение человеческой экзистенциальности, вершина нового типа эволюции — восхождение личности человека.

Теорией Сверхчеловека Ницше пытался улучшить экзистенцию человечества. Возможно, этот идеал непрактичен и неясен, но нам может

служить ключом то, что личности, которые всецело посвящают себя человечеству, могут быть рассмотрены Сверхчеловеком как достигшие наивысочайшего смысла межсубъективной экзистенции.

Сверхчеловек — греза Ницше, художественный образ несуществующей действительности, продиктованный творческой волей поэта. Сверхчеловек противопоставлен действительности, разлагающей личность.

Философское *credo* Ницше складывается из двух элементов, по существу противоположных. В основе его лежит греза художника о нормальном человеке, способном пройти все ступени развития и дать разновидность. В себе осознал Ницше эту грезу как веление инстинкта самосохранения; инстинкту подчинил логическое мышление; подобно Авенариусу, он — философ алогизма. Но глубже Авенариуса понял он невозможность проповеди алогизма в терминах теоретической философии. Вот почему не доказательство, а внушение полагает он в основу своего метода. Вот почему на творчестве, а вовсе не на теории знания базирует он свою систему. Из теоретика превращается в практика. «Мое учение о сверхчеловеке, — как бы говорит он, — внушено мне инстинктом самосохранения, рисующим символ будущего человека; мне остается показать, каков путь осуществления этой грезы». Тут вступает в свои права уже не художественный, но моральный момент его философии: к образам будущего прокладывает он тропу через косность среды; приглашает и нас упражняться гимнастикой творчества, чтобы развить мускулы, способные выковать ценность; так предлагает Ницше свою реальную телеологию; она состоит из ряда практических, последовательно расположенных советов, напоминающих по форме изречения Лао Цзы, Будды, Христа, Магомета; советы эти обращены к внутреннему опыту учеников; внешний же опыт — биология, наука, философия — всё это для Ницше средства подачи сигналов.

Художественный символизм есть метод выражения переживаний в образах. Ницше пользуется этим методом: следовательно, он — художник; но посредством образов проповедует он целесообразный отбор переживаний: образы его связаны, как ряд средств, ведущих к цели, продиктованной его жизненным инстинктом: вот почему метод изложения Ницше имеет форму «телеологического символизма».

Да, философия Ницше — только система символов, «захватывающих невыразимую глубину нашей души», способ художественного обоснования этой поэтической символики...

Заратустра — вполне библейский тип, апостол, свидетель нового свершения. По словам И. Т. Войцкой, Заратустра возвращал человека ко временам богоявления, то есть творения смысла бытия. Здесь не хватает слова «нового» — нового смысла бытия. Поскольку все возвращается, возвращается и Бог, принявший облик сверхчеловека (но ведь и в христианстве Бог — высшее существо и сын земли одновременно).

Я люблю тех, кто не умеет жить иначе как чтобы погибнуть, ибо идут они по мосту.

Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели и стрелы тоски по другому берегу.

Я люблю тех, кто не ищет за звездами основания, чтобы погибнуть и сделаться жертвою, — а приносит себя в жертву земле, чтобы земля некогда стала землею сверхчеловека.

Я люблю того, кто живет для познания и кто хочет познавать для того, чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек. Ибо так хочет он своей гибели.

Я люблю того, кто трудится и изобретает, чтобы построить жилище для сверхчеловека и приготовить к приходу его землю, животных и растения: ибо так хочет он своей гибели...

...Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не воздаст ее: ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя...

...Я люблю того, кто бросает золотые слова впереди своих дел и исполняет всегда еще больше, чем обещает: ибо он хочет своей гибели.

Я люблю того, кто оправдывает людей будущего и искупляет людей прошлого: ибо он хочет гибели от людей настоящего.

...Я люблю того, чья душа переполнена, так что он забывает самого себя, и все вещи содержатся в нем: так становятся все вещи его гибелью.

Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем: так голова его есть только утроба сердца его, а сердце его влечет его к гибели.

Я люблю всех тех, кто является тяжелыми каплями, падающими одна за другой из темной тучи, нависшей над человеком: молния приближается, возвещают они и гибнут как провозвестники.

Смотрите, я — провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи; но эта молния называется сверхчеловек.

Сверхчеловек — высокая утопия Ницше, вознесенная даже над лучшими из людей, «высокими», «железными» людьми, подобными Бетховену или Гёте. Тем более это не «герои», триумфаторы, полководцы, вожди, «фанатики идеалов, имеющие плоть и кровь». Сверхчеловек — надежда на грядущего человека, равного Богу, цель человеческого существования:

Наша суть — создать более высокое существо, чем мы сами. Создать за пределами самих, себя!.. Так же, как всякое желание предполагает цель, так же и человек предполагает существо, которого нет, но которое составляет цель его существования.

...Когда-нибудь он должен к нам прийти, *избавляющий* человек, который дает земле ее цель... этот победитель бытия и ничто.

Сверхчеловек — утопия, но и антиутопия тоже: во-первых, потому, что — воля к мощи, во-вторых, потому что в нем Ницше видит предел эволюции, высшую ступень развития, воплощенный творческий инстинкт.

«Сверхчеловек» для Ницше — более реальная греза, нежели реальные условия среды.

«ЗАРАТУСТРА»

Это или поэзия, или пятое евангелие,
или еще что-нибудь иное, что не имеет
названия; это самое серьезное, самое
удачное из многих произведений и при-
емлемое для всех...

Ф. Ницше

*О, Заратустра,
лютейший Нимрод!
Недавно еще ловец перед Господом,
тенета всяческой добродетели,
стрела злого!
Теперь —
уловленный самим собою,
своя собственная добыча,
вбуравленный в самого себя...*

*Теперь —
одинокий с собою,
двоящийся в собственном знании,
среди ста зеркал
искаженный перед самим собою,
среди ста воспоминаний
полный сомнений,
усталый от каждой раны,
знобимый каждым морозом,
душимый собственными веревками,
Самопознающий!
свой собственный палач!*

*Зачем связал ты себя
веревкой своей мудрости?
Зачем завлек ты себя
в рай древнего змия?
Зачем забрался ты
в себя — в себя?*

*Ты искал тягчайшего бремени:
и вот нашел ты себя —
ты не отбросишь себя от себя...*

*Подслушивая,
скорчиваясь,
человек, уже не стоящий прямо!
Ты еще срастешься со своим гробом,
сросшийся дух!..*

*А недавно еще такой гордый,
на всех ходулях своей гордости!
Недавно еще отшельник без Бога,
удинившийся вдвоем с дьяволом,
багряный принц всяческой заносчивости!..*

*Теперь —
между двумя Ничто,
искривленный
вопросительный знак,
усталая загадка —
загадка для хищных птиц...
— Они уж «разгадают» тебя,
они алчут твоей «разгадки»,
они уже реют вокруг тебя, их загадки,
вокруг тебя, повешенный!..
О, Заратустра!..
Самопознающий!..
Свой собственный палач!..*

«Заратустра» занимает в мировой литературе место рядом с нордическими сагами, Авестой, священными и руническими текстами, старыми эпосами и, с другой стороны, рядом с «Фаустом» или «Улиссом». Особняком поэма стоит и в творчестве самого Ницше.

Эта необыкновенная музыкально-философская книга вообще не укладывается в привычные каноны анализа. Ее органическая уникальность требует не столько осмысления, сколько сопереживания... Необычайная игра слов, россыпи неологизмов, сплошная эквилибристика звуковых сочетаний, ритмичность, требующая не молчаливого чтения, а декламации. Неповторимое произведение, аналог которому вряд ли сыщется в мировой литературе.

Мне представляется, творец имеет право на самооценку собственного творения, более того, у достаточно критичного автора самооценка творения вполне может оказаться адекватной ему. Относится это к Ницше и «Заратустре»? Ницше называл «Заратустру» творением, рядом с которым все созданное людьми выглядит убогим и преходящим, чем вызвал множество упреков в непозволительности такого рода самоосанни. Конечно, надо учитывать утрату больным человеком тормозящих реакций, но эйфория еще не значит «слепота». Можно как угодно относиться к книге, написанной «под Библию», но совершенно очевидно, что книга эта вдохновенна и самобытна. Я категорически не согласен с ее оценкой высоким авторитетом, коим считаю Томаса Манна, увидевшим

в «Заратустре» безликую, бесплотную химеру, лишенную какой бы то ни было объемности: «Он весь состоит из риторики, судорожных потуг на остроумие, вымученного, ненатурального тона и сомнительных пророчеств — это беспомощная схема с претензией на монументальность, иногда довольно трогательная, чаще всего — жалкая; нелепица, от которой до смешного один только шаг».

Мне было больно читать эти слова, вполне естественные для кого-либо из *наших*, но не в устах творца «Иосифа и его братьев». Впрочем, обвиняя автора «Заратустры» в подготовке почвы фашизму и рассматривая его творчество сквозь призму только что отгремевшей самой бесчеловечной в истории войны, братья Манны наговорили много опаснейшей чепухи о благах другого человеконенавистничества с красной, а не коричневой, окраской. Завихрения трезво-мыслящих гениев, оказывается, ничуть не меньше завихрений гениев экстатических. Внутри каждого Гомера — свой Зоил.

«Так говорил Заратустра» — самая музыкальная книга Ницше, основная концепция которой — мысль о вечном возвращении. Рассказывая историю ее появления в «Ессе Ното», Ницше вспомнил предзнаменование, пережитое как возрождение, во время прогулки вдоль озера Сильваплан в августе 1881 года. Ницше беременел книгой 18 месяцев и завершил первую часть в тот священный час, когда в Венеции умер Рихард Вагнер, в феврале 1883 года. Впрочем, в это время у него был иной кумир — Лу Саломе, стихотворение которой он упоминал как источник вдохновения: «Кто сумеет извлечь вообще смысл из последних слов этого стихотворения, тот угадает, почему я предпочел его и восхищался им: в них есть величие. Страдание не служит возражением против жизни: “Если у тебя нет больше счастья, чтобы дать мне его, ну, что ж! *у тебя есть еще твоя мука...*”»

Ницше полагал, что «Заратустра» *снизошел* на него, стал его *великим здоровьем*, посланной свыше наградой, неоткрытым материком, «границ которого еще никто не видел, по ту сторону всех доселе известных стран и закоулков идеала». Заратустру он воспринимал не столько даже как личность, но как огромный, странный, загадочный, богатый прекрасным, страшным и Божественным мир. Еще — как идеал духа, «который наивно, т. е. невольно и от избытка полноты и мощи, играет всем, что доселе называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным...»

Это действительно вдохновенная книга, написанная с огромным душевным подъемом. Он ощущал себя лишь орудием, медиумом высших сил. Вот, пожалуй, одно из лучших в мировой литературе признаний о том, как *это* происходит:

При самом малом остатке суеверия, действительно, трудно защититься от представления, что ты только воплощение, только орудие, только медиум высших сил. Понятие откровения в том смысле, что нечто внезапно с несказанной уверенностью и точностью становится видимым, слышимым и до самой глубины потрясает и опрокидывает человека, есть простое описание фактического состояния. Слышится без поисков; берешь, не спрашивая, кто здесь дает; как молния, вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме без колебаний — у меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряже-

ние которого разрешается порою в потоках слез, при котором шаги невольно становятся то бурными, то медленными; совершенное бытие с самым ясным сознанием всего себя при бесчисленном множестве тонких дрожаний до самых пальцев ног; глубина счастья, где самое болезненное и самое жестокое действуют не как противоречие, но как нечто вытекающее из поставленных условий, как необходимая окраска внутри такого избытка света; инстинкт ритмических отношений, охватывающий далекие пространства форм, — продолжительность, потребность в *далеко напряженном ритме* есть почти мера для силы вдохновения, род возмещения за его давление и напряжение... Все происходит в высшей степени произвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, силы, божественности... Произвольность образа, символа есть самое замечательное; не имеешь больше понятия о том, что образ, что сравнение, все приходит как самое близкое, самое правильное, самое простое выражение. Действительно, кажется, вспоминая слова Заратустры, будто вещи сами приходят и предлагают себя в символы. («Сюда приходят все вещи, ласкаясь к твоей речи и заискивая у тебя: ибо они все хотят скакать верхом на твоей спине. Верхом на всех символах скачешь ты здесь ко всем истинам. Здесь всякое бытие хочет стать словом, всякое становление хочет здесь научиться у меня говорить»). Это *мой* опыт вдохновения; я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетие назад, чтобы найти кого-нибудь, кто может мне сказать: «Это и мой опыт».

*Высокое созвездье Бытия!
Скрижаль вековых писем!
Ты ли это?
Или то, чего не видал никто,
твоя неизреченная красота,
более не бежит от моих взоров?*

*Щит необходимости!
Скрижаль вековых писем!
Не тебе ведомо:
единственно я люблю
то, что внушает ужас всем:
вечность твою,
необходимость твою!
Ибо любовь моя вечно воспламеняется
только от искры необходимости.*

*Щит необходимости!
Высокое созвездье Бытия!
Не достигнутое ни единым желаньем,
не запятнанное ни единым отказом,
вечное согласие Бытия,
вечное согласие Бытия — это я,
ибо я люблю тебя, Вечность!*

Затем наступила отрицательная реакция — две недели он лежал обессиленный и больной в Генуе. Это действительно переживалось как послеродовой кризис: тоска, дурные запахи, навязчивые слова, ликующий мрак «Ночной песни».

Летом, вернувшись домой, к священному месту, где мне сверкнула первая молния мысли о «Заратустре», я нашел вторую его часть. Десяти дней было достаточно; ни на первую, ни на третью, ни на последнюю часть я ни в коем случае не употребил больше времени. В следующую за тем зиму, под алкионическим небом Ниццы, которое тогда заблестело в первый раз в моей жизни, я нашел третью часть «Заратустры» и окончил его. Меньше года хватило на все.

Может быть, тогда он в последний раз ощущал здоровье, одухотворение и мощь духа. Он много танцевал; подражая своему герою, совершал, снова-таки, как он, пяти-шестичасовые прогулки в горах. «Я хорошо спал, я много смеялся — у меня были выносливость и терпение».

Затем эйфория сменилась диким упадком, бедствием. «Дорого искупается — быть бессмертным: за это умирают не один раз в жизни». Но, увы, мало кому довелось испытать это страшное, угнетающее, придавливающее чувство:

Есть нечто, что называю я злобой великого: все великое, всякое творение, всякое дело, однажды совершенное, немедленно обращается *против* того, кто его совершил. Именно потому, что он его совершил, он теперь *слаб*, он не выдерживает более своего дела, он не смотрит ему в лицо.

Первые три части «Заратустры», если не считать подготовительного продумывания, были написаны — с перерывами на восстановление сил — на протяжении 1883 года, хотя непосредственно время написания заняло меньше месяца. После каждой части требовался срок, дабы прийти в себя. Четвертая часть потребовала уже нескольких приемов: начатая в Цюрихе в сентябре 1884 года, она обрабатывалась в Ментоне и была закончена в Ницце в феврале 1885-го. Рукопись этой части снабжена пометкой: «Только для моих друзей, но не для опубликования». Ницше считал ее исключительно личной и издал сорок экземпляров лишь в подарок «тем, кто этого заслужил», из коих подарил только семь — немногим сохранившимся друзьям. Ницше вынашивал планы написать еще пятую и шестую части, но дальше наметок дело не двинулось: он исчерпался.

Так и не получивший широкой известности, к моменту написания «Заратустры» он был уже забыт теми немногими, кому стал известен. Семь подаренных экземпляров показательны тем, что дарить больше было некому.

Непостижимо чужд стал Ницше эпохе. Горько читать его письма, в которых он робко извиняется за просьбу ознакомиться с его книгой. Не успеха, не славы, даже не простого человеческого сочувствия ждал он: он надеялся найти хоть какой-нибудь отклик на сжигающие его мысли. И все напрасно! Даже самые близкие люди — сестра, Овербек, Роде, Буркхардт — избегали в ответных письмах всяких суждений, словно тягостной повинности, настолько непонятны им были боль и страдания его лихорадочного разума.

«Заратустру» Ницше воспринимал как взрыв внутреннего дионисийства, опустошающего действия, приобщения к сонму самых великих — он сам перечисляет: Гёте, Шекспир, Данте, поэты Веды. «Я замыкаю круги вокруг себя в священные границы; все меньше поднимающихся со мною на все более высокие горы: я строю хребет из все более священных гор».

Велика та лестница, по которой он поднимается и спускается; он дальше видел, дальше хотел, больше *мог*, чем какой бы то ни было другой человек. Он противоречит каждым словом, этот самый утверждающий из всех умов; в нем все противоположности связаны в новое единство. Самые высшие и самые низшие силы человеческой природы, самое сладкое, самое легкомысленное и самое страшное вытекают у него из единого источника с бессмертной уверенностью. До него не знали, что такое глубина, что такое высота, еще меньше знали, что такое истина. Нет ни одного мгновения в этом откровении правды, которое было бы уже предвосхищено, угадано одним из величайших умов.

Ницше так упоен творением, что не может удержаться, чтобы в «Ессе Ното» не заняться самоцитированием. Он упоенно цитирует собственного Заратустру-Диониса. «Во все бездны несу я свое благословляющее утверждение...» *«Но это и есть еще раз понятие Диониса».*

Каким языком будет говорить этот ум, когда он будет говорить сам с собою? Языком *дифирамба*. Я изобретатель дифирамба. Пусть послушают, как говорит Заратустра сам с собою *перед восходом солнца* (III, 142): таким изумрудным счастьем, такой божественной нежностью не обладал еще ни один язык до меня. Даже самая глубокая тоска Диониса все еще обращается в дифирамб; я беру в доказательство *«Ночную песнь»* — бессмертную жалобу быть обреченным из-за переизбытка света и власти, из-за своей солнечной природы никогда не любить.

«Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь только пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного.

Что-то неутоленное, неутолимое есть во мне; оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне; она сама говорит языком любви.

Я — свет: ах, если б быть мне ночью! Но в том и одиночество мое, что я опоясан светом.

Ах, если б быть мне темной ночью! Как упивался бы я у сосцов света!

И даже вас благословлял бы я, вы, звездочки, мерцающие, как светящиеся червяки на небе! — и был бы счастлив от ваших даров света...

О, это вы, темные ночи, создаете теплоту из всего светящегося! О, только вы пьете млеко и усладу у сосцов света!

Ах, лед вокруг меня, моя рука обжигается об лед! Ах, жажда во мне, которая томится по вашей жажде!

Ночь: ах, зачем я должен быть светом! И жаждою тьмы! И одиночеством!

Ночь: теперь рвется, как ключ, мое желание — желание говорить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного».

Так никогда не писали, никогда не чувствовали, никогда не страдали: так страдает бог, Дионис. Ответом на такой дифирамб солнечного уединения в свете была бы Ариадна... Кто, кроме меня, знает, что такое Ариадна!.. Ни у кого до сих пор не было разрешения всех таких загадок, я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь даже видел здесь загадки. Заратустра определил однажды, со всей строгостью, свою задачу — это также и моя задача, — так что нельзя ошибиться *в смысле*: он есть *утверждающий* вплоть до оправдания, вплоть до искупления всего прошедшего.

«Я хожу среди людей, как среди облаков будущего: того будущего, что жду я.

И в том все мое творчество и стремление, чтоб собрать и соединить воедино все, что является обломком, загадкой и ужасной случайностью.

И как мог бы я быть человеком, если б человек не был также поэтом, отгадчиком и избавителем от случая!

Спаси тех, кто прошли, и преобразовать всякое «было» в «так хотел я» — лишь это я назвал бы избавлением».

В другом месте он определяет так строго, как только возможно, чем может быть для него «человек» — ни предметом любви, ни даже предметом сострадания — даже над *великим отвлечением* к человеку Заратустра стал господином: человек для него есть бесформенная масса, материал, безобразный камень, требующий еще ваятеля.

«Не *хотеть* больше, не *ценить* больше и не *созидать* больше: ах, пусть эта великая усталость навсегда останется от меня далекой!

Даже в познании чувствую я только радость рождения и радость становления моей воли; и если есть невинность в моем познании, то потому, что есть в нем *воля к рождению*.

Прочь от бога и богов тянула меня эта воля: и что осталось бы создавать, если б боги существовали!

Но всегда к человеку влечет меня сызнова моя пламенная воля к созиданию; так устремляется молот на камень.

О, люди, в камне дремлет для меня образ, образ моих образов! Ах, он должен дремать в самом твердом, самом безобразном камне!

Теперь дико устремляется мой молот на свою тюрьму. От камня летят куски; какое мне дело до этого?

Кончить хочу я этот образ: ибо тень подошла ко мне — самая молчаливая, самая легкая приблизилась ко мне!

Красота сверхчеловека приблизилась ко мне, как тень. Что мне теперь до богов!..»

Я отмечаю последнюю точку зрения: подчеркнутая строфа даст доступ к ней. Для *дионисовской* задачи твердость молота, *радость даже при*

уничтожении, принадлежит самым решительным образом к предварительным условиям. Императив: «Станьте тверды!» — самая глубокая уверенность в том, что все *созидающие тверды*, есть истинный отличительный признак дионисовской природы.

*Моя душа
со своим ненасытным языком,
она лизала уже все хорошее и дурное,
она погружалась в каждую глубину,
Но постоянно, подобно пробке,
она всплывает снова наверх,
она играет, как масло на темных морях:
за эту душу меня называют счастливым.*

*Кто мне отец и мать?
Не отец ли мне принц Избыток
и не мать ли тихий Смех?
Не породил ли этот брачный союз
меня, загадку-зверя,
меня, светлое чудовище,
меня, расточителя всяческой мудрости,
Заратустру?*

*Больной ныне от нежности,
теплый ветер,
сидит Заратустра, ожидая, на своих горах —
в собственном соку
ставший сладким и сварившийся,
под свою вершиную,
под своим льдом,
усталый и блаженный,
созидающий в свой седьмой день.*

*— Тише!
Истина витает надо мною,
подобно облаку —
незримыми молниями разит она меня.
По широким медленным лестницам
восходит ее счастье ко мне:
прийди, прийди, возлюбленная Истина!*

*— Тише!
Это моя Истина! —
Из медленных глаз,
из бархатного трепета
разит меня ее взор,
милый, злой взор девы...*

*Ты жертвуешь собою, тебя мучает твое богатство,
ты раздаешь себя,
ты не щадишь себя, ты себя не любишь.
Великая мука понуждает тебя к постоянному действию,
твоя палата ломится добром, твое сердце ломится
добром,
но никто не благодарит тебя более...*

*Тебе надо стать беднее,
глупый мудрец,
если ты хочешь, чтобы тебя любили.
Любят лишь страждущих,
даруют любовь только голодающим:
раздари сперва самого себя, Заратустра!*

Я — твоя истина...

Чем был Заратустра для самого Ницше? Грядущей реальностью? Лирической фантазией? Благотворной иллюзией? Личным источником сил? Я не думаю, что на эти вопросы необходимы ответы. Хорошие вопросы не требуют ответов. Сам Ницше часто повторял изречение Шиллера: «Имей смелость мечтать и лгать». Заратустра — не ложь Ницше, но та его истина, которую он именовал ложью. Иными словами — это Образ, Миф, Идея, но те, которые и есть сущность реальности, в данном случае реальности грядущей.

Он творил Заратустру, а Заратустра творил его, Ницше. Он хотел походить на своего героя и питаться его энергией, надеждой, любовью...

Да, я знаю, какая опасность грозит тебе, но заклинаю тебя моею любовью и моею надеждой — не теряй твоей любви и твоей надежды! Благородному человеку всегда грозит опасность стать дерзким, насмешливым или разрушительным. Увы! Я знал многих благородных людей, которые потеряли свою самую высокую надежду и с тех пор стали клеветать на нее... Моею любовью и моею надеждой я заклинаю тебя: не уничтожай того героя, который живет в твоей душе! Верь в святость твоей высокой надежды!

«Заратустра» — одна из величайших книг в истории культуры, победа творца над горестями и невзгодами жизни, сила, выкованная из слабости, экстаз, рожденный из боли.

В первой части «Заратустры» нет будоражащей мысли Ницше о вечном возврате — ее вытесняет сверхчеловек, предзнаменованием которого является Заратустра, новый пророк Благой Вести. В одиночестве он обрел внутри себя обещание счастья, которое должен принести людям. Еще он несет в себе предвидение великого будущего, которое станет наградой человеку за его великий труд. Подсознательно Ницше чувствовал несовместимость идей вечного возврата и сверхчеловека, но, видимо, он уже задумал обогатить доктрину вечного возврата мыслью об эволюции.

Сверхчеловеком он как бы отвечает на поставленный еще в юности вопрос, можно ли облагородить человечество. Положительным ответом на него и является Заратустра. Но он — это и ответ Ницше Вагнеру на вызов, брошенный Парсифалем: не очищение человечества кровью Христа, но пробуждение его к активному действию, принцип такого действия, способность избранных сынов человечества самим обновить и очистить свою кровь — вот кто такой Заратустра.

Г. Рачинский:

Став логикой своей могучей мысли, как ему кажется, по ту сторону добра и зла, герой замечает, что, пока он будет идти только этим путем научного убеждения, он не победит людей. Старая мораль, на которую он нападает, живет не силою аргументов ее защитников, а убедительностью и красотой того типа, в котором она для большинства людей воплощается. Этот тип вы все знаете, это — великий Победитель зла и смерти, «победы знамение Носящий». Вот кто действительный враг. Необходимо противопоставить ему живой образ «сверхчеловека», а не научную или общественно-политическую идею. Создается могучий учитель — «Заратустра», и для возвеличения его напрягаются все силы недюжинного, если только не первоклассного, поэтического таланта. Опять, как в молодые годы, звучат дифирамбы.

Для Ницше определяющим понятием является «воспитание сверхчеловека»; это означает, что сверхчеловек — результат новой ветви эволюции, эволюции духа. «Слово «воспитание» значит: перерождение посредством новой, высшей оценки ценностей, которые должны стать властителями человечества, нормой его поведения и основой непонимания». Заратустра может быть понят лишь в совокупности со всем корпусом идей Ницше, особенно с идеей переоценки всех ценностей. Собственно, сам Заратустра и есть новая система ценностей, новый критерий оценки жизни.

Ф. Ницше:

Никто не спросил меня, а об этом следовало бы спросить, что именно означает в моих устах, в устах первого имморалиста, имя Заратустры: ибо то, что дает этому персу совершенно исключительное положение в истории, составляет с моими идеями полную противоположность. Заратустра первый увидел в борьбе добра и зла главный рычаг, управляющий движением вещей, — переработка моральных понятий в метафизические, каковы сила, причина, цель в себе — вот в чем лежит его значение. Но самый этот вопрос, будучи поставлен, заключал бы в себе, по существу дела и свой ответ. Заратустра создал это роковое заблуждение — мораль, следовательно, он же и должен быть первым, кто познал его. Не потому только, что он обладает более долгим и разнообразным опытом, чем когда-либо обладал мыслитель, — вся история представляет живое опровержение мысли о так называемом «нравственном мировом порядке»: — но, что гораздо важнее, потому, что Заратустра правдивее всякого другого мыслителя. Его учение, и только оно одно, объявляет правдивость высшей добродетелью — в противоположность **трусости** идеалистов, обра-

щающихся в бегство перед реальностью; в Заратустре больше физического мужества, чем во всех мыслителях вместе взятых. Говорить правду и **хорошо стрелять** из лука: такова персидская добродетель. Понятно ли я выражаюсь?.. Самопреодоление морали посредством правдивости, самопреодоление моралистов путем превращения в собственную противоположность — в «я»: вот что означает в моих устах имя Заратустры.

Последние страницы первой книги «Так говорил Заратустра», религиозные по самому высокому критерию, есть гимн новому человеку, новой земле, новой добродетели, новой истине, обновленному его идеями грядущему:

«Оставайтесь верны земле, братья мои, со всем могуществом добродетели вашей! Ваша дарящая любовь и познание, да послужат они смыслу земли! Так прошу я и заклинаю вас.

Не позволяйте добродетели вашей улетать от земного и биться крыльями о вечные стены! О, как много добродетели улетало и прежде!

Верните — как сделал это я, — верните улетевшую добродетель назад, на землю, снова к телу и жизни: да придаст она земле свой смысл, смысл человеческий!

Сотни раз уносились прочь и сбивались с пути и дух, и добродетель. И поныне живут в нашем теле все эти мечты и заблуждения: нашей плотью и волей стали они.

Сотни раз уже пытались вырваться и заблуждались дух и добродетель. Да, человек и был их попыткой вырваться! О, сколько невежества и заблуждений стало в нас плотью!

Не только разум тысячелетий, но и безумие их проявляется в нас. Опасно быть наследником.

Продвигаясь шаг за шагом, боремся мы с исполином-случаем, и над человечеством до сих пор еще тяготееют неразумие и бессмыслица.

Да послужат ваш дух и ваша добродетель смыслу земли, братья мои: да будет ценность всех вещей вновь установлена вами! Ради этого должны вы бороться! Во имя этого — созидать!

Познавая, очищается тело; приобретая опыт знания, возвышается оно; у познающего освящаются все влечения; радостна душа у возвысившегося.

Врач, исцелись сам: тогда исцелишь ты и больного твоего. Но лучшим исцелением будет для него, если он своими глазами узрит того, кто сам исцелил себя.

Есть тысячи троп, троп еще не хоженных; тысячи здоровых натур и скрытых островов жизни. До сих пор не открыты еще и не исследованы человек и земля его.

Бодрствуйте и внимайте, одинокие! Таинственные ветры несутся на крыльях из будущего; до чуткого уха долетает Благая Весть.

Вы, ныне одинокие, вы, покинувшие людей, некогда вы станете народом: от вас, избравших самих себя, должен произойти народ избранный, а от него — Сверхчеловек.

Поистине, земля еще станет местом выздоровления! И уже веет вокруг вас новое благоухание, несущее исцеление и новую надежду!»

«ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК», ИЛИ ЧЕЛОВЕК-МАССА

Вся наша социология не знает другого инстинкта, кроме инстинкта стада, т. е. *суммированных нулей*, где каждый ноль имеет «одинаковые права», где считается добродетелью быть нулем.

Ф. Ницше

Человек заботится о пропитании, о семье, о карьере, он честолюбив, у него неврозы, но у него нет больше никакого содержания в метафизическом смысле.

А. Вебер

У Ницше есть фраза, которая, как мне кажется, является ключевой для понимания его «социологии», его «религии», может быть, его философии в целом. Вот она: «Религиозность, если только она не поддерживается ясной мыслью, вызывает у меня отвращение». Как это понимать? Конечно, здесь может быть множество толкований, но суть сказанного переводится приблизительно следующим образом: ни во что нельзя верить скопом, соборно, бездумно; вера персональна и должна быть не просто поддержана собственной ясной мыслью, но — глубоко пережита в собственном опыте. Величайшая опасность массы — массовая вера, так сказать, полученная по наследству. Сегодня — получили, завтра — промотали...

Соборная вера не может быть истинной, как не может быть моральной: «Вначале ложь была моральна. *Утверждались* стадные мнения».

Ницше категорически отвергал соборность, общий путь, навязывание «учителями человечества» истин и моделей жизни. Он называл это «бормотанием», опасным для жизни.

Жизнь дает нам невиданное богатство типов, изобилие всевозможных видоизмененных и переходных форм; а какой-то жалкий хранитель нравственности говорит нам на это: «Нет, человек должен быть другим». Он, этот несчастный брюзга, даже не знает, каким именно должен быть человек. Он рисует на стене свое изображение и говорит: «Ессе Ното!» «Мораль, не принимающая в расчет и в соображение никаких требований жизни,

есть специфическое заблуждение, не заслуживающее ни малейшего сострадания... Мы же люди, не знающие нравственности, мы широко раскрываем свое сердце для всякого рода понимания, уразумения, согласия...»

Ницше считал чистой нелепостью объяснение сущности человека какой-то целью, идеалом. И потому — всякое воспитание для него чревато подавлением личности. В прологе к «Веселой науке» мы читаем:

*Мой нрав и речь влекут тебя ко мне,
И ты уже готов идти, и ты уже идешь за мной?
Но нет! останься верен сам себе и следуй только за самим собой;
Тогда, хотя и медленно, но все же ты пойдешь за мной.*

И в другом месте:

*Назад! Слишком близко идете за мной, наступая на пятки!
Назад! Как бы истина головы вам не размозжила!*

Было бы в высшей степени ошибочным видеть в Ницше охлофоба — весь пафос его «антинародничества» обращен не против народа как такового — против усреднения, уравнивания.

ПРИЗНАНИЕ МУДРЕЦА

*Народу чужд, но заодно с народом —
Под синим, под кромешным небосводом,
Погодам вопреки и непогодам!*

Антидемократизм Ницше — это отказ от равенства неравных, опасение, что на практике демократия вырождается в охлократию, «всеобщее голосование», т. е. господство «низших людей». Собственно, власть кухаркиных детей — практическая реализация лозунга «Кто был ничем, тот станет всем» — суть осуществление того, чего опасался и о чем предупреждал Ницше.

Ницше предвидел, что скрывается за фасадом демократической фразы: «То, что теперь так называется (речь идет о демократии), отличается от старейших форм правления только тем, что в колесницу впрягли новых «коней»: улицы еще старые, и колеса тоже еще старые...»

Раз существует власть, значит существуют господство и подчинение, те, кто командует, и те, кто должны подчиняться. Массы — носители подчинения, господа — повелевающие, как бы те и другие себя ни камуфлировали.

Массы представляются мне достойными внимания только в трех отношениях: прежде всего, как плохие копии великих людей, изготовленные на плохой бумаге со стертых негативов, затем, как противодействие великим людям и, наконец, как орудие великих людей; в остальном побери их черт и статистика!

Есть посредственность, серость, невыразительность и есть выдающиеся, великие люди — и да пребудет вечно! Ницше нигде и никогда не говорил

о нерушимой кастовости, о невозможности перехода людей из одной касты в другую — он констатировал существование неравенства, природность (биологичность) иерархии, наличность «гарантов будущего», «удавшегося типа человека» и толпы, которая «инстинктивно стремится к стадной организации».

Аристократ, «высший человек» — счастливый случай природы, выдающаяся флуктуация. Все остальные — только фон, статистические единицы, почва...

Оставим в покое набивших оскомину «рабов» и «господ» — попробуем понять, что скрывается за символикой ницшеанской стратификации. В основе социологии «белокурой бестии» лежат идеи иерархии и квантования воли к могуществу. Равенство — «величайшая ложь», люди рождаются разными и отношения между ними строятся на основе господства и подчинения. Без этого невозможны государство, культура, общественная жизнь. Дело не в отношении «господина» и «раба», но в необходимости разности потенциалов, определяющей величину потока жизни. Культура движется не «народными массами», но творцами высших человеческих ценностей, огромной творческой силой выдающихся личностей. Не они существуют для общества, но движение общества возможно в той мере, в какой оно способно воспринимать идеи «высших» людей. Аристократизм, элитарность, меритократия делают общество сильным и могущественным, равенство — упадочным.

Как Киркегор и Ле Бон, Ницше восстает против «четвертого человека» (по классификации А. Вебера), борется с духовным обнищанием человека-массы, отвергает манипулируемого индивида, не имеющего внутреннего содержания.

Продумывая причины собственного изгойства, отверженности, одиночества, Ницше пришел к заключению, что на смену аристократических веков пришло время «среднего человека», филистера, ничтожества. Раньше чернь знала свое место, теперь пришло ее время: мир стал прислушиваться к голосам ее защитников, а сама она почувствовала себя солью земли. Ныне филистер, человек массы уже начинает навязывать обществу свои вкусы, издавать газеты, кичиться своим патриотизмом и шовинизмом. То, что великим людям дается ценой величайших страданий, для черни становится массовой культурой, предметом ущербной критики или «потребой».

Недостатком современного общества Ницше считал торжество «среднего». Общественные институты, общественная мораль, общественное сознание способствуют выживанию не наилучших, а посредственных, наиболее приспособленных к «стадному сознанию». Это тормозит развитие как самого человека, так и общества.

Человечество не представляет собой развития к лучшему, или к сильнейшему, или к высшему, как в это до сих пор верят. «Прогресс» есть лишь современная идея, иначе говоря, фальшивая идея. Теперешний европеец по своей ценности глубоко ниже европейца эпохи Возрождения, поступательное развитие решительно не представляет собою какой-либо необходимости повышения, усиления.

Для характеристики триумфа «рабской морали», победы слабых над сильными, человека массового над человеком выдающимся Ницше переиначивает понятие «декаданс». Декадент у него не представитель «искусства для искусства», но пассионарий, жертва неукорененности и чувствительности, человек без основы, стремящийся избавиться от страданий дурманом утопии или социализма. В мстительной злобе декадент становится анархистом, бунтарем, разрушителем общества. Декаданс, упадничество — это утопия ликвидации социального неравенства, жизненной иерархии, правды жизни как таковой:

Позор для всех социалистических систематиков, что они думают, будто возможны условия и общественные установления, при которых не будут больше расти пороки, болезни, проституция, *нужда*.

Принципы новой жизни не должны выстраиваться на песке без учета реальных человеческих качеств и суровых реалий: «Нужно жизнь устроить, имея в виду несомненное, доказанное, а не как прежде — далекое, неопределенное, туманное».

Масса, чернь для Ницше — это рабская компонента человеческого, рабское сознание и стадный инстинкт. «Песок человечества» — огромные человеческие массы, лишённые воли и свободы, жаждущие отдать себя власти, небрежные в отношении самих себя.

Наряду с индивидуальным подпольем, существует еще более опасное — массовое, мощные деструктивные силы человеческих толп, почти не подчиняющиеся контролю человеческого разума. Ницше, Ле Бон, Гартман, Фрейд обнаружили, что действия толп почти неконтролируемы, их внушаемость безгранична, а разум подавлен.

Масса импульсивна, изменчива и возбудима. Ею почти исключительно руководит бессознательное. Импульсы, которым повинуетя масса, могут быть, смотря по обстоятельствам, благородными или жестокими, героическими или трусливыми, но во всех случаях они столь повелительны, что не дают проявляться не только личному интересу, но даже инстинкту самосохранения. Ничто у нее не бывает преднамеренным. Если она и страстно желает чего-нибудь, то всегда ненадолго, она неспособна к постоянству воли. Она не выносит отсрочки между желанием и осуществлением желаемого. Она чувствует себя всемогущей, у индивида в массе исчезает понятие невозможного.

Масса легковерна и чрезвычайно легко поддается влиянию, она некритична, неправдоподобного для нее не существует.. Чувства массы всегда весьма просты и весьма гиперболичны. Она, таким образом, не знает ни сомнений, ни неуверенности.

Масса немедленно доходит до крайности, высказанное подозрение сразу же превращается у нее в непоколебимую уверенность, зерно антипатии — в дикую ненависть.

Склонную ко всем крайностям массу и возбуждают тоже лишь чрезмерные раздражения. Тот, кто хочет на нее влиять, не нуждается в логиче-

ской проверке своей аргументации, ему подобает живописать ярчайшими красками, преувеличивать и всегда повторять то же самое.

Так как масса в истинности или ложности чего-либо не сомневается и при этом сознает свою громадную силу, она столь же нетерпима, как и подвластна авторитету. Она уважает силу, добротой же, которая представляется ей всего лишь разновидностью слабости, руководствуется лишь в незначительной мере. От своего героя она требует силы, даже насилия. Она хочет, чтобы ею владели и ее подавляли, хочет бояться своего господина. Будучи в основе своей вполне консервативной, она испытывает глубокое отвращение ко всем новшествам и прогрессу и безграничное благоговение перед традицией.

Для правильного суждения о нравственности масс следует принять во внимание, что при совместном пребывании индивидов и массы у них отпадают все индивидуальные тормозящие моменты и просыпаются для свободного удовлетворения все жестокие, грубые, разрушительные инстинкты, дремлющие в отдельной особи, как пережитки первобытных времен.

Масса неразборчива, конформистски ориентирована, до тошноты однообразна, безучастна, пошла. Немецкая нация, пишет Ницше, с завидным аппетитом продолжает питаться противоположностями и без расстройства пищеварения проглатывает «веру» так же, как научность, «христианскую любовь» так же, как антисемитизм, волю к власти (к «Империи») так же, как *evangile des humbles*¹.

Впрочем, у массы есть свои герои и свои святые. «Не то, что есть святой, а то, что он означает в глазах несвятых, придает ему его всемирно-историческую ценность». Подлинные герои и подлинные святые редко становятся кумирами масс — посмотрите на памятники на наших улицах, на мемориальные доски...

В массе человек теряет свое личностное начало, обезличивается, начинает думать, как все: «Когда сто человек стоят друг возле друга, каждый теряет свой рассудок и получает какой-то другой». «Поверхностные люди должны всегда лгать, так как они лишены содержания». «В стадах нет ничего хорошего, даже когда они бегут вслед за тобою». «Безумие единиц — исключение, а безумие целых групп, партий, народов, времен — правило».

Маркс видел в пролетариате передовой класс, Ницше — класс, раздавленный машиной. Прогнозируя результаты влияния тейлоризма на психологию человека у конвейера, он писал: «Первый камень преткновения здесь — это «скука, однообразие», которые влечет за собой всякая машинальная деятельность».

Не «передовой класс», но заговор страждущих и убогих против удачливых и торжествующих, «борьба больных против здоровых — борьба исподтишка», «деспотизм масс». Убогие и больные заражают здоровых, стремятся свалить на их совесть собственную неудачу, свое аутсайдерство и изгойство. Беда в том, что здоровые и удачливые начинают стесняться своего счастья, порой у них самих возникает сомнение в праве на жизнь. В итоге жизненная сила общества подрывается, социум деградирует.

¹ Евангелие обездоленных (франц.).

Тоталитаризма еще не существовало в помине, а Ницше уже назвал социализм «фантастическим младшим братом почти отжившего деспотизма» и подробно описал итоги равенства, самого «ядовитого яда».

В условиях же верноподданнической покорности всех граждан абсолютному государству, постоянно прибегающему к мерам крайнего терроризма, неизбежно формальное уничтожение личности, которая в результате будет превращена в некий целесообразный орган коллектива. В конечном же итоге на этом пути будет достигнуто вырождение и измельчание человека до совершенного стадного животного с равными правами и притязаниями.

Особый урон в этих условиях будет нанесен той почве, на которой может произрасти гений, великий интеллект и вообще могущественная личность, обладающая мощной энергией. Установление государством равенства прав граждан станет исходным основанием для насаждения в обществе всеобщего враждебного отношения ко всему «редкому, властному, привилегированному, к высшей ответственности, к творческому избытку мощи и властности». Абсолютное государство способно порождать только «вялые личности», что и является лучшим показателем его нежизнеспособности.

Среди огромного числа предвидений великого мыслителя есть и такое (важное не только диагнозом, но и средством терапии): «Настанет день, когда чернь будет властвовать... Поэтому, о братья, нам нужна новая аристократия, которая воспротивилась бы этой черни и всему тираническому и начертала бы на новых скрижалях слово: благородство».

Равенство для Ницше — это равенство в убожестве, стадное существование человека. Впрочем, последнее неустранимо. Жизнь немногих невозможна без многих...

Подобным образом христианские добродетели изобретены для слабых — для компенсации их недееспособности, безволия, конформизма.

В книге «К генеалогии морали» Ницше ввел в употребление важное понятие *ressentiment*¹, являющееся ключевым для социологии и понимания тех социальных процессов, которые вели к тоталитаризму. Французское слово он использовал за неимением подходящего синонима в немецком языке (в русском — тоже; понятие это означает атмосферу враждебности, озлобления, ненависти вкупе с чувством собственного бессилия). Разрушение средневековой сословной иерархии, при которой члены общества идентифицировались со своим местом в сословной структуре, привело к разрыву между внутренними притязаниями и реальным положением человека в обществе, к неадекватным притязаниям «маленьких людей», к возникновению огромной прослойки неудовлетворенных статусом люмпенов, самими люмпенами описываемой формулой: «Кто был ничем, тот станет всем». Это понятие Ницше оказалось ключом к пониманию психологического типа разрушителя-экстремиста, раскрытого

¹ Злоба (франц.).

позже в трудах исследователей человека-массы, одномерного человека, тап (М. Вебер, В. Зомбарт, Х. Ортега-и-Гассет, А. Камю и др.).

Ницше отнюдь не отказывал массе в праве иметь свою истину, свою веру, свое право. Ведь народ, масса — предпосылка культуры, подпочва развития. Без народных масс невозможно существование элиты. Из них она возникает, благодаря их труду существует. Поэтому лучшие должны делать все от них зависящее, чтобы массы были счастливы. Они должны творить их веру, их иллюзии, их благополучие. Да, у массы отсутствует воля, уверенность в себе, ответственность, способность ставить себе цели, но именно всё это — функции элиты, активной силы, тех избранников, которые указанными качествами обладают.

Незадолго до погружения в мрак Ницше прочитал законы Ману об иерархическом устройстве общества и был потрясен их совпадением с собственными построениями. То, что современное общество прятало от себя, — повсеместную стратификацию, иерархичность — лежит в основе любого социального устройства. Иерархия — основа нравственного и любого иного порядка. Отрицая иерархическую природу общества, отрицают — жизнь. Фактически то, что Ницше ставят в вину *наши* — реалистичность в подходе к социальному упорядочению, — является основой современной теории элит.

Ницше действительно много писал о неравенстве людей, но разве не неравенством питаются жизнь, развитие, эволюция? Разве различие в способностях, жизненности, умении, силе — не Богом данная реальность? Ницше говорил, что люди «стремятся к будущему по тысяче мостов и тропинок» («а не маршируют стройными колоннами под общими лозунгами, как это было в истории некоторых народов», — добавляет комментатор).

Культура — не обязательно эволюция: XX век дал нам жуткие примеры бросков в неолит. Нацизм и коммунизм показали правоту Ницше — возможность движения вспять. Хотя исторический опыт свидетельствует о способности человечества выходить из кризисов, зигзаги не ведут к обязательному «торжеству человечности». «Может быть, — замечает Ницше, — все человечество есть лишь одна ограниченная во времени фаза в развитии определенного животного вида — так что человек возник из обезьяны и снова станет обезьяной». Человек все еще не доказал, что Личность взяла верх над стадом окончательно и бесповоротно.

Культура иерархична. Без стратификации, неравенства, квантования воли к могуществу невозможно движение: «Более высокая культура сможет возникнуть лишь там, где существуют две различные общественные касты: каста работающих и каста праздных, способных к истинному досугу; или, выражаясь сильнее: каста принудительного труда и каста свободного труда». Выражаясь еще сильнее, нужно перейти от двух каст к их иерархии, одновременно заменив «работу» и «праздность» всеми состояниями между ними.

Ницше подразумевает, что реальна только выстрадавшая культура великих людей, культура масс — сборная солянка, только и способная породить «последнего человека», «презреннейшего человека, который уже не сможет презирать себя», который все делает мелким, фальшивым, неукорененным. Массы — то же стадо, прикрывающееся «культурой», хаосом правил и идеалов, прихваченных по случаю и также случайно используемых.

Все времена и народы, разноцветные, смотрят из-под покровов ваших: все обычаи и верования говорят беспорядочно в жестах ваших. Если бы кто совлек с вас одеяния и покровы, краски и жесты: у него осталось бы ровно столько, чтобы пугать птиц.

Ницше не был знаком с марксизмом, но, как и Киркегор, нутром чуял страшную для жизни опасность «торжества масс». Мещанское отребье, сброд, человек массы, никто — всё это сливалось в его сознании, вызывая приступ мигрени и тошноту.

«Некрасивой и нефилософской массе никогда не льстили так, как теперь, когда на ее лысую голову возложили венок гения» — так реагировал автор «Заратустры» на «самый передовой класс».

Тяготая к мифологии, видя в ней главный источник культуры, Ницше отказывал мифу в праве на «народность». За каждым великим мифом стоит свой Гомер, за каждым Гомером — свой Зоил, взывающий отобрать у одного и разделить между всеми... Равным образом Ницше отказывал массе в праве быть «носителем и рычагом так называемой всемирной истории», вообще не допускал мысли о возможности «творческой массы».

Личность Ницше предпочитал народу, индивид — роду. Индивид не должен руководствоваться интересами рода в ущерб личным интересам. Высший вид служения народу — полнота самореализации личности. «Народ — это зачарованный круг природы для сотворения шести или семи великих людей». Ницше вполне разделяет мысль Шопенгауэра о «великих отдельных личностях», ради которых существует «фабричное производство» природы. Ибо в гении человечество имеет не только своего воспитателя, вождя и глашатая, но и свою истинную исключительную цель.

Цель человечества не в конечных результатах, а только в высших индивидуальностях, которых оно создает из своей среды.

Один великан перекликается с другим через пустынные промежутки времени и, не взирая на своевольных, шумящих карликов, которые копошатся у ног их, продолжают они свою величавую беседу.

Человеку-массе Ницше противопоставляет гения, «взрывчатое вещество, в котором накоплен чудовищный запас силы». Гений всегда ориентирован на невозможное, титаническое, он меньше всего сын своего времени, он всегда дистанцирован от своей эпохи и поэтому ею отвергаем. «Гений — это возвратившееся в настоящее ушедшее в прошлое время, эпоха более древняя, сильная, чем настоящее, он — воплощенная в поступке вечность, amor fati, он — необходимость, а его эпоха — случайность, поэтому гений и царствует над миром».

Эволюция гениальности — таков путь к сверхчеловеку. Только гений имеет подлинную цель, и только его существование не «напрасно». Гений возвышается над человеческим родом, давая последнему ориентиры. Сверхчеловек Ницше — результат эволюции гениальности, «предельное для человека состояние, лишь устремляясь к которому человек может стать Человеком» (*М. К. Мамардашвили*).

КСЕНОФОБ? КИМВАЛ МИРА?

*Насколько женщина выше червя,
Насколько мужчина выше женщины.
Насколько мужчина выше женщины,
Насколько отечественный наци выше иностранного.
Насколько отечественный наци выше иностранного,
Насколько рыцарь выше наци.
Насколько рыцарь выше наци,
Насколько фюрер (благослови его Бог)
Выше всех рыцарей.*

Вот она — наша правда: человек, оказавший неизгладимое влияние на культуру XX века, философ, магическое воздействие которого испытывали Рильке, Георге, Музиль, Стринберг, Гамсун, Ибсен, Д'Аннуцио, Гофмансталь, Гальбе, Лондон, Синклер, Бехер, Зудерман, Хух, Шоу, Мальро, Жид, Гауптман, Цвейг, Кайзерлинг, Циглер, Теодор Лессинг, Юнг, Юнгер, Файхингер, Риль, Гаммахер, Бенн, Шпенглер, экспрессионисты, и вот этот человек — предтеча фашизма... Мог ли вообще человек с таким спектром влияния быть примитивным глашатаем насилия? Нужна ли нацизму, коммунизму, всем разновидностям тоталитаризма плюралистическая философия, мудрость, глубина, мощь?

Считать Ницше предшественником фашизма — значит возвышать фашизм.

Проблема — Ницше и национал-социализм — действительно существует. Но суть ее в том, что Ницше был до неузнаваемости исковеркан.

Пресловутый сверхчеловек, для которого не существует якобы никаких норм и запретов, — лишь плод фантазии разгоряченного и озлобленного немецкого, да и не только немецкого обывателя. У Ницше сверхчеловек — это совсем не повелитель, не диктатор над жизнью и смертью других. Это мыслитель и художник, по капле выдавливающий из себя рабскую мораль в долгом процессе мучительного «самоопределения». Благороднейший интеллектуал, Ницше страстно протестовал против опошления и нивелировки личности.

Да, он не желал признать абсолютно за каждым представителем рода человеческого права быть личностью. В массе он находил основную угрозу для развития подлинно творческой природы. Но так ли уж был он не прав? Разве не дала история бесчисленных примеров того, как легко, в сущности, превращаются люди из личностей в толпу, в стадо покорных и самодовольных существ, как быстро тварь в человеке вытесняет творца?

Если у Ницше речь идет о достоинстве человека как личности, то у нацистов — превосходстве. Яростный протест великого философа против посредственности и унылой серости был деформирован до разновидности массовой, убогой, но страшной идеологии.

Изысканно учтивого, деликатного, скромного до робости человека, которого хозяйки итальянских лавок звали «il piccolo Sante», «маленьким святым», предстояло трансформировать в жуткое подобие «сверхживотного», воинственные кличи которого заполняли «цитатники», носимые солдатами в походных ранцах. Впрочем, автор «Заратустры» предвидел это:

Беги, мой друг, в свое уединение: я вижу тебя искусанным ядовитыми мухами. Беги туда, где веет суровый, свежий воздух! Ты жил слишком близко к маленьким, жалким людям. Беги от их невидимого мщения!.. Не поднимай руки против них. Они — бесчисленны, и не твое назначение быть махалкой для мух. Они жужжат вокруг тебя со своей похвалой: навязчивость — их похвала. Они хотят близости твоей кожи и твоей крови.

Предчувствуя грядущих фальсификаторов, Ницше говорил о необходимости «обвести оградой свои слова и свое учение, дабы в них не ворвались свиньи». Это было утопическое желание: «свиньи» проникают повсюду, для них не существует оград.

Нельзя без возмущения смотреть на то, как зловещие всходы «ницшеанства», а фактически осквернение его памяти, чертополохом разрастались в Германии и Европе. Словно предчувствовавший эту Вальпургиеву ночь, этот шабаш, Ницше писал о зловонном рое ядовитых мух, которые «льстят тебе, как Богу или дьяволу; они визжат перед тобою, как перед Богом или дьяволом. Ну что ж! Они — льстецы и визгуны, и ничего более».

Многое предвидел автор «Заратустры», но даже ему не дано было до конца узнать, на что способны «эти обезьяны», эти «дурно пахнущие», этот «человеческий песок», вознамерившийся стать чингисхановским воплощением сверхчеловеческой тьмы, вышедшей из мюнхенских пивных...

К. А. Свасьян:

Невозможно без содрогания смотреть на этот постепенный и катастрофический слет ядовитых мух, называемый ницшеанством; «жертвоприношение меду», каковым по замыслу философа и должно было быть его учение, в самом скором времени обернулось каким-то почти пословичным «за мухами не видно меду» — зловещий образ, определивший на десятилетия вперед судьбы этой философии. Трудно вообразить себе какое-либо духовное событие да к тому же еще такого ранга, которое подверглось бы бóльшим глумлениям, осквернениям, насильственным искажениям...

Нам долго внушали абсурдную мысль о Ницше — предтече нацизма, абсолютно замалчивая, что подлинными идеологами фашизма со свойственным таким людям бессердечием и злобой интерпретировали творчество великого немецкого мыслителя как душевное извращение, бешеное словоизвращение душевнобольного, патологический результат мании величия и извращенных инстинктов. Один из идеологов арийской теории М. Нордау в нашумевшей книге «Вырождение», подверстывающей Ницше к блестящей плеяде модернистов

XIX века (выродков, по глубокому убеждению автора), широко пользовался словарем будущих геббельсов и розенбергов в интеллектуальном изничтожении предтеч культуры века XX. Досталось не только «душевнобольному» и «буйно-помешанному», но и его почитателям: «...Кучка восторгающихся Ницше состоит из прирожденных преступников, отличающихся слабостью воли, и из наивных дураков, опьяняющихся созвучием слов».

Нам долго внушали чушь о «сверхчеловечности» арийства, «забывая» о том, что итальянские антифашисты широко пользовались идеями Ницше, прежде всего идеей сверхчеловека, для борьбы с нацизмом в годы диктатуры Муссолини.

Можно, конечно, обвинить самого Ницше в том, что он дал повод и написал тексты, удобные для усвоения нацистскими «сверхгомункулами», но тогда в равной мере можно и всю русскую культуру («то, что они там понаписывали») обвинить в заражении России другой, гораздо более опасной, красной чумой. Что до нацизма, то в качестве «предтеч» Боймлер и Розенберг выбрали не одного Ницше — Лютера, Гёте, Бетховена, Гёльдерлина, Вагнера, так что не в текстах дело... Кстати, выбирая великих немцев в качестве «предтеч», идеологи нацизма, так же как в России идеологи коммунизма в отношении «зеркала русской революции», были весьма избирательны в отделении «плевел от пшеницы»: Ницше публиковался крайне выборочно, а в «Мифе XX столетия» Розенберг подчеркивал неарийский характер дионисизма, а Боймлер называл предательством германофобию «предтечи»...

Как показал К. А. Свасьян, взгляды Ницше не просто несовместимы с фашизмом, но подрывают три его основополагающих принципа: пангерманизм (арийство), антисемитизм и славянофобию. Трудно найти другого немецкого философа, который с такой страстью и последовательностью выступал против шовинизма, ксенофобии и внутренней порчи немецкого народа. А. Камю призывал защитить Ницше от Розенберга и засвидетельствовал несовместимость идеалов творца «Заратустры» с идеологией фашизма еще полвека назад.

XX век стал не только эпохой идеологии, но и inferнальным временем сумерек кумиров: временем растаптывания, свержения с пьедестала, крушения памятников, оплевывания собственных божеств. Увы, судьба, оказавшаяся столь жестокой к «охотнику до загадок» при жизни, не помиловала его и после смерти.

...Гению всяческих провокаций и почетному гражданину лабиринта суждено было наклепать на себя эту безвкусную и во всех смыслах жалкую провокацию распоясавшегося ницшеанства и многолично стать тем именно, чем он никогда не был, да и не мог ни при каких обстоятельствах быть.

Ницше, подмененный «цитатником Ницше», врывается в новое столетие лязгом и бряцанием таких вот цитатных костей, невыносимой барабанной дробью, возвещающей Пришествие Варвара, той самой «белокурой бестии», от которой, как от контрастной довески к стилю бидермейер, вдруг восторженно обомлели сидящие на викторианской диете культурные обыватели Европы.

Тоталитаризму нужна не философия, а идеология. Нацизм и ленинизм лишь эксплуатировали предшествующую философию в своих чисто практических, идеологических целях. С таким же основанием в качестве классиков нацизма можно назвать Гоббса, Локка, Ульриха фон Гуттена, Гердера, братьев Гримм, Клопштока, Джемса, Сореля, не говоря уже о Гегеле, Вагнере, Арндте, Яне и Шпенглере, именами которых систематически спекулировал фашизм...

Национал-социализм при поддержке и участии сестры Ницше создал легенду, грубо извращающую его философию, его идеи, его мировоззрение. *Наши* до сих пор числят Ницше среди предтеч фашизма, хотя трудно найти большего германофоба, антитоталитариста, антинационалиста, антиэтатиста, антиксенофоба, чем Ницше. Фашисты, в отличие от *наших*, прекрасно знали это и ничего не делали для издания текстов Ницше, если не считать фальсифицированной «Воли к власти» и произвольно надерганных для солдатского употребления цитат из «Заратустры».

Шабаш нацистов вокруг имени Ницше достиг апогея в 1934 г., когда в помещении его архива в Веймаре состоялось заседание Прусской академии права. Выступая на ней, главный идеолог нацистской партии А. Розенберг заявил: «Мы, национал-социалисты, не смеем отвергнуть такого смелого мыслителя, как Фридрих Ницше. Мы возьмем из его пламенных идей все то, что может дать нам новые силы и стремления». А осенью архив посетил и сам фюрер, горделиво позировавший фотографам рядом с мраморным бюстом философа работы известного немецкого скульптора М. Крузе.

Как это случается со многими великими людьми, невежественные диადохи опускают их мудрость до своего примитивного понимания. И тогда идея сверхчеловека сводится к проповеди нравственной распущенности или откровенному активизму, а лишенный доктринерства имморализм, этика вопрошания, а не ответа, превращается во вседозволенность.

Мы не будем, следуя за Трумплером, Керкгофом, Рейбурном, Хиндерксом, Ясперсом, Лёвитом, Кауфманом и другими, разрывать путы, которыми фашизм связал себя с Ницше. Не будем потому, что нет надобности реабилитировать Ницше. Отождествлять его с нацизмом все равно, что связывать поэтическое мифотворчество с концлагерями, поэзию Рембо — с каменным топором, модернизм с оружием империализма. Если уж быть последовательными до конца, то Ницше так же далек от нацизма, как Маркс от нас. Как теория утопии — от ее практики. Как идеализм любых социально-политических и религиозных учений — от политики и церкви.

(Любопытный факт: наше великое учение, выводящее сознание из бытия, нисколько не помешало *нашим* выводить бытие из сознания: тот же реальный нацизм — из сознания Заратустры.)

Философия Ницше элитарна, нацизм — плебейское, конформистское движение, против которого она направлена. Ницше проповедовал личность, индивидуальность, самость. Нацизм — даже самым названием — массовость, конформизм, примитивизм. Ницше не вел к нацизму, но предостерегал от не-

го. Да и как мог дух крайнего аристократизма уживаться с казарменным духом солдатских сапог?

Идеологи фашизма широко манипулировали с понятием «социализм». Ницше был ярким и убежденным противником каких бы то ни было разговоров о социализме. «Я не приемлю социализм, — заявлял он, — не приемлю потому, что он представляет собой крайне наивную мечту о добром, истинном, о прекрасном, о равных правах». И далее: «Смешны социалисты с их примитивным оптимизмом, с их верой в доброго человека, который сразу же появится, как только будет ликвидирован нынешний общественный порядок».

Параллели, параллели, параллели... Ницше искал истину, «какой бы она ни была», нацизм и коммунизм рекрутировали истину для своих целей, милитаризировали ее, ставили ее на службу, под ружье. Ницше провозглашал сверхчеловеческую самость, коммунизму и фашизму был нужен человек-ландскнехт, бездумно подчиняющийся приказу. Розенберг подменил личность арийским типом, Ленин — диктатурой пролетариата. Параллели, параллели, параллели... Вот вам «информация к размышлению» — цитата из одуевского трактата, призванного вывести тропами «Заратустры» к фашизму:

История не знала такого интеллектуального разврата и духовного невежества, как во времена фашистской империи. Германия стала темницей для разума. Живая, творческая, свободная мысль, казалось, погасла навсегда. Философы, открыто протестовавшие против фашистского мракобесия, были загнаны в концлагеря. Честные буржуазные мыслители, которые нашли в себе мужество не принять фашистский идеологический диктат, или покинули страну, или отказались от публичной деятельности. Те же, кто остался на службе в университетах и других учреждениях, частью по трусости, частью по убеждениям пошли на сближение с фашизмом.

О нас?...

Ницше не подготавливал нацизм, это Боймлер и Розенберг приспособливали Ницше под фашизм. Требовалось переработать теоретически-поэтическую философию Ницше в примитивно-практическую снесь для масс. Между Ницше и бесноватым ученые и философы с мировым именем создавали буфера для того локомотива, который...

Фридрих Ратцель, Джентиле, Ван ден Брук, фон Эренфельз, Миттгартбунд, Фробениус, Литтгарт, Челлен, Хаусхофер, пангерманисты — Винниг, Эдгар Юнг, Хильшер, Хаберман, Ульман, Трейчке, Коррадини, этатисты — К. Фридрих, Арендт, Эбенштейн, Дель Ноче, Шульц, поздний Мольтке...

Перу Ратцеля принадлежит «Политическая география» с теорией роста пространственных размеров государства. Исходя из фактов истории и процесса роста народонаселения, Ратцель пришел к заключению, что растущее население оказывает давление на границы государства, которые поэтому имеют тенденцию к расширению. Ему принадлежит также идея соответствия размеров го-

сударства — воинственности народа. Народы, стоящие на более низких ступенях цивилизации якобы образуют малые государства, на высокой — большие. Поэтому поглощение малых стран и народов крупными — якобы неизбежное следствие и показатель роста цивилизации. В будущем, пишет Ратцель, новые великие державы будут возникать только на основе разгрома старых. Слава ученого с мировым именем способствовала быстрому распространению и развитию ратцелевских идей. Один из его последователей Челлен, предложивший термин «геополитика», развил доктрину, в чем-то аналогичную «научному» выводу об «окончательной победе коммунизма во всем мире». Челленовская геополитика научно обосновывала и оправдывала агрессию как результат борьбы государств за существование, как «естественный и необходимый рост в целях самосохранения». Ему принадлежит также теория автаркии, заменяющая систему открытых дверей системой «закрытого занавеса». Затем Хаусхофер и его школа переработают эту теорию в готовые для практического использования штампы вроде «народ без жизненного пространства».

Французские и английские теоретики расизма — Гобино, Ляпуж, Веньямин Кидд, Уильям Самнер, Хаустон Стюардт Чемберлен — удобряют почву для Ван ден Брука с его идеей «духовного расизма», чем-то смахивающей на обоснование Марксом идеи «передового класса». Согласно этой идее, раса духовно и физически объединяет определенную группу людей. Биологические мерки здесь не применимы: решить проблему расы можно, лишь подняв ее на социальную и духовную ступень. Понятия «высшая раса» и «передовой класс» настолько подобны, что в определенной перспективе кажутся синонимами.

Волей случая, садовником, пересадившим иностранное дерево «раса» на немецкую почву, оказался зять Вагнера Чемберлен. Объединив англо-французский расизм с пангерманизмом, он соединил идею неполноценности одних и исключительности других в доктрину немецкого христианства, освобожденного от еврейского духа.

В своих изысканиях в области расизма Чемберлен был в Германии своего рода пионером, но вовсе не одиночкой. Вскоре после появления его первых работ, посвященных разработке германского варианта расовой теории, на книжный рынок хлынул поток аналогичных изысканий. Наибольшей известностью среди этих трудов пользовались книги Людвиг Вольтмана, и, прежде всего, его «Политическая антропология».

Немало почерпнули национал-социалисты и от российских антисемитов — Грингмута, Крушевана, Окрейца и Пуришкевича. На формирование взглядов самого Гитлера решающее воздействие оказали теории австрийских расистов и антисемитов конца XIX в.

Именно австрийцы развивали марксистскую по своему духу идею о том, что люди разделяются на две группы: занимающиеся созидательным трудом и получающие нетрудовые доходы. К первым относятся «трудящиеся», ко вторым — банкиры, ростовщики и рантье. В этой теории уже полностью сформирована идея «созидательного» и «паразитического капитала», с которой

несколько позже выступил теоретик НСДАП Федер. Рудольф Юнг предложил получившее затем большое распространение понятие маммонизма — подчинения созидательных сил народа всевластию денег.

Э. Юнгеру, которому *наши* приписывают «дальнейший поворот к фашизму», принадлежит идея «тотальной воли к власти рабочего» и «тотальной мобилизации» как главной доктрины тоталитарного государства. Нет, Юнгер не был идеологом и предтечей нацизма. Наоборот, он был его фрондой. Юнгер отказался от избрания в Прусскую академию искусств, а в 1939-м году издал роман «На мраморных скалах», в котором открыто высмеял паучью борьбу нацистов за власть.

Чем же он не угодил нам? Образом созданного им рабочего-тоталитариста, тоталитариста по природе, одержимого сверхчеловеческой волей к власти, «волей к тотальной диктатуре», которая познается в зеркале нового порядка как «воля к тотальной мобилизации». Юнгер неприемлем правдивым описанием нашего государства с его обезличиванием, макиавеллизмом, «единством труда и долга». Он неприемлем концепцией войны и революции как двух сторон одного явления. Он неприемлем предостережением, что расой господ может стать раса рабов.

Хотя давно кануло в Лету то время, когда произведения Ницше воспринимались как бешеное извержение «буйнопомешанного, изрыгающего оглушительный поток слов со сверкающими глазами, дикими жестами и с пеною у рта», наши последователи Нордау с уникальным душевным и эстетическим бессердечием на протяжении 70-летней эпохи мрака соревновались с предтечами фашизма в поисках самых злых и обидных слов, нацеленных на интеллектуальное уничтожение философа, предвосхитившего большинство идей философии жизни, о самой жизни сказавшего: «Жить — значит постоянно отталкивать от себя то, что хочет умереть; жить — значит быть жестоким и неумолимым по отношению ко всему, что слабо и старо в нас...»

Это же надо: в стране непотребств и бесчинств, тысячелетье сотрясающих гигантский континент, прятать Ницше от «воспитанных мальчиков», расстрелявших миллионы соотечественников, устлавших землю метровым слоем костей, заливших ее морями крови...

Сегодня самим приходится удивляться, каким образом у «исчадия ада» «проповедь всего этого бреда о мировом господстве арийской расы» сочетается с тем, «что он, напротив, постоянно предупреждал об опасностях национализма».

Несколько не самых одиозных перлов *наших* «специалистов в штатском» от философии:

Одним из идейных истоков фашистской идеологии, несомненно, является философия Фридриха Ницше, который особенно возвеличивается и прославляется официальными теоретиками современного фашизма (здесь стоит напомнить, что Розенберг и Боймлер неоднократно и нелепым образом громили Ницше).

Венцом философской мысли Ницше является его крайний теоретико-познавательный субъективизм и воинствующий имморализм (здесь следует напомнить, что в работах *наших* до самого последнего времени

в понятие имморализм вкладывалось содержание худшей разновидности аморализма).

Ницше реставрировал принцип шопенгауэровской философии в форме адекватной вожделениям и интересам нарождавшегося монополистического капитала (это о человеке, гневно обличавшем все разновидности буржуазности и этатизма).

Необходимость рабства Ницше связывает с необходимостью существования господ, которые, ведя паразитический образ жизни, живя за счет прибавочного труда эксплуатируемой массы, составляют смысл истории¹.

Антидемократизм Ницше, агрессивный и воинственный, в полной мере созвучен открытой фашистской диктатуре с ее апологией социальной иерархии².

«Атеизм» Ницше является «атеизмом» эксплуататора, который не только не отвергает религии, но бережно ее охраняет как незаменимое орудие в борьбе за свое господство...

Имморализм Ницше не только не колеблет моральных заповедей, находящихся на службе буржуазной собственности, но санкционирует самые свирепые меры в борьбе буржуазии против трудящихся, что он называет «высшим видом морали»...

Идеолог монополистического капитализма открыто ставит вопрос о полезности и необходимости в интересах капитала такого идеолога, который переоценивает все ценности в соответствии с требованиями своего класса.

Критика Ницше капиталистической цивилизации ведется под углом зарождающегося империализма, который в идеологии фашизма находит себе законченное идеологическое выражение.

Творчество Ницше — настоящий гимн насилию и войне.

Ницшеанство одержало победу в виде национал-социалистского мирозерцания.

В философии Ницше иррационализм... непосредственно смыкается с открытой апологией насилия, вседозволенности, войны... агрессивного национализма, колониализма, расизма.

¹ В таком случае стихи А. С. Пушкина «Поэту», «Поэт и чернь» с равным правом можно назвать источниками Ницше:

*Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий.
Ты — червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.*

² Говоря об агрессивности и воинственности, как трактовать стихи Ф. И. Тютчева «Русская география», «Рассвет», «На взятие Варшавы» и т. д.? —

*Семь внутренних морей и семь великих рек!
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая —
От Волги, по Ефрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское.*

Ницше в плане идеологическом готовил умы... к восприятию фашистской социально-политической программы.

Очень пригодилась фашистам и теория «белокурой бестии»... В своем наиболее известном труде «Так говорил Заратустра» Ницше воспел войну как наивысшее проявление человеческого духа.

Субъектом морали выступает «сверхчеловек», как определенный тип людей, которые проявляют себя по отношению друг к другу снисходительными, сдержанными, нежными, гордыми и дружелюбными, — по отношению к внешнему миру, там, где начинается чужое, чужие, они не многим лучше необузданных хищных зверей...

Это же надо до такого додуматься: Ницше — пророк крупной буржуазии, идеолог империализма, выразитель интересов финансовой олигархии, на худой конец — наймит на бирже идеологического труда (А. Луначарский). Ницше, пишет наш нарком, несомненно был представителем финансовой олигархии или ее наймитом, не столько продающим свое перо, сколько служащим из внутреннего энтузиазма, убежденности. Маркс служил классу угнетенных, Ницше — классу угнетателей.

В сущности говоря, контуры финансовой олигархии, контуры грядущей диктатуры в их антидемократической форме были еще весьма слабо начерчены на фоне окружающей Ницше действительности... он действительно чутьем угадал нарождающийся класс, так же, как сделал это Маркс по отношению к пролетариату, когда последний существовал еще больше «для себя», чем «для других».

Человека, ненавидевшего куплю-продажу, бросившего самые гневные филиппики в адрес буржуа, всеми фибрами души ополчившегося против монстра-государства, абсолютно несовместимого со служением партии или классу, не признававшего вообще никакого служения, кроме служения собственному «я», — такого человека обвинить в цинизме — разве это не есть сверхцинизм, не типичное коммунистическое передергивание, не сверхложь, не сверхлицемерие?.. «Ницше — провозвестник и предтеча принципов финансового сверхчеловечества» — разве это не полная утрата чести и совести самого культурного из большевиков, дослужившегося до поста наркома просвещения? Чего же тогда ожидать от «образованцев» при таком наркоме?..

Ницше отражает... интересы и мечты, общие для всей международной финансовой олигархии...

«Бес-искуситель», «восторженный адвокат зла», «идеолог юнкерства», «выразитель интересов финансовой олигархии», «идеолог буржуазной реакции», «взбесившийся интеллигент», «разрушитель устоев общественного порядка», «апологет рабства»... «паясничанье», «шутовство», «брутальность», «одиозный характер», «реакционно-социальный экстремизм», «исступленно-мрачное учение о вечном трагизме...», «восхваление садизма», «культ насилия», «патологическое преодоление декаданса», «исходно-ложные послышки», «волонтаристи-

ческие концепции», «прямая дорога к третьему рейху», Ницше «не понимает, что представляет собой современный пролетариат», «открыто стоит на точке зрения буржуазной классовости и партийности»...

Кто-то из *наших* «ницшеведов» очень хорошо выразил разницу позиций «апологета финансовой олигархии» и большевиков: «Ницше идет к своей задаче через иерархию, т. е. классовый мир и дифференциацию классов, мы — через классовую войну и уничтожение классов». По-моему, сказано точно: мир — у «апологета войны» и война — у самых больших миролюбцев, которых знала история...

Разбить человечество на резко разграниченные группы — классы, касты — и, вместо борьбы, установить раз навсегда определенные отношения господства и подчинения между ними — вот чего хочет Ницше.

Поскольку у капитализма речь идет об организации, это организация иерархическая: «Порядок каст, иерархия, формулирует только высший закон самой жизни».

Для Ницше «высокая культура — это пирамида».

Для *наших* — лагерь, где, возможно, кончил свои дни и автор вышеприведенных строк... Впрочем, если я ошибаюсь, от большевистского «равенства» никому не довелось ускользнуть, особенно людям с фамилией Лейтейзен...

Меня мало ранят потоки невежественной лжи шариковых от философии и литературы — нечленораздельный лай. Хуже, больнее, когда за дело берутся «лучшие ученики» — не какие-то там одуевы, мочкины, гобозовы, лавровы, герлахи, малорни, рупрехты и решке, — но исследователи масштаба Ю. Н. Давыдова: «отрицание совести», «философский аморализм», «вульгарный нигилизм», «кошмарное безумие»... «От отрицания совести Ницше последовательно ведет своих эпигонов к отрицанию идеального начала в человеке вообще, от отрицания последнего к отрицанию культуры как таковой». Позорные слова — тем более, что написаны в 1980-е годы, когда дежурные фразы перестали быть обязательными... Отрицание совести у Ницше, для которого совесть была главным критерием правды... Отрицание культуры человеком, всю жизнь положившим на изучение ее путей... Сама перелицовка ницшеанского нигилизма как непрерывного обновления ценностей в нигилизм бесов — либо затмение, либо... служивость...

И тем не менее, несмотря на то, что ницшеанский нигилизм полностью дискредитировал себя своей очевидной связью с самыми опасными тенденциями современности, многие из которых родились «из духа» философского аморализма точно так же, как, по мнению Ницше, античная трагедия родилась «из духа музыки», нам вновь и вновь приходится встречаться на протяжении XX столетия с новым и новым возрождением моды на этот сомнительнейший вид философствования.

Вот уж где действительно «отрицание культуры как таковой» — собственного Серебряного века, философии жизни, экзистенциализма, «новых философов», всего современного ницшеведения, «Ницше-штудиен», общества по

изучению Ницше, международных форумов «Ницше и культура XIX столетия», «Ницше в XX столетии», «Ницше сегодня»...

Но будем последовательны! Точно так же, как мы упростили и опошлили всю мировую культуру, точно так же бесноватый заставлял «служить» себе мировую культуру, выхолащивая ее до познавательного потенциала завсегдатаев пивных. В «трудах» Боймлера, Розенберга, Крикка, д-ра Геббельса, самого Гитлера мы не найдем ничего такого, чего бы уже не было у Ницше, Шпенглера, Ратцеля, Клаге-са, Гартмана, Наумана, Рорбаха, Виннинга, Хабермана, братьев Юнгер. Они брали их идеи и предельно упрощали, выхолащивали их в кличи для масс. Расовая «теория» нацизма превратила отвлеченно-абстрактные рассуждения Брука и Фробениуса о «душе расы» в чистую биологию со всеми характерными признаками племенного скотоводства и вульгарно извращенной евгеники. Гитлер говорил:

На первый взгляд, недочеловек — биологически полностью идентичное человеку создание природы с руками, своего рода мозгом, глазами и ртом. Но это совсем иное, ужасное создание. Это лишь подобие человека, с человекоподобными чертами лица, находящееся в духовном отношении гораздо ниже, чем зверь. В душе этих людей царит жестокий хаос диких необузданных страстей, неограниченное стремление к разрушению, примитивная зависть, самая неприкрытая подлость. Одним словом, недочеловек. Итак, не все то, что имеет человеческий облик, равно. Горе тому, кто забывает об этом.

(Несколько ассоциаций. Первая: так это же наш портрет буржуя, кулака, капиталиста! Вторая: вот что значит паранойя идеи — блажен, кто верует в ту ли, в эту... Третья: бедный Ницше! Каким коротким оказался путь от его благородства до людоедства четырех Г. Четвертая: не таков ли путь многих Великих Идей от высот духа до всеобщего уничтожения?)

Когда слишком далеко забегаешь вперед, растет шанс оказаться далеко позади. Флаке прав: сверхчеловек, на которого Ницше возлагал столько надежд, в фашистском его варианте оказался возвращением к предчеловеку. Тот, кого Ницше видел впереди, стал выходцем из пещер. «Сверхчеловек есть суррогат, идол, схема, но если его наполнить кровью, то на сцене появляется тиран».

Человек не может нести ответственность за то, кто и как распорядится его наследством. Будь так, Достоевского пришлось бы обвинить в озверении человека, что *наши*, впрочем, и сделали на своем I съезде инженеров человеческих душ...

МАКСИМ ГОРЬКИЙ О ФЁДОРЕ ДОСТОЕВСКОМ

Достоевскому приписывается роль искателя истины. Если он ее искал — он нашел в зверином, животном начале человека и нашел не для того, чтобы опровергнуть, а чтобы оправдать... Как личность, как «судью мира и людей» его очень легко представить в роли средневекового инквизитора.

Если бы гении продумывали свою мысль до конца со всеми возможными последствиями этой мысли, не было бы ни мыслей, ни гениев.

Никакая философия не может заранее гарантировать свою безбидность или безопасность. Великая идея велика тем, что насыщена — черпай, кто и что хочет. Приписывать Мавру или Ницше ужасы коммунизма или фашизма — значит не понимать сущности власти. Она может прикрываться философией, но главное орудие тоталитарной власти — кнут.

Нет, Ницше не причастен к фашизму. Национал-социализм имеет иные корни. Его причина не в злокачественном перерождении идей, а в естественном состоянии массы людей — в темной, привыкшей властвовать и подчиняться, ненавидящей и жаждущей власти в глубине своих душ. Трагедия культуры не в гениях-экстремистах, а в почве, что их порождает. Почва эта не чернозем — чернь. До тех пор, пока наши души не очистятся от нее, угроза тирании не исчезнет. Ибо фашизм приходит не из Ницше — из темных глубин нашего существа.

Тоталитаризм может вырасти из любого учения, необходим лишь избыток рвения и недостаток ума. Можно и по-другому: политическое учение, проведенное до логического конца, есть фашизм. Западный либерализм, посаженный в восточную почву, наверняка подтвердил бы не Менделя, а Лысенко. К тому же время — само по себе, почти без вмешательства извне — великий преобразователь идей. Оправданный вчера клич к национальному единству сегодня легко превращается в оправдание шовинизма и ксенофобии, а влетающие в рот жареные рябчики Кокейна — в перманентную, не имеющую решений продовольственную программу.

Между прочим, Ницше восхищался Буркхардтом, а Буркхардт поддерживал шлоссеровское: власть сама по себе есть зло. Да и у самого Ницше находим: «Более сильный далеко не лучший». И еще: «Слишком дорого приходится платить за силу; сила оглушает».

Кто как не Ницше рисует в «Несвоевременных размышлениях» язвительную картину прусской действительности, бесчувственной ко всему значительному, превозносящей поверхностность и безвкусицу, скрывающей за демонстрируемым энтузиазмом свое безразличие ко всему?

Разве в «Слишком человеческом» не говорится о несовместимости насилия с высокой культурой? А у какого другого моралиста после апостола Петра столь часто фигурирует это атавистическое понятие — совесть?

Ницше называл себя Дон Жуаном познания, никогда не довольствующимся «одной». Концентрация внимания на насилии, воле к власти — умышленное извращение его идей. Итог его жизни — не фальсифицированная Е. Фёрстер-Ницше «Воля к власти», но «Ессе Ното», рисующее трагический путь поэта и утверждающее подлинные ценности жизни.

И сверхчеловек — не разнузданность инстинктов, а как раз наоборот — воля к обузданию. И «высшая раса» — вовсе не раса приказчиков и богемных неудачников, но стимул мельчающему обществу, протест против застоя, школа энергии и кипения жизни. Проще будет сказать, писал Андре Жид, что всякий великий творец, кто утверждает жизнь, и есть тот, кого мы называем ницшеанцем.

Ницше культивировал личность, а не рабство. Хотя в его книгах часто встречается слово «раб», его не следует понимать буквально. Рабы для Ницше — не-личности,

а поскольку личность для него святыня, то рабы — осквернители святынь. Только так я интерпретирую его антитезу «господин—раб»: личность—нелюдь.

В получивших распространение классических стандартах гуманизма Ницше претила созерцательно-бесстрастная наблюдательность. Но нельзя быть гуманистом, признавая, что все действительно разумно. Философия риска гуманна хотя бы как заслон филистерству и стадности. Да и может ли быть антигуманной — жизнь? Антигуманна ли правдивость ребенка? Антигуманен ли мудрец, принимающий жизнь, «как она есть»?

Гуманизм Ницше — тоска по цельному, гармоничному человеку, не скованному предрассудками прописей, не подавляющему свою человечность. Отсутствии такой цельности, апатия, покорность, растерзанность вызывали в нем страх. Ведь жизнь велика не прописями, а тем, что — Жизнь! Морально не то, что противостоит природе и натуре, но то, что укрепляет жизнь.

Слышал ли кто когда-нибудь, чтобы мать хотела быть вознагражденной за свою любовь?.. Пусть ваша добродетель будет вашим существом, а не чем-то чужим, не кожей, не одеянием. Так говорил Заратустра.

Хотя фашизм и коммунизм прикрывались именами Гегеля, Ницше или Маркса, убивали все же не безответственные речи, не слова, а палачи, кстати, вербуемые именно среди тех, кто не способен понять, о чем они вещали. Если уж говорить об ответственности речей и слов, то — тех, которые способны понять люмпены, а это отнюдь не речи и слова философов — кличи фюреров и вождей, продажной прессы, потерявших совесть учителей и беспринципных наставников.

Несомненно, что не эвримену история обязана своими взлетами, но все равно, если взять все вместе, гениальность и глупость, героизм и безволие, она есть история миллионов стимулов и противодействий, свойств, решений, установлений, страстей, знаний и заблуждений, которые он, средний человек, получает со всех сторон и раздает во все стороны. В нем и в ней смешаны одни и те же элементы; и потому она, в любом случае, представляет собой историю среднего уровня или, в зависимости от того, как посмотреть, средний уровень миллионов историй, и даже если ей суждено вечно колебаться вокруг посредственного, что может быть нелепее, чем обижаться на средний уровень за его средность!

Утопия Ницше состояла в его вере в возможность преодоления этой исключительной стабильности среднего, в гипертрофии влияния ярких вспышек сверхновых на слабое свечение небес. В сущности своей влияние гения на историю и культуру ограничено, ибо, чтобы влиять, надо иметь широкую область влияния, а не узкую ϵ -окрестность, медленно расширяющуюся со временем. В том причудливом хаосе случайности, который представляет собой история, выбросы остаются только редкими флуктуациями, крайними значениями, мало влияющими на статистику, и это является глубинной причиной непрочности всех односторонних построений, опирающихся на непомерные требования. Ницше был прав, будь большинство гениями, но будь все гениями, были бы правы и все другие утописты, реакцией на которых стало ницшеанство.

АРТИСТ ЯЗЫКА

Стиль должен доказывать, что *веришь* в свои мысли и не только мыслишь их, но и *ощущаешь*.

Ф. Ницше

Ф. Ницше — Э. Роде:

Я хочу тебе, как *h o m o l i t t e r a t u s*, сделать следующее признание: у меня есть предположение, что своим Заратустрой я в высшей степени улучшил немецкую речь. После Лютера и Гёте оставался еще третий шаг; обрати внимание, мой старый, милый товарищ, было ли когда-нибудь в нашем языке такое соединение силы, гибкости и красоты звука...

Мой стиль похож на танец; я свободно играю всевозможными симметриями, я играю ими даже в моем выборе гласных букв.

Ф. Ницше, «Ессе Ното»:

Вместе с тем я делаю еще общее замечание о моем *искусстве стиля*. Поделиться состоянием, внутренней напряженностью пафоса путем знаков, включая сюда и темп этих знаков, — в этом состоит смысл всякого стиля; и, ввиду того, что множество внутренних состояний является моей исключительностью, у меня есть много возможностей для стиля — самое многообразное искусство стиля вообще, каким когда-либо наделен был человек. *Хорош* всякий стиль, который действительно передает внутреннее состояние, который не ошибается в знаках, в темпе знаков, в жестах — все законы периода суть искусство жеста...

Ощущая себя реформатором немецкого языка, сравнимым с Лютером, Ницше всегда стремился к преодолению языковых границ — к латинскому периоду, ясности французских лингвистических конструкций, ритмической эйфонии, языковым преобразованиям, расширяющим жизненное пространство речи и углубляющим сознание в сторону бессознательного, невыразимого, несказанного.

Стихия Ницше — метафора, символ, царство Аргуса, напластование смыслов, множественность перспектив: «Видеть для Ницше — это значит видеть многими глазами, усиливать, расширять пределы и возможности видения, полагать мир в бесконечном горизонте конкурирующих перспектив».

Языковая чистота и множество перспектив — характеристики в такой же мере стиля Ницше, в какой — его физической жизни. Отсюда — любовь

к Энгадину, горным пейзажам и ясным дням. Сильс-Мария, эйфория горного ландшафта и голубого неба — в такой же мере относятся к земным странствиям Ницше, в какой — к его стилю, ритму, языку.

Свою жизнь и свое творчество Ницше воспринимал как набор высоты, подъем, очищение, небесный огонь.

Стиль Ницше проникнут свойственным ему динамизмом, изобретательством, пафосом порождения...

Пафос порождения проникает повсюду: в фразу, в сочетание слов, в само слово: каждый знак должен быть творящимся, но не сотворенным. Это был общий поток, общее чувство смыслового истончения бытия, его иссякновения. Ницше стоит у основания этой новой эстетики.

Он говорил о себе, что обладает «большим числом всевозможных стилей», и отрицал существование какого-то единственного «стиля в себе». Великий стиль — многостильность, многокрасочность, гибкость.

Ницше воспринимал речь не просто как способ общения, но как жизненный мир. Человек живет в речи, она должна быть аутентичной жизни, длительности, переживанию жизни. Речь — существенная жизненная проблема. Речь ставит определенные границы переживанию жизни, внутренней длительности. Она обобщает. Проблематичность использования речи заключается в необходимости выразить неповторимые и персональные экзистенциальные переживания общеупотребительной речью: «речью, изобретенной для среднего, вульгаризируется говорящий». Речь должна соответствовать экзистенции, прокомментарирует М. Хайдеггер, иначе она не будет соответствовать самой жизни.

Одним из первых Ницше поставил проблему сообщения новых идей и переживаний речью, не имеющей соответствующих им слов. Он писал в «Утренней заре» о том, как трудно мыслить о новом, выражать новые мысли старым языком. Полнота бытия — это полнота языка о бытии. Невозможно жить в речи, которая не способна выразить внутреннюю длительность переживающей жизнь экзистенции.

Экзистенциальное осмысливание речи ведет к тому, что локальный мир межсубъективности требует своей речи, речи со своими ударениями и нюансами для того, чтоб сделать возможным разговор. Локальность межсубъективности речи обусловлена экзистенцией беседующих. Сам Ницше пытался не только показать, но и сделать речь своей, расширяя ее описаниями собственных переживаний. Переживания жизни делают возможным реализовать самую жизнь (Бытие), и поэтому значение усовершенствования речи трудно переоценить. Ницше в определенной мере расширил внутренний мир человечества, излагая свои идеи обогащения его речью. Вот как охарактеризовал Томас Манн в статье «Германия и немцы» становление немецкого языка: «Лютер своим блестящим переводом Библии заложил основы литературного немецкого языка, который позже обрел совершенство под пером Гёте и Ницше». Язык Ницше потому велик, что он выразил новый опыт жизни.

Другая экзистенциальная проблема, поставленная Ницше в связи с языком, — проблема коммуникации, межсубъективности. Коммуникация — всегда выбор: говорящий выбирает круг слушателей, общение невозможно без созвучности, сонастроенности, сродства душ.

...Аристократический разум и склонность, желая высказаться, выбирает себе и своих слушателей; выбирая их, он в то же время отгораживается от «других». Здесь берут свое начало все наиболее утонченные законы стиля: они одновременно держат на расстоянии, они создают расстояние, они запрещают «вход», понимание, как мы уж сказали, — вместе тем открывают уши, сродные нашим ушам.

Увлеченность музыкой, упражнения в стихосложении, внутренняя поэтичность выработали в нем прекрасного стилиста, настоящего артиста языка. Каково бы ни было отношение к содержательной части его философии, даже самые яростные ненавистники вынуждены признать литературные достоинства его текстов, утонченность формы, филигранную стилистическую отделку. Ницше придал музыкальную выразительность немецкому языку.

Его не привлекала философская мысль, лишенная лирического вдохновения. Он стал поэтом, музыкантом и филологом в философии и философом в поэзии, музыке и филологии. «Наука, искусство и философия, — пишет Ницше, — столь тесно переплелись во мне, что мне в любом случае придется однажды родить кентавра».

Большое внимание Ницше уделял суггестивному воздействию слова, выбору языковых форм, пауз, ударений — всего того, что он называл жеста́ми, ритмикой, нюансами, мозаикой слов, их энергией: «Мозаика слов, где каждое слово, звучание его, место, понятие, свою силу выплескивает справа налево и поверх целого; минимум в объеме и числе знаков, при этом достигающий максимума в их энергии, — всё это римское, если хотите мне поверить, благородное *par excellence*».

Поэтический образ, как его понимал Ницше, всегда должен быть живой видимостью, в которой созидательный принцип жизни: время, бурлящая, клокочущая, пульсирующая и разрываема́я противоположностями жизнь — постоянно дает о себе знать, что не означает аморфности, текучести, неопределенности образа, а, наоборот, предполагает ясную определенность и завершенность. Именно они и дают ощущение жизни. Такой образ выглядит всегда как застывшее движение, он имеет структуру оксюморона. Поэтический образ у Ницше строится по гераклитовскому принципу лука и лиры. Здесь всегда напряжение, где за всеми конечными, отделенными друг от друга вещами, за противоположностями мыслится охватывающее их целое, беспокойная мировая жизнь. Если прекрасные звуки лиры возникают благодаря борьбе противоположных сил, действующих на каждую струну, а лук, оружие борьбы, стреляет и попадает в цель от натягивания тетивы, общим для обоих — лиры и лука — будет напряжение, с той лишь разницей, что задача лиры — создание прекрасной звуковой гармонии, а лук

всегда должен попасть в цель. Поэтому красота и точность, две стороны поэтического образа, мыслятся Ницше выходящими из одного истока.

Лу Саломе:

Ницше создал в известном отношении новый стиль в философии, в которой господствовали до сих пор или научный тон, или поэтическая речь экстаза. Он же создал *характерный* стиль, который, выражает не только самую мысль, но и все богатство настроений отзывчивой души, со всеми тонкими и тайными соотношениями чувств. Благодаря этой особенности Ницше не только овладевает языком, но и преступает границы, доступные языку, отражая в настроении то, что обыкновенно остается немым в словах.

По существу своей духовной природы Ницше был менее всего систематик и более всего поэт, «слышащий неслышимое», чуткий к голосу бытия, ловящий его ритмы.

Своей способности слушать и вслушиваться он придавал большое значение, и нет такой фразы в его книгах, к которой не применимо было бы то, что он писал в одном письме: «Я всегда занят тонкостями языка; чтобы окончательно установить текст, нужно самым добросовестным образом «переслушать» каждое слово и каждую фразу. Скульпторы называют эту последнюю работу *ad unguem*¹».

Его мало трогала непрерывная последовательность мысли, складывающаяся в систематический порядок, его философия — только отдельные вспышки, гирлянды, калейдоскопические картинки, сложенные из поэтических фраз. И философию свою он писал, как поэт — поэму.

Ницше любил звучные слова, нередко шел на поводу красот языка, воображаемого мира, собственной фантазии.

«Не бойся ошибаться и мечтать», — говорил Шиллер, и Ницше повторяет этот совет. Счастливые, смелые греки опьяняли себя божественными историями, героическими мифами, и это опьянение вело их к великим целям.

Проблема стиля занимала Ницше уже в годы обучения в Лейпцигском университете. Он всегда старался писать красиво, уже где-то в возрасте 22—23 лет «принципы хорошего стиля, данные нам Лессингом, Лихтенберже и Шопенгауэром», начали звучать в его ушах:

Утешая себя, я мог только вспомнить, что все они единодушно соглашались с тем, что писать хорошо чрезвычайно трудно и для того, чтобы приобрести стиль, необходимо много предварительной, усидчивой работы. Прежде всего я хочу, чтобы мой стиль был легкий и носил веселый оттенок. Я применю к выработке стиля ту же систему, которую я применяю к моей игре на рояле: это будет не только воспроизведение заученных пьес, но и насколько возможно свободная фантазия, всегда логичная и красивая.

¹ Со всей тщательностью (*латин.*).

Ницше часто сравнивал стиль с танцем: «Мой стиль — танец, игра симметрий всякого рода, перескоков и осмеяний этих симметрий». Философия тоже должна быть танцем: «Именно танец является его [философа] идеалом, его искусством, его, наконец, единственным благочестием, его богослужением». Давая разъяснения, он писал:

Действительно, танец во всякой его форме не отделить от благородного воспитания, способности танцевать ногами, понятиями, словами: я должен еще прибавить, что можно танцевать и пером — что следует учиться писать!

Пришпоривающий стиль Ницше в широком смысле слова — это доходящая до экзальтации и экстремизма предельная заостренность поднимаемых проблем, лихорадочная взвинченность, экстатическая эмоциональность, темпераментность, яркая личностная окрашенность мысли, интеллектуальная ее провокативность, «наслаждение притворством», подчеркнутая бессистемность, скрывающая ориентацию на бессознательность.

Мне неведома радость берущего; и не раз думал я: стократ блаженнее крадущий, нежели дающий.

В том бедность моя, что вовек не устанет дарить рука моя; в том ревность моя, что вижу я взоры жаждущих и тьму, просветленную желанием.

О злосчастье даящих! О затмение солнца моего! О томление страсти! О неутолимый голод пресыщения!

Они берут у меня: но затрагиваю ли я душу их? Пропать — между «дарить» и «брать»; а самая малая пропасть преодолевается в последнюю очередь.

Голод рождается из красоты моей: навлечь беды на вас, освещенных мной, обративших дары мои — во зло стремится алчность моя.

Отдернуть руку свою, когда чужая протянута к ней; медлить, словно водопад, продлевающий падение свое, — во зло стремится алчность моя.

Такою месть измышляет избыток мой; такое коварство источают ключи одиночества моего.

Радость даящего охладевает в дарении, добродетель моя устала от обилия своего!

Вечно даящий утратит и стыд. У раздающего — руки и сердце в мозолях.

Одна из причин популярности Ницше среди нефилософов — близость его стиля обыденному мышлению, далекому от дискурса. В Ницше привлекали не только необычные идеи, но и форма их выражения, отказ от «объективности», непредвзятости, упорядоченности, логичности. Ницше нарушил дурную традицию дистанцирования от собственного «я» и свойств «я», прервал ханжескую традицию «объективации» — захвата права «господами-мыслителями» глаголить от имени Бога. Раз «Бог умер», философ не может больше претендовать на объективность, теряет право говорить так, будто он всеведущ или является рупором Бога. Философ начинает говорить от собственного имени, укрепляя сказанное только собственными чувствами, собственным пафосом.

Особенность философствования «последнего ученика Диониса» в абсолютном слиянии внутреннего душевного мира с работой мысли. Перед нами яркий пример неотделимости философии от личности, переноса в философию всех тончайших оттенков собственных качеств.

А. Белый определил стиль Ницше как стиль *новой души*, ориентированной в грядущее, соединившей Запад с Востоком, унаследовавшей лучшие образцы мировой культуры.

Ницше — изысканнейший стилист; но свои утонченные определения прилагает он к столь великим событиям внутренней жизни, что изысканность его стиля начинает казаться простотой. Ницше честен, прост в своей изощренности.

Между гениальнейшим лирическим вздохом Гёте (этого самого великого лирика) и раскатом грома какого-нибудь Шанкары и Патанджали — какая пропасть! После Ницше этой пропасти уже нет. «Заратустра» — законный преемник гётевской лирики; но и преемник «Веданты» он тоже. Ницше в германской культуре воскресил всё, что еще живо для нас в Востоке; смешно теперь соединять Восток с Западом, когда сама личность Ницше воплотила это соединение.

Стиль Ницше полностью адекватен «плюралистическому универсуму» его философии, изначально отбросившей академичность, системность, неприступность и завершенность. Поэтому все попытки «завершить» Ницше, облечь его взгляды в целостный, систематический вид противостоят духу Ницше.

В. Кауфман:

Речь идет о «плюралистическом универсуме», где всякий афоризм — микрокосм. В одном и том же разделе Ницше нередко занят этикой, эстетикой, философией истории, теорией ценностей, психологией и, быть может, еще полудюжиной других сфер. Поэтому усилия издателей Ницше систематизировать его записи должны были потерпеть неудачу.

Не случайно Ницше тяготел к афористической форме. Афоризм как философский инструмент изначально предполагает «перспективизм», наличие разных точек зрения, риск, свободу, многозначность... Ницше постоянно подчеркивал негативное отношение к традиционным, академическим формам философствования, противопоставлял собственное мифотворчество системотворчеству «казенных» мудрецов.

В. Б. Кучевский:

...Бессистемность философии Ницше в его текстах имеет свою особую опредмеченную в языке форму, а именно афоризм, в котором при минимуме слов порой удается зафиксировать в предельно сжатом виде максимум интеллектуального и эмоционального содержания. Его труды — это цепь относительно замкнутых и не связанных друг с другом фрагментов, набросков, эскизов, афоризмов с широким использованием мифов, легенд, проповедей и иносказаний. Следует отметить, что именно при формули-

ровании афоризмов Ницше и предстает настоящим художником и утонченным мастером слова.

Афоризм выступает основным способом и стилем вербального выражения мысли Ницше и вместе с тем существенной отличительной чертой его образа философствования, при котором процесс мышления предстает в виде спонтанно возникающего квантованно-дискретного и многоаспектного действия.

В. Подорога:

Воля к афоризму, заявляемая Ницше, — иная воля, воля к асистемности: текстовое пространство плюрализуется, утрачивает центр и уникальную перспективу, конец и начало; его уже не прочесть привычным ходом глаз слева направо, не встречая других направлений и ритмов чтения. Сила афористического письма является внешней себе и не локализуется ни в каком выделенном месте текста, имени или утверждении, она словно озабочена тем, как на минимальном пространстве высказываемого создать избыток смысла, которым читатель не в силах овладеть без остановки и замедления чтения. В книгах Ницше, которые так мало претендуют на то, чтобы считаться «книгами», трудно отыскать некое деспотическое авторское «я», которое соединяло бы в единую перспективу завершеного философского опыта все мыслимое и до конца управляло бы всеми языковыми силами и экспериментами: авторское честолюбие заключается в том, чтобы «не появляться в своем индивидуальном облике».

Мыслить для Ницше — это прежде всего создавать письмо, мыслить афоризмами. Книга афоризмов должна воплощать строение самого бытия, ведь бытие — такое, какое оно есть в вечном потоке становления, — остается невидимым, если не предпринято интерпретационное усилие, если нет игры языка, которая должна не столько описывать или представлять его причудливый состав, сколько сама быть определенным состоянием бытия в его интерпретированном статусе, ибо другого, отличного от интерпретированного, истинного бытия просто не дано. Философская книга должна вторить и мгновенно воплощать в своей внутренней архитектонике ограниченность и дискретность всякого интерпретированного бытия; афоризм — это «кусочек» интерпретированного бытия, лишь на мгновение он появляется на поверхности потока письма, чтобы тут же уступить свое место другому, но с тем, чтобы потом вновь предстать через десятки страниц, или в другой книге, или в письме — в том же самом облачении знаков, но уже другим афоризмом, в ином ритмическом и физиологическом сцеплении.

Ницше не сразу пришел к афористике. Своеобразие его стиля возникло вместе с записями отдельных интуиций, то есть одновременно с открытием для себя афористического метода, сочетающего в себе остроту интеллектуального переживания, лиричность и личностность. Такой «стилистический поворот» можно датировать 1876 годом.

Гораздо позже, уже в «Заратустре», он выскажет заветное желание поэта-избранника, чьи пламенные сентенции боговдохновенны: «Кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть».

Как поэт, как противник «системы» Ницше видел в афоризме форму, адекватную его стилю философствования: «Афоризм, сентенция, в которых я первый из немцев являюсь мастером, суть формы «вечности»; мое честолюбие заключается в том, чтобы сказать в десяти предложениях то, что всякий другой говорит в целой книге, — чего всякий другой не скажет в целой книге».

Афоризмы — не просто кванты мысли, но парадоксы, интуиции, яркие всплески, вспышки, прозрения.

Философия Ницше — это *стиль* Ницше, концентрированный поиск стиля: плюрализму идей соответствовал стилистический плюрализм: «Задача: *видеть вещи, как они есть!* Средство: смотреть на них сотней глаз, *из многих лиц*». Афоризм как раз и оказался таким средством, каждое высказывание — отдельной философией, каждая мысль — лицом...

Если хотите, афористичность адекватна асистемности, перспективизму, плюралистическому толкованию бытия. Называя афоризмы формами вечности, Ницше, среди прочего, мог иметь в виду прагматизм истины: множественность ее трактовок, богатство символики, возможность сотворения каждым своего мира-мозаики из набора афоризмов-форм: сколько читающих афоризмы — столько миров. Афористичность — это всегда незавершенность, недоговоренность, хаотичность.

Систематика чужда человеку, говорящему афоризмами. Последовательность, однозначность, непротиворечивость — тоже. Человек, мыслящий афоризмами, не должен быть последовательным, ибо последовательность — свойство машины, а не человека. Система — это всегда свидетельство убожества: жалкая попытка втиснуть бытие в убогую мысль. Афористика — редкостная способность дискретного многовидения, отвечающего дискретному многообразию бытия. Это не просто литературный жанр, но способ видения мира, а в приложении к Ницше — еще и «парабола всей его жизни», по словам К. А. Свасьяна.

Афоризм рождался не из ущерба, а из избытка; небывалость ницшевского опыта, ницшевской оптики воплощалась в этот жанр как в единственно соразмерную ей форму выражения. Что есть афоризм? Скажем так: отнюдь не логика, а скорее некая палеонтология мысли, где по одному оскалившемуся «зубу» приходится на собственный страх и риск воссоздавать неведомое и, судя по всему, довольно опасное целое — «*заводить знакомство с господином Минотавром*». Можно сказать и так: некая неожиданная инсценировка мысли на тему схоластических *quod libet*, подчиняющаяся, поверх логических норм и запретов, неписаным канонам какой-то диковинной хореографии; афористическая мысль относится к систематизированной мысли, как векториальная геометрия к метрической геометрии, как кочевник к домоседу, прыжок канатоходца к правилам уличного движения, мужицкая дубинка к закованному в латы рыцарю, лукавое подмигивание к всесторонне взвешенному доводу, лабиринт к стрелке с надписью «выход».

Афористичность текстов Ницше, начиная с «Человеческого, слишком человеческого», является результатом не столько того, что полуслепой и страдающий от нечеловеческих головных болей человек вынужден был в периоды просвет-

лений записывать отдельные мысли или набрасывать отдельные фрагменты, сколько — образом свободного и оригинального мышления философа нового стиля, чуждого систематики, последовательности и непротиворечивости.

Он всегда если не поэт, то чародей формы, столь богатой жанрово-тематическими переплетениями, что его афоризмы необычайно многослойны. Они не фиксируют строго очерченную мысль, а, скорее, нюансируют все, что приходит на ум, предлагают не жесткую формулу, а широкое поле для осторожного обдумывания всего предполагаемого.

Ницше не писал книг — упорядоченных текстов, следующих наперед заданным принципам. Предельно далекий от системотворчества, он — формой и содержанием — ориентировал читателя на свободу, многоплановость, полет фантазии, сопричастность. Среди многочисленных интерпретаций выражения «смерть Бога» есть та, что с единственностью покончено раз и навсегда, что библий больше не будет, что философии, теологии, искусству, науке как чему-то общему, общеобязательному и единому пришел конец. Отныне универсум, единство, общность — это множественность, фрагментарность, иерархичность, конкурентность, плюралистичность,

Задолго до Джойса Воспитатель свободы осознал, что автору необходимы символы-маски, что возможность множества интерпретаций обогащает письмо, что текст должен содержать потенциал расширения смысла, что гениальность имеет только одну меру — безмерность вкладываемых в произведение идей, вечное сотрудничество автора с «потребителями», открытие все новых и новых пластов, в том числе — не предвиденных самим творцом.

Текст — реальность *sui generis*, это всегда *доинтерпретационная реальность*. И текстовое пространство организуется таким образом, чтобы не быть разрушенным сменой режимов чтения; напротив, их постоянная смена просто необходима, чтобы чтение могло продолжаться. То, что можно было бы назвать книгой Ницше, образует такую смысловую протяженность, которая становится все более открытой миру в зависимости от смены режимов чтения; книга, пока ее читают, пишется непрерывно.

Символы, предупреждал Заратустра, «не говорят, а только намекают, молча указывая. Глупец тот, кто в названиях ищет знания». Символы — не просто знаки, эмблемы, но способы выражения невыразимого, еще до конца не понятого, неоднозначного. Они необходимы всегда, ибо всегда существуют загадки, парадоксы, неочевидности, неоднозначности, призрачные границы, отделяющие крупницы знания от океана проблем.

Используемые Ницше «концептуальные персонажи», такие как Заратустра, Аполлон, Дионис, Ариадна, Тесей, необходимы ему как лично значимые носители символов, противостоящие понятиям. Философия Ницше и есть философия символов, а не понятий, подразумевания, а не утверждения, сгустка смыслов, а не решений. Решения конформны и окончательны, символы открыты и расходятся в бесконечность.

В отличие от понятий, символы текучи, изменчивы, амбивалентны. В них нет чистого утверждения или отрицания, не содержится однозначных оценок, нет высокого или низкого — они жизненны. Символы никогда не говорят — это добро, а это зло, символы не насаживают жизнь на булавки, не превращают ее в музей.

Но почему надо противопоставлять две стороны этого события [речь идет о переходе Ариадны от Тесея к Дионису] как истинное и ложное? Не присутствует ли с двух сторон та же самая сила лжи, да и сам Дионис не является ли он великим, самым большим «по истине» фальсификатором, этот Космополит? А искусство? Не является ли и оно силой лжи?

Кстати, не кто иной, как сам Ницше, многократно подчеркивал собственный символизм: «Будем блуждать над облаками, будем бороться с бесконечным, окружим себя великими символами». «Силы, божественность... произвольность Символа есть самое замечательное... кажется... будто вещи приходят и предлагают себя».

Он предупреждал и о другом: что в словоупотреблении своем далек от обычных смыслов, от слов — разменных монет, истершихся от долгого употребления: «Многие слова пропитались у меня иными солями и имеют для моего языка другой вкус, чем для моих читателей».

Ницше отдавал предпочтение греческой символике, символике вакханалий — «Она возводит в религиозный принцип глубокий инстинкт жизни, жизни в будущем, вечного существования; она признает путь к жизни, самое деторождение — священным путем...»

Главные символы жизни — лабиринт, вечный возврат, земля, риск, война, опасность, огонь: «Стань лабиринтом!», «Живи опасно!», «Встречай все новые и новые приключения!», «Жизнь есть результат войны, само общество — средство для войны».

Во многих произведениях Ницше встречаются связанные друг с другом образы Лабиринта, Тесея, Ариадны и Диониса, справляющего свадьбу с Ариадной после того, как она была оставлена Тесеем на острове Наксос. Эти образы использовались Ницше для символической передачи главных идей его учения (Тесей — «высший человек», не выполняющий своего назначения; «сверхчеловек» как порождение брака Диониса и Ариадны и т. д.). В то же время они имели для Ницше и личный смысл. Так, Ариадна ассоциировалась с Козимой Вагнер, свои последние — уже полубезумные — письма он подписывал «Дионис».

Музыкальность, поэтичность, символичность — вот ключи к текстам Ницше, и не он, а «человеческий песок» виноват в том, что «меньше всего в этой музыке была услышана сама музыка и больше всего — насильственно отторгнутые от нее и уже не отвечающие за самих себя слова!» (К. Свасьян).

Земля у Ницше — материнское лоно всех вещей, исток созидания всех форм; она дает вещам очертания, образ и время. Земля — творческая, созидательная сила, *poiesis*. Между ней и художественным творчеством существует своего рода изофункционализм, позволяющий поэзии прозревать космический принцип всех вещей, принцип единственной вечной реальности посюстороннего, земного пространственно-временного мира.

«Блюсти туго натянутый лук» — поддерживать высокое напряжение духа, необходимое для выражения человеческой сущности. «Высшая раса» Ницше — понятие, далекое от терминологии Гобино; он сам определил содержание, вкладываемое в этот символ: «благородство формы», умение управлять собой, самообладание, одухотворение, мощь персонального начала. «Ампутировать совесть» — отказаться от стадного инстинкта, бездумного повиновения этическим догмам, массовости, соборности. «Ампутировать совесть» — достичь подлинной свободы и раскрепощения творческих сил личности. «Философствовать молотом» — отнюдь не значит ломать, крушить, деформировать идеи; «философствовать молотом» — быть готовым к самоистязанию, флагеллантству. «Белокурая бестия» — человек действия, символ природной силы, человек-лев, чуждый морали рабов. «Белокурая бестия» — не жестокость, а жизнелюбие, сила страсти. «Когда-нибудь мудрец и зверь сблизятся, и тогда возникнет новый тип человека...» — зверь здесь просто «природа»... Дикость — тоже: «Лучший отдых от искусственности и мудрствований находишь в дикости».

Ницше дал основания относить его к милитаристам. Но, во-первых, панегирики войне — весьма распространенный литературный жанр, трудно назвать гениев-матерей, не приложивших к нему руку (даже Вл. Соловьев, даже Достоевский). Миф — это бесконечная война. Любовь — это война тоже. Жизнь, по словам Ницше, это война. Во-вторых, уже с позиции символизма, война — образ мировой борьбы, эволюции, развития. Я не стал бы утверждать, что война для Ницше — то же, что любовь для поэта, то есть нечто возвышенное, что должно воспеть. Но война, как и любовь, — символы жизни, в чем-то даже эквивалентные, синтез добра и зла, притяжения и отталкивания.

Как и иные символы Ницше, война — не столько сражение и убийство на поле брани, сколько состояние духа, отрицание отживших ценностей, апофеоз творческого нигилизма (отрицания отжившего).

Ницшеанский гимн войне — это гимн войне духа: сам он говорил — «войне за свои мысли». Только один пример извращения высказываний Ницше (их можно множить бесконечно): часто цитируются слова Ницше «Я призываю вас не к работе, а к борьбе!». Следующая далее фраза, придающая совершенно иной смысл сказанному, при этом опускается: «Да будет труд ваш борьбой и мир ваш победой!».

Сами немцы осознали суть ницшеанства задолго до прихода фашизма. В изданной в начале века книге Левенштейна «Фридрих Ницше в глазах рабочего класса» находим вполне современные оценки учения-мифа:

Искатель вечности, одинокий, непонятный нами, пролетариями, Ницше в действительности проповедует не право сильного против слабого, его борьба в значительно большей степени направлена против того организма, который подводит человека под определенную рубрику заранее намеченной схемы, против современного государства.

Ницше не принадлежал ни к какой партии, не знал никаких классовых различий, его учение относилось к человечеству...

ЭСТЕТИКА, МУЗЫКА

Человек думает, что сама Вселенная преисполнена красоты, но он забывает *себя* как причину этой красоты! Он один наделил ее красотой, увы! — человеческую, чересчур человеческую красотой; в сущности, здесь человек любит себя собственным своим отражением в вещах: он находит прекрасным все то, что отражает его образ: в суждениях о красоте выражается тщеславие человеческого рода.

Ф. Ницше

Соответственно аполлоновскому и дионисийскому началу существует две равноправные эстетики: красоты, обуздывающей хаос, и стихии. Дионисийское начало, как более древнее по сравнению с миром дельфийского бога, необходимо для существования красоты: стихийное, демоническое стоит выше гармонического и пластического. Красота включает в свой корпус все силы жизни, прежде всего всю мощь бесструктурного хтонического бытия (идея, близкая наиновейшим модернистским эстетикам, включая музыку нововенцев, Штокгаузена, Легети и т. д.).

Красота, которая не «трепещет перед бездной становления», есть только прекраснотушная утопия, сновидение. Все реалии жизни, включая ужасное и безобразное, бессмысленное и жестокое, не просто эстетически оправданы, но и необходимы для продолжения существования. Дьявол — не просто необходимый элемент мира, но, в значительной степени, творец подлинной красоты. Говоря на языке Ницше, растерзанный бог Дионис—Загрей есть символ бытия и воссоздание его страданий — эстетическое оправдание бытия, реализуемое искусством.

Искусство — высшее выражение воли к могуществу, приоритетная ценность, открывающая человеку возможность овладения миром. Трагическое искусство рождено «бесстрашием перед ужасным и темным», оно демонстрирует ужасное в блеске красоты: «...Трагедией славит свое бытие человек, привычный к страданию, жаждущий страдания, героический человек — лишь ему подносит трагик-художник кубок этой сладчайшей жестокости».

Однако искусство, будучи образом воли к власти, все же является волей к видимости и не притязает на большее. Но воля к власти, которую искус-

ство показало как образ сущего, — это все же стремление — *ens realissimum*, наиреальнейшая сущность, и она обнаруживается прежде всего в деянии, в поступке, в историчности человека. Для Ницше важно интерпретировать мир как волю к власти и вечное возвращение того же самого, и здесь нигилизм становится своего рода помощником и предусловием для взгляда в будущее и прошлое, на которые спроецировано настоящее.

Воспитанный на классических образцах, Ницше преклонялся перед мифологическим искусством, считал древнегреческую трагедию выражением высшей природности человеческих творений. Современная культура — свидетельство деградации, упадка, вырождения творчества, болезнь духа. Признаки болезни налицо: утрачена мифологичность, чувство стиля, величие подлинной красоты и полноты жизни, повсюду — усреднение людей и оскудение их духовного потенциала и жизненных сил. Культура безжизненна, повсюду царит декаданс, утрачена внутренняя движущая сила, ощущение трагичности существования.

Величие античности — именно в полноте жизни, в мощи трагического начала, в безусловном принятии темных сторон бытия. Миф не разделяет, не анализирует, не взвешивает на весах, не отделяет зло от добра. Где начинается анализ, кончается жизнь. Древнее мифологическое искусство служило жизни, современное, рациональное — умерщвляет живое античность подобна ликующему детству, современность — брюзжащей старости. Красота — фонтанирующая жизнь, уродство — жизненный упадок:

В самом деле, что такое красота, как не замеченное нами отражение необыкновенной радости природы, радости, вызванной тем, что открыта новая плодотворная возможность жизни? И что такое безобразие, как не печаль природы по себе самой?..

Подлинному, трагическому искусству ничего не страшно в земной жизни — все ее уродства, тяготы и издержки трагическое искусство способно переплавить в мифологию, образы прекрасной фантазии. Даже обман искусства благостен, ибо совершается во имя утверждения полноты жизни. Искусство необходимо человеку как способ обратить «вызывающие отвращения мысли об ужасе и нелепости существования в представления, с которыми еще можно жить». Иными словами, искусство помогает человеку принять жизнь такой, какова она есть, учит его утверждению жизни во всей ее полноте.

...Трагическое искусство — единственно подлинное искусство: оно не только не противопоставляет одни стороны жизни другим, но стремится все их возвысить. Вслед за мифологией трагическое искусство стирает грань между реальностью и вымыслом, утверждая трезво и мужественно: все есть вымысел. После Канта и Шопенгауэра всем стало ясно, что наш эмпирический мир суть наши представления, т. е. призрак. Трагический художник в этом чужом и непонятном мире испытывает муки и создает свой мир, свой призрак, который является призраком в призраке. Все остальные люди

отличаются от художников не тем, что живут в реальном мире, а тем, что их «призрак в призраке» деперсонифицирован. Вывод Ницше соответствует рассуждениям: если все есть вымысел — другой альтернативы просто не существует, — то следует выбирать возвышающие жизнь человека вымыслы. Таковыми в первую очередь являются мифология и трагическое искусство.

Величие античного искусства — не в светлой радости и лучезарном оптимизме, мощи аполлоновского начала, но в трагической мощи, полноте и цельности мифологического восприятия, в животворности страдания. «Это я открыл трагическое», — писал Ницше, подразумевая необходимость опасности, зла, боли, смерти для торжества жизни. Именно в момент смертельной опасности к человеку «приходит искусство, как спасающий, врачующий чародей, только одно оно может претворить это отвращение ко всему ужасному и бессмысленному в существовании в идеальные образы, дающие возможность жить».

Античная трагедия со своим дионисийством явила человечеству ту жизненную истину, что все сущее пребывает в вечном состоянии движения, борьбы, взлетов и падений, рождений и смертей, бурь и штилей океана жизни. Пафос трагического возник из цельности, из внутренней неотделимости жизни и смерти, красоты и боли, торжества и горя, из вечного противоборства дионисийского и аполлоновского начал.

Противопоставление радости и страдания принижает жизнь, считал Ницше. Хуже того, вызывает необходимость ее оправдания или искупления. Но трагическое мироощущение не оставляет места искуплению, благодати, купленному спасению. Трагическое в жизни не только не лишает ее силы, но жизненно необходимо, наполняет жизнь смыслом.

Ницше не идеализирует жизнь античных народов: она была дикой, жестокой, суровой, мрачной, но она не была искусственной, убогой, рассчитанной и продуманной до мелочей. Она была — жизнью, полнотой жизни, целостностью жизни, опасностью жизни, напряжением жизни — всем тем, что утрачено ныне.

Мироощущение древних греков отвечало торжеству и полноте жизни, мироощущение современных народов — ее деградации, упадку, декадансу. Мы предпочитаем механическое биологическому, рассудочное чувственному, научное художественному, аналитическое мифологическому, мы все взвешиваем, препарлируем на части, убиваем сокровенность жизни. Все это гасит духовность, носителем которой является жизнь, убивает жизнерадостность, свойственную целостному мироощущению.

В основе искусства — глубина и мудрость мифа, легенды. Трагедия — квинт-эссенция мудрости народа, гений — выразитель его задушевных стремлений и чувств. Мифотворец — подлинный вождь и воспитатель народа. Дионисийский гений — трагичен, как трагична жизнь. И, как жизнь, необуздан.

Как изменится вдруг мрачная чаша нашей усталой культуры, когда прикоснутся к ней чары Диониса! Вихрь схватывает все отжившее, гнилое, разбитое, захиревшее, крутясь, покрывает его красным облаком пыли и, словно коршун, уносит в вышину. Смущенно ищут наши взоры исчезнувшее, ибо

то, что они видят, словно из могилы восстало к золотому свету, в такой полноте и зелени, столь роскошно жизненно, в безмерности стремлений! Трагедия восседает среди этого избытка жизни, страданий и радости («Leben, Leid und Lust») в возвышенном восторге: она прислушивается к далекому печальному напеву — он говорит о матерях бытия, которым имя: Мечта, Воля, Скорбь («Wahn, Wille, Wehe»). Да, друзья мои, поверьте вместе со мною в дионисиевскую жизнь и возрождение трагедии. Время сократического человека прошло: увенчайте себя плющом, возьмите в руку тирс и не дивитесь, если тигр и пантера, ласкаясь, лягут к вашим ногам. Имейте теперь лишь мужество быть трагическими людьми, ибо вам суждено искупление. Вы должны сопровождать торжественное шествие Диониса от Индии до Греции. Вооружитесь на жестокую борьбу, но верьте в чудеса вашего бога!

Великая, трагическая красота — это отречение от сострадания и страха, великие и тяжкие испытания. «Рождение трагедии» кончается словами престарелого афинянина, «бросившего возвышенный взор Эсхила»:

Но скажи и то, странный чужеземец, что должен был выстрадать этот народ, дабы иметь возможность стать таким прекрасным! А теперь следуй за мной к трагедии и принеси со мной жертву в храме обоих богов!

Г. Рачинский:

Бог Ницше — это творец-эстетик, играющий формами им созданного мира; жрецы его — это художники-гении, создающие себя по образу его и подобию и старающиеся воспитать и народы в этом культе трагической силы и красоты.

Искусство для Ницше — «великое стимулирующее средство жизни, мир — рождающее само себя творение искусства. Искусство — высшая ценность, намного превышающее ценность истины: «Искусство ценнее истины». «У нас искусство — для того, чтобы мы *не погибли от истины*».

Правда, это положение о метафизическом сущностном соотношении искусства и истины мы не должны понимать в соответствии с нашими обыденными представлениями об истине и искусстве. Ибо если мы все же поступим так, то все обратится в банальность, мы же — и вот в чем настоящая роковая беда — лишимся возможности попробовать вступить в существенный спор с угаенной позицией завершающейся метафизики целой мировой эпохи — ради того, чтобы освободить нашу собственную историческую сущность от затуманивающих ее внешней истории и мировоззрений.

В только что приведенной формуле основного тезиса метафизики воли к власти искусство и истина мыслятся как два первых облика господства роли к власти в соотносительности с человеком. От нашего мышления еще скрыто, как вообще надлежит мыслить сущностную сопряженность истины сущего, как такового, с сущностью человека в рамках метафизики сообразно ее сущности. Такой вопрос почти не ставился, а вследствие преобладания философской антропологии он безбожно запутан. Во всяком случае, было бы ошибочно считать ницшевскую формулу свидетельством

того, что Ницше философствует экзистенциально. Такого не бывало. Однако он мыслил метафизически. Мы еще не дозрели до такой строгости мысли, как в следующей записи, предназначавшейся для запланированного Ницше главного труда его жизни:

«Вокруг героя все становится трагедией, вокруг полубога — все сатировой драмой; а вокруг Бога все становится — чем? быть может, «миром»?

В «Рождении трагедии» искусство — эквивалент мистики, новая религия, дающая познание божества-красоты и избавляющая от страха перед страданием и смертью. Художник — демиург, эстетический логос, но лучше сказать — мифос. Познание истины дается ему частично в созерцании, но вполне — в экстазе. «И как Бог для христианских мистиков мог открываться в мгновения экстаза именно ввиду отсутствия в экстатическом состоянии даже малейших признаков конкретного видения, несовместимого с природой божества, так и у Ницше человек-художник познает абсолют лишь постольку, поскольку он весь музыка без звуков».

Искусство — высшее выражение творчества жизни, эстетическое существование, творение новых миров, дающее творцу уникальную возможность чувствовать себя Демиургом (высшая ступень человеческого счастья).

Искусство — не просто «великий стимул жизни», но форма апологии человека. В самом творчестве изначально заложена активность, воля к могуществу, способность человека возвыситься над самим собой. Искусство по природе своей экстатично, инстинктивно, энергично, восторженно. Искусство — это энергия, сила чувств, творческая мощь.

Восторг должен повысить возбудимость всей машины — до этого искусства нет. Все возможные виды восторга, от каких бы причин он ни происходил, обладают нужной к тому силой, и прежде всего восторг эротического возбуждения, древнейший, исконнейший вид восторга. А равно и восторг, который сопутствует всем мощным желанием, всем сильным аффектам, — это и восторг празднества, и восторг состязания, восторг браваурной музыки, победы, крайнего волнения любого рода, восторг жестокости, восторг разрушения... и, наконец, восторг воли, возросшей, концентрированной воли.

Главное в восторженном состоянии — это чувство возросшей силы и изобильности.

Характеризуя последнюю фразу из «Сумерек кумиров», М. Хайдеггер интерпретирует чувство возросшей силы не как количественный рост, но как осознание себя в состоянии возвышения, захваченность творца этим ощущением. «Также и чувство полноты есть особая «настроенность» художника, которую можно определить как то, что для художника нет ничего чуждого и избыточного, что он открыт всему».

Искусство, как и жизнь, — это судьба. Вначале судьба забрасывает человека в жизнь, затем определяет избранных как художников. С одной стороны, искусство — это свобода, с другой — путы, кандалы, как говорил Ницше: «Художник — это человек, танцующий в кандалах». По словам Х. Ортеги-и-Гассета, фатальность, каковою является настоящее (заброшенность человека в его время

и причастность своей судьбе), это не несчастье, а радость, радость резца, ощущающего сопротивление материалу.

Трагический художник следует мудрости природы: для него не существует добра и зла, он равно принимает рождение и смерть, становление и уничтожение. Художник — демиург, он искусен, как природа, ему присущи ее мощь и невинность. Духовное творчество естественно и свободно, как естественна и свободна сама жизнь. Трагический поэт не знает эстетических или этических канонов, ограничивающих его творчество. Каноны — оковы искусства, окостенелости жизни, защищающие ценности вчерашнего дня.

Трагическое искусство должно быть ровней жизни: если жизнь — иррациональная и бессознательная творческая мощь, то искусство — стихия жизнеизлияния, подчиненная только свободе воли художника.

В «Рождении трагедии» еще нет «переоценки ценностей» или прямо названного имморализма, но есть творец мира — великий художник, цель которого — красота. Зло вторично по отношению к красоте, оно оправдано, если служит ей, ее полноте, жизни.

Искусство выражает глубинные бессознательные влечения естественной природы человека (предвосхищение эстетики Фрейда). На страницах книг Ницше незримо присутствуют многие психоаналитические феномены — либидо, садизм и мазохизм, воля к власти, деструктивные начала человека. Искусство представляет собой выражение в художественном творчестве глубоко скрытых бессознательных влечений, с одной стороны, и воли к могуществу, с другой. Характеризуя эту вторую функцию художественного творчества, Ницше пишет, что, находясь в эйфорическом состоянии, художник «изменяет вещи до тех пор, пока они не начнут отражать его мощь, — пока они не станут рефлексами его совершенства. Эта потребность превращать в совершенное есть — искусство». «В искусстве человек наслаждается собою как совершенством».

Путь Ницше, полагал Готфрид Бенн, это «отказ от субстанции во имя экспрессии». Мне кажется, Ницше всю жизнь пытался оживить субстанцию, вдохнуть жизнь в материю. Да и саму жизнь постоянно превращал в спектакль, в искусство.

У меня нет сомнений в том, что Одинокий скиталец ставил красоту выше любви, искусство — выше страсти. Собственно, это даже не мнение, а признание самого Ницше:

Я был влюблен в искусство с истинной страстью и в конце концов во всем существующем не видел ничего, кроме искусства — в те годы, когда обыкновенно иные страсти волнуют душу человека.

ЖИВОЕ СЛОВО

*Как я люблю живое слово!
Оно, как мир, старо и ново,
Оно встречает нас кивком,
Оно пронзает нас клинком*

*И, даже оступаясь в грязь,
Нас веселит, развеселясь, —
Лишь становясь еще живей
В самой неловкости своей.
Оно, как человек, страдает,
Когда порой больным бывает,
Оно, испытывая страх,
Трепещет стоном на устах,
Когда слова мы губим сами,
Их подменяя словесами.
А мы их словоблудьем душим,
Мы мрак несем их светлым душам,
Забыв, что слово без души —
Лишь звук пустой в глухой тиши.
Когда грустим мы молчаливо —
Слова не слышимы, но живы,
А если ложь слетает с губ,
То фраза — склеп и слово — труп!*

Искусство не призвано «отражать» жизнь потому, что его задача не в поиске холодных и бесстрастных истин, а в творении ценностей. Этим искусство отличается от науки, рационального познания. Искусство — «метафизическое дополнение действительности, поставленное рядом с нею для победы над нею». Не отражение, а превозможение...

ХУДОЖНИК-РЕАЛИСТ

*Природе верен? Как это понять?
Посмел бы ты природе изменять?
Природа проявляется во всем,
А если ты рисуешь все кругом,
То просто не умеешь рисовать!*

Соответствие искусства жизни не предполагает зеркальности: художник, творец — высшая жизнь, следовательно, ему свойственны сгущение красок, утрирование, крайнее напряжение аффекта, «в высшей степени заинтересованная переборка вещей». В конце концов, страсть наглядней и достоверней истины: право художника — творить жизнь из себя, деформировать, доводить до гротеска, мифологизировать, обогащать жизнь символом и метафорой, не усмирять стихию...

В искусстве реализм — иллюзия. Вы выражаете то, что возбуждает ваш энтузиазм, что вас обольщает в вещах, но эти ощущения вызваны не самими вещами. Вы только не знаете причин этих ощущений. Всякое уважающее себя искусство считало себя реалистическим.

Эстетика — не сводка предписаний, не правила для руководства художником (нужны ли ему «грамматические предрассудки?»), эстетика — право на

свободу, полистилистика, плюральность мифа. Ибо «без мифа культура теряет свой творческий характер природной силы». Следовательно, эстетика — это еще и освобождение природных сил.

Художник не переносит реального, его творчество — создание новых миров. Художник — человек, переделывающий мир по своему образу и подобию, сообщающий миру то, что ему не хватает. Символизация, стилизация, полет фантазии — способы углубления смысла жизни.

Истина не в мире, истина в произведении. Вклад Ницше в эстетику — декларация ее императивности: искусство — главное средство подъема жизненной силы, разновидность воли к могуществу. Оно идет от художника, стимулируя жизнь. Поэтому обладает большей ценностью, чем истина.

Реальный взгляд на действительность, не пробудил бы ничего, кроме отвращения, и был бы равносильным самоубийству. Но, к счастью, наша честность сдерживается противоборствующей силой, избавляющей нас от такой участи: эта сила — искусство как добровольная тяга к иллюзии.

Красота — не качество вещей, но то, что приносится в вещи нами. Красота — результат нашего эстетического созерцания, нашего художественного творчества. Красота — это ложь искусства, делающая выносимой жизнь.

Искусство тем и отличается от науки, что субъективно, пристрастно. В науке действительность предстает пред нами без прикрас, во всей своей наготе. Наука развеивает иллюзии и самообольщения. Научное понимание мира жестоко и бесчеловечно. Искусство, в этом отношении, противовес науки. Оно дает нам силу отвлекаться от суровой правды жизни, видеть существование в известной перспективе, в художественном отдалении, а издали жизнь кажется прекрасной: «Вся скорбь нашего бытия обращается в эстетический феномен; мы можем смеяться, плакать и радоваться».

Подлинная философия невозможна без эстетического отношения к жизни. У искусства нет иного предмета, отличного от предмета философии. Художник — всегда философ, философ — всегда художник, творец новой действительности. Главная цель и философии, и искусства — толкование жизни. Трагическое искусство — форма художественной метафизики-мифологии, выражающей полноту воли и творческую мощь жизни.

В обращении к Вагнеру предисловии к «Рождению трагедии» читаем:

...Противопоставление искусства «серьезности существования» — грубое недоразумение. Этим серьезным я позволю себе сказать, что мое убеждение и взгляд на искусство как на высшую задачу и собственно метафизическую деятельность в этой жизни согласны с воззрением того мужа, которому я... посвящаю эту книгу.

Я категорически не согласен с противопоставлением ницшеанского эстетизма гуманизму, с одной стороны, и эстетике «искусства для искусства», с другой. Гуманизм, как я его понимаю, направлен на поддержание жизни, питается ее

правдой. Разве это не ницшеанский подход? Ницше — эстетик-модернист, первейшее требование которого — свобода от канонов. Искусство должно служить правде жизни — таково кредо Ницше. Но разве искусство для искусства — не удвоенное служение? Разве, удаляясь от жизни в искусство, мы не приближаемся к ее сокровенности, к ее духовной основе? Во всяком случае, для меня модернизм, в корпус которого входит «искусство для искусства», гораздо ближе к истокам бытия, чем искусство реалистическое, так сказать, «отражающее» жизнь.

Ницше не просто принимал «искусство для искусства», но видел в нем величайший стимул жизни, безбоязненное отношение к ее темнотам, страстную жажду жизни. «Человек, испытавший это состояние в себе, ценит его выше всех благ. Он спешит передать его, должен передать, если он художник...» «Искусство для искусства» для Ницше синоним трагического искусства художественной правды незаинтересованного художника: «Перед жизненной трагедией воинственная сторона нашей души совершает свои сатурналии».

Развивая модернистскую эстетику, Ницше отрицательно относился ко всем разновидностям декаданса, вкладывая в это понятие всё, что ведет к снижению жизненной энергии, к упадку. Противоядием против декаданса он считал искусство как выражение воли к могуществу, как главный инструмент этой воли.

Старая эстетика была эстетикой пассивных и восприимчивых потребителей, то есть носила женский характер. На смену такой эстетике должна прийти эстетика производителей, эстетика мужская, эстетика риска. Не «рискованные авантюры артистической воли», по определению *наших*, но риск первопроходца, головокружительной высоты, свободного полета.

Я бы не стал упрекать автора «Заратустры» в отрицании духовного во имя бесстыдной жизни: ведь эстетизм — форма духовности. Просто «переоценка ценностей», распространяемая на эстетику, требовала нового языка, буквальная трактовка которого в старых терминах приводила к казусам интерпретаций.

Музыкальные вкусы Ф. Ницше, как и его философия, очень подвижны. В молодости — немецкая классика, позже Вагнер, затем — отрицание Вагнера, Моцарт, Шопен, Бизе... Весной 1880-го, когда они с Гастом жили в Венеции, он часто просил своего друга играть Шопена: «в его рапсодиях он находил такой искренний порыв страсти, которого совершенно нельзя найти в немецком искусстве». Видимо, именно к Шопену относится строка Ницше: «Нельзя без слез слушать музыку».

Всю жизнь Ницше писал о Дионисе, но по-разному призывает он к музыке; сначала он зовет к Вагнеру: Вагнер выводит из искусства жизнь будущего; отдельные формы искусств для него тот Египет, из которого он — Моисей — выводит избранных; но Вагнер не приводит в Землю обетованную: бросает в пустыне эстетического эклектизма.

Тогда Ницше бросает Вагнера. Зовет к музыке, минуя искусство: приглашает пропеть свою жизнь: тут он — Ной — построивший ковчег-песню в тот миг, когда ветхому нашему сознанию грозит потоп музыки: нельзя безнаказанно убежать от воды живой: сам Ницше погиб в потопе: музыка затопила его сознание. Но мы уже знаем в чем Ковчег, построенный Ниц-

ше. Песня, как упражнение в ритме жизни: вот путь будущего; мы должны научиться пропеть нашу жизнь.

В 1881-м Ницше нравилась музыка Петера Гаста — настолько, что он поверил в собственную фантазию: способность этой музыкой на стихи Гёте вытеснить влияние Вагнера. Приблизительно в это же время Ницше четыре раза подряд слушал «Джюльетт» у Беллини, а затем открыл для себя Бизе:

...Я сделал новую хорошую находку, слушал оперу Жоржа Бизе (кто это такой?) «Кармен». Опера слушается, как новелла Мериме. Она остроумна, сильна, местами глубоко волнует. Бизе настоящий французский талант, еще не сбитый с толку Вагнером, это истинный ученик Берлиоза... Я недалек от мысли, что «Кармен» — лучшая из существующих опер.

Боготворя музыку, постоянно слушая произведения Баха, Бетховена, Шуберта, Гайдна, Мендельсона, Моцарта, Вагнера, много и плодотворно размышляя о высочайшем из искусств, Ницше сам сочинял музыкальные пьесы, много музицировал, даже попав в пропасть безумия, проводил дни за роялем. Касаясь клавиш, он отдавался полету фантазии, растворялся в музыкальной стихии. Он скрупулезно изучил теорию музыки и музыкальную эстетику. Мне кажется, философские поэмы Мифотворца обладают внутренней музыкальностью, придающей им модернистский атональный колорит.

Ницше написал множество музыкальных композиций и песен, получивших высокую оценку таких великих музыкантов, как Вагнер и Лист. Виртуозные импровизации «молодого льва» с наслаждением слушали в семье Вагнеров, а Карл Герсдорф считал, что «даже Бетховен не смог бы импровизировать более захватывающим образом» (двусмысленность этой фразы состояла в констатации способности Ницше реализовать волшебную грезу Давидсбюндлеров — «захватывающим образом» срастить слово и музыку, совместить свободу философского слова и музыкального полета).

Секрет лирики — музыка, музыкальность мысли, бессознательное постижение поэтом смысла и сущности мировой жизни. Лирика символична, главный символ лирики — сам поэт. Беря символом самого себя, поэт «то, что колеблется в зыбком явлении, закрепляет устойчивыми мыслями». Музыкальное настроение поэта разряжается символическим рядом образов и понятий, словесными фигурациями на музыкальную тему.

Когда Архилох, первый лирик греков, высказывает дочерям Ликамба свою безумствующую любовь и вместе с тем свое презрение, то это не его страсть пляшет перед нами в оргиастическом похмелье: мы видим Диониса и менад; мы видим опьяненного мечтателя Архилоха; он упал, охваченный сном, как его описывает нам Еврипид в «Вакханках», сном на высокой горной луговине, под полуденным солнцем — и вот подступает к нему Аполлон и прикасается к нему лавром. Тогда дионисиевско-музыкальное очарование спящего мечет вокруг себя как бы искры образов, лирические

стихи, которые в своем высшем развитии называются трагедиями и драматическими дифирамбами.

Музыкальность для Ницше эквивалентна самой сущности мировой воли, мировой жизни, мировой красоты, которые жаждут «бытия в звуках». Музыка есть высшее выражение дионисийского духа, аффективного постижения жизни. В музыке находит свое выражение сила страстей, чувство возрастающей мощи и полноты. Опьянение творчеством наиболее полное свое выражение обретает в музыке, особенно в музыке кумиров — Бетховена, Генделя, Моцарта, Палестрины...

Ницше убегал в музыку всякий раз, когда испытывал страх перед собственными мыслями, бушующими внутри стихиями или когда впадал в дурное расположение духа. Музыка была его спасением, позволяла овладеть собой, вытеснить одни страсти другими.

Я говорю еще одно слово для самых избранных ушей: чего я, в сущности, требую от музыки? Чтобы она была ясной и глубокой, как октябрьский день после полудня.

Ф. Ницше — П. Гасту:

Музыка дает мне такие ощущения, о которых я и понятия не имел. Она освобождает меня от самого себя; мне кажется в такие минуты, что я откуда-то с вышины смотрю на самого себя, и «чувствую» себя в поднебесье. Я делаюсь сильнее, и регулярно после каждого музыкального вечера (я четыре раза слушал «Кармен») для меня наступает утро, полное бодрых настроений и всевозможных открытий. Удивительно прекрасное самочувствие. Такое ощущение, будто я выкупался в «более естественной» стихии. Для меня жизнь без музыки — просто ужас, мучение, изгнание.

Юношеские поэтические опыты Воздухоплователя духа лишены гармонического начала, даже музыкальные его композиции, по отзыву фон Бюлова, лишь голая тематика, аморфная мысль. Молодой Ницше уходил в музыку, но не ощущал ее в себе. Лишь обретение себя, преодоление традиций, внутренний вулканизм делают его творения музыкальными, звучащими, атональными.

О «Заратустре» он сам сказал, что эта книга написана «в духе первой части Девятой симфонии», и словесно неподражаемое, поистине божественное вступление к «Ессе Ното» — монументальная композиция — разве это не органная прелюдия, созданная для гигантского собора будущего? А такие стихотворения, как «Ночная песня» или «Баркаролла», — разве это не первобытный гимн человеческого голоса, звучащий из бесконечного одиночества? И где звучит восторг такой стихийной пляской, такой героической, греческой музыкой, как в пэане его последнего ликования, в «Дионисийском дифирамбе»?

Ницше считал музыку средством, соединяющим сознание человека с основами бытия, проясняющим мировое становление. Если у Вагнера музыка

осуществляет намерение поэта, выражая сокровенный смысл поэзии, то есть вторична по отношению к слову, то для Ницше она — главный источник художественности и одновременно выражение смысла бытия. Музыка придает жизни ощущение самодостаточности и одновременно углубляет понимание ее природы. Музыкальный восторг Ницше считал наисильнейшей эмоцией жизни. Проповедуя самодостаточность и самоценность жизни, автор «Веселой науки» видел именно в музыке, соединении музыки с игрой — символ и образ самовозвышающейся жизни. Об этом, в частности, идет речь в 77-м афоризме «Веселой науки» (важнейшем для понимания ницшевской концепции жизни, игры и искусства), на что обратил внимание Ортега в своей книге «Что такое философия?»

Для позднего Ницше музыка — средство успокоения, отдыха. Она — его убежище, приют, освежающий поток, средство очищения — *musica divina*¹. В музыке он обретает забвение, утраченную гармонию, покой, пристань: «Здесь достиг я пристани: музыка, музыка».

Зрелый Ницше уже не может обходиться без музыки. «Жить без музыки — просто бремя, заблуждение». Его душа теперь жаждет спастись в музыке. «Всех богов оттолкнул он в своем одиночестве, лишь одного он не может лишиться: музыка для него нектар и амброзия, освобождающая душу и дарующая вечную юность».

Вплоть до мрачных глубин безумия ему сопутствует музыка, своей демонической силой властно пронизывая и жизнь его, и смерть.

¹ Божественная музыка (*итал.*).

ЛИРИКА

Когда страна обречена на гибель,
Дух избирает Одного, которым
Он хочет говорить, который станет
Последней, лебединой песнью духа.

И. Х. Ф. Гёльдерлин

Паскаль, Киркегор, Ницше изменили стиль философствования, обратили наукоподобие в мифологию, лирику, верлибры, вернули мудрость к своим праистокам. Если можно говорить об эволюции Ницше, то это было движение к поэзии, к версификации, к метафоре. «Заратустра» — поэма, философская лирика. Это — ключ.

Но Ницше был и профессиональным поэтом, конгениальным Гёльдерлину: Гёльдерлин ушел в 1843-м, Ницше пришел в 1844-м — переселение душ... Во всяком случае в «Дионисийских дифирамбах» явно различимы гёльдерлиновские обертоны — гимничность, лексика, метрика, поэтический жест, тематика...

*День моей жизни!
Садится солнце.
И уже позолочен
ровный поток.
Дышит скала теплом:
верно, в полдень на ней
счастье вкушало свой сон полдневный?
Вон оно еще брезжит
зеленью отсветов над бурой бездной.*

Ницшевское: «День моей жизни! Садится солнце...» — воспринимается как эхо знаменитой прощальной песни Гёльдерлина «Половина жизни» («Горе мне, где возьму я, если придет зима, где возьму я цветы, где возьму солнечный свет и теплые тени земли?»).

Поэтическое творчество Ницше предшествовало филологическому — он начал писать стихи в юности. Следуя романтической традиции, он включал собственные стихи в свои произведения: скажем, «Ода» к “мистралю” вошла в «Веселую науку», «Дионисийские дифирамбы» — в «Заратустру». Ницше начал и кончил свое творчество лирикой: последние «Дифирамбы» написаны в августе 1888-го, за несколько месяцев до смерти духа, в них уже есть слово «безумие»...

И вот этот-то голос, это второе «я» Заратустры, вершит над ним последний суд (в заключительном дифирамбе троекратно повторенное «Смолкните!» звучит как «Встаньте!»). Ты жаждал быть выше всех, гово-

рит этот голос, а оказался лишь всех бедней и несчастней; ты устремлялся к высям, а оказался на краю бездны; ты хотел быть за пределами добра и зла, а теперь, на этой вершине, в этой пустыне остался лицом к лицу с простыми истинами, тобою отринутыми и осмеянными, но тебя все равно не покинувшими: «Сам себя познавший! Сам себя казнивший!.. И земля твоя бедна любовью... Надо стать тебе беднее, если хочешь, чтоб тебя любили... Любят лишь тех, кто страдает... Себя раздари, Заратустра!».

ГЛУПЕЦ! ПИИТА!

*В часы, когда убывает свет,
когда роса утешеньем
расстиляется по земле,
невидима и, ступая неслышно —
ибо обута в мягкое,
как все поспешающие с утешеньем, —
вспоминаешь ли ты тогда, вспоминаешь ли,
раскаленное сердце,
как встарь ты стремилось
к слезам и росам Небесным,
устало и исступленно,
покуда на желтых осенних тропах
злые взоры вечернего солнца
сквозь черные ветви деревьев к тебе
спускались, слепящие и смертоносные?*

*«Взыскующий истины — ты? — Насмешники!
Всего лишь пиита!
Зверь, хитрый, хищный, крадущийся,
на ложь обреченный,
на заведомую неизбежную ложь,
добычи алчущий,
личину носящий,
с личиной сроднившийся,
добычею ставший,
не это ли значит —
взыскующий истины?
Глупец! Пиита!»*

*Пестро глаголящий,
в шутовском обличье пестро глаголящий,
по лукавым виадукам словес восходящий,
по лживым радугам
меж поддельными небесами
крадущийся и шныряющий —
глупец! Пиита!*

Взыскующий истины?..

Небольшое по объему поэтическое наследие Ницше (мы исключаем из него юношескую лирику) поражает как разнообразием поэтических образов, так и четко ограниченным, на первый взгляд, даже узким кругом переживаний, фундаментальных поэтических состояний. Ницше знал особенности своего поэтического дарования и поэтому в зрелые годы не стремился захватить для себя сферы форм, где полностью царствовали великие поэты Гёте, Шиллер, Гёльдерлин, Гейне. Баллады, написанные в юности, попытки создать крупные поэтические формы в целом неудачны. Но там, где в поэзии дышит дух его философии, — там всегда совершенство.

Таков великолепный автопортрет, первый «Ессе Номо», с его гераклидовским пламенем, символизирующим мысль, слово и неутолимую жажду жизни, которая мыслится как горение.

Чисто условно в поэзии Ницше можно выделить две манеры: первая — трансформация, разработка традиционных форм, сохраняющих рифму, использование уже испытанных в первоначальных опытах размеров (в основном это хорей и ямбы). Это прежде всего относится к лирике семидесятых годов, а также к зингшпилю «Шутка, хитрость и месть», «Песням принца Фогельфрай», «Изречениям» («Sinnsprüche», 1881—1885). Здесь мы находим чрезвычайно широкий диапазон от чистой лирики, с такими шедеврами, как «Одиночество» (1884), «Таинственный челн», «Мое счастье», «К новым морям», «Музыка юга» (1885), до колких, написанных в эпиграмматическом стиле стихов, пародий, стихов травестийного характера.

Другая манера, непосредственно связанная с появлением философской поэмы «Так говорил Заратустра», — это, как ее называл Ницше, стиль дифирамба. Для нее характерны отказ от рифмы, постоянное варьирование элементарных символов...

«Дионисийские дифирамбы» — это песнь о самом себе, *нищета богатейшего* — это подведение итогов собственной жизни, как легко убедиться из самого текста:

*Смолкните!
Истина моя глаголет!*

*Горе тебе, Заратустра!
На кого похож ты?
Словно золота наглотался!
Тебе еще вспорют брюхо!..*

*Ты уж слишком богат —
ты, столькох погубитель!
Слишком многим ты внушаешь зависть,
слишком многих ввергаешь в бедность...
Мне самой в тени твоего света
стало зябко. Уходи, Заратустра,
уйди, богач, со своего солнца!..*

*Жаждешь дарить, раздарить свои излишки —
но сам ты из всех самый лишний!
Будь умным, богач!
Себя раздари, Заратустра!*

*Десять долгих лет —
и ни капли с небес?
Ни влажного ветра, ни росинки любви?
Но кому тебя любить,
о богач сверх меры?
Твое счастье все окрест иссушает,
и земля твоя бедна любовью —
земля, где неведом дождь...*

*Уж никто не говорит тебе спасибо,
а ты благодаришь всякого,
кто берет от тебя;
то твоя для меня примета,
о богач сверх меры,
самый нищий из всех богатых!*

*Ты собою жертвуешь, мучишься своим
богатством,
раздаешь себя,
не щадишь себя и не любишь,
терзаем великой мукой:
переполнены твои амбары,
переполнено твое сердце —
но никто тебе не скажет спасибо...*

Юношеские стихи Ницше, которые он сам считал детскими шалостями и говорил о них не без иронии, тем не менее отличаются музыкальностью и почти все могут быть положены на музыку. Они еще отмечены романтическими переживаниями, меланхолией и чувством тоски...

В стихотворении «Вдали» впервые у Ницше появляется образ «ладьи Харона». Настроение тоски соединяется здесь с мыслью о привязанности жизни к смерти и о безнадежности попытки звуками «струн золотой лиры» связать распавшееся время. Тема смерти занимает большое место в стихотворениях юного Ницше («Могила», «Могила отца» и др.). В одном из стихотворений колокольный звон, возвещающий приход Нового года, начало его празднования, не несет с собой радости новой жизни, он — напоминание о смерти и могиле, уготованных не только старому году, но и самому поэту.

При всем ученичестве лирика воспитанника Пфорты уже выдает в нем будущего автора философско-поэтических шедевров «Веселой науки»:

*Пусть только посмеет кто-то
Спросить, откуда я родом,
Где кров мой, и родина — где:
Я не был еще ни разу
Пространством и временем связан,
Паря, как орел, в высоте.*

Этот поэтический опус 14-летнего поэта привлекает не только самобытностью, но — констатацией свободы, предвосхищением кредо зрелого философа.

Принято считать, что Ницше обрел самостоятельный поэтический голос в наиболее кризисные для него годы (1876—1877 гг.). Отличительная особенность стихов этого периода — соединение образности с философичностью, наличие глубинного подтекста:

*Шагает путник в поздний час
Средь тишины.
И лес, и склон в глуби души
Отражены.
Как хороши
И тьма, и тишь! Он ширит шаг,
Невесть куда бредя сквозь мрак.*

*Трель птицы слышится в ночи...
«Не надо, птица, замолчи!
Зачем ты мой смущаешь слух?
Я не могу быть к зову глух,
Но верный путь — один; меж двух
Блуждая, заплутал мой дух,
Маяк потух!»*

Расцвет поэтического творчества Ницше приходится на последние годы творчества (1882—1888 гг.) Философские произведения этих лет насыщены собственной лирикой. К этому времени относятся «Дионисийские дифирамбы», стихотворные партии «По ту сторону добра и зла», зингшпиль «Смех, месть и хитрость», открывающий «Веселую науку», наконец, «Так говорил Заратустра»...

При сравнительно небольшом объеме лирики, она отличается огромным тематическим и стилистическим разнообразием: от дифирамба до пародии и травестии, от классических хорей и ямба до верлибра. Поэтическое мастерство Ницше выражается в свободной игре формой, стиливой и семантической обильности, игровом характере стиха.

БОГОБОЯЗНЕННАЯ ДЕВИЦА

*Покуда я прелестна,
Ты, Боже, мой жених.
Ты любишь, как известно,
Красоток из простых.*

*И ты простишь монашка
От собственных щедрот,
Что он меня, монашку,
Пощиплет и помнет.*

*Монашку молодому —
Не старому козлу.
Ведь был бы сам такому
Ты рад рукомеслу.
Ты, старцев прибирая,
Суров, но справедлив.
О том не забывая,
Монашек мой ретив.*

*Прелаты только с виду
Тверды, как глыбы льда.
Таят они обиду
На немощь и года.
Покаешься разочек,
Пошепчешь на ушко —
А там уже дружочек,
И снова жить легко!*

*Рассказ в исповедальне
Придумал ты умно.
Ведь под кустом и в спальне
Веду себя грешно.
Служу тебе я, Боже.
Хожу к тебе во храм.
А дьяволу попозже
Все, что попросит, дам!*

Ницше создает неологизмы, нуждающиеся в семантической расшифровке, использует игру слов, вообще часто производит впечатление играющего поэта. Но это только одна сторона. Другая: Ницше — поэт переживания времени как стихии человеческого бытия. Здесь уже нет места фарсовости, бурлеску, имитациям, притворству. Это прежде всего «Дионисийские дифирамбы», «Солнце садится», «Огненный знак», «Слава и вечность», стихи из «Песен принца Фогельфрая», «Песнь томления» и «Хмельная песнь» из «Заратустры».

*Ты? Истины Жених? — насмехались они, —
О нет! Поэт — и только!
Зверь изворотливый и хищный,
Обреченный лгать,
Лгать без принужденья, искусно и умело,
Зверь, жадный до поживы,
Лицо скрывающий под разноцветной маской,*

Ты — маска самому себе,
 И самому себе — добыча!
 И это — Истины Жених?
 О нет! Безумец, поэт — и только!
 Способен ты лишь к ухищреньям речи,
 Скрываясь под личиной сумасброда; ты —
 Мастер на словесные коленца;
 Ты возводишь мосты из слов — разноцветные радуги,
 И по ним, ненадежным, слоняешься бесцельно,
 Витая меж воображаемым небом
 И выдуманной землей, —
 Безумец, поэт — и только!

Сладкозвучная лира! Сладкозвучная лира! Как люблю я звучание твое, это мелодичное пьянящее кваканье! Издалека, с прудов любви, доносятся до меня переливы песни твоей!

О, древний колокол, сладкозвучная лира! Чьи только скорби не разрывали сердце твое — скорби отцов, дедов и прадедов;

— зрелой стала речь твоя, зрелой и спелой, словно золотая осень и полдень, словно сердце отшельника. И теперь говоришь ты: «Мир созрел, виноградная лоза потемнела»,

— ныне хочет он умереть, этот мир, умереть от счастья. О высшие люди, чуете ли вы благоухание? Неощутимо распространяется оно,

— благоухание и аромат вечности, аромат золотого вина, поднимающийся от древнего потемневшего и созревшего счастья,

— от пьянящего счастья полуночи, счастья смерти, поющего: *мир глубокий, и глубже, чем думает день!*

Поэтическое наследие Ницше отличается необыкновенным разнообразием тем и образов, их точностью и красотой, глубиной лирических переживаний. Его с полным правом можно назвать наследником лучших образцов немецкой поэзии — прежде всего Гёте, Шиллера, Гёльдерлина. Наряду с поэтическими реминисценциями мы обнаруживаем прямые обращения к предтечам:

К ГЁТЕ

Все быстрое —
 Символ, сравненье.
 Бог — бесконечное
 Недоуменье.

Цель не достигнута.
 Знает поэт:
 Жизнь не постигнута,
 Истины нет.

*Вечная женственность —
Только игра
И небожественность
Скрипа пера!..*

ШЕКСПИР

*И как, покуда мир лежит в тумане,
Зарю уже приветствуют холмы,
Британского величия дыханье
Почуяли германские умы:
Явился Гердер, песни и преданья,
Явился Лессинг, и явились мы:
И гения свободное паренье
Нашло здесь отзвук, полный восхищенья.*

*Туман висит меж царством тьмы и света,
А сквозь него проходит путь лучей.
Удел и назначение поэта
Не мрак пронзить стрелой своих речей,
А мглу, туман, унылые тенета,
В которых увязает книгочей, —
И только луч, венчая землю с твердью,
Сверкает над забвением и смертью!*

Удивительное непонимание философской лирики Ф. Ницше характерно для большого русского поэта Б. Л. Пастернака, прошедшего мимо как стилистического мастерства, так и глубочайшей философичности Ницше-поэта. Пастернак считал, что сама идея ниспровержения всех ценностей психоаналитически обязана неудачам Ницше в поэзии и музыке: навсегда оставшись дилетантом, не реализовав себя как поэт и музыкант, он собственную обиженность на судьбу выплеснул в философию, начал «потрясать мировые устои». Между тем, поэтическое наследие Ф. Ницше, к которому бесспорно относится и его шедевр «Так говорил Заратустра», буквально возросло на обильной почве его философии, отличалось стилистическим мастерством, могучей образностью и глубочайшей символичностью.

Если хотите, творчество Ницше — синтез философии и лирики, мифологическое, поэтическое созерцание действительности во всем ее многообразии и глубине, попытка проникнуть в человеческие глубины или сокровенные тайники сущего не путем умозрения, а с помощью художественных средств — символов, эмблем, метафор, логики мифа.

Большая часть лирики Ф. Ницше — парафразы к его философии. «Веселая наука», обрамленная двумя циклами стихотворений, открывающаяся «Смехом, мстостью и хитростью, прологом в немецких виршах» и завершающаяся «Песнями принца Фогельфрая», — пример философской поэзии, а лучше сказать, собственной философии, положенной на стихи. Несколько примеров:

ПУТНИК

*Тропе конец! Внизу разверзлась бездна!
Ее ль ты ждал? Она ль тебе любезна?
Ее я ждал! Она любезна мне!
В опасность верю, в гибель — не вполне.*

ВСЯ МУДРОСТЬ МИРА

*Сплошная грязь в болоте,
А в небе только басни —
И лишь в полуполете
Наш мир всего прекрасней!*

ПОДРАЖАНЬЕ — ПОРАЖЕНЬЕ

*Спеша за мною по пятам,
Со мной сравняться хочешь сам?
Чтоб не остаться позади,
Своей дорогою иди!*

ИСТОЛКОВАНИЕ

*Себя не истолкую — истолку
В труху свою надежду и тоску.
Мой помысл истолкует только тот,
Кто всё перетолковывать начнет.*

ОДИНОКИЙ

*Не жду от вас ни брани, ни оваций.
Мне править лень — и лень повиноваться.
Себе не страшен — никому не страшен,
Лишь Страшному — возможно поклоняться!
Тоска традиций и тоска новаций...
Не лучше ли в пустыне затеряться?
Сродниться со зверями — и сровняться?
Вернуться, как на родину, из смуты,
Где счет ведут на частые минуты, —
Найти себя, с самим собой спознаться?*

Лирика Ницше — в полном соответствии с его философией — персональная жизнь сознания творца, генетическая связь с жизнью и землей, возврат к первоистокам бытия, выраженный в символах: «Все непреходящее есть только твой символ».

*Ныне —
в одиночестве с самим собой,
во двойничестве с собственным знанием,
во ничтожестве и во множестве
неизменно лгущих зеркал,
в беспамятстве
сотни воспоминаний,
все раны горят,
все стужи страшат,
все петли душат:
Самопознанье!
Самозакланье!*

*Зачем ты себя опутал
петлями этой мудрости?
Зачем ты себя завлек
в сад вечного Змия?
Зачем ты прокрался в себя?
В себя — зачем?*

*Болен ты ныне,
опоенный змеиным ядом,
ныне пленен
жесточайшею сетью пут:
в свои недра вгрызаясь,
не поднимаясь с колен,
прорубая пустоты в породе,
поднимая пласты за пластами,
упрямо, —
не надеясь на помощь,
мертвец,
грехами отягощенный,
самим собой нагруженный.
Путь знанья!
Самопознанья!*

Главная особенность лирического наследия Ницше (как и его философии) — личностность, интуитивность, укорененность в глубинных пластах сознания философа-поэта. Образы Ницше рождались в хтонических глубинах его сознания, превращая его лирику в зеркало как бессознательного, так и глубоко осмысленного.

А. Аствацатуров:

В любой философии Ницше искал личность ее творца, личностное начало было для него главным. Естественно, поэзия как искусство, сохраняющее в неразложимом виде личность, не расщепляющее ее на части, передающее целостность переживания, была составной частью его философии, ее важ-

нейшим элементом. Но не ее украшением, не *Lehrgedicht*, не версифицированной прозой, она появлялась в ней как кульминация, как высшая точка духовного напряжения, исканий духа, который сливался с переживанием и обращался к родившим его глубинам. В лучших стихах Ницше мы никогда не найдем навязанной материалу мыслительной схемы, они говорят сами из себя. Они, как все великие стихи, — стихи на случай, а случаи здесь поставлял лабиринт познания, то есть философия. Поэзия была для Ницше самознанием его философии. Из «Ессе Номо» мы знаем, что вне философии как эмпирически-бытовую личность он себя не мыслил. Поэзия — это зеркало философии Ницше, в котором он видит себя не как Нарцисс, а чувствует себя единым с состоянием рождения мысли. В стихах он творит древнейший синтез мысли и поэзии. Нельзя забывать, что фундаментальные идеи философии Ницше, такие как вечный конфликт становления и бытия, борьба света и тьмы, вечное возвращение того же самого, имеют мифопоэтический характер, следовательно, поэзия в этой философии всегда на своем месте.

Ницше много и плодотворно размышлял о природе поэзии, видимо, разделяя лирическую концепцию древних о том, что ритмизованная молитва быстрее достигнет слуха богов. Впрочем, он пошел дальше: ритм, музыкальность слова необходимы человеку для того, чтобы *одолеть* богов, *подчинить* их своей силе. Поэт — не просто богоравный, но — бросающий вызов.

Ритм, музыка слова, полагал автор «Дионисийских дифирамбов», очищает душу, смягчает *ferocia animi*¹, снимает напряженность.

Мелос означает, судя по его корню, успокаивающее средство, и не потому, что он сам по себе спокоен, а потому, что он действует успокаивающе — и не только культовые, но и обычные песнопения древнейших времен строились на предпосылке, что ритмичность оказывает магическое воздействие, как это проявляется, например, когда человек черпает воду или гребет; песня является своего рода заклинанием злых духов, которые, по тогдашним представлениям, вмешивались во все дела человека, она делает их послушными, сковывает их свободу и превращает в орудие человека. И за какое бы дело он ни принимался, у него всегда есть повод попеть — ибо ни одно дело не обходится без духов: заклинания и заговоры представляют собою, очевидно, исконные формы поэзии.

Поэзия не просто пленяет ритмом, но *воспринимается* как высшая *истина*: даже самые серьезные философы, везде требующие доказательств, ссылаются на изречения поэтов, дабы придать своим мыслям пушую убедительность («а ведь для истины гораздо опаснее, когда поэт согласно принимает ее, нежели когда он перечит, пытаясь ее опровергнуть»). Ибо, как говорит Гомер, «поэты ведь великие лжецы!»).

Вклад Ницше в поэзию — почти маллармистский: он научился слышать молчание бытия, извлекать из несказанности тайный смысл и сполохи интуи-

¹ Ярость души (латин.).

ции. Начинающиеся с отточия, верлибры Ницше как бы возникают из безмолвия — афоризмы, подслушанные поэтом у немого бытия.

Ницше осуществил на практике принцип философствования Хайдеггера: мыслить — это вслушиваться в бытие, слышать голос бытия...

*Тихо!
Встречаясь с великим — а я встречаюсь, —
надо молчать
или заговорить вровень с ним:
заговори вровень с ним, моя восхищенная мудрость!*

*Гляжу наверх —
и там накатываются друг на друга
валы световых морей:
— О ночь, о молчанье, о шум, убивающий тишину!*

*Вижу знак —
из наидальней дали,
медленно рассыпая искры, нисходит ко мне звезда.*

Стихи Ницше звучат в контральтовом соло Третьей симфонии Густава Малера. Друг Ницше Петер Гаст переложил «Гимн жизни» для оркестра.

Как автор афоризмов Ницше не перестает чувствовать себя если не поэтом, то мастером формы, и его область здесь — нюанс («Я — нюанс», пишет Ницше в одном месте, слово «нюанс» выписывая, разумеется, по-французски). Нюанс — это оттенок и тонкость, и афоризм Ницше пригоден не столько для фиксации твердо установленного смысла, который писатель доводит до сведения читателя, сколько как поле обдумывания всего предполагаемого, как осторожное взвешивание всего, что приходит на ум: если и выражается нечто решительное, даже и в «агрессивном» тоне, как это порой случается у Ницше, то такая резкость предназначена для уравновешивания ее другим разделом; афоризмы соуравновешиваются как разделы многосоставной музыкальной формы.

Он и сам писал музыку и, между прочим, положил на музыку «Заклинание» Пушкина. Сама философия Ницше поэтична и музыкальна — и воспринимается не как «система» или «учение», а как искусство, ассоциативно умножающее и усиливающее богатство мысли, проникающее в глубь, недоступные для понятий.

Музыкальное, звуковое начало текстов Ницше проявилось в его способности передавать то, «что не может быть *написано*»: «Наиболее вразумительным в языке является не само слово, а тон, сила, модуляция, темп, с которыми проговаривается ряд слов, — короче, музыка за словами, страсть за этой музыкой, личность за этой страстью: стало быть, все то, что не может быть *написано*».

Впрочем, Ницше пытался писать и это, невозможное, тончайшие оттенки чувств, особенности тона, внутреннее напряжение и трепет души, одним словом, картину *глубинной душевной жизни*.

ПОЛИТОЛОГИЯ

Всякая политика сводится к тому, чтобы сделать сносной жизнь возможно большему числу людей.

Ф. Ницше

Обвинения в анархизме последователя Макиавелли и Гоббса совершенно беспочвенны: «Государство есть мудрая организация для взаимной защиты личностей». Отказываясь от «общественного договора» как причины происхождения государства, Ницше свободному волеизъявлению, равноправию и защите слабых противопоставляет иерархию воли. Не «договор», а власть сильных над слабыми, организации над хаосом, силы над слабостью — вот что такое государство: «...Раса покорителей и господ, которая, обладая военной организованностью и организаторской способностью, без малейших колебаний налагала свои страшные лапы на, должно быть, чудовищно превосходящее ее по численности, но все еще бесформенное, все еще бродяжное население. Так вот и затевается «государство» на земле».

Государственная власть — форма «воли к могуществу». Все, что противостоит или противоречит последней, ведет к упадку государства. Демократия есть «историческая форма падения государства», возникшая в результате «кровосмешительства господ и рабов». Упадок политической организации общества связан с процессом измельчания человека-массы, низвержения его на степень посредственности. Государство восторжествовавшего человека-массы обречено на вырождение.

Казалось бы, из апологии воли к могуществу должно последовать утверждение всего, связанного с великим государством. Однако у Ницше государство неожиданно оказывается антагонистом культуры: «Одно живет другим, одно преуспевает за счет другого». В итоге «все великие эпохи культуры суть эпохи политического упадка». Почему? Потому, что воля к могуществу не может быть всеобъемлющей: либо она возвышает государство за счет культуры, либо культуру за счет государства. Чем аполитичней культура, тем выше ее достижения.

Общественную, политическую, государственную жизнь Ницше изображает как процесс вечного становления, нисхождения-восхождения, вечного возврата. Общественная жизнь — конкуренция личностей и групп, ведомая волей к могуществу, борьба за господство, победы и поражения в этой борьбе. Отсюда с неизбежностью вытекает неравенство, иерархия, подчинение и господство.

Остановиться на определенной ступени власти — значит начать ее терять. Власть стремится превосходить себя. Власть — творческий инстинкт и, как таковой, безмерна.

Но Ницше никогда не мог стать художником одной краски. Власть, стремление к величию — светлая сторона дела, другая, глубже спрятанная — темная стихия, кроющаяся за неумным честолюбием: «Люди, которые стремятся к величию, обыкновенно дурные люди, это единственный для них способ *переносить самих себя*». Здесь — предчувствие «человеческой деструктивности» Эриха Фромма: дабы защититься от собственной разрушительности, от некрофилии, ленины и гитлеры нуждаются в «великих идеях»... Властолюбие — болезнь, «внутренняя война», «анархия инстинктов». Воля к могуществу — движущая сила жизни и величайшая опасность, исходящая от людей, которым трудно *«переносить самих себя»*.

Пожалуй, я не соглашусь с Лео Страуссом, считавшим, что классические политические философы писали для современности и что в благословенные времена политическая теория и политическое ремесло были нераздельно связаны, тогда как философы современности пишут только для будущего. Скорее уж наоборот, хотя политическая философия всегда пыталась контролировать то, что не поддается контролю, — власть и грядущую рецепцию своих трудов.

В результате крупнейшие политические философы стали писать на двух различных, но взаимосвязанных уровнях: скрыто и явно, эзотерично и экзотерично. Почти никогда не говорили они во всеуслышанье того, во что по-настоящему верили, и поэтому они испробовали целый набор риторических средств с тем, чтобы добиться максимального посмертного, вне-рационального подсознательного эффекта... Ницше является как раз тем мыслителем, у которого мы находим самую показательную из новейших парадигм политической философии. Макиавелли, а также интерпретация его наследия Руссо научили Ницше тому, что «вся человеческая жизнь и человеческое мышление основываются в конечном итоге на формирующих горизонт творениях, которые неподвластны рациональному обоснованию».

Большинство классиков политологии от Платона и Аристотеля до Макиавелли и Ницше категорически отвергали демократию как власть тьмы, черни, человека-массы:

Классики отвергали демократию, считая, что целью человеческой жизни, а значит, и общественной жизни является не свобода, но добродетель. Как цель свобода двусмысленна, поскольку это свобода делать зло так же, как и делать добро. Добродетель обычно приходит с воспитанием, иначе говоря, с формированием характера, с приобретением привычек, а это требует досуга и у родителей, и у детей. Но досуг, в свою очередь, требует и некоторого уровня благосостояния, как то: такого благосостояния, приобретение или пользование которым сопоставимо с досугом. Теперь, что касается благосостояния, так уж повелось, что всегда, как замечает Аристотель, имеется меньшинство зажиточных людей и большинство

бедных, и это странное стечение обстоятельств будет длиться вечно, поскольку существует нечто вроде естественной нехватки. «Ибо бедные никогда не переведутся на земле». Именно по этой причине демократия, или власть большинства, есть правление со стороны необразованных. И никто в здравом уме не захотел бы жить при таком правлении.

Элитаризм все еще составляет суть неолиберализма: Парето, Моска, Ортега-и-Гассет, но прежде всего, конечно, Ницше. Неолиберализм призывает к меритократии, правлению лучших, и вслед за Платоном и Ницше поддерживает постулат о том, что «невидимыми правителями будущего станут философы будущего». Как бы ни относиться к политическому аристократизму, нам, все еще имеющим дело с посттоталитарным политическим быдлом, быдло выбирающим, больше всего не хватает «правления лучших» — «неизбираемых» или тех, которые не хотят, чтобы их избрали...

Либерализм для Ницше — синоним стадного существования: «Либерализм: по-немецки обращение в стадное животное». Еще — синоним лицемерия и лжи, ибо либерализм суть уравнивание, которое противоположно и антижизненно. Либерализм — утрата высших ценностей жизни, ведущая в результате к деградации последней.

Ницше не только антилиберал, но и антиконсерватор, отвергающий традиционность, старолюбие, стагнацию. В «Сумерках кумиров» он писал:

На ухо консерваторам. То, что раньше не знали, и то, что сегодня знают, могли бы знать — «возврат», поворот назад в каком бы то ни было направлении и в какой бы то ни было степени невозможны... существуют еще и сегодня партии, которые мечтают, как о своей цели, о попятном ходе всех вещей. Но никому не дано быть раком.

Нельзя пятиться назад, но нельзя и «переворачивать» общественный порядок:

Всякий переворот общественного порядка «снова воскрешает самые дикие энергии — давно погребенные ужасы и необузданности отдаленнейших эпох».

При всей антилиберальной настроенности Ф. Ницше, его элитаризм — типично меритократический. Под властью лучших он понимает отнюдь не аристократию по крови, но аристократию по духу. Ницшеанское «господство» — всегда господство духовное, власть — в силу выдающихся духовных качеств, власть — в силу подлинного интеллектуального и нравственного превосходства. Тем более — это не эгоизм фюреров и вождей. Сам Ницше по этому поводу писал: «Но ужасом является для нас вырождающееся чувство, которое говорит: “Все для меня”». Сами понятия «знать» и «чернь» связаны у Ницше не с социальной иерархией, а исключительно с морально-интеллектуальными категориями, духовным величием или ничтожеством. Все, что хотел сказать в этом отношении Ницше, сводится почти к трюизму: нравственное, интеллектуаль-

ное, духовное, любое иное величие — удел избранных, уникальных, но они-то и придают смысл человеческому существованию в целом.

Мало кто обратил внимание на ключевую для Ницше идею конкуренции как причины «греческого чуда» и борьбы как причины становления. В «Гомеровском соревновании» я обнаружил квинтэссенцию ницшеанства:

Человек в своих высших и благороднейших способностях — вполне природа и носит в себе ее жуткий, двойственный характер. Его ужасные качества, считающиеся нечеловеческими, являются, может быть, именно той плодородной почвой, на которой только и может вырасти вся гуманность побуждений, действий и творений.

Так, греки — самые гуманные люди древних времен — носят в себе черту жестокости, достойную тигра жажду уничтожения — эта черта больше всего бросается в глаза еще и в том отражении эллинизма, в котором он увеличен до чудовищного, — в Александре Великом, но она пугает нас во всей эллинской истории, так же как и в мифологии, к которой мы подходим с изнеженными понятиями современной гуманности.

Почему греческий ваятель в бесчисленных повторениях изображает постоянно войну и борьбу, напряженные страстью ненависти или же чрезмерным опьянением торжества, человеческие тела, корчащихся раненых, умирающих? Почему весь греческий мир упивался изображением войны в «Илиаде»? Я боюсь, что мы это понимаем недостаточно «по-гречески»; да, я думаю, мы содрогнулись бы, если б только раз поняли это «по-гречески».

Каждый грек с детства чувствовал в себе страстное желание участвовать в состязании городов, быть орудием для блага своего города: этим воспламенялось его самолюбие, и этим же оно обуздывалось и ограничивалось. Индивиды в древности были потому свободнее, что их цели были ближе и понятнее. А современный человек постоянно терзается бесконечностью, как быстроногий Ахилл в притче элеата *Зенона*: бесконечность тормозит его, он не может догнать даже черепахи.

Но подобно тому, как молодежь воспитывалась во взаимном состязании, так и воспитатели их были в соревновании между собой. Недоверчиво-ревниво выступали рядом великие музыкальные учителя, Пиндар и Симонид; софист, высший учитель древности, соревнуясь, встречает другого софиста; даже самое общее поучение через драму сообщалось народу под видом великой борьбы великих художников музыки и драмы. Как странно! «Даже художник враждует с художником!» А современный человек ничего так не боится в художнике, как его личной борьбы, в то время как грек знает художника только в его *личной борьбе*.

Это — сущность эллинского представления о соревновании: оно гнушается единовластия и боится его опасных последствий, оно требует, как предохранительной меры против гения, — второго гения.

Каждая способность должна развиваться в борьбе, так учит эллинская народная педагогика, в то время как современные воспитатели ничего так не боятся, как развития так называемого честолюбия. Они боятся са-

молюбя как «зла в себе», за исключением иезуитов, которые думают, как древние, и потому являются самыми действительными воспитателями нашего времени.

Хотя Ницше выступал с антилиберальных позиций, неолиберализм в лице Лео Страусса позаимствовал у него концепцию меритократии и элитаризма, вместе с тем откестившись от его крайностей и императивности политических решений:

[Ницше] часто использовал непревзойденную и неиссякаемую власть своего страстного, завораживающего слова, чтобы заставить читателей ненавидеть не только социализм и коммунизм, но также и консерватизм, национализм и демократию. Взяв на себя эту огромную политическую ответственность, он не мог указать путь к политической ответственности своим читателям. Он не оставил им иного выбора, кроме выбора между безответственным равнодушием к политике и безответственными политическими предпочтениями.

Неолиберализм принял концепцию Ницше духовной власти над будущим мыслителей настоящего: «Невидимыми правителями такого будущего (sic: будущего, способствующего «появлению новой аристократии») станут философы...» Мысль Ницше стала отправным пунктом теории элит Парето—Моска и всей современной политической онтологии, подхватившей проект политической философии автора «Заратустры».

ПРОРЫВ В ГРЯДУЩЕЕ

Слишком далеко залетел я в будущее: меня охватил ужас. Когда я оглянулся вокруг себя, я увидел, что одно время было моим современником. Тогда полетел я назад...

Ф. Ницше

Кого более всего я ненавижу между теперешней сволочью? Сволочь социалистическую...

Ф. Ницше

Но если в чем и виновен Ницше, так это в том, что раньше всех заглянул в кошмарную бездну грядущего и ужаснулся от открывшегося ему. И кому же придет в голову (а ведь пришло, и многим, и вполне серьезно!) обвинять стрелку барометра, предсказавшего ураган, в наступлении этого бедствия?

А. И. Патрушев

Ницше остро ощущал в себе пророческий дар, чувствовал себя витией, мистагогом, ясновидящим, провозвестником («Мы, единицы, живем своей жизнью провозвестников»), видел свою задачу в том, чтобы «подвигнуть человечество к решениям, которые определяют все будущее».

«Ессе Ното» и «Заратустра» изобилуют не только «вестями оттуда», но самоутверждающими кличами «пограничного» Ницше:

Я хожу среди людей, как среди обломков будущего: того будущего, что вижу я.

Я благостный вестник, какого никогда не было, я знаю задачи такой высоты, для которых до сих пор не доставало понятий; впервые у меня опять существуют надежды.

Некогда с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то огромном — о кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизии совести...

Я динамит... Я знаю свой жребий.

МОЙ ЧАС!

*Вновь голуби на площади Сан-Марко.
Как тихо, как пустынно здесь сейчас.
В тени прохладной рифмы жгутся жарко,
Как птицы, выставляют напоказ
Красу, невыносимую для нас;
Еще одна спешит к ним, их товарка:
Мой час! Мой час!*

*Небесный свод — подсвечник и трилистник —
То синий, то волшебно-золотой.
Что я ему? Любовник, враг, завистник?
Что я ему? Я чувствую: он мой.
Я чувствую, я ведаю сейчас,
Огнепоклонник или ненавистник,—
Мой час! Мой час!*

*Вот башня взмыла с львиною отвагой
Над площадью победно в небеса.
Звенит она ристательною шпагой:
Французская — в Венеции — краса
Сверкает здесь на солнце, как алмаз.
Охвачен я неустовою тягой:
Мой час! Мой час!*

*Но прочь, напев мой! Чтобы тьма сгустилась
И в ночь ленивую переросла!
Звучанью дня впасть велено в немилость,
Когда замолкнут все колокола.
И свет дневной, пусть он ласкает глаз,
Ночная мгла перечеркнуть решила:
Мой час! Мой час!*

Ницше провидел не только грядущие судьбы человечества, но и собственное посмертное будущее: признавая, что у него нет настоящего, он не сомневался в великом грядущем своей философии: «Когда-нибудь понадобятся учреждения, где будут жить и учить, как я понимаю жизнь и учение». Философская «индустрия» ницшелогии, пожалуй, создана в наши дни, тенденция к росту обнадёживает.

Ницше предсказал даже точную дату своего «второго пришествия», совпавшую с началом его мировой известности: «В неопишуемой странности и рискованности моих мыслей лежит причина того, что лишь по истечении долгого срока — и наверняка не ранее 1901 года — мысли эти начнут доходить вообще до ушей».

Надо отдать должное Ницше-прогнозисту, предсказавшему не только ход мировых событий, но пути культурного и технического развития, «массовую

культуру» и «индустрию отдыха», опасности психического подавления человека и разрушения его психики, угрозы, которые таят в себе наука и техника.

Может быть, уже в новом столетии в результате овладения природой человечество получит бóльшие силы, чем оно способно использовать... Одно лишь воздухоплавание выплеснет все понятия нашей культуры...

В будущем появятся: во-первых, многочисленные лечебницы, которые будут время от времени использовать для того, чтобы привести в здоровое состояние свою психику; во-вторых, разнообразные средства против скуки — в любой момент можно будет послушать чтецов и т. п.; в-третьих, празднества, во время которых будут объединяться множество отдельных находок.

Если наука приносит с собой все меньше радости, и все больше радости остается на долю утешительной метафизики, религии и искусства, то жизнь грозит раздвоиться в себе самой: согреваться иллюзиями, извращениями, чувственностью и с помощью познающей науки — оберегаться от перегрева... Интерес к истинному падает... иллюзии, заблуждения, фантастика шаг за шагом наступают... на его исконную землю: руины науки, отступление в варварство — вот последствие: человечеству нужно будет начинать заново... Но кто может быть уверен, что оно сейчас снова найдет для этого силы?

Среди наиболее удивительных прогнозов Ницше — его пророчества касательно новой науки, новой физики, новой картины мира. Отвергая рационализм, механицизм, классические подходы, Ницше в центр своей критики помещал многие исходные понятия механистической физики, в том числе единого и неделимого атома, «пустого пространства», строго заданного движения, причинности. Целый ряд понятий классической физики он объявил фикциями и поставил их в ряд с философскими монадами, эйдосами, энтелехиями.

Сражаясь против механистического миропонимания, отрицая причинную обусловленность мира, классический «закон природы» и повторяемость тождественных явлений, Ницше чисто интуитивно предвосхищает данные современной физики. «Второго раза не бывает», — говорит Ницше. Закономерности, согласно которой определенная причина должна непременно вызвать определенное следствие, не существует. Столковывать события по принципу причинно-следственной связи — неверно. В действительности речь идет о борьбе двух неравносильных факторов, о перегруппировке сил, причем новое состояние ни в коем случае не является следствием прежнего состояния, но представляет собой нечто в корне от него отличное. Иначе говоря, динамика — там, где раньше была статика.

Не предчувствие ли квантовой причинности Бора—Гейзенберга?..

Европейская эйфория второй половины XIX века, связанная с верой в близость «золотого века» культуры и политики, в торжество разума и просвещения, не поразила самого экстатического поэта и визионера, мыслящего вопреки своему времени. Не торжество, а тризна, не великие победы, а страшные поражения ждут доброхотов, уверовавших в утопию скорого «светлого будущего».

...Вся наша европейская культура... как будто движется к краху: как поток, который хочет конца, который себя больше не останавливает.

Это будет эпоха «чудовищных войн, крушений, взрывов», «наступает время борьбы за господство над земным шаром — она будет вестись во имя *основных философских учений*», «понятие политики совершенно растворится в духовной войне... будут войны, каких еще никогда не было на земле». «Эпоха величайших свершений окажется вопреки всему эпохой ничтожнейших воздействий, если люди будут резиновыми и чересчур эластичными».

Время маленькой политики прошло: ближайшее же столетие приведет с собой борьбу за мировое господство — и принудит к большой политике.

Фактически Ницше предсказал эпоху идеологий, борьбу за мировое господство, идеологическую волю к могуществу, оторвавшуюся от ценностей. Война за мировое господство, согласно предвидению Ницше, будет вестись во имя идеологий, то есть во имя «ничто».

Европа поражена ложью: ложью утопии, ложью социализма, ложью прогнившей морали, ложью национализма и шовинизма. Не вечный мир, а мировые войны, «следующие друг за другом, подобных которым еще не знала история», — вот что ожидает грядущее. Ницше даже называет главных участников этих войн — Германию и Россию. Россия — это грядущая мощь, обязанная близостью варварству и фантастическому безумству. С Германией — сложнее: «Сами немцы будущего не имеют», «они — позавчерашние и послезавтрашние, у них нет Сегодня». Но у Германии есть «воля», энергия, стремления, дальняя перспектива, потенциал сплочения.

Мне гораздо более было бы по сердцу, чтобы Россия сделалась еще более угрожающей и чтобы Европа решилась стать такой же грозной, достигшей одной воли посредством новой, властвующей над Европой касты, обретая таким образом собственную, наводящую страх волю — для того, чтобы наконец столь долго разыгрывающаяся комедия мелких государств пришла к окончанию, а вместе с тем уничтожилось бы ее династическое и демократическое многоволие.

Отношение Ницше к России двойственное: Россия — грандиозная сила и экспансия («Россия хочет господствовать в Европе и Азии. Она способна колонизировать и Индию, и Китай»), но вместе с тем было бы гораздо лучше, чтобы Россия стала не противником, но грядущим союзником Германии («...Мы нуждаемся в том, чтобы идти, безусловно, вместе с Россией»). При всем своем визионерстве и скептицизме в отношении немецкого характера Ницше определяет Германию и Россию как ведущие мировые державы. Американцев Ницше недооценивает («Американцы слишком быстро выдыхаются», «никакого американского будущего»), у Франции «слишком больная воля», Англия деградирует и сходит с мировой сцены («Сейчас, скорее, нужно быть солдатом, чем купцом, оберегающим свои кредиты»).

Собственно «единая Европа» — это ответ Ницше «опасности с Востока»:

Я подразумеваю такой рост угрозы со стороны России, что Европа должна будет решиться в одинаковой степени стать грозной, т. е. «получить единую волю»... страшную собственную волю, волю надолго, которая могла бы ставить себе цели на тысячелетия вперед: чтобы тем самым окончилась наконец давно приевшаяся комедия ее раздробленности...

Среди сбывшихся политических прогнозов Ницше следует отметить объединенную Европу — «...европейский союз народов, в котором каждый отдельный народ, в границах, отвечающих географической целесообразности, займет место определенного кантона... Международные отношения в грядущей Европе будут определяться не вооруженной силой, а «взаимной пользой», причем движущей силой станет борьба «против главных врагов независимости — лишенности собственности, богатства и партий».

Ницше предсказывает грядущее «хозяйственное объединение Европы», «воспитание европейского человека», роль России как средства «разбудить» и сплотить Европу, движение культуры к европейскому синтезу. «Европа хочет стать единой» — вот главная тенденция эволюции европейских народов:

Торговля и промышленность, обмен книгами и письмами, общность всей высшей культуры, быстрая перемена дома и места — эти обстоятельства необходимо вызывают ослабление и конечное уничтожение наций, по крайней мере европейских: так что из всех этих наций, в результате постоянных скрещиваний, образуется одна смешанная раса, раса европейского человека.

Национальные глупости не должны нам закрывать глаза на то, что в высших областях существует уже постоянная обоюдная зависимость. Франция и немецкая философия, Рихард Вагнер и Париж, Гёте и Греция. Всё стремится к синтезу высших типов европейского прошлого.

Мимо всех этих национальных войн, новых государств и всего того, что стоит на первом плане, мимо них смотрю я. Другое интересует меня, ибо я вижу, как медленно, замешкавшись, готовится «Единая Европа».

Тем не менее, в отличие присяжных оптимистов от философии («все к лучшему в лучшем из миров»), Ницше не только не идеализирует грядущее, но порой дает прямо-таки апокалиптические прогнозы: если тенденция омассовления человека будет развиваться, то вполне возможно вместо появления сверхчеловека регрессивное развитие. Человек, вышедший из животного мира, вполне способен «снова превратиться в обезьяну, хотя нет никого, кто поинтересовался бы этим чрезвычайно комичным исходом».

«Комичный» в этом контексте — не очень удачное слово. Ницше провидел, что социализм станет господством догматизма и тоталитаризма, а «новая обезьяна» — палачом. Социалистическое грядущее — скотный двор, всеобщая

подконтрольность, аморализм, упадок культуры, коррупция и мошенничество в государственном масштабе (даже это провидел творец мифов).

Социалистические идеи — огромная угроза Личности и питательная среда развития «стадности». Ницше был потрясен пророчествами Ф. М. Достоевского: «Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы...» — и комментировал его следующим образом: «Трудно найти более забавное (снова — неудачное слово) зрелище, чем созерцание противоречия между ядовитыми и мрачными физиономиями современных социалистов и безмятежным бараньим счастьем их надежд и пожеланий».

Социализм, пишет Ницше, «втайне подготавливается к террористической власти и вбивает в голову полуобразованных масс, как гвоздь, слово «справедливость», чтобы совершенно лишить их разума».

Социалистический «муравейник» — это конец эволюции, измельчание, озверение, уныние и покорность. Жизнь останавливается.

Если «учителя человечества» («жрецы-агитаторы») действительно хотят блага человеку, они должны апеллировать не к равенству, но к разнообразию людей, к выявлению их индивидуальности, к конкуренции, нестандартному мышлению, инакомыслию.

Социализм — это отрицание, торжество посредственности над культурой, выход маргиналов на авансцену истории, инстинкт мщениия слабых и опущенных всему сильному, благородному, творческому и созидательному. При социализме творческий потенциал угнетен, на место человека-творца становится актер-истерик, управляющий стадными инстинктами, использующий все средства суггестивного воздействия на массу в целях культивации ненависти ко всему тому, что массе недоступно. Социализм — все большая утрата человеком воли к могуществу, воли к преображению, путь к постепенному вырождению человечества в «последнего человека», антропологическая катастрофа, коллапс.

Социализм, предостерегал Ницше, прямое наследие отживающего деспотизма. Он требует для себя еще большего государственного могущества, чем древний Египет или Китай. Он стремится к уничтожению индивидуальности, хочет превратить индивида в целесообразный орган общежития. Могущества фараонов и императоров оказалось недостаточно для этой цели — вот социализм и требует невиданного доселе верноподданничества и преклонения всех граждан перед неограниченной властью государства.

Социалистические, демократические и либеральные идеи, смешиваемые Ницше в единое целое, выражают разные стороны человеческого упадка, приверженности к идеалу «автономного стада». После «каналы» Руссо мечта всех демагогов — счастье зеленого пастбища с его спокойствием, безопасностью, удобством и легкостью стадной жизни. Но человек — не корова, щиплющая травку, не быдло у общего корыта. Общество, выстроенное проповедниками равенства из злобы и зависти ко всему, что выдается над общим уровнем, обречено на измельчание и вырождение. Увы, процесс измельчания и вырождения уже идет, человек стадный и послушный становится наиболее распространенным человеческим типом.

А разве это не зарисовка с натуры нацистского, коммунистического, экстремистского митинга?

Не люблю и этих новейших спекулянтов идеализма, антисемитов, которые нынче закатывают глаза на христианско-арийско-обывательский лад и пытаются путем нестерпимо наглого злоупотребления дешевейшим агитационным средством, моральной позой, возбудить все элементы рогатого скота в народе.

Подобно другим духовидцам XIX века, Ницше предостерегал против исторического процесса нивелировки людей и «господства массы». Можно без натяжки сказать, что учение о сверхчеловеке, моральный эпатаж и элитаризм Ницше — реакция на социалистические и утопические доктрины, на «восстание бессильных». Гневные филиппики в адрес христианства во многом обусловлены ницшеанским пониманием роли идей Христа в становлении превратно понимаемых демократии и свободы. С идеями христианства Ницше связывал «размельчение» человека и нивелировку людей: «Так с неизбежностью образуется песок человечества: все очень одинаковые, очень маленькие, очень круглые, очень уживчивые, очень скучные».

Ницше считал формулу равенства опасной для жизни, которая, по его мнению, само неравенство, борьба и достижение всяких типов путем высшей дифференциации.

Хорошо все то, считал Ницше, что обособляет личность от массы. То, «что общее... имеет мало цены». Социализм для Апостола правдивости есть «продуманная до конца «тирания» ничтожнейших и глупейших».

Ф. Ницше:

Парижская Коммуна, которая также в Германии имеет своих защитников и адвокатов, была, может быть, только легким несварением желудка по сравнению с тем, что еще будет.

Знаете ли вы более точный исторический прогноз? А вот и дешифровка причин, механизмов революционной бесовщины: «Не голод создает революции, а то, что народу во время еды приходит аппетит». Впрочем, Ницше оказался пророком не только в отношении того, «что еще будет» в странах, пошедших по пути революции, но и в отношении будущего пролетариата, не пораженного заразой: «Рабочие будут некогда жить так, как живет теперь буржуазия» («Человеческое, слишком человеческое»).

Киркегору, Ницше и Ле Бону принадлежат самые точные прогнозы относительно грядущего восторжествовавшей черни:

Общественность есть чудовищное нечто, абстрактная пустыня и пустота, которая есть всё и ничто.

Общественность не есть народ, поколение, эпоха, община, общество, какие-то определенные люди, ибо всё это является тем, что оно есть, лишь благодаря конкретности; ни один из тех, кто принадлежит к обществен-

ности, ни ангажирован всецело; несколько часов в день он, может быть, принадлежит общественности, именно — в часы, когда он есть ничто, ибо в часы, когда он есть нечто определенное, он не принадлежит ей.

...Масса оказывается бесплодной в той мере, в какой бесплодны воспитатели; она идет так же, как идет вождь впереди, живет так, как живет он, возвышается или портится так же, как возвышается или портится он...

Масса — это то, что чувствует себя, «как и весь мир», и, однако, не страдает от этого, а испытывает удовлетворение от чувства идентичности с другими.

Масса буржуазна. Ее главные свойства — консерватизм и склонность к собственности. Идеал рабочего — домик вблизи винной лавки. Винные лавки — настоящие народные клубы. Став хозяином, рабочий ведет себя как неограниченный монарх.

Вслед за Шатобрианом Ницше предупреждал об огромной опасности социальной революции. Она, писал Ницше в «Человеческом, слишком человеческом», «хотя и может быть источником силы в ослабевшем человечестве, но никогда не бывает гармонизатором, строителем, художником, завершителем человеческой природы».

С удивительной проницательностью Ницше описал летальный исход «болезни коммунизма». Захватив власть, последователи Маркса на всех парах устремятся к «полному уничтожению индивидов», но воля к жизни, инстинкт самосохранения приведут к краху тоталитаризма. Коммунизм «...может питать надежду просуществовать лишь короткое время крайне террористическими средствами... Поэтому он втихомолку готовится к господству ужаса».

Собственников всегда будет более чем достаточно, что помешает социализму принять характер чего-то большего, чем приступ болезни, и эти собственники, как один человек, держатся той веры, что «надо иметь нечто, чтобы быть чем-нибудь», и это старейший и самый здоровый из всех инстинктов... Иметь и желать иметь больше, рост, одним словом, — в этом сама жизнь.

Нацистскую судьбу Германии Ницше предвидел тоже: «*господа Земли*» — «народ, состоящий из 80 миллионов арийцев (у Ницше — аристократов)». И — устами Заратустры — ответил этим «господам»: «Гости мои, вы, высшие люди, я хочу говорить с вами по-немецки и ясно. Не вас ожидал я здесь, на этих горах».

Апологии государства, как необходимой силы, Ницше противопоставил опасность «победы государства над государством», иными словами — тоталитаризма. Став орудием масс, государство превратится в страшного монстра. Вот почему «только там, где государство кончается, начинается человек». Накануне века фашизма и коммунизма Ницше провозглашает: «Как можно меньше государства!»

Описывая «измельчание характеров» под тиранией тоталитарного государства, Ницше рисует знакомую нам картинку: «...Люди падают в прах перед всякой силой воли, которая приказывает».

Ницше пугала тенденция роста государств, создающая предпосылки для мировых войн и тоталитаризма. Под влиянием Якоба Буркхардта он писал:

Когда государство не может достичь своей высшей [духовной] цели, то оно растет безмерно... Мировая Римская империя не представляет в сравнении с Афинами ничего возвышенного. Сила, которая должна принадлежать исключительно цветам, теперь принадлежит неимоверно вырастающим стеблям и листьям.

Как бы предвидя плоды государственной экспансии, он призывал не поклоняться колоссу, предостерегал от грозящего миру молоха мировых империй. Когда Германия заходила от упоения победами над Францией, Буркхардт и Ницше смутно ощущали трагические последствия этого шовинистического угара — грядущие войны за «мировое господство».

Предчувствуя тоталитаризм, Ницше раз за разом твердит, что государство и культура — антагонисты, государство способно преуспевать лишь в ущерб культуре. Государство, учит Заратустра, есть «смерть народов», учреждение для «лишних людей». Человек, Личность начинаются там, где кончается государство.

Ф. Ницше:

Социализм может служить для того, чтобы грубо и наглядно показать опасность всякой концентрации государственной власти...

Социализм — фантастический младший брат почти отжившего деспотизма, которому он хочет наследовать. Его стремления поэтому в самом глубоком смысле реакционны. Ибо он жаждет такой полноты государственной власти, которую когда-либо имел только деспотизм.

Дедушка Ленин, ау...

Кстати, знаете какое обвинение выдвигали дедушкины ученики «агрессору» Ницше? Дословно: «Идеал Ницше — это общество без классовой борьбы». Уже в двадцатые нутром чуяли: без классовой борьбы, без ЧК и ГУЛАГа социализм не построить. Равенство — равенством, а враги народа — необходимы (даже сегодня, когда с дедушкой вроде бы покончено, враги-поклонники Ницше, все эти жириновские, макашovy и ампиловы, продолжают полоскать сапоги в чужом океане и бить жидов).

Основополагающими началами политологии Ницше являются: множественность и иерархия жизни, имманентное отсутствие равенства, непреодолимость эксплуатации, приоритетная роль силы, опасность омассовления и обезличенности. Вместе с тем Ницше принадлежат и такие идеи либерализма, как регулирование размеров собственности, прогрессивное налогообложение, частная и государственная филантропия.

Истинная справедливость состоит в неодинаковом отношении к неодинаковым величинам, следовательно, в неравенстве. Неравенство — основа жизни и стимул к ее сохранению. Чтобы общество процветало, править должны лучшие люди — не демократия, а меритократия. Утопия — величайшая опасность, чреватая вырождением.

Эксплуатация вовсе не есть особенность общества испорченного или несовершенного и первобытного: она составляет существенное свойство жизни, служит основой ее, органической функцией: [она выражает собою ту] волю могущества, которая составляет сущность всего существующего.

Защищая элитаризм, Ницше предостерегает от демократического обезличивания и упадка, начавшего поражать современное общество. Люди добровольно соглашаются играть роли винтиков машин, за вознаграждение готовы утратить внутреннюю неповторимость и ценность. Спасение с помощью социалистических идей утопично и опасно: не перестав быть рабом машины, пролетарий вдобавок станет рабом революционной партии и нового государства.

В истоке кризиса современной эпохи — стремление к тотальной нивелировке и общественная ложь. Рабочему внушают пагубную идею, будто он — соль земли, будто рабы должны стать господами, тем самым к физической эксплуатации добавляют эксплуатацию духовную, приучают его к самообману, рабство объявляют господством.

НЕИСТОВЫЕ УЧЕНИКИ ДИОНИСА

Учение Ницше всегда рассматривалось как сейсмограф духовного климата Европы.

И. С. Андреева

В «Родословной сверхчеловека» перечислены предтечи, теперь пришел черед последователей, новообращенных, прозелитов, диадох. Характерная черта культуры нигилизма: отсутствие пророков в своем отечестве. Поэтому все проходят один путь: презрение, травля, осквернение, замалчивание при жизни, открытие после смерти. Второе пришествие...

Уйдя, он приобрел просто-таки мистическую способность находить поклонников, которых ему так не доставало при жизни. Трудно назвать другого Понтифика философии — разве что Мавра, — у которого было бы столько эпигонов, искажителей, интерпретаторов, продолжателей, низвергателей, хулителей, апологетов. Фашисты, гуманисты, гении, невежды, мистики, теологи, пацифисты, поджигатели войны: от фабианства до хипстризма, замешанного на насилии, инцесте и сексуальных извращениях.

Не слишком ли много? Не слишком ли широко?

«Если Ницше и Маркс — симптомы болезни, то, должно быть, эта болезнь очень широко распространена в мире» — в этой фразе Б. Рассела ключ — к нему и к нам.

Ницше — наряду с Киркегором, Фрейдом, Юнгом, Сантаяной, Дильтеем, Зиммелем — оказал определяющее влияние на культуру XX века. Его воздействие на мировидение интеллектуалов нашего времени может быть сравнимо с влиянием Джойса на современную литературу. Влияния Ницше не смогли избежать даже мыслители, весьма далекие по своему складу мышления и религиозно-этическим исканиям от Ницше. Например, Тейяр де Шарден, скорее противостоящий духу ницшеанства, чем идущий в фарватере этой философии, создал концепцию «сверхжизни», во многих своих чертах близкую к идее «сверхчеловека». В «Феномене человека» он писал:

...Уже недостаточно сказать, что, обретя внутри нас свое самосознание, эволюции нужно лишь смотреть в зеркало, чтобы видеть и расшифровывать себя до самых глубин. Она, кроме того, приобретает свободу располагать собой — продолжать себя или отвергнуть. Мы не только читаем секрет ее действий в наших малейших поступках. Но, будучи ответственными за ее прошлое перед ее будущим как действующие индивиды, мы держим ее в наших руках.

Величие или рабство?

Всё решает проблема действия.

Даже оппозиционные ему по духу писатели (И. Бехер, Г. Зудерман, Р. Хух) не избежали обаяния ницшевского стиля, даже *наши* (Горький, Луначарский), я не говорю уж о Минском, Ропшине, Винниченко, Каменском, не прошли мимо комплекса его идей.

Первые неопиты Ницше вербовались среди широкого круга интеллектуалов, замороженных внешними красотами его речи и идейным вызовом. Ныне уже ни у кого из серьезных исследователей нет сомнения в глубине и онтологической ценности философии и гносеологии Ницше, скрытой за пышными формами и красотами стиля.

Влияние гения на культуру не подлежит оценке в терминах добра и зла, плюса и минуса — влияние либо есть, либо его нет. По влиянию на культуру первой трети XX века с Ницше никто не может сравниться. Как писал Анри Альбер, его влияние на нашу молодую литературу было и раньше значительным, но будет возрастать с каждым днем. Благотворное? Пагубное? Не все ли равно! Оно дает нам новый материал для размышлений, новые побуждения для того, чтобы жить.

Лу Саломе:

Отдельные его идеи, вырванные из общей связи и допускающие вследствие этого самые разнообразные толкования, превратились в девизы для разных идейных направлений и раздаются среди борьбы убеждений, в словах различных партий, совершенно ему чуждых. Конечно, этому обстоятельству он обязан своей быстрой славой, внезапным шумом, поднятым вокруг его мирного имени, — но то истинно высокое, истинно самобытное и несравненное, что в нем таится, благодаря этому же самому осталось незамеченным, непознанным, быть может, даже отошло в еще более глубокую тень, чем прежде.

После того как Ницше открыл в «духе трагедии» вечное, вневременно психологическое содержание внутренней жизни человека и тем самым обнажил драму современной души, миф — Камю, О'Нила, Кокто, Жироду, Ануя — перестал быть пеплом истории, став зеркалом человеческой души.

А разве творчество Оскара Уайльда (впрочем, как и его личная жизнь) не было иллюстрацией к «Заратустре»? «Не дайте совратить себя на стезю добродетели» — разве это не Ницше в обработке Уайльда?

У Ницше и Уайльда много пересечений, у обоих апофеоз персонального человеческого начала, интеллектуальный дендизм, стремление к парадоксам и переоценкам конформистских доктрин. У Ницше, например, искусство «освящает ложь», у Уайльда ложь — изящное искусство...

Август Стриндберг не только пристально следил за творчеством и судьбой Ницше, но в почтовых открытках, рассылаемых «по всему миру», категорически требовал: «Carthago est delenda, читайте Ницше».

В Индии поклонником «Заратустры» стал Мухаммед Икбал, толковавший сверхчеловека как идеал «Совершенного Человека».

Что прельстило в эйфории дионисийского упоения жизнью, во взвинченной восторженности Ницше таких великих художников, как Брандес, Томас Манн, Андре Жид, Мальро, Ибсен, Стриндберг, Гамсун, Гофмансталь, Гальбе, Лондон, Синклер, Цвейг, Д'Аннуцио, Чапек, Гауптман, Рильке, Валери, Шоу, Гессе, Жионо, Музиль, Бенн, Георге, Демель, Шёнберг, Веберн, Бёклин, Викленд, Клиндер? Что нашел «в белокурой бестии» символизм (Бальмонт, Иванов), футуризм (Мари-нетти)? Что вдохновило Рихарда Штрауса на симфоническую поэму «Жизнь героя» или Малера на «Ночную тень»? Что возродило новый — пусть националистически окрашенный — романтизм Арндта, Йозефа Герреса, Юнгера (ведь, «белокурая бестия» космополитична)? За что «зацепились» такие ученые, философы, политологи, как Юнг, Бахофен, Крейцер, Мюллер, Веблен, Бернхем, Кайзерлинг, Циглер, Лессинг, Файхингер, Риль, Гаммахер, или такие гуманисты, как Швейцер и Тейяр де Шарден? Чем Ницше покорила экспрессионистов? И наконец, было ли заложено в сверхчеловеке то, что нашли в нем мыслители всех мастей и оттенков — экзистенциалисты, интуитивисты, томисты, философы жизни — Бергсон, Сантаяна, Ортега, Дильтей, Зиммель, Вебер, Ринтелен, Лёвит, Финк, Ясперс, Хайдеггер, Больнов, Клагес, Шпенглер, Марсель?

Восстание против разума? Жизненный разум? Противящийся омассовлению индивидуализм? Всплеск экзистенции? Поэзию жизненности? Новый мистицизм? Вдохновенную, изощренную, набоковскую ненависть к звериному в человеке?

Или же до Ницше — Раскольниковым, а после Ницше — Андреа Верре, Анне-зой, маркизом Роккавердиной, Лафкадио Влуики, Даниэлем Нотгафтом, Робером Грелу, Антоном Зейлером, Азеведо, Терезой Дескейру, Жаном Пелуэйром — Достоевский, Деледда, Капуана, Андре Жид, Я. Вассерман, Б. Франк, Мориак, Бурже, Д'Аннуцио доказывали опасность подпольного феномена?

Развернутый ответ можно найти в «Докторе Фаустусе», «Игре в бисер», «Степном волке», «Жизни и творчестве композитора Фолтына». Но есть и множество кратких. Вот один из них:

Если тарантулы будут иметь успех, это отобьет вкус к жизни.

Томас Манн, чье отношение к Ницше после Второй мировой войны стало амбивалентным, тем не менее признавался в ошеломленности, испытанной при знакомстве с будоражащими книгами Ницше: «Они разверзли передо мной глубины, о которых я и не подозревал». Леверкюн Т. Манна — это Ницше, изуродованный ужасами фашистской действительности, соединенный с тем, что с Ницше несоединимо.

Герман Гессе в «Возвращении Заратустры», обращенном к немецкому юношеству, определял ницшеанство как способность человека овладеть собственной судьбой: «Для кого судьба приходит извне, того она поражает, как стрела поражает дичь. Для кого судьба приходит изнутри и из глубины его собственного духа, того она усиливает и делает богом».

Ваше будущее не деньги и власть, не достижения в науке и технике, ваше будущее и ваш тяжкий опасный путь другой: стать зрелыми и об-

рести бога в самих себе... Всегда искали вы бога, но никогда в самих себе... Он нигде кроме. Нет другого бога, как тот, который в вас самих.

Тейяровский «Феномен человека» — это, в сущности, тоже ответ на вопросы: в чем привлекательность этих циничных и грубых («зоологических») теорий, в которых, однако, зачастую бьется благородная страсть, и почему тот или иной из этих призывов к торжеству силы находит иногда отзвук в глубине нас самих. Вот суть этого ответа: учение философа «героического реализма» есть доктрина прогресса путем обособления: обеспечения полноты жизни за счет одиночества. Сверхжизнь? В шовианском «Мафусаиле» мы находим прекрасный художественный образ этого обособления и этой сверхжизни...

Другой религиозный мыслитель, пытаюсь вернуть жизни утрачиваемую ею духовность, попытался слить воедино несовместимое: ницшеанство и христианство. Что получилось? Воля к могуществу обернулась волей к совершенству, мораль господ — ответственностью, абсолютным господством над страстями.

Вернувшийся после мировой бойни Заратустра Германа Гессе проповедовал не агрессивный нигилизм, а уединение, сосредоточенное осмысление, самоопределение и автономию личности.

С философа героического реализма начинается второй Ренессанс — глубинное Возрождение мифологического сознания, именуемое декадансом: постижение неизменных, антиисторических, иррациональных начал жизни. Взамен эволюции — цикличность и повторяемость, взамен прогресса — вечный возврат, взамен легкости преобразования — констатация неизменности первооснов — все компоненты древнего мифа, но уже не бессознательного, а осознанного, а потому активного, творческого, преобразующего.

Новый виток борьбы: теперь уже со стадностью, омассовлением, нивелировкой. После Ницше большая плеяда мудрецов — крупнейшая с античных времен — увидит свое призвание в том, чтобы «изобразить ужасное порабощение индивидуальности мстительным, ревнивым и властным мышлением массы, страшное, смертельное напряжение, необходимое, чтобы сопротивляться засасывающей силе всеобщей лжи».

Родоначальник современной мифологии, Ницше предвосхитил Бергсона, Фрейда, Юнга, Джойса, Элиота, Ортегу — не только сверхсоциальностью и психологичностью, но подсознательностью, архетипичностью, глубиной. Он открыл входы в пещеры человеческих душ и в заваленные штольни, куда до него никто не смел опускаться.

Можно без преувеличения сказать, что к Ницше восходит современная эпистемология, философия знания и науки.

Крах классической науки и идеалов эпохи Просвещения привел философию в замешательство: с новой физикой и математикой в философию вернулась вечная проблема достоверности знания и критериев различения достоверного знания от блужданий в «лабиринте языка» (Л. Витгенштейн). Новые ответы заполнили весь возможный спектр мнений от истины Ницше, тождественной лжи, до философии истины как процесса и виртуозных языковых построений аналитической и лингвистической философий.

М. Фуко:

Ницше говорил об истине, что это — самая глубокая ложь. Кангилем, одновременно и далекий, и близкий Ницше, сказал бы, вероятно, иначе: что в огромном календаре жизни истина — это только самая последняя ошибка. Или, точнее, что разделение истинного и ложного, как и особая ценность, приписываемая истине, представляет собой наиболее оригинальный способ жить, какой только смогла изобрести жизнь, изначально и в самом своем основании несущая возможность ошибки. Для Кангилама ошибка — это вездесущая случайность, вокруг которой накручиваются и история жизни и становление внутри ее человека.

Для Канта и всей философии XVIII века «естественной логикой» был поиск оснований истины, для новообращенных века XX — констатация познания как истории ошибок и заблуждений (на французском языке слово «erreur» означает как «ошибку», так и «заблуждение»). Познание не столько открыто истинам мира, сколько укоренено в ошибках разума. На место философии истины лучше поставить философию ошибки, заблуждения. Ошибка, заблуждение — не редкие дефекты истории познания, а некое измерение, присущее самой жизни рода человеческого и всей истории разума.

Само развитие философии и науки привело к понятию философии процесса, к осознанию эволюции знания (истины или ошибки). Раз наука и философия находятся в вечном состоянии становления, факт или истина могут быть поняты только как текучесть, *fiéi*.

Только «*fiéi*» составляет факт. Всякой сущности (или объекту), которые наука пытается зафиксировать, предстоит вновь раствориться в потоке становления. В конечном счете, только о становлении и о нем одном можно сказать: «оно есть (факт)». Следовательно, единственное, что мы имеем право и можем искать — это закон данного процесса.

Сказанное относится к развитию точных наук и к развитию философских представлений о самой истине (к гносеологии и эпистемологии):

Если мы сравним, например, систему доказательств современных логиков с доказательствами, которыми удовлетворялись те, кого мы сегодня называем «великими предками» — Уайтхед и Рассел, — то обнаружим значительно возросшую строгость рассуждений. Работы современных математиков, которые с помощью «рефлексирующей абстракции» извлекают новые операции из уже известных или новые структуры из предшествующих структур, привели к обогащению фундаментальных понятий, не противореча им, но реорганизуя их самым неожиданным образом. Известно, что в физике не осталось ни одного принципа, который не изменил свою форму и содержание. Законы, казалось бы, наиболее твердо установленные, стали в определенной степени относительными, заняв новое место в системе в целом. В биологии, где точность еще не достигла

такой степени и где важнейшие проблемы все еще не решены, происшедшие перемены также впечатляющи.

Основополагающая идея «Процесса и реальности» Уайтхеда состоит в том, что человеческий опыт — принадлежащий природе процесс, имеющий собственное физическое существование. Отсюда, с одной стороны, отказ от философской традиции, определявшей субъективный опыт в терминах сознания, мышления, чувственного восприятия, и, с другой — синтез проблемы человеческого опыта и физических процессов эволюции мира.

Как не амбициозна уайтхедовская программа соединения философии и естествознания, единого описания всех форм существования — от объектов познания до функционирования последнего, — Уайтхед лучше многих других сознавал, что эволюция мира (химических элементов, космических объектов, жизни духа) не могла бы быть познана, если бы не менялось само познание. Эволюция, по Уайтхеду, это синтез становящегося и неизменного, потока и берегов.

Задачу философии Уайтхед видел в том, чтобы совместить перманентность и изменение, мыслить вещи как процессы, показать, как становящееся, возникающее формирует отдельные сущности, как рождаются и умирают индивидуальные тождества... Уайтхед убедительно продемонстрировал связь между философией *отношения* (ни один элемент природы не является перманентной основой изменяющихся отношений, каждый элемент обретает тождество из своих отношений с другими элементами) и философией *инновационного становящегося*. В процессе своего генезиса все сущее [включая познание] унифицирует многообразие мира, поскольку добавляет к этому многообразию некоторое дополнительное множество отношений. При сотворении каждой новой сущности «многое обретает единство и растет как единое целое».

По мнению Ильи Пригожина, Уайтхеда можно считать предтечей «самосогласованных» описаний типа философии будстрэпа в физике элементарных частиц, утверждающей универсальную взаимосвязанность всех частиц. Главное же, Уайтхеду принадлежит идея расширяющейся науки, способной в своей эволюции положить конец расколу между естествознанием и философией.

К философии жизни Ницше восходят многие идеи современной феноменологии, персонализма и экзистенциализма. «Зов Диониса» делает человека экзистирующим существом, выходящим за свои пределы. Ницше считал человеческое существование уникальным, человеческий опыт неповторимым. Самотворение было для него вершиной человеческого и основой сверхчеловеческого. Персональное начало, персональный выбор, свобода выбора, самоидентификация с определенным «жизненным миром», длительность как персональное время — эти и другие проблемы соединяют ницшеанство с Бергсоном, Хайдеггером, Ясперсом, Шестовым, Камю, философией жизни (Зиммель, Дильтей, Ортега-и-Гассет), эпистемологией и гносеологией современной науки (Кун, Полани, Фейерабенд, Лакатос), философией и культурологией Шпенглера, Лёвита, Дерриды, феноменологией Гуссерля...

Анри Бергсон, хотя его нельзя причислить к ницшеанцам, также полагал, что познавательный аппарат человека гораздо шире рационального постижения действительности: мир «истолковывают» интуиции человека, связанные с его влечениями, причем каждое влечение имеет свою «перспективу». Миру нельзя придать универсальный смысл, наблюдатель необходим, дабы придавать ему множественные смыслы. Без фантазии, мифа, иллюзий человечество не может обойтись. Сфера деятельности интеллекта ограничена мертвой материей. Для «жизненного порыва» творчества интеллекта недостаточно: жизнь, становление, воля к могуществу нуждаются в интуиции, озарении, бессознательном.

Под влиянием Ницше Макс Вебер в знаменитом докладе «Наука как призвание и профессия», произведшем огромное впечатление на целое поколение европейцев, назвал единственно «мужественной» и достойной перспективу жизни под знаком «войны богов», жизни-конкуренции, жизни-смены идей — противоборства абсолютов, — из которых нельзя избрать единственный, не *оскорбив* тем самым «*всех остальных богов*».

Гуссерль обязан Ницше идеей *Lebenswelt*, *жизненного мира*, описывающей хтонические, подземные истоки любых философских или научных идеализаций. Идя в направлении, противоположном Ницше, то есть строя философию как науку, Гуссерль пытался достичь окончательного обоснования мышления с помощью «первичных очевидностей», прежде всего самой жизни.

У Ницше жизнь, телесность, жизненность формируют субъективность и межсубъективность, у Гуссерля сознание — элемент мира, мир жизненной веры, неустанное изумление, целостность и непосредственная свежесть жизненного взгляда. Трехтомная «Феноменология межсубъективности» — следующая ступень в интерпретации человеческого сознания как высшего проявления жизненности, связи трансцендентального Еgo и человеческого «я».

У Хайдеггера мы найдем огромное количество «пересечений» со столь далеким от него предтечей: скрытый культ сверхчеловека, глубинное осознание собственной «недочеловечности», внутренний догматизм, делающий невозможной самокритику или признание собственных заблуждений...

Сейчас обнаруживается то, что Ницше уже метафизически понимал, что новоевропейская «механическая экономика», сплошной машинообразный расчет всякого действия и планирования, в своей безусловной форме требует нового человечества, выходящего за пределы прежнего человека. Недостаточно обладать танками, самолетами и аппаратурой связи; недостаточно и располагать людьми, способными такие вещи обслуживать; недостаточно даже просто овладеть техникой, словно она есть нечто в себе безразличное, потустороннее пользе и вреду, строительству и разрушению, применимое кем угодно для любых целей.

Требуется человечество, которое в самой своей основе соразмерно уникальному существу новоевропейской техники и ее метафизической истине, т. е. которое дает существу техники целиком овладеть собою, чтобы так непосредственно самому направлять и использовать все отдель-

ные технические процессы и возможности. Безусловной «механической экономике» соразмерен, в смысле ницшевской метафизики, только сверхчеловек, и наоборот: такой человек нуждается в машине для учреждения безусловного господства над Землей.

Ницшеанская «воля к жертве» — предчувствие хайдеггеровского бытия-к-смерти, хайдеггеровской танатологии, приоритета смерти как горизонта Dasein.

Когда Хайдеггер отождествляет жизнь с Dasein, он следует идеям философии Ницше, тому пониманию Dasein, которое «прорастает» до сущности жизни, то есть до бытия, до укорененности Dasein в бытии, что, собственно, и проявляется как экзистенция.

Дионисийское начало Ницше в философии Хосе Ортеги-и-Гассета трансформировалось в жизненный разум:

Человеческое ускользает от физико-математического разума, подобно воде, вытекающей из решета.

...Человеческая жизнь не является вещью, поэтому нам следует решиться рассуждать о ней в таких категориях и понятиях, которые в корне отличались бы от категорий и понятий, объясняющих материальные явления.

Реальность человека, человеческое в человеке — это не его тело и даже не его душа, а его жизнь, то, что с ним происходит. Ибо у человека нет природы, у него есть... история. Нет смысла говорить о камне: «с ним происходит» падение к центру Земли, ибо камень это только камень. Его сущность в гравитации. У человека нет сущности, нет определенной постоянной консистенции. Если с камнем происходит то, что он уже собой представляет, то человек, напротив, есть то, что с ним происходит. Его сущность как раз заключается в бесконечном драматизме, постоянных превращениях судьбы, поэтому ее нельзя определить, а можно только рассказать. Но это новый вид разума: «повествовательный», или исторический разум, и именно он вновь свяжет человека с огромной трансцендентной реальностью — реальностью его судьбы.

Вслед за Ницше Ортега предупреждал, что новый век будет самым драматическим в истории, поставит перед человеком проблемы болезненные, потребует пересмотреть самодовольное и благодушное отношение к жизни и к «разумному действительному».

Задаваясь вопросом, почему «культура стала такой, какой является сегодня, культурой, исполненной послушания, рациональных форм господства, полезности и расчета?» — Мишель Фуко, в сущности, следовал за Заратустрой, предостерегавшим об опасности ставить рассудок впереди жизни.

М. Хоркхаймер и Т. Адорно в негативной диалектике развивали не только идеи Ницше, но во многом обязаны ему стилем, «новые философы» (Глюксман, Леви, Лардо, Жамбе) углубили и онтологизировали ницшеанские представления о власти, экзистенциализм обязан Ницше моделью «иррационального человека», философия «новых правых» — концепцией «смерти человека», де Бенуа — «новым гуманизмом», отвергающим манипуляторский, технократический подход

к действительности. Рудольф Карнап, ратуя за аналитическую философию, высоко ценил философию жизни Ницше как выдающийся феномен философии чувств.

Поль Рикёр обратил внимание на заимствование современной политической философией ницшеанских интерпретаций власти, правовых отношений, юридических понятий, в частности определения прав как «признанных и обеспеченных ступеней власти».

Можно без преувеличения сказать, что современная теория власти и теория элит Парето Моска восходит «К генеалогии морали» и другим книгам Ницше.

Психоанализу Фрейда предшествовал социоанализ Ницше, вскрывший в культуре опасность фатальной порчи человека ложью «идеалов», «высоких чувств», тотального омассовления. Ницше и Фрейд требовали не ликвидации духовных и культурных ценностей, как обычно интерпретируют *наши*, но уважения к инстинктивно-бессознательной сущности человека, осознания первостепенной важности для жизни того, что культура вынуждала прятать в бессознательное, травмируя психику индивида и поощряя общественное лицемерие. Ницше впервые во весь голос прокричал о социальной патологии, подавлении жизненных сил, деформации природы человека существующей коммуитарной культурой, фальсифицирующей саму жизнь, подрывающей движущие силы жизни.

Категория злопамятства в психологии Ницше почти адекватна фрейдовскому вытеснению: у слабых, безвольных, побежденных стремление к могуществу вытесняется в бессознательное, обращаясь в злопамятство. Всё, что массе недоступно, объявляется порочным. Мораль и ценности масс потому связаны с добродетелью, что последняя компенсирует ей мощь, способность, потенцию. Нравственность сильных лишена этого недостатка — им нет надобности компенсировать и вытеснять витальность, они способны действовать в полном соответствии с собственными интересами.

У Ницше вполне фрейдовская модель многослойного сознания — лестница, позволяющая спуститься в темные глубины бессознательного и подняться на высоту собственного «я». Отличие — в том, что истинная сущность «я» «не лежит глубоко в тебе, а недостижимо высоко над тобой».

Карл Юнг попытался синтезировать философию Ницше с филологией Бахอฟена, этнографией Фрезера и психоанализом Фрейда. «Либи́до, его метаморфозы и символы», работа, приведшая к резкому разрыву между Фрейдом и Юнгом, представляла собой синтез Эдипа и Диониса, действительно подрывавший основы фрейдовского психоанализа.

Дистанцируясь от Учителя, Ницше брали в союзники и другие ученики Фрейда, в частности О. Ранк, у которого тоже обнаруживается попытка соединить Эдипа с Дионисом. Влияние дионисийских идей испытали на себе крупнейший психиатр начала века Т. Мейнерт, основатель австрийской социал-демократической партии В. Адлер, круг авторов «Рап'а», великие скульпторы и художники (Бёклин, Кли́нгер, Викленд), музыканты (Р. Штраус, написавший музыкальную поэму «Так говорил Заратустра», и Г. Малер, назвавший Третью симфонию на манер Ницше — «Веселая наука»).

НИЦШЕ В РОССИИ

Первым публикациям текстов Ницше в России (1898—1899 гг.) предшествовали переводные монографии Лу Саломе-Андреас, Рилья, Штейна, Зиммеля, Лихтенберже, позволившие русскому читателю ознакомиться с идеями творца «Заратустры». В конце прошлого века появились работы В. Преображенского, Н. Михайловского, В. Соловьева, Н. Федорова, Л. Лопатина, Н. Грота, В. Чуйко, А. Волынского, Д. Цертелева — большей частью отрицательные: «вздор», «пухлое многословие», «неприятные вычурные обороты речи» — такой была оценка крупнейшего европейского стилиста. Впрочем, и на Западе Ницше являлся пробным камнем, лакмусовой бумагой для теста «на современность», «на модерн». Было бы в высшей степени странным, если бы страна соборности, хлыстовства, скопчества и старолюбия приняла ницшеанский модернизм с раскрытыми объятиями. Если бы не русское возрождение, не наступающий Серебряный век...

В 1900 году вышло первое восьмитомное собрание сочинений Ф. Ницше под редакцией А. Введенского (второе издание 1909 г. под редакцией Ф. Зелинского, С. Франка и др. осталось незавершенным).

В высшей степени показательно, что проблема восприятия философии Ницше в России изучена западными, а не отечественными исследователями. Этой проблеме посвящены международные конференции в Фордхаме 1983, 1988 годов. В Принстонском университете вышел сборник «Ницше в России», в Висконсинском университете Э. М. Лэйн защитила докторскую диссертацию «Ницше и русская мысль, 1890—1917 гг.», ницшеанские влияния прослежены Дж. Кляйном в монографии «Религиозная и антирелигиозная мысль в России». В самой же России, насколько мне известно, кроме недавно опубликованной подборки статей о Ницше деятелей Серебряного века, появилась единственная диссертационная работа Ю. В. Синеокой «Философия Ницше в России» (1996 г.).

Следует иметь в виду, что знакомству русских читателей с произведениями Ф. Ницше во многом препятствовала цензура. Даже после отмены цензурных запретов на книги немецкого философа они печатались со значительными купюрами. После публикации «Антихриста» издательством М. В. Пирожкова в 1908 году издатель был привлечен к суду и приговорен к двухнедельному заключению. До начала 90-х годов XIX в. Ницше был практически неизвестен в России: его имени нет в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1885 г.), а в книге И. Гейнце «История новой философии» (1890 г.) фигурируют фамилии Ф. Нитче и Ф. Ниче как двух разных писателей.

Идеи Ф. Ницше входят в оборот «русской мысли» в начале девяностых годов: первооткрывателем часто называют Н. К. Михайловского, хотя еще рань-

ше (в 1892—1893 гг.) журнал «Вопросы философии и психологии» опубликовал посвященные Ницше статьи Преображенского, Лопатина, Грота. В начале века о Ницше писали Е. Трубецкой, А. Бобрищев-Пушкин, В. Битнер, Г. Рачинский, Н. Авксентьев, Д. Мережковский, Ф. Зелинский, В. Розанов.

Мы осведомлены, что Ницше получил популярность в России Серебряного века, но мало знаем о том, что Россия Аввакума и Толстого встретила автора «Заратустры» в штывы: большевистским погромам предшествовал остракизм Ницше русской интеллектуальной элитой — В. Соловьевым, Е. Трубецким, Л. Лопатиным, Н. Гротом, Л. Толстым, В. Чуйко, Д. Цертелевым, А. Погодиным, А. Волынским, Н. Федоровым, П. Бергом, Н. Михайловским, Ф. Булгаковым.

Можно сказать, что, за исключением первой русской оценки философии Ницше В. Преображенским (1892 г.), почти все авторы, писавшие о Ницше в конце XIX века, были в той или иной мере последователями Нордау. «Злополучный безбожник», «циник, разрушитель общественного порядка», «декадент», «проповедник зла», «ниспровергатель всего святого», «несчастный гордец». Концепции сверхчеловека, вечного возврата, *amor fati* подверглись яростным нападкам со стороны Н. Федорова, договорившегося до того, что Ницше насаждал «древо смерти» (что особенно пикантно звучит в устах склонного к некрофилии человека, любовно оперирующего с «прахом» отцов).

Даже чуткий к литературной фальши Н. Минский умудрился обвинить творца «Заратустры» в «рабской преданности» — страсти «менять одного властелина на другого, возиться с цепями, надевать их и разбивать» (рабская преданность не очень вяжется с этим контекстом).

Надо признать, что вульгаризация идей Ницше в России возникла задолго до большевистских его фальсификаций — буквально с самого начала знакомства русской публики с входящим в моду писателем в начале 90-х годов. В немалой степени этому способствовало плохое знание и понимание самих этих идей, запоздалые и некачественные переводы, предвзятые комментарии, совершенно неправомерное и абсурдное уподобление и даже отождествление идей Ницше и Маркса. Поэт И. Ясинский, например, даже не скрывал, что в своем стихотворном цикле «Из отблесков Ницше» «придавал его сверхчеловеку облик большевика». По словам М. Кореневой, возникновение такого сверхчеловека большевистского толка не было чем-то случайным: «его «явление» было вполне подготовлено не только литературной критикой, разработавшей этот образ Ницше, — он опирался прежде всего на определенную литературную традицию, точнее — тенденцию, которая наметилась в русской литературе середины 1890-х годов: подобно тому как образ Ницше-монстра, созданный усилиями критиков, «подкреплялся» соответствующей псевдоницшеанской литературой, так и образ Ницше-революционера, Ницше-демократа находил опору в соответствующей литературе с ярко выраженной демократической направленностью».

Имеются все основания отождествить фашистскую и большевистскую вульгаризацию идей Ницше — завсегдаятаями мюнхенских пивных и «сверхбоссяками» М. Горького.

Л. Н. Толстой, со свойственным ему культурным и этическим ригоризмом, отреагировал на «Заратустру» и «Антихриста» гневной отповедью в редакцию «Die Zeit». Здесь весь комплекс прямолинейных обличений, заимствованных большевистскими «чистильщиками»: «признак озверения», «главный толкователь и восхвалитель этого озверения», «отрицание всех высших основ человеческой жизни и мысли» и т. п. «Каково же общество, если такой сумасшедший, и злой сумасшедший, признается учителем?»; «Страшно подумать о том, что было бы с человечеством, если бы такое искусство, воспевающее персональность, нонконформизм, распространилось в народных массах».

Увы, читая «Вырождение» Нордау, я все время думал о Льве Николаевиче Толстом: о русском нигилизме и ксенофобии, об охранительстве и категорическом отрицании любых форм модернизма, об удивительном совпадении вкусов и почти полном единодушии в отношении к предтечам культуры XX века...

Толстой, знавший Ницше, в основном, из вторых рук, считал его ответственным за декаданс и символизм в искусстве и говорил, что ложное отношение к искусству обязано пророку Ницше и его последователям.

Хотя в «Религии и нравственности» Толстой воспроизвел ницшеанскую критику морали, в отличие от творца «Заратустры», он видел спасение от этического лицемерия лишь в возврате к чистым евангельским истокам. На «Антихриста», направленного против толстовского всепрощения, Толстой, можно сказать, ответил работой «Что такое искусство», в которой устроил настоящий погром всем европейским «декадентам» и «аморалистам», включая Ницше.

Толстой и Ницше — это разные ментальности, разные парадигмы охранительства и ниспровержения всех ценностей, разные этические установки и разное отношение к истине. «Замолчанные истины становятся ядовитыми», — Ницше вопил об этом, Толстой не хотел этого знать.

Слава богу, писал Толстой, ницшеанство не распространилось в России, «сборность» спасла ее от «тлетворного влияния». Одна только незадача: Толстой взял верх над Ницше в этой стране, толстовство восторжествовало над ницшеанством. Откуда же тогда все это озверение? Или все же «Бог играет в кости» и прав Ницше, а не Толстой?

Несовместимость корпусов идей Толстого и Ницше — только одна сторона сравнения. Есть и другая. При всей несовместимости Толстого и Ницше, их многое объединяет. Я имею в виду отнюдь не то, что у Ницше можно обнаружить вполне толстовские места о необходимости любви и доброты или желании порадовать «хоть одного человека», я имею в виду «пафос отрицания», свидетельствующий о глубинном сходстве психических структур.

В конце концов, Толстой тоже оказался «нигилистом», переоценившим все ценности, отказавшимся от 90% мировой культуры и в этом отношении далеко опередившим самого Ницше, «отказы» которого часто оказывались апологиями.

Будучи диссидентом православной церкви, как Ницше — протестантской, Толстой тоже не верил в таинство Евхаристии, отказывался принять причастие и критиковал церковь, причем, почти по тем же мотивам, что и Ницше. В «Человеческом, слишком человеческом» (афоризм 113) Ницше изумлен:

Бог, который производит на свет детей от смертной женщины; мудрец, который призывает не работать больше, не чинить суда, но внимать знамениям предстоящего конца мира; справедливость, принимающая жертву невинного как всеискупительную жертву; некто, велящий своим ученикам пить его кровь; молитвы о свершении чуда; грехи, содеянные против Бога и отпущенные Богом; страх перед потусторонним, вратами которого оказывается смерть; образ креста как символ в некое время, не ведающее больше назначения и позора креста, — как загадочно веет от всего этого на нас, как из гробницы древнейшего прошлого! Можно ли поверить, что в нечто подобное еще верят?

Вряд ли подобную фразу мог произнести Толстой, но разве богоискательство Толстого не есть иная форма отказа от догматизма, разве оно напрочь лишено ницшеанских мотивов?

Владимир Соловьев несовместим с Ницше, но их объединяет одинаковое понимание искусства как теургии. «Вселюся в них и буду ходить в них, и буду их Богом», — говорит Господь. Теургия рождает пророков, «вкладывает в уста их слово, дробящее скалы».

Первая реакция В. Соловьева на сверхчеловека Ницше была благожелательной: статья «Идея сверхчеловека» открывается ницшеанской мыслью, что всякое заблуждение может содержать в себе несомненную истину. Одним из первых в России Соловьев осознал, что сверхчеловек — не «ограниченное и пустое притязание», но «голос глубокого самосознания, открытого для лучших возможностей и предваряющего бесконечную будущность». Человеку естественно хотеть быть лучше и больше, чем он есть в действительности, писал Соловьев, ему *естественно* тяготеть к идеалу сверхчеловека. Ничто не мешает человеку подняться над дурной действительностью и стать относительно ее сверхчеловеком. *Сверхчеловеческий путь*, на который, увы, вступают немногие избранники человечества, — путь истинного и высокого назначения, ведущий вступивших на него к бессмертию.

Прочитав «Заратустру», В. Соловьев резко изменил отношение к Ницше. Не восприняв мифологичность этого образа, он противопоставил первого сверхчеловека (Иисуса) — «словесным упражнениям» филолога, «не испытывавшего по-настоящему никакой жизненной драмы».

...Эта истина о высшем, сверхчеловеческом начале в нас, о нашем средстве с абсолютным и тяготении к нему, была уже не нова, когда апостолу Павлу пришлось *напоминать* ее афинянам (Деян. ап., XVII). Теперь Ницше возвестил ее как великое новое открытие. Спасибо и на этом. Но вот беда: апостол Павел напомнил афинянам о высшем достоинстве и значении человека только для того, чтобы сейчас же указать на действительное осуществление *этого* высшего в действительном праведнике, воскресшем из мертвых; говоря о сверхчеловеке, он *называет* Его, тогда как новейшему проповеднику сверхчеловека не на что указать в действительности и некого назвать.

Ницшеанский человек — просто декадент, подменивший истину словесностью, демагог, совращающий полуобразованную толпу красотой пустых звуков. Удивительно, что эти слова произносит мыслитель, понимавший философию как требование «истину из безразличного понятия превратить в живой замысел», мыслитель, восставший против «однодумов».

Потрясенный «кошунствами» Заратустры, само имя которого вызвало отвращение великого философа, Соловьев безосновательно уличает Ницше в притязании стать основателем религии. Болезнь и сумасшествие Ницше, считает он — расплата за богоборчество, искупительная жертва честного человека, который «устыдился и ужаснулся своего подлога истины, когда увидел его пустоту и бесплодность».

Самое парадоксальное во взаимоисключающих соловьевских оценках сверхчеловека Ницше — это их одновременность (обе даны незадолго до смерти и фактически одна исключает другую). Свидетельство ли это настроения минуты, беспамятства или незначительности феномена? Так или иначе, Ницше не стал для Соловьева поворотной точкой культуры, только одаренным стилистом, опасным совратителем юношества, симптомом времени словесности, подменяющей истинность.

Я полностью солидарен с А. Белым, что В. Соловьев проглядел сущность Ницше, не разглядел за маской, за «Ницше в цилиндре» — богостроителя, учителя жизни, мистика, узревшего в туманной дали призрак Нового Человека, Личности, спустившегося с небес Христа, уже не зовущего за собой...

Просто удивительно, что такой тонкий и чувствительный человек, как В. Соловьев, уличает Ницше в жизненном спокойствии, «кабинетности», книжности, филологичности. Г. Рачинский в «Трагедии Ницше» привел, мне представляется, самую точную оценку «сомнительной характеристике», данной Ницше Соловьевым в статье «Словесность или истина», вошедшей затем в «Три разговора»:

В ней, рядом с поразительно сжатой и верной оценкой скрытого смысла моральных взглядов Ницше в период создания им типа Заратустры, встречаем ироническую характеристику его как педанта-профессора, даровитого, но «исключительно» кабинетного ученого — «сверхфилолога». Основываясь на том, что Ницше «не испытал по-настоящему (?) никакой жизненной драмы», Соловьев утверждает, что он о «земной человеческой природе помимо книг имел лишь очень одностороннее и элементарное познание»; смеется над тем, что он пишет «Заратустра», а не «Зороастр» (а сам Соловьев писал же не «Магомет», а «Мухаммед»); и переводит слова Ницше «Ich lehre euch den Übermenschen!» — «Я намерен преподавать сверхчеловека», объясняя, что для Ницше «сверхчеловек есть лишь предмет университетского преподавания — вновь учреждаемая кафедра (курсив подлинника) на филологическом факультете». И все это говорится о человеке, вся жизнь которого, за вычетом пяти-шести лет молодости, была одно сплошное физическое страдание и одна раздирающая душевная драма, который провел на кафедре всего что-то около пяти лет, всю

остальную жизнь путешествовал и жил в общении и дружбе с самыми разнообразными и, по большей части, весьма замечательными людьми, был поэтом и композитором, отличался редкой наблюдательностью и писал книги о сверхчеловеке, похожие на что хотите, только не на курс лекций с кафедры филологического факультета. Совершенно верно замечая, что «для филолога быть основателем религии так же неестественно, как для титулярного советника быть королем испанским», и что «самому гениальному филологу невозможно основать хотя бы самую скверную религиозную секту», Соловьев как будто не замечает, что ницшеанство если на что похоже, так уж скорее на «скверную секту», а с университетских кафедр, насколько мне известно, еще никогда не преподавалось. Я понимаю всю безграничную антипатию Соловьева к Ницше; но здесь факты говорят сами за себя. Опасно и неосторожно презирать врага, не отдавая всего должного его уму и духовной силе. Когда Соловьев в своих критических замечаниях (между прочим, например, в «Мире искусства») смеется над теми, кого он называет в другом месте «трепещущими и преклоняющими колена перед именем Заратустры психопатическими декадентами и декадентками в Германии и России», то этому можно только посочувствовать: не рассуждать же, в самом деле, с такими господами.

Первая и, надо признать, крайне неудачная систематизация философии Ницше в России принадлежит князю Е. Трубецкому, для которого она — бесконечный лабиринт противоречий, двойственный масштаб ценностей, неудачный эксперимент с истиной.

Здесь самоуверенность разума, крайнее его самоутверждение вдруг переходят в скептицизм и отчаяние. С одной стороны, Ницше проникнут радостным сознанием могущества человеческой мысли; с другой стороны, для него недоверчивость составляет как бы общую печать нашей умственной деятельности. В жизни человека разум — самое ценное и вместе с тем самое бесценное, достойное презрения: он — источник высших наших радостей и вместе с тем наша казнь, как бы проклятие нашего существования; он — цель нашей жизни и вместе с тем — злейший ее враг.

Можно ли упрекать в нелогичности и непоследовательности человека, обнаружившего, что они всегда присутствуют в процессе мышления, приводя мыслителя в отчаяние? И столь уж взаимоисключающе приводящие Е. Трубецкого в негодование ницшеанские оценки разума — одновременно как средства познания и орудия слепых инстинктов? Или человека как части природы и существа, противостоящего ей? Или культ личности и могущества силы? Или ценности познания и его опасности для человека? Или отрицания ценностей и признания высшей ценностью — могущества жизни? Или отрицания разума и веры в него?

Кстати, Ницше отрицал не разум, а догматизм разума, не этику как таковую, а догматическую мораль, не отсутствие ценностей, а их исторический характер.

Вчитаемся в Е. Трубецкого без комментариев:

Очевидно, что мы имеем здесь дело с коренным противоречием в точке зрения Ницше. Противоположность между человеком и внешней природой представляется ему одновременно и как нечто *несуществующее* и как нечто *существующее*, но *недолжное*, подлежащее устранению.

Если человек есть явление природы, столь же необходимое, как и все прочие явления мировой энергии, то обращаться к нему с какими бы то ни было требованиями столь же нелепо, как проповедовать камням. В особенности нелепо требовать от него уподобления природе, возвращения к ней, если он по существу является частью этой природы.

Последовательный имморализм есть прежде всего отрицание всякого долженствования и всякого вообще идеала. И действительно, Ницше многократно высказывается в этом смысле. О долге, учит он, можно говорить только в предположении общей всему человечеству и общепризнанной цели; но такой цели не существует: правда, можно рекомендовать человечеству цель, но в таком случае цель не обязательна: каждый может по своему усмотрению ею руководствоваться или не руководствоваться. И, однако, от того же Ницше мы узнаем, что имморалисты суть также «люди долга», что и у них есть священные обязанности, от которых они не могут уклониться, например обязанность правдолюбия и непримиримой вражды против пережитых воззрений. Все вообще учение Ницше о ценностях есть непрерывное колебание между признанием и отрицанием объективных норм долженствования, не зависящих от человеческого произвола.

В этом учении сталкиваются два противоположных тезиса. Первый из них сводится к тому, что в природе нет вообще никаких ценностей. Всякая ценность предполагает какую-нибудь цель, а так как в природе нет никаких целей и, следовательно, никакого масштаба для оценки существующего, то в ней нет и никаких ценностей: в нашем понятии «ценности» выражается помрачение нашей мысли: оно есть чисто человеческое измышление и иллюзия, нечто такое, что человек привносит в жизнь. Противоположный тезис, однако, гласит, что в жизни *есть* объективные ценности, что человек должен отрешиться от своих субъективных иллюзий, чтобы принять те ценности, которые даны самой природой.

Оценивая философию Ницше как протест против измельчания и вырождения современного человека, видя в этом причину ее популярности, Е. Трубецкой делает внезапный кульбит:

Нам наскучили «хмурые люди», бесконечной вереницей проходящие перед нами. Наши нервы утомлены однообразною картиною окружающею нас житейскою пошлостью, и наш выродившийся вкус жаждет сильных ощущений! «Сверхчеловек» доставил нам зрелище, которое нас развлекло и как будто наполнило на время один из пробелов нашего существования. Но теперь мы довольно развлеклись, и пора сорвать с него маску.

Что же видит князь под маской? Пустоту, бессодержательность, позу, оптический обман...

Его «Заратустра» играл для него роль зеркала, украшенного изображением его собственной личности. В нем Ницше хотел воплотить идеал своего собственного величия; но сам же он и развенчал это величие: от него самого мы узнаем, что в великом человеке он видит «всегда только актера своего идеала». И в самом деле, в каждом слове, в каждом движении Заратустры чувствуется, что он разыгрывает роль, в которую сам плохо верит.

И уж никак нельзя согласиться с представлением морали Ницше как восхваления гордости, высокомерия, воинственных животных инстинктов: «обожествление страсти, мести, коварства, гнева, сладострастия, жажды приключения...»

Е. Трубецкой категорически не приемлет ницшеанский индивидуализм, персональную мораль, множественность морали, личное усмотрение человека в выборе этических норм, разнообразие ценностей как таковое. Нет безусловных ценностей — нет морали. Но тождественно ли отказу от морали почти бесспорное утверждение, что не существует ни одной ценности, которую бы многократно не оспаривали философы и этики разных эпох?

Е. Трубецкой воспринимал философию Ницше как дерзкий вызов современности, протест против сложившихся идеалов, отрицание наличного человека во имя человека несуществующего. «Среди людей он не находит человека, который бы оправдывал существование человека и нашу веру в него».

Крупнейший философ России, упреждая большевистские оценки, видел в ницшеанстве только отрицание смысла жизни, ослабление и утомление мысли, выражение отвращения к человеку, отсутствие логического единства и скудость результатов.

Отрекаясь от того, чем жива всякая мысль, чем дышит разум, философия отрекается от себя самой, осуждает себя на неизбежное вырождение.

Софистическое учение Ницше представляет собою завершение упадка новейшей философской мысли и, надо надеяться, крайний его предел.

В конце концов, философия Ницше перестает говорить человеческим языком и начинает рычать по-звериному: последний ответ Заратустры на философские запросы современного человечества есть львиный рев, который разгоняет всех ищущих и вопрошающих. Дальше, кажется, трудно идти по пути одичания и вырождения мысли.

Вполне одуевские определения. Один из многих примеров глубинной связи между «русской идеей» и большевизмом, соборностью и коллективизмом колхозного толка...

Возмутительной бестактностью, душевной черствостью является привязка Е. Трубецким болезни Ницше к философской «дьявольщине» его учения:

Философия для Ницше есть прежде всего эксперимент над собственной жизнью. Он чувствует, что его мысль подкашивает основные предположения его существования и спрашивает себя: «Возможно ли жить с истиною?» Мы знаем, что этот эксперимент окончился для Ницше умо-

помешательством. Да иначе оно и не могло быть. Он вложил всю свою душу в учение, которое отрицает цель жизни.

Примером восприятия идеи сверхчеловека в России XIX века является книга П. Берга «Сверхчеловек в современной литературе XIX века», цитируя которую Ю. Веселовский писал: «Бывали случаи, когда люди принимались похищать чужую собственность, соблазнять девушек, предаваться пьянству, — и все это, чтобы осуществить теории Ницше о свободе индивидуума, который стоит выше нравственных предписаний». В значительной мере сказанное можно отнести и к русским «ницшеанским» романам конца XIX — начала XX века, беллетризующим тематику имморализма в духе вседозволенности, «жизни по-новому», полной вульгаризации идей Ницше. Комментируя восприятие идей Ницше русскими «патриотами», Н. А. Бердяев в 1915 году писал:

Поистине судьба Ницше после смерти еще более трагична и несчастна, чем при жизни. Одно время всякие пошляки возомнили себя вдруг Заратустрами и сверхчеловеками, и память Ницше была оскорблена популярностью во стаде. Стадами начали ходить одинокие сверхчеловеки, вообразившие, что им все дозволено.

Примазались к Ницше и те, у кого была воля к хищению, к власти, к выгоде в земельных долинах.

И все-таки я не знаю ничего более чудовищного по своей внутренней неправде, чем это желание связать с Ницше современную милитаристическую Германию. Это значит читать буквы, не понимая смысла слов.

* * *

Вопреки несовместимости менталитетов, вопреки «холодному душу» идеологов «русской идеи», в начале XX века Ницше стал одним из самых влиятельных западных мыслителей в России, оказавшим значительное воздействие на «то движение, которое мы называем Возрождением религиозной и моральной философии в России» (Г. Штамлер). По мнению этого исследователя, Ницше следует признать «святым заступником и отцом» Серебряного века русской культуры.

Русских модернистов Ницше привлекал страстностью духовных исканий, их экзистенциальной направленностью и абсолютной новизной. В признании Ницше деятели Серебряного века усматривали возможность выхода из провинциализма, преодоления культурной отсталости. Приобщение к ницшеанству казалось им сакральным посвящением в европейцы.

По мнению А. Эткинда, в России Ницше встречали как романтика, мифотворца, пророка, принимающего весь мир, видящего «присутствие бесконечного в конечном» (В. Жирмунский). Именно у романтиков «жизнь и поэзия сближаются; жизнь поэта похожа на стихи; ...жизнь в эпоху романтизма подчиняется поэтическому чувству... Переживание становится темой поэтического изображения и, через это изображение, пережитое получает форму и смысл». В. Жирмунский видел в этом «массовый бред», «но с психологической точки зрения... бред является таким же состоянием сознания, как другие».

Причина притяжения Ницше в стране несовместимого с ницшеанством менталитета, по мнению М. Михайлова, в том, что впервые в западноевропейской истории властитель дум во весь голос повторил то, что уже было добыто русской мыслью в лице Достоевского, тем самым санкционировав правильность и значительность молодой русской мысли.

К тому же, по воле судьбы, Ницше попал в Россию в тот момент, когда самые талантливые мыслители русского марксизма стали от него отходить — в поисках других, более глубоких идей, которые давали бы им ответы на всё усложнявшуюся действительность. Им, воспитанным в западноевропейской философской традиции и в то же время на романах Достоевского и Толстого, необходим был авторитетный (а это значит — западноевропейский) уверенный голос, который бы подтвердил, что зародившаяся русская мысль и есть тот выход из духовного и философского тупика, в который попало человечество. Таким могучим и авторитетным голосом для этих мыслителей стал голос автора «Так говорил Заратустра». В Ницше они признали «своего».

Ницше писал: «Великие эпохи нашей жизни начинаются тогда, когда мы приобретаем смелость переименовать в добро то, что мы в себе считали злом». Такую эпохальную переоценку благодаря *моральной* поддержке Ницше и совершили мыслители русского религиозно-философского ренессанса.

Сверхчувствительная к морализму русская мысль воспринимала прежде всего этические аспекты его философии — «я» человека как единственный носитель морального начала.

Ницше — вместе с французскими символистами — открывал художникам Серебряного века мифологические глубины бессознательного, «мифологические были», как писал А. Белый.

*Передо мною мир стоит
Мифологической проблемой...*

А. Блок и Ф. Сологуб недаром штудировали Ницше: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из нее сладостную легенду, ибо я — поэт», — строки эти вряд ли могли бы появиться без таких штудий... Ницше «возвратил миру Диониса» не для одного Вяч. Иванова — дионисийский дух витает над «оргийностью» всего русского декадентства (я думаю, что выразился правильно вопреки негативному отношению самого Мифотворца к тому, что скрывается за этим понятием).

*Я хочу внезапно выйти
И воскликнуть: Богоматерь!
Для чего в мой черный город
Ты Младенца привела? —*

разве это не Ницше говорит словами Блока?

Новую, во многом ницшеанскую, концепцию культуры развивали авторы «Северного вестника», «Весов», «Мира искусства» А. Волынский, В. Брюсов, А. Белый, В. Иванов, А. Бенуа, Н. Метнер, Эллис, Б. Садовский. Героев-ницшеан-

цев мы встречаем в «Санине» Арцыбашева, «Вавочке» А. Вербицкой, «Альме» и «При свете совести» Н. Минского, в книгах З. Гиппиус, Боборыкина, Андреева, Крыжановской, Горького, Ропшина, Винниченко, Набокова, Каменского...

Бальмонт — сам вполне «сверхчеловеческий тип», «Люцифер небесно-изумрудный», «предавший все для счастья созиданья»...

Не для меня законы, раз я гений...

Я знаю только прихоти мечты...

*Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.*

*Я вечно другой.
Я каждой минутой сожжен.
Я в каждой измене живу.*

*Мир должен быть оправдан весь,
Чтоб можно было жить.*

А вот теория черни Ницше и Ле Бона, положенная на стихи Бальмонтом:

*Человек современный, низкорослый, слабосильный,
Мелкий собственник, законник, лицемерный семьянин,
Весь трусливый, весь двуличный, косодушный, щепетильный,
Вся душа его, душонка — точно из морщин.*

Идею Ницше о трагедии, «рожденной из духа музыки», то есть трагедии как сущности бытия, глубже других воспринял И. Анненский. «Романтик Ницше, — писал он, — возводил ребячью сказку в высшие сферы духовной жизни». И сам творил свои «вакхические драмы» на поэтике, восходящей к древним трагикам, следуя заветам Аристотеля об ужасах и страданиях как главных трагических элементах человеческих ощущений.

В книге «По ту сторону добра и зла» Ницше высказывает идею о подчиненности объективного человека (ученого) субъективному человеку (философу). Отличительные черты «объективного человека» — это способность зеркально отразить чуждые ему образы (события) и стать орудием или гибкой формой, лишенной собственного содержания. Любопытно, что эту идею И. Анненский перенес на автора и его персонажей: есть «скудельный сосуд» божества, орудие для пророчеств, и есть марионетка, кукла, подчиненная творцу и отражающая душу автора.

Богоискательство Дмитрия Мережковского имело определенные пересечения с «властителем дум» Европы. В «Юлиане Отступнике» много дионисийства, борьбы религии духа (христианства) с религией плоти (поклонения телу). Внутреннее тяготение к Ницше сочеталось у него с категорическим отрицанием сверхчеловека, поднятого на щит «русскими босяками». Мережковский принимал

критику Ницше в адрес христианской морали, но не его иммораль в виде Заратустры. «Христос и Антихрист» — синтез Голгофы и Олимпа, обновление религии, но не путем полного отрицания христианства, а — отыскания истоков грядущей нравственности в его глубинах. В «Третьем завете» Мережковский не преодолевает Христа, а синтезирует дух и плоть в обновленной религии грядущего.

В многоголосии Николая Гумилёва один из самых громких голосов принадлежал Ницше. «Путь конквистадоров» — вполне ницшеанский сборник молодого поэта, но и в зрелом возрасте Гумилёв относился к жизни как к эстетическому феномену, у него тоже человек, объект — «то, что следует преодолеть». В 1907 году Гумилёв с ницшеанской бравадой писал, что «он один может изменить мир». Оба верили в собственную способность — вопреки всему — «творить себя», преобразовывать болезнь в здоровье, стоически терпеть страдание, преодолевать любые физические трудности. «Я твердо верил, что могу силой воли переделать свою внешность» (Н. Гумилёв). Необходимо обратить внимание на огромное сходство типов личности Ницше и Гумилёва: внутренний аристократизм, любовь к риску, гипертрофированная чувствительность, соединение волюнтаризма и фатализма. Оба участвовали в дуэлях, добровольцами пошли на фронт, любили великих женщин, трагически погибли... Оба видели в художнике теурга, равного Богу. Адам Гумилёва наделен чертами сверхчеловека, а Гондла — вполне дионисийский герой.

Ницшеанские реминисценции соседствуют в творчестве Гумилева с христианскими влияниями. В «Колчане» поэт пытался синтезировать сверхчеловека с Христом, а в повести «Веселые братья» соединил «Заратустру» со «Столпом и утверждением Истины». У зрелого Гумилёва переключка с дионисийством ощущается в сборниках «Костер и Огненный столп» (стихи «Я и Вы», «Детство», «Душа и тело», «Два Адама» и др.).

Андрей Белый никогда не скрывал своей близости с творцом «Заратустры», тоже временами чувствовал себя — распятым:

Относил я цветы на могилу покойного Фридриха Ницше: то было под Лейпцигом; помню: припал на мгновение к плите, лобызая ее; и — почувствовал явственно: конус истории отвалился таинственно вдруг от меня; мне казалось явственно, что событие путешествия нашего к праху почившего Ницше — событие неизмеримой, космической важности, и что я, преклоняясь к могиле, стою на вершине чудовищной исторической башни, которая — рухнула, отделилась от ног, так что я в пустоте — говорю: «Ессе Ното».

И я — «Ессе Ното».

Так мне показалось. И мне показалось еще: невероятное Солнце слетает в меня!

Переживания на могиле у Ницше во мне отразились странной болезнью... продолжились — в Базеле; часто казалось: я — распятый; так бродил над зелеными, быстротекущими струями Рейна; вонзались тернии в чело века, которое возносил я над Рейном; казалось, что гибель культуры носил я в себе; странно: тернии жизни моей обнаружили в Дорнахе мне.

Давая собственную интерпретацию сверхчеловеку Ницше, Андрей Белый в дневниковых заметках 1901 года писал:

Сверхчеловек — камень преткновения... Вот на пути-то к «сокровенной манне», к «новому имени», к белому камню, борющемся, чтобы победить, встречаются засады, и одна из засад — сверхчеловек. «Дело в том, что здесь не сверхчеловек, — скажу я понимающему, — даже и не христианский сверхчеловек, а личность в виде знамени». Но ты, ищущий брат, этого не хотел? Иди же и сперва потоскуй до дна, будь искрен с собою, не уподобляйся страусу, когда твой дух смотрит тебе в душу, и не прячь голову в собственные перья. Тогда, быть может, ты будешь удостоен соблазна, который в лице сверхчеловека предстанет пред тобой. Тогда ты не будешь повторять за несчастными обезьянами человеческой породы: «Сверхчеловек! Дикость!», а помолишься Богу, чтобы Он наставил тебя на истинный путь. За последние года три события в литературе должны были взволновать «видящего» и «слышащего». Это: «появление *«Братьев Карамазовых»*, *«Заратустры»* и *«Трехразговоров»*. Всё это фазы, всё это новые этажи воздвигаемого здания.

Сверхчеловек Ницше для Белого — это «Личность в виде знамени», Заратустра — человек, осознавший свое назначение, ориентир для выработки доктрины самоопределения, нахождения себя в мире.

Белый, собственно, и ценил Ницше за предсказание новой личности: его сверхчеловек, писал он, это порождение тоскующей души. Безотчетная, зарева тоска породила стремление к заре, воплотила зарю в личность.

В статье «Круговое движение» Белый противопоставляет «кривоногих кретинов», обывателей Базеля, в котором написана работа, обитателю «горных высот»:

Из синеватой дали на Базель уставились великаны. Ницше странствовал по горам. Попирал их тела. Видел гнома и Саламандру. Глухонемая громада открывала певцу свои земляные зияния: обрывала песню головокружением склона. А по склону ползла злая тень Заратустры. Заратустра не раз содрогался, поворачиваясь на тень: «Не высоты пугают, а склоны» (Заратустра). Нибелунг, в образе и подобии базельного кретина, настигал Заратустру...

Заратустра учил мировому и горному. Мировому и горному учит нас и Спаситель. Оба требуют дерзновения: а дерзновение — с безумными: «С безумием... пленная воля освобождает себя» (Заратустра).

Тут символика Евангелия, если разбить на ней кору мертвого догматизма, крепко срастается с символикой Ницше, совпадая в сокровенной субстанции творческих образов.

*Горы в брачных венцах.
Я в восторге, я молод.
У меня на горах
очистительный холод.*

Ницшеанскими мотивами пропитаны многие стихи А. Белого:

*Я вознесен, судьбе своей покорный.
Над головой полет столетий быстрый.
Привольно мне в моей пещере горной.
Лазурь, темнея, рассыпает искры.*

*Мои друзья упали с выси звездной.
Забыв меня, они живут в низинах.
Кровавый факел я зажег над бездной.
Звездой дальней блещет на вершинах.*

*Я позову теперь к вершинам брата.
Пусть зазвучат им дальние намеки.
Мой гном, мой гном, возьми трубу возврата.
И гном трубит, надув худые щеки.*

*Вином волшебств мы встретим их, как маги.
Как сон, мелькнет поток столетий быстрый.
Подай им кубки пенно-пирной влаги,
В которой блещут золотые искры.*

Конгениальность, близкий душевный настрой, одиночество, болезнь — многое сближало Андрея Белого с Ницше, позволяло первому глубже других русских модернистов проникнуть в скрытую символику мифов второго. Хотя, как мне представляется, пароль «новой души» схвачен Белым невнятной антиномией «смерть или воскрешение», творец «Петербурга» точно определил «явление Ницше» как «разнообразие сочетаний», адогматический символизм, ориентированный на грядущее.

Все для него — мост и стремление к дальнему. Он приглашает любить страну наших детей; он запрещает смотреть туда, *откуда* мы идем; наша честь в том, чтобы поняли мы, куда приближаемся в детях. Но чтобы знать, *куда* идешь, нужно развить в себе свое будущее, т. е. иметь его: иметь образ *нового* человека, *новое* имя на камне души.

Одним из первых в России А. Белый разглядел за философом художника, за эпатирующим изгоем — чистую душу и новый стиль, за вызовом — интеллектуальную страсть. Белому принадлежит ключ к тайне Ницше: приступая к «Заратустре», следует забыть расхожие понятия и ходячие представления — образы Ницше не имеют ничего общего с привычными словами, форма — это одно, содержание — это другое.

Художественный символизм есть метод выражения переживаний в образах. Ницше пользуется этим методом: следовательно, он — художник; но посредством образов проповедует он целесообразный отбор переживаний: образы его связаны, как ряд средств, ведущий к цели, продиктованной его жизненным инстинктом: вот почему метод изложения Ницше имеет форму *телеологического символизма*.

Догматические утверждения Ницше — всегда только известковые отложения на какой-нибудь жемчужине...

...«Символы» Ницше... суть сложение первых зачатков грядущей природы в природе фантазии; и из символов выпадает впоследствии мир;

существо символизма — строительство мира; культура поэтому символична всегда.

Задолго до К. Ясперса и Л. Шестова А. Белый разглядел за антихристианством «распятость» Ницше, внутреннюю близость распнувшего себя с распятыми людьми. Иисус и Фридрих — потому ключевые фигуры культурной эволюции, что, питаемые экстатической страстью к призракам, открыли человечеству новую мораль, отразившую переломный характер двух культур — постантичной и пострационалистической. Оба исходили из миражей мощи и величия человека, из непоколебимой веры в него. «Оба уловляли сердца людские, голубиную кротость соединили со змеиной мудростью».

Откроем любое место из «Заратустры»: оно будет ни с чем не сравнимо, но что-то в Евангелии ему откликнется. Сходство ли здесь противоположностей, противоположность ли сходства — не знаю. Но вот: белые голуби тучей любви окружают Заратустру, своего нового друга. Этим образом кончается Заратустра. Вспомним: «Заповедь новую даю вам: любите друг друга, как Я возлюбил вас». «Любите ближнего». — «Разве я призываю к ближнему? — говорит Ницше — скорее я советую вам бегство от ближних и любовь к дальним». Но ведь не в буквальном смысле заповедал любить ближних Христос, сказавши: «Я — меч и разделение». Любовь к ближним — это только алкание дальнего в сердцах ближних, соалкание, а не любовь в ближнем близкого, т. е. «мира сего». «Не любите мира сего», т. е. старого мира, ближнего, в его разлагающемся образе: любите его в образе дальнем, хотя бы и казался призрачен этот образ. «Выше, чем любовь к людям, кажется мне любовь к... призракам, — говорит Ницше, — призрак, который скользит над тобой, брат мой, красивее, чем ты... Но ты боишься и бежишь к своему ближнему». Образ Воскресшего, призрачно возникающий среди рыбаков галилейских, не был ли этим стремлением к дальнему в сердцах апостолов? В проповеди Христа и Ницше одинаково поражает нас соединение радости и страдания, любви и жестокости. «Огонь принес Я на землю, Я — меч и разделение». — «Подтолкни падающего», — мог бы сказать и тот и другой одинаково и по-разному оформить. Но смысл их не в форме, а в гипнозе переживаний, подстилающих форму.

Оба соединили кровь с вином, тяжесть с легкостью, иго с полетом. «Бремя мое легко», — заповедал Один. Заратустра, учитель легких танцев, приглашает нас вырастить кручи, чтобы образовались бездны, над которыми можно было бы танцевать. Но отсюда — бремя поднятия на кручи, отсюда — муки рождения легкости. «Создавать — это является все легким освобождением», но «для того, чтобы созидатель сам стал ребенком, снова родившимся, для этого он должен спуститься, стать также роженицей и желать более роженицы». Вот какая легкость — легкость Заратустры: анестезия пробитых гвоздями ладоней — полет головокружительного страдания.

Вглядываясь в себя, производя свойственное человеку отождествление, А. Белый связывал творчество Ницше с его жизнью, с особенностями его пси-

хической структуры и предостерегал от опасности обстругивания Ницше, примитивизации Ницше, вульгаризации Ницше.

...*Плоская доска* из общих суждений о свободе личности, о предрассудках морали — вот что нас тут встречает; и эту-то сухую древесину навязали широкой публике как заправское ницшеанство!

Ницше следует слушать в себе, выуживать у него невыразимое, вместе с ним пытаться проникнуть в сокровенные глубины собственной души. Черпая у Ницше, надо черпать у самих себя.

Одним из первых А. Белый различил в творчестве Ницше маску и лицо, эпатирующую экзотику и стремление к дальним ценностям, красные слова и крестный путь.

Еще одно открытие А. Белого — философский модернизм Ницше. Любая классика — в искусстве, философии, науке — некогда была «проломом», «поворотом», новым видением мира. «Зовущую глубину содержания не разглядели мы в Ницше» — это первый признак модернизма: глубина, сокрытая новой формой. «Изломы той формы — отражение тела, ломимого духом. Подражать такой форме нельзя; можно только гримасничать».

Именно у Белого я обнаружил образ Ницше, представлявшийся мне наиболее адекватным задолго до чтения «Кругового движения»: образ Дон Кихота, но не героического сумасброда, зовущего назад, в Средневековье, но рыцаря креста, странствующего витязя вечного, еще одного библейского пророка, посланника Бога в наших умах, о котором кто-то из испанцев писал: «...Рыцарь Печального Образа — жизненный проект идальго Алонсо Киханы, который тот реализует, утверждая тем самым свободу самоосуществления личности».

К Ницше-антихристианину, как мне представляется, относятся слова Ортеги относительно человека, бегущего от реальности, полубезумца, осмеянного толпой, одержимого рыцарством, давно всеми утраченным:

Дон Кихот был одержим рыцарством, а субстрат рыцарства — христианство. Разве не называют люди сумасшедшими рыцарей Бога, героически отдающих себя делам милосердия? Они одержимы добром. Вот таким одержимым был Дон Кихот.

С удивительной пронизательностью Белый описал противостояние Дон Кихота-Ницше с «карликами», не знающими ни высот, ни мук: «Вот появятся воины Ирода (для избияенья «младенца») и персонажи... сыска устроят охоту (принцип государственности — великолепный экран, которым *они* заслоняли ужасные действия от человечества, обреченного *ими* на гибель); за охраню государственных интересов стоит *диаволов черный участок*; и появись одаренная личность, *они* постараются вовремя заклеить ее страшным клеймом государственного преступления». Здесь — не просто провидение русской «судьбы» Ницше — будущего тоталитарной культуры в целом.

Единственное, в чем можно поспорить с Белым, так это — с противопоставлением молодого Ницше-героя безумцу-Дон Кихоту: «начал жизнь как герой; кончил жизнь — Дон Кихотом». Ницше всегда оставался Алонсо Киханой, не стоящим с мечом — охраняющим идеалы культуры.

В отличие от большинства исследователей Ницше, противопоставлявших его культуре, А. Белый проследил кажущуюся, с первого взгляда, странной эволюцию экзистенциальной мысли, ведущей к Ницше:

*Свет, низошедший в Распятого, Павел, Плотин, Августин, Леонардо, двоящийся Фауст, распавшийся в Канта и Ницше (Кант есть кабинеты культуры и Ницше — попытка начать восхождение), через строй этих личностей (от Августина до Ницше), их всех пронизывая, проходит невидимо скрытый источник, построивший палитру красок, градацию фуг и соборов, вот он запекает из Баха, рыдает в Бетховене; в нашем веке прорылся он вглубь, до источника, скрытого в нас, чтобы вырвался этот пленный источник, и — брызнул на небо, чтоб *полнути*, описавши спираль и отлагаясь то в линии, то в окружности, стало *путем* — нашим странствием к «Вечери».*

Если здесь что и смущает, так это противостояние Канта и Ницше, разума и безбытийного смысла, здоровья и болезни, рассудочности и неистовости. Хотя сам Ницше избрал Канта главной мишенью для нападок (вплоть до «Кант был идиот»), Кенигсбергский затворник вел к узнику Сильс-Марии — не как последняя вершина Просвещения, но как мудрец, произнесший главную мысль Ницше: «Жизненность больше, чем рациональность», — увы, неведомую последнему. «Темные представления» и «последняя цель природы» Канта — вехи на пути к Ницше и Фрейдю.

У Ницше А. Белый заимствовал мысль о музыке как форме, выражающей сущность бытия, превращающей хаос «потока жизни» в «цепь» жизненных импульсов, регулируемых «ритмами». Позже А. Блок, развивая эти идеи, будет говорить о «мировом оркестре».

Образ Диониса запал в душу многим русским искателям упоений и экстазов, подобно Федору Сологубу, писавшим вполне ницшеанские стихи:

*Оргийное безумие в вине,
Оно весь мир, смеясь, колышет;
Но в трезвости и в мирной тишине
Порою то ж безумье дышит.
Оно молчит в нависнувших ветвях
И сторожит в пещере жадной.*

Увы, литературные и философские интерпретации символов Ницше русскими модернистами далеки от глубины: схвачены только «первые планы», изящный стиль подменяет мудрость:

В этом священном хмеле и оргийном самозабвении мы различаем состояние блаженного до муки переполнения, ощущение чудесного могуще-

ства и переизбытка силы, сознание безличной и безвольной стихийности, ужас и восторг потери себя в хаосе и нового обретения себя в Боге, — не исчерпывая всем этим бесчисленных радуг, которыми опоясывает и опламеняет душу преломление в ней дионисийского луча.

Вяч. Иванова полагал, что «гений пафоса» возвестил миру жизни ее трагического бога — Диониса, сверхчеловека. «Обаяние Дионисово сделало его властителем наших дум и ковачем грядущего».

Сам Вяч. Иванов стал русским исследователем «эллинской религии страдающего бога», увидевшим в дионисийском экстазе отличительную особенность человека, *animal ecstaticum*.

Существо новой религии Иванов связывал с заимствованной у Ницше фигурой Диониса. Он любил повторять, что для Ницше дионисизм был эстетическим феноменом, для него же самого это религиозный феномен, и упрекал своего предшественника, что тот не уверовал в Бога, которого сам создал. Глашатай дионисизма, пропагандист новой религии страдающего и возрождающегося Бога, Иванов реализовывал свою задачу буквально и последовательно, всеми разнообразными средствами, которыми располагал как лидер движения, как философ и как поэт.

Вяч. Иванов в своих весьма свободных интерпретациях Ницше рассматривает «дионисийские» начала жизни (дисгармония, страсть, страдание, разъятие, гибель) как одну из сторон бытия, без которой невозможны гармония, радость, цельность, возрождение. «Бунт», революция — неизбежные свойства и этапы развития живой жизни. «Вакхическое» безумство у Вяч. Иванова ассоциируется с гибелью (в отличие от Ницше, Дионис для Иванова — не противоположность, а ипостась Христа). Но это не «дионисийское» начало — бунт, «неприятие мира». Так возникает в сознании Блока Христос — не воплощение чистой духовности («верхней бездны» Мережковского), не непризнанный мессия «Золота в лазури» Белого и не образ чистой, детской веры и покорности, как было у друга Блока Евг. Иванова), а Христос — Дионис («Христос-Демон», скажет Блок в 1907 г.), «сжигающий Христос» народных восстаний.

Для Вяч. Иванова Дионис — бог переизбыточного, оргийного, исступленного благовестия радостной смерти, страдающего ликования. За эпитетами как-то отступают страшные и темные силы жизни, судьба, хаос, первозданность. Вместо «борьбы за существование» — пляски дубравных сатиров, вместо поражения — «сладко крушение»...

«Дионис в России опасен: ему легко явиться у нас гибельной силою, неистовством только разрушительным», — пишет Вяч. Иванов в одной из статей ницшевского цикла. Для меня это равнозначно опасности полноты жизни, которой Россия, известная «синдромом сдавливания», никогда не знала...

Иванов прошел школу Ницше низвержения кумиров, переоценки ценностей далеко не в ницшеанском смысле этих понятий. Восторженный дух соседствует с чисто нашенинским «не понял», «противоречит самому себе», «не уверовал в Бога,

которого сам открыл миру». Мифология Ницше несовместима с уличением в лицедействе, виновности, непоследовательности, надрыве духа. «Роковая двойственность», «мессианиззм», «жертва богоборства», «внутренний разлад», «игра в само-раздвоение», диалектические штучки — негодный арсенал средств при анализе мифа, коим, судя по всему, была философия-поэзия еще одного Несчастнейшего.

Мне трудно согласиться с утверждениями Иванова, будто Ницше славил саморазрушение, «тосковал по огненной смерти», чуть ли не сознательно впал в безумие («Это принципиальное отрицание религиозного творчества замкнуло его душу в себе самой и ее разрушило»). Ницшевский цикл Вяч. Иванова страдает эстетством: красоты используются, дабы скрыть поверхностность, русская ментальность просвечивает сквозь европейский маньеризм, словесные пирамиды воздвигаются над пустотой...

Вяч. Иванов «перекраивал» ницшеанство на «русский лад», порой не замечая, что получается нечто несовместимое с Ницше: «Страна покроется оркестрами и фимелами, где будет плясать хоровод, где действие трагедии и комедии, народного дифирамба или народной мистерии воскресит народное мифотворчество (ибо истинное мифотворчество — соборно), где самая свобода найдет очаги своего безусловного беспримесного, непосредственного самоутверждения (ибо хоры будут подлинным голосом народной воли)». Мы трагически осведомлены с результатами такого протиестественного перекраивания, с «хороводами» недочеловеков, усвоивших у Маркса и Ницше только приставку «сверх»...

Прежде чем русский сверхчеловек приобрел — не без помощи Вяч. Иванова — черты соборности, общинности, совершенно немыслимые в ницшеанстве, уже были произнесены сакраментально-вещные слова, еще раз доказывающие причастность русских интеллигентов к народному бесовству: «Кто не хочет петь хоровую песнь — пусть удалится из круга...» Если такое говорит поклонник Ницше, чего ждать от его хулителей?..

Поборники «русской идеи» объясняли «закат» Запада крушением морально-го абсолюта, веры в непреложность различия между добром и злом. Запад в лице Ницше считал, что причиной «заката» может стать именно абсолютизация добра — его вечность и неизменность, ведущая к лицемерию и обману. Не будем суесловить о том, кто прав. Новейшая история рассудит, может быть, уже рассудила...

Русскими ницшеанцами были Богданов и Базаров. Опиравшийся на К. Леонтьева, В. Розанов оказался «ницшеанцем» до Ницше, а «русские неоидалисты» С. Франк, Н. Лосский и С. Булгаков, при всей их религиозности, находились под явным влиянием идей Ницше. Сами русские мыслители признавались, что «атеист» Ницше открыл Бердяеву дорогу к религии, Франку — к осознанию духовного мира, Шестову — к «преодолению самоочевидностей».

М. Михайлов:

Ницше — открыватель пути к духовному миру, Богу и религии! Ницше — ведущий к христианскому мистицизму! Ницше — «творец целей грандиозной моральной системы!» «Сверхчеловек» как ступенька к Богу!

Однако сомнений нет. Именно так воспринимали русские философы гениального немца. Такими словами заканчивает свою раннюю книгу «Добро в учении гр. Толстого и Нитше» (1900) Лев Шестов: «Нитше открыл путь. Нужно искать то, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога».

По мнению М. Михайлова, именно Ницше открыл молодым Бердяеву, Франку, Булгакову, увлекшимся марксизмом, опасность онороживания, обыдливания масс уравниловкой, продемонстрировал первичность личностного начала, «я» души, духовного мира, противостоящего миру физическому и коллективному. Все они обязаны Ницше пониманием важности проблем ценностей и сущности человека: ценности обретают бытие исключительно через человеческую волю и человеческое сознание — именно воля и сознание гаранты ценностей, без которых не может существовать ни один человек. Некоторые бердяевские тексты можно отличить от ницшеанских только религиозной тональностью: «Моральное совершенство и моральная возвышенность не должна угашать фаустовского стремления к полноте жизни. Истребление творчества во имя добра, во имя закона морали — страшная реакция, препятствующая исполнению Божественных предначертаний, задерживающая наступление разрешающего конца. Силы, исключительно приверженные закону, не понимают и не принимают той высшей правды, что творчество — уже большее, чем первоначальное послушание воле Божьей, что Бог сам возжелал откровения воли человеческой». В этом отношении человек — не антитеза Богу, но созревший плод христианского духа.

Лев Шестов считал «ницшеанскими» «Смысл творчества» и некоторые другие книги Бердяева: «Даже манера писать Бердяева напоминает Ницше, и, что, особенно любопытно, Ницше самого последнего периода, когда им был написан “Антихрист”».

Когда Н. А. Бердяев говорил, что в Ницше много славянского, речь шла не только о влияниях Достоевского, но о многих параллелях — с Данилевским, Леонтьевым, деятелями Серебряного века.

Бердяев и Шестов сразу уловили, что имморализм — не отказ от морали, но очередная попытка богоискательства: «Ницше открыл путь... Нужно искать Бога». «Через Ницше новое человечество переходит от безбожного [безличностного] гуманизма к гуманизму божественному [персональному], к антропологии христианской...»

В Ницше Россия обрела благодатный материал. В его судьбе увидели подтверждение своих глубинных чаяний: философская истина есть то, за что страдает и умирает живой человек. Для многих это было освящением философии: не философия, но философ, личность, опять-таки — «распятый». Это было не только подтверждение своей правды, обретенное на Западе, но и оправдание Запада, оправдание «греха мысли», очистительная жертва, встреченная если не с готовностью, то все же с вдохновением: «Фр. Ницше — величайшее явление новой истории... Ницше — искупительная жертва за грехи новых времен, жертва гуманистического сознания... Муку Ницше мы должны разделить: она насквозь религиозна» (Бердяев).

Лев Шестов, под влиянием Ницше, интересуясь его судьбой, связью творчества и болезни, поисками Бога, пришел к выводу, что никакие идеалы не разрешают человеческую трагедию. Любая проповедь, в том числе ницшеанская, представляет собой бегство от трагичности человеческого существования, попытку преодолеть ее «идолом» мировоззрения.

Шестовские «Афины и Иерусалим» насыщены ницшеанскими реминисценциями и мотивами, которых автор не скрывает. Два примера:

С п о р ы о б и с т и н е. Отчего люди столько спорят? Когда о житейских делах идет речь, оно понятно. Не поделили чего, и каждая спорящая сторона норовит доказать свое, в расчете, что ей больше достанется. Но ведь и философы спорят, и богословы спорят, а ведь им как будто делить нечего. Выходит, что собственно не спорят, а борются. Из-за чего? Или, чтоб бороться, нет вовсе нужды, чтоб было из-за чего бороться? Война есть отец и царь всего, учил еще Гераклит: главное — бороться, а из-за чего бороться, это уже дело второе. Один скажет: человек есть мера всего; ему сейчас ответят: не человек, а Бог есть мера всего, и — нападут на него. Один провозгласит: подобосущный, ему в ответ скажут: единосущный, и опять вызов на последний и страшный бой и т. д.: вся история человеческой мысли — и философской и богословской — есть история борьбы, и борьбы не на жизнь, а на смерть. Нужно думать, что представление об истине как о том, что не выносит противоречия, имеет своим источником страсть к борьбе. Старые люди — философы и богословы ведь обычно старики, — которые не могут драться на кулаках, выдумали, что истина едина, чтоб можно было хоть на словах драться. А истина вовсе и не «едина» и совсем не требует, чтоб люди дрались из-за нее.

М ы ш л е н и е и б ы т и е. Чем больше приобретаем мы положительных знаний, тем дальше мы от тайн жизни. Чем больше совершенствуется механизм нашего мышления, тем трудней становится нам подойти к истокам бытия. Знания отягчают нас и связывают, а совершенное мышление превращает нас в безвольные, покорные существа, умеющие искать, видеть и ценить в жизни только «порядок» и установленные «порядком» законы и нормы. Вместо древних пророков, говоривших, как власть имеющие, нашими учителями и руководителями являются ученые, полагающие высшую добродетель в послушании не ими созданной и никого и ничего не слушающей необходимости.

Мне представляется, что перу Л. Шестова принадлежат лучшие в нашей философии книги из цикла «Запад и Восток» — я имею в виду «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше», а также «Достоевский и Ницше. Философия трагедии».

С. Л. Франк, набравшись духовного опыта Заратустры, после чтения Ницше признавался:

Я был совершенно потрясен глубиной и напряженностью духовного борения этого мыслителя, остротой, с которой он заново ставил проблему религии (как прежде нам казалось, давно уже разрешенную — в отрицательном смысле — всеми просвещенными людьми).

Под влиянием Ницше во мне свершился настоящий духовный переворот.. мне впервые, можно сказать, открылась реальная духовность жизни.

В душе моей начало складываться новое «героическое» мирозерцание, определяемое верой в абсолютные ценности духа и в необходимости борьбы за них.

С этого момента я почувствовал «реальность духа», реальность глубины в моей собственной душе — и без каких-либо особых решений моя внутренняя судьба была решена. Я стал «идеалистом», не в кантианском смысле, а идеалистом-метафизиком, носителем некоего духовного опыта, открывавшего доступ к незримой внутренней реальности бытия. Я стал философом...

Тем не менее «став философами», Бердяев, Шестов, Франк либо открестились от философии Ницше, либо попытались создать собственных «кентавров». В самой «ницшеанской» своей книге «Смысл творчества» Н. А. Бердяев следующим образом «исправлял» «ловца душ»:

Он сгорел от огненной творческой жажды. Религиозно ведомы ему были лишь закон и искупление, в которых нет творческого откровения человека. И он возненавидел закон и искупление. Ницше возненавидел Бога, потому что одержим был той несчастной идеей, что творчество человека невозможно, если есть Бог. Ницше стоит на мировом перевале к религиозной эпохе творчества, но не в силах осознать неразрывной связи религии творчества с религией искупления и религией закона, не знает он, что религия едина и что в творчестве человека раскрывается тот же Бог, Единый и Троичный, что и в законе, и в искуплении.

Ницше говорил как религиозный слепец, лишенный дара видения последних тайн. Религия Христа совсем не то, за что Ницше ее принимал. Христианская мораль не рабски плебейская, а аристократически благородная, мораль сынов Божьих, их первородства, их высокого происхождения и высокого предназначения. Христианство — религия сильных духом, а не слабых. В христианской святости был подбор сильных духом, было накопление духовной мощи. Христианская этика — этика духовной победы, а не поражения.

Даже те из русских философов, для которых Ницше не стал «ужасом», соединяли его «нигилизм» то с «русской идеей», то с Христом, то с «соборностью», то с «чистотой Писания». Естественно, получалась абракадабра...

Было бы в высшей степени ошибочным полагать, что апологет персонального начала и творец новых ценностей стал кумиром всей русской интеллигенции конца XIX — начала XX века.

Влияние Ницше — уникальный случай, когда русское богоискательство и русский идеализм отталкивались от жгучей человеческой искренности философа, возвестившего «смерть Бога» и «переоценку» всех видов идеализма. «Потрясенные силой его голоса, они двинулись по пути, приведшему их к прямо противоположному тому, о чем вещал Ницше».

Находясь под влиянием идей Ницше, русские религиозные философы, естественно, не могли принять его антихристианства: Булгаков отнюдь не случайно сравнивал его с Великим Инквизитом из «Братьев Карамазовых», а Шестов — с героем «Записок из подполья».

Октябрь 17-го прервал шествие Ницше в Россию, как вообще прервал культурные связи и возможность духовного обогащения. Большевики пели ницшеанские песни и складывали ницшеанские стихи — «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног...» или «Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни...» — и поносили автора «переоценки всех ценностей»... Малообразованные и потому всеядные русские марксисты не отличались разборчивостью. «Партийная философия» отрицания всей мировой культуры родилась в эпоху Великого Учителя, а Богданов, Луначарский, Горький, Троцкий, Малков еще могли себе позволить ницшеанство, фрейдизм и другие «родимые пятна» империализма.

Очень красноречивое признание одного из наших критиков Ницше, «апостола правдивости», как звал его Луначарский:

И разве мы — российский пролетариат — не потому стали у власти, что проделали ту же переоценку ценностей? Разбили и растоптали все иллюзии демократизма и парламентаризма?

Ницше нас учит (правда, не нас, но нам это не важно), что только голая сила есть право и что власть и сила капиталистов, правящих человечеством, не нуждаются ни в каком другом оправдании, как в том, что они власть и сила и воля к власти. Разве не подхватываем мы это учение? Разве не говорим мы: да, согласны. Отношения между вами и нами вопрос силы? Да. Но мы сильнее вас... И потому мы идем к власти.

Нас объединяет с Ницше его борьба против индивидуализма (?), анархии капиталистического общества. Его страстная мечта об объединении земного шара, его борьба с национализмом.

Нас объединяет с Ницше то, что он, как и многие лучшие умы буржуазии, неизбежно, независимо от своей воли приходит часто к нашим истинам. Мы найдем у него и проблески исторического материализма и ряд мыслей, выводов, которые мы можем всецело принять.

Для самого Луначарского имя Ницше стало символом разрушения буржуазного общества, а сверхчеловек — знаменем обновленного человечества, стандартом борца, сражающегося за «светлое будущее».

Объединив в некоей «триаде» Маркса, Ницше и Горького, Луначарский увидел в этом «явлении» знаменье времени: «...Борьба угнетенного класса за свои права, за жизнь, достойную человека, протест, наступление, натиск, возникающий из недр самого класса, во имя его требований — вот дух марксизма; провозглашение права на полное самоопределение, гордый вызов обществу и его устоям, подчеркивание прав личности на совершенствование и радость жизни, творчества» — вот то, что привлекает нас в Ницше, и ту же требовательность от жизни, тот же протестующий дух видим мы у Горького. «...Нам не интересны страдальцы, нам интересны протестанты... Как далеко ни разошлись материалисты и идеалисты молодого поколения, но честь индивидуума, его право на счастье, но протестующий дух соединяет их теперь», — писал он в 1903 году. «Ницше протестующий», «Ницше-жизнестроитель», «Ницше-революционер» — таким виделся он Луначарскому. Ницше, понятый подобным образом, как нельзя лучше подходил к «революционному мировоззрению», как нельзя лучше

вписывался в ту картину мира, где нужно было как-то обосновать совершенную неуместность человеколюбия и неизбежность жестокости — ведь великие свершения требуют жертв, — где царит радость и веселие от головокружительных побед, где побеждают «достойные», а все старое, слабое «тает и сгорает в лучах огненного ярилы», как объяснял Луначарский несколько лет спустя в статье, написанной по поводу «Дачников» Горького. Именно здесь, упрекая Горького за излишнюю «жалостливость» к своим персонажам, автор изложил свою концепцию «человека» и, переводя поэтические символы Ницше на язык революции, сформулировал свою этику, основу которой составила «жестокость»: «Побольше, побольше жестокости нужно людям завтрашнего дня» — таков конечный вывод этой «новой» революционной морали.

Хотя М. Горькому — уже в советские времена — приходилось неоднократно отрекаться от обвинений в ницшеанстве, ему так и не удалось освободиться от ницшевских интонаций и прямых реминисценций типа: «Задача литературы: восстающего поддержи — чем энергичнее поддержите его, тем скорее окончательно свалится падающий». М. Меньшиков в статье «Красивый цинизм» без обиняков констатировал:

С чудесной стремительностью, совсем по-русски, нижегородский беллетрист «малярного цеха» принял евангелие «базельского мудреца» и... несет его как «новое слово».

Идеи Ницше, по мнению А. Эткинды, не были рассчитаны на практическую реализацию, но в русской утопии, черпавшей экстремизм из любых источников, они приобретали конкретный характер.

То, что для Ницше и большинства его европейских читателей было полетом духа и изысканной метафорой, которую лишь варвар может принимать буквально, в России стало базой для социальной практики.

Поскольку новый человек, поправший отживший здравый смысл, должен был сотворен именно в России, надо ли удивляться, что «человек — мост к сверхчеловеку» из метафоры стал постулатом иных теоретиков большевизма. Не очень чувствительные к логическим неувязкам, наши диалектики после партийных погромов с тем же чистосердечием называли сверхчеловека предтечей гитлеровских выродков. Пользуясь диалектическими вывертами, нетрудно осуществить синтез: человек → сверхчеловек → (коммунистический человек) → фашист. Это теория, практику вы знаете сами...

После бурного всплеска «русского ницшеанства» в начале XX века интерес к Ницше так же быстро угас. Место Ницше заняли Штайнер (антропософия) и Фрейд (психоанализ). После 1912 года имя Ницше почти исчезло в русской литературе.

Последней книгой о Ницше стал путаный и поверхностный опус Вересаева, в котором Аполлону приписаны черты Диониса и наоборот, где Ницше «тоскует по гармонии» и Толстой — словами Наташи Ростовской — проповедует ницшеанство. Ницше здесь изображен, как Достоевский, проклявший свое нутро, или, наоборот, как Бюхнер, это нутро воспевший...

ВРЕМЯ

Что прежде всего и в конце концов требует от себя философ? Преодолеть в себе самом время, стать безвременным — вот с чем ему приходится выдерживать самую жестокую борьбу, которая все-таки делает его сыном своего времени.

Ф. Ницше

Воплощенная беспредельность мифического — Время.

П. Валери

Время у Ницше — не коса Сатурна, а шествие Диониса по Земле.

А. Аствацатуров

*Мгновенье — в вечности, во тьме ночной — зарю,
В безжизненности — жизнь, а в людях — Бога зрю.*

Итак, время Ницше — выход из времени в вечность. В вечный круговорот. Одна из главных идей «Заратустры» — вечный возврат. «Заратустру» и следует рассматривать под знаком музыки; эта музыка — гимн вечному возвращению.

Все возвращается — это верно, но при условии, что ничто не возвращается никогда.

Подразумевал ли «вечный возврат» Ницше «вечность» мгновения, повтор времени? Мне представляется, что такая трактовка неверна, ибо «колесо» не исключало эволюции.

Принцип вечного возвращения, примененный к времени, означает, что при наличии линейного времени и исторической последовательности, в которой различаются прошлое и будущее, происходит уничтожение направленности и различимости времени: прошлое возвращается в настоящее, как более сильное, древнее, царственное, в каком-то смысле — вечное...

Ницше полагал, что присутствие абсолютов в мире обесценивает и девальвирует время. В присутствии Вечности или Предвечного время ничтожно, бессмысленно, а жизнь человека и его цели лишаются значения. Лишь поворот человека от неба к земле, лишь вечное становление, постоянное дви-

жение всего преходящего, определяют статус времени как среды созидания, стихии возникновения нового. Лишь в земном и преходящем человек обретает творческую силу, воплощает свои проекты жизни и цели. Творчество, созидание — вот что такое подлинная историчность и действительность времени.

Определяя созидание как преодоление, Ницше говорит не об аскетическом снятии времени и жизни, а о преодолении конечных ступеней, конечных целей воли; во времени созидающий преодолевает самого себя, разрушает то, чем он был, и постоянно ищет то, чем должен стать.

Полнота жизни — это самореализация во времени, вечное движение, обусловленная временем возможность эволюции и прихода сверхчеловека.

«Хмельная песнь», завершающая предпоследнюю главу «Заратустры», — высшая точка переживания времен у Ницше, выражаясь языком М. Хайдеггера, «экстаз времени», если понимать слово *Ekstasis* как выход из себя. Время здесь не описывается, оно не опредмечено, все конкретное исчезло, остались только элементарные символы бытия.

Слово превратилось в медиум времени. Мы захвачены временем, которое есть человеческая экзистенция. Мы живем во времени, как во сне, все наше существо так спаяно со временем, что мы не замечаем его, так как оно воздух, которым мы дышим. Время движется и исчезает в бездне прошлого, унося все живое, постоянно увеличивая глубину этой бездны. Время открывается нам, когда мы пробуждаемся от сна. Полночь — время этого пробуждения, это — всеобщая тьма, полная неопределенность вещей, их нерасчлененность в единстве становления. Исчез шум дня, пестрота вещей превратилась во тьму. В ночной тиши мы слышим беззвучный бег времени, его дыхание. Все преходящее — символ страдания, постоянного, вечного страдания мира, в котором все исчезает, становясь добычей смерти. Боль мира нестерпима, и мировая скорбь видит в потоке времени лишь исчезновение бытия. Радость же прозревает гораздо глубже сущность времени, видит в исчезновении противоположность смерти — жизнь, вечное возвращение того же самого из бездны вечности, видит в самом феномене времени вечность. Страдание, радость, мир, время мыслятся едиными. Человек здесь уже не смертный, он бессмертен во времени, ибо он как медиум времени есть вечное возвращение того же самого. Только через человечество открывается тайна всего сущего.

Об экзистенциальности времени Ницше свидетельствуют многие стихи «Песен принца Фогельфрая», завершающих «Веселую науку». Эти стихи упреждают другое время, другую эпоху, другую жизненную установку, радикально обновляющую «лучший из миров». Назвать вечность злой шлюхой мог поэт, полностью преодолевший в себе одну парадигму и открывший другую...

PRIMUS REMEDIUM¹, ИЛИ
САМОБОЛЬЩЕНИЕ
БОЛЬНОГО ПОЭТА

*Слюнявая старуха,
Моя эпоха, у тебя во рту
Часы и дни ворочаются глухо.
Мне жить невозможно.
— Ты, вечность, злая шлюха, —
Кричу я в пустоту.*

*Железный век —
Могучий бык: ему смешон мой крик.
Как будто вражеский набег
Мне в мозг проник:
«Се человек,
Который глупость мира не постиг!»*

*Лей мак забвенья,
Лей, лихорадка, в сердце свой дурман!
Вниманьем вашим я не сыт, не пьян.
Ты говоришь: предназначенье?
Увы! обман
И яд презренья!*

*Нет! Воротись!
Снаружи дождь! Снаружи стужа!
Я не пущу тебя наружу!
Вот золото твое. Вглядись!
То вверх, то вниз
Температура: мне все хуже, хуже...*

*И настезь дверь!
И мне в окошко хлещет ливень!
Неустов дождь и непрерывен.
А мрак ночной рычит, как зверь.
И счет моих потерь
Идет на рифмы звоном медных гривен!*

Ницше принадлежит идея внутреннего времени, длительности, широко использованная затем Бергсоном, Гуссерлем и Хайдеггером, в частности в «Бытии и времени». Жизненность неотрывна от временности, бытие и время — единое целое, временность Dasein делает возможным понимание бытия. У Ницше присутствует даже такое свойство временности как бытие-к-смерти. В 278-м афо-

¹ Первое средство (латин.).

ризме «Веселой науки» читаем: «Все, все полагают, что всё, что случилось до сих пор, было ничем или мало чем, и что близкое будущее есть всем... Каждый стремится быть первым в этом будущем — но все же только смерть, могильная тишина является общим для всех и единым достоверным в будущем! Удивительно, что эта единственная достоверность и всеобщность не имеет почти никакой власти над людьми, и они **очень далеки** от того, чтобы ощущать себя братьями у смерти!»

Ницше понимал длительность как нацеленность на грядущее, как перспективность, которая приобретает смысл не вследствие бытия-к-смерти, а благодаря жизненности. Человеческое бытие обладает внутренней временностью, видением перспективы. «Быть дома в сегодняшнем для него означало видеть время сквозь призму межсубъективности, понимать возможность как со-возможность, осуществлять выбор как со-выбор».

Идея Сверхчеловека встроена и вырастает из чувства внутренней временности, видения перспективы. Она не детерминирована ни телесной эволюцией, ни мировой историей. Ее осуществление, ее существование, как таковое, зависит от того, насколько эта идея разделяется обществом.

Связь социального и временного определяется эволюцией: недоразвитое общество неспособно не только подойти к Сверхчеловеку, но даже воспринять его идею. Соборность — категорический запрет на любое «сверх».

В отличие от Хайдеггера, равнодушного к будущему, остерегающегося от прогнозов, декларирующего «закрытость» грядущего, Ницше устремлен в грядущее, открыт навстречу ему: «Настоящее и прошлое на земле — ах! друзья мои, это и есть наинетерпимейшее для меня; и я не смог бы жить, если бы не был предвестником того, что должно прийти». «Зов Диониса» — это зов будущего, делающий человека существом экзистирующим, чье настоящее определено проектом будущего. Свою позицию Ницше четко сформулировал в «Человеческом, слишком человеческом»: «Будущее руководит нашим сегодняшним».

По мнению П. Хеллера, отношение Ницше к времени менялось в ходе его духовной эволюции. Ранний Ницше враждебен современности из-за «варварского отсутствия в ней самодовлеющей культуры». Зрелый Ницше — сторонник настоящего, развития, поздний — будущего, в котором восторжествуют его идеи, а не идея историзма: «Не наука будет источником целей этого периода, так как они могут быть созданы только жизненной энергией, способной к созданию новой иерархии ценностей».

Отвергая запредельные сущности, Ницше отвергает и причинность как форму их проявления: мировой процесс бесконечен и непрерывен, он не может быть расчленен на причины и действия, на отдельные обособленные пункты, ибо течение непрерывно. Причинное объяснение мира — наша субъективная функция, аналогичная той, которая видится нам в нашем внутреннем мире в виде наших поступков или движений, якобы определяемых нашей волей. Подобно тому, как мы определяем нашу волю причиной наших действий, мы за-

ключаем, что во внешнем мире за каждым событием кроется деятель, побуждающая его причина. Все это — только умозаключения. В нашем внутреннем мире воля неотделима от действия — налицо лишь смена последовательных состояний.

Мы видим, что за нашим хотением следует движение, и совершенно ошибочно заключаем отсюда, что есть некоторый метафизический субъект, наша воля, которая производит и то и другое. Дальнейшая неправильность заключается в истолковании внешнего мира по аналогии с внутренним. Это — совершенно произвольная попытка очеловечить природу.

Наше сознание вообще представляет собою сплошной мир фикций. Наши логические аксиомы так же призрачны, как и категории нашего рассудка. Так, например, знаменитый «закон противоречия» представляет собою чисто субъективное правило нашей мысли, которому мы не имеем права придавать объективного значения. Из того, что мы не можем одновременно утверждать и отрицать одного и того же, не следует, чтобы сущее не могло обладать противоречивыми свойствами сущего. Закон противоречия не есть свойство сущего, а выражение нашей человеческой неспособности. Мы вообще не знаем сущего, а потому — не в состоянии решить вопроса о том, приложимы или неприложимы к нему наши логические аксиомы; последние поэтому не суть критерии истины, а только предписания относительно того, что должно *считаться истинным*.

После античности, после христианства, после Вико — какой новый смысл вложил Ницше в вечный возврат? Не страшиться, не благоговеть перед судьбой, но хотеть и возлюбить ее. *Amor fati*.

*Что скоротечность времени пред вечностью?
Что атомарность времени пред вечностью?
И что начало и конец пред вечностью?
И что граница времени пред вечностью?*

*Где прошлое кончается пред будущим?
И где начало вечности — в мгновении?*

Время и вечность — кто их выдумал? Мистики? Время мешало их поискам вечности, вот они и придумали нечто, существующее вне времени. Вечность — не бесконечность времени, а безвременность. В вечности нет изменения, она — над временем:

*Я видел Вечность той ночью,
Подобная кольцу великого чистого и бесконечного света,
Вся безмолвная, ибо — прозрачная;
А всюду под нею — Время в часах, днях и годах...*

Отвергая догматы предшествующей философии, Ницше никогда не ставил под сомнение понятие «вечности», имеющей, впрочем, замкнутый, цикличе-

ский характер. Вечность — не бесконечность «там», но «вечное повторение» «здесь». Структура вечности — циклы, вечность — движение мира «по кругу», никогда не прерываемое, ничем не ограниченное.

Вечность — чуть ли не единственная трансцендентальность в метафизике Ницше, то, что никогда не может быть превзойдено: «Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова — и ты вместе с ними, песчинка из песка!»

Вопрос, сопровождающий всё и вся:

«Хочешь ли ты этого еще раз и еще бесчисленное количество раз? — величайшей тяжестью лег бы на твои поступки! Или насколько хорошо должен был бы ты относиться к самому себе и к жизни, чтобы не *жаждать больше* ничего, кроме этого последнего вечного удостоверения и скрепления печатью?»

Вечность необходима Ницше так же, как красота. То и другое придумано человеком, то и другое оправдывает жизнь, то и другое позволяет возвыситься над временем. В вечном круговороте бытия только вечность и красота непревосходимы, неотрицаемы, безусловны. Только в их созерцании жизнь приобретает смысл и цену.

Тот, кто связывает свое существование с какой-либо временной и преходящей целью, кто хочет быть моментом в развитии какого-либо человеческого общества, государства или науки и желает таким образом всецело принадлежать к области преходящего, тот не понял урока, преподанного жизнью, и должен учиться у нее сызнова.

Бесконечность времени, будущего для Ницше — открытость новациям, приход более сильных и мудрых, движение мудрости. В заключительном 491-м афоризме «Утренней зари», озаглавленном «Мы, воздухоплаватели духа», читаем:

Другие птицы полетят дальше! Наши надежда и вера полетят вместе с ними, поднимутся над нашими головами и над нашим бессилием прямо в высоту и будут смотреть оттуда вдаль на стаи более сильных птиц, чем мы; на стаи птиц, которые будут нестись туда, куда стремились и мы и где кругом все море, море и море! Но куда же стремимся мы? Хотим ли перелететь море? Куда влечет нас эта могучая страсть, которая сильнее всех желаний? Почему она влечет нас именно в этом направлении — туда, где закатывались до сих пор все солнца человечества? Может быть, и про нас некогда скажут, что мы, плывя на запад, надеялись достичь Индии, — но что жребий готовил нам разбиться о бесконечность? Или мои братья? Или?..

Здесь море, океан — символы бесконечности перспектив развития сознания, устремленности духа к новым завоеваниям. Ницше любил стихотворение Дж. Леопарди «Бесконечность», особенно последние строки:

*И среди этой безмерности все мысли исчезают,
И сладостно тонуть мне в этом море.*

Однако его собственное представление о бесконечности связано не с «растворением» мысли в безмерности, не с потоплением в море, но с вечным испытанием человеческого духа бесконечностью, с проверкой силы сознания вечностью: «Бесконечность открывает человеку сферу неизведанного, темного, страшного, и встреча с бесконечностью всегда оказывается трагедией любви духа к ней» (А. Аствацатуров).

«Самое время есть круг», — писал Ницше, весь опыт и все построения которого навязчиво повторяются в образе двойного круга: время, структура космоса и жизненного пути, строение книги, техника афористического письма, принцип организации античного театра... В посмертно опубликованных рукописях Ницше графический образ времени имеет вид двух концентрических кругов с точкой «я» в центре. Внешний круг символизирует «вечность», внутренний — экзистенциальное время, переживаемое субъектом. Движение внешнего круга почти незаметно, движение внутреннего условно может быть разбито на дискретные единицы, столь малые по величине, что невозможно никаким способом разделить прошлое от настоящего и последнее от будущего. Никаким законом или причинно-следственной связью невозможно охватить и всю совокупность всех событий, протекающих во времени.

Наблюдающий круговое время субъект, не являясь неизменным, лишь условно находится в центре двойного круга. Всегда себе неравный, он как бы осциллирует вокруг центра, он всегда эксцентричен. Человек вообще не может претендовать на положение центра мира, как не может быть завершенным «я», «субстанцией», «бытием». Сам человек — движение, переход, изменение состояния.

Движения двойного круга различаются не только по скорости, но и по характеру: движение внешнего — как бы центростремительно, внутреннего — как бы центробежно: «вечность» стремится стать «мгновением», «мгновение» — «вечностью». Парадокс усиливается уравниванием слишком медленного со слишком быстрым.

Ницшеанский «опыт» со временем прекрасно переложен на язык искусства А. Белым, виртуозно вписавшем свое персональное положение во времени (Базель, 1915 г.) в схему Ницше:

Догматы нашей культуры перевоплощались в человечестве, свертываясь по спирали в единую точку; и точка та — «я»; «я» — свободное «я» — есть вершина громадного конуса; от основания (круга) к вершине (блистающей точке) бежала спираль; если круг — «зодиак», опоясавший человечество первого века, то точка есмь «я» (человек, проживающий ныне: в двадцатом столетии); если же повернуть конус времени — линия (или спираль) в этом новом сечении исчезает; мы видим *круг с точкою посередине его*, точка — «я», находящаяся в 1915 году в старом Базеле; круг — это догматы первого века; а катастрофа культуры — в естественном перемещении зрения перпендикулярно к истории; кажется, что спираль, пробегающая от громадного круга до маленькой точки, до «я» (на протяжении двадцати веков), совершается в тот же момент: круг прише-

ствия (догмат) и «я» (иль *пришедший*) таинственно связаны; тайна пришествия есть: пришествия я» (совершенно свободного)... в Базель.

Если бы человек попытался себя пережить, как пришедшего, и если бы всю историю девятнадцати с лишним столетий рассматривал он, как сниманье печатей, разоблачающих миссию «я» (моего), переживающего, здесь, в Базеле, мировую Голгофу, то — ему бы открылось все то, что из недра сознания Ницше исторгло безумнейший крик: «Ессе homo» сначала; следствие «Ессе homo» — последняя подпись безумного Ницше, гласящая, это он есть Распятый... (Дионис).

Но в этот же миг сознается обратное: «я», разрываясь в себе, распинаясь в себе, посередине себя наблюдает огромную ночь; посередине ее стоит Солнце; но Самое Солнце — Круг Солнца — есть Лик, восходящий во мне: «я», всходящее в «я», отделимо от «я» безысходной далью («я — путь и стремление к дальнему»); дальнее приближается в страшной работе преодоления Сознания; я несу в себе целое Солнце, но «я» не есмь «Солнце», и если бы мне графически выразить отношение «точки» («я» личное) к Солнцу во мне, мне бы следовало нарисовать вдалеке от вершины истории двадцати веков (конуса) — круг; и — провести к нему линию; получился бы конус, обратно поставленный; «точка», мгновение, или «я», пребывающий в Базеле, понял бы, что «я» в будущем только могу стать воистину солнцем, которое Ницше увидел впервые, как прорезь возможности; следующий момент после Ницше — перемещение перспективы сознания, перпендикулярное к Ницшеву взгляду на «я», но обратное взгляду истории: солнце близится; станет поверхностью жизни оно, может быть, через двадцать столетий.

Второе пришествие — пресуществление в Христе всей планеты и «я», обитающих в Базеле, в Петербурге, в Саратове, совершится воистину.

Знание это теперь — *математика новой души: в математике этой духовной науки* загадана нам и культура грядущего.

Ницшевская мифема круга, вполне возможно, носила экстатически-световой характер, то есть порождена идеей света, мысленные эксперименты с которым несколько позже привели Эйнштейна к созданию другой мифемы — теории относительности. Для Ницше свет породил визуальные галлюцинации, для Эйнштейна служил пробным камнем интеллектуальных построений.

У Ницше сложились совершенно особые отношения со «светом»: сильнейшие головные боли, постоянные, особенно в последние годы жизни, ухудшение зрения сформировали из него существо, крайне чувствительное к свету и световым эффектам; в тех промежутках между болезненными состояниями, когда чистый свет более не сопутствовал острой боли, а награждал радостью обладания миром живого, радостью «быть», и возникали перцепированные образы, которые современная наука называет фосфенами («остаточные образы»), легко вызываемые даже слабым давлением на глазное яблоко; в зависимости от силы давления и возникает перцептивная геометрия — диски, концентрические окружности, арки,

спирали и т. д. На уровне глубинного переживания геометрия фосфенов и геометрия архаических символов могут совпадать.

Письма Ницше и его поздние сочинения полны восторженных изъяснений на языке световых метафор:

«Я весь направлен к свету: он — то, почти единственное, без чего я абсолютно никак не могу обойтись и, думаю, нечем заменить: сияние легких облаков».

Или другое признание:

«Вот и снова ночь вокруг меня: я обрел бы себя, если бы сверкнула молния; благодаря этому краткому мигу напряжения я совершенно полностью овладел бы собой и своим собственным светом».

Внезапные переходы из темноты на свет, то боль, то эйфория светового восторга, привычка грезить с закрытыми глазами, конечно, не могли не сказаться на экзистенциальном и метафизическом опыте Ницше.

Отнюдь не случайно я связал светом стоящего на пороге безумия Ницше и стоящего на пороге великих открытий Эйнштейна: свет оказался порождающей материей представлений о времени того и другого.

Есть нечто временное в неумолимом течении времени. Прошлое, настоящее, грядущее — изобретения нашего ума. Недалеко ушло то время, когда сознание ориентировалось не на изменение, а на постоянство, когда в мире царила устойчивость и когда ветры прогресса еще не разрушали природу. В том мире человек «инстинктивно пытался превзойти или устранить время». И даже когда это ему не удалось, он не отказался окончательно от неподвижности. Так возник образ времени-колеса, которое вечно движется, но постоянно возвращается в исходную точку. Даже в нашем сознании все еще сосуществуют два времени — малоподвижная, почти неизменная вечность, замерзшая в глубинах подсознания, и подвижная повседневность, суетная, взбалмошная, очевидная, но еще более кажущаяся, ведущая рождение к смерти. Идеология великого круга со всеми разновидностями метемпсихоза не может быть изжита в этом вечно пульсирующем мире.

Здесь же коренится явление *déjà vu* — уже бывшего, самсары.

Мы все испытываем иногда посещающее нас чувство, будто то, что мы говорим и делаем, уже говорилось и делалось когда-то давно — как будто в смутном далеке нас окружали те же лица, вещи и обстоятельства, как будто мы отлично знаем, что произойдет затем, словно мы неожиданно вспомнили это!

Метемпсихоз метачеловека...

«В пучину Времени срываясь...»

«Меняются времена, меняются и слова, но вера неизменна». «Христос родился, рождается и рождается».

Время тоже имеет свои сорта, первосортное время — это мгновения, ради которых стоит жить.

Мне пришел на ум также образ выигранного времени. Я спрашиваю: «Выигранного во имя чего?» И мне отвечают: «Во имя культуры».

Грядущее отбрасывает свою тень на настоящее. Это — реальность. И не только Белой Королевы, но каждого из нас. Потому что наше настоящее есть реакция на ожидаемое будущее, видение которого определяет поведение и обостряет восприятие грядущего. Вся наша жизнь в такой же мере переживание будущего, как прошлого или настоящего.

Время может течь вспять — тому множество подтверждений.

Мы живем в мире неподвижного, может быть, отрицательного времени.

И для тех немногих, кто предвидит, время тоже течет вспять. (Есть люди, которые лучше всего помнят события, происшедшие на следующей неделе.)

Для тех немногих, кто помнит, время тоже течет вспять. (Такова память.)

И для тех, кто страдает амнезией, время течет вспять. (Ибо время есть накопление информации, а они ее забывают.)

И для стариков время течет вспять. (Ибо они все теряют.)

И для детей время течет вспять. (Ибо оно течет от искренности ко лжи.)

И для зрелости время течет вспять. (Ибо что есть старость как не возвращение в возраст беспомощности?)

И для цивилизации время течет вспять — читайте Шпенглера, если сможете.

И еще — потому, что когда время течет вспять, смерть предшествует взрыву. «А когда сверхзвуковые боеголовки начнут нести нам смерть, то мы не услышим взрыва — смерть опередит его».

*Нам хотелось всегда
Обогнать торопливое время*

*Раньше него погрузиться
В свинцовую массу того, что еще не свершилось,*

*Заарканить вольное нечто,
Чего приручить не успело время,*

*И, прижимая добычу, глядеть,
Как, выбиваясь из сил, торопится время
К нашему берегу сквозь века и туманы.*

И все-таки время существует! Оно существует хотя бы потому, что было время, когда все было ясно, время, дающее ответы на любые вопросы, время, когда «золотой век» еще золотил нити Кроноса. То, что этого времени больше нет, служит лучшим доказательством былого существования времени. Но оно сохранилось и после «краха всех ценностей и крушения всех надежд»:

Дождь идет постоянно, без перерывов и не ослабевая; даже если обвалится какой-нибудь холм или какой-нибудь лес тонет в воде, поднявшейся из глубин, в дожде ничего не изменяется. Только дни и сезоны кружат-

ся, достигая источника света. Это единственный признак, говорящий, что время еще существует.

Прошлое и настоящее не имеют значения. Ибо прошлое — это то, чем не следовало быть человеку, а настоящее — чем не следует быть. Мы должны считаться только с будущим. Будущее же...

*Во времени живя, мы времени не знаем.
Тем самым мы себя самих не понимаем.
В какое время мы, однако, родились?
Какое время нам прикажет: «Удались!»
А как нам распознать, что наше время значит
И что за будущее наше время прячет?
Весьма различны времена по временам:
То нечто, то ничто — они подобны нам.
Изжив себя вконец, рождает время время.
Так продолжается и человечье племя.
Но время времени нам кажется длинней
Коротким временем нам отведенных дней.
Подчас о времени мы рассуждаем с вами.
Но время — это мы! Никто иной. Мы сами!*

Пенталогия Б. Шоу о нехватке у всех нас времени для того, чтобы обзавестись мудростью или совестью, — не более чем философская утопия. Одним на это хватает двух десятилетий, большинство не приобретает за — жизнь. Мудрость вневременна, длительность здесь вторична. Человек выделяется не столько временем, сколько семенем.

Время внешне по отношению к жизни; сущность времени не имеет отношения к сущности жизни, которая вневременна: всегда остается самой по себе. Этим концепция времени Ницше отличается от концепции Бергсона, согласно которой длительность можно испытать лишь изнутри.

Луис де Молина писал: будущее суть возможность. Даже забота о нем — а есть ли она? — не делает его необходимым. Предопределенность — имеем ли мы дело с мистикой или эволюцией — проблематична. Мы не в состоянии управлять своим завтра, но вот ликвидировать его в силах.

Любимое занятие времени — писать карикатуры, искажая самые очаровательные черты. Лица стариков — вот что такое время.

Время есть все время. Оно неизменно. Его нельзя ни объяснить, ни предугадать. Рассмотрите его миг за мигом, и вы поймете, что мы просто насекомые в янтаре.

Есть у меня свой собственный словарь: время я провожу, когда оно неблагоприятно и тягостно. Когда же время благоприятствует, я не хочу, чтобы оно просто проходило, я хочу овладеть им, задержать его. Надо избежать дурного и вживаться в хорошее.

Чтобы жизнь не текла и не проходила мимо, нельзя бежать от нее, заниматься времяпровождением. Жить — это упиваться жизнью, временем, каждым мгновением жизни. Кто научит?..

Грядущее неясно — кто знает, что произойдет? Но неясно также и прошлое — кто знает, что произошло? Вот почему не подобает высмеивать пророков, ибо чем притязание на предвидение будущего отличается от похвальбы в знании прошлого, которой все мы грешим, говорит Майрена.

Времени больше не служат часы: их стрелки яростно сшиблись на человеческом циферблате. Время — тот же чертополох, и человек становится семенем чертополоха.

Пейзажи Времени, текущего лениво, почти недвижно, порою будто вспять.

Время, когда изнуренное небо вонзается в землю, время, когда человек корчится в муках предсмертных под презрительным взором небес, под презрительным взором земли...

*Ах, как же, вечность, ты долга!
Где рубежи? Где берега?*

*Не можем мы тебя настичь,
Не в силах мы тебя постичь.
Тебя окутывает мгла.
Подобно шару, ты кругла.
Где вход, чтобы в тебя войти?
Вошедши, выход где найти?*

*Ты — наподобие кольца:
Нет ни начала, ни конца.
Ты — замкнутый навеки круг
Бессчетных радостей и мук,
И в центре круга, как звезда,
Пылает слово: «Навсегда».*

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Жизнь.....	17
Охотник до загадок.....	30
Одинокий скиталец.....	63
Крушение разума.....	92
Личность.....	107
«Останься чист».....	118
Бегство.....	130
Любовь.....	135
Гениальность как болезнь.....	150
Творчество.....	162
Инструктор героизма.....	168
Родословная сверхчеловека, или Культура как история влияний.....	171
Аполлон и Дионис.....	233
Переоценка всех ценностей.....	247
Философия жизни, человека, культуры.....	256
Воля к могуществу.....	271
Вечное возвращение.....	278
«Жизнь — средство познания».....	284
Дон Жуан познания.....	310
Толкни падающего?.....	327
Что такое иммораль?.....	342
Антихристианин?.....	354
Der Übermensch.....	368
«Заратустра».....	380

«Четвертый человек», или Человек-масса.....	391
Ксенофоб? Кимвал мира?.....	399
Артист языка.....	412
Эстетика, музыка.....	423
Лирика.....	435
Политология.....	447
Прорыв в грядущее.....	452
Неистовые ученики Диониса.....	462
Ницше в России.....	471
Время.....	495

Книга Ігоря Гаріна присвячена життю, особистості й творчості найоригіналь-
нішого мислителя ХІХ століття Фрідріха Ніцше (1844—1900). Найбільш третируван-
ний у Росії філософ, мораліст, філолог, поет, візіонер, харизматик, праці якого стали
переломним моментом, віхою, біфуркацією європейської культури, він є не просто
першопрохідцем філософії життя, який поставив людину в центр філософствуван-
ня, але й екзистенційно мислячим модерністом, котрий сформулював ідею «пере-
оцінки всіх цінностей» — перспективізму, плюралізму, прагматизму, динамічно-
сті істини. Ніцше стоїть біля витоків філософії ХХ століття, що сприйняла у нього
основну думку: істина не є тим, що треба знайти, а є тим, що треба створити.

Наукове видання

Серія «Великий науковий проект»

Гарін Ігор Іванович

Ніцше

(Російською мовою)

Головний редактор *О. В. Красовицький*
Відповідальна за випуск *Л. І. Вакуленко*
Художній редактор *О. А. Гугалова-Мешкова*
Технічний редактор *Г. С. Таран*
Комп'ютерна верстка: *О. А. Мірошніченко*
Коректор *Р. Є. Панченко*

Підписано до друку 19.08.19. Формат 70 × 100 ¹/₁₆.
Умов. друк. арк. 28,38. Облік.-вид. арк. 40,05.
Тираж 1000 прим. (1-й запуск 1—25) Замовлення №

ТОВ «Видавництво Фоліо»
вул. Римарська, 21А, м. Харків, 61057
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 5244 від 09.11.2016

Сайт та інтернет-магазин видавництва:
www.folio.com.ua
Електронна адреса:
market@folio.com.ua

Виготовлено в друкарні
ТОВ «Видавничий дім «АртеК»
04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 63
Тел. 067-440-11-37
artek.press@ukr.net
www.artek.press
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 4779 від 15.10.14